

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2025
Том 24. №1

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А207, Москва 105066

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университета Фрибура, Швейцария)
Джеффри Александер (Йельский университет, США)
Ян Вальсинер (Университет Альборга, Дания)
Гэри Дейвид (Университет Бентли, США)
Владимир Камнев (СПбГУ, Россия)
Александр Марей (НИУ ВШЭ, Россия)
Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)
Альбер Ожьен (Высшая школа социальных наук, Франция)
Энн Роулз (Университет Бентли, США)
Ирина Савельева (Россия)
Ирина Троцук (РУДН, Россия)
Никита Харламов (Университет Альборга, Дания)

Учредители

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
Александр Фридрихович Филиппов

Редакционная коллегия

Главный редактор
Александр Фридрихович Филиппов
Зам. главного редактора
Марина Геннадиевна Пугачева
Члены редколлегии
Светлана Петровна Баньковская
Дмитрий Юрьевич Куракин
Александр Владимирович Павлов
Наиль Галимханович Фархатдинов
Руслан Заурбекович Хестанов

Литературные редакторы

Максим Сергеевич Фетисов
Александра Вадимовна Карпезова

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Анастасия Валериановна Меерсон

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и конврсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2025
Volume 24. Issue 1

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A207, Moscow, Russian Federation 105066

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)
Gary David (Bentley University, USA)
Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)
Vladimir Kamnev (Saint-Petersburg State University, Russia)
Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)
Alexander Marey (HSE University, Russia)
Peter Manning (Northeastern University, USA)
Albert Ogien (EHESS, France)
Anne W. Rawls (Bentley University, USA)
Irina Savelieva (Russia)
Irina Trotsuk (People's Friendship University of Russia, Russia)
Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

HSE University
Alexander F. Filippov

Editorial Board

Editor-in-Chief
Alexander F. Filippov

Deputy Editor
Marina Pugacheva

Editorial Board Members
Svetlana Bankovskaya
Nail Farkhatdinov
Ruslan Khestanov
Dmitry Kurakin
Alexander Pavlov

Copy Editors
Maxim Fetisov
Alexandra Karpezova

Russian Proofreader
Inna Krol

Layout Designer
Anastasia Meyerson

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Кайрос и катехон: об условиях (не)продления «оставшегося времени» <i>Дмитрий Попов</i>	9
Плебейский республиканизм: конец олигархии или аристократии? <i>Олег Хархордин</i>	33
Затмение харизмы. Или нет <i>Святослав Каспэ</i>	51
Факторы начала невооруженных революционных выступлений: опыт комплексного анализа <i>Вадим Устюжанин, Илья Медведев, Андрей Уфимцев, Леонид Гринин, Андрей Коротаев</i>	71
«Зеленые пряники»? Распределение президентских грантов на экологические инициативы в 2017-2023 годах как элемент региональной экологической политики <i>Андрей Щербак, Ярослав Снарский, Никита Зубарев, Екатерина Семушкина</i>	106
Деколонизация юга Африки в свете концепции коллегиально разделенной власти <i>Дмитрий Савельев</i>	132

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Удачно (не)совпало: диалогичная модель рефлексивности в когнитивной социологии <i>Ульяна Семовских</i>	157
Условия влияния правового дискурса на формирование представлений о социальном порядке: лингвистический и логический аспекты <i>Марина Пантыкина</i>	188
Что не так с социологией профессий? <i>Татьяна Ларкина</i>	217

ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА И ГОРОДСКОЕ (со)УПРАВЛЕНИЕ

Сложный городской конфликт: концептуальные основания анализа и эмпирическое описание <i>Ирина Скалабан, Юрий Лобанов</i>	242

СТАТЬИ И ЭССЕ

- Культурные различия между 60 российскими регионами по измерению индивидуализм — коллективизм 269
Борис Соколов, Анна Алмакаева, Илья Ломакин, Михаил Минков, Наталья Михайлова, Екатерина Настина, Эдуард Понарин
- Браконьерство, фиктивное родство, адюльтер: культурные модели социализации в неблагополучных районах низовий Волги 300
Илья Ермолин, Линас Сволкинас, Павел Суворков
- Опыт анализа «цифровых следов» процесса структурной интеграции мигрантов в России с помощью нейросети BERT 332
Дмитрий Тимошкин, Тихон Ермаков, Кирилл Иванов, Павел Тарасов, Михаил Жарков, Александр Потехин

ОБЗОРЫ

- «Эффект друзей и соседей»: 75 лет электорально-географических исследований 357
Федор Чернецкий
- Вокизм и метод «уличной эпистемологии» Питера Богоссяна 390
Екатерина Коростиченко
- Место христианства в проекте «Реконструкция консерватизма» Герда-Клауса Кальтенбруннера 418
Филипп Фомичев

РЕЦЕНЗИИ

- От историографии империи к исторической империологии 444
Олег Кильдюшов
- Между фрагментарностью рецепции и эпистемологическим театром 451
Валерия Калинина

IN MEMORIAM

- Социология как профессия, призвание и активизм. Памяти Майкла Буравого 458
Иван Кисленко

Contents

POLITICAL SOCIOLOGY

- Kairos and Katechon: On the Conditions for (Not) Extending the “Remaining Time” 9
Dmitry V. Popov
- Plebeian Republicanism: The End of Oligarchy or Aristocracy? 33
Oleg Kharkhordin
- Obscuration of Charisma. Or Not 51
Svyatoslav Kaspe
- Factors of Nonviolent Revolutions’ Onset: a Comprehensive Analysis 71
Vadim Ustyuzhanin, Ilya Medvedev, Andrey Ufimtsev, Leonid Grinin, Andrey Korotayev
- “Green Carrots?” Distribution of Presidential Grants for Environmental Initiatives in 2017-23 as an Element of Regional Environmental Politics 106
Andrey Shcherbak, Yaroslav Snarski, Nikita Zubarev, Ekaterina Semushkina
- Decolonization of Southern Africa in Light of Collegially Shared Power Conception 132
Dmitriy Savelyev

SOCIOLOGICAL THEORY AND RESEARCH METHODOLOGY

- It’s a (Mis)match!: a Dialogical Model of Reflexivity in Cognitive Sociology 157
Ulyana Semovskikh
- Conditions of Influence of the Legal Discourse on the Formation of Representations of Social Order: Linguistic and Logical Aspects 188
Marina Pantykina
- What is Wrong with the Sociology of Professions? 217
Tatyana Larkina

URBAN POLICY AND URBAN (CO-)GOVERNANCE

- Complex Urban Conflict: Conceptual Foundations and Modern Practices 242
Irina Skalaban, Yuri Lobanov

PAPERS AND ESSAYS

- Individualism–Collectivism Differences Across 60 Russian Regions 269
Boris Sokolov, Anna Almakaeva, Ilya Lomakin, Michael Minkov, Natalia Mikhailova, Ekaterina Nastina, Eduard Ponarin

Poaching, Fictive Kin Relationships, Adultery: Cultural Models of Socialization in the Disadvantaged Neighborhoods of the Lower Volga <i>Ilya Ermolin, Linas Svolkinas, Pavel Suvorkov</i>	300

Experience of Analyzing Textual Representations of the Structural Integration of Migrants in Russia on Social Media Using the BERT Neural Network <i>Dmitry Timoshkin, Tikhon Ermakov, Kirill Ivanov, Pavel Tarasov, Mikhail Zharkov, Alexander Potehin</i>	332

REVIEWS ESSAY

«Friends and Neighbors Effect»: 75 Years of Geographical Analysis of Elections <i>Fedor M. Chernetskii</i>	357

Wokism and Peter Boghossian's Method of «Street Epistemology» <i>Ekaterina Korostichenko</i>	390

“Reconstructing Conservatism”: The Place of Christianity in the Work of Gerd-Klaus Kaltenbrunner <i>Filipp M. Fomichev</i>	418

BOOK REVIEWS

From the Historiography of Empire to Historical Imperiology <i>Oleg Kildyushov</i>	444

Between the Fragmentation of Prescription and Epistemological Theater <i>Valeria Kalinina</i>	451

IN MEMORIAM

Sociology as a Profession, Vocation, and Activism. To the Memory of Michael Burawoy <i>Ivan Kislenko</i>	458

Кайрос и катехон: об условиях (не)продления «оставшегося времени»*

Дмитрий Попов

Доктор философских наук, доцент, начальник кафедры философии и политологии,
Омская академия МВД России

Адрес: пр. Комарова, д. 7, г. Омск, 644092 Российская Федерация

E-mail: DmitriVPopov@mail.ru

В статье рассматривается понятие христианской эсхатологии *катехон*, мыслимый как совокупность факторов, удерживающих человечество от планетарной катастрофы в рамках темпоральности «оставшегося времени». Исходя из обетования христианской теологии о неизбежности наступления *эохатов*'а, т.е. конца времен, обсуждаются условия (не)продления оставшегося времени. Во введении демонстрируется актуальность данной проблематики и задается общая теоретическая рамка исследования. В первой части для описания темпоральности «политических тел» используется предложенное Э. Канторовичем различие времени смертных (*tempus*) и вечности ангелов (*aevum*), чья комбинация срочной вечности составляет время политических союзов. Обращение к античной и новозаветной традиции различения длящегося времени *хρόνος* и судьбоносных моментов *кайрос* позволяет интерпретировать время политических тел как цепь (не)благоприятных кайросов, каждый из которых может стать последним. Во второй части дается определение места политических тел как констелляции: 1) территориального положения на земле, 2) (вне)пространственного положения в мироздании, 3) точки местоположения сил в отношении Другого, а также 4) места самоидентификации. В основной части моделируются возможные исходы вмешательства кайротической темпоральности в бытие политических тел. Предлагается модель «по де Серто», в которой вторжение времени в форме сконцентрированной мудрости (*metis*) в исходное место влечет его улучшение, а также модель «по Оже», в которой возникает противоположная тенденция последовательного ухудшения изначального места. В четвертой части описываются темпоральности «времени метанойи» и «сомнамбулического времени», соответствующие вторжению (не)благоприятного кайроса в моделях «по Серто» и «по Оже». Делается вывод о корреляции реконструированных темпоральностей катехоническим модальностям сдерживания и трансгрессии в горизонте *ѡρα* («времени, установленном Богом»). В итоговом разделе обе модели объединяются в понятии «катехонической оси», действие которой как сдерживает наступление катастрофы, так и подталкивает к ней в зависимости от того, насколько люди распознают благоприятный кайрос. В заключении делается вывод о том, что катехон как сумма сил сдерживания соответствует времени успешного действия в условиях кайротической темпоральности, что способствует восстановлению связности пространственного и политико-культурного порядка сосуществования политических союзов и человечества вообще. «Оставшееся время» длится ровно столько, сколько возможно катехоническое успешное действие.

Ключевые слова: политическая теология, катехон, кайрос, время, место, трансгрессия, сдерживание, катехоническая ось

* Статья воспроизводит основные положения доклада, представленного на междисциплинарной конференции «Политическая теология III: Время, остающееся до нового начала» (Москва, 24–25 мая 2024 г.). Автор выражает благодарность участникам дискуссии за ценные замечания, позволившие в значительной мере уточнить аргументацию.

Третье десятилетие XXI века в России ознаменовалось всплеском интереса к христианской эсхатологии и особенно к понятию *катехон*. Упоминания о катехоне в публицистике и новостных лентах стали отнюдь не редкостью. На просторах интернета продуктивно функционирует информационно-аналитическое издание КАТЕНОН. Публикуются книги (Таубес, 2023; Шмитт, 2024), ведутся дискуссии, звучат доклады, посвященные катехону, а на страницах журнала «Социологическое обозрение» не прерывается ряд публикаций, помещающих катехон в предметную область социальных наук (Яркеев, 2022; Яркеев, 2024; Иншаков, 2023; Учаев, 2023; Попов, 2023; Учаев, 2024).

Настоящее исследование сосредоточено на особенностях катехона как балансира между сдерживанием и трансгрессией, который, в зависимости от настойчиво прилагаемых людьми усилий, отдаляет или приближает возможное планетарное катастрофическое событие.

Мы сконцентрируем внимание на «механизме» действия катехона в пределах тех возможностей, которые предоставляет философская интерпретация этого емкого, но бездонного понятия. Для выяснения катехонических эффектов кайротического времени¹ в первую очередь следует определить, в какой темпоральности существуют «политические тела». С этой целью мы воспользуемся предложенным Эрнстом Канторовичем в ходе его политико-теологических исследований Средневековья различием времени смертных (*tempus*) и вечности ангелов (*aevum*). Их комбинация *aevum-tempus* может быть понята как срочная сотворенная вечность, определяющая темпоральность корпоративных бессрочных «тел» и в особенности политических союзов. Различение длящегося времени *χρόνος* и экстремальных узловых судьбоносных моментов *καιρός* позволит интерпретировать время политических тел как цепь *καιρός*, каждый из которых способен поставить политический союз на грань выживания, стать «последними днями» (*ἔσχαται ἡμέραι*). Определение места политических тел как четвероякой конstellляции территориального положения на земле (номос земли), (вне)пространственного положения в мироздании («небесный» номос), местоприложения сил в отношении других политических союзов и собственных членов, а также места самоидентификации позволит нам смоделировать возможные исходы вмешательства кайротической темпоральности в бытие политических тел.

Амбивалентность *kairos* как благоприятного или неблагоприятного момента вслед за Мишелем де Серто может быть интерпретирована как вторжение времени в форме сконцентрированной мудрости в исходное место, что влечет его изменение. Если *kairos* благоприятен, а накопленных знаний, примененных в подходящий момент, достаточно, то изменения носят конструктивный характер, что

1. Кайротическое время (от гр. *καιρός*) — понятие, которое мы предварительно можем определить как экстремальный узловой момент, от которого зависит течение континуального равномерного времени *χρόνος*. Понятие «кайротического времени» с его ярко выраженными чертами эсхатологичности и дисконтинуальности в противоположность гомогенности длящегося времени *χρόνος* позаимствовано нами из исследования Ильи Иншакова (Иншаков, 2023: 40) в качестве удачного мислеобраза, соответствующего авторскому замыслу статьи.

в случае циклического повторения подобного вторжения времени способно обеспечить поступательное развитие. Однако если в модель вторжения кайротической темпоральности «по Серто» ввести концепт «не-места» (фр. *non-lieux*) Марка Оже, а *kairos* рассматривать как неблагоприятный момент, то возникает противоположная тенденция последовательного ухудшения, дезинтеграции изначального места. В современных условиях возможно конструктивное вторжение институционально-организованного научного знания в сложившийся порядок существования политически-организованного человечества, вызывающее улучшение изначально неблагоприятного в том или ином отношении состояния конкретного пространственного порядка общества. С другой стороны, зависимые от техники в режиме по-става (*Gestell*, по М. Хайдеггеру) в новой форме непрекращающегося настоящего (П. Вирилио) государства-конкуренты формируют континуум «не-мест», характеризующийся нарастающим исчезновением связности и исторической преемственности. В возникающей неопределенности перманентного кризиса в условиях наличия обширного арсенала ядерного оружия каждое событие подталкивает человечество к *ёра* («времени, установленном Богом»). Мы попытаемся показать, что конкурирующие модели трансформации места в ходе «вторжения времени» «по Серто» и «по Оже» связаны между собою «катехонической осью». Катехон и сдерживает наступление катастрофы, и подталкивает к ней в зависимости от того, способны ли люди распознать благоприятный *kairos* и должным образом воспользоваться *metis*. В условиях «мессианского» времени катехон как сумма сил сдерживания — это «время успешного действия» в условиях кайротической темпоральности. Оно способствует восстановлению связности пространственного и политико-культурного порядка сосуществования политических союзов и человечества вообще. «Оставшееся время» длится ровно столько, сколько возможно катехоническое успешное действие.

Время «политических тел»

Время и его природа, объективность временного измерения, субъективное переживание течения времени, темпоральность как «существующие в определенной культуре представления о времени и месте человечества во времени» (Учаев, 2024: 150) составляют исконно философскую проблематику, начиная с древности. К целям данной статьи не относится реконструкция подобных философских дискуссий. Однако проблематика катехона напрямую связана с осознанием актуальной возможности окончания времени в его привычном смысле, потенциальной возможности возникновения нового состояния бытия либо вовсе прекращения существования мира. Кроме того, катехон содержательно связан не столько с индивидуальной жизнью человека, сколько с коллективным существованием людей, собственно, особые состояния которого и могут поставить *всех* на грань катастрофы. Таким образом, проблематика катехона подразумевает наличие некоего времени человеческих сообществ (более того, времени всего человечества),

которое способно истечь по причине неких деяний самих людей, призывающих на себя беду.

Но как же можно помыслить это время людских союзов, отличающееся от времени индивидуальной жизни человека? Для этого обратимся к триаде понятий *aeternitas/aevum/tempus*, а также к паре понятий χρόνος/καίρος.

Эрнст Канторович, анализируя проблематику двух тел короля (физического и политического) в позднем Средневековье, демонстрирует, что в интерпретации средневековых богословов — в отличие от человека, живущего в краткосрочной перспективе времени смертных (*tempus*), — политические союзы людей (в частности, средневековые монархии) причастны гораздо более длительному периоду существования, прообразом которого выступает *aevum*, т.е. вечность ангелов. *Aevum* можно рассматривать как мост «над пропастью, разделяющей вневременную Вечность [*aeternitas*] и конечное Время [*tempus*]. Если Бог в своей Вечности оказывался неизменным и пребывающим вне и без Времени, а человек в своем *tempus*... изменчив в меняющемся конечном Времени, то ангелы представляли неизменными в меняющемся, хотя и бесконечном *aevum*» (Канторович, 2015: 387). *Aevum* занимает срединное положение между вечностью, в которой пребывает Бог, и временностью, которая является уделом смертного человека. *Aevum* обладает длительностью, превосходящей срок человеческого существования. Однако *aevum* ангелов является для нас лишь моделью для описания времени «политических тел», поскольку *aevum* ангелов отличается и большей гарантированностью, и, следовательно, большей длительностью, нежели срок существования человеческих объединений, зависящий от самих людей и их деятельности. *Aevum* людских союзов, таким образом, объединяет в себе черты *aevum* ангелов и *tempus* смертных — это, по сути, *aevum-tempus* (в значении даже не *aeternitas temporalis*, а *aevum temporalis*, то есть срочной сотворенной вечности)².

Вместе с тем временное измерение *aevum* создало возможность для создания юридической фикции корпорации (от лат. *corpus* — тело), в том числе корпорации, состоящей из одного человека — короля. *Aevum* позволил узаконить статус монарха в течение срока, превосходящего жизнь смертного человека. Король, умирая, возрождается в теле наследника, тем самым не умирая никогда. Именно поэтому «время не действует против Короля». Королевская династия — цепь физических тел («корпусов») во времени *tempus*, и одно политическое тело (корпора-

2. Следует отметить, что практически одновременно с исследованием Эрнста Канторовича, изданном в 1957 г., вышла книга Ханна Арендт «The Human Condition» (1958 г., в русском переводе — «Vita activa, или О деятельной жизни»), в которой вечность, смертность и бессмертие трактуются совершенно в иной, а именно — античной перспективе. Х. Арендт, определяя сущность политического, указывает на то, что «лишь через участие в политической жизни человек и становится свободным, освобождается от необходимости поддерживать жизнь, выходит за пределы отношения господства и рабства» (Филиппов, 2015: 52). Политическая деятельность, будучи важнейшей, рафинированно публичной деятельностью свободного гражданина полиса, рассматривается Арендт как настоящая забота о бессмертии, доступном человеку, «ибо полис был для греков... пространством, которое... отдано относительно долговечному, а стало быть, прямо предназначено для того, чтобы обеспечивать бессмертие смертному человеку» (Арендт, 2017: 73).

ция) в *aevum* — правомочное основание длительно существующего политического союза с юридической точки зрения. Метафизическое разделение времени на триаду *aeternitas*, *aevum* и *tempus* позволило решить ряд важнейших политических и правовых вопросов, среди которых суверенитет. Отныне «в центре корпоративистских учений юристов оказывались... деиндивидуализированные фиктивные лица...», которые «с необходимостью напоминали ангелов, и сами юристы признавали наличие определенного сходства между их абстракциями и ангельскими сущностями. Мир политико-правовой мысли позднего Средневековья начал заселяться нематериальными ангельскими телами», которые «не обладали возрастом, были невидимы, вечны, бессмертны, а иногда даже вездесущи» (Канторович, 2015: 389–390). Таким образом, мы наблюдаем здесь теоретическое осмысление того, что людские союзы (политические тела), а точнее — их политико-юридическая форма существования, имеют собственное временное измерение, к которому и следует относить действие катехона как удерживающего от гибели (в том числе прекращения существования во времени).

Следы времени ангелов можно найти и сейчас. Именно в таком ключе можно интерпретировать, например, экономический институционализм школы Дугласа Норта, сосредоточивающий внимание на бессрочных организациях и их политико-юридической форме существования. За счет юридически сконструированной фикции «бессрочности», то есть особой длительности времени, выходящей за рамки жизни человека, корпорации эпохи «открытого доступа» можно рассматривать как сошествие ангелов на грешную землю экономической и политико-правовой жизни человечества. Бессрочно существующие организации не зависят ни от какой личности и ее жизненных характеристик. В подобном бессрочном времени пребывают и государства. Согласно Норту, государства — это организации организаций, они бессрочны, их аутентичность «не зависит от личностей, составляющих организацию... “бессрочность” включает элемент времени, потому что существование организации выходит за пределы жизни ее отдельных членов³. Именно создание бессрочно существующих организаций создает форму безличного обмена и отношений, и именно бессрочно существующие организации тре-

3. Время ангелов, ангелология актуальны для современных исследований. Джорджо Агамбен в разделе с характерным названием «Ангелология и бюрократия» одной из книг цикла *Homo sacer II* рассматривает *Corpus Aneoragiticum* Псевдо-Дионисия Ареопагита как актуальный источник и прообраз не только церковной иерархии, но и современных государственных бюрократий. «Введение темы иерархии в ангелологию — и вообще изобретение самого термина «иерархия» — дело рук автора апокрифа [Псевдо-Дионисия]... не оставляет сомнений» стратегия «апокрифа... речь идет, с одной стороны, об иерархизации ангелов посредством расположения их рядов в соответствии со строгим бюрократическим порядком, а с другой — о том, чтобы ангелизировать церковные иерархии, распределяя их согласно сакральному по своей сути критерию; или же, согласно принципу непрерывного взаимоперехода... о превращении *mysterium* в *ministerium*, а *ministerium* в *mysterium*» (Агамбен, 2019: 254–255). «Ангелизация» бюрократии является своеобразной теодицеей и грядущей бюрократической рациональности, и оправданием власти, создающей «политические» религии (Джентиле, 2021).

буют правовой системы, способной обеспечить соблюдение правовых норм по отношению к организациям» (Попов, Полякова, Шадрин, Яркеев, 2021: 8–9)⁴.

Конечно, бессрочность организаций, как и то, что «король не умирает никогда», является фикцией, но такой фикцией-скрепой, без которой помыслить жизнь человеческих союзов невозможно. Таким образом, политические союзы как надличностные объединения людей живут в особом времени *aevum temporalis*. Но этого недостаточно для того, чтобы понять, почему политикумы рождаются и умирают, испытывают кризисы, достигают благополучия либо стремительно чахнут, деградируют и, вопреки актуальной возможности пережить человека, могут возникнуть и распасться на глазах одного поколения. Итак, свойства времени политических союзов следует рассмотреть более пристально.

Для этого воспользуемся парой понятий *χρόνος/καιρός*. В статье «Время и вечность в Священном Писании Нового Завета» протоиерей Димитрий Юревич⁵ отмечает, что понятие *χρόνος* в древнегреческой литературе означало «время» в общем смысле, «время в его течении», «промежуток времени». В Новом Завете *χρόνος* употребляется преимущественно в значении «периода времени», взятого целиком, — это *континуальное, длящееся время*.

В этом времени есть особо значимые *временные узлы*. Для придания времени дискретности и выделения в нем особых моментов используется понятие *καιρός*.

Для целей настоящей статьи интерес представляет ряд значений *καιρός*:

а) Термин *καιρός* служит для указания на *узловые моменты* *χρόνος*'а. *Καιρός* — это «решающее, ключевое место или точка», которое могло иметь пространственный, бытийный и временной характер.

б) Значение термина *καιρός* может быть нейтральным, но чаще несет либо *положительный*, либо *отрицательный* смысл. Античная интерпретация *кайроса* предполагает, что он — решающий момент *с неизвестным результатом*. Однако наиболее распространенным стало положительное значение, согласно которому *καιρός* — это *благоприятный* для действия момент или время *успешного* действия.

в) Важным обстоятельством является то, что *καιρός* требует от вовлеченных в него лиц *надлежащих* действий. *Καιρός*, в отличие от *τύχη* — судьбы, обусловленной случайностью, — дает возможность активно действовать и менять свою судьбу.

Таким образом, *καιρός* является особым пространственно-временным местом/моментом, в котором непредопределенным образом совершается решающее и ре-

4. Вместе с тем ангелология не только позволяет деконструировать политические религии, но и вдохновляет на создание альтернативных онтологий, что мы обнаруживаем, например, у Владимира Шалларя, провозглашающего, что «ангелы везде. Повсюду видны они, несущие весть об осуществимости — уже-всегда-осуществленности Универсальной Истины» (Шалларь, 2024: 90). В такой перспективе «ангелология... есть лекарство от... одержания... заражения нашей психики темными силами власти и войны» (Ibid.: 182).

5. Все нижеследующие обобщения относительно понятий *χρόνος/καιρός* сделаны на основе (Юревич, 2020: 25–31).

шительное (желательно осознанное, надлежащее, требующее мудрости) действие, способное изменить судьбу.

Димитрий Юревич также отмечает, что Новый Завет дополняет содержание понятия *καιρός* следующими важнейшими смыслами:

1) *Καιρός* указывает на «судьбоносный и решающий момент времени», причем в соответствии с Божиим замыслом. Фраза *καιρός ἔσχατος* означает «[судьбоносное] время последнее» (1Пет. 1:5).

2) Во-вторых, *καιρός* в Новом Завете — указание на конец истории и последующий за ним Божий суд. Это — решающий момент для судеб всего человечества. В этом значении *καιρός* — установленное время (ῥα), День (ἡμέρα), Ἡμέρα κυρίου — «день Господень» — момент, указывающий на период суда Божия, когда нынешний мир в своих основаниях будет уничтожен; а *καιρός ἔσχατος* — «последний [решающий] момент», «последние дни» (ἔσχαται ἡμέραι), за которыми следует конец времен — ἔσχατος.

Суммируем: *καιρός* используется как в древнегреческой философской традиции, так и в Новом Завете для обозначения экстремального периода. Продление «оставшегося времени», отсрочка эсхатона требует, чтобы *καιρός* был «временем успешного действия», совершаемого доблестно и обдуманно.

Возвращаясь ко времени «политических тел», можно обнаружить любопытную проекцию *καιρός* на сам способ существования человеческих союзов. Можно сказать, что «политические тела», будучи причастны вечности *aevum temporalis*, находясь в длящемся времени *χρόνος*, проходят через *цепь* судьбоносных моментов *καιρός*. Последние не станут для них *καιρός ἔσχατος*, только если они совершат надлежащие успешные действия, обратив каждый раз *καιρός* в благоприятный момент. Возникает подобие некой благотворной, созидательной цепной реакции. Конечно, это схематизированное представление. Как на уровне отдельного человека, так и на уровне того или иного «политического тела» возможно вмешательство экзогенных, воспринимаемых как случайные (или провиденциальные), факторов. Но на уровне человечества, то есть всех людей, расчет на постоянное гарантированное внешнее спасительное воздействие, хотя и может быть понят как необходимый элемент божественного миропорядка, в котором Бог есть Любовь, но все-таки во имя самого же человека нуждается в ограничении, поскольку лишает людей какой бы то ни было субъектности и вменяемости. Это означает признание того, что человечество как с учетом религиозного обетования конца этого мира и нового начала, так и ввиду наличия природных и социальных факторов, способных угрожать его существованию, в катехонической перспективе обязано обращать каждый решающий момент своего бытия в благоприятный *καιρός*, дабы продолжать жить.

Место «политических тел»

«Политические тела» имеют собственную темпоральность. А есть ли у них собственное место? Античная традиция формирует *пространственное* представ-

ление о *месте* политического тела. Этим местом является *πόλις*, возникающий благодаря синойкизму, т.е. объединению *οἶκος* (семей, домохозяйств, домовладений), в ходе которого требовалось согласовать интересы *δεσπότης* — автономных глав семейств и крепких хозяйственников. Как следствие, *ἀγορά* — изначально пустое пространство рыночной площади, ставшее местом сходов и собраний в *πόλις*, в ходе которых принимались коллективные решения, — может быть оценено в первом приближении как материальное, земное место политического тела. Следуя логике К. Шмитта, в народных собраниях принимаются *номотетические* решения в обоих значениях понятия *nomos* как конкретного пространственного порядка и закона. Памятуя о генетическом значении «захвата земли» для всякого политикума, агору можно представить как пустоту⁶, обладающую потенциалом к расширению. Тогда пространственное место политического тела следует мыслить не в качестве нейтральной гомогенной геометрической точки, но в образе континуума векторов, т.е. поля. Это **первая** из ипостасей места политического тела — земное место, территория, номос земли.

Однако образ заполненной людьми рыночной площади, в силу принимаемых на ней «общей волей» решений имеющей потенциал неограниченной экспансии, не является исчерпывающим описанием топологии политического тела. Пространственную, физическую, внешнюю сторону его места дополняют незримые характеристики, связывающие топос политикума с положением в мироздании; с внутренним порядком и со способностью реагировать на внешние и внутренние вызовы, а также со способностью к самоидентификации и сохранению самоидентичности, то есть установления отношения к себе.

Второй ипостасью *места* политического тела является местоположение в *миророздании*. Этот не земной, но космический, вселенский локус места политического тела существенно расширяет политико-теологическая мысль Средневековья. На протяжении Средних веков «короля, уподобляющегося Христу, изображали и воспринимали так же, как “посредника” между небесами и землей... Короли и епископы... помазаны и освящены с той целью, чтобы они были святыми; т.е. вне земли и вне мира да станут они посредниками между Богом и народом, будучи причастными небесам и обуздывая подданных на земле» (Канторович, 2015: 164). Если «сердцем» античного полиса было народное собрание, то «сердцем» средневекового политического союза является король, выполняющий посредническую роль между землей и Небесами. Короля понимали как *Christus Domini* (Помазанника Божия), *rex imago Christi* (образ Христа), *rex vicarius Christi* (викарий, от лат. *vicarius* — заместитель, наместник, т.е. наместник Христа), а в Высоком Средневе-

6. На пустоту рыночной площади как начало полиса указывает Х. Ортега-и-Гассет: «...город, или polis, начинается с пустоты — форума, агоры, а все остальное — только способ очертить ее контур. Полис изначально не скопление жилищ, а место общественных собраний, пространство, отведенное для гражданских дел. Город выстроен не как хижина или domus, чтобы укрываться от непогоды и продолжать род, не для частных и семейных нужд, а для того, чтобы решать общественные вопросы. И означает это ни больше ни меньше, как открытие нового пространства, куда более нового, чем пространство Эйнштейна» (Ортега-и-Гассет, 2016: 167).

ковые появились формулы *rex imago Dei* (образ Бога) и *rex vicarius Dei* (наместник Бога) (Ibid.: 164–167). В образах Наместника/Представителя Христа/Бога на земле мы вправе усмотреть определенное местоположение политического тела в мироздании, во вселенской иерархии сущностей, составляющих целокупный материально-вещественный и незримый ноуменальный универсальный порядок. Учитывая значение символических, фидеистических, нуминозных аспектов религиозных культур Средневековья, между-мирное двух-природное, посредническое, пограничное положение короля следует понимать именно как место, место относительно космоса, Неба и земли. Даже если вслед за Джеймсом Скоттом воспринимать подобные представления как «космологическое бахвальство», следует признать, что оно имело и во многих случаях продолжает иметь значение вплоть до наших дней. Так, даже в XX и XXI веках «имперские миссии склоняются к тому, чтобы быть сформулированными с помощью религиозных терминов и соответствующего пафоса» (Мюнклер, 2016: 176). Например, США в XX веке объявляли «Крестовый поход в Европу» для обоснования вступления США в Первую мировую войну в президентство Вудро Вильсона, новый американский крестовый поход в Европу начался при высадке в Нормандию во Вторую мировую войну; президент Рональд Рейган объявил крестовый поход против СССР, мыслимого как «империя зла», а президент Джордж Буш-мл. осуществил крестовый поход против международного терроризма и «оси зла». Каждый раз подобные миссии используют риторические обороты, отсылающие к образам Нового Света, нового Израиля, нового Иерусалима, «града на холме», что позволяет убедиться в жизнестойкости политико-теологической топологии. Таким образом, место политического тела на земле дополняется местом в мироздании, номос земли дополняется «небесным» номосом.

Третьей ипостасью *места* политического тела является местоположение относительно *других* политических тел. Отношение к *Другому* для политического тела воплощается в фигуре суверена как организующего принципа, обеспечивающего внутреннее устройство «политического тела»; устанавливающего контакты с окружающими политическими союзами; принимающего решения, отвечающие внутренним и внешним вызовам.

Суверенитет предстает как осознанная концентрированная обособленность и даже чужеродность, в специфически политическом отношении друг/враг определяющая себя среди других политических союзов, а также к собственному населению. Особое положение суверена (самодержца, «короля в парламенте», народа, нации) экстерриториально и экзогенно в отношении номоса как закона и конкретного пространственного порядка политического тела. Следуя Томасу Гоббсу, «суверен не подчинен тем законам, которые он сам, то есть которые государство, создает. В самом деле, быть подчиненным законам значит быть подчиненным государству, то есть верховному представителю его, что для суверена означает быть подчиненным самому себе» (Гоббс, 2021: 355). Особое положение внаходимости суверена ввиду иных политических союзов и собственных граждан/подданных со-

здает *место*, благодаря которому возможно коллективное действие политического тела, а также его пересборка. Суверен предстает фигурой сборки множественности в единое целое — это “*E Pluribus Unum*” («Из многих — единое») в действии. Благодаря суверену государство-Левиафан как «слияние Бога, человека, зверя и машины» (Шмитт, 2006: 129) приводится в согласованное движение и оживает. Итак, третья ипостась *места* политического тела — это эксцентричное местоположение суверена по отношению к другим политическим союзам и, в лице суверена, к политическому телу самому по себе как к Другому в качестве смертного Бога, т.е. политического объединения людей (смертных).

Наконец, **четвертой** ипостасью *места* политического тела является его отношение к себе, т.е. место самоидентификации и самотождественности, с необходимостью связанное с сакрализацией определенных объектов исторической памяти и культуры. И этому «моральному и собирательному организму» (Ж.-Ж. Руссо) необходимы «скрепы», позволяющие идентифицировать себя как уникального смертного Бога. Эмилио Джентиле в качестве широко распространенных оснований самоидентификации политических союзов рассматривает «религии политического» (или секулярные, светские, мирские религии), среди которых выделяет собственно «политические» и «гражданские» религии, в рамках которых осуществляется сакрализация объектов, относящихся не к трансцендентной, а к имманентной сфере бытия человека и человечества. Примерами сакральных объектов религии политического являются нация, религия, класс, соответствующие известнейшим религиям политического XX века.

Э. Джентиле связывает возникновение религий политического с Великой французской революцией. В тот решающий момент истории «из революционного бурления стихийным образом вышли на поверхность новые символы, представляющие новые верования, пробужденные падением старого режима и мессианским ожиданием новой эпохи, например, алтарь отечества, дерево свободы, трехцветная кокарда; наряду с учреждением новых обрядовых практик, связанных с культом отчизны и празднованием главных событий революции...» (Джентиле, 2021: 114–115). Именно «алтарь отечества» и его сакрализация являются *местом*, в котором современное национальное государство производит самоидентификацию. Герои, мученики, отцы-основатели национальных государств воссоздают своеобразный пантеон, поклонение и благоговение перед которым позволяет производить самоотождествление нации. В той или иной форме подобное место обращения к религиозно культивируемым сакральным (божественным) символам является важным элементом политических союзов, выражающих свою историческую память и культурную идентичность в религиях политического.

Таким образом, мы выделили четыре ипостаси места политического: 1) пространственный номос земли и 2) универсальный «небесный» номос, характеризующий местоположение политического тела в мироздании, а также 3) местоположение суверена как внеположенность к другим политическим телам и 4) «алтарь отечества» как место отношения к себе как к Другому через обращение к сакраль-

ным для политического союза объектам, символизирующим историческую память и культурную уникальность.

Четвероякое место политических тел опознается в мыслеобразе «четверицы» Мартина Хайдеггера, нерасторжимым образом соединяющего место на земле и место в мироздании (на «Небе»), место в отношении Других на земле («смертных») и в отношении сакральных объектов («божественных»), позволяющих идентифицировать себя. Для Хайдеггера «четверица» определяет первичное единство человеческого способа существования, к которому «принадлежат четыре: земля и небо, божественные и смертные. Земля, служащая носительница... Небо — это путь солнца в облаках... времена года, их смена, свет и сумерки дня... Божественные — посланцы божества, что подают знак... Смертные суть люди, их называют смертными... Это “одно-сложенное единство” мы называем четверицей. Смертные существуют в четверице, где они жительствоуют» (Хайдеггер, 2020: 163). Мыслеобраз «четверицы» позволяет усмотреть интегральную связность политических тел, бытийствующих в длящемся времени *χρόνος*.

Итак, политические союзы («политические тела») обрели собственное место и время. Следует понять, каким образом кайротическая темпоральность вмешивается в существование политических тел.

Кайрос как (не)благоприятный момент

Понятие «четверица» осмысляется Хайдеггером в эссе «Bauen. Wohnen. Denken» (1951 г.). В своем исследовании Хайдеггер, среди прочего, задается вопросом о том, как появляется место. В качестве примера он рассматривает мост, переброшенный через реку. Следуя Хайдеггеру, именно мост, соединяя берега, придает им значение берегов, которого ранее не было. Мост объединяет разрозненные ландшафты по разные стороны реки, собирая их единое целое⁷. Мост и есть *место* — это отправной пункт для возникновения целокупной связной картины мира. Символизируя переход, мост не только соединяет берега-локусы на поверхности земли, но и выстраивает связи с горним миром смыслов, ценностей и целей, которые может ставить перед собою человек. Мост как осознанное определенное место в картине мироздания становится элементом пространства, является как бы нитью, при помощи которой становится возможной ткань пространства, сотканная человеком-ткачом. По Хайдеггеру, не пространство как абстрактное всеобщее вместилище порождает места, но пространства получают свою сущность

7. Следует отметить, что Хайдеггер в своем эссе отсылает читателя к знаменитому сочинению одного из основоположников социологии пространства Г. Зиммеля «Brücke und Tür» (1909 г.; в русском переводе — «Мост и дверь»). Зиммель отмечал: «...Мост символизирует экспансию нашей воли в пространство. Только для нас два берега реки не только расположены в двух разных местах, но именно “разделены”. И если бы мы их не соединили — сначала в наших задачах, наших потребностях и нашем воображении — то понятие разделения не имело бы смысла. Однако само это понятие лишь частично описывает природную форму: как нарочно, разделение здесь, кажется, помещено между элементами, которые — посредством соединения и примирения — соединяет дух» (Зиммель, 2013: 146).

из мест. Именно осмысленные, облюбованные человеком места («месторазмещения»), будь то здания или мосты, формируют пространства-расстояния (*spatium*) и пространства-протяженности (*extensio*), в конечном итоге образуя абстракцию всеобщего вместилища.

Хайдеггер последовательно воссоздает антропологическую картину мира, связность которой определяется присутствием человека, близостью и ценностью объектов-мест, которые человек располагает как значимые величины; произвольное исключение, трансформация или повреждение которых воспринимались бы человеком как утрата. В таком очеловеченном мире наличие возможности мыслить пространство абстрактно и применять к нему инструменты исчисления расстояний «ни в коей мере не делает числовые величины основанием для сущности пространств и мест» (Хайдеггер, 2020: 168).

Хайдеггеровская интерпретация места дает возможность понять различные способы вмешательства кайротической темпоральности в организованные человеком пространства, в том числе своеобразным образом устроенные места политических союзов. Для этого обратимся к трудам французского философа, антрополога и культуролога Мишеля де Серто, создающего контекст, в котором употребление термина *kairos*⁸ позволяет смоделировать ситуацию, которая обладает чертами универсализма и позволит нам в дальнейшем связать кайрос и катехон в единую смысловую конструкцию.

Отметим, что для М. де Серто «место — это палимпсест» (де Серто, 2013: 328), многообразие символов и смыслов, иероглиф разума. Развивая идею освоения человеком пространства как чтения чужого и написания собственного письма, де Серто допускает не только освоение, о-привычивание и формирование привязанности, даже интимной близости по отношению к определенным местам, но и избирательность, предпочтение, избегание, забвение неприемлемых мест.

М. де Серто описывает ситуацию «вторжения» времени в пространство, что отчасти и только отчасти можно рассматривать как метафору (пристальный взгляд позволяет распознать буквальный смысл этого образа). С точки зрения французского мыслителя, «различие между пространством и временем дает прагматическую последовательность: в устройство первоначального места (I) мир памяти (II — *metis* — мудрость) встраивается в “благоприятный момент” (III — *kairos*) и производит изменение пространства (IV)... Время здесь — это промежуток, чужеродность, неожиданно приходящая извне и создающая переход от одного состояния места к другому. Короче говоря, между двумя состояниями “равновесия” происходит вторжение времени» (де Серто, 2013: 175). По сути, между двумя состояниями *места* происходит некое действие, благодаря которому накопленное ранее *знание* (или *мудрость* как квинтэссенция памяти) в точно рассчитанный

8. Отметим, что Мишель де Серто использует не греческий вариант написания *кайрос*, а латинский — *kairos*. Мы будем здесь и далее использовать предложенное де Серто написание, памятуя о том, что *кайрос* имеет целый спектр значений, в то время как де Серто интерпретирует *kairos* по преимуществу как «благоприятный момент».

момент (*kairos* в значении благоприятного момента) производит/приобретает эффект улучшения, изменения в желательном направлении.

Предложенная модель указывает на доступный для человека способ «ускорить», «интенсифицировать», «сконцентрировать» время — и этот способ связан с применением мудрости (*metis*) как сокровищницы знаний, запечатленной в памяти — этом хранилище времени. При этом длящееся время *хρόνος* должно вместились в один-единственный момент *kairos*, что только и может позволить преобразовать (преобразить) действительность. Мудрость уравнивает *хρόνος* и *kairos*. Длящееся время как бы просеивается через сито отбора для того, чтобы наиболее значимое в нем произвело нужный эффект.

Таким образом, де Серто формирует теоретическую модель вторжения концентрированного времени в пространство, приводящего к трансформации последнего. В ходе этого вторжения «мудрость» (*metis*)... является «совершенным оружием»... это принцип экономии: при минимуме сил получить максимум результатов», подобный прием дает «увеличение результатов за счет сокращения средств» (де Серто, 2013: 172). Комментируя этот поворот, это переворачивание, де Серто не устает подчеркивать скоротечность и благоприятность возможного преобразовательного эффекта, достигнутого точным попаданием в кайротическую темпоральность. Мудрость, делая ставку на накопленное время, проявляет себя в благоприятный момент, представляя собою как бы собранную в самый маленький том совокупную память человечества. Случай «концентрирует наибольшее знание в наименьшем времени» (Ibid.).

Из этого можно вывести, что по мере накопления знаний человечество способно прийти к ситуации, когда «уплотненное» время в форме совокупных знаний (*metis*) в точках «благоприятного момента» (*kairos*), связанных с преимущественными значимыми открытиями, изобретениями или технологическими прорывами, может серийно, перманентно трансформировать местоположение человека, то есть в конечном итоге физическое и социальное пространство. Здесь кайрос мыслится как «благоприятный момент», а производимые изменения как улучшения. В логике Модерна можно представить этот процесс как поступательный, характеризующийся накоплением и приращением положительных сдвигов и изменений, а его результаты — как прогресс. Тогда мы имеем дело с некой разновидностью «круга благоразумия» (лат. *circulus virtuosus*).

Однако в это оптимистическое представление следует внести определенные модификации. Во-первых, изначальное место, которое де Серто мыслит как устроенное неблагоприятно (а если он нацелен показать некое улучшение, то ретроспективно предшествующее состояние всегда будет качественно уступать последующему), может быть понято гораздо радикальнее — например, как *не-место* в интерпретации Марка Оже.

Этот исследователь повседневной жизни человека в современном мире к не-местам относит «скоростные магистрали, пересадочные узлы, аэропорты... средства транспорта, а также крупные торговые центры и места долговременного

пребывания, приютившие в себе беженцев нашей планеты». Не-места не являются антропологическими местами, т.е. местами, создающими «идентичность, формирующими связи и имеющими отношение к истории», это «пространство, неопределимое ни через идентичность, ни через связи, ни через историю». Современность, понимаемая Оже как гипермодерн, серийно «производит не-места, то есть места, которые сами не являются антропологическими местами», «местами памяти» (Оже, 1992: 18, 36). Мыслитель склонен рассматривать современный мир как пролиферацию не-мест, разрастание средостений соединительной ткани цивилизации. «Мир, в который мы приходим в роддоме и из которого уходим в больницу, в котором множатся... пункты временного пребывания и промежуточного времяпрепровождения — такой мир предлагает антропологу... новый объект для изучения...» (Оже, 1992: 36). Мир, состоящий из не-мест, утрачивает антропологическую перспективу, теряет близость по отношению к человеческому присутствию.

Памятуя о вышеприведенных рассуждениях Хайдеггера о природе места, можно утверждать, что не-места утрачивают те важнейшие характеристики места, которым немецкий мыслитель придает значение. Не-места представляют собою производные от математически обобщенного абстрактного пространства, возникающего отнюдь не в антропологической перспективе, а как отвлеченное представление от обустроенных человеком конкретных мест. В модели де Серто *место* преобразуется в более благоприятное в ходе вторжения концентрированного времени в скоротечный миг благоприятного *kairos'a*. Однако если мы имеем дело с не-местами «по Оже», то мы находимся в бессвязном пространстве средостений, где утрачено человеческое измерение расстояний-между, границ и протяженностей. Это существенно затрудняет выбор как интеллектуальных инструментов из сокровищницы мудрости «по де Серто», так и выбора *kairos'a* в качестве благоприятного момента для приложения знаний. Вызванная господством не-мест неопределенность влечет затруднения в приложении усилий по трансформации того места, которое намечено для этого.

Во-вторых, мудрость или мир памяти, учитывая свойства памяти человека, носит избирательный характер. Что-то в памяти оседает, а что-то из нее исчезает. В эпоху Модерна знания находят свое концентрированное выражение в технической сфере. Однако техническое знание, проводником которого становится человек как *animal laborans*, это отнюдь не мудрость *par excellence*, да и технический прогресс *de facto* не обязательно ведет к тому, что не-места (возможно, возникшие в ситуации перехода) сменяются благоустроенными местами.

В-третьих, само вторжение знания — этого мира памяти и концентрированного времени — происходит в режиме, для которого Поль Вирилио изобрел специальный концепт «дромологии», т.е. непрерывного ускорения событий, ускорения ускорения, то есть рывка⁹. *Aevum temporalis* — земное ангельское время

9. На ускоренное изменение современной цивилизации, «культурно-революционное ускорение», ускорение культурной динамики и «сокращение настоящего» схожим образом указывал Герман Люббе (Люббе, 2019).

бессрочных организаций — в такой перспективе сжимается до вечного настоящего. Возникает мировой всеобщий миг настоящего. Как следствие, «здесь» больше не существует, все существует «сейчас»... «настоящее» — ось симметрии [курсив автора. — Д.П.] проходящего времени» (Вирилио, 2002: 100–101). В такой ситуации дезинтегрируется как пространственно-временная топология жизненного мира человека, так и коррелятивная ему метрика самого человека — из Dasein выпадает принадлежность месту, как и принадлежность различным моментам времени, подразумеваемая историчностью. «Историчность, одна из форм «сжатия времени», ныне сведена к нулю... Временная последовательность разворачивается в «present continue», непреходящем настоящем» (Ibid.).

Таким образом, перманентное вторжение времени в пространство, став безостановочно возобновляемым процессом модификации места, стало новой формой *aevum*, сжатой в точку непрекращающегося настоящего и по своим свойствам приближающейся к *tempus*. Если судить по результатам, то этот процесс амбивалентен. Он все больше и больше использует *kairos* ситуативно, контингентно, а значит, со все более возрастающей вероятностью — в качестве неблагоприятного момента.

Не-место, испытывая воздействие знания на службе по-става, который скорее служит сиюминутным интересам, чем выражает мудрость, т.е. фактически являясь не-мудростью, в не-благоприятное время производит не-место, в еще меньшей степени являющееся антропологическим. В таком случае вместо «крута благоразумия» изменения происходят в режиме «порочного круга» (лат. *circulus vitiosus*). Подобный *kairos* вызывает перманентный кризис в топологии «полного мира», в котором уже есть обширный арсенал ядерного оружия — эта чистая воля к разрушению (К. Шмитт), — когда каждое событие подталкивает к *καὶρός ἔσχατος*, т.е. последним временам.

«Время метанойи» и «сомнамбулическое время»

Предложенная де Серто концепция вторжения времени в пространственные месторасположения (далее — «модель де Серто») отличается оптимизмом и раскрывает возможный способ улучшения изначального места, устроенного неблагоприятно, что может даже происходить циклически.

Модели вторжения времени «по Серто» соответствует «время метанойи» — особой ясности в отношении целей и средств, ведущих к изменению изначального места к лучшему. Для метанойи (греч. μετανοία — раскаяние, перемена ума, перемена мысли, переосмысление) характерен эффект *очнувшегося*, пробужденного сознания, обладающего ясностью, пронизательностью, прозорливостью. Метанойя представляется наиболее удачным термином, который соответствует этой модальности кайротической темпоральности.

В свою очередь, кайротической темпоральности «по Серто» конгениально предложенное Вальтером Бенямином понятие *Jetztzeit* («время-сейчас»). *Jetztzeit*

заключает в себе «окно возможностей»; портал, ведущий в преображенную реальность, что позволяет разглядеть в Jetztzeit признаки мессианского времени. «Действительно, Бенъямин апеллирует к пониманию времени пророками, согласно которому “каждая секунда в нем была маленькой дверью, через которую мог войти Мессия”, и противопоставляет его “гомогенному и пустому времени” исторического процесса» (Иншаков, 2023: 33). Как отмечает И. Иншаков, «время-сейчас» дисконтинуально и выпадает из обыденного, или гомогенного, времени. Jetztzeit актуализируется в кризисный период, открывает новые возможности и является качественной трансформацией повседневного временного ритма. Кайротическая темпоральность в этом случае приоткрывает дверь в лучший мир, во «время после». Именно в такой перспективе мессианского времени следует рассматривать, например, *христоцентричность* истории, сложившуюся в патрологии и вытекающей из нее традиции. Жизнь Христа тогда — это совершенно благоприятный кайрос, в темпоральности которого сама божественная премудрость (этот абсолютный *metis*) вмешивается в человеческую историю, радикально ее преображая. Это беспрецедентное мессианское «время-сейчас» — окно в самую бесконечность божественной реальности. Именно такое христологическое видение истории человечества образует осевую доминанту, например, философско-исторической концепции Хуана Доносо Кортеса. Историю человечества он понимает как историю мистического тела Христова: «Этот божественный учитель... и есть тот универсальный упорядочиватель, который служит средоточием всего... Видимый одновременно как Бог и как человек, он оказывается тем центром, в котором объединяются творящая сущность и сотворенные субстанции» (Доносо Кортес, 2006: 70).

Напротив, «времени метанойи» следует противопоставить «сомнамбулическое время», соответствующее актуализации затуманенного, спутанного, противоречивого, искаженного сознания, которое соответствует кайротической темпоральности в модели вторжения неблагоприятного кайроса с учетом не-мест Оже (далее — «модель Оже»). Кайротическая темпоральность «по Оже» демонстрирует прямо противоположный эффект вторжению времени «по Серто», связанный с тем, что не-место, устроенное изначально заведомо неудовлетворительно, преобразуется вновь в не-место, состояние которого не изменяется в лучшую сторону.

Режимы особой ясности и противоречивой спутанности позволяют сформировать оппозицию «время метанойи/сомнамбулическое время» и противопоставить «модель де Серто» и «модель Оже», описывающие разные модальности вторжения времени в жизненное пространство людей. Таким образом, модели вторжения кайротического времени «по Серто» соответствует время метанойи, в то время как вторжение кайротического времени «по Оже» порождает сомнамбулическое время.

К сожалению, сомнамбулическое время — это мессианское время наоборот, захлопывающее дверь в созидательное преобразование изначального места, — не является редкостью. Периоды распада империй, упадка государственности, «над-

ломы» (Л. Н. Гумилев) и мучительные периоды вызовов-без-ответа, перефразируя А. Тойнби, демонстрируют привычность сомнамбулического времени для политических союзов, часто заканчивающих свой путь в этом агоническом состоянии.

Воспользуемся в качестве примера ситуацией, предшествовавшей Первой мировой войне. Австралийский историк Кристофер Кларк, вскрывая причины Первой мировой войны в фундаментальном исследовании «Сомнамбулы. Как Европа пришла к войне в 1914 году», приходит к выводу, что «главные герои 1914 года были лунатиками, зрячими, но невидящими, преследуемыми кошмарами во сне, но слепыми по отношению к реальности того ужаса, который они собирались принести в мир» (Кларк, 2023: 693). Исследователь отмечает, что Великая война, с точки зрения ее современников, была не неизбежна и даже немыслима вплоть до момента, когда она наступила. Кларк демонстрирует, как надежды, расчеты, опасения, предрассудки и мечты вмешивались в процесс принятия решений ключевыми участниками событий. Эти воздействия, зачастую в форме импульсивных реакций на основе искаженных представлений, заменяющих концентрированный опыт межгосударственного взаимодействия, порождали циклический процесс преобразования не-мест в не-места. Подобную оценку причин Великой войны разделяет и английский историк Джон Киган, указывающий на многочисленные факты неготовности европейских политиков и дипломатов к последовавшим событиям. Так, вопиющей была рассогласованность ведомств, решавших судьбы войны и мира. Например, «систему национальной безопасности разрабатывают политики, дипломаты, главы разведывательных служб... Военные планы являлись совершенно секретными, и знали о них лишь те, кто их непосредственно составлял. В мирное время эти планы не сообщались не только гражданским главам правительств, но зачастую и руководителям других ведомств» (Киган, 2016: 49). Дж. Киган приводит пример, когда командующего итальянским флотом поставили в известность об объявлении войны Австрии в тот же день, когда об этом было объявлено официально. С другой стороны, глава австрийского Генерального штаба, пренебрежительно относясь к министру иностранных дел, не доводил до него точку зрения военных, в частности, по поводу возможности вступления в войну России. Объединенная коллегия политиков, государственных служащих, дипломатов, а также военачальников и руководителей разведки (Комитет обороны Британской империи), призванная обсуждать стратегические вопросы в военной сфере, существовала исключительно в Великобритании с 1902 года. Несмотря на это, командование военно-морскими силами было в значительной степени автономно и выработало собственный план победоносного ведения войны. В Германии вопросами военного планирования занимался исключительно Генеральный штаб, имевший эксклюзивный доступ к кайзеру. Это привело к тому, что из сферы политики в области обороны были фактически вытеснены и военное министерство, и парламент. При этом «отсутствовал механизм, который препятствовал бы... концентрации оценки планов или политики у одного человека, кайзера. Прямой доступ к нему имели почти пятьдесят человек, однако не существовало процедур, позволявших им обсуждать и координировать

свои действия» (Киган, 2016: 79). В подобной неразберихе принимаемые решения были густо подпитаны эмоциями, но не отличались ни дальновидностью, ни принципиальностью, ни тем более гуманистическим контекстом. Как итог, в кризисе, который возник в связи с убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево 28 июня 1914 года и который, словно цунами, развивался практически месяц (!), прежде чем разразился девятым валом начала Великой войны, все решили особенности несовершенной системы кризисного управления: «Монарх, унаследовавший власть по праву рождения, все решал сам. Кайзер и решил. Во время кризиса 1914 года, когда Вильгельм II один мог остановить осуществление плана Шлифена, оказалось, что он не понимает механизма, которым должен управлять. Кайзер, вот уже 10 лет проявлявший к деталям военного планирования все меньший интерес, не стал размышлять о последствиях, и дальнейший ход событий определила стопка исписанной бумаги» (Киган, 2016: 80).

Этот трагический пример демонстрирует, что «модель Оже» в режиме сомнамбулического времени — явление хроническое, а возможно, в своей частотности и вполне сопоставимое, если не превосходящее то явление, которое понято нами как «модель де Серто». В жизни политических союзов людей можно обнаружить многочисленные примеры действия как конструктивных, так и деструктивных каскадов решений на основании достоверных и искаженных знаний, нашедших применение как в благоприятный, так и в неблагоприятный момент. Все это приближает нас к определенным выводам, о которых пойдет речь ниже.

Катехоническая ось кайротической темпоральности

В последней части настоящего исследования выдвигается гипотеза о существовании «катехонической оси» времени людских сообществ. Эта «ось» благодаря амбивалентности катехона, одновременно удерживающего от катастрофы и приближающего к ней, — поскольку «время после» может восприниматься как более привлекательное (даже манящее), чем «время до», — позволяет попеременно запускать как «модель де Серто» с ее «временем метанойи», так и «модель Оже» в режиме «сомнамбулического времени».

Рассмотрим детально эту гипотетическую — противонаправленную и словно бы «обоюдосторонне-вращательную» — механику катехонической оси. Действительно, катехон содержит в себе как смысл удержания, так и смысл трансгрессии — перехода, который открывает новое начало миропорядка тысячелетнего Царства праведников. В этом контексте катехон — это и кордон, и фронтир, он спасает мир от гибели и спасает гибнущий мир в вечность. Катехон, сочетая агональную и литургическую функции, не позволяет разрушить онтологической связи между волей к человечности и действительностью человеческой жизни, спасает от расчеловечивания. В силу чего, в частности, определенное состояние человечества, не соответствующее человечности, задает режим удержания от удержания (см. подробнее: (Попов, 2023: 13–16, 21–22)). Разложение империй и цивилизаций,

предшествующее их гибели, как раз может быть свидетельством той «мерзости запустения» (Дан. 9:27; Мф. 24:15, 16), которая выступает даже не столько триггером гибели, сколько, в качестве социального факта, констатацией того, что механизм самоуничтожения запущен и идет полным ходом.

Немаловажным является и конфликт интересов, выражающийся в противоречии между партикулярной волей меньшинства, обладающего властью, и большинства населения, таковой не наделенной. «Модель Оже», ухудшая с каждой итерацией положение *всех*, вместе с тем удерживает от катастрофы *некоторых*. И если неблагоприятный кайрос для *всех* способствует осуществлению трансгрессивной функции катехона в направлении «времени после», то в отношении *некоторых* катехон удерживает и продлевает «оставшееся время». Кайрос катехона, таким образом, удерживает «оставшееся время» и приближает «время после» одновременно. В ситуации преобладания «времени метанойи» опора на мудрость и точный выбор момента кайроса усиливают сдерживающие факторы и улучшают характеристики места в ходе «вторжения времени». Если же преобладает режим «сомнамбулического времени», то происходит противоположный процесс: на изначальное не-место в спонтанно выбранный момент времени, являющийся неблагоприятным кайросом, оказывается некое преобразующее воздействие, под которое впоследствии подбирается оправдание из сокровищницы человеческих знаний (место *sapientia* или *metis*, следуя де Серто, замещает *ignorantia* и даже *contumelia* — высокомерие, гордыня). Это влечет ухудшение изначального не-места и порождает его новое состояние не-места-2, и — далее — не-места-п с каждой п-й итерацией, что усугубляет процесс. В таком сочетании кайрос катехона запускает режим трансгрессии, способствующий сокращению «оставшегося времени» и приближения «времени после».

Мы далеки от фаталистической интерпретации действия «катехонической оси» — катехон не джаггернаут¹⁰, не неумолимый рок. Смена акторов, «пробуждение» лиц ко «времени метанойи» способны при всей инерции процессов, относящихся к людским сообществам, изменить направление «вращения» катехонической оси. Важно суметь подобрать благоприятный кайрос и использовать богатства сконцентрированного в мудрости времени для того, чтобы катехоническая ось изменила скорость, а может быть, и направление своего «вращения». Однако есть и понимание того, что даже в относительно благополучное время самоуспокоенность людей может спровоцировать наступление режима «сомнамбулического времени» со всеми вытекающими последствиями.

Представляется, что в условиях всегда актуальной возможности наступления «сомнамбулического времени» катехон как сумма сил сдерживания — это «время успешного действия» (каίρος), непрерывно восстанавливающего связность пространственного и политико-культурного порядка сосуществования конкурирующих государств, культур, цивилизаций. «Оставшееся время» производно от выбора, совершаемого в кайротической темпоральности.

10. Понятие *джаггернаут* (англ. Juggernaut) используется для обозначения действия слепой и/или непреклонной силы, идущей неудержимо напролом сквозь любые преграды.

Заключение

Итак, в ходе исследования была выявлена связь между кайро́с'ом в качестве узлового момента длящегося времени *χρονος* и катехоном — неявной совокупностью факторов, удерживающих от катастрофы и продлевающей «оставшееся время» человеческих сообществ и самого человечества. Показано, что кайрос и катехон комплементарны друг другу. Если кайрос — это экстремальный период хроноса, то катехон — та связывающая и удерживающая сила, которая обращает кайрос в благоприятный момент, продлевая «оставшееся время». В такой перспективе история предстает как цепь кайросов.

Наши рассуждения привели к экспликации двух моделей взаимодействия кайроса и катехона: «модели де Серто» и «модели Оже». В одной доминирует удерживающее начало катехона, в другой — трансгрессивное, приближающее катастрофу и «время после». Эти модели связаны «катехонической осью» и актуальной возможностью взаимного со-порождения. В определенном смысле «катехоническая ось» воплощает метафору Якоба Таубеса о «сопряжении противостремительного». Учитывая то обстоятельство, что мы живем в непрекращающемся настоящем, которое тождественно перманентному кризису, существует актуальная возможность установления режима «сомнамбулического времени», соответствующего «модели Оже». Такая темпоральность порождает цепь неблагоприятных кайросов со стремительным лавинообразным обрушением связности, благодаря чему возможно возникновение цепной разрушительной реакции, подобной той, что случается в ходе ядерного взрыва.

В финале кинофильма «Оппенгеймер» (Oppenheimer, 2023 г.) в ходе диалога Р. Оппенгеймера с А. Эйнштейном, уже после испытания Trinity и бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Оппенгеймер напоминает Эйнштейну о волновавшей ученых теории о том, что *цепная реакция* от первого атомного взрыва уничтожит весь мир. Этого не случилось, но Оппенгеймер задумчиво произносит: «Мне кажется, мы *ее* [цепную реакцию. — Д. П.] запустили». Представляется, в современном мире, находящемся на грани окончательной и бесповоротной цепной реакции самоуничтожения, всем нам «необходимо “улучать” (“мудро использовать”; церковнослав. пер. “искупать”) каждый посылаемый Богом благоприятный момент (ἐξαγοράζομενοι τὸν καιρόν) на фоне исполненных разными соблазнами “лукавых” дней» (Юревич, 2020: 30).

Литература

- Агамбен Дж. (2019). Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления. М.: Институт Гайдара; СПб.: Факультет свободных искусств и наук.
- Арендт Х. (2017). Vita Activa, или О деятельной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс.
- Вирилио П. (2002). Информационная бомба. Стратегия обмана. М.: Гнозис; Фонд «Прагматика культуры».
- Гоббс Т. (2021). Левиафан. М.: РИПОЛ классик.

- Джентиле Э. (2021). Политические религии. Между демократией и тоталитаризмом. СПб.: Владимир Даль.
- Доносо Кортес Х. (2006). Сочинения. СПб.: Владимир Даль.
- Зиммель Г. (2013). Мост и дверь // Социология власти. 2013. № 3. С. 145–150.
- Инишаков И. (2023). Концепция мессианского времени у Вальтера Бенямина и ее политические импликации // Социологическое обозрение. Т. 23. № 3. С. 29–47.
- Канторович Э. (2015). Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Киган Дж. (2016). Великая война. 1914–1918. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус.
- Кларк К. (2023). Сомнамбулы: Как Европа пришла к войне в 1914 году. М.: Издательство Института Гайдара.
- Люббе Г. (2019). В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Мюнклер Г. (2015). Империи. Логика господства над миром: от Древнего Рима до США. М.: Кучково поле.
- Оже М. (1992). Не-места. Введение в антропологию гипермодерна. М.: НЛЮ.
- Попов Д. В., Полякова Н. Б., Шадрин А. А., Яркеев А. В. (2021). Хронополитика как политическая онтология времени (биополитический аспект) // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. Т. 31. № 1. С. 5–18.
- Попов Д. В. (2023). Катехон: к вопросу о политико-теологических основаниях международной справедливости // Социологическое обозрение. Т. 22. № 4. С. 13–25.
- Серто М. де (2013). Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Таубес Я. (2023). Западная эсхатология. СПб.: Владимир Даль.
- Учаев Е. И. (2023). Понятие катехона у Карла Шмитта: в поисках иного универсализма? // Социологическое обозрение. Т. 22. № 4. С. 26–45.
- Учаев Е. И. (2024). Катехоническая темпоральность и политическая форма: к обоснованию двойного представительства // Социологическое обозрение. Т. 23. № 3. С. 146–176.
- Филиппов А. Ф. (2015). Ханна Арендт и Карл Шмитт: два понятия политического // Современное значение идей Ханны Арендт. Материалы международной конференции. Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта. С. 52–65.
- Хайдеггер М. (2020). Строительство, жительство, мышление. Перевод и примечания: Колесникова Дарья Алексеевна // Журнал фронтирных исследований. № 1. С. 157–173.
- Шалларь В. (2024). Ангелы и способы производства. Эгалитэ: Неверленд.
- Шмитт К. (2006). Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. СПб.: Владимир Даль.
- Шмитт К. (2024). Политическая теология II. Легенда об упразднении любой политической теологии / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова. М.: Владимир Даль.

Юревич Д., прот. (2020). Время и вечность в Священном Писании Нового Завета//Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии. № 4 (8). С. 23–46.
Яркеев А. В. (2024). Катехон как теолого-политическая парадигма мирового порядка// Социологическое обозрение. Т. 23. № 1. С. 135–159.

Kairos and Katechon: On the Conditions for (Not) Extending the “Remaining Time”

Dmitry V. Popov

Doctor of Philosophical Science, Associate Professor, the Head of Department of Philosophy and Political Science. Omsk Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation.

Address: 7, Komarova Str., Omsk, 644092 Russian Federation

E-mail: DmitriVPopov@mail.ru

The article examines the concept of Christian eschatology, the katechon, conceived as a set of factors that keep humanity from a planetary catastrophe within the framework of the temporality of the “remaining time”. Based on the promise of Christian theology about the inevitability of the coming of the end of time, the conditions for (not) prolonging the remaining time are discussed. The introduction demonstrates the relevance of this issue and sets a general theoretical framework for the study. In the first part, the description of the temporality of “political bodies” used by E. Kantorovitz distinguishes between the time of mortals (*tempus*) and the eternity of angels (*aevum*), whose combination of urgent eternity constitutes the time of political unions. An appeal to the ancient and New Testament tradition of distinguishing between lasting time (*χρόνος*) and fateful moments (*καιρός*) allows us to interpret the time of political bodies as a chain of (not)favorable events *καιρός*, each of which may be the last. The second part defines the place of political bodies as a constellation of (1) territorial position on earth, (2) spatial position in the universe, (3) points of application of forces in relation to Another, and (4) places of self-identification. In the main part, the possible outcomes of the intervention of the temporality of *kairos* in the existence of political bodies are modeled. The de Certeau model is proposed, in which the intrusion of time in the form of concentrated wisdom (*metis*) into the original place leads to its improvement, as well as the Auge model, in which the opposite trend of successive deterioration of the original place occurs. The fourth part describes the temporalities of “metanoia time” and “somnambulistic time”, corresponding to the invasion of (un)favorable *kairos* in the Certeau and Auge models. It is concluded that the reconstructed temporalities correlate with the katechonic modalities of deterrence and transgression in the horizon of *ᾧπα* (“time set by God”). In the final section, both models are combined in the concept of a “katechonic axis”, which both holds back the onset of disaster and pushes towards it, depending on how much people recognize a favorable *kairos*. In conclusion, it is concluded that the katechon as the sum of the forces of deterrence corresponds to the time of successful action in the conditions of the temporality of *kairos*, which contributes to the restoration of the coherence of the spatial and political-cultural order of the coexistence of political unions and humanity in general. The “remaining time” lasts exactly as long as a katechonic successful action is possible.

Keywords: political theology, katechon, *kairos*, time, place, transgression, deterrence, containment, katechonic axis

References

Agamben G. (2019) *Carstvo i Slava. K teologicheskoy genealogii ekonomiki i upravleniya* [Kingdom and Glory. Towards a theological genealogy of Economics and Management], Moscow: Institut Gajdara; Saint. Petersburg: Fakul'tet svobodnyh iskusstv i nauk.

- Arendt H. (2017) *Vita Activa, ili O deyatel'noj zhizni* [The Human Condition], Moscow: Ad Marginem Press.
- Augé M. (1992) *Ne-mesta. Vvedenie v antropologiyu gipermoderna* [No-place. Introduction to the anthropology of hypermodernity], Moscow: "NLO".
- Certeau M. de (2013) *Izobretenie povsednevnosti. 1. Iskustvo delat'* [The invention of everyday life. 1. The art of making], Saint Petersburg: Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
- Clark C. (2023) *Somnambuly: Kak Evropa prishla k vojne v 1914 godu* [Somnambulists: How Europe came to war in 1914], Moscow: Izdatel'stvo Instituta Gajdara.
- Donoso Cortez J. (2006) *Sochineniya* [Essays], Saint Petersburg: "Vladimir Dal".
- Filippov A. F. (2015) Hanna Arendt i Karl SHmitt: dva ponyatiya politicheskogo [Hannah Arendt and Carl Schmitt: Two concepts of the political]. *Sovremennoe znachenie idej Hanny Arendt. Materialy mezhdunarodnoj konferencii* [The modern meaning of Hannah Arendt's ideas. Materials of the international conference], Kaliningrad: Izdatel'stvo Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta, pp. 52-65.
- Gentile E. (2021) *Politicheskie religii. Mezhdru demokratiei i totalitarizmom* [Political religions. Between democracy and totalitarianism], Saint Petersburg: "Vladimir Dal".
- Heidegger M. (2020) *Stroitel'stvo, zhitel'stvovanie, myshlenie* [Building, living, thinking]. Translation and notes: D. A. Kolesnikova. *Journal of Frontier Studies*, no 1, pp. 157-173.
- Hobbes T. (2021) *Leviafan* [Leviathan], Moscow: RIPOL klassik.
- Inshakov I. (2023) *Koncepciya messianskogo vremeni u Val'tera Ben'yamina i ee politicheskie implikacii* [Walter Benjamin's concept of Messianic time and its political implications]. *Russian Sociological Review*, vol. 23, no 3, pp. 29-47.
- Kantorovicz E. (2015) *Dva tela korolya. Issledovanie po srednevekovoj politicheskoi teologii* [The two bodies of the king. A study on medieval political theology], Moscow: Izd-vo Instituta Gajdara.
- Keegan J. (2016) *Velikaya vojna. 1914-1918* [The Great War. 1914-1918], Moscow: KoLibri, Azbuka-Attikus.
- Lübbe G. (2019) *V nogu so vremenem. Sokrashchennoe prebyvanie v nastoyashchem* [Keeping up with the times. A shortened stay in the present], Moscow: Izd. dom Vyshej shkoly ekonomiki.
- Münkler H. (2015) *Imperii. Logika gospodstva nad mirom: ot Drevnego Rima do SSHA* [Empires. The logic of world domination: from Ancient Rome to the USA], Moscow: Kuchkovo Pole.
- Popov D. V. (2023) Katechon: on the issue of the political and theological foundations of international justice. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 4, pp. 13-25.
- Popov D. V., Polyakova N. B., Shadrin A. A., Yarkov A. V. (2021) *Hronopolitika kak politicheskaya ontologiya vremeni (biopoliticheskij aspekt)* [Chronopolitics as a political ontology of Time (biopolitical aspect)]. *Bulletin of the Udmurt University. The Philosophy series. Psychology. Pedagogy*, vol. 31, no 1, pp. 5-18.
- Schmitt C. (2006) *Leviafan v uchenii o gosudarstve Tomasa Gobbssa* [Leviathan in Thomas Hobbes' Doctrine of the State], Saint Petersburg: "Vladimir Dal".
- Schmitt C. (2024) *Politicheskaya teologiya II. Legenda ob uprazhnenii lyuboj politicheskoi teologii* [Political Theology II. The legend of the abolition of any political theology]. (Translated by O. V. Kildyushov), Saint Petersburg: "Vladimir Dal".
- Shallar V. (2024) *Angely i sposoby proizvodstva* [Angels and methods of production], Egalite: Neverland.
- Simmel G. (2013) *Most i dver'* [Bridge and Door]. *Sociology of Power*, no 3, pp. 145-150.
- Taubes J. (2023) *Zapadnaya eskhatologiya* [Western eschatology], Saint Petersburg: "Vladimir Dal".
- Uchaev E. I. (2023) The Concept of Katechon in the Thought of Carl Schmitt: Towards a Different Universalism? *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 4, pp. 26-45.
- Uchaev E. I. (2024) *Katekhonicheskaya temporal'nost' i politicheskaya forma: k obosnovaniyu dvojnogo predstavitel'stva* [Katechontic Temporality and Political Form: Towards Double Representation]. *Russian Sociological Review*, vol. 23, no 3, pp. 146-176.
- Virilio P. (2002) *Informacionnaya bomba. Strategiya obmana* [An information bomb. The strategy of deception], Moscow: Gnozis; Fond "Pragmatika kul'tury".

- Yarkeev A.V. (2024) Katekhon kak teologo-politicheskaya paradigma mirovogo poryadka [The Katechon as a Theologo-political Paradigm of the World Order]. *Russian Sociological Review*, vol. 23, no 1, pp. 135-159.
- Yurevich D., prot. (2020) Vremya i vechnost' v Svyashchennom Pisanii Novogo Zaveta [Time and Eternity in the Holy Scriptures of the New Testament]. *Proceedings of the Department of Theology of the St. Petersburg Theological Academy*, no 4, pp. 23-46.

Плебейский республиканизм: конец олигархии или аристократии?

Олег Хархордин

PhD, профессор Исследовательского центра Res Publica, Европейский университет в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Гагаринская, д. 6/1, Санкт-Петербург, 191187 Российская Федерация
E-mail: kharkhor@eu.spb.ru

Статья рассматривает относительно новое течение внутри классической республиканской традиции — плебейский республиканизм. Оно характеризуется особым вниманием к интерпретации трудов Макиавелли как автора, настаивавшего на продуктивном характере конфликта между патрициями и плебсом в Риме республиканских времен и надеявшегося подобным же образом институционализировать конфликт между народом и знатью в современной ему Флоренции. Исходя из такого прочтения Макиавелли, предлагается возродить институт народных трибунов и в нынешних либерально-демократических системах, чтобы предотвратить их неизбежную с точки зрения плебейского республиканизма олигархизацию. Трибунат может формироваться как на местном или региональном, так и на федеральном либо национально-государственном уровне. Для этого он должен опираться на разветвленную сеть первичных народных собраний. Статья рассматривает разные варианты предлагаемых подобных реформ и оценивает их последствия как в западных политических системах, так и в России.

Ключевые слова: классический (гражданский) республиканизм, плебейский республиканизм, Макиавелли, Кондорсе, трибуны плебса, делиберация, импичмент, референдум

На прошедшей в Венеции 24–26 июня 2024 года четвертой Всемирной конференции по классическому республиканизму¹ одной из основных тем стало противопоставление элитистского республиканизма тому, что некоторые авторы называют «плебейским республиканизмом». В элитистский вариант оказываются записаны все те концепции республиканизма, которые подчеркивают, что элиты (т.е. те группы населения, которые отличаются от простого народа знатностью происхождения, а также благородством, богатством, знаниями, популярностью или технократической экспертизой) лучше подходят для управления политическим сообществом или для принятия финальных решений по вопросам правления. Обычно этот тезис обосновывается тем, что хорошо устроенные процедуры правления ограничивают или сдерживают представителей элит, когда последние занимают властные позиции, и потому они правят и в интересах простого народа, утверждая и поддерживая политическую свободу для всех.

В элитистский республиканизм оказались включены, таким образом, не только античные концепции *res publica* у Полибия и Цицерона, но и ренессансные концепции неоримских авторов вроде Гвиччардини, друга Макиавелли, нововременной республиканизм Монтескье, а также труды одного из отцов-основателей США Мэдисона. Из современных авторов в элитисты попали основные авторы Кем-

1. См. <https://www.univiu.org/images/conferences/Republics%202024%20Program.pdf> (дата доступа: 03.01.2025)

бриджской школы истории понятий (Покок и Скиннер), ну и, конечно же, Филипп Петтит. Все эти современные элитисты якобы неправильно прочли Макиавелли, который подчеркивал исключительно полезный характер конфликта между плебсом и патрициатом, когда анализировал уроки Римской республики, чтобы найти рецепты для политической жизни современной ему Флоренции. Те же, кто базируется на этой «конфликтной» версии интерпретации Макиавелли, утверждают, что начиная с его книги «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» плебейский республиканизм стал одним из мощных течений мысли, оспаривающих право элит на занятие места власти. После Макиавелли о передаче власти простому народу говорили такие республиканские авторы, как Кондорсе во время Французской революции и Джефферсон — во время Американской; в XX веке эту традицию продолжали Роза Люксембург и Ханна Арендт. В этой статье я подробно остановлюсь на трех книгах в рамках этой «плебейской» точки зрения, вышедших за последние 15 лет, — Джона Маккормика, Лоренса Хэмилтона и Камилы Вергары².

Сама попытка открыть новый вид республиканизма, опираясь на прочтение *Discorsi* и «Истории Флоренции» у Макиавелли, не удивляет. Авторы, писавшие обзорные работы по истории республиканизма, всегда подчеркивали, что Макиавелли стоит особняком среди авторов «неоримской» традиции, так как он почти единственный подчеркивал продуктивный характер конфликта между плебсом и патрициями, который якобы и привел Рим к величию (см., например: Одье, 2021: 32, 43–45). Новостью стало то, что, во-первых, исходя из этого прочтения Макиавелли, авторы плебейской школы республиканизма предложили проект институциональной реформы на уровне политической системы отдельной страны. Это казалось до недавнего времени невозможным.

Автор этих строк, например, многие годы утверждал, что элементы республиканизма если и развиваются сейчас, то только на до- или наднациональном уровне, поскольку концентрация насилия в руках мощных централизованных национальных государств лишила, начиная с раннего Нового времени, непарламентские республиканские образования, типа Венеции, Флоренции, Новгорода, Рагузы или швейцарских кантонов, способности конкурировать с этими государствами в военном отношении, что и привело к ликвидации или маргинализации классических республик. Потому и нынешнее национальное государство, если захочет, легко раздавит любые республиканские эксперименты на уровне муниципальных или региональных свобод. Второй же новостью от плебейской школы республиканизма стала простота предлагаемой реформы: для воссоздания неоримской свободы в современных национальных государствах *надо снова институционализировать трибунов плебса*³. Но обо всем — по порядку.

2. Сюда же можно отнести книгу Мартена Бро, хотя она не дает рецептов для сегодняшнего дня, как делают выбранные мною трое авторов, а ограничивается пересказом истории трибунов плебса в Риме, анализом опыта якобинцев и санкюлотов во время Французской революции, и заканчивается Парижской коммуной 1871 г. (см.: Breaugh, 2016); оригинал на французском языке вышел в 2007 г.

3. Про концептуализацию роли и функций трибунов плебса в классической римской политической мысли см.: (см.: Павлов, 2022).

1

Профессор Чикагского университета Джон Маккормик в книге «Макиавеллиевская демократия» (McCormick, 2011) опирался на известное противопоставление в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» (см. например: *Discorsi* 1.3, 1.4 и 1.16) двух *umori*, т.е. гуморов (умонастроений или склонностей), которыми отличались друг от друга во Флоренции его времени *grandi* (великие люди) и *popolo* (народ), а в Риме — нобили и плебс. Если первые хотят власти ради величия, вторые хотят свободы от этой власти, и часто не ради самой свободы, а для безопасности от злоупотреблений со стороны «больших людей». Потому введение институтов трибунов плебса в Риме было залогом успеха: трибуны защищали народ, и конфликты «народ–знать», которые иначе бы приводили к разрушению республики, в течение долгого времени имели институциональную форму и потому продуктивно решались внутри.

Сами «Рассуждения» можно интерпретировать как попытку Макиавелли убедить флорентийских *grandi* не соглашаться на венецианскую модель «смешанного правления», которая была введена за счет лишения больших масс народа (*popolani*) прав гражданства, чего Макиавелли не принимал. Такое смешанное правление в Венеции — т.е. смесь монархического (дож), аристократического (Сенат) и демократического (собрание всех патрициев старше 25 лет на Великом совете во Дворце дожей) элементов, которые контролируют и сдерживают друг друга, — якобы гарантировало долговечность такому строю, что и воспел в своей книге в середине XVI века венецианец Гаспаро Контарини. Однако подобное правление исключило большие массы народа из участия в управлении республикой, сначала в XIII веке, когда в результате *Serrata* (определения списка фамилий тех патрицианских семей, чьи отпрыски имели права полного гражданства) на основные должности перестали избирать непатрициев, а потом в 1427 году, когда совсем отменили *arengo*, т.е. народное собрание, напоминавшее новгородское вече. Макиавелли же, служивший секретарем Флорентийской республики уже после того, как в 1494 году был радикально расширен Большой совет, что, в свою очередь, дало доступ к управлению республикой более широким слоям, мог видеть свою задачу именно в институционализации конфликта между нобилиями и народом.

Исходя из этой интерпретации, Маккормик сделал вывод: для улучшения современной либеральной демократии тоже нужны институты, основанные на классовом делении страны. Неимущие должны иметь своих особых трибунов, так как в противном случае богатые станут господствовать не только за счет своей близости к исполнительным властям или по причине превращения в оные, но еще и потому, что им легче заниматься всеми видами политической или гражданской деятельности. Необходимо ввести Трибунат на уровне федерального правительства США в виде коллективного органа из 51 человека, избираемого по жребию из числа неимущих, причем никто не может быть его членом больше одного срока, а сам Трибунат должен избираться только на один год, во избежание олигархиза-

ции. Важно, что Трибунат опирается не на идею *inclusion* (включить бедных в систему управления страной), а на идею *exclusion* (например, богатых, принадлежащих к двадцати верхним процентам населения США по своим годовым доходам, по определению нельзя даже номинировать в кандидаты в Трибунат). Такой коллективный трибунский орган будет иметь: а) негативную власть — способность раз в год отменять (после голосования большинства членов Трибуната «за») один федеральный закон, одно решение президента или другого уровня исполнительной власти, и одно решение Верховного суда; б) позитивную власть — раз в год инициировать референдум по новому законодательству; в) власть преследования за преступления, когда при условии голосования $\frac{3}{4}$ членов Трибуната можно будет начать импичмент в отношении любого должностного лица (процесс импичмента, однако, будет проводить Сенат, т.е. верхняя палата Конгресса США; Маккормик просто предложил забрать власть организации импичмента у палаты представителей и передать ее Трибунату).

В 2011 году журнал *Good Society* опубликовал серию статей — комментариев, посвященных этой книге Маккормика. Одна из статей, например, сравнивала инициативы Маккормика с уже идущими экспериментами по внедрению элементов классического республиканизма в жизнь (Smith, Owen, 2011). Например, Калифорния гарантирует своим гражданам право *direct legislation* (прямой законодательной инициативы от самих жителей штата, на базе коллективно подписанной петиции). Но для того чтобы запустить такую петицию, надо собрать за 150 дней количество подписей, равное числу 5% проголосовавших на последних калифорнийских выборах, т.е. примерно 400 000. Собрать такое количество подписей без оплаченных сборщиков подписей на улицах невозможно, что задает барьер для таких инициатив. В 2011 году для организации законодательной инициативы напрямую от народа надо было иметь около 1 млн долл. Получается, что Трибунат Маккормика, если бы он был введен на уровне штата, снимал бы это препятствие.

Другой элемент современного практического республиканизма — это создание мини-публик (*mini-publics*), когда набранные жребием 25–50–100 человек (но так, чтобы, собранные вместе, они отражали половозрастную структуру города или штата, для которого проводится этот эксперимент, т.е. чтобы выборка была репрезентативна) обсуждают, тщательно взвешивая все «за» и «против», что надо сделать по определенному вопросу. Обычно такие мини-публики собираются на уикенд, но бывали и эксперименты, как в гражданской ассамблее канадской провинции Британская Колумбия, когда члены собрания обсуждали основные реформы политической жизни провинции в течение многих месяцев. Как писал один из авторов идеи создания мини-публик Джеймс Фишкин, идея здесь заключается в том, что обычный гражданин не успевает обсудить вопросы, выносимые на голосование в штате и провинции, а мини-публика успевает. Поэтому исход делиберативного обсуждения среди этих 50–100 человек важен, так как получается, что мы можем спрогнозировать, к какому бы мнению пришел штат или провинция, если бы все граждане имели время и шанс в этом обсуждении поучаст-

вывать, а не просто ставили крестики в бюллетене для голосования (Fishkin, 1997: 162). Трибунал Маккормика дает лучшие результаты и в этом отношении. Богатые, если они участвуют в обсуждении, влияют на повестки дня таких обсуждений и мнения участников, так как обладают большим образованием, информацией и культурными ресурсами, например, лучшей риторикой речей и т.п. Трибунал же попросту исключает их из обсуждения, давая народному мнению возможность кристаллизироваться без влияния на него богатых.

Ну и третий элемент практического республиканизма — партиципаторное бюджетирование (ПБ) — тоже несколько проигрывает по сравнению с Трибуналом. Да, даже в Порту-Алегри, первом городе, где начали делать ПБ, действительно произошло радикальное улучшение городской инфраструктуры в бедных районах, а богатые фактически не ходили на собрания по ПБ, так как понимали, что там, исходя из условий обсуждения, все равно выиграют проекты по улучшению инфраструктуры жизни в бедных районах. Но Трибунал дал бы возможность обсуждать те вопросы, которые массы редко выставляют как темы для обсуждений внутри проектов по ПБ. Внимание к дорогам внутри района, местным клиникам, локальным школам блокирует обсуждение таких тем, как экология или экономика, на уровне всей провинции либо страны, или финансовые инициативы в этих областях.

Возможно, почувствовав очевидную популярность своих предложений, Маккормик в одной из последних статей пошел еще дальше, и предложил классовый подход и в определении наказаний, которые может требовать Трибунал в результате импичмента. Учитывая, что обездоленные и неимущие неизмеримо чаще оказываются на скамье подсудимых, а власть имущие либо отщелачиваются минимальными или условными сроками, либо вообще уходят от ответственности, то, согласно Маккормику, стоило бы ввести смертную казнь как результат импичмента. Только такая действенная угроза (она должна стать частью обыденного понимания того, что значит занять государственную должность) заставит потенциальных коррупционеров во власти опасаться преследований со стороны Трибунала (McCormick, 2024: 314). Иными словами, Трибунал здесь превращается в Трибунал.

Надо понимать, однако, что, чтобы его ввести, сами индейки или гуси должны еще проголосовать за то, что их будет раз в год ожидать неминуемое Рождество, а такое, наверное, в ближайшее время кажется нереалистичным, по крайней мере, на уровне введения новшеств через поправки к Конституции США.

2

Камила Вергара из бизнес-школы Эссекского университета соединила предложения Маккормика с размышлениями о том, что она называет «системной коррупцией» (Vergara, 2020). Ее интерес вызывает не то, что мы обычно сейчас называем коррупцией, т.е. нелегальные действия, в которых замешаны индивидуальные госслужащие (например, взятки, фальсификация документов для своей выгоды,

непотизм и пр.), а то, что в классической республиканской литературе часто считалось основной угрозой республике в целом. Это разложение нравов, которое, согласно еще античной политической теории, ведет к превращению хорошей формы правления (монархия, аристократия, полиция) в свою противоположность (тирания, олигархия, охлократия), когда правящие (один, немногие лучшие, или все) начинают править не ради общего блага, а ради своего. Системная коррупция — это разложение системы правления в целом, сползание ее в свою противоположность, а не преступления отдельных индивидов, которых можно и нужно за это покарать.

Такое системное разложение либеральной демократии, которую Вергара хочет улучшить или защитить, заложено, например, в тенденции к неминуемой олигархизации. Под олигархией у нее понимается концентрация собственности и власти в руках небольшого числа лиц правящей верхушки, которую она наблюдает, например, в Чили или США. Таким образом, в ее концепции коррупция в странах Западной Европы или Америки рассматривается не как влияющие на политический процесс действия отдельных коррумпированных чиновников (в данном случае они являются отдельным видом *input*, вкладом в политическую систему или же воздействием на нее), а как *output*, результат, когда система начинает работать в пользу небольшого слоя власть имущих, ущемляя интересы большинства. Надо перенести наше внимание с отдельных коррупционеров (это, согласно Вергаре, следствие нашего индивидуалистического подхода к жизни), на то, как система может дряхлеть, загнивать и в целом превращаться в свою противоположность. Причем, олигархизация не есть универсальное зло. Например, Аристотель отмечал, что проблемой Афин его времени стало то, что полис стал платить деньги бедным за исполнение роли судей или за осуществление других, как мы сказали бы сейчас, «госфункций». В результате власть этих масс стала выше власти закона, и демагоги, увлекающие народ безответственными речами, превратили его в деспотического самодержца. Аристотель поэтому выступал за смешанное правление, состоящее из сочетания олигархии и демократии, ограничивающее системную коррупцию чистого демократического строя.

Но Аристотель и коррупция полисной демократии — дела давно минувших дней. Вергару не устраивает системное разложение нынешней доминантной формы правления — либеральной демократии. И связано это как с олигархизацией самой системы, так и с элитизмом наиболее популярных сейчас концепций республиканизма, которые ее якобы обосновывают. Народ в них либо игнорируется, либо описывается так, что у него нет реальной возможности повлиять на власть имущих. Макиавелли видел: хотя Большой совет Флоренции его времени имел номинально самую большую власть, покупка наемников для военной защиты республики зависела от средств *grandi*, и они поэтому имели диспропорционально большую силу в обсуждениях того, что делать. Более того, «большие люди» Флорентийской республики развращали народ, навязывая свое мировоззрение, иногда утверждаемое и через принимаемые под их влиянием законы. Макиавелли,

напротив, хотел институционализировать конфликт между патрицианскими семьями и народом для гарантий политической свободы и для движения республики к величию.

Нынешние же авторы данное обстоятельство игнорируют — как, например, Джон Покок в «Моменте Макиавелли». Потому лучше бы было назвать эту знаменитую книгу «Момент Гвичардини», ведь именно этот теоретик и коллега Макиавелли открыто защищал интересы знати. Покок же в своей интерпретации якобы приписал элитистскую позицию Гвичардини радикальному республиканцу Макиавелли. Квентин Скиннер, согласно Вергаре, тоже ошибается. Он считает коррупцию в республике «нарушением рациональности», неспособностью отдельных людей — как когда-то во Флоренции, так и сейчас — увидеть, что, если хочешь быть свободным, надо трудиться ради общего блага. Но такая позиция Скиннера напоминает проповеди в пользу бедных, т.е. основывается на наивной вере в то, что можно убедить власть имущих отказаться от своих доминантных позиций в системе власти⁴. К элитистам, согласно Вергаре, относится и Петтит. В своих концепциях *virtuous vigilance* (доблестной бдительности граждан, которые следят за недолжным поведением властей) и *contestatory citizenship* (граждан, которые постоянно оспаривают неправомерные действия властей, например, через суды) Петтит просто рассказывает сказки.

Исходя из реальности чилийских и американских судов, она спрашивает: как можно возлагать на отдельного гражданина способность ограничивать могущественные правящие слои? Судебные издержки многим не по карману; времени нет, так как надо зарабатывать на жизнь; культурных ресурсов для победы в тяжбе часто не хватает; да и вообще само сутяжничество очень неприятное занятие! Получается, что Петтит предлагает нереалистичные методы ограничения власти, а значит, работает на власть имущих. А в это время происходит олигархизация либеральной демократии. Признаками этой коррупции, т.е. разложения всей системы власти, являются, во-первых, идеологическое господство неолиберализма и, во-вторых, действия (или бездействие) правительств по ограничению, например, финансовых махинаций, которые привели к обогащению немногих и всемирному экономическому кризису 2008 года.

Либеральная демократия, согласно Вергаре, может вести страну к одной из двух обычных возможностей своего разложения. Во-первых, это характерная для Чили и Америки олигархическая демократия, когда все еще сохраняются независимый суд и права человека, но на уровне исполнительной власти не представлены интересы многих неимущих и обездоленных. Во-вторых, либеральная демократия может стать иллиберальной демократией, где большинство, представленное доминантной силой в правительстве, давит интересы различных меньшинств,

4. Скиннер, насколько мне известно, не обсуждает эти упреки в своих недавних работах. Однако, согласно его ранее высказанным взглядам, интерпретации Макиавелли в стиле Маккормика и Вергары грешат ошибкой предвосхищения или анахронизма — приписывания флорентийцу терминов, которые он сам не использовал и сам бы не понял (см.: Дмитриев, 2024: 252).

не согласных с ним. Конечно, возможна и иллиберальная олигархия (правит меньшинство, которое опирается на насильственное подавление протеста, причем независимого суда нет, и права человека не соблюдаются), но до этого еще далеко.

Когда Вергара писала свою книгу, для многих примером иллиберальной демократии (сам термин взят у Фарида Закарии) являлась Венгрия Виктора Орбана. Но для Вергары более важным примером могла быть и Южная Африка, так как свои предложения о введении института трибунов плебса она формулировала, опираясь не только на Маккормика, но и на Лоренса Хэмилтона, профессора как университета Витватерсранда, так и Кембриджа.

Действительно, господство в парламенте ЮАР партии Африканский национальный конгресс (АНК), поддерживаемое местной компартией и местными профсоюзами, обеспечивается тем, что вместе они набирают больше половины голосов. И могут игнорировать местные небольшие партии. Иными словами, и здесь мы видим иллиберальную демократию? Хэмилтон, однако, приводил данные, где показывал, что после двух десятилетий режима жесткой финансовой экономии, которые новые власти (АНК) приняли в 1994 году, чтобы решить унаследованную ими от режима апартеида проблему госдолга, 77% населения по-прежнему не представлены в парламенте. Дело в том, что, если к 25% официально безработных добавить тех, кого не побуждают заняться трудовой деятельностью, мы получим 37%. А если к ним добавить самозанятые беднейшие слои населения или занятых в своем домохозяйстве людей, то мы и получаем 77% (Hamilton, 2016: 159). ЮАР тогда превращается в пример господства небольшой верхушки (новой политической элиты АНК и старой экономической «белой» элиты, все еще владеющей многими основными компаниями) над громадной массой лишенных работы и достатка людей. Выходом из системы олигархической демократии, когда массы голосуют за узкий правящий слой, который их потом и угнетает, тоже может показаться только такая радикальная мера, как введение трибунов плебса. Что и предложил Хэмилтон в своей книге 2016 года, а Вергара — в книге 2020 года.

3

Предложения Хэмилтона по совершенствованию республиканизма, правда, не сводятся только к введению института трибунов плебса в современной ЮАР. Опираясь на конституционный проект Кондорсе 1793 года, который предполагал, что первичные местные собрания в муниципалитетах Франции будут местами для голосования, связанными с национальной ассамблеей (Конвентом), Хэмилтон предлагает создать такие советы или собрания. Правда, по Хэмилтону, они будут иметь не право принятия политических решений, а в основном являться агрегаторами местных мнений и идей, и в своих дискуссиях они будут формулировать предложения по усовершенствованию законодательства или поправкам к нему. Также иногда эти собрания будут голосовать по законодательным идеям других подобных первичных местных собраний. Каждое местное собрание избирает жре-

бием одного представителя, который отправляется в ассамблею представителей таких собраний при национальном парламенте. Функция таких ассамблей — доносить локальные мнения и инициативы до депутатов национального парламента.

Сам Трибунат, по Хэмилтону, напоминает предложения Маккормика — он должен назначаться жребием, исходя из дохода домохозяйства (потому некоторые не могут даже рассматриваться как кандидаты в Трибунат, так как слишком богаты). Трибунат может налагать вето на предлагаемые законодательные меры, или же предлагать их сам; он может также инициировать импичмент в отношении отдельных должностных лиц. Кроме того, Хэмилтон предложил еще одну «плебейскую» меру для улучшения работы политической системы — ввести правило, что 25% мест национального парламента резервируется для представителей низшего класса. Тем самым их голос всегда будет услышан (несмотря на появляющуюся потенциальную опасность, что плебейский Трибунат может войти в противоречие с этими депутатами (от плебса!) и отвергнуть предлагаемые ими законодательные меры).

Проект введения элементов плебейского республиканизма Вергара немного другой. Во-первых, в отличие от Маккормика и Хэмилтона, она считает, что Трибунат не должен компоноваться на классовой основе, т.е. на основании отрицательного имущественного ценза (если ты богат, то тебе нельзя быть трибуном плебса). Она считает, что критерием, отбраковывающим от участия в Трибунате, должен стать факт работы в каких-либо органах власти (например, в законодательной, исполнительной или судебной власти национального уровня, в советах директоров крупных корпораций). Рассматривая подобный план для штата Нью-Йорк, она предлагает создавать жребием трибуналы по 9 человек на уровне каждого графства (для 62 графств это будет 558 трибунов), и на уровне всего штата — Трибунат составом в 27 человек. Никто повторно не может быть членом Трибуната в течение 15 лет после занятия такой должности, так что за срок жизни человек может побывать там примерно четыре раза. Чтобы обеспечить и преемственность политики, и ротацию, срок работы в Трибунате — один год, но каждые четыре месяца треть Трибуната переназначается жребием. Вергара предлагает и радикальные меры: в случае конфликта Трибуната с Сенатом штата (если последний, например, не выполняет требования Трибуната об отзыве какого-то закона), командование силами правопорядка переходит автоматически к Трибунату. Таким образом, у Сената отнимается право казни трибунов плебса, как это случилось, например, в римской истории с Гаем Гракхом (Vergara, 2020: 250, 257-258).

Откуда берутся кандидаты для Трибуната? Вергара на базе идей из проекта жиро-конституции Кондорсе предлагает устроить местные первичные собрания размером в 600 человек (Кондорсе предполагал, что состав их будет от 450 до 900 чел.). Получается, что даже в малых городах штата будет несколько таких собраний, скажем, четыре-пять; для штата Нью-Йорк (где сейчас 51,5 млн избирателей) надо будет создать 85 800 таких собраний, а для Манхэттена, где около 1 млн избирателей, — 1660 таких собраний (Vergara, 2020: 247.) Эти собрания русско-

язычные читатели легко бы могли назвать «советами», ведь Вергара в своей книге кроме главы о Кондорсе включает и отдельные главы о Розе Люксембург и Ханне Арендт, которые, по ее мысли, выступали за незабюрократизированные советы как реальные республиканские сообщества, где рождается истинное политическое действие. Такие первичные собрания граждан, или советы, создают *agenda-setting councils* (бюро, устанавливающие повестки дня первичных собраний, члены их избираются жребием из числа желающих, но после занятия такой должности, опять же, есть запрет на членство в бюро в течение нескольких лет). Если инициатива одного первичного собрания по изменению законов будет поддержана на бюро трети всех собраний, например, на Манхэттене, то данный вопрос выставляется на голосование всех первичных собраний. И если большинство голосов решает, что все жители Манхэттена — за, то вопрос этот передается Трибунату для реализации через право законодательной инициативы.

4

Приведу теперь три позиции из последовавшей за этим дискуссии по плебейскому республиканизму. Во-первых, многие обсуждают реалистичность предложенных инициатив. Так, Принц и Вестфаль считают, что нельзя отбраковывать богатых или уже правивших перед выборами по жребию. Нам надо учесть все интересы и не исключать отдельные слои населения, даже богатых. Реалистичная, или «реалистская» демократия поэтому должна ввести трибуналы разного уровня, но главной задачей должно быть не недопущение элит в этот орган, а использование его для создания общей связанной политической картины мира среди нынешнего «плебса». Даже если всех современных «плебеев» объединяет низкий доход и недостаточный доступ к образованию, среди этих людей есть совершенно разные позиции по отдельным вопросам — этическим, этническим, конфессиональным и т.п. Поэтому кроме запретительной деятельности (направленной на пресечение тенденций к олигархизации власти⁵) трибуналы разного уровня должны способствовать формированию общей повестки дня для обездоленных. И здесь на встречах избранных жребием членов Трибунала рекомендуется прибегать не к делиберации (обсуждению с рациональным взвешиванием всех «за» и «против»), которая характеризует упомянутые выше мини-публики, а опираться на более реалистичные средства достижения согласия. Рекомендуется начать с поочередного изложения историй из своего жизненного опыта (*story-telling*), чтобы сделать точки зрения членов трибунала понятными друг другу, а потом сосредоточиться на достижении компромисса. Нереалистично требовать от членов трибунала достижения идеаль-

5. Здесь обсуждаются разные практические инновации. Например, после скандала с «Панамскими досье» 2016 г., когда оказалось, что члены многих властных элит вплоть до премьер-министров уходят от налогов через офшоры, предлагается создать *Citizen Tax Juries*, т.е. суды присяжных, набранные из рядовых граждан, для вынесения наказаний за уклонение от налогов таким способом (см.: Allen, 2022).

ной речевой ситуации по Хабермасу, но нельзя и прибегать к голосованию, обрекая меньшинство на ощущение, будто тебя принудили к общей позиции силой (Prinz, Westphal, 2024: 80-81).

Во-вторых, после того, как предложения о введении Трибуната стали объектом интенсивной критики со стороны теоретиков формальной демократии (те утверждают, что все должны быть равны перед законом, и потому нельзя создавать политические институты, благоприятствующие только одному классу людей, например, плебсу), появилась необходимость защиты реформаторских предложений из книг Маккормика, Хэмилтона и Вергары с позиций нормативной политической теории. Их защищают, обычно указывая на то, что в обществах, де-факто характеризующихся сильным неравенством, новые институты, благоволящие отдельной категории непривилегированных людей, продвигают данные общества на пути к достижению большего фактического равенства. К формальному политическому равенству, которое существует чаще всего просто на бумаге, после введения трибунов плебса добавляется возможность движения и к большему реальному равенству всего населения в осуществлении своих прав. Однако если мы признаем возможность и обоснованную разумность такого движения, то логичным становится и вопрос, не являются ли институты типа Трибуната тем, что в конце концов придает институтам олигархической власти ауру естественности и неизбежности.

Действительно, если мы создаем Трибуна, чтобы бороться с издержками неизбежной олигархизации власти в либерально-демократических политических системах, не означает ли это, что мы тем самым признаем легитимность существования олигархии и совсем не пытаемся бороться с самим источником такого положения дел — с неравенством в распределении собственности? С точки зрения Винсента Хартинга из Лондонской школы экономики, в трудах Маккормика и Вергары неизбежность олигархизации слабо обоснована ссылками либо на «железный закон олигархии» Роберта Михельса (но почему этот теоретик начала XX века должен быть прав для всех времен и народов?), либо на эмпирические данные по растущему неравенству в ведущих западных странах, что показывают, например, книги Тома Пикетти. Однако почему мы не можем считать, например, что тенденцию к растущему неравенству нельзя не только приостановить за счет Трибуната, но и полностью упразднить, введя, например, в число его функций вынесение на общенародный референдум вопросов об экспроприации той или иной собственности (с компенсацией за ее изъятие или даже без оной)? (Harting, 2023: 855-856, 860). Хартинг оказывается радикальнее плебейских республиканцев: вместо борьбы с последствиями олигархизации он предлагает с помощью Трибуната устранить ее причины⁶.

С еще более радикальной критикой Маккормика и Вергары выступают те сторонники классического республиканизма, кто видит в самой попытке институционализации Трибуната попытку задушить революционный порыв и творчество масс

6. Переход от плебейского республиканизма к социалистическому — следующий логичный ход для такого рода критики недостаточной радикальности плебейских республиканцев (см.: Mulvad, Popp-Madsen, 2022: 100).

в процессе изобретения новых форм жизни, не укладывающихся в рамки либеральной демократии. Например, Никлас Плетцер предложил обратить внимание на такого исторически примечательного плебейского республиканца, каким был темнокожий бразильский юрист-самоучка Луис Гама (1830–1882). Бразильская империя, где он родился, была в его время единственной монархией Южной Америки, и в ней сосуществовали как принятые местными правительствами за XVII–XIX века законы, так и римское право, принесенное еще португальскими колонизаторами. К тому же в Бразилии легально существовало рабовладение, что делало ее особенно подходящей для применения некоторых норм римского права — например, правил манумиссии (освобождения рабов) и т.п. Из 9,9 млн населения в 1872 году около 1,5 млн были рабами, а 4,2 млн были освобожденными гражданами африканского происхождения. Закон 1831 года запрещал привоз новых африканских рабов, но слабо проводился в жизнь вплоть до начала аболиционистской деятельности Гамы и до того, как появился закон 1871 года о праве на свободу для всех детей, родившихся на территории Бразилии.

Гама начал свою юридическую карьеру в 1850 году с защиты бежавшего с плантаций раба, когда-то привезенного из Конго, доказав, что незнание им португальского и наличие следов побоев свидетельствовало о том, что он был привезен после 1831 года. Пойманный беглец был освобожден в зале суда и ему де-юре и де-факто была дарована свобода. Введенный в кандалах, он вышел свободным. Гама и далее доказывал в своих судебных процессах, что пойманные беглые рабы на самом деле должны считаться похищенными свободными гражданами. Более того, они — настоящие защитники гражданских свобод от их олигархического игнорирования. Для того чтобы это не выглядело примером юридического крючкотворства, он открыл школу и учил в ней бывших рабов грамоте и основам гражданских знаний. В 1869 году он добился передачи ему под опеку как адвокату (для сохранности движимого имущества, коим считались рабы) 231 африканца, которых в своем завещании обещал освободить через 8 лет после своей смерти их уже умерший владелец, однако его наследники не хотели это признавать. Когда Гама умер от диабета в 1882 году, его похороны превратились в событие, подобное смерти народного трибуна. Для Плетцера Гама — это пример настоящего защитника самых обездоленных без всякой институционализации органов власти по типу Трибуната. Пользуясь возможностями существующего законодательства, Гама как аболиционист и плебейский республиканец строил новую Бразилию внутри старой — а не требовал возрождения и институционализации древних установлений (Plaetzer, 2024). Именно так, а не идя на компромиссы с олигархией, якобы и должны поступать истинные защитники обездоленных.

5

Теоретическая дискуссия по поводу перспектив плебейского республианизма важна для развития дисциплины под названием политическая теория. Но что она дает для обсуждения судеб классического республианизма в России?

Как я уже отметил, важно внимание новой версии республиканизма к национальному уровню, чего раньше в дебатах его российских сторонников не было. Элементы республиканизма можно было заметить на наднациональном уровне (там, где Россия действует вместе с другими странами в рамках саморегулирующихся организаций, так как в них нет мирового правительства или полицейского, который всем приказал бы соблюдать общие правила игры) или на донациональном. Отмечая ростки разных местных и муниципальных инициатив, республиканизм указывал на них, но за это его часто приравнивали к «теории малых дел», событий локального уровня типа партиципаторного бюджетирования или партиципаторного проектирования, движения градозащитников или попыток защиты дворов от уплотнительной застройки, спасения зеленых насаждений и т.п. Масштаб амбиций плебейского республиканизма, однако, несколько иной. Представьте себе — четвертая конституционная власть, народные трибуны, которые могут на федеральном уровне потребовать наложить вето на закон, отменить решение Верховного суда, начать эффективное судебное расследование против высокопоставленного федерального чиновника.

Оговорюсь сразу — я сам остаюсь в рамках того республиканизма, которым мы занимались последние 20 лет и который недавно появившиеся критики Кембриджской школы и аналитического подхода Петтита стали называть элитистским. Эта статья появилась как желание пересказать аргументы этой критики и посмотреть, что предлагается взамен. Учитывая особую практическую направленность плебейского республиканизма, стоит просчитать также и то, что подобные плебейски-ориентированные аргументы могут предложить и в практическом плане.

Действительно, внимание Макиавелли к народным трибунам, т.е. к институционализированному конфликту «патриции–плебс», смещает фокус нашего рассмотрения в отношении того, что республиканизм мог бы предложить в России. В недавнем российском республиканизме во многом игнорировалась роль народных масс, за исключением возможности их подключения к участию в публичной жизни или государственной деятельности через механизмы вроде партиципаторного бюджетирования. Истоки этого понятны, если послушать гипотезу плебейской школы. Классический республиканизм в современной интерпретации Кембриджской школы (которой следовали и российские авторы) чаще всего не замечает народа, концентрируясь на идее смешанного правления по моделям Полибия, Цицерона или венецианца Контарини, где только полноправные граждане имеют право на участие в управлении и потому политическую свободу. Они якобы и есть «политический народ», а другие туда не попадают, а значит, и не рассматриваются как заметные игроки системы отношений, доступной для основных патрицианских семей, но исключающих из структур власти тех, кого в Венеции, например, называли *cittadini* и *popolani*. И то, что громадное количество жителей Венеции в XVI веке не имели никаких политических прав, рассматривается (на фоне ныне признаваемых всеми требований всеобщего избирательного права) как факт досадный, но исторически легко объяснимый.

Как — в противоположность этому — обеспечить участие всех в политической системе, построенной на принципах классического республиканизма, но без использования рабства и наделив всех мужчин и женщин полными политическими правами? У Покока и Скиннера мы едва ли найдем ответ, так как их исторические труды (к счастью для этих авторов) и не должны иметь предписывающей силы, то есть не содержат того, что называется нормативной политической теорией. Труды Петтита, напротив, такую теорию содержат, но когда дело доходит до ее реализации на практике (как это случилось, когда он был советником социалистического правительства Х. Л. Родригеса Сапатеро в Испании), то предлагаемые рекомендации немногим отличаются от рецептов социал-демократии. Или, как замечали в дискуссиях на многочисленных венецианских биеннале по классическому республиканизму, когда дело доходит до конкретных предложений, критики говорят Петтиту: «Вы считаете, что максимально обездоленным группам населения надо дать максимум шансов исправить положение; но чем это на практике отличается от либерализма Ролза, от которого вы все время пытаетесь дистанцироваться?»

До появления продуманной системы аргументов со стороны плебейской республиканской традиции российский республиканизм был также обречен оставаться в рамках обсуждения действий просвещенных элит по привлечению масс к управлению тем куском жизни, который они (хотя бы частично) могли бы взять в свои руки. Одна из возможных интерпретаций в рамках республиканизма Скиннера и Петтита, до появления плебейской альтернативы — это построение генеалогии современной российской власти, исходя из модели «смешанного правления» Полибия, Цицерона и Контарини. Если смотреть на нынешнюю политическую жизнь России через призму такого республиканизма, то встает вопрос, что из необходимой для устойчивого и достойного правления смеси трех компонентов — монархического (власть одного), аристократического (власть немногих или лучших, так как *aristoi* по-гречески означает «лучшие») и демократического (власть всех) — наличествует сейчас в РФ?

Отвечая на этот вопрос, многие скажут, что как активные силы с реальным влиянием наличествуют только два из трех; это — лидер и народ. Историки тогда смогут добавить, что такое правление действует по модели цезаристских режимов, опирающихся — как писал римский историк Дион Кассий про эпоху после Октавиана Августа — на *res publica* из смеси двух, а не трех компонентов, т.е. из монархии и демократии (Хархордин, 2023). Аристократия была устранена из системы, Сенат после Октавиана стал играть во многом чисто символическую роль. Макс Вебер назвал бы, наверное, подобную систему плебисцитарной демократией (Юдин⁷, 2021). Другие скажут, что смешанная система правления теперь состоит из двух других элементов — сильного монархического (который, возможно, искренне думает, что действует на благо всех; не надо, кстати, забывать, что

7. Признан Минюстом иноагентом.

монархия в классической теории *res publica* — это термин для обозначения благого правления, в интересах всех) и власти немногих, правда, в результате системной коррупции превращающейся из аристократической в олигархическую (также не надо забывать, что в терминах Полибия и Цицерона олигархией называется не экономическая элита, а тот узкий слой служилых и неслужилых людей, которые стали править страной не ради нее самой, а в интересах этой узкой группы).

Плебейский республиканизм отвергает эту схему смешанного правления по Полибию–Цицерону–Контарини как элитистскую, так как элитизм якобы игнорирует тот факт, что многие в идеализированных Риме и Венеции не имели реальных гражданских прав. Республиканизм Маккормика и Вергары полагает участие народа во власти через своих трибунов основным решением проблемы включения всех в качестве полноправных граждан в современную политическую систему. Это «плебейское» предложение, конечно, может успешно опереться в России на популярную в области народных пересудов тему (сверху — в основном только жулики и воры), но в отличие от просто пересудов, оно собирается канализировать энергию этого раздражения при помощи новых институтов. Конечно, в этом случае важно не только учреждение «народных трибунов», но и, например, то, что подпитывает Трибунат идеями и энергией. Это — местные советы по борьбе с системной коррупцией. Такие советы, если развивать идеи плебейской школы республиканизма, могли бы быть созданы не властью, а избраны по жребию из равнодушных местных жителей. Эти советы по борьбе с системной коррупцией нужны плебейской традиции, чтобы обеспечить циркуляцию идей, сбор локального знания, сообщение их местным депутатам, но не через выборы (в которые плебейская традиция не верит; ведь там все повязано властью имущими), а через Трибунат с правом вето и законодательной инициативы. Ну а если Трибуната пока нет, то, на худой конец, через местные связи — ведь в локальных сообществах все друг друга более-менее знают.

Такие советы были бы должны — в соответствии с основными идеями плебейской традиции республиканизма — не критиковать факты злоупотреблений у отдельных чиновников, а заниматься проблемой системной коррупции, то есть разложения системы либерально-демократических институтов, которые Россия формально ввела, заимствовав западные образцы в 1990-е годы. И действительно, многие радикальные критики сложившейся системы скажут: Россия превратилась из либеральной демократии на словах в иллиберальную олигархию на деле. Но дело не в хлесткой критике, которая легка, а в том — если критики правы, и такая олигархия действительно сложилась — куда подобная система может пойти в своем дальнейшем развитии.

Классификация политических систем в рамках плебейского республиканизма в стиле Вергары подсказывает: если иллиберальная олигархия может эволюционировать в олигархическую демократию, где правят немногие, не представляя народные массы, но на базе соблюдения прав отдельного человека, которые можно защитить с помощью независимой судебной системы, то одно

это уже многим критикам покажется громадным прогрессом. Да и если иллиберальная олигархия пойдет в другую из двух возможных в схеме Вергары сторон — то есть по направлению к иллиберальной демократии, схожей с моделью Венгрии Орбана или Польши Качиньских — это тоже может показаться прогрессом. В таких политических системах вождь с народом может давить не только игнорируемое меньшинство, но и бюрократию, находящуюся между лидером и народом, по модели того, что Вебер назвал плебисцитарной демократией, здесь уже упоминавшейся. После возможного движения в сторону такой системы можно надеяться, что сторонники плебейской традиции вспомнят об отвергавшейся ими модели смешанного правления и, чтобы уравновесить монархические и демократические элементы, захотят добавить в свою систему элемент аристократический. И в какой-то момент практически-ориентированный плебейский республиканизм может, наконец, захотеть испробовать рецепты и того республиканизма, которому когда-то, в момент своего рождения, он приклеил ярлык «элитизма».

Литература

- Дмитриев Т. (2024). Был ли Макиавелли поклонником демократии // Социологическое обозрение. Т. 23. № 2. С. 231-259.
- Одье С. (2021). Теории республики. СПб.: Изд-во ЕУСПб.
- Павлов А. А. (2022). Плебейский трибунал Римской республики в античных политических теориях, сочинениях антикваров и юристов. Сыктывкар–Москва–Санкт-Петербург: Центр гуманитарных инициатив.
- Хархордин О. (2023). Как соединить монархию с демократией: рецепты римской истории // Философия. Журнал Высшей школы экономики. Т. 7. № 1. С. 62-127.
- Юдин Г. (2021). Россия как плебисцитарная демократия // Социологическое обозрение. Т. 20. № 2. С. 9-47.
- Allen G. (2023). Citizen Tax Juries: Democratizing Tax Enforcement after the Panama Papers // Political Theory. Vol. 50. №2. P. 193-220.
- Breaugh M. (2016). The Plebeian Experience. A Discontinuous History of Political Freedom, New York: Columbia University Press.
- Fishkin J. (1997). The Voice of the People. Durham: Duke University Press.
- Hamilton L. (2016). Freedom Is Power: Liberty through Political Representation. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harting V. (2023). An Egalitarian Case for Class-Specific Political Institutions // Political Theory. Vol. 51. №5. P. 843-868.
- McCormick J. P. (2011). Machiavellian Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
- McCormick J. P. (2024). Democracy, Plutocracy and the Populist Cry of Pain // Populism, Demagoguery and Rhetoric in Historical Perspective / G. Balacii and R. Goodman (eds.). Oxford: Oxford University Press.

- Mulvad A., Popp-Madsen B. (2022). From Neo-Republicanism to Socialist Republicanism: Antonio Gramsci, the European Council Movements and the 'Second Republican Revival' // *Theoria*. Vol. 69. №2. P. 97-118.
- Plaetzer N. (2024). Insurgent legality: Luiz Gama's Plebeian Republicanism Between Law and Prefiguration // *Contemporary Political Theory*, free online access. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s41296-024-00731-y.pdf>, дата доступа 03.01.2025
- Prinz J., Westphal M. (2024). The Tribune as a Realist Democratic Innovation // *Political Theory*. Vol. 52. №1. P. 60-89.
- Smith G., Owen D. (2011). Machiavellian Democratic Innovations: McCormick's People's Tribune // *Good Society*. Vol. 20. №2. P. 203-15.
- Vergara C. (2020). *Systemic Corruption. Constitutional Ideas for a Non-Oligarchic Republic*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Plebeian Republicanism: The End of Oligarchy or Aristocracy?

Oleg Kharkhordin

PhD, Professor, Res Publica Research Center,

European University at St. Petersburg

Address: 6/1 Gagarinskaia street, St. Petersburg 191187, Russian Federation

E-mail: kharkhor@eu.spb.ru

This article deals with plebeian republicanism, a relatively new current within the classical (civic) republican tradition. This current is characterized by a special attention to the works of Machiavelli who insisted on the productive character of conflicts between patricians and plebs in the Roman republic and hoped to institutionalize in a similar way the conflicts between the nobility and the people in the Florence of his days. Based on such an interpretation of Machiavelli the authors of plebeian republicanism propose to reestablish the institution of the tribunes of plebs, integrating it into the political systems of contemporary liberal democratic regimes, in order to thwart an oligarchization of power that plebeian republicanism sees as inexorable. Organs of such a tribunate could be established at a local, regional or federal level, or at the level of a nation state. They should rely on a wide network of people's assemblies at a primary level, necessary for agenda-setting and deliberation. The article considers different versions of such proposed reforms and evaluates their consequences for Western political systems, as well as for Russia.

Keywords: classical (civic) republicanism, plebeian republicanism, Machiavelli, Condorcet, tribunes of the plebs, deliberation, impeachment, referendum.

References

- Allen G. (2023) Citizen Tax Juries: Democratizing Tax Enforcement after the Panama Papers. *Political Theory*, vol. 50, no 2, pp. 193-220.
- Audier S. (2021) *Teorii respubliki* [Theories of republic], Sankt Petersburg: EUSP.
- Breaugh M. (2016) *The Plebeian Experience. A Discontinuous History of Political Freedom*, New York: Columbia University Press.
- Dmitriev T. (2024) Byl li Makiavelli poklonnikom demokratii [Whether Machiavelli was a Supporter of Democracy]. *Russian Sociological Review*, vol. 23, no 2, pp. 231-259.
- Fishkin J. (1997) *The Voice of the People*, Durham: Duke University Press.

- Hamilton L. (2016) *Freedom Is Power: Liberty through Political Representation*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Harting V. (2023) An Egalitarian Case for Class-Specific Political Institutions. *Political Theory*, vol. 51, no 5, pp. 843-868.
- Kharkhordin O. (2023) Kak soedinit' monarhiju s demokratiej: recepty rimskoj istorii [How to Mix Monarchy with Democracy: Precepts from Roman History]. *Philosophy. Journal of the Higher School of Economics*, vol. 7, no 1, p. 62-127.
- McCormick J. P. (2011) *Machiavellian Democracy*, Cambridge: Cambridge University Press.
- McCormick J. P. (2024) Democracy, Plutocracy and the Populist Cry of Pain. *Populism, Demagoguery and Rhetoric in Historical Perspective* (G. Balacii, R. Goodman eds.), Oxford: Oxford University Press.
- Mulvad A., Popp-Madsen B. (2022) From Neo-Republicanism to Socialist Republicanism: Antonio Gramsci, the European Council Movements and the 'Second Republican Revival'. *Theoria*, vol. 69, no 2, pp. 97-118.
- Pavlov A. A. (2022) *Plebejskij tribunat Rimskoj Respubliki v antichnyh politicheskikh teorijah, sochinenijah antikvarov i juristov* [Plebeian Tribune of the Roman Republic in Ancient Political Theories, and Works of Antiquarians and Jurists], Syktyvkar-Moscow-S.Petersburg: Centr gumanitarnykh iniciativ.
- Plaetzer N. (2024) Insurgent legality: Luiz Gama's Plebeian Republicanism Between Law and Prefiguration. *Contemporary Political Theory*, free online access. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/s41296-024-00731-y.pdf>, дата доступа 03.01.2025
- Prinz J., Westphal M. (2024) The Tribune as a Realist Democratic Innovation. *Political Theory*, vol. 52, no 1, pp. 60-89.
- Smith G., Owen D. (2011) Machiavellian Democratic Innovations: McCormick's People's Tribune. *Good Society*, vol. 20, no 2, pp. 203-15.
- Vergara C. (2020) *Systemic Corruption. Constitutional Ideas for a Non-Oligarchic Republic*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Yudin G. (2021) Rossiya kak plebiscitarnaja demokratija. *Russian Sociological Review*, vol. 20, no 2, pp. 9-47.

Затмение харизмы. Или нет*

Святослав Каспэ

Доктор политических наук, профессор; департамент политики и управления,
факультет социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
главный редактор журнала политической философии и социологии политики «Полития»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: kaspe@politeia.ru

С момента вхождения концепта харизмы в язык социальных наук и политической практики в его функционировании происходили существенные эволюции и вариации. Уже сам Макс Вебер различал харизму «истинную» и рутинизированную, не утверждая, впрочем, будто рутинизация харизмы способна привести к ее полному исчезновению как типа господства. Тем не менее к середине XX века в мысли и практике возобладала линия на желательность как можно более быстрого, лучше всего превентивного усмирения харизмы и ее политических проекций. Однако последовавшее вскоре появление целой плеяды могучих харизматиков породило новый веер интерпретаций понятия. Рональд Глассман рассматривает харизму как всецело «рукодельную», «сфабрированную» (*manufactured*), и таковой же ее полагают авторы многочисленных пособий по «развитию» харизмы и «персонального магнетизма». В то же время с понятием харизмы работает Эдвард Шилз. Он переворачивает веберовское различие харизмы «подлинной», предпочитая называть ее «интенсивной» или «концентрированной», и рутинизированной, именуя ее «распределенной» (*dispersed*), «ослабленной» (*attenuated*). Исходной, более того, «нормальной» формой харизмы, по Шилзу, является именно вторая. Это оказывается так, поскольку в действительности производит харизму не собственными силами тот или иной харизматик, а центр общества, которое служит ареной его деятельности. Есть общества — есть центры. Есть центры — есть харизма. Есть харизма — есть харизматики. Концепт сохраняет работоспособность.

И все же в первой четверти XXI века выдающихся политических харизматиков не наблюдается. Можно предположить, что этот дефицит связан с прогрессирующей утратой веры в само существование каких-либо политически референтных трансценденций, создающих, согласно Шилзу, условия для построения макросоциальных центров. Представимы ли такие условия, при которых харизма и харизматическое господство могут вновь возродиться? Логически — да. Такую роль может сыграть шок небывалой мощи и непредставимой *a priori* природы, который заставит людей вновь уверовать в присутствие в их жизненном мире (мирах) «serious things», то есть вещей, обладающих «трансцендентной значимостью», «мыслимых как фундаментальные, как определяющие человеческую участь в этом мире, в жизни и смерти» (Шилз). В отсутствие (или в ожидании) как имманентных, так и трансцендентных потрясений стоило бы заняться операционализацией известной, но не проработанной антитезы «темной» и «светлой» харизмы. В первую очередь исследуя их сравнительную живучесть и способность к регенерации.

Ключевые слова: харизма, Макс Вебер, рутинизация, Эдвард Шилз, центр, трансценденция, Вальтер Беньямин, «божественное насилие»

* Непосредственным поводом к сочинению этого текста стала серия посвященных теме харизмы записей, опубликованных в telegram-канале Александра Ф. Филиппова SocialEvents весной 2024 г. В них упоминались имена Эдварда Шилза и Клиффорда Гирца; по некоторым причинам они, особенно первое, действуют на меня как звуки полковой трубы на старого боевого коня. Что ж, я принял вызов.

Харизме свойственна неопределимость. Она постоянно изображается как «это ускользающее нечто», «икс-фактор», «нечто-фактор», «неизвестный фактор», «то-сам-не-знаю-что», «неосязаемое», «таинственное», «неописуемое», «нередуцируемое», «энигматическое».

Джон Поттс. «История харизмы»

Конечная цель предлагаемого рассуждения¹ — не столько решить некую проблему, сколько задать вопрос, на который у меня самого нет ответа. Но сперва придется как можно более бегло, пунктирно проговорить общеизвестное.

Само слово «харизма» (χάρισμα) появляется в I веке н.э., в посланиях апп. Петра и Павла, причем как неологизм. Оно очевидным образом «происходит от χάρις, а это последнее слово производится от греческого глагола χαίρειν, радоваться» (Фивейский, 1907). Ап. Петр, впрочем, употребляет его лишь однажды (1Петр 4:10); ап. Павел делает это целых 16 раз (Рим. 1:11; 5:15–16; 6:23; 11:29; 12:6; 1Кор. 1:7; 7:7; 12:4, 9, 28, 30, 31; 2Кор. 1:11; 1Тим. 4:14; 2Тим. 1:6.). Во всех случаях «харизма» — получаемый от Бога дар, дарование, милость, благо. Нередко слово употребляется во множественном числе, а в некоторых посланиях ап. Павел даже предлагает пересекающиеся, но не полностью идентичные перечни разных харизм (см. подробнее: Potts, 2009: 5–6, 23–50; Смирнов, 2017). В западнохристианской традиции χάρισμα сперва транслитерируется как *charisma*, но и в таком виде очень быстро выходит из употребления, заменяясь латинскими *donum* и *gratia* (Potts, 2009: 6). В греческой литургии и экзегетике χάρισμα, естественно, сохраняется; однако в переводах Нового Завета на славянские языки ему находят вполне удовлетворительные эквиваленты. Реактуализация понятия происходит только в конце XIX века, в рамках дискуссий немецких протестантских богословов, прежде всего Адольфа фон Гарнака и Рудольфа Зомма, об организации апостольской Церкви (Ячменик, 2023: 22–44). Некоторые (поначалу довольно редкие) отклики на них вскоре появляются в трудах католических и православных церковных авторов, в результате чего «харизма» возвращается в вокабуляры и дискурсы этих конфессий и присутствует в них по сей день, хотя и (особенно в православии) ограничено. В любом случае во всем собственно теологическом обращении с понятием какие-либо его коннотации с господством, властью (по крайней мере властью политической) и вообще политикой *per se* отсутствуют.

Революцию в узусе «харизмы» произвел Макс Вебер, скорее всего, усвоивший это понятие из тех же протестантских источников (Potts, 2009: 6), совершенно волюнтаристски вменивший ему радикально новый смысл и уже в таком виде необратимо внедливший его в аппарат социальных и политических наук. Вебер секуляризует, социологизирует и политизирует харизму, превращая ее в источник

1. Его краткая устная версия была представлена 19 апреля 2024 г. в рамках секции «Политическая теология» конференции «Векторы» Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка). Благодарю членов программного комитета секции Владимира Бродского и Станислава Топоркова за такую ценную возможность.

и атрибут одного из видов вполне посюстороннего господства². Теперь она — то ли специфическое свойство личности, благодаря которому его обладатель отличается от обычных людей и воспринимается ими как носитель сверхъестественных, сверхчеловеческих или хотя бы исключительных способностей, то ли феномен субъективного и в то же время коллективного восприятия той или иной личности как обладающей таким свойством. Амбивалентность модифицированной харизмы отлично видна в этом ее развернутом определении из «Хозяйства и общества»: «Харизма — это некое качество индивида, в силу которого он слывет одаренным (*begabt*)³ сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по крайней мере, особо исключительными, никому больше не доступными силами и способностями или считается посланцем богов, совершенством и поэтому вождем. Изначально — у пророков, врачей, мудрых судей, знаменитых охотников и военных героев — оно воспринималось как магически обусловленное. Насколько объективно правильно оно оценивается с этической, эстетической или иной точки зрения, с точки зрения понятия, совершенно не важно; речь лишь о том, как оно фактически оценивается подданными, последователями, учениками харизматической персоны» (Вебер, 2016: 279). То же и в другом отрывке, где харизматики описываются как «обладатели специфического, *воспринимаемого* в качестве сверхъестественного (т.е. не каждому доступного) телесного и духовного дара (*gaben*)⁴» (Вебер, 2019: 179).

Восприятие может приписывать этому качеству буквально божественное происхождение; но не обязательно. Главное — результат, то есть мощный резонанс, возникающий между харизматическим пророком, вождем, фюрером, лидером и ведомыми им массами. Вообще та или иная симпатия (в буквальном смысле слова — *συμπάθεια*, со-чувствие) властвующих и повинующихся является необходимым условием функционирования любой формы господства. Но харизматический резонанс враждебен и традиции («харизматический вождь строит свое право по формуле: “Сказано было..., а я говорю вам...!”» (Вебер, 2016: 281)), и рациональности (поскольку зиждется не на безличных расчетах, конвенциях и правилах, а на глубокой индивидуальной и коллективной вовлеченности в отношения господства/подчинения, экзистенциальной захваченности ими). Признанный харизматик взламывает актуальный политический порядок, обещая (обещать не значит гарантировать, возможен и провал проекта) установление некоего нового, причем в пределе не только политического, но мета- и супраполитического. «Тысячелетнее царство праведников», «новое небо и новая земля» принимают самые разные облики, вплоть до популярного в первые годы после Русской революции 1917 года

2. Исследования, реконструкции и интерпретации веберовской и веберианской харизмы настолько многочисленны, что дать полный их перечень нелегко, а в любом выборочном обнаружатся вопиющие пропуски. Единственно разумное решение — вовсе от такого перечня отказаться, ссылаясь только на работы, прямо релевантные логике рассуждения.

3. Кем одаренным?

4. От кого полученного?

лозунга «Царствию рабочих и крестьян не будет конца» или «тысячелетнего рейха» (Tausendjähriges Reich). Все это тоже хилиазмы и миллениаризмы.

Иными словами, решать вопрос о происхождении и, так сказать, местонахождении харизмы — только ли она «в глазах смотрящего» на харизматика или все же в нем самом — Вебер отказывается, объявляя его несущественным. Однако неясность остается. Она порождает дальнейшие расхождения и ветвления в трактовках понятия, причем первое из них обнаруживается у самого Вебера.

Оказывается, что харизма обладает собственной динамикой, что она способна с течением времени менять свою природу. Что она поначалу бывает «подлинной» или «истинной» (genuine) (Там же: 280–281, 283, 286–287) (неожиданно обнаружить именно у Вебера претензию на способность установить, что в мире социальных фактов подлинно, а что ложно — иначе говоря, что есть истина). Что затем (иногда) она превращается, становится иной — надо полагать, уже не подлинной или, по крайней мере, не вполне подлинной (хотя и не фиктивной). Вебер называет этот процесс «Veralltäglichung», буквально «оповседневнивание»; в переводах на другие языки пишут «рутинизация», «routinization» и т.п. (Там же: 283–292).

Коротко говоря, первичная, подлинная харизма хрупка и недолговечна. Если харизматик терпит поражение, остается только память о нем. Если он побеждает и устанавливает новый порядок, его, порядка, стабилизация и дальнейшая стабильность достигается тем, что первичная харизма как бы инвестируется в институты — легальные, а потом и традиционные. Но вторичная, инвестированная харизма уже не та. «Соль теряет силу» (Мф 5:13), «песок — неважная замена овсу» (О.Генри), жрец или священник — пророку, наследник трона — основателю державы и династии etc. Былая сила и страсть разлагается, растворяется в той самой рутине повседневности. К тому же неудержимо продвигается «интеллектуалистическая рационализация», она же «расколдование» мира, или «раз-очарование» (Entzauberung) его и в нем⁵. А ведь харизма и есть своего рода колдовство, чары. И все же Вебер нигде не предсказывает бесповоротного исчезновения харизмы и харизматического господства — пока есть социальный и политический порядок, будут и те, кто против него восстает. К тому же речь идет об идеальном типе; что бы ни происходило в реальности, нельзя утверждать, что он может просто так аннигилироваться, — тогда пошатнется вся тщательно выстроенная типология господства, как-никак трехчленная, а не бинарная. Так что харизма, по Веберу, не то чтобы вовсе сходит на нет. Она просто все скорее и эффективнее помещается в «железную клетку»⁶ институтов — и тем самым укрощается.

5. Первое появление заимствованного у Фридриха Шиллера термина, затем многократно использованного Вебером в более поздних работах, состоялось в 1917 г. в докладе «Наука как призвание и профессия» (Вебер, 1990).

6. «Stahlhartes Gehäuse». В русском переводе «Протестантской этики и духа капитализма» — «стальной панцирь» (Вебер, 1990: 2006). Однако Толкотт Парсонс еще в 1930 году перевел это выражение на английский как «iron cage». Именно в таком виде оно вошло в язык социальных наук уже как самостоятельно обращающийся термин.

Затем именно линия на желательность как можно более быстрого, лучше всего превентивного умирения харизмы и харизматиков становится в западной мысли и политической практике преобладающей. Оно и понятно: крупнейшие политические харизматики первой половины XX века — Владимир Ленин, Лев Троцкий, Иосиф Сталин, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер — оказались кошмарны⁷. Непосредственная ответственность за столь чудовищные явления и проявления харизмы иногда возлагалась на самого Вебера, лично. «Он проложил путь к авторитарному и диктаторскому вождистскому государству, в общем превознося иррациональное “харизматическое” правление» (Löwith, 1939: 171). Веберовское представление о «плебисцитарной демократии» и полезности харизматических лидеров «опасно близко к фашистской концепции лидерства» (Mommssen, 1984 (1959): VIII); «Вебер помог, пусть и немного, сделать немецкий народ внутренне готовым добровольно провозгласить своим вождем Адольфа Гитлера» (Ibid.: 410). Поэтому всякая политическая харизма стала *a priori* подозрительной. Поэтому то, что Вебер не считал ни возможным, ни желательным — ее полная элиминация, — стало рассматриваться как подлежащая достижению цель. Само слово при этом употреблялось далеко не всегда. Но что такое обвинения в «вождизме» или разоблачения «культов личности», как не дискредитация харизмы и харизматического господства? Высказываются даже предположения (весьма похожие на упования), что харизма, не выдержав жизни в неволе, в той самой «железной клетке» институтов, в особенности институтов демократических, как-нибудь, глядишь, и совсем зачахнет. «Специфические черты харизматической власти, как они были определены Вебером, затем показали свою иррелевантность современному техническому миру»; «харизма есть нечто профетическое, мистическое, нестабильное, иррациональное и, по Веберу же, несовместимое с реалиями современного индустриального общества» (Schlesinger, 1963: 10). А «применять это прилагательное к демократическим лидерам — Гладстону, Ллойд Джорджу, Вильсону, Рузвельту, даже к Бисмарку или де Голлю — значит лишать концепт всякого смысла» (Ibid.: 12).

Ирония и парадокс в том, что книга Артура М. Шлезингера-мл. «Политика надежды», откуда взяты эти пассажи, писалась в бытность автора специальным помощником президента Джона Ф. Кеннеди. Вторая половина XX века дает целую плеяду могучих харизматиков. Существует много их перечней; чаще всего в них фигурируют, в том или ином порядке, Фидель Кастро Рус, Эрнесто Че Гевара, аятолла Хомейни, Нельсон Мандела, Шарль де Голль (что бы ни думал на его счет Шлезингер), Мартин Лютер Кинг, Лех Валенса. Реже — Сукарно, Гамаль Абдель Насер, Саддам Хусейн, принц Нородом Сианук, Муаммар Каддафи, Михаил Горбачев, Борис Ельцин. Кеннеди открывает список практически всегда. «Видит

7. Да и Мустафа Кемаль-паша Ататюрк тоже был не подарок, хотя на фоне вышеперечисленных выглядел более или менее приемлемо. Разве что Мохандас Карамчанд Махатма Ганди производил впечатление вполне приличного человека, но неоспоримая уникальность этого кейса автоматически выводила его за рамки обсуждения.

горы и леса, Облака и небеса. Но не видит ничего, Что под носом у него» (Даниил Хармс)...

Все перечисленные — очень разные люди. И их современники, и следующие поколения, и их соотечественники, и обладатели иных гражданств относились и относятся к ним тоже очень по-разному. Но в любом случае отнюдь не все новейшие харизматики оказались отъявленными тиранами и людоедами. Так что и живучесть политической харизмы, и ее способность соединяться с очень разными ценностями и нести очень разное содержание пришлось осмысливать дальше. В интерпретациях понятия произошло новое ветвление.

С одной стороны, распространяется мнение, что харизма есть всего лишь продукт политических технологий и инструмент политических манипуляций. Что ее можно искусственно создать, развить и запустить в эксплуатацию. Тогда ни о каких более или менее «подлинных» харизмах говорить нельзя. Все они равно подлинные, потому что все они равно искусственные. Все они не имеют никакой существенной связи с сакральным и сверхъестественным, потому что само сакральное и сверхъестественное без остатка и безоговорочно выносятся за скобки — еще радикальнее, чем по Веберу.

Это воззрение, в свою очередь, существует в двух версиях — «высокой» и «низкой». «Высокую» (в том смысле, что находящуюся в пределах науки) представляет прежде всего Рональд Глассман, который ввел в оборот замечательно остроумную формулировку: «рукодельная», или «сфабрикованная» (*manufactured*), харизма (Glassman, 1975, 2019; Glassman, Swatos, 1986). Ее-то он и исследует, и никакой другой харизмы для него просто не существует и никогда не существовало. «Низкая версия» отношения к науке не имеет. Это скорее производимые в огромном количестве мануалы (в том числе «для чайников») с названиями вроде: «Как развить харизму и персональный магнетизм» (Barrat-Godefroy, 1993), «Откройте вашу собственную харизму и научитесь очаровывать, вдохновлять и влиять на других» (DuBrin, 1997), «Миф харизмы. Как каждый может овладеть искусством и наукой персонального магнетизма» (Cabane, 2012), «Харизма. 11 техник увеличения харизмы» (Dawson, 2013) или «Харизма. 34 уловки, чтобы разблокировать вашу харизму, овладеть искусством светской беседы и развить персональный магнетизм» (Karia, 2015)⁸.

С другой стороны, с понятием харизмы работает Эдвард Шилз, решительно поддержанный в этой части своих построений Клиффордом Гирцем и Шмуэлем Норманом Айзенштадтом. Он переворачивает веберовское различие харизмы «подлинной», предпочитая называть ее «интенсивной» или «концентрированной» (Shils, 1975: 127–133), и харизмы рутинизированной (т.е. институционализированной), именуя ее «распределенной» (*dispersed*) или «ослабленной» (*attenuated*) (Ibid.: 133–134). В том, как Шилз описывает их соотношение, есть, правда, некое

8. Откуда взялась поразительно часто встречающаяся склейка харизмы и «персонального магнетизма», сказать трудно; но рассказ О.Генри «Джефф Питерс как персональный магнит» вспоминается сам собой. Как, впрочем, и другой рассказ — «Трест, который лопнул».

не сразу заметное противоречие. Слово «ослабленная» однозначно подразумевает, что слабости хронологически предшествует сила (ср. предложенные выше для той же пары определители «первичная» и «вторичная»). Однако именно ослабленную харизму он прямо называет «нормальной» (Ibid.: 134) — на том основании, что «жизнь невозможна без вновь и вновь воспроизводящейся рутины» (Ibid.: 133), а «нормальная харизма есть активный и эффективный феномен, имеющий решающее значение для поддержания рутинного общественного порядка» (Ibid.: 134). Истинный же источник распределенной, ослабленной, нормальной харизмы — не какие бы то ни было свойства личности и не их восприятие другими личностями и коллективами. Этот источник — «вызывающая трепет⁹ центральность» (awe-arousing centrality) (Ibid.: 257), или просто центр общества (Ibid.: 256–257).

Много лет я пытаюсь показать и доказать (см.: Каспэ, 2007, 2011, 2012, 2016), что идеи Шилза отброшены преждевременно и напрасно. Как и весь структурный функционализм; но за шилзовскую социологию, являющуюся, на мой взгляд, его лучшей частью, особенно обидно. Результат этих усилий мизерный — уж слишком вразрез они идут с духом времени и интеллектуальными модами. Но безнадёжность того дела, которое я считаю правильным и правым, не кажется мне достаточным основанием для того, чтобы его бросить. Поэтому продолжаю.

Очередное изложение основных элементов социологии Шилза будет предельно кратким, сведенным к нескольким ключевым цитатам. Она начинается с великой фразы (теперь так не пишут): «Society has a center», «общество имеет центр» (Shils, 1975: 3). Центр существует в двух взаимно комплементарных ипостасях — это центральная ценностная и центральная институциональная системы. Центр — «тот сектор общества, где некоторые обладающие особой значимостью виды деятельности (activities) и функции более сконцентрированы или более интенсивно осуществляются, чем в других секторах, и который в большей степени, чем другие сектора, является фокусом внимания, озабоченности, подчинения, почтения и подражания» (Shils, 1988: 251–252). Все, что не центр, то периферия. Центр властвует, и власть его сакральна (в широком социологическом, то есть структурном и функциональном смысле слова). Там же, где на периферии заявляется успешная претензия на новый образ власти и сакрального, качество периферийности утрачивается и возникает новый центр. «Власть... пробуждает чувство сакрального. Сакральное властно по своей природе» (Shils, 1975: 5). «Высшие общественные начальства — президенты, короли, первые министры, партийные секретари, губернаторы, судьи, законодатели — суть правители наиболее полного, наиболее инклюзивного порядка существования на этой земле. Высокая земная власть состоит в многоликом, смутном сродстве с силами, воспринимаемыми как трансцендентные» (Shils, 1975: 264). Поэтому-то в действительности — в действительности Шилза — производит харизму не тот или иной харизматик собственными

9. Шилз специально поясняет, что под «трепетом» имеет в виду то самое «чувство *tremendum mysteriosum*, которое Рудольф Отто описывал как генеральное свойство “идеи священного”» (Ibid.: 265).

(или дарованными) силами, а центр того общества, которое служит ареной его деятельности. Причем любой харизмы. Как уточняет уже Гирц (тем самым разрешая отмеченное выше противоречие в шилзовском описании логического порядка следования концентрированной, интенсивной и ослабленной, распределенной харизмы): «Несущественно, насколько периферийна, эфемерна или несамостоятельна занимающая нас харизматическая фигура — самый дикий пророк, самый отчаянный революционер. Чтобы понять его и его мысли, мы должны начинать с центра и с господствующих в нем символов и представлений» (Geertz, 1977: 168). «Харизма тех, кто господствует в обществе, и тех, кто восстает против этого господства, восходит к одному источнику: неотъемлемой сакральности центральной власти» (Ibid.: 171)¹⁰. Концентрированная, интенсивная харизма все-таки первична; распределенная, ослабленная харизма *вся*, и «нормальная», то есть эманулируемая центром, и «ненормальная», возникающая как очаг воспаления, восстания против актуального центра где-то на подвластной ему периферии (между прочим, «то, что ты считаешь периферией, зависит от того, что ты считаешь центром» (Martin, 1988: 29)), вторична. Если прежнему центру такое воспаление нанесет непоправимый, губительный ущерб, то его исходный очаг придется считать новым центром, а явившаяся в нем (например, через того самого «дикого пророка», «отчаянного революционера») харизма из вторичной превратится в первичную, после чего начнется производство новым центром собственной вторичной харизмы, ее рутинизация и нормализация. И, само собой, новый центр довольно быстро начнет подавлять уже новейшие, уже ему альтернативные, ему несущие угрозу очаги харизматического воспаления. Произойдет ли эта инверсия, запустится ли цикл обращения первичной харизмы во вторичную, станет понятно только *post factum*, by results. Не все воспаления летальны, и даже не большинство их. Но некоторые — да.

Таким образом, ни харизма как таковая, ни ассоциированный с ней тип господства никуда не деваются, как бы далеко ни продвигались рационализация, интеллектуализация, индустриализация, институционализация, демократизация и вообще модернизация каких бы то ни было обществ. Есть общества — есть центры. Есть центры — есть харизма. Есть харизма — есть харизматики. Концепт сохраняет работоспособность, веберовский идеальный тип и вместе с ним типология господства в целом претерпели некоторый апгрейд, но его ценой избежали полной дискредитации.

Поэтому Айзенштадт решительно заявляет: «Шилз пошел намного дальше Вебера. Шилз обнаружил, что харизма есть не только и не исключительно нечто экстраординарное, лежащее за пределами повседневной рутины, но что она представляет собой поистине центральный компонент любого устойчивого социального порядка; он продемонстрировал, до какой степени харизматическая ориентация на центр и основанное на ней отношение центра и периферии критически важны

10. Здесь стоит вспомнить, что Парсонс считал дюркгеймовское сакральное и веберовскую харизму не просто близкими, а прямо-таки идентичными категориями (Парсонс, 2000: 191).

для конституирования общества». Более того, «вопреки тем, кто считал и считает современные общества пронизанными отчуждением, он стремился показать, что благодаря широкому распределению (dispersion) примордиальных пристрастий и харизматических ориентаций современные общества могут — пусть только могут — достигать более высоких степеней морального консенсуса и сплоченности, чем менее дифференцированные традиционные» (Eisenstadt, 1996: 63). Иначе говоря, распределенная, (будто бы) ослабленная, вторичная харизма на деле оказывается, хотя и не всегда, даже помощнее концентрированной, интенсивной, первичной. На место логического противоречия встает парадокс — первичность и интенсивность сами по себе не равны силе и ее не гарантируют. Но парадокс этот продуктивен, полезен.

Поэтому Гирц, посетовав сперва на то, что теперь «каждого, от Джона Линдсея¹¹ до Мика Джаггера, называют харизматиком», затем на то, что в атмосфере «всеобщего психологизма нашего времени, так хорошо описанной Филиппом Риффом¹², изучение личной власти сужается до исследований самопрезентации и коллективных неврозов; ее нуминозный аспект исчезает из поля зрения», далее удовлетворенно констатирует: «Шилз восстанавливает утраченные измерения харизмы, акцентируя связь между находящимися в распоряжении индивидов символическими ценностями и их отношениями с активными центрами социального порядка. Центры... представляют собой прежде всего локусы сосредоточения наиболее значительных (serious) социальных действий; это такая точка (или точки) общества, где доминирующие в нем идеи и институты образуют пространство совершения событий, оказывающих критически важные воздействия на членов общества. Вовлеченность, даже недобровольная, в эти пространства и участие в происходящих в них событиях даруют харизму» (Geertz, 1977: 150–151)¹³.

Но что же тогда происходит с харизмой сейчас, по истечении уже четверти следующего, XXI века? Кажется, что-то пошло не так. Именно кажется: конечно, никаких средств объективного контроля, никакого харизмометра не существует. Того или иного претендента на политическое господство или уже господствующего актора можно квалифицировать как харизматика только по тому впечатлению,

11. Мэр Нью-Йорка в 1966–1973 гг. О его выдающейся харизме и впрямь говорили много.

12. Имеется в виду нашумевшая в свое время книга: Rieff P. (1966). *The Triumph of the Therapeutic. Uses of Faith after Freud*. N. Y.: Harper & Row.

13. Другой проект реанимации понятия харизмы, схожий с шилзовским тем, что в нем также предлагается считать харизму свойством не только отдельных людей, но и крупных коллективов, не только индивидуальным, но и макросоциальным, предложил Энтони Смит. Претендуя на то, чтобы интегрировать представления о харизме, выработанные Вебером и ап. Павлом, он спрашивает: «Можем ли мы применить (эти) различающиеся идеи харизмы к образу и роли национальных сообществ?» И тут же отвечает утвердительно: «Нации и национализм, пожалуй, могут быть описаны как харизматические в трех отношениях: символически, как сообщества вечной судьбы и неумирающей веры; политически, как массовые движения коллективной воли; исторически, как новый мировой порядок, составленный из “очищенных” наций» (Smith, 2012: 32). Поэтому «мы можем квалифицировать нацию как тип харизматического сообщества» (Ibid.: 37). Впрочем, особого резонанса проект Смита не получил, даже в кругах исследователей наций и национализмов.

которое он производит на массы (это как раз измеримо) — причем на достаточно широкие массы, не только на замкнутую группу верных адептов, — и по делам его. По тому, удастся ли ему силой харизмы взломать старый порядок, Ancien Régime, и установить новый — или, наоборот, успешно отражать при помощи той же силы попытки такого слома и установления (впрочем, спасенный порядок все равно уже не будет тем же, что прежде).

И вот, если судить по этим критериям, с политическими харизматиками дело уже давно идет как-то туговато. То есть мануфактуры, мастерающие рукодельную харизму, работают вовсю, тем более что это *very good business*. Политики, изображающие харизматиков, встречаются нередко. Но их харизма либо очень быстро рутинизируется, либо, даже не успев толком рутинизироваться, вообще выдыхается и сходит на нет. Таковы на поверку оказались (разумеется, со многими вариациями, зависящими от местного контекста и колорита) Алексис Ципрас (Греция), Эммануэль Макрон (Франция), Джастин Трюдо (Канада), Михаил Саакашвили (Грузия), Родриго Дутерте (Филиппины), Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко (Украина), возможно — Владимир Зеленский (тоже Украина) и Никол Пашинян (Армения). Или Владимир Путин (Россия), поначалу продемонстрировавший недюжинную харизматическую энергетику¹⁴, благодаря ей ставший, по выражению Юрия Левады, «президентом надежды», потом превратившийся в «президента стабильности» (что сопровождалось и обеспечивалось масштабным инвестированием его харизмы в институциональный дизайн), а еще позже, когда стабильность кончилась, нашедший другие способы легитимации своего господства, все более интенсивную эксплуатацию которых в последние годы можно наблюдать в режиме реального времени. Или Александр Лукашенко (Белоруссия), еще раньше продававший, *mutatis mutandis*, похожую эволюцию. И все равно политиков, хотя бы пытающихся изображать харизматиков, очень мало, а успешных политических харизматиков, то есть тех, кто устанавливает по-настоящему новый порядок или чудом спасает старый, кажется, и вовсе нету¹⁵. Цикл нарушен.

Почему так? Ведь центры обществ продолжают существовать. Об этом свидетельствует хотя бы то, что политический язык до сих пор изобилует синекдохами (*pars pro toto*, «часть вместо целого»), указывающими именно на центры. Москва, Киев, Вашингтон, Париж, Лондон, Пекин, более того, Кремль, Банковая, Белый дом, Елисейский дворец, Даунинг-стрит (но отчего-то не Чжуннаньхай) заявляют, требуют, провоцируют, лгут, разжигают, развязывают войны, выступают с мирными инициативами etc. Причем частота употребления таких синекдох, похоже, коррелирует со степенью признания (нерефлексивного, интуитивного) той или иной столицы или еще меньшего локуса власти центром мировой силы — Вадуц,

14. Причем вопреки тому устоявшемуся к рубежу 1990–2000-х гг. убеждению, что харизматичный российский политик непременно должен обладать фактурой, габаритами и прочими тактико-техническими характеристиками Ельцина, Александра Лебеда или хотя бы Виктора Черномырдина.

15. За исключением разве что Уго Чавеса (Венесуэла). Но и тут для уверенного суждения еще надо посмотреть на дальнейшую судьбу его преемника Николаса Мадуро и «боливарианского социализма» в целом.

Уагадугу, Асунсьон, Веллингтон или Тхимпху фигурируют в подобных переносах смысла гораздо реже. Пусть центры реже становятся фокусами «внимания, озабоченности, подчинения, почтения и подражания», а интенсивность соответствующих реакций снизилась; но все равно же становятся. Особенно тогда, когда они подвергаются прямым атакам. Когда через центры причиняется боль всему социальному и политическому порядку и его обитателям (а лучшего способа ее причинить и нет). Примеры очевидны. 11 сентября 2001 года, Twin Towers и Пентагон; 6 января 2021 года, «штурм Капитолия»; 3 мая 2023 года, два дрона, врезавшиеся в купол Сенатского дворца в Кремле, — в том же ряду, несмотря на несопоставимо меньшую интенсивность ранящего воздействия. Где же харизматики, которых центры вроде как должны регулярно порождать? И где новые или обновленные центры, которые вроде как должны создаваться харизматиками?

А вот есть у Гирца важнейшая фраза: «Харизма — не привлекательность для масс и не изобретательное юродство, а знак причастности к сути вещей (*heart of things*)» (Geertz, 1977: 151). Именно так; юродивых огромное количество, способные привлекать массы политики тоже есть. Но может ли не повредиться харизма, если глубоко дискредитирована (в буквальном смысле, присутствующем в корне *credo*, «верую») сама инстанция и категория «суть вещей»¹⁶? Если мало кто верит, что у вещей вообще есть суть? Если еще меньше тех, кто по-настоящему верит не только в то, что харизма представляет собой «устремленность к конструированию и достижению такого осмысленного социального порядка, который был бы тесно связан... с областью сакрального», но и в то, что «этот поиск локализован прежде всего в центре или центрах общества» (Eisenstadt, 1988: 96)?

И тут надо вспомнить, что шилзовский центр, помимо ценностной и институциональной ипостасей, имеет еще и третью — трансцендентную. «Легитимация центра достигается согласованием его с некоторыми фундаментальными нормами, неотъемлемо присущими космическому или природному порядку либо предписанными верховной трансцендентной мощью. Поэтому мы можем говорить о трансцендентном центре, о центре, располагающемся по ту сторону (*beyond*) событий и установлений рутинного земного бытия, возвышающемся над ними» (Shils, 1988: 254). Разумеется, «трансцендентный центр не может стать известен человечеству, если он не обладает земным соответствием, находящимся в согласии с земным же центром власти и господства или же репрезентирующим себя как альтернативу ему, призванную его заместить либо исправить» (Ibid.: 254–255). Однако само существование (во всяком случае, легитимное существование) этих земных соответствий ставится в зависимость от существования их трансцендентного прообраза, которое утверждает Шилзом как факт — конечно, только как факт социальный, но тем самым, в соответствии с теоремой Томаса, как факт полностью реальный. Если отменяется трансценденция как таковая (включая само-

16. Причем эта дискредитация равным образом поражает, помрачает, затмевает и интенсивную, концентрированную, и ослабленную, распределенную, нормальную харизму — независимо от того, какую из них считать первичной, а какую вторичной.

трансценденцию, свойственную государству как политической форме, — см.: Каспэ, 2007: 155–202)), то начинает шататься вся шилзовская конструкция. «Под боем» оказываются и центральные ценностные, и центральные институциональные системы. Функционирование центров в инерционном режиме все еще обеспечивают накопленные ими разнообразные ресурсы — символические, организационные, людские, материальные. Запас их немал; но не бесконечен.

Велик соблазн возложить ответственность за такое развитие событий на релятивизм, постмодернизм, деконструкцию, децентрацию, мультикультурализм, постколониализм и проч., и проч. (впрочем, начинать все равно надо с секуляризации, не упуская из виду еще и деидеологизацию). Но к чему? Все это — симптомы одного синдрома, одного комплексного состояния или процесса. Причем представляющего собой не очередной этап продвижения веберовских интеллектуализации, рационализации и расколдования, а нечто противоположное. Мы оказались отнюдь не в окончательно расколдованном мире, а в мире, обратно заколдованном, причем с пропуском монотеистической стадии и с регрессом к магизму и язычеству. Кстати, Вебер прямо связывал расколдование мира как раз с появлением и эволюцией монотеизма: «абсолютное устранение веры в спасение души с помощью церкви и таинств (с последовательностью, еще неведомой лютеранству) было той решающей идеей, которая отличала кальвинизм от католицизма. В этом находит свое завершение тот великий историко-религиозный процесс расколдования мира, начало которого относится ко времени древнеиудейских пророков и который в сочетании с эллинским научным мышлением уничтожил все магические средства спасения, объявив их неверием и кощунством» (Вебер, 1990а: 143)¹⁷.

Что до язычества и того смысла, в котором я употребляю это слово, то я писал об этом по другому, но в чем-то близкому поводу в одной из своих недавних статей. В видах экономии места воспроизвожу с некоторыми сокращениями соот-

17. Эта вставка в «Протестантскую этику и дух капитализма», отсутствующая в первом издании (1904 г.) и добавленная Вебером в текст только в 1919–1920 гг., возмутила Фридриха Тенбрука. Она, по его мнению, «заметно выходит за рамки изначального тезиса, причем... явно и радикально <...> Где в “Протестантской этике” Вебер говорил о религиозно-историческом процессе расколдовывания, если в ней речь шла лишь о возникновении духа капитализма? Как он мог там объявить кальвинизм завершением некоего процесса, если обсуждались исключительно его специфика и последствия? И какими аргументами Вебер мог адресовать читателю “Протестантской этики” еще более чужеродное дополнение о том, что расколдовывание мира “началось с древнееврейского пророчества”, “в союзе с эллинским научным мышлением”, а затем нашло свое завершение во внутримирской аскезе протестантизма? Ведь обо всем этом в “Протестантской этике” не было и речи, так что веберовское допущение следовало бы изъять как личную причуду фантазера, который не совсем понимает границы научных высказываний. Понятно, что это место является абсолютно чуждым элементом для “Протестантской этики”. Его не только не было, но и не могло быть в оригинале, поскольку оно полностью взрывает его рамку и придает ему совершенно новое измерение» (Тенбрук, 2020: 82). Но почему бы не исходить из той простой презумпции, что Вебер был не фантазер и все-таки понимал «границы научных высказываний» — пожалуй, лучше многих? Почему бы не допустить, что раз Вебер счел эту вставку необходимой, то у него были на то свои основания?

ветствующий отрывок. Применительно к современности о язычестве, или, точнее, языческой политической теологии, можно говорить:

...конечно, не генеалогически и не буквально; но по меньшей мере одна структурная аналогия слишком сильна, чтобы ее можно было игнорировать <...> термин «язычество» здесь употребляется не в строго научном смысле, поскольку такового не имеет <...> Под «язычеством» я подразумеваю скорее теологическое понятие, сконструированное христианскими мыслителями от свв. Августина и Фомы до Гуго Гроция и Гилберта К. Честертона по принципу *in contrarium*, то есть зонтичным образом покрывающее все не моно-теистические верования (в первую очередь не христианские, но ни иудеи, ни мусульмане язычниками не считались) <...> Так понимаемое язычество охватывает очень различные явления... (*оно близко*) ...к тому, что Эмиль Дюркгейм со свойственной ему и его эпохе неполиткорректной грубостью называл «примитивными религиями». Оно напоминает анимизм и шаманизм <...> Мироздание видится децентрированным, наполненным бесчисленными духами¹⁸ (Каспэ, 2023: 105–106).

А кроме того, ниоткуда не следует, что процесс, так сказать, «паганизации» мира непременно имеет патологический характер — ведь многие считают, что именно так и должно выглядеть здоровое общество¹⁹. В любом случае рациональная дискуссия и аргументация тут невозможны, возможен только выбор той или иной позиции. А что до харизмы... да нужна ли она? Может быть, не с первой, так со второй попытки ее удастся наконец похоронить, и человечество заживет долго и счастливо?

Вопрос в другом. Представимы ли такие условия, при которых харизма и харизматическое господство могут вновь возродиться, явить себя в силе и славе, во всей своей ужасающей и чарующей нуминозности?

Логически — да. Такие условия возникнут, если инстанция и категория «сути вещей» будет реабилитирована, восстановлена в правах. Если люди вдруг снова уверуют в существование по-настоящему «serious things», или «ultimate things», как называл их Шилз, то есть вещей, обладающих «трансцендентной значимостью», «мыслимых как фундаментальные, как определяющие человеческую участь в этом мире, в жизни и смерти» (Shils, 1988: 251) (кроме собственно жизни и смерти Шилз включал в разряд «serious things» «справедливость» и «порядок» (Shils, 1997: 171)). «Предельные, последние, окончательные (ultimate) вещи суть сакральные вещи» (Shils, 1975: 154).

Но с чего бы людям, живущим в современной цивилизации, создавать себе такие неудобства, переживать столь мучительную метанойю, «перемену ума»? Не-которые считали, что к ней приведет пандемия COVID-19, действительно с давно невиданной силой поставившая перед человечеством вопросы жизни и смерти

18. Среди которых, между прочим, все более заметное место занимают всяческие компьютерные программы (один из классов которых так и называется — «демоны»), алгоритмы и интеллекты.

19. Не следует-то оно не следует, но не могу удержаться от реплики a parte: ну-ну.

(а заодно и справедливости и порядка) (см.: Каспэ, 2022). Но, как выяснилось, человечество — слишком тяжелый, массивный, неповоротливый объект, его одним вирусом не проймешь. Все эффекты пандемии — психологические, политические, экономические — очень быстро сгладились. Какой интенсивности должен быть более результативный шок того же плана, повоображать, конечно, можно. Но это будет очередная бессмысленная и бесплодная страшилка.

На еще один вариант указал А. Ф. Филиппов — в тех записях в telegram-канале SocialEvents, реакцией на которые, как уже говорилось, стала эта статья. Он вспомнил Вальтера Беньямина, писавшего — как почти всегда, темно, но в данном случае как-то особенно невразумительно — о возможности некоего «божественного (göttliche) насилия» (Беньямин, 2012). Абсолютного, взрывающего любые законы и границы, в том числе законы и границы естественного. Такого сокрушительного насилия, которое отменяет право, устраняет границы, искупает вину и грех, поражает и губит, но, любопытным и не вполне понятным образом, без кровопролития. По первой видимости подразумевается насилие, исходящее непосредственно от Бога как Верховного Судии. Но нет, такое насилие было бы (или будет) не обязательно именно и буквально божественным: «божественное насилие обнаруживает себя не только в религиозных преданиях, оно скорее являет себя — и в современной жизни — по меньшей мере в одной священной манифестации. Одна из форм его проявления — это воспитательное (erzieherische) насилие, которое в своей законченной форме находится вне права» (Там же: 91). Что, собственно, такое «воспитательное насилие», Беньямин никак не пояснил, как и его ценители и толкователи²⁰.

Неважно; религиозное или воспитательное, божественное насилие приходит (придет) из областей сакрального или как минимум трансцендентного по отношению к нашему наличному опыту. Если однажды будет разодрана ткань небес и мы узрим лик Сидящего на престоле, суть вещей окажется явлена в полной мере и очевидности. Однако если однажды будет разодрана ткань небес и мы увидим князя тьмы, произойдет то же самое. Более того, если однажды будет разодрана ткань небес и мы увидим какие-то гигантские шестеренки и механизмы, а также добрые (или строгие) лица склонившихся над нашим террариумом экспериментаторов, опять-таки произойдет то же самое. Суть вещей вскрыется, а значит, найдутся и люди, претендующие, по Гирцу, на причастность к ней. То есть на харизму и на достигаемое через нее господство.

Чем же тогда заняться в ожидании подлинно апокалиптических событий, времен и сроков наступления которых никто не знает? Есть одно предложение — оно же тот самый «вопрос, на который у меня самого нет ответа», обещанный в первом абзаце. В многочисленных обсуждениях харизмы не слишком часто, но и не редко встречается подсоединение к этому слову эпитетов «негативная», «темная», «черная». Обычно имеется в виду Гитлер, но иногда называются и другие персоны —

20. В качестве примера малоубедительной попытки такого рода см.: Rotlevy, Snir, 2024.

Муссолини, Сталин, Чарльз Мэнсон, Джим Джонс²¹, Анатолий Чубайс, Борис Березовский, Дональд Трамп и др. Если так, то должна быть и харизма «позитивная», «светлая», «белая». Однако никакой развернутой операционализации этой дихотомии в пределах только разума и науки обнаружить не удалось — по крайней мере, не удалось мне. Можно ли ее предложить? С одной стороны, вроде как не положено, Вебер не велит — ведь из такой бинарной, дихотомической росписи по цветам неустрашим элемент оценочности, что резко противоречит веберовскому идеалу ценностно нейтральной науки как призвания и профессии.

С другой стороны, сам же Вебер уверенно утверждал, что именно ценностный выбор является предметом политической социологии: «случаи борьбы богов, несовместимости ценностей» (Вебер, 1990b: 725); «если вы выбираете [ту или иную] установку, то вы служите, образно говоря, одному Богу и *оскорбляете всех остальных богов*» (Там же: 730). И Лео Штраус отчеканил: «Хорошее общество представляет собой завершенное политическое благо» (Штраус, 2000: 9), откуда прямо следует, что дурное общество представляет собой завершенное политическое зло. Значит, эти категории все же легитимны, ведь политические ученые (по крайней мере некоторые из них) считают правильным и нужным говорить о политическом зле, исследовать его природу. Значит, можно и сравнивать харизмы, исходящие от тьмы и света, — в том числе, например, по их живучести и способности к регенерации. Стоит поискать и другие переменные. Во-первых, это интересно. Во-вторых, и в порядке подготовки к Судному дню совсем нелишним будет восстановить и потренировать почти утраченные навыки различения духов. И ретроспективного, и проспективного.

Литература

- Беньямин В. (2022). К критике насилия / Пер. с нем. И. М. Чубарова // *Беньямин В. Учение о подобии: медиаэстетические произведения*. М.: РГГУ. С. 65–99.
- Вебер М. (1990a). Протестантская этика и дух капитализма / Пер. с нем. М. И. Левиной // *Вебер М. Избранные произведения*. М.: Прогресс. С. 61–272.
- Вебер М. (1990b). Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. П. П. Гайденко // *Вебер М. Избранные произведения*. М.: Прогресс. С. 707–735.
- Вебер М. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. I: Социология / Пер. с нем., под общ. ред. Л. Г. Ионина. М.: ВШЭ.
- Вебер М. (2019). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. IV: Господство / Пер. с нем., под общ. ред. Л. Г. Ионина. М.: ВШЭ.
- Каспэ С. И. (2007). Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. М.: Московская школа политических исследований.

21. Лидер секты «Храм народов», в 1978 г. инспирировавший коллективное самоубийство 918 ее членов.

- Каспэ С. И. (2011). Назад к Шилзу: социальные науки, политическая реальность и парадокс безблагодатной харизмы // *Полития*. № 1. С. 5–18.
- Каспэ С. И. (2012). Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. М.: РОССПЭН.
- Каспэ С. И. (2016). Политическая форма и политическое зло. М.: Школа гражданского просвещения.
- Каспэ С. И. (2022). Жизнь, смерть и государство: о новых сопряжениях политического и сакрального // *Россия в глобальной политике*. Т. 20. № 1 (113). С. 8–34.
- Каспэ С. И. (2023). Не по Шмитту: политическая теология современных войн // *Россия в глобальной политике*. Т. 21. № 5 (123). С. 96–107.
- Парсонс Т. (2000). Структура социального действия // Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект. С. 177–195.
- Смирнов М. М. (2017). Харісма в контексте богочеловеческих отношений. Из опыта исследования послания апостола Павла к Римлянам // *Материалы Международной студенческой научно-богословской конференции. К 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской*. Т. 1. СПб.: Санкт-Петербургская духовная академия.
- Тенбрук Ф. (2020). Главный труд Макса Вебера / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова // *Социологическое обозрение*. Т. 19. № 2. С. 76–121.
- Фивейский М. (1907). Духовные дарования в первоначальной христианской Церкви: Опыт объяснения 12–14 глав первого послания св. апостола Павла к Коринфянам. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова.
- Штраус Л. (2000). Что такое политическая философия? / Пер. с англ. М. Фетисова // Штраус Л. Введение в политическую философию. М.: Логос, Праксис. С. 9–49.
- Ячменик В. А. (2023). Представления о феномене харизматической власти в Церкви в русском богословии начала XX в. (историко-понятийный аспект). Дисс. ... канд. теологии (5.11.1). Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
- Barrat-Godefroy S. (1993). *How to Develop Charisma & Personal Magnetism*. L.: Thorsons.
- Benjamin W. (1999). *Zur Kritik der Gewalt* // *Benjamin W. Gesammelte Schriften*. Bd. II (1). Frankfurt a. M.: Suhrkamp. S. 179–204.
- Cabane A. F. (2012). *The Charisma Myth. How Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism*. L.: Penguin Publishing Group.
- Dawson V. (2013). *Charisma. 11 Techniques on How to Increase Charisma*. Newark: Speedy Publishing.
- DuBrin A. J. (1997). *Personal Magnetism. Discover Your Own Charisma and Learn to Charm, Inspire, and Influence Others*. N. Y.: AMACOM.
- Eisenstadt S. N. (1988). *Transcendental Vision, Center Formation, and the Role of Intellectuals* // *Center: Ideas and Institutions* / L. Greenfeld, M. Martin (eds.). Chicago, L.: The University of Chicago Press. P. 96–109.

- Eisenstadt S. N.* (1996). Edward Shils in memoriam // *The American Sociologist*. Vol. 27. № 4. P. 61–66.
- Geertz C.* (1977). Centers, Kings and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power // *Culture and its Creators: Essays in Honor of Edward Shils* / J. Ben-David, T. N. Clarke (eds.). Chicago: The University of Chicago Press. P. 150–171.
- Glassman R. M.* (1975). Legitimacy and Manufactured Charisma // *Social Research*. Vol. 42. № 3. P. 615–636.
- Glassman R. M., Swatos W. H.* (eds.) (1986). *Charisma, History, and Social Structure*. N. Y.: Greenwood Press.
- Glassman R. M.* (2019). *The Future of Democracy*. Cham: Springer. P. 157–161.
- Karia A.* (2015). *Charisma. 34 Tricks to Unlock Your Charisma, Master the Art of Small Talk and Develop Personal Magnetism*. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Löwith K.* (1939). Max Weber und seine Nachfolger // *Maß und Wert*. № 3. P. 166–176.
- Martin D.* (1988). The Religious Politics of Two Rival Peripheries: Preliminary Excursus on Center and Periphery // *Greenfeld L., Martin M. (eds.) Center: Ideas and Institutions*. Chicago, L.: The University of Chicago Press. P. 29–42.
- Mommsen W. J.* (1984). *Max Weber and German Politics. 1890–1920*. Chicago: Chicago University Press.
- Potts J.* (2009). *A History of Charisma*. L.: Palgrave Macmillan.
- Rotlevy O., Snir I.* (2024). Affirming Educative Violence: Walter Benjamin on Divine Violence and Schooling // *Ethics and Education*. Vol. 19. № 1. P. 59–75.
- Schlesinger A. M.* (1963). *The Politics of Hope*. Boston: Houghton Mifflin.
- Shils E.* (1975). *Center and Periphery: Essays in Macrosociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Shils E.* (1988). Center and Periphery: An Idea and its Career, 1935–1987 // *Greenfeld L., Martin M. (eds.) Center: Ideas and Institutions*. Chicago, L.: University of Chicago Press. P. 250–282.
- Shils E.* (1997). *Order of Learning: Essays on the Contemporary University*. New Brunswick, L.: Transaction Publishers.
- Smith A.* (2012). The Charisma of Nations // *Ibrahim V., Wunsch M. (eds.) Political Leadership, Nations and Charisma*. L., N. Y.: Routledge. P. 27–39.

Obscuration of Charisma. Or Not

Svyatoslav Kaspe

Doctor of Sciences in Politics, Professor

School of Politics and Governance, Faculty of Social Sciences, HSE University.

Editor-in-Chief

Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics "Politeia".

Address: 20, Myasnitskaya str., Moscow, 101000 Russian Federation.

E-mail: kaspe@politeia.ru.

Since the concept of charisma entered into the language of social sciences and political practice, there have been significant evolutions and variations in its functioning. Max Weber himself distinguished «true» and routinized charisma, not arguing, however, that the routinization of charisma could lead to its complete disappearance as a type of domination. Nevertheless, by the middle of the 20th century, the line of thought and practice had prevailed on the desirability of the fastest possible, most preventive restraint of charisma and its political projections. However, the subsequent emergence of a whole galaxy of powerful charismatics has produced a new vector of interpretation. Ronald Glassman considers charisma as entirely «manufactured», and this is what the authors of numerous manuals on «development» of charisma and «personal magnetism» believe. At the same time, Edward Shils overturns the Weberian distinction of the «true» charisma, preferring to call it «intense» or «concentrated», and the routinized, calling it «dispersed», «attenuated». According to Shils, the initial, moreover «normal» form of charisma is the second one. This turns out to be the case because charisma is not, in fact, produced by one or other charismatic on his own, but by the center of the society that serves as the arena for its activities. There are societies — so there are centers. There are centers — so there is charisma. There is charisma — so there are charismatics. The concept keeps working.

Yet in the first quarter of the 21st century, there are no outstanding political charismatics. It can be assumed that this deficit is related to the progressive loss of faith in the very existence of any politically significant transcendences, which according to Shils provide conditions for the construction of macrosocial centers. Can we imagine the conditions in which charisma and charismatic domination could be revived? Logically, yes. A part in this revival could be played by a shock of unprecedented strength and a priori unforeseeable nature, one which would make mankind believe once more in the presence of vitally «serious things» in their lives, that is, in things having «transcendent importance», «thought to be fundamental, that is, which affect the fate of human beings on earth, in life and in death» (Shils). In the absence (or in expectation) of immanent or transcendent shocks, it would be worth undertaking the task of operationalization of the known but not well-researched antithesis of «dark», «negative», and «light», «positive» charisma, primarily by studying their relative survivability and ability to regenerate.

Keywords: charisma, Max Weber, routinization, Edward Shils, center, transcendence, Walter Benjamin, «divine violence»

References

- Barrat-Godefroy S. (1993) *How to Develop Charisma & Personal Magnetism*, L.: Thorsons.
- Benjamin W. (1999) Zur Kritik der Gewalt. Benjamin W. *Gesammelte Schriften*. Bd. II (1), Frankfurt a. M.: Suhrkamp, pp. 179–204.
- Benjamin W. (2022) K kritike nasiliia [Toward the Critique of Violence] (transl. by I. M. Chubarov). Beniamin V. *Uchenie o podobii: mediaesteticheskie proizvedeniia* [The Doctrine of Similarity: Media-Aesthetic Works], Moscow: Russian State University for the Humanities, pp. 65–99.
- Cabane A. F. (2012) *The Charisma Myth. How Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism*, L.: Penguin Publishing Group.
- Dawson V. (2013) *Charisma. 11 Techniques on How to Increase Charisma*, Newark: Speedy Publishing.
- DuBrin A. J. (1997) *Personal Magnetism. Discover Your Own Charisma and Learn to Charm, Inspire, and Influence Others*, N.Y.: AMACOM.
- Eisenstadt S. N. (1988) Transcendental Vision, Center Formation, and the Role of Intellectuals. *Center: Ideas and Institutions* (eds. L. Greenfeld, M. Martin), Chicago: The University of Chicago Press, pp. 96–109.
- Eisenstadt S. N. (1996) Edward Shils in memoriam. *The American Sociologist*, vol. 27, no 4, pp. 61–66.
- Fiveiskii M. (1907) *Duhovnye darovaniia v pervonachal'noj hristianskoj Cerkvi: Opyt ob'jasneniia 12–14 glav pervogo poslanija sv. apostola Pavla k Korinfjanam* [Spiritual Gifts in the Early Christian Church: An Explanation of Chapters 12–14 of the First Epistle of St. Paul to the Corinthians], Moscow: A. I. Mamontov Publishing House.

- Geertz C. (1977) Centers, Kings and Charisma: Reflections on the Symbolics of Power. *Culture and Its Creators: Essays in Honor of Edward Shils* (eds. J. Ben-David, T. N. Clarke), Chicago: The University of Chicago Press, pp. 150–171.
- Glassman R. M. (1975) Legitimacy and Manufactured Charisma. *Social Research*, vol. 42, no 3, pp. 615–636.
- Glassman R. M. (2019) *The Future of Democracy*, Cham: Springer, pp. 157–161.
- Glassman R. M., Swatos W. H. (eds.) (1986) *Charisma, History, and Social Structure*, N.Y.: Greenwood Press.
- Karia A. (2015) *Charisma. 34 Tricks to Unlock Your Charisma, Master the Art of Small Talk and Develop Personal Magnetism*, Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Kaspe S. I. (2007) *Centry i ierarhii: prostranstvennye metafory vlasti i zapadnaja politicheskaja forma* [Centers and Hierarchies: Spatial Metaphors of Power and the Western Political Form], Moscow: Moscow School of Political Studies.
- Kaspe S. I. (2011) Nazad k Shilzu: social'nye nauki, politicheskaja real'nost' i paradoks bezblagodatnoj harizmy [Back to Shils: Social Sciences, Political Reality, and the Paradox of Non-divine Charisma]. *Politija*, no 1, pp. 5–18.
- Kaspe S. I. (2012) *Politicheskaja teologija i nation-building: obshhie po-lozhenija, rossijskij sluchaj* [Political Theology and Nation-Building: General Provisions, the Russian Case], Moscow: ROSSPEN.
- Kaspe S. I. (2016) *Politicheskaja forma i politicheskoe zlo* [Political Form and Political Evil], Moscow: Shkola grazhdanskogo prosveshhenija.
- Kaspe S. I. (2022) Zhizn', smert' i gosudarstvo: o novyh sopryazhenijah politicheskogo i sakral'nogo [Life, Death, and the State: On New Conjugations of the Political and the Sacred]. *Rossija v global'noj politike*, vol. 20, no 1 (113), pp. 8–34.
- Kaspe S. I. (2023) Ne po Schmittu: politicheskaja teologija sovremennyh vojn [Not According to Schmitt: The Political Theology of Contemporary Wars]. *Rossija v global'noj politike*, vol. 21, no 5 (123), pp. 96–107.
- Löwith K. (1939) Max Weber und seine Nachfolger. *Maß und Wert*, no 3, pp. 166–176.
- Martin D. (1988) The Religious Politics of Two Rival Peripheries: Preliminary Excursus on Center and Periphery. *Center: Ideas and Institutions* (eds. L. Greenfeld, M. Martin), Chicago, L.: The University of Chicago Press, pp. 29–42.
- Mommsen W. J. (1984) *Max Weber and German Politics. 1890–1920*, Chicago: Chicago University Press.
- Parsons T. (2000) Struktura social'nogo dejstvija [The Structure of Social Action]. Parsons T. *O strukture social'nogo dejstvija* [On the Structure of Social Action], Moscow: Akademicheskij proekt, pp. 177–195.
- Potts J. (2009) *A History of Charisma*, L.: Palgrave Macmillan.
- Rotlevy O., Snir I. (2024) Affirming Educative Violence: Walter Benjamin on Divine Violence and Schooling. *Ethics and Education*, vol. 19, no 1, pp. 59–75.
- Schlesinger A. M. (1963) *The Politics of Hope*, Boston: Houghton Mifflin.
- Shils E. (1975) *Center and Periphery: Essays in Macrosociology*, Chicago: University of Chicago Press.
- Shils E. (1988) Center and Periphery: An Idea and its Career, 1935–1987. *Center: Ideas and Institutions* (eds. L. Greenfeld, M. Martin), Chicago, L.: University of Chicago Press, pp. 250–282.
- Shils E. (1997) *Order of Learning: Essays on the Contemporary University*, New Brunswick, L.: Transaction Publishers.
- Smirnov M. M. (2017) Χάρισμα в контексте богочеловеческих отношений. Из опыта исследования послания апостола Павла к Римлянам [Χάρισμα in the Context of Divine-Human Relations: From the Experience of Researching the Epistle of the Apostle Paul to the Romans]. *Materialy Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-bogoslovskoj konferencii. K 100-letiju podviga novomuchenikov i ispovednikov Cerkvi Russkoj* [Proceedings of the International Student Scientific and Theological Conference Dedicated to the 100th Anniversary of the Feat of the New Martyrs and Confessors of the Russian Church], vol. 1, St. Petersburg: Sankt-Peterburgskaja Duhovnaja Akademiya.

- Smith A. (2012) The Charisma of Nations. *Political Leadership, Nations and Charisma* (eds. V. Ibrahim, M. Wunsch), L., N.Y.: Routledge, pp. 27–39.
- Strauss L. (2000) Chto takoe politicheskaja filosofija? [What Is Political Philosophy?] (transl. by M. Fetisov). Strauss L. *Vvedenie v politicheskuyu filosofiju* [An Introduction to Political Philosophy], Moscow: Praxis, pp. 9–49.
- Tenbruk F. (2020) Glavnyj trud Maksa Vebera [The Major Work of Max Weber] (transl. by O.V. Kildiushov). *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 2, pp. 76–121.
- Weber M. (1990a) Protestantskaja etika i duh kapitalizma [The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism] (transl. by M.I. Levina). Weber M. *Izbrannye proizvedenija* [Selected Works], Moscow: Progress, pp. 61–272.
- Weber M. (1990b) Nauka kak prizvanie i professija [Science as Vocation and Profession] (transl. by P.P. Gaidenko). Weber M. *Izbrannye proizvedenija* [Selected Works], Moscow: Progress, pp. 707–735.
- Weber M. (2016) *Hozjajstvo i obshchestvo: ocherki ponimajushhej sociologii*. T. I: Sociologija [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, vol. I: Sociology], Moscow: HSE.
- Weber M. (2019) *Hozjajstvo i obshchestvo: ocherki ponimajushhej sociologii*. T. IV: Gospodstvo [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, vol. IV: Domination], Moscow: HSE.
- Yachmenik V. A. (2023) *Predstavlenija o fenomene harizmaticheskoy vlasti v Cerkvi v russkom bogoslovii nachala 20 v. (istoriko-ponjatijnyj aspekt)* [Conceptions of Charismatic Authority in the Church in Russian Theology of the Early 20th Century (Historical-Conceptual Aspect)] (PhD Thesis), Moscow: Orthodox St. Tikhon's University for the Humanities.

Факторы начала невооруженных революционных выступлений: опыт комплексного анализа*

Вадим Устюжанин

Младший научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
Младший научный сотрудник, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: vvustiuzhanin@hse.ru

Илья Медведев

Стажер-исследователь Центра изучения стабильности и рисков,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: semyonkot@yandex.ru

Андрей Уфимцев

Стажер-исследователь Центра изучения стабильности и рисков,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: aufimtsev@hse.ru

Леонид Гринин

Доктор философских наук, главный научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
Ведущий научный сотрудник, Институт Востоковедения РАН.
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: leonid.grinin@gmail.com),

Андрей Коротаев

Доктор исторических наук, профессор, директор Центра изучения стабильности и рисков,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
Главный научный сотрудник, Институт Африки РАН.
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: akorotayev@gmail.com

Одним из важных трендов, которые отмечают исследователи в революционных событиях последних десятилетий, является быстрый рост доли невооруженных революционных выступлений и, соответственно, снижение доли вооруженных революционных выступлений. Исследование этого тренда представляет большую значимость. Настоящая работа продолжает ранее проводимые исследования невооруженной революционной дестабилизации. В отличие от прошлых исследований, авторы значительно расширили учитываемый временной диапазон, рассмотрели вместе основные факторы начала невооруженных (~ «ненасильственных») революционных выступлений и значительно улучшили методологию, совместив эти факторы в рамках одной модели. В результате было установлено, что большинство переменных связано с ве-

* Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2024 г. при поддержке Российского научного фонда (проект № 23-18-00535).

роятностью начала невооруженных революционных выступлений криволинейно, что объясняет слабую статистическую связь для некоторых переменных в работах предшественников. Нелинейную связь имеют: длительность существования режима, экономический рост, уровень демократичности, степень коррумпированности режима, урбанизация, ВВП на душу населения, «молодежный бутор», производство нефти, уровень дискриминации. Кроме того, были выявлены наиболее важные детерминанты начала невооруженных революционных выступлений и проранжированы в порядке их значимости. Проведенный анализ позволяет предполагать, что вероятность начала невооруженных революционных выступлений наиболее высока в экономически среднеразвитых государствах с молодыми политическими режимами, значительной численностью населения, очень низкими (как, впрочем, и очень высокими) темпами экономического роста, промежуточными политическими режимами (частичной демократией или в особенности частичной автократией), высоким уровнем коррумпированности режима (при этом что предельно высокий уровень коррупции оказывает на вероятность начала невооруженной революции все-таки скорее ингибирующее воздействие), значительной финансовой помощью со стороны США, достаточно высоким уровнем охвата населения современным формальным образованием, очень длительным сроком пребывания первого лица у власти, достаточно высокой долей горожан в общей численности населения, наличием определенной культуры протеста, с низкими или отсутствующими нефтяными доходами. При этом подтверждается, что вероятность начала невооруженных революций заметно выросла после конца Холодной войны в связи с изменением мировой геополитической ситуации.

Ключевые слова: невооруженные революции, революции, ненасильственные протесты, кросс-национальные исследования, факторы нестабильности, количественный анализ, машинное обучение

В 2017 году в *Journal of Conflict Resolution* была опубликована статья Э. Ченовет и Дж. Улфелдера «Могут ли структурные условия объяснить начало ненасильственных восстаний?», в которой были исследованы структурные факторы невооруженных массовых выступлений — очень крупных революционных протестов, где протестующие не применяли оружия, — способные объяснить и предсказать события такого рода (Chenoweth, Ulfelder, 2017). Поясним, что в исследуемом контексте термины «невооруженный» и «ненасильственный» используются как синонимы, хотя это не совсем так. Поэтому важно понимать, что, когда речь идет о так называемых ненасильственных кампаниях, на самом деле подразумеваются невооруженные революционные выступления. Так, М. Кадивар и Н. Кечли (Kadivar, Ketchley, 2018) вполне убедительно показали, что участники большинства «ненасильственных максималистских кампаний» прибегали к насилию в достаточно серьезных масштабах. В связи с этим «ненасильственные» революционные эпизоды стоит называть «невооруженными». Соответственно, когда мы говорим о ненасильственных революционных событиях, имеются в виду невооруженные революционные выступления.

Ранее уже предпринимались попытки создания некоторых универсальных моделей, объясняющих нестабильность в обществе, с выделением универсальных факторов. В настоящее время есть достаточное число работ, посвященных прогнозированию вооруженных революций и гражданских войн, где в качестве предикторов использованы демографические, экономические и политические характеристики общества и государства (Goldsmith et al., 2013; Hegre et al., 2013; Fearon,

Laitin, 2017; Collier, 2004; Blair, Sambanis, 2020). Были также предприняты попытки создавать модели, предсказывающие общий уровень нестабильности и любые революции (и вооруженные, и невооруженные) (King, Zeng, 2001; Goldstone et al., 2010; Kennedy, 2015), однако их главный изъян в том, что они зачастую «предполагают отсутствие насилия как эквивалент отсутствия конфликта» (Day et al., 2015: 129). Поэтому по мере постепенного увеличения доли ненасильственных событий в общей палитре политической нестабильности их объясняющие модели теряют свою актуальность (см., например, анализ модели Дж. Голдстоуна и соавторов (Goldstone et al., 2010), во времени в: (Bowlsby et al., 2020)). Кроме того, при исследовании революций исключительно важно разделять вооруженные и невооруженные выступления, потому что они имеют кардинально разные причины и последствия (Коротаяев, Жданов, 2023). В свою очередь, исследование Э. Ченовет и Дж. Улфелдера является первым комплексным исследованием, пытающимся объяснить феномен невооруженных революций количественно.

В этой работе авторы используют четыре различных модели для объяснения начала невооруженных революционных выступлений: модель массового недовольства (Grievance model), модель ресурсной мобилизации (Resource mobilization model), модернизационную модель (Modernization model) и модель политических возможностей (Political opportunity model). Каждая из этих моделей основана на конкретной теории, объясняющей, почему происходят невооруженные восстания. *Модель массового недовольства* предполагает, что неравномерное распределение ресурсов, власти или политических прав может вызывать сильное недовольство и приводить к восстанию вследствие относительной депривации и острого неравенства, когда разные группы предполагают, что они несправедливо обделены, то есть их ожидания критически расходятся с возможностями (Cederman et al., 2011; Gurr, 1970). *Модель ресурсной мобилизации* основана на идее, что протест происходит, когда его инициаторы (которые априори хотят добиться лучшего положения через коллективную мобилизацию) имеют достаточные людские, финансовые и информационные ресурсы для революционного протеста, который требует большого количества людей для успеха (Gleditch et al., 2021; DeNardo, 1985; Chenoweth, Stephan, 2011). Сторонники теории модернизации, на которой основана *модернизационная модель*, утверждают, что экономическая модернизация приводит к формированию среднего класса, который обладает достаточным человеческим капиталом за счет развития образования и начинает требовать расширения собственных политических прав, что приводит к протестам и даже революциям (Шульц, 2016; Розов и др., 2019; Inglehart, Welzel, 2005; Grinin, 2013, 2022b). Наконец, *модель политических возможностей* предполагает, что люди восстают там, где относительные издержки от участия в протесте малы: люди могут легко мобилизоваться, а государство не обладает ресурсом для их подавления (McAdam, 1999; Fearon, Laitin, 2003). Для моделей были подобраны переменные, которые в рамках каждой конкретной теории объясняют причины начала невооруженной революционной дестабилизации.

С одной стороны, такой подход является преимуществом, поскольку каждая модель имеет понятное теоретическое обоснование, а их количественное измерение позволяет сравнить между собой их способность объяснять массовые выступления. С другой стороны, объединение различных факторов в рамках одной модели способно дать более точный отбор конкретных факторов, влияющих на вероятность начала вооруженных восстаний. Безусловно, каждая из теоретических моделей имеет целый ряд ограничений и исключений, однако нельзя сказать, что хоть одна из них ложна и не способна объяснять действительность. Поэтому синтез сразу всех моделей позволит, с одной стороны, определить наиболее «сильную» количественную модель для объяснения вооруженных революций, а с другой — поможет отобрать самые важные структурные факторы из каждой теории. Именно такой синтез и является целью настоящей работы.

Следует отметить, что Ченовет и Улфелдер рассматривали временной период с 1955 по 2013 год; мы же расширим временной горизонт до 2019 года, что позволит получить более точные и актуальные результаты. Кроме того, будет существенно улучшена методология оригинального исследования Ченовет и Улфелдера. Так, используемые ими модели априори предполагают линейную связь между различными структурными факторами и вероятностью/риском начала вооруженного выступления, что является важным ограничением их работы из-за строгости предположения о форме связи между переменными. Существует значительное число исследований, показывающих, что часто зависимости являются криволинейными. Например, это справедливо для типа политического режима (Beissinger, 2022; Коротаев, Гринин и др., 2022) и ВВП на душу населения (Устюжанин, Михеева и др., 2023) как предикторов вооруженных революционных выступлений. В настоящей работе мы откажемся от параметрических методов, предполагающих априорное определение формы связи между предикторами и риском начала события, что позволит нам по-новому взглянуть на исследуемые до этого факторы.

Таким образом, наша работа ставит цель развить подход Ченовет и Улфелдера и уменьшить (а в идеале исправить) те недостатки, которые есть у исследования. Помимо расширения наблюдений до 2019 года (что позволяет нам учесть последние революционные волны) и использования новых статистических методов, мы добавляем новые переменные, которые не рассматривались Ченовет и Улфелдером, но показали свою значимость в других исследованиях: уровень коррупции (Beissinger, 2022), финансовая помощь со стороны США (Gerlach, 2014), уровень добычи нефти (Ross, 2001; Shaheen, 2015) и некоторые другие.

Сразу сделаем пояснения относительно употребления терминологии. Во-первых, слова «риск» и «вероятность» в отношении начала вооруженного революционного события следует рассматривать как синонимы. Во-вторых, поясним относительно слова «начало» (революционного события). Нередко случается, что революционное событие начинается как вооруженное, а затем перерастает в вооруженное. Русская революция 1905 года — один из многих примеров. Однако в базах данных, на основе которых делаются расчеты и выводы, такие события,

когда невооруженные действия перерастают в вооруженные (революции 2011 года в Ливии и Сирии относятся к таким), изначально вносятся в разряд вооруженных. Поэтому в данном контексте, когда речь идет о вероятности начала невооруженного выступления, предполагается, что оно остается невооруженным до своего завершения.

Обзор факторов начала невооруженных революционных выступлений

Есть ряд переменных, чьи эффекты на вероятность начала невооруженных революционных выступлений в работе Ченовет и Улфелдера расходятся с нашими теоретическими ожиданиями. Во-первых, это уровень образованности населения. В исследовании Ченовет и Улфелдера этот показатель является незначимым, однако мы ожидаем значимую положительную взаимосвязь (Устюжанин, Гринин и др., 2022). С одной стороны, образованные люди чаще выбирают невооруженную форму революционного протеста, потому что полагают ненасильственные средства протеста более оправданными, а накопленный человеческий капитал делает издержки в случае использования вооруженной тактики восстания, сопряженного с огромными рисками вплоть до смерти, крайне высокими (Устюжанин, Гринин и др., 2022). С другой стороны, образование увеличивает общую политическую грамотность и критическое отношение к происходящему, что усиливает потенциал протеста и вероятность того, что большее число людей выступит против действующего режима (Коротаев, Билюга и др., 2017; Устюжанин, Гринин и др., 2022; Butcher, Svensson, 2016; Chenoweth, Ulfelder, 2017). Кроме того, образованные люди имеют более широкий кругозор и, соответственно, могут выбирать из более широкого арсенала стратегий и тактик. Также немаловажно, что более образованное население может прибегать к использованию для организации протестов к современным средствам информации и коммуникации (что наблюдалось, в частности, в Египте в январе 2011 года). Все это усиливает возможности ненасильственных революционных протестов.

Другим расхождением с работой Ченовет и Улфелдера является уровень демократичности режима. Авторы исследования показывают, что влияние этого фактора на невооруженные выступления является незначимым (Chenoweth, Ulfelder, 2017), что противоречит существующим в литературе представлениям о влиянии политического режима на вероятность дестабилизации (Коротаев, Билюга и др., 2016; Коротаев, Гринин и др., 2022; Urdal, 2006; Gleditsch, Hegre et al., 2009; Regan, Bell, 2009; Gleditsch, Hegre, 2014; Slinko et al., 2017). Однако такой противоречивый результат может быть обусловлен нелинейной зависимостью между типом режима и рисками дестабилизации, что в конечном счете приводит к незначимости прямого, линейного эффекта. Исследователи давно обнаружили наличие перевернутой U-образной зависимости между типом режима и политической нестабильностью. Совокупность таких гипотез можно назвать вслед за З. Джонсом и Ю. Лупу (Jones, Lupu, 2018) «гипотезой большего насилия в середине». Большин-

ство исследователей, правда, рассматривали влияние типа режима на конфликты в целом или гражданские войны, однако, судя по всему, в промежуточных режимах в целом должен быть выше риск любого типа дестабилизации. Это связано с тем, что консолидированные демократические режимы достаточно стабильны, т.к. способны разрешать внутриэлитные конфликты при помощи электоральных механизмов. Наиболее авторитарные страны отличаются консолидированным силовым аппаратом и способностью правительственных агентов подавлять альтернативную коалицию (Sanderson, 2016). Кроме того, многие промежуточные режимы являются молодыми неконсолидированными демократиями, которые отличаются сильной уязвимостью к массовым невооруженным выступлениям (Hegke et al., 2001), особенно в процессе «цветных революций», когда на режимы одновременно идет очень сильное давление извне¹. Нестабильность в промежуточных режимах также значительно усиливается при наличии факциональности (Коротаев, Гринин и др., 2022; Goldstone et al., 2010). В связи с этим мы предполагаем перевернутую U-образную зависимость между этим фактором и вероятностью начала невооруженного массового революционного выступления.

ВВП на душу населения отражает уровень благосостояния населения, а связь данной величины с вероятностью начала невооруженных революционных выступлений также может быть представлена в виде перевернутой U-образной кривой. Как правило, наиболее уязвимыми в отношении невооруженных революционных протестов оказываются среднеразвитые страны (Коротаев и др., 2015; Устюжанин, Михеева и др., 2023; Beissinger, 2022; Butcher, Svensson, 2016; Korotayev et al., 2015). Это может быть объяснено тем, что значительное число развивающихся стран попадает в ловушку среднего дохода (Коротаев, Васькин и др., 2017; Устюжанин, Михеева и др., 2023). Однако при этом темпы экономического роста как в исследовании Ченовет и Улфелдера, так и в нескольких других оказывались незначимым предиктором (Beissinger, 2022; Butcher, Svensson, 2016; Chenoweth, Ulfelder, 2017). Но это может быть связано со сложностью определения влияния темпов экономического роста на невооруженную нестабильность. Скорее всего, краткосрочный значительный отрицательный экономический рост/экономический спад должен оказывать почти мгновенное влияние на риск начала невооруженных выступлений. Однако есть также и обратная связь: нестабильность негативно и довольно быстро влияет на краткосрочные темпы роста. При рассмотрении годовых данных эти эффекты смешиваются, что затрудняет анализ этого фактора. Также стоит отметить теорию Дж. Дэйвиса о том, что существует J-образная зависимость между среднесрочными темпами экономического роста и вероятностью дестабилизации, когда после продолжительного роста наблюдается резкий спад, приводящий

1. Стоит добавить, что рост числа «цветных революций» в общем революционном процессе увеличивает вероятность ненасильственных действий, т.к. и концепция, и методика организации «цветных революций» опираются на идею именно ненасильственных действий. А давление западных стран на правительства связывает им руки в плане применения силы против протестующих, что увеличивает вероятность совершения революции ненасильственным путем (ср.: Ritter, 2015).

к массовому недовольству (Davies, 1962). По мнению некоторых исследователей, такая гипотеза пока не находит статистических подтверждений (Knutsen, 2014). В то же время протесты, возникшие во многих странах именно в период после финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов, когда темпы роста резко снизились после периода продолжительного роста, в определенной мере подтверждают идею Дэйвиса².

Ченовет и Улфелдер указывают, что нестабильность в том же регионе является значимым предиктором невооруженных массовых выступлений (Chenoweth, Ulfelder, 2017), речь идет, по сути дела, об эффекте революционных волн (Розов и др., 2019; Grinin, 2022a; Rozov, 2022). Это совпадает с выводами К. Гледича и М. Риверы (Gleditsch, Rivera, 2017), которые нашли, что в соседних государствах революционные протестные кампании более вероятны (добавим, особенно если эти соседние страны имеют общее в исторической судьбе и этнокультурное сходство). Это связано с пристальным вниманием к событиям и стратегии протестующих в стране-соседе, а нередко и с прямой поддержкой активистов протестующими из соседнего государства (что практикуется в «цветных революциях» (см., например: Beissinger, 2007)).

Важной модернизационной переменной, по которой есть расхождение между исследованием Ченовет и Улфелдера и нашими теоретическими ожиданиями, оказалась урбанизация. Ее незначимость может также объясняться криволинейностью связи между долей городского населения и вероятностью начала массовых невооруженных революционных выступлений (Устюжанин, Сумерников и др., 2022). Урбанизация должна увеличивать вероятность начала невооруженных выступлений, потому что города концентрируют, с одной стороны, человеческие ресурсы, необходимые для успешного выступления, а с другой — важные символические объекты режима — органы власти, что позволяет протестующим легко определить цель и добиться успеха за счет блокирования таких объектов (Устюжанин, Сумерников и др., 2022; Beissinger, 2022; Butcher, Svensson, 2016).

Одним из немаловажных показателей для прогнозирования рисков невооруженных массовых выступлений является численность населения. Большинство авторов находят значимую положительную взаимосвязь между численностью населения и вероятностью начала как вооруженных, так и невооруженных выступлений (Коротаев и др., 2020; Butcher, Svensson, 2016; Gleditsch и др., 2021). Это связано с простой идеей: чем больше людей, тем больше и потенциальных точек пересечений разных интересов (Cincotta, Weber, 2021; Gleditsch и др., 2021).

Кроме того, важным фактором является период после конца холодной войны, когда появилось больше возможностей для невооруженного революционного сопротивления, что связано с глобальной поддержкой демократизации (в т.ч. в процессе «цветных революций») и снижением поддержки для вооруженных

2. См. также: Коротаев, 2014.

групп (Bunce, Wolchik, 2011). Этот вывод подтверждается исследованием Ченовет и Улфелдера, а также исследованием М. Бейссинджера (Beissinger, 2022; Chenoweth, Ulfelder, 2017).

Уровень дискриминации по этническим, религиозным и иным признакам в исследовании Ченовет и Улфелдера выступает в качестве незначимого фактора (Chenoweth, Ulfelder, 2017). Несмотря на то что существуют исследования, показывающие высокое влияние дискриминации на политическую дестабилизацию, как правило, это касается вооруженных выступлений. Мы ранее показали, что конфликты на почве дискриминации в абсолютном большинстве случаев приводят к вооруженным восстаниям, но не относительно мирным революционным протестам (Устюжанин, Коротаев, 2022a; Ustyuzhanin, Korotayev, 2023b). Во многом это связано с тем, что этно-национальные группы хотят не столько переустройства общества, сколько независимости, а это возможно прежде всего посредством вооруженного конфликта. При этом между членами угнетаемой группы существуют стабильные социальные связи и доверие, а издержки, связанные с протестами и вооруженной борьбой, могут быть относительно невысокими, поскольку благосостояние дискриминируемой группы обычно ниже, чем у привилегированных, а уровень хозяйствования меньше зависит от стабильности. Следовательно, их возможная выгода от успеха вооруженного восстания перевешивает риск потери их небольшого накопленного капитала, чего нельзя сказать об остальном населении, которому есть что терять.

Несомненно, важным фактором является проведение выборов. Даже фиктивный электоральный процесс способен оказывать значительное влияние на вероятность начала невооруженных революционных выступлений (Медведев, Коротаев, 2021). В частности, «выборы повышают вероятность невооруженных революционных выступлений в авторитарных и в особенности переходных режимах» (Жданов, Коротаев, 2022: 122), однако не связаны с вооруженными выступлениями. С одной стороны, выборы могут использоваться для демонстрации реформаторского курса политического режима или для подтверждения собственной легитимности (Robertson, 2010; Smyth, 2020), с другой — массовые фальсификации могут разозлить граждан и спровоцировать начало невооруженных революционных выступлений (Tucker, 2007). Так, в период с 1989 по 2011 год 80% всех продемократических революционных протестов проходили против первого лица, выигравшего выборы (Brancati, 2016; Жданов, Коротаев, 2022).

Важным фактором может быть уровень коррупции. Различные исследования показывают сильную положительную взаимосвязь между коррупцией и невооруженными выступлениями (Коротаев, Исаев и др., 2015; Устюжанин, Костин и др., 2023; Beissinger, 2022). Конечно, коррупция является важным раздражителем, что нередко делает ее ключевым элементом популистских и антиэлитных выступлений. Кроме того, высокий уровень коррупции препятствует справедливому распределению и возможностям карьерной реализации граждан (Dzhumashev, 2014; Sánchez, Goda, 2018).

Мы также выделяем в качестве существенного фактора производство нефти, которое в определенных случаях способствует снижению рисков невооруженной дестабилизации. Об этом писал еще Б. Смит (Smith, 2004), связывая это с тем, что нефтяные доходы значительно расширяют возможности правительства как для репрессий, так и для социальных программ, которые снижают недовольство граждан. Кроме того, наличие нефтяной ренты снижает стимулы государства к развитию малого и среднего предпринимательства, а следовательно, препятствует формированию среднего класса, склонного к участию в массовых невооруженных выступлениях (Мусиева, Медведев, 2024; Beissinger, 2022; Ross, 2001). Однако отдельные исследования показывают положительную взаимосвязь между производством нефти и рисками невооруженной дестабилизации (Shaheen, 2015), поэтому влияние нефтедобычи остается неопределенным.

Мы также добавляем переменную, фиксирующую объем помощи со стороны США. Несколько различных моделей, в том числе созданных с применением методов машинного обучения, показывают, что помощь со стороны США оказывает значимое положительное влияние на вероятность начала невооруженного революционного выступления (Коротаев и др., 2021: 221; Медведев, Коротаев, 2021; Слав, Коротаев, 2021; Медведев и др., 2022; Medvedev et al., 2022: 619). Это связано с несколькими причинами. Во-первых, иностранная помощь в целом может выступать в качестве рычага давления на государство, ограничивая, например, его возможности по использованию репрессивного аппарата (Ritter, 2015; Nieto-Matiz, 2020). Во-вторых, помощь со стороны США включает в себя меры по продвижению демократии, в том числе мониторинг выборов, обучение оппозиционных активистов, что может способствовать началу массовых невооруженных революционных выступлений (Beissinger, 2007; Mitchell, 2012, 2022; Gerlach, 2014; Filin et al., 2022b; см. также: Гринин, Коротаев, 2021).

Также мы добавляем переменные длительности существования политического режима и пребывания первого лица у власти. В статье Ченовет и Улфелдера пребывание первого лица у власти оказывалось значимой переменной, а длительность существования политического режима — нет. Однако другие исследования показывают отрицательную значимую связь между длительностью существования политического режима и вероятностью начала массовых выступлений — здесь речь идет, по сути, об одной из манифестаций эффекта инерции, когда небольшая длительность существования режима означает, что сравнительно недавно была смена режима, что повышает вероятность новых попыток его смены (Медведев и др., 2021; Knutsen, 2014) (подробнее об эффекте инерции см. ниже). Также значимым, но положительным предиктором считается и продолжительность нахождения правителя у власти (Albrecht, Koehler, 2020; Beissinger, 2022). Сразу после прихода к власти лидер достаточно слаб и имеет большое число политических конкурентов. С другой стороны, долгое пребывание сопряжено с утратой популярности (Chenoweth, Ulfelder, 2017), что толкает

общество к невооруженным выступлениям (De Mesquita, Smith, 2010). Таким образом, наибольшие риски для правителя должны быть в начале его правления и по прошествии длительного времени.

Одним из существенных предикторов массовых выступлений является «молодежный бугор», отражающий долю молодежи в населении (Mesquida, Wiener, 1996). «Молодежный бугор» может обеспечивать значительное давление на рынок труда, не позволяя молодым людям обеспечивать себя и самореализовываться (Korenman, Neumark, 2000). Кроме того, такое большое количество молодежи может затруднять процесс получения образования, что толкает молодых людей к участию в радикальных идеологических течениях (Hart et al., 2005; Устюжанин, Жодзишская и др., 2022). Например, «молодежный бугор», связанный с процессами социально-демографической модернизации на Ближнем Востоке, мог быть важным фактором мощной революционной волны, получившей название «Арабская весна» (Коротаев, Малков и др., 2012; Korotayev, Zinkina et al., 2011; Korotayev, Zinkina, 2022).

Последняя важная переменная — инерция, фиксирующая протестную активность в прошлые годы. Ченовет и Улфелдер исходят из того, что прошлые невооруженные революционные выступления повышают вероятность новых, потому что уже налажена стратегия революционного протеста, а у протестующих есть опыт (Chenoweth, Ulfelder, 2017; Kaplan, 2013). Попытки государственных переворотов в прошлом отражают общую нестабильность режима и его слабость и должны положительно влиять на риски невооруженной дестабилизации (Chenoweth, Ulfelder, 2017).

Данные и методология

В качестве зависимой переменной мы используем бинарный индикатор, отражающий начало [=1] или отсутствие [=0] в стране невооруженного революционного выступления. При этом мы опираемся на следующие определения революции: «революция — это коллективная мобилизация, направленная на быстрое и насильственное свержение существующего режима с целью трансформации политических, экономических и символических отношений» (Lawson, 2019: 5); «[революция — это] попытка преобразовать политические институты и дать новое обоснование политической власти в обществе, сопровождаемая формальной или неформальной мобилизацией масс и такими неинституционализированными действиями, которые подрывают существующую власть» (Голдстоун, 2006: 61), или «революция — антиправительственные (очень часто противозаконные) массовые акции (массовая мобилизация) с целью: (1) свержения или замены в течение определенного времени существующего правительства; (2) захвата власти или обеспечения условий для прихода к власти определенных сил; (3) существенного изменения режима, социальных или политических институтов» (Голдстоун и др., 2022: 109). Зависимая переменная взята из расширенной версии базы данных, ис-

пользованной Ченовет и Улфелдером, — NAVCO (Chenoweth, Shay, 2020a)³, где под «невооруженным» характером выступления понимается такое, «когда подавляющее большинство участников не вооружены и когда они используют в основном ненасильственные методы» (Chenoweth, Shay, 2020b: 6)⁴. Использование этой базы данных, с одной стороны, позволит нам достоверно сравнить полученные результаты с предыдущим исследованием, а с другой — включить максимальный временной период для анализа (1900–2019), потому что база данных NAVCO является одной из самых полных и авторитетных в области исследования невооруженных революционных выступлений. В качестве независимых переменных мы используем уже описанные нами в предыдущем разделе факторы, а также региональные бинарные переменные, которые выступают своего рода фиксированными эффектами для модели. Описание переменных представлено ниже в таблице 1.

Таблица 1. Описание используемых переменных

Переменная	Источник	Шкала измерения	Примечание
ВВП на душу населения	За основу взята база данных Всемирного банка (World Bank, 2023), которая покрывает временной промежуток с 1990 по 2020 год и к которой мы добавили данные, собранные М. Бессинджером (Beissinger, 2022), с целью расширения исследуемого промежутка до 1900 года	Международные доллары 2017 года по ППС	Логарифмировано для нормализации и лучшей сравнимости
Экономический рост	На основе переменной ВВП на душу	Проценты в год	Рассчитано авторами
Индекс электоральной демократии	База данных VDEM (Coppedge et al., 2022)	От 0 (минимальный уровень демократичности) до 1 (максимальный уровень демократичности)	

3. О том, что так называемые «максималистские кампании» (Ченовет) представляют собой в большинстве своем не что иное, как революции/революционные эпизоды, см., например: Коротаев, Жданов, 2023а: 151–152; Устюжанин, Гринин и др., 2022: 52; Grinin, Korotayev, 2022: 112–113.

4. Напоминаем, что, когда речь идет о ненасильственных кампаниях, на самом деле подразумеваются невооруженные революционные выступления.

Переменная	Источник	Шкала измерения	Примечание
Численность населения	База данных CNTS (Banks et al., 2022)	Тысячи человек	Логарифмировано для нормализации и лучшей сравнимости
Индекс коррумпированности режима	База данных VDEM (Corpedge et al., 2022)	От 0 (минимальный уровень коррумпированности) до 1 (максимальный уровень коррумпированности)	Индекс, измеряющий уровень коррупции по всем типам (в судебной системе, исполнительной власти, законодательной и общественном секторе)
Доля промышленности в ВВП	База данных CNTS (Banks et al., 2022)	Проценты	
Протестная активность в предыдущем году	База данных CNTS (Banks et al., 2022)	Число антиправительственных демонстраций в стране за предшествующий год	Число протестов в стране за предыдущий год
Производство нефти	База данных British Petroleum (2022)	TWh	
Перевороты и попытки переворотов за предыдущие 5 лет	База данных Polity5 (Marshall, Gurr, 2020)		
Дискриминация	База данных EPR (Cederman et al., 2010)	Доля дискриминируемого населения по этническому признаку	
Выборы	База данных REIGN (Bell et al., 2021)	Бинарная переменная: 1 — выборы проводятся в этот год, 0 — нет выборов в этот год	
Революции в странах-соседах	На основе зависимой переменной из базы данных NAVCO	Дискретная величина	Рассчитано авторами, подсчет производился по сухопутным границам
Длительность существования режима	База данных Polity5 (Marshall, Gurr, 2020)		
Величина финансовой помощи со стороны США	База данных USAID (2023)	В долларах США	
Образование	База данных UNDP (2023)	В годах	Средняя продолжительность обучения, лет

Переменная	Источник	Шкала измерения	Примечание
Длительность нахождения главы государства у власти	База данных REIGN (Bell et al., 2021)	В годах	
Период после холодной войны		Бинарная величина: 0 — период до 1989 года, 1 — после	Рассчитано авторами
Урбанизация	За основу взята база данных Всемирного банка (World Bank, 2023), которая покрывает временной промежуток с 1990 по 2020 год и к которой мы добавили данные, собранные М. Бессинджером (Beissinger, 2022), с целью расширения исследуемого промежутка до 1900 года	Проценты	Доля населения, живущего в городах
«Молодежный бугор»	База данных UNPD (2023)	Проценты	Доля людей в возрасте от 15 до 24 лет во взрослом населении (старше 15 лет)

Как уже было сказано, для настоящего исследования необходимо использовать непараметрические методы, чтобы не делать строгих предположений относительно форм зависимостей и не ограничивать модель. В качестве такого метода в нашей работе выступает модель машинного обучения, построенная на основе градиентного бустинга. Градиентный бустинг, в свою очередь, построен на основе моделей случайного леса, которые, в свою очередь, построены на основе модели дерева решений (Grönlund et al., 2020; Lundberg et al., 2020)⁵. Во многом настоящая работа продолжает наши работы прошлых лет по применению методов машинного обучения в рассматриваемой области (Медведев и др., 2022; Medvedev et al., 2022 и др.).

Результаты

В таблице 2 приведено ранжирование различных факторов по их важности для объяснения и предсказания начала невооруженных революционных выступле-

5. Подробное описание используемой здесь методологии можно найти в: (Медведев и др., 2022).

ний. Сразу стоит заметить относительно высокое качество модели — AUC равен 0,778 — и достаточно большое количество важных факторов (из 19 рассмотренных, не считая региональных переменных, важными оказались 14).

Таблица 2. Факторы начала невооруженных революционных выступлений, 1900–2019 гг.

Фактор	Важность в модели	Тип связи
Длительность существования режима, ln	10,07	Криволинейно, преимущественно отрицательно
Население, ln	7,86	Положительно
Экономический рост	7,23	Криволинейно
Индекс демократии	7,12	Криволинейно (U-образная перевернутая с сильной положительной асимметрией)
Индекс коррумпированности режима	6,81	Криволинейно (перевернутая J-образная)
Величина финансовой помощи со стороны США	6,09	Положительно
Образование	5,99	Положительно
Длительность правления главы государства	5,18	Преимущественно положительная
Период после холодной войны	4,89	Положительно
Урбанизация	4,89	Криволинейно (U-образная перевернутая с положительной асимметрией)
ВВП на душу, ln	4,55	Криволинейно (U-образная перевернутая)
«Молодежный бугор»	4,44	Криволинейно
Доля промышленности в ВВП	4,14	Положительно в интервале до 30%
Протестная активность в предыдущем году	3,93	Положительно
Производство нефти	3,79	Криволинейно, в целом отрицательно
Перевоороты и попытки переворотов за 5 лет	2,58	Отрицательно
Доля дискриминируемого населения	2,14	Криволинейно (J-образная)
Выборы	2,04	Положительно
Революции в странах-соседях	1,61	Положительно
<i>Примечание: AUC = 0,778; порог важности = 3,846; жирным выделены важные в модели факторы, курсивом — на пороге важности.</i>		

На первом месте по важности оказалась длительность существования режима. При этом эта переменная имеет достаточно сложный криволинейный тип связи,

но тем не менее максимальные риски есть в самом начале существования нового режима, а минимальные — по прошествии большого количества времени его существования. Это вполне объяснимо тем, что при появлении нового режима новые государственные институты только создаются, а власть еще не укреплена, в то время как по прошествии большого количества времени уже есть устоявшееся равновесие и механизмы подавления нестабильности (будь то репрессивный аппарат или демократические институты) (ср.: Медведев, Коротаев, 2021: 164). Кроме того, смена режима нередко осуществляется революционным путем, а наличие революционного эпизода в недавнем прошлом (т.е. как раз при малых значениях длительности существования режима) может говорить о наличии в стране определенной революционной традиции, облегчающей новую революционную мобилизацию, — таким образом, фактор низкой длительности существования режима вбирает в себя до некоторой степени силу фактора революционной инерции, объясняющей в значительной степени феномен «революционных эпох» (о последнем см., например: Goldstone et al., 2022: 8–9).

На втором месте находится численность населения, которая, как уже было неоднократно показано, является сильнейшим фактором дестабилизации. Как отмечает Бейссинджер, «кросс-национальные исследования уже давно показали, что численность населения страны положительно связана с уровнем дестабилизационной активности в ней⁶. Причины никогда не были полностью прозрачными, но могут объясняться теорией критической массы, которая утверждает, что размер населения облегчает мобилизацию, увеличивая вероятность того, что достаточное количество потенциальных участников может иметь необходимое время, ресурсы и мотивацию для участия⁷» (Beissinger, 2022: 115).

Далее идет экономический рост, который криволинейно связан с рисками начала вооруженного революционного эпизода. Наибольшие риски проявляются в случае тяжелого экономического кризиса, а наименьшие в случае умеренного экономического роста. При этом важно заметить, что быстрый экономический рост также является фактором, повышающим риск вооруженной революционной дестабилизации (об этом писал еще М. Олсон (Olson, 1963)), однако не так сильно, как кризис.

Стоит оговориться, что исследование экономического роста крайне непростая задача, потому что, с одной стороны, отрицательный экономический рост/значительный спад может являться триггером начала революционного эпизода (то есть влияет на ситуацию мгновенно), а с другой — любые революционные эпизоды крайне негативно влияют на экономический рост. Таким образом, на годовых данных, которыми пользуемся мы и абсолютное большинство исследователей в этой области, довольно сложно определить причину и следствие.

6. Отметим, что это подтверждает и целый ряд проведенных нами кросс-национальных исследований (см., например: Коротаев, Сойер, Гладышев и др., 2021; Романов и др., 2021; Korotayev, Sawyer et al., 2021; Korotayev, Vaskin et al., 2021).

7. Со ссылкой на: Marwell, Oliver, 1993. В применении к революциям см.: (Kurzban, 1996).

Следом идет индекс демократичности режима, который связан с рисками невооруженных революций перевернутой U-образной связью с сильной левосторонней асимметрией (см. рис. 1).

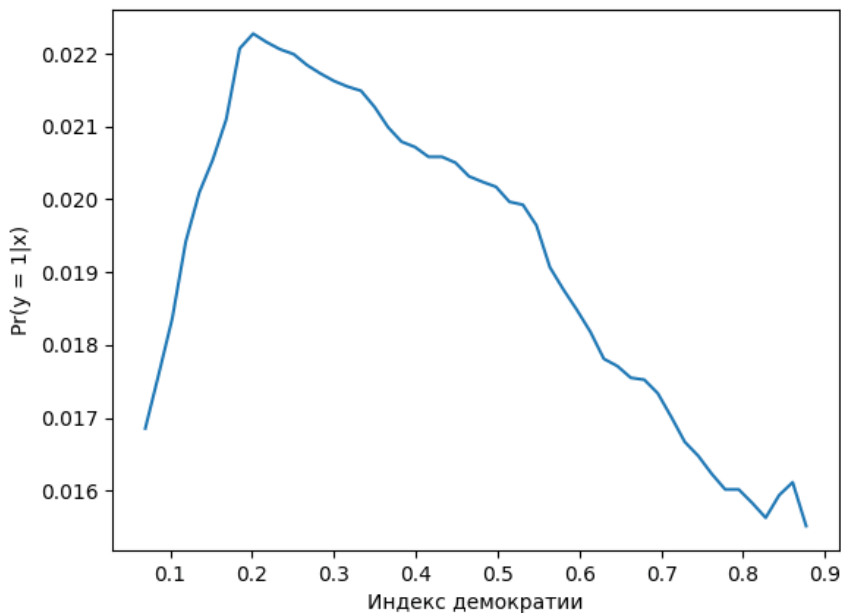


Рис. 1. Предсказанные значения вероятности невооруженной революции от уровня демократичности государства с учетом остальных переменных

Следовательно, наибольшие риски приходятся на те страны, которые можно назвать частичными автократиями. При этом наименьшие риски — на самые демократические режимы, то есть на консолидированные демократии. Примечательно, что самые авторитарные государства также в высокой степени защищены от невооруженных революционных выступлений (хотя и не столь сильно, как консолидированные демократии), однако любые продвижения полных автократий в сторону хотя бы самой частичной демократизации (т.е. любые сдвиги от полной к частичной автократии) приводят к резкому нарастанию рисков невооруженной революционной дестабилизации (ср.: Коротаев и др., 2022).

На следующем месте по важности стоит уровень коррумпированности режима, который связан с риском невооруженных революций примечательной перевернутой J-образной связью (см. рис. 2).

По мере роста уровня коррумпированности режима риски начала невооруженных революционных выступлений нарастают, однако при высоких значениях начинают резко падать, образуя своеобразный загиб. Это может объясняться механизмом кооптации, когда очень высокий уровень коррупции может слу-

жить способом повышения лояльности элит (включая контрэлиты — например, за счет подкупа) и тем самым предотвращать элитные расколы и антисистемные выступления. Другими словами, в наиболее коррумпированных государствах коррумпируется всё, включая и контрэлиты, что несколько снижает вероятность начала невооруженных революционных выступлений (ср.: Устюжанин, Костин и др., 2023).

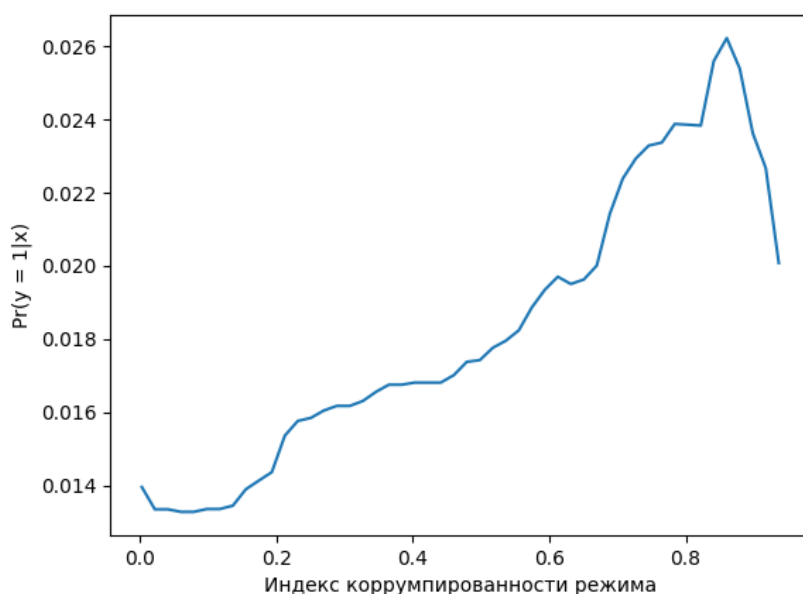


Рис. 2. Предсказанные значения вероятности невооруженной революции от уровня коррумпированности режима с учетом остальных переменных

Еще одной важной переменной выступает величина экономической помощи со стороны США (прежде всего — программы, направленные на продвижение демократии), которая положительно связана с рисками начала невооруженных революционных выступлений (ср.: Коротаев и др., 2021: 221; Medvedev et al., 2022: 619).

Далее идет уровень образования населения, который также линейно повышает вероятность начала невооруженных революционных выступлений (ср.: Устюжанин, Гринин и др., 2022; Ustyuzhanin, Korotayev, 2023a). Длительность правления главы государства криволинейно связана с вероятностью начала невооруженных революционных выступлений, но наибольшие риски приходятся на срок нахождения у власти после 10 лет — в целом, чем дольше первое лицо находится у власти, тем выше вероятность начала невооруженных революционных выступлений (ср.: Albrecht, Koehler, 2020; Beissinger, 2022; Chenoweth, Ulfelder, 2017; De Mesquita, Smith, 2010).

Следующим важным фактором является период после конца холодной войны, который положительно связан с вероятностью начала невооруженных революционных выступлений, что отражает нарастание числа невооруженных революций после 1989 года в связи с изменением мировой геополитической ситуации (ср., например: Ritter, 2015; Beissinger, 2022).

Далее идут два модернизационных⁸, связанных между собой фактора — ВВП на душу населения (см. рис. 3) и урбанизация, — которые криволинейно связаны с вероятностью начала невооруженных революционных выступлений, имея перевернутую U-образную форму:

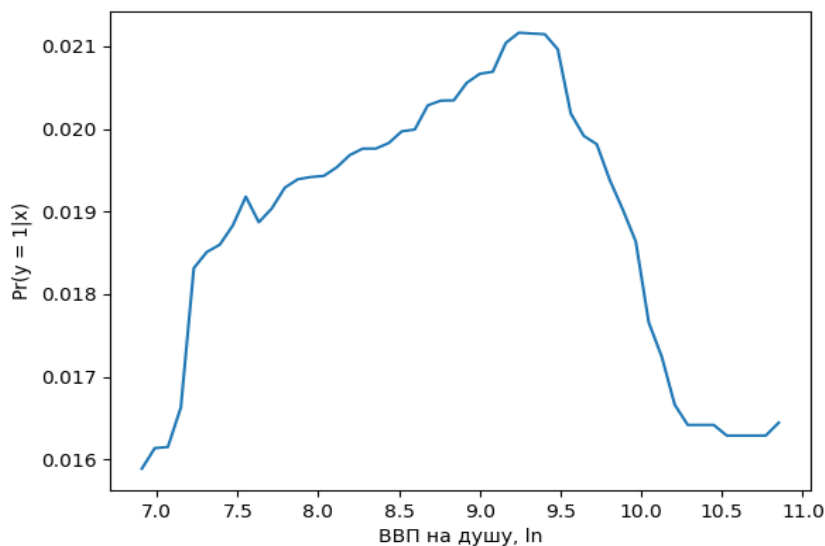


Рис. 3. Предсказанные значения вероятности невооруженной революции от ВВП на душу (ln) с учетом остальных переменных

При этом урбанизация, в отличие от ВВП на душу (см. рис. 3), имеет левостороннюю асимметрию. В то же время вероятность начала невооруженных революций в случае с подушевым ВВП приходится на верхний эшелон стран со средними доходами (upper middle income countries), которые сталкиваются с ловушкой средних доходов. Другими словами, их уровень ВВП на душу стагнирует именно на тех уровнях, когда риски максимальны, что переводит ловушку средних доходов уже из экономической в политико-социальную плоскость (ср.: Устюжанин, Михеева и др., 2023).

8. Данные два фактора нередко называются модернизационными, так как фаза интенсивной модернизации обычно сопровождается стремительным (по историческим меркам) ростом обоих этих показателей — соответственно, чем выше в данном обществе подушевой ВВП и доля городского населения, тем более оно обычно модернизировано (ср.: Гринин, Коротаев, 2012).

Еще одним важным фактором является «молодежный бугор», то есть доля молодежи в населении. Этот фактор также криволинейно связан с невооруженными революционными выступлениями, когда максимальные риски приходится на самые старые и самые молодые страны. Последним однозначно важным фактором выступает протестная активность в прошлом, которая положительно связана с вероятностью начала полномасштабных невооруженных революционных выступлений (наличие антиправительственных демонстраций говорит о наличии в стране определенной «культуры протеста», существовании определенных мобилизационных сетей, которые могут быть задействованы и для полномасштабной революционной мобилизации [ср.: Albrecht, Koehler, 2020]).

Маргинально важной переменной является производство нефти, которое криволинейно (но в целом отрицательно) связано с рисками невооруженных революций⁹. Неважными факторами в представленной модели выступают перевороты и попытки переворотов в прошлом, уровень дискриминации, выборы и революции в странах-соседях (в последнем случае, вероятно, из-за не очень удачной операционализации). Тем не менее не стоит недооценивать эти факторы, потому что наша модель является самой общей, рассматривающей все невооруженные революции в целом сразу за XX и XXI века. Например, уровень дискриминации является первостепенным фактором в случае с национально-сепаратистскими революционными выступлениями (Устюжанин, Коротаев, 2022a; Ustyuzhanin, Korotayev, 2023b). Следовательно, важно в будущем отдельно исследовать разные типы невооруженных революций, а также отдельно проанализировать вооруженные революционные выступления.

Заключение

Настоящая работа является продолжением и переосмыслением работы Ченовет и Улфелдера (Chenoweth, Ulfelder, 2017). Мы значительно расширили рассматриваемый временной диапазон, охватив весь XX век и XXI вплоть до 2019 года, добавили большое число новых факторов, показавших свою значимость в других работах, и, самое главное, значительно улучшили методологию, что позволило по-новому взглянуть на уже устоявшиеся структурные факторы невооруженной революционной активности. В частности, мы нашли, что подавляющее большинство переменных связаны с риском начала невооруженных выступлений криволинейно (длительность существования режима, экономический рост, уровень демократичности, степень коррумпированности режима, урбанизация, ВВП на душу населения, «молодежный бугор», доля промышленности в ВВП, производство

9. В будущем, возможно, для нефтедобывающих стран имело бы смысл учесть фактор цен на нефть, так как имеются основания полагать, что хотя высокая зависимость страны от нефтяных доходов и оказывает определенное стабилизирующее влияние в годы высоких цен на нефть, она может оказаться дестабилизирующим фактором в случае их резкого и достаточно продолжительного падения, как это, скажем, наблюдалось в СССР и Алжире в конце 1980-х или Венесуэле в 2010-х (см., например: Korotayev, Bilyuga et al., 2018).

нефти, уровень дискриминации), что во многом объясняет их незначимость в работах других авторов и в исследовании Ченовет и Улфелдера в частности. Кроме того, нам удалось совместить в рамках одной модели значительное число факторов и тем самым проранжировать их по уровню важности для объяснения невооруженных массовых выступлений, чего еще не было сделано в рамках изучения революций. Получается, что самыми важными факторами являются: длительность существования режима¹⁰, численность населения, отрицательный экономический рост, уровень демократичности¹¹, степень коррумпированности режима и уровень модернизации, представленной у нас образованием, подушевым ВВП и урбанизацией.

Проделанный анализ позволяет предполагать, что начало невооруженных революционных выступлений наиболее вероятно в экономически среднеразвитых государствах с молодыми политическими режимами, высокой численностью населения, очень низкими (как, впрочем, и очень высокими) темпами экономического роста, промежуточными политическими режимами (частичной демократией или в особенности частичной автократией), высоким уровнем коррумпированности режима (при том что предельно высокий уровень коррупции оказывает на вероятность начала невооруженной революции все-таки скорее ингибирующее воздействие), значительной финансовой помощью со стороны США, достаточно высоким уровнем охвата населения формальным образованием, очень длительным сроком пребывания первого лица у власти, достаточно высокой долей горожан в общей численности населения, с низкими или отсутствующими нефтяными доходами и наличием определенной культуры протеста. При этом подтверждается, что вероятность начала невооруженных революций заметно выросла после конца холодной войны в связи с изменением мировой геополитической ситуации.

В дальнейшем стоит, во-первых, подробнее рассмотреть разные типы невооруженных выступлений (например, по целям или по степени успеха), а также произвести такие же расчеты по вооруженным революционным событиям. Во-вторых, стоит обратиться к помесечным данным для исследования макроэкономических факторов, таких как безработица, инфляция и экономический рост. Как уже было нами отмечено, такие переменные, с одной стороны, должны оказывать прямое и сильное влияние на риск начала массовых революционных выступлений, а с другой — испытывать не менее сильное и мгновенное влияние на них от начала революционного события. Поэтому, используя годовые данные, исследователям трудно проанализировать наличие причинно-следственных связей между этими явлениями, что требует перехода на более точные данные. Наконец, стоит подробнее исследовать найденные нами зависимости для лучшего понимания факторов революционных процессов.

10. Она снижает риски невооруженной революционной дестабилизации.

11. Здесь наиболее сильно риски невооруженной революционной дестабилизации повышают средние значения, соответствующие анократиям (и в особенности частичным автократиям).

Литература

- Голдстоун Дж. А. (2006). К теории революции четвертого поколения // *Логос*. № 5(56). С. 58–103.
- Голдстоун Дж. А., Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2022). Волны революций XXI столетия // *Полис: Политические исследования*. № 4. С. 108–119.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2012). Циклы, кризисы, ловушки современной мир-системы. М.: Издательство ЛКИ/URSS.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2023). Теория революции и методология анализа в приложении к революционным событиям XXI в. // *История и современность*. № 3. С. 5–27.
- Жданов А. И., Коротаев А. В. (2022). Выборы, тип режима и риски революционной дестабилизации: опыт количественного анализа // *Социология власти*. Т. 34. № 3–4. С. 102–127.
- Коротаев А. В. (2014). О возможных экономико-психологических факторах украинской революции 2014 года // *Историческая психология и социология истории*. Т. 7. № 1. С. 56–74.
- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2016). ВВП на душу населения, уровень протестной активности и тип режима: опыт количественного анализа // *Сравнительная политика*. Т. 7. № 4. С. 72–94.
- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2017). ВВП на душу населения, интенсивность антиправительственных демонстраций и уровень образования. Кросс-национальный анализ // *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*. № 1(84). С. 127–143.
- Коротаев А., Васькин И., Билюга С. (2017). Гипотеза Олсона–Хантингтона о криволинейной зависимости между уровнем экономического развития и социально-политической дестабилизацией: опыт количественного анализа // *Социологическое обозрение*. Т. 16. № 1. С. 9–49.
- Коротаев А. В., Гринин Л. Е., Малков С. Ю., Исаев Л. М. и др. (2021). Социально-политическая дестабилизация в странах афразийской макрозоны нестабильности: количественный анализ и прогнозирование рисков. М.: Ленанд/URSS.
- Коротаев А. В., Гринин Л. Е., Медведев И. А., Слав М. (2022). Типы политических режимов и риски революционной дестабилизации в XXI веке // *Социологическое обозрение*. 2022. Т. 21. № 4. С. 9–65.
- Коротаев А. В., Жданов А. И. (2023а). Количественный анализ политических факторов революционной дестабилизации. Опыт систематического обзора // *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики)*. № 3(110). С. 149–171.
- Коротаев А. В., Жданов А. И. (2023б). Количественный анализ экономических факторов революционной дестабилизации: результаты и перспективы // *Социология власти*. Т. 35. № 1. С. 118–159.

- Кортаев А. В., Исаев Л. М., Васильев А. М. (2015). Количественный анализ революционной волны 2013–2014 гг. // Социологические исследования. № 8 (376). С. 119–127.
- Кортаев А. В., Малков А. С., Бурова А. Н. и др. (2012). Ловушка на выходе из ловушки. Математическое моделирование социально-политической дестабилизации в странах мир-системной периферии и события «Арабской весны» 2011 г. // Акаев А. А. (ред.) Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального развития. М.: Либроком/URSS. С. 210–276.
- Кортаев А., Сойер П., Гладышев М., Романов Д., Шишкина А. (2021). О некоторых социально-демографических факторах интенсивности антиправительственных демонстраций: доля молодежи в населении, урбанизация и протесты // Социологическое обозрение. Т. 20. № 3. С. 98–128.
- Кортаев А. В., Сойер П. С., Гринин Л. Е., Романов Д. М., Шишкина А. Р. (2020). Социально-экономическое развитие и антиправительственные протесты в свете новых результатов количественного анализа глобальных баз данных // Социологический журнал. Т. 26. № 4. С. 61–78.
- Медведев И. А., Кортаев А. В. (2021). Структурные факторы мирной и вооруженной революционной смены власти: Опыт анализа методами машинного обучения // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 12. С. 145–189.
- Медведев И. А., Устюжанин В. В., Жданов А. И., Кортаев А. В. (2022). Применение методов машинного обучения для ранжирования факторов и прогнозирования невооруженной и вооруженной революционной дестабилизации в африканской макрорегии нестабильности // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 13. С. 131–210.
- Мусиева Д. М., Медведев И. А. (2024). Существует ли «нефтяное проклятие»? Доля нефтяных доходов в ВВП и риски революционной дестабилизации // История и современность. № 2. С. 104–119.
- Романов Д. М., Мещерина К. В., Кортаев А. В. (2021). Доля молодежи в общей численности взрослого населения как фактор интенсивности ненасильственных протестов: опыт количественного анализа // Полис. Политические исследования. № 3. С. 166–181.
- Розов Н. С., Пустовойт Ю. А., Филиппов С. И., Цыганков В. В. (2019). Революционные волны в ритмах глобальной модернизации. М.: Красанд/URSS.
- Слав М., Кортаев А. В. (2021). К регрессионному анализу рисков революционной дестабилизации в африканской макрорегии нестабильности в XXI веке // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 12. С. 219–241.
- Устюжанин В. В., Гринин Л. Е., Медведев И. А., Кортаев А. В. (2022). Образование и революции. Почему революционные выступления принимают вооруженную или невооруженную форму? // Полития. Журнал политической философии и социологии политики. № 1(104). С. 50–71.

- Устюжанин В. В., Жодзишская П. А., Коротаев А. В. (2022). Демографические факторы как предикторы революционных ситуаций: опыт количественного анализа // Социологический журнал. Т. 28. № 4. С. 34–59.
- Устюжанин В. В., Коротаев А. В. (2022а). Революции и демократия. Почему революционные выступления принимают вооруженную или невооруженную форму? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 66. С. 198–210.
- Устюжанин В. В., Коротаев А. В. (2022б). Регрессионное моделирование вооруженной и невооруженной революционной дестабилизации в афразийской макроне нестабильности // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 13. С. 211–244.
- Устюжанин В., Костин М., Гринин Л., Коротаев А. (2023). Коррупция и революционная дестабилизация: опыт количественного анализа // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 26. № 3. С. 53–99.
- Устюжанин В. В., Михеева В. А., Сумерников И. А., Коротаев А. В. (2023). Экономические истоки революций: Связь между ВВП и рисками революционных выступлений // Полития. Журнал политической философии и социологии политики. № 1(108). С. 64–87.
- Устюжанин В. В., Сумерников И. А., Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2022). Урбанизация и революции: количественный анализ // Социологические исследования. № 10. С. 85–95.
- Шульц Э. Э. (2016). Теория революции: революции и современные цивилизации. М.: Ленанд/USRR.
- Albrecht H., Koehler K. (2020). Revolutionary mass uprisings in authoritarian regimes // International Area Studies Review. Vol. 23. № 2. P. 135–159.
- Banks A. S., Wilson K. A. (2022). Cross-National Time-Series Data Archive (CNTS). Jerusalem: Databanks International.
- Beissinger, M. R. (2007). Structure and example in modular political phenomena: The diffusion of bulldozer/rose/orange/tulip revolutions // Perspectives on politics. Vol. 5. № 2. P. 259–276.
- Beissinger M. R. (2022). The revolutionary city: Urbanization and the global transformation of rebellion. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bell C., Besaw C., Frank M. (2021). The Rulers, Elections, and Irregular Governance (REIGN) Dataset. Broomfield, CO: One Earth Future. URL: <https://oefdatascience.github.io/REIGN.github.io/> (дата доступа: 02.08.2023).
- Blair R. A., Sambanis N. (2020). Forecasting civil wars: Theory and structure in an age of “Big Data” and machine learning // Journal of conflict resolution. Vol. 64. № 10. P. 1885–1915.
- Bowlsby D., Chenoweth E., Hendrix C., Moyer J. D. (2020). The future is a moving target: predicting po-litical instability // British Journal of Political Science. Vol. 50. № 4. P. 1405–1417.
- British Petroleum (2022). Statistical Review of World Energy 2022. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html> (дата доступа: 12.08.2023).

- Brancati D.* (2016). *Democracy Protests: Origins, Features and Significance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bunce V.J., Wolchik S.L.* (2011). *Defeating authoritarian leaders in postcommunist countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Butcher C., Svensson I.* (2016). Manufacturing dissent: Modernization and the onset of major nonviolent resistance campaigns // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 60. № 2. P. 311–339.
- Cederman L.E., Weidmann N.B., Gleditsch K.S.* (2011). Horizontal inequalities and ethnonationalist civil war: A global comparison. // *American Political Science Review*. Vol. 105. № 3. P. 478–495.
- Cederman, L.E., Wimmer A., Min B.* (2010). Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data and Analysis // *World Politics*. Vol. 62. № 1. P. 87–119.
- Chenoweth E., Shay C.W.* (2020). List of Campaigns in NAVCO 1.3. Cambridge (MA): Harvard Dataverse, 2020 [online] (дата доступа: 25.06.2023).
- Chenoweth E., Stephan M.J.* (2011). *Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict*. New York, NY: Columbia University Press.
- Chenoweth E., Ulfelder J.* (2017). Can structural conditions explain the onset of nonviolent uprisings? // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 61. № 2. P. 298–324.
- Cincotta R., Weber H.* (2021). Youthful age structures and the risks of revolutionary and separatist conflicts // *Global Political Demography: The Politics of Population Change* / A. Goerres, P. Vanhuysse eds. Cham: Springer. P. 57–92.
- Collier P.* (2004). Greed and grievance in civil war // *Oxford Economic Papers*. Vol. 56. № 4. P. 563–595.
- Coppedge M., Gerring J., Knutsen C.H., Lindberg S.I., Teorell J., Alizada N., Altman D., Bernhard M., Cornell A., Fish M.S., et al.* (2022). V-Dem Dataset v12. Gothenburg: University of Gothenburg, V-Dem Institute.
- Davies J.C.* (1962). Toward a theory of revolution // *American sociological review*. Vol. 27. № 1. P. 5–19.
- Day J., Pinckney J., Chenoweth E.* (2015). Collecting data on nonviolent action: Lessons learned and ways forward // *Journal of Peace Research*. Vol. 52. № 1. P. 129–133.
- DeNardo J.* (1985). *Power in numbers: The political strategy of protest and rebellion*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- De Mesquita B.B., Smith A.* (2010). Leader survival, revolutions, and the nature of government finance // *American journal of political science*. Vol. 54. № 4. P. 936–950.
- Dzhumashev R.* (2014). The two-way relationship between government spending and corruption and its effects on economic growth // *Contemporary Economic Policy*. Vol. 32. № 2. P. 403–419.
- Fearon J.D., Laitin D.D.* (2003). Ethnicity, Insurgency, and Civil War // *American Political Science Review*. Vol. 97. № 1. P. 75–90.
- Filin N., Khodunov A., Koklikov V.* (2022). Serbian “Otpor” and the color revolutions’ diffusion // *Goldstone J.A. et al. (eds.). Handbook of Revolutions in the 21st Century*. Cham: Springer. P. 465–482. Cham: Springer.

- Gerlach J. (2014). *Color revolutions in Eurasia*. Cham: Springer.
- Gleditsch K., Dahl M., Gates S., Gonzalez B. (2021). Accounting for numbers: Group characteristics and the choice of violent and nonviolent tactics // *The Economics of Peace and Security Journal*. Vol. 16. № 1. P. 5–25.
- Gleditsch N., Håvard H., Håvard S. (2009). Democracy and civil war // *Midlarsky M. (ed.). Handbook of War Studies III*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. P. 155–192.
- Gleditsch K., Håvard H. (2014). Regime type and political transition in civil war // *Routledge handbook of civil war* / E. Newman, K. DeRouen (eds.). London: Routledge. P. 161–172.
- Gleditsch K. S., Rivera M. (2017). The diffusion of nonviolent campaigns // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 61. № 5. P. 1120–1145.
- Goldsmith B. E., Butcher C. R., Semenov D., Sowmya A. (2013). Forecasting the onset of genocide and politicide: Annual out-of-sample forecasts on a global dataset, 1988–2003 // *Journal of Peace Research*. Vol. 50. № 4. P. 437–452.
- Goldstone J. A., Bates R. H., Epstein D. L., Gurr T. R., Lustik M. B., Marshall M. G., Ulfelder J., Woodward M. (2010). A Global Model for Forecasting Political Instability // *American Journal of Political Science*. Vol. 54. № 1. P. 190–208.
- Goldstone, J. A., Grinin, L., & Korotayev, A. (2022). Introduction. Changing yet Persistent: Revolutions and Revolutionary Events // *Handbook of Revolutions in the 21st Century* / J. A. Goldstone et al. (eds.). Cham: Springer. P. 1–34.
- Grinin L. (2013). State and socio-political crises in the process of modernization // *Social Evolution & History*. Vol. 12. № 2. P. 35–76.
- Grinin L. (2022a). On Revolutionary Waves Since the 16th Century // *Goldstone J. A. et al. (eds.). Handbook of Revolutions in the 21st Century*. Cham: Springer. P. 389–411.
- Grinin L. (2022b). Revolutions and modernization traps // *Handbook of Revolutions in the 21st Century* / J. A. Goldstone et al. (eds.). Cham: Springer. P. 219–238.
- Grinin L., Korotayev A. (2022). Revolutions, Counterrevolutions, and Democracy // *Handbook of Revolutions in the 21st Century* / J. A. Goldstone et al. (eds.). Cham: Springer. P. 105–136.
- Grønlund A., Kamma L., Larsen K. G. (2020). Margins are insufficient for explaining gradient boosting. arXiv preprint: 2011.04998, 2020.
- Gurr T. R. (1970). *Why men rebel*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hart D., Atkins R., Youniss J. (2005). Knowledge, youth bulges, and rebellion // *Psychological Science*. Vol. 16. № 8. P. 661–662.
- Hegre H., Ellingsen T., Gates S., Gledish N. P. (2001). Towards a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816–1992 // *American Political Science*. Vol. 95. № 1. P. 33–48.
- Hegre H., Karlsen J., Nygård H. M., Strand H., Urdal H. (2013). Predicting armed conflict, 2010–2050 // *International Studies Quarterly*. Vol. 57. № 2. P. 250–270.
- Inglehart R., Welzel C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence*. Cambridge: Cambridge university press.

- Jones Z. M., Lupu Y. (2018). Is There More Violence in the Middle? // *American Journal of Political Science*. Vol. 62. № 3. P. 652–667.
- Kadivar M. A., Ketchley N. (2018). Sticks, Stones, and Molotov Cocktails: Unarmed Collective Violence and Democratization // *Socius*. Vol. 4. P. 1–16.
- Kaplan O. (2013). Protecting civilians in civil war: The institution of the ATCC in Colombia // *Journal of Peace Research*. Vol. 50. № 3. P. 351–367.
- Kennedy R. (2015). Making useful conflict predictions: Methods for addressing skewed classes and implementing cost-sensitive learning in the study of state failure // *Journal of Peace Research*. Vol. 52. № 5. P. 649–664.
- King G., Zeng L. (2001). Improving forecasts of state failure // *World Politics*. Vol. 53. № 4. P. 623–658.
- Knutsen C. H. (2014). Income growth and revolutions // *Social Science Quarterly*. Vol. 95. № 4. P. 920–937.
- Korenman S., Neumark D. (2000). Cohort crowding and youth labor markets (a cross-national analysis) // *Youth employment and joblessness in advanced countries* / D. G. Blanchflower, R. B. Freeman (eds.). Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Korotayev A., Bilyuga S., Belalov I., Goldstone J. (2018). Oil prices, socio-political destabilization risks, and future energy technologies // *Technological Forecasting and Social Change*. Vol. 128. P. 304–310.
- Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. (2015). Center-periphery dissonance as a possible factor of the revolutionary wave of 2013–2014: A cross-national analysis // *Cross-Cultural Research*. Vol. 49. № 5. P. 461–488.
- Korotayev A., Sawyer P., Romanov D. (2021). Socio-Economic Development and Protests. A Quantitative Reanalysis // *Comparative Sociology*. Vol. 20. № 2. P. 195–222.
- Korotayev A., Vaskin I., Tsirel S. (2015). Economic Growth, Education, and Terrorism: A Re-Analysis // *Terrorism and Political Violence*. Vol. 33. № 3. P. 572–595.
- Korotayev A., Zinkina J. (2022). Egypt's 2011 Revolution. A Demographic Structural Analysis // *Handbook of Revolutions in the 21st Century* / J. A. Goldstone et al. (eds.). Cham: Springer. P. 651–683.
- Korotayev A., Zinkina J., Kobzeva S., Bogevolnov J., Khaltourina D., Malkov A., Malkov S. (2011). A Trap at the Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Africa and West Asia // *Cliodynamics*. Vol. 2. № 2. P. 276–303.
- Kurzman C. (1996). Structural Opportunity and Perceived Opportunity in Social-Movement Theory: The Iranian Revolution of 1979 // *American Sociological Review*. Vol. 61. № 1. P. 153–170.
- Lawson G. (2019). *Anatomies of Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lundberg S. M., Erion G., Chen H., DeGrave A., Prutkin J. M., Nair B., Lee S. I. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees // *Nature machine intelligence*. Vol. 2. № 1. P. 56–67.
- Marshall M., Gurr T. R. (2020). *Polity5 Project: Dataset Users' Manual*. Vienna, VA: Polity5 Project.

- Marwell G., Oliver P. (1993). *The Critical Mass in Collective Action: A Micro-Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McAdam D. (1999). *Political process and the development of black insurgency, 1930–1970*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Medvedev I., Ustyuzhanin V., Zinkina J., Korotayev A. (2022). Machine learning for ranking factors of global and regional protest destabilization with a special focus on Afrasian instabil-ity macrozone // *Comparative Sociology*. Vol. 21. № 6. P. 604–645.
- Mesquida C. G., Wiener N. I. (1996). Human collective aggression: A behavioral ecology perspective // *Ethology and sociobiology*. Vol. 17. № 4. P. 247–262.
- Mitchell L. A. (2012). *The color revolutions*. Philadelphia, PN: University of Pennsylvania Press.
- Mitchell L. A. (2022). The color revolutions. Successes and limitations of non-violent protest // *Handbook of Revolutions in the 21st Century* // J. A. Goldstone et al. (eds.). Cham: Springer. P. 435–445.
- Nieto-Matiz C. (2020). Backing despots? Foreign aid and the survival of autocratic regimes // *Democracy and security*. Vol. 16. № 1. P. 36–58.
- Olson M. (1963). Rapid Growth as a Destabilizing Force // *Journal of Economic History*. Vol. 23. № 4. P. 529–552.
- Regan P. M., Bell S. R. (2009). Changing Lanes or Stuck in the Middle: Why Are Anocracies More Prone to Civil Wars? // *Political Research Quarterly*. Vol. 63. № 4. P. 747–759.
- Ritter D. (2015). *The Iron Cage of Liberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- Robertson G. B. (2010). *The politics of protest in hybrid regimes: Managing dissent in post-communist Russia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ross M. L. (2001). Does oil hinder democracy? // *World politics*. Vol. 53. № 3. P. 325–361.
- Rozov N. (2022). Typology and principles of dynamics of revolutionary waves in world history // *Handbook of Revolutions in the 21st Century* // J. A. Goldstone et al. (eds.). Cham: Springer. P. 241–264.
- Sánchez A., Goda T. (2018). Corruption and the ‘Paradox of Redistribution’ // *Social Indicators Research*. Vol. 140. P. 675–693.
- Sanderson S. K. (2016). *Revolutions: A worldwide introduction to political and social change*. London: Routledge.
- Shaheen S. (2015). Soziale Aufstände. Konzeptualisierung, Bemessung, Ursachen Und Folgerungen [Social Uprisings: Conceptualization, Measurement, Causes and Implications]. Marburg: Philipps-University of Marburg.
- Slinko E., Bilyuga S., Zinkina J., Korotayev A. (2017). Regime Type and Political Destabilization in Cross-National Perspective: A Re-Analysis // *Cross-Cultural Research*. Vol. 51. № 1. P. 26–50.
- Smith B. (2004). Oil wealth and regime survival in the developing world, 1960–1999 // *American Journal of Political Science*. Vol. 48. № 2. P. 232–246.
- Smyth R. (2020). *Elections, Protest, and Authoritarian Regime Stability: Russia 2008–2020*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Tucker J. A.* (2007). Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored Revolutions // *Perspectives on Politics*. Vol. 5. № 3. P. 535–551.
- UNDP [= United Nations Development Program]* (2023). United Nations Development Program Database. New York, NY: UNDP. URL: <http://hdr.undp.org/en/indicators/103006> (дата доступа: 12.08.2023).
- UNPD [= UN Population Division]* (2023). United Nations Population Division Database. New York, NY: United Nations. URL: <http://www.un.org/esa/population>
- Urdal H.* (2006). A clash of generations? Youth bulges and political violence // *International Studies Quarterly*. Vol. 50. № 3. P. 607–629.
- USAID* (2023). United States Agency for International Development Database. Washington, DC. United States Agency for International Development. URL: <https://aidscape.usaid.gov/> (дата доступа: 12.08.2023).
- Ustyuzhanin V., Korotayev A.* (2023a). Education and revolutions. Why do revolutionary uprisings take violent or nonviolent forms? // *Cross-Cultural Research*. Vol. 57. № 4. P. 352–390.
- Ustyuzhanin V., Korotayev A.* (2023b). Revolutions and Democracy: Can Democracies Prevent Revolutionary Armed Violence? // *Comparative Sociology*. Vol. 22. № 1. P. 95–137.
- Weyland K.* (2009). The diffusion of revolution: ‘1848’ in Europe and Latin America // *International Organization*. Vol. 63. № 3. P. 391–423.
- World Bank* (2021). World Development Indicators Online. Washington, DC: The World Bank.

Factors of Nonviolent Revolutions’ Onset: a Comprehensive Analysis

Vadim Ustyuzhanin

Junior Researcher of the Center for Stability and Risks Analysis
HSE University;

Junior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

Address: 20 Myasnitskaya, Moscow, 101000 Russian Federation.

E-mail: vvustuzhanin@yandex.ru

Ilya Medvedev

Research Intern of the Center for Stability and Risks Analysis
HSE University.

Address: 20 Myasnitskaya, Moscow, 101000 Russian Federation.

E-mail: semyonkot@yandex.ru

Andrey Ufimtsev

Research Intern of the Center for Stability and Risks Analysis
HSE University.

Address: 20 Myasnitskaya, Moscow, 101000 Russian Federation.

E-mail: aufimtsev@hse.ru

Leonid Grinin

Doctor of Philosophy; Senior Research Professor of the Center for Stability and Risks Analysis
HSE University;

Senior Research Professor at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences.

Address: 20 Myasnitskaya, Moscow, 101000 Russian Federation.

E-mail: leonid.grinin@gmail.com

Andrey Korotayev

Doctor of Historical Sciences, Ph.D., Professor, Director of the Center for Stability and Risks Analysis
HSE University;

Senior Research Professor at the Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences.

Address: 20 Myasnitskaya, Moscow, 101000 Russian Federation.

E-mail: akorotayev@gmail.com

One of the most important trends noted by researchers in the revolutionary events of recent decades is the rapid increase in the share of unarmed revolutionary uprisings and, accordingly, a decrease in the share of armed revolutionary insurgencies. The study of this trend is of great importance. This work continues previous research on unarmed revolutionary destabilization. Unlike in past studies, the authors here have significantly expanded the time range taken into account, considered together the main factors in the onset of unarmed (~"nonviolent") revolutionary uprisings, and significantly improved the methodology by combining these factors within one model. As a result, the study found that most variables are related to the probability of an onset of unarmed revolutions in a curvilinear manner, which explains the weak statistical relationship for some variables in the works of predecessors. The following have a non-linear relationship: the duration of the regime's existence, economic growth, the level of democracy, the degree of corruption within the regime, urbanization, GDP per capita, the "youth bulge", oil production, levels of discrimination. In addition, the key determinants of the onset of unarmed revolutionary uprisings were identified and ranked in order of their importance. The analysis performed allows us to assume that the onset of unarmed revolutionary uprisings is most likely in upper middle income states with young political regimes, high populations, very low (as well as very high) rates of economic growth, intermediate political regimes (partial democracy or, especially, partial autocracy), a high level of corruption of the regime (despite the fact that an extremely high level of corruption still has a rather inhibiting effect on the likelihood of an unarmed revolution onset), significant financial assistance from the United States, a fairly high level of coverage of population with modern formal education, a very long incumbent duration, a fairly high proportion of urban residents in the total population, the presence of a certain culture of protest, as well as low or no oil income. At the same time, it is confirmed that the likelihood of the outbreak of unarmed revolutions has increased markedly after the end of the Cold War due to changes in the global geopolitical situation.

Keywords: unarmed revolutions, revolutions, nonviolent protests, cross-national studies, factors of instability, quantitative analysis, machine learning

References

- Albrecht H., Koehler K. (2020) Revolutionary mass uprisings in authoritarian regimes. *International Area Studies Review*, vol. 23, no 2, pp. 135–159.
- Banks A. S., Wilson K. A. (2022) *Cross-National Time-Series Data Archive (CNTS)*. Jerusalem: Databanks International.
- Beissinger M. R. (2007) Structure and example in modular political phenomena: The diffusion of bulldozer/rose/orange/tulip revolutions. *Perspectives on politics*, vol. 5, no 2, pp. 259–276.
- Beissinger M. R. (2022) *The revolutionary city: Urbanization and the global transformation of rebellion*, Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Bell C., Besaw C., Frank M. (2021). *The Rulers, Elections, and Irregular Governance (REIGN) Dataset*, Broomfield, CO: One Earth Future. URL: <https://oefdatascience.github.io/REIGN.github.io/> (accessed 12.08.2023).
- Blair R. A., Sambanis N. (2020) Forecasting civil wars: Theory and structure in an age of "Big Data" and machine learning. *Journal of conflict resolution*, vol. 64, no 10, pp. 1885–1915.
- Bowlsby D., Chenoweth E., Hendrix C., Moyer J. D. (2020) The future is a moving target: predicting political instability. *British Journal of Political Science*, vol. 50, no 4, pp. 1405–1417.
- British Petroleum (2022) *Statistical Review of World Energy*. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html> (accessed 12.08.2023).
- Brancati D. (2016) *Democracy Protests: Origins, Features and Significance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Bunce V. J., Wolchik S. L. (2011) *Defeating authoritarian leaders in postcommunist countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Butcher C., Svensson I. (2016) Manufacturing dissent: Modernization and the onset of major nonviolent resistance campaigns. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 60, no 2, pp. 311–339.
- Cederman L. E., Weidmann N. B., Gleditsch K. S. (2011) Horizontal inequalities and ethnonationalist civil war: A global comparison. *American Political Science Review*, vol. 105, no 3, pp. 478–495.
- Cederman L. E., Wimmer A., Min B. (2010) Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data and Analysis. *World Politics*, vol. 62, no 1, pp. 87–119.
- Chenoweth E., Shay C. W. (2020) *List of Campaigns in NAVCO 1.3.*, Cambridge (MA): Harvard Dataverse [online] (accessed 25.06.2023).
- Chenoweth E., Stephan M. J. (2011) *Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict*, New York, NY: Columbia University Press.
- Chenoweth E., Ulfelder J. (2017) Can structural conditions explain the onset of nonviolent uprisings? *Journal of Conflict Resolution*, vol. 61, no 2, pp. 298–324.
- Cincotta R., Weber H. (2021) Youthful age structures and the risks of revolutionary and separatist conflicts. *Global Political Demography: The Politics of Population Change* (eds. A. Goerres, P. Vanhuysse), Cham: Springer, pp. 57–92.
- Collier P. (2004) Greed and grievance in civil war. *Oxford Economic Papers*, vol. 56, no 4, pp. 563–595.
- Coppedge M., Gerring J., Knutsen C. H., Lindberg S. I., Teorell J., Alizada N., Altman D., Bernhard M., Cornell A., Fish M. S., et al. (2022) *V-Dem Dataset v12*, Gothenburg: University of Gothenburg, V-Dem Institute.
- Davies J. C. (1962) Toward a theory of revolution. *American sociological review*, vol. 27, no 1, pp. 5–19.
- Day J., Pinckney J., Chenoweth E. (2015) Collecting data on nonviolent action: Lessons learned and ways forward. *Journal of Peace Research*, vol. 52, no 1, pp. 129–133.
- DeNardo J. (1985) *Power in numbers: The political strategy of protest and rebellion*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- De Mesquita B. B., Smith A. (2010) Leader survival, revolutions, and the nature of government finance. *American journal of political science*, vol. 54, no 4, pp. 936–950.
- Dzhumashev R. (2014) The two-way relationship between government spending and corruption and its effects on economic growth. *Contemporary Economic Policy*, vol. 32, no 2, pp. 403–419.
- Fearon J. D., Laitin D. D. (2003) Ethnicity, Insurgency, and Civil War. *American Political Science Review*, vol. 97, no 1, pp. 75–90.
- Filin N., Khodunov A., Koklikov V. (2022). Serbian "Otpor" and the color revolutions' diffusion. *Handbook of Revolutions in the 21st Century* (eds. J. A. Goldstone et al.), Cham: Springer, pp. 465–482.
- Gerlach J. (2014) *Color revolutions in Eurasia*, Cham: Springer International Publishing.
- Gleditsch K., Dahl M., Gates S., Gonzalez B. (2021) Accounting for numbers: Group characteristics and the choice of violent and nonviolent tactics. *The Economics of Peace and Security Journal*, vol. 16, no 1, pp. 5–25.
- Gleditsch K., Håvard H. (2014) Regime type and political transition in civil war. *Routledge handbook of civil war* (eds. E. Newman, K. DeRouen, Jr.), London: Routledge, pp. 161–172.
- Gleditsch N., Håvard H., Håvard S. (2009) Democracy and civil war. *Handbook of War Studies III* (ed. M. I. Midlarsky), Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, pp. 155–192.

- Gleditsch K. S., Rivera M. (2017) The diffusion of nonviolent campaigns. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 61, no 5, pp. 1120–1145.
- Goldsmith B. E., Butcher C. R., Semenov D., Sowmya A. (2013) Forecasting the onset of genocide and politicide: Annual out-of-sample forecasts on a global dataset, 1988–2003. *Journal of Peace Research*, vol. 50, no 4, pp. 437–452.
- Goldstone J. (2006) Toward a fourth generation of revolutionary theory. *Logos*, no 5(56), pp. 58–103. (In Russ.).
- Goldstone J. A., Bates R. H., Epstein D. L., Gurr T. R., Lustik M. B., Marshall M. G., Ulfelder J., Woodward M. A. (2010) Global Model for Forecasting Political Instability. *American Journal of Political Science*, vol. 54, no 1, pp. 190–208.
- Goldstone J. A., Grinin L., Korotayev A. (2022) Introduction. Changing yet Persistent: Revolutions and Revolutionary Events. *Handbook of Revolutions in the 21st Century* (eds. J. A. Goldstone et al.), Cham: Springer, pp. 1–34.
- Goldstone J., Grinin L., Korotayev A. (2022) Waves of revolutions in the 21st century. *Polis-Politicheskiye Issledovaniya*, no 4, pp. 108–119. (In Russ.).
- Grinin L. (2013) State and socio-political crises in the process of modernization. *Social Evolution & History*, vol. 12, no 2, pp. 35–76.
- Grinin L. (2022a). On Revolutionary Waves Since the 16th Century. *Handbook of Revolutions in the 21st Century* (eds. J. A. Goldstone et al.), Cham: Springer, pp. 389–411.
- Grinin L. (2022b). Revolutions and modernization traps. *Handbook of Revolutions in the 21st Century* (eds. J. A. Goldstone et al.), Cham: Springer, pp. 219–238.
- Grinin L. E., Korotayev A. V. (2012) *Tsikly, krizisy, lovushki sovremennoy Mir-Sistemy* [Cycles, crises, traps of the modern World System], Moscow: LKI/URSS.
- Grinin L., Korotayev A. (2022) Revolutions, Counterrevolutions, and Democracy. *Handbook of Revolutions in the 21st Century* (eds. J. A. Goldstone et al.), Cham: Springer, pp. 105–136.
- Grinin L. E., Korotayev A. V. (2023) Theory of Revolution and Methodology of Analysis Applied to Revolutionary Events of the 21st Century. *Istoriya i sovremennost' = History and Modernity*, no 3, pp. 5–27. (In Russ.)
- Grønlund A., Kamma L., Larsen K. G. (2020) *Margins are insufficient for explaining gradient boosting*, arXiv preprint: 2011.04998.
- Gurr T. R. (1970) *Why men rebel*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hart D., Atkins R., Youniss J. (2005) Knowledge, youth bulges, and rebellion. *Psychological Science*, vol. 16, no 8, pp. 661–662.
- Hegre H., Ellingsen T., Gates S., Gleditsch N. (2001) Towards a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816–1992. *American Political Science*, vol. 95, no 1, pp. 33–48.
- Hegre H., Karlsen J., Nygård H. M., Strand H., Urdal H. (2013) Predicting armed conflict, 2010–2050. *International Studies Quarterly*, vol. 57, no 2, pp. 250–270.
- Inglehart R., Welzel C. (2005) *Modernization, Cultural Change, and Democracy The Human Development Sequence*, Cambridge: Cambridge university press.
- Jones Z. M., Lupu Y. (2018) Is There More Violence in the Middle? *American Journal of Political Science*, vol. 62, no 3, pp. 652–667.
- Kadivar M. A., Ketchley N. (2018) Sticks, Stones, and Molotov Cocktails: Unarmed Collective Violence and Democratization. *Socius*, vol. 4, pp. 1–16.
- Kaplan O. (2013) Protecting civilians in civil war: The institution of the ATCC in Colombia. *Journal of Peace Research*, vol. 50, no 3, pp. 351–367.
- Kennedy R. (2015) Making useful conflict predictions: Methods for addressing skewed classes and implementing cost-sensitive learning in the study of state failure. *Journal of Peace Research*, vol. 52, no 5, pp. 649–664.
- King G., Zeng L. (2001) Improving forecasts of state failure. *World Politics*, vol. 53, no 4, pp. 623–658.
- Knutsen C. H. (2014) Income growth and revolutions. *Social Science Quarterly*, vol. 95, no 4, pp. 920–937.
- Korenman S., Neumark D. (2000) Cohort crowding and youth labor markets (a cross-national analysis). *Youth employment and joblessness in advanced countries* (eds. D. G. Blanchflower, R. B. Freeman), Chicago: University of Chicago Press.

- Korotayev A.V. (2014) Possible psycho-economic factors of the 2014 Ukrainian revolution. *Historical Psychology & Sociology [Istoricheskaya psihologiya i sociologia istorii]*, vol. 7, no 1, pp. 56–74. (In Russ.).
- Korotayev A., Bilyuga S., Belalov I., Goldstone J. (2018) Oil prices, socio-political destabilization risks, and future energy technologies. *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 128, pp. 304–310.
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2016) GDP per capita, protest intensity and regime type: a quantitative analysis. *Sravnitel'naya Politika-Comparative Politics*, vol. 7, no 4, pp. 72–94. (In Russ.).
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2017) GDP Per Capita, Intensity of Anti-Government Demonstrations and Level of Education. Cross-national Analysis. *Politeia-Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics*, no 84(1), pp. 127–143. (In Russ.).
- Korotayev A.V., Grinin L.E., Malkov S.Y., Issaev L.M. et al. (2021). *Sotsialno-politicheskaya destabilizatsiya v stranakh afraziyskoy makrozony nestabilnosti: kolichestvennyy analiz i prognozirovaniye riskov* [Socio-political destabilization in the countries of the Afrasian macrozone of instability: quantitative analysis and risk forecasting], Moscow: Lenand/URSS.
- Korotayev A.V., Grinin L.E., Medvedev I.A., Slav M. (2022) Political Regime Types and Revolutionary Destabilization Risks in the TwentyFirst Century. *Russian Sociological Review*, vol. 21, no 4, pp. 9–65. (In Russ.).
- Korotayev A., Isaev L., Vasilev A. (2015) Quantitative Analysis of 2013–2014 Revolutionary Wave. *Sotsiologicheskie Issledovaniya*, no 8(376), pp. 119–127.
- Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. (2015) Center-periphery dissonance as a possible factor of the revolutionary wave of 2013–2014: A cross-national analysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 49, no 5, pp. 461–488.
- Korotayev A.V., Malkov A. S., Burova A. N. et al. (2012) Lovushka na vykhode iz lovushki. Matematicheskoye modelirovaniye sotsial'no-politicheskoy destabilizatsii v stranakh mir-sistemnoy periferii i sobytiya arabskoy vesny 2011 g. [A trap at the escape from the trap. Mathematical modeling of socio-political destabilization in the countries of the world-system periphery and the events of the Arab Spring of 2011]. *Modelirovaniye i prognozirovaniye globalnogo, regionalnogo i natsionalnogo razvitiya* [Modeling and forecasting of global, regional and national development] (eds. A. Akaev et al.), Moscow: Librokom/URSS, pp. 210–276. (In Russ.).
- Korotayev A., Sawyer P., Gladyshev M., Romanov D., Shishkina A. (2021) Some Sociodemographic Factors of the Intensity of Anti-Government Demonstrations: Youth Bulges, Urbanization, and Protests. *Russian Sociological Review*, vol. 20, no 3, pp. 98–128. (In Russ.).
- Korotayev A.V., Sawyer P.S., Grinin L.E., Romanov D.M., Shishkina A.R. (2020) Socio-economic Development and Anti-government Protests in Light of a New Quantitative Analysis of Global Databases. *Sotsiologicheskii Zhurnal* [Sociological Journal], vol. 26, no 4, pp. 61–78. (In Russ.).
- Korotayev A., Sawyer P., Romanov D. (2021) Socio-Economic Development and Protests. A Quantitative Reanalysis. *Comparative Sociology*, vol. 20, no 2, pp. 195–222.
- Korotayev A., Vaskin I., Tsirel S. (2021). Economic Growth, Education, and Terrorism: A Re-Analysis. *Terrorism and Political Violence*, vol. 33, no 3, pp. 572–595.
- Korotayev A.V., Zhdanov A.I. (2023a) Quantitative analysis of political factors of revolutionary destabilization. A systematic review. *Politeia-Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics*, no 1(108), pp. 64–87. (In Russ.).
- Korotayev A.V., Zhdanov A.I. (2023b) A Quantitative Analysis of Economic Factors of Revolutionary Destabilization: Results and Prospects. *Sociology of Power* [Sociologiya vlasti], vol. 35, no 1, pp. 118–159. (In Russ.).
- Korotayev A., Zinkina J. (2022) Egypt's 2011 Revolution. A Demographic Structural Analysis. *Handbook of Revolutions in the 21st Century* (eds. J.A. Goldstone et al.), Cham: Springer, pp. 651–683.
- Korotayev A., Zinkina J., Kobzeva S., Bogevolnov J., Khaltourina D., Malkov A., Malkov S. (2011) A Trap at the Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Africa and West Asia. *Clodynamics*, vol. 2, no 2, pp. 276–303.
- Kurzman C. (1996) Structural Opportunity and Perceived Opportunity in Social-Movement Theory: The Iranian Revolution of 1979. *American Sociological Review*, vol. 61, no 1, pp. 153–170.
- Lawson G. (2019) *Anatomies of Revolution*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Lundberg S. M., Erion G., Chen H., DeGrave A., Prutkin J. M., Nair B., Lee S. I. (2020) From local explanations to global understanding with explainable AI for trees. *Nature machine intelligence*, vol. 2, no 1, pp. 56–67.
- Marshall M., Gurr T. R. (2020) *Polity5 Project: Dataset Users' Manual*, Vienna, VA: Polity5 Project.
- Marwell G., Oliver P. (1993) *The Critical Mass in Collective Action: A Micro-Social Theory*, Cambridge: Cambridge University Press.
- McAdam D. (1999) *Political process and the development of black insurgency, 1930–1970*, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Medvedev I. A., Korotayev A. V. (2021) Structural factors of peaceful and armed revolutionary change of power: The experience of analysis by machine learning methods. *Sistemnyi Monitoring Globalnyh i Regionalnyh Riskov* [Systemic Monitoring of Global and Regional Risks], vol. 12, pp. 145–189. (In Russ.)
- Medvedev I. A., Ustyuzhanin V. V., Zhdanov A. I., Korotayev A. V. (2022) Application of machine learning methods to rank factors and predict unarmed and armed revolutionary destabilization in the Afrasian macrozone of instability. *Sistemnyi Monitoring Globalnyh i Regionalnyh Riskov* [Systemic Monitoring of Global and Regional Risks], vol. 13, pp. 131–210. (In Russ.).
- Medvedev I., Ustyuzhanin V., Zinkina J., Korotayev A. (2022). Machine learning for ranking factors of global and regional protest destabilization with a special focus on Afrasian instability macrozone. *Comparative Sociology*, vol. 21, no 6, pp. 604–645.
- Mesquida C. G., Wiener N. I. (1996) Human collective aggression: A behavioral ecology perspective. *Ethology and sociobiology*, vol. 17, no 4, pp. 247–262.
- Mitchell, L. A. (2012). The color revolutions, Philadelphia, PN: University of Pennsylvania Press.
- Mitchell, L. A. (2022). The color revolutions. Successes and limitations of non-violent protest. *Handbook of Revolutions in the 21st Century* (eds. J. A. Goldstone et al.), Cham: Springer, pp. 435–445), Cham: Springer.
- Musieva J. M., Medvedev I. A. (2024). Sushchestvuyet li «neftyanoye proklyatiye»? Dolya neftyanykh dokhodov v VVP i riski revolyutsionnoy destabilizatsii [Is there an “oil curse”? The share of oil revenues in GDP and the risks of revolutionary destabilization]. *Istoriya i sovremennost*, no 2, pp. 104–119.
- Nieto-Matiz C. (2020) Backing despots? Foreign aid and the survival of autocratic regimes. *Democracy and security*, vol. 16, no 1, pp. 36–58.
- Olson M. (1963) Rapid Growth as a Destabilizing Force. *Journal of Economic History*, vol. 23, no 4, pp. 529–552.
- Regan P. M., Bell S. R. (2009) Changing Lanes or Stuck in the Middle: Why Are Anocracies More Prone to Civil Wars? *Political Research Quarterly*, vol. 63, no 4, pp. 747–759.
- Ritter D. (2015) *The Iron Cage of Liberalism*, Oxford: Oxford University Press.
- Robertson G. B. (2010) *The politics of protest in hybrid regimes: Managing dissent in post-communist Russia*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Romanov D. M., Meshcherina K. V., Korotayev A. V. (2021) The Share of Youth in the Total Population as a Factor of Intensity of Non-Violent Protests: A Quantitative Analysis. *Polis-Politicheskie Issledovaniya*, no 3, pp. 166–181.
- Ross M. L. (2001) Does oil hinder democracy? *World politics*, vol. 53, no 3, pp. 325–361.
- Rozov N. (2022). Typology and principles of dynamics of revolutionary waves in world history. *Handbook of Revolutions in the 21st Century* (eds. J. A. Goldstone et al.), Cham: Springer, pp. 241–264.
- Rozov N., Pustovoyt Y., Filippov S., Tsygankov V. (2019) *Revoljucionnye volny v ritmah global'noj modernizacii* [Revolutionary Waves in the Rhythms of Global Modernization], Moscow: Krasand/ URSS.
- Sánchez A., Goda T. (2018) Corruption and the 'Paradox of Redistribution'. *Social Indicators Research*, vol. 140, pp. 675–693.
- Sanderson S. K. (2016) *Revolutions: A worldwide introduction to political and social change*, London: Routledge.
- Schulz E. (2016) *Teorija revoljucii: revoljucii i sovremennye civilizacii* [Theory of Revolution: Revolutions and Modern Civilizations], Moscow: Lenand/USSR.

- Shaheen S. (2015) *Soziale Aufstände. Konzeptualisierung, Bemessung, Ursachen Und Folgerungen* [Social Uprisings: Conceptualization, Measurement, Causes and Implications], Marburg: Philipps-University of Marburg.
- Slav M., Korotayev A. V. (2021) Towards regression analysis the risk of destabilization in the revolutionary Afrasian macrozone of instability in the twenty-first century. *Sistemnyi Monitoring Globalnyh i Regionalnyh Riskov* [Systemic Monitoring of Global and Regional Risks], vol. 12, pp. 219–241. (In Russ.).
- Slinko E., Bilyuga S., Zinkina J., Korotayev A. (2017) Regime Type and Political Destabilization in Cross-National Perspective: A Re-Analysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 51, no 1, pp. 26–50.
- Smith B. (2004) Oil wealth and regime survival in the developing world, 1960–1999. *American Journal of Political Science*, vol. 48, no 2, pp. 232–246.
- Smyth R. (2020) *Elections, Protest, and Authoritarian Regime Stability: Russia 2008–2020*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Tucker J. A. (2007) Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored Revolutions. *Perspectives on Politics*, vol. 5, no 03, pp. 535–551.
- UNDP [= United Nations Development Program] (2023) *United Nations Development Program Database*. New York, NY: UNDP. URL: <http://hdr.undp.org/en/indicators/103006> (accessed 12.08.2023).
- UNPD [= UN Population Division] (2023) *United Nations Population Division Database*. New York, NY: United Nations. URL: <http://www.un.org/esa/population>.
- Urdal H. (2006) A clash of generations? Youth bulges and political violence. *International Studies Quarterly*, vol. 50, no 3, pp. 607–629.
- USAID (2023) *United States Agency for International Development Database*. Washington, DC: United States Agency for International Development. URL: <https://aidscape.usaid.gov/> (accessed 07.08.2023).
- Ustyuzhanin V. V., Grinin L. E., Medvedev I. A., Korotayev A. V. (2022). Education and revolutions: why do some revolutions take up arms while others do not? *Politeia. Zhurnal politicheskoy filosofii i sotsiologii politiki* [Politeia-Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics], no 1(104), pp. 50–71. (In Russ.).
- Ustyuzhanin V. V. & Korotayev A. V. (2022a) Revolutions and democracy. Why do revolutions take armed or unarmed form? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya — Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*, vol. 66, pp. 198–210.
- Ustyuzhanin V. V., Korotayev A. V. (2022b) Regression modeling of armed and unarmed revolutionary destabilization in the Afrasian macrozone of instability. *Sistemnyi Monitoring Globalnyh i Regionalnyh Riskov* [Systemic Monitoring of Global and Regional Risks], vol. 13, pp. 211–244. (In Russ.).
- Ustyuzhanin V., Korotayev A. (2023a) Education and revolutions. Why do revolutionary uprisings take violent or nonviolent forms? *Cross-Cultural Research*, vol. 57, no 4, pp. 352–390.
- Ustyuzhanin V., Korotayev, A. (2023b) Revolutions and Democracy: Can Democracies Prevent Revolutionary Armed Violence? *Comparative Sociology*, vol. 22, no 1, pp. 95–137.
- Ustyuzhanin V., Kostin M., Grinin L., Korotayev A. (2023) Corruption and revolutionary destabilization. A quantitative analysis. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii* [Journal of Sociology and Social Anthropology], vol. 26, no 3, pp. 53–99.
- Ustyuzhanin V. V., Mikheeva V. A., Sumernikov I. A., Korotayev A. V. (2023) Economic Origins of Revolutions: the link between GDP and revolutionary risks. *Politeia. Zhurnal politicheskoy filosofii i sotsiologii politiki* [Politeia-Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics], no 108(1), pp. 64–87. (In Russ.).
- Ustyuzhanin V. V. Sumernikov E. A., Grinin L. E., Korotayev A. V. (2022) Urbanization and revolutions: a quantitative analysis. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies], no 10, pp. 85–95. (In Russ.).
- Ustyuzhanin V. V., Zhodzishskaya P. A., Korotayev A. V. (2022) Demographic Factors as Predictors of Revolutionary Situations: Experience in Quantitative Analysis. *Sotsiologicheskii Zhurnal* [Sociological Journal], vol. 28, no 4, pp. 34–59. (In Russ.).

- Weyland K. (2009) The diffusion of revolution: '1848' in Europe and Latin America. *International Organization*, vol. 63, no 3, pp. 391–423.
- World Bank. (2021) *World Development Indicators Online*, Washington, DC: The World Bank.
- Zhdanov A. I., Korotayev A. V. (2022) Elections, Regime Type and Risks of Revolutionary Destabilization. A Quantitative Analysis. *Sociology of Power* [Sociologija vlasti], vol. 34, no 3–4, pp. 102–127. (In Russ.).

«Зеленые пряники»? Распределение президентских грантов на экологические инициативы в 2017–2023 годах как элемент региональной экологической политики*

Андрей Щербак

Кандидат политических наук, заместитель заведующего Лабораторией сравнительных социальных исследований

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Седова, 55-2, Санкт-Петербург, 192171 Российская Федерация

E-mail: ascherbak@hse.ru

Ярослав Снарский

Стажер-исследователь, Лаборатория сравнительных социальных исследований

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Седова, 55-2, Санкт-Петербург, 192171 Российская Федерация

E-mail: yaasnarskiy@edu.hse.ru

Никита Зубарев

Стажер-исследователь, Лаборатория сравнительных социальных исследований

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Седова, 55-2, Санкт-Петербург, 192171 Российская Федерация

E-mail: nzubarev@hse.ru

Екатерина Семушкина

Старший преподаватель департамента политологии и международных отношений

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Набережная канала Грибоедова, 123а, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

E-mail: esemushkina@hse.ru

Данная статья посвящена выяснению факторов распределения президентских грантов на экологические инициативы в 2017–2023 годах. Основное предположение заключается в проверке наличия политической логики в поддержке региональных экоинициатив. Если предыдущие исследования рассматривали экологические конфликты, как правило, со стороны эооактивистов, то в данной работе мы в большей степени фокусируемся на изучении стратегии властей. Для этого мы предлагаем использовать концепт региональной экологической политики (*politics*). Предполагая, что для властей ключевым моментом является попытка снизить экопротестную активность, мы исходим из того, что власти стремятся использовать не только «кнут», то есть силовые стратегии борьбы с протестами, но и «пряник» в форме стратегий кооптации эооактивистов. В данной модели распределение грантов на поддержку экологических инициатив рассматривается как реакция на характер экологических проблем и конфликтов. Мы проверяем три основных гипотезы о логике поддержки проектов: реакция на ухудшение экологической ситуации в регионе, реакция на частоту экопротестов и реакция на высокий уровень неравенства, способствующий протестным

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00661 «Региональные и этнические идентичности как фактор низовой политизации и формирования экологической культуры: кросс-региональный анализ ценностных установок и стратегий поведения», <https://rscf.ru/project/23-18-00661/>

настроениям в принципе. Мы опираемся на несколько источников эмпирических данных: данные по распределению президентских грантов на экологические неправительственные организации; масштабная база данных по экопротестам, показатели Национального экологического рейтинга российских регионов. Применение моделей с фиксированными эффектами показало, что распределение президентских грантов следует как за экопротестами, так и за ухудшением экологической ситуации в регионах. Кроме того, на распределение грантов значимо влияет низкий уровень неравенства, который в России свойственен, как правило, бедным регионам. Дополнительно мы иллюстрируем наши аргументы кейсом Свердловской области, который указывает на «валовый», а не точечный характер поддержки экологических инициатив.

Ключевые слова: экологическая политика, экологические конфликты, экологические протесты, президентские гранты, региональная политика, неравенство

В последние годы заметно выросло внимание к экологической проблематике, как среди политиков и гражданских активистов, так и среди ученых. Согласно данным социологических опросов, экологические проблемы являются для респондентов одними из наиболее болезненных (Лапин, 2016; Нестик, Задорин, 2020). Ключевыми темами для исследователей российской политики и общества стали экологическая политика (например, Яницкий, 2002, 2011; Шварц, Книжников, 2012; Турцева, 2023) и экологические конфликты/протесты (например, Туровец, 2014; Kuzmina, 2022; Цепилова, Гольбрайх, 2020; Чмель, Климова, Митрохина, 2020; Тулаева, Снарский, 2022; Тулаева, Немировская, 2024). При этом данные темы часто рассматриваются через призму или акторов экологической политики, или рамки гражданского участия, что отсылает читателей к хорошо разработанным концепциям гражданского общества, общественных и/или городских движений, протестной политики (contentious politics) (например: Семенов, 2018, 2019; Ермолаева, Башева, Корунцова, 2021). Отдельно можно выделить концепцию экомодернизации (Яницкий, 2007, 2011). Данный подход объединяет фокус на низовых акторах, их инициативу, стратегии и ресурсы.

В статье мы рассматриваем экологические конфликты в более широкой рамке региональной экологической политики (politics), которую предлагается операционализировать как элемент регионального политического процесса. Если значительная часть работ затрагивает экологические конфликты со стороны протестующих, то в данной работе мы делаем попытку выявления логики региональных и федеральных властей. Предполагая, что для властей ключевым моментом является попытка снизить экопротестную активность, мы исходим из того, что власти стремятся использовать не только «кнут», но и «пряник». С одной стороны, есть силовые стратегии борьбы с протестами, которые включают давление на экоактивистов, вплоть до признания ряда экологических организаций иноагентами и нежелательными организациями («кнут»). Под «пряником» мы подразумеваем стратегию кооптации, включая финансовую поддержку лояльных экологических инициатив и организаций. Сразу возникает вопрос: что для властей важнее — поддерживать местные инициативы в наиболее экологически «грязных» или наиболее экопротестных регионах?

В нашем исследовании мы опираемся на несколько источников эмпирических данных. Во-первых, это данные по распределению президентских грантов на экологические неправительственные организации; во-вторых, масштабная база данных по экопротестам; в-третьих, данные Национального экологического рейтинга российских регионов (все эти сведения мы интегрировали в единую базу данных). Используя модели с фиксированными эффектами, мы показываем, что распределение президентских грантов следует как за экопротестами, так и за ухудшением экологической ситуации в регионах.

Исследовательский вопрос сформулирован следующим образом: какая политическая логика присутствует в распределении президентских грантов на экологические инициативы? Мы проверяем два базовых предположения — выделяются ли ресурсы на проекты в наиболее экологически неблагоприятных регионах или в наиболее протестноактивных. Соответственно, цель данной работы — выявить политические факторы распределения президентских грантов на экологические проекты в российских регионах.

Наш вклад в исследуемое поле заключается в смещении фокуса изучения экологических конфликтов с позиции экологических движений на позицию власти. Мы предлагаем рассматривать «экологическую политику» не только как политический курс (policy), но и как политическую борьбу (politics). Исследователи обычно разделяют экологическую политику федеральных, региональных и местных властей, деятельность экологических движений, экологические конфликты — мы же предлагаем рассматривать их в единой рамке «экологической политики». В отличие от ряда работ с фокусом на использовании механизма «кнута» в отношении экоактивистов (Demchuk et al., 2022; Henry, Plantan, 2021), мы смотрим на механизм «пряника», то есть распределения финансирования на экологические инициативы.

Структура статьи выглядит следующим образом. В первой части представлена теоретическая рамка и литературный обзор по проблематике экопротестов, экологической политике, стратегий власти в отношении протестов, связанных с экологической проблематикой. Здесь мы предлагаем свое видение концепта региональной экологической политики (politics). Во второй части представлены описание используемых баз данных и методология. Эмпирический анализ содержится в третьей части. Четвертая иллюстрирует наш основной тезис на примере кейс-стади из Свердловской области. Пятая содержит заключение и выводы.

Экологическая политика в России

Экологическая проблематика занимает все более заметное место в исследовательской повестке социальных ученых как в России, так и за рубежом, разнообразие изучаемых тем постоянно растет. Можно выделить, например, экологическую политику (Турцева, 2021, 2022, 2023), деятельность «зеленых» партий и движений (Wang, Keith, 2020), продвижение «зеленой повестки» (изменение климата, энергетический переход, сохранение биоразнообразия и т.д.), экологическую культуру

(Яницкий, 2005), экологические конфликты (Demchuk et al., 2022). Не меньше разнообразия имеется и на уровне методологии исследований: присутствуют кейс-стади (Снарский, 2024), сравнительные качественные исследования (Тулаева, Немировская, 2023), исследования цифровой сферы (Гольбрайх, 2019), опросные проекты (Климова, Куликов, Чмель, 2021), кросс-страновые работы (Obydenkova, 2022). При этом в российском контексте одним из наиболее популярных направлений в последние годы стало изучение экологических конфликтов и протестов. Возможно, другие темы получают меньше внимания по причине слабости «зеленых» партий и движений, невысокого приоритета «зеленой» повестки для российских элит, хотя ситуация и тут меняется (Щербак, Зубарев, Семушкина, 2024). Как правило, исследователей интересуют экоактивисты, их мотивы, причины и факторы низовой мобилизации (Семенов, Снарский, Ткачева, 2024). Теоретические подходы также весьма различны. Ряд исследователей рассматривает экологические конфликты сквозь призму гражданского участия (Ермолаева, Башева, Корунова, 2021), «протестной политики» (Semenov, 2020) или «ресурсного национализма» (Тулаева, Снарский, 2022). Отметим, что все эти подходы определяют экопротесты как «неполитические»: они инициированы неполитическими акторами, с неполитическими целями и под неполитическими лозунгами. Граждане не выдвигают политические лозунги, а пытаются опротестовать решения властей, которые, по их мнению, серьезно нарушают их права и благополучие (Снарский, 2024). Мы предлагаем использовать ракурс «экологической политики», который бы объединял указанные выше подходы и отношения между властью и обществом.

В литературе «экологическая политика» в большей степени понимается как *policy*, то есть политический курс. В такой интерпретации экологическая политика включает вопросы природоохранного регулирования, внедрения федеральных программ в области экологии и охраны окружающей среды. Данный подход предполагает уделение особого внимания институционализации экологической политики. В одной из работ рассматривался фокус на изменении институционализации под влиянием процессов централизации и децентрализации, демонстрировалось подчинение экологической политики императиву экономического роста, основанного на добыче природных ресурсов крупными федеральными компаниями. В условиях растущей централизации вес региональных и местных властей, а также экологических НКО в природоохранном регулировании и надзоре постоянно снижался (Аксенова, 2005).

Другой ракурс предлагает взглянуть на региональную экологическую политику через призму стейкхолдеров (Турцева, 2021). Данный подход заимствован из стратегического менеджмента, в котором принятие стратегических решений является результатом переговоров всех ключевых сторон, заинтересованных в ликвидации определенной проблемы. К таким стейкхолдерам автор относит органы государственной власти и местного самоуправления, гражданское общество, бизнес (малый, средний и крупный) и университеты (Турцева, 2021: 314). Выделяются несколько возможных направлений сотрудничества, из которых наиболее интерес-

ным представляется «обеспечение экологически безопасного обращения с отходами» (Турцева, 2021: 325). Суть при этом не сильно меняется: основным игрокам нужно договориться о совместном решении всех проблем и избегании конфликтов. Им необходимо совершенствовать правовое регулирование, принимать «правильные решения» (например, о создании особо охраняемых природных территорий), информировать и просвещать граждан.

Еще один взгляд рассматривает региональную экологическую политику сквозь призму принятия региональных экологических программ. Именно подобные стратегические документы могут концентрированно выражать видение основных игроков о целях и приоритетах политического курса в области экологии. Обзор программ показывает, что преобладает подход копирования основных целей и задач из федеральных нормативных документов (Турцева, 2022).

В данной работе предлагается рассматривать экологическую политику как politics, то есть борьбу за власть, что предполагает смещение фокуса на экологические конфликты и протесты. В отличие от предыдущих работ, акценты в определенной мере переносятся с действий протестующих на реакцию со стороны власти. Нас интересует то, как власти отвечают на рост протестной активности, и то, как они пытаются предотвращать нарастание экологических конфликтов.

Понимая наличие проблем в сфере экологии и сталкиваясь с протестами жителей, власти вынуждены реагировать. При этом ответные реакции могут быть весьма разнообразными. В ряде случаев региональные власти косвенно поддерживали протестующих, либо не занимали четкую позицию (Бронников, Белоусов, Горбачев, 2021). Иногда на стороне протестующих выступали депутаты региональных или городских парламентов от системной оппозиции. Более того, существуют примеры поддержки со стороны городских чиновников. Далеко не всегда региональные власти способны справиться с данными протестами. Одной из причин авторы называют: неоптимальный характер риск-коммуникации, проводимой администрацией региона. Недостаток официальной информации о проблеме вкупе с технологиями политического выхолащивания и, как следствие, «потеря институционального доверия» (Бронников, Белоусов, Горбачев, 2021: 218).

Власти могут использовать стратегию «кнута» как напрямую, так и пассивно наблюдая за неправомерными действиями коммерческих структур в отношении активистов. Силовые ответы на протесты эоактивистов включают задержания, аресты, штрафы, возбуждения административных и уголовных дел, а также применение физической силы в отношении активистов (например: Брызгалова, 2018; Тулаева, Снарский, 2022; Бронников, Белоусов, Горбачев, 2021). Иногда исследователи обращают внимание на имитацию общественного вовлечения в городскую экологическую политику, примерами здесь служат случаи Москвы и Казани (Ермолаева, Башева, Корунова, 2021).

Нередко экологические протесты возникают в запутанном политическом контексте региона, являясь триггером к новому витку внутривнутриполитического противостояния элит, тем самым поддерживая протестующих и их требования. Эти об-

стоятельства могут отягощаться как важностью экологической проблематики для региона, так и наличием успешного опыта предшествующей мобилизации (Бронников, Белоусов, Горбачев, 2021). Все это препятствует разрешению экологических конфликтов региональными администрациями.

Местные протесты в России, в том числе и по экологической тематике, часто рассматриваются как инструмент подотчетности власти местным сообществам. Последние таким образом опротестовывают те решения властей, с которыми они не согласны. Политические требования, как правило, отсутствуют. Отмечается, что многие другие механизмы подотчетности местной власти — прямые обращения, петиции, СМИ, политические партии, выборы — еще более несовершенны, интенсивность протестов часто связана с более низким качеством институтов. В каком-то смысле местные протесты можно назвать специфической формой политической коммуникации, в том числе в сфере экологической политики. Стоит помнить, что в годы перестройки именно экологическая проблематика стала источником массовой протестной активности. Помимо очевидной неудовлетворенности состоянием окружающей среды граждане, таким образом, легально выступали против советской системы: экологические протесты являлись своего рода сублимацией политических протестов против власти. Возникает закономерный вопрос — могут ли сейчас экопротесты рассматриваться как выражение общего недовольства граждан с использованием «неполитических» поводов? Предыдущие исследования осторожно подтверждают это предположение. Вопрос несправедливости оказывается одним из основных факторов мобилизации экопротестующих. Используя концепцию «ресурсного национализма», Тулаева и Снарский показали, что местные жители крайне недовольны распределением сырьевой ренты: прибыли идут внешнему крупному бизнесу, а местному населению достаются только издержки (Тулаева, Снарский, 2022). Такое же ощущение несправедливости было отмечено при изучении случая шихана Куштау в Башкортостане: активисты фреймировали свои действия как протест против неравномерного распределения природных ресурсов (Снарский, 2024). Однако можно предположить, что появление чувства несправедливости предшествовало экологической мобилизации, а не стало ее результатом. Иными словами, регионы с высоким неравенством доходов могут быть более подвержены экологическим протестам: экологические проблемы лишь усиливают общее чувство несправедливости, что и выливается в протесты. Для властей это становится важным элементом внутренней региональной, а в каком-то смысле и федеральной политики. Необходимо реагировать либо с помощью «кнута», либо «пряника».

В литературе уже предлагалось понятие «экологической политики» (*environmental politics*) (например: Wu, Martus, 2021). В рамках этой концепции исследователи пытались объяснить взаимодействие органов власти и структур гражданского общества при нарастании политизации экологических проблем. Было предложено три модели: «экологическая модернизация», «экологический авторитаризм» и «экологическая демократизация». Первая модель предполагает плот-

ное сотрудничество государства и гражданского общества в процессе выработки и внедрения современного экологического управления. Вторая модель означает установление авторитарных «хищнических» институтов в сфере экологии и охраны природы; в то же время достижения в сфере экологии активно используются для легитимации режима. Третья модель подчеркивает роль экологических движений в становлении гражданского общества и дальнейшей либерализации и демократизации. Все модели объединяет как наличие у действующей власти понимания необходимости разрешения экологических конфликтов, так и признание наличия экологических НКО и низовых экологических движений, отстаивающих свои права на благоприятную среду. При этом власти стремятся либо не допустить, либо минимизировать политизацию экологических проблем, а эколо-активисты стремятся найти способы эффективного воздействия на власть. В этой концепции экопротесты можно объяснить как срыв коммуникации между властью и гражданами. Сравнивая случаи Китая и России, авторы, с одной стороны, отметили определенные расхождения в системе отношений между властью и эко-НКО в двух странах (в Китае гораздо меньше было проникновения зарубежных НКО, но больше возможностей для формирования альянсов местных экологических организаций; в России экомобилизация часто остается на уровне низовых стихийных движений), а с другой — ни одна из упомянутых моделей не может быть использована в своем чистом виде (Wu, Martus, 2021). Иными словами, экологическая политика оказывается более сложной, чем ранее предсказывала теория.

С определенностью можно сказать, что экологическая политика возникает там, где есть экологические конфликты. Когда местные сообщества сталкиваются с последствиями экологически неблагоприятной деятельности, например, уплотнительной застройки, городских свалок, переработки мусора, загрязнения воды, почвы и воздуха, то тогда они сначала обращаются к местным властям, а при игнорировании проблем — начинают протестовать. Частота случаев экологической мобилизации служит индикатором серьезного экологического конфликта (например: Plantan, 2018). Резкому росту активизма предшествует замалчивание проблемы властями. Только тогда, когда экологическая проблема проявляет себя настолько, что ущерб от воздействия на природу становится видимым всему местному сообществу, происходит низовая экологическая мобилизация. Высокий уровень неравенства, подпитывающий ощущение несправедливости распределения и управления природными ресурсами, оказывается дополнительным фактором роста экоактивизма.

Нередко экологический ущерб оказывается побочным продуктом централизации управления природоохранными вопросами. Часто региональные власти встают на сторону крупного бизнеса в конфликте с местными сообществами. Для достижения целей крупного бизнеса используется давление в СМИ, происходит игнорирование требований активистов и переориентация на переговоры с лояльными эконо-защитниками. Власти часто начинают замечать конфликты только после их эскалации и привлечения внимания СМИ. Затем конфликт перерастает в протест, при этом

зачинщиками часто являются рядовые граждане, и только после этого к коалиции протестующих могут присоединиться экологические НКО. Значимые конфликты прошлых лет имеют международные примеры (Demchuk et al., 2022).

Сравнение с Китаем дает представление о том, что в случае экологических протестов важным фактором является отношение к конфликту центральных властей. Если последние не оказывают поддержку «твердой» позиции местной власти, то становятся возможны компромиссы с протестующими (Demchuk et al., 2022). Другие исследования показывают, что логика использования репрессий против протестующих зависит от цены подавления протеста, радикальности требований протестующих и характера самого протеста (Gobel, 2021). При этом экологические протесты определяются как события с относительно высоким риском репрессий против активистов: цена уступок для правительства может оказаться слишком высокой (например, отказ от проекта и убытки от уже сделанных инвестиций).

Структура экономики, основанная на добыче ресурсов и промышленном производстве, до определенной степени предопределяет наличие местных экологических конфликтов. В ситуации, когда природоохранный надзор оказывается подчинен задачам экономического развития, а качество институтов политического и гражданского контроля не всегда оказывается удовлетворительным, риск возникновения экологических конфликтов становится еще выше. Особенно это касается городских поселений (Demchuk et al., 2022).

В целом мы рассматриваем экологическую политику как элемент внутренней региональной политики. С одной стороны, местные сообщества постоянно опротестовывают нежелательные для них решения властей, с другой — власти стараются как помочь (крупному) бизнесу достигать своих целей, так и не допускать масштабных протестов. Федеральные власти строго следят, чтобы не происходила политизация местных экологических протестов. Социально-экономическое неблагополучие может считаться дополнительным отягощающим условием роста напряженности в регионе, вызывая более острое восприятие несправедливости при распределении природных ресурсов и игнорировании экологических проблем населения.

Для местных властей одной из стратегий разрешения конфликта является не только «кнут» (то есть тот или иной вариант силовых мер), но и «пряник» — кооптация местных активистов. Иногда для местных властей предпочтительнее упреждать конфликты, перенаправлять их в другое русло и способствовать их затуханию. Для этой цели власти могут использовать различные способы и ресурсы, в том числе финансовую поддержку лояльных эко-НКО. Существует немало региональных и федеральных программ поддержки значимых для правительства экологических инициатив (например: Щербак, Зубарев, Семушкина, 2024: 99–100), но самым важным источником является распределение президентских грантов на поддержку экологических НКО. Учитывая, что федеральная власть заинтересована в снижении политизации экологического движения, логично рассмотреть данный механизм. Предыдущие исследования особенностей распределения президентских грантов на поддержку гражданского общества показывали интересные результаты. Отмеча-

лось, что Фонд президентских грантов становится все более важным источником финансирования организаций гражданского общества. При этом можно заметить, что поддержка проектов неравномерна, а государственное финансирование вытесняет иные источники поддержки (Смирнов, 2020). В контексте усиления роли государства в регулировании и финансировании гражданского общества важный приоритет — это замена денег зарубежных доноров отечественным финансированием (Skokova, Frohlich, 2020). Не было найдено свидетельств политизации выдачи грантов — приоритет отдается социально ориентированным направлениям. Например, работа с больными детьми, сиротами, поддержка талантливой молодежи. «Политизированные» направления по типу «исторической памяти», «развитию публичной дипломатии и поддержки соотечественников» получают меньше внимания (Laruelle, 2020). Работ, посвященных именно выдаче экологических грантов, практически не было (например: Шойкин, 2021). Исследования более ранних периодов (2013–2016 годы) показывали, что поддержка экологических проектов имела низкий приоритет, в фокусе интересов грантодателя были социально ориентированные НКО (Skokova, Frohlich, 2020). Иногда утверждалось, что выдача грантов подвержена некоторым политическим соображениям, но в основном они касались социальной политики или отношений с НКО. В более широкий контекст внутренней региональной политики эти гранты не вписывались. Есть лишь наблюдение о значительном перекосе в поддержке столичных НКО и их проектов.

Исходя из логики концепции «экологической политики», мы хотим проверить, как распределялись президентские гранты для экологических НКО с 2018 по 2023 год. Отметим, что начало распределения «зеленых» грантов совпадает с серией «мусорных бунтов» в Московской области в 2018 году. Мы исходим из того, что власти могут стремиться реагировать как на ухудшение экологической ситуации в регионе и предотвращать возможные протесты, так и на произошедший всплеск протестной активности и подавлять протестные настроения. На проверку этих предположений направлено наше эмпирическое исследование.

Для проверки наших предположений мы формулируем несколько гипотез.

Н1: Чем хуже экологическая ситуация, измеряемая с помощью Национального экологического рейтинга, тем больше выделяется финансирования на поддержку проектов в рамках конкурса президентских грантов в данном регионе.

Н2: Чем выше уровень экопротестов, тем больше выделяется финансирования на поддержку проектов в рамках конкурса президентских грантов в данном регионе.

Н3: Чем выше уровень неравенства, тем больше выделяется финансирования на поддержку проектов в рамках конкурса президентских грантов в данном регионе.

Данные и методы

Для проверки гипотез мы используем несколько баз данных ($N=82$, $T=7$). Во-первых, это база данных по выделенным президентским грантам на экологические

проекты с 2018 по 2023 год (Фонд президентских грантов п. d.). Эти данные уже использовались в предыдущих исследованиях (Щербак, Зубарев, Семушкина, 2024). Нас в первую очередь интересует размер финансирования поддержанных и поданных заявок, в млн рублей. Это наши зависимые переменные: а) финансирование на число поддержанных заявок, в млн рублей; б) финансирование на число поданных заявок, в млн рублей.

Во-вторых, это данные Национального экологического рейтинга за 2017–2023 годы по регионам. Они представлены как среднее за год (оригинальный рейтинг публикуется раз в квартал), причем мы используем как агрегированный сводный индекс, так и отдельные его составляющие: «природоохранный индекс», «социально-экологический индекс» и «промышленно-экологический индекс». Каждый вид индекса измеряется по шкале от 0 до 100, где 0 — худшее значение, а 100 — лучшее.

В-третьих, это база данных экологических протестов в российских регионах, созданная на основе сообщений о протестных акциях на портале Activatica.org. Она содержит информацию о 1403 экологических акциях за 2017–2023 годы. Единицей наблюдения выступает число протестов в определенном регионе за каждый год.

В качестве еще одной независимой переменной мы используем *индекс Джини* для измерения регионального неравенства (где 0 — максимальное равенство, а 1 — максимальное неравенство). Данные для индекса получены с сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат, 2024).

Контрольными переменными являются *доля городских жителей* (от 0 до 1), *ВРП на душу населения*. Все эти данные мы берем из Росстата.

Для анализа данных применяются модели с фиксированными эффектами российских регионов и стандартными ошибками, кластеризованными на региональном уровне. Мы используем фиксированные эффекты регионов, поскольку между ними существуют постоянные различия (институциональные, культурные и прочие), без учета которых могут получиться смещенные результаты. Мы не добавляем фиксированные эффекты времени, поскольку наша панель хронологически охватывает небольшой период с 2017 по 2023 год, что предполагает неизменность в инструментах грантовой политики за этот период. Мы кластеризуем стандартные ошибки на уровне регионов, чтобы учесть тот факт, что наблюдения в рамках одного региона не полностью независимы. Это позволяет скорректировать меру неопределенности оценок и получить более надежные результаты. Таким образом, использованная в настоящем исследовании модель имеет следующий вид:

$$Y_{it} = \beta_1 \text{Экопрот}_{i,t} + \beta_2 \text{Экопрот}_{i,t-1} + \beta_3 \text{Джинни}_{i,t} + \beta_4 \text{Экоиндекс}_{i,t} + \beta_5 \text{Экоиндекс}_{i,t-1} + \sum_{n=1}^k \beta_n \text{Контроли}_{i,t} + \alpha_i + u_{i,t}$$

где индексы i и t обозначают номер региона и года соответственно; α_i — фиксированные эффекты регионов; $u_{i,t}$ — индивидуальные ошибки.

В следующей секции представлены несколько моделей. Мы проверяем разные зависимые переменные, однако в тексте статьи сообщаем результаты только для размера финансирования в расчете на одну поддержанную заявку. Результаты для размера финансирования в расчете на одну поданную заявку во многом повторяют основные результаты и доступны по запросу. Во-вторых, мы поочередно добавляем разные виды индексов из Национального экологического рейтинга. Все предикторы в модели стандартизированы для сравнимости коэффициентов.

Результаты анализа

Таблица 1 предлагает набор моделей, в которых проверяются ключевые гипотезы о роли экологических протестов, уровнях загрязненности окружающей среды и неравенства в определении суммы финансирования в пересчете на одну поддержанную заявку. Мы оцениваем четыре модели с разными элементами сводного индекса в качестве предикторов и не находим разницы в коэффициентах между этими элементами и сводным индексом.

Таблица 1. Модели с фиксированными эффектами регионов для предсказания финансирования поддержанных заявок

	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5
DV:	Объем средств, выделенных на одну поддержанную заявку (млн руб.)				
Экопротесты (t)	0,59	1,07	1,29	1,01	1,37
	(0,86)	(1,06)	(1,40)	(1,30)	(1,41)
Экопротесты (t-1)	4,86***	4,51**	5,89***	5,04***	5,46***
	(1,38)	(1,32)	(1,21)	(1,09)	(1,17)
Индекс Джини	-17,60***	-15,78**	-12,39*	-12,97**	-12,95**
	(4,71)	(4,65)	(4,72)	(4,91)	(4,84)
% городских жителей	22,01	-7,56	-38,45	-17,55	-29,15
	(22,61)	(23,32)	(31,23)	(29,11)	(29,14)
Население	40,88	68,92	154,88*	127,05*	124,57
	(34,11)	(38,76)	(65,27)	(56,20)	(64,54)
Природоохр. индекс (t)		28,58***			
		(6,45)			
Природоохр. индекс (t-1)		-12,61***			
		(3,29)			
Соц.-экологич. индекс (t)			21,72***		
			(3,57)		

Соц.-экологич. индекс (t-1)			-3,57*		
			(1,69)		
Пром.-экологич. индекс (t)				26,08***	
				(3,42)	
Пром.-экологич. индекс (t-1)				-10,51***	
				(2,50)	
Сводный индекс (t)					19,94***
					(3,16)
Сводный индекс (t-1)					-5,92**
					(1,78)
Num.Obs.	492	492	492	492	492
R2	0,172	0,216	0,259	0,248	0,250
R2 Within	0,036	0,087	0,138	0,125	0,127
AIC	4923,3	4900,5	4872,3	4879,8	4878,3
BIC	5288,6	5274,2	5246,0	5253,4	5252,0
RMSE	30,19	29,38	28,55	28,77	28,73
Кластер. стандартные ошибки	регион	регион	регион	регион	регион
Фикс. эффекты: регион	X	X	X	X	X
Примечание: ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05. Все предикторы стандартизованы для сравнения размера связи. Из набора данных исключена Москва, поскольку столица имеет экстремальные показатели по большинству переменных, а грантовая политика там существенно отличается по масштабам и механизмам.					

Мы интерпретируем Модель 5, поскольку она включает все переменные интереса, в том числе сводный индекс, который суммирует все составные элементы. Наши основные предположения подтверждаются. Во-первых, рост частоты экопротестов влияет на выделение финансирования президентских грантов. Учитывая, что эффект протестов действует с лагом, его можно проинтерпретировать как реакцию властей на экопротестную активность. Так, увеличение числа экопротестов в прошлом году на одно стандартное отклонение связано с увеличением финансирования в расчете на одну поддержанную заявку на 5,5 млн рублей в текущем году. Иными словами, власти реагируют «рублем» на недовольство граждан экологической ситуацией.

Во-вторых, определенную роль играет и тяжесть экологических проблем региона, выраженная в Национальном экологическом рейтинге. Здесь результаты менее очевидны. Ухудшение позиции региона в предшествующий период влечет к увеличению финансирования заявок. Увеличение значения сводного рейтинга в прошлом году на одно стандартное отклонение связано с уменьшением финансирования в расчете на одну заявку на 6 млн руб. в текущем году. Однако

коэффициент при текущем значении индекса показывает иное: знак меняется при сохранении значимости. Иными словами, улучшение позиции региона в нынешнем году на одно стандартное отклонение связано с увеличением финансирования в расчете на одну поддержанную заявку приблизительно на 20 млн. Возникает ситуация, при которой власти «поддерживают» заявки в «грязных» регионах на основании экологических результатов прошлого периода, но значительная часть поддержки идет «чистым» регионам в текущем периоде. Это может отражать диверсификацию стратегий властей при оценке качества экологии в регионе.

В-третьих, мы предполагали, что существенное влияние на распределение финансирования будет оказывать региональное неравенство. Коэффициент Джини во всех моделях значим, однако с иным знаком: чем больше равенство доходов, тем выше размер финансирования заявок. Увеличение значения индекса Джини на одно стандартное отклонение со временем уменьшает финансирование для региона на 13 млн рублей. Однако стоит отметить, что самый высокий уровень неравенства отмечается в самых богатых регионах (ЯНАО, Тюменская обл., Москва, Чукотский АО, Республика Саха (Якутия), Краснодарский край), а самый низкий — в относительно бедных (Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Еврейская АО и др.). В каком-то отношении это наблюдение парадоксально и требует дальнейшего изучения, но уже в иных работах. Не настаивая на генерализации такого заключения, мы тем не менее выводим эту связь в рамках данной статьи. Отметим, что включение показателя дохода (ВРП на душу населения ни в одной модели не было значимым). Таким образом, низкий уровень неравенства часто связан с бедностью. Чем ниже неравенство (и выше бедность), тем больше увеличение финансирования заявок. Это косвенным образом подтверждает наше предположение о том, что экопротесты часто являются проявлением социально-экономического недовольства в неблагополучных регионах. Власти используют финансирование заявок как «пряник» для смягчения ситуации.

Чтобы проверить предположение о том, что грантовая политика наиболее применима в регионах с меньшим уровнем неравенства, мы включаем интерактивный эффект числа протестов и индекса Джини. Таблица 2 суммирует результаты для такой спецификации модели со сводным индексом в качестве предиктора.

Интерактивный эффект предполагает более сложную картину грантовой политики во времени: положительный эффект частоты экопротестов в прошлом году уменьшается при увеличении индекса Джини. Это может говорить о том, что в регионах с наименьшим уровнем неравенства и, соответственно, большей бедностью мотивированная сдерживанием протестного потенциала логика перераспределения сводится на нет. В то же время в регионах, где уровень неравенства высок, эффект экопротестов сохраняется.

Таблица 2. Модель с фиксированными эффектами регионов для предсказания финансирования поддержанных заявок с помощью интерактивного эффекта индекса Джини и экопротестов

DV:	Модель с интерактивным эффектом
	Объем средств, выделенных на одну поддержанную заявку (млн руб.)
Экопротесты (t)	2,33
	(4,09)
Экопротесты (t-1)	10,09***
	(1,81)
Индекс Джини	-14,51**
	(4,80)
Экопротесты (t) × индекс Джини	-0,13
	(5,11)
Экопротесты (t-1) × индекс Джини	-13,73***
	(3,76)
Num.Obs.	492
R ²	0,261
R ² Within	0,140
AIC	4874,9
BIC	5256,9
RMSE	28,51
Кластер. стандартные ошибки	регион
Фикс. эффекты: регион	X
Вектор контролей	X
Примечание: ***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05.	

В целом по результатам анализа наши основные гипотезы и предположения нашли свое подтверждение. Распределение президентских грантов между региональными заявками подчиняется в том числе и логике региональной экологической политики: власти купируют будущие экопротесты на основании информации о прошлых, в том числе при учете уровня загрязнения региона и уровня социально-экономического развития. Далее мы иллюстрируем наши основные аргументы на основе кейса Свердловской области.

Кейс Свердловской области

Свердловская область, и в особенности ее столица — Екатеринбург, обладают репутацией одного из наиболее протестно активных российских регионов (Семенов, Минаева, 2021; Белоусов, Давыдов, 2021). Согласно имеющимся данным из базы проекта «Активатика», в период с 2019 по 2023 год в Свердловской области про-

изошло более 60 акций протеста, связанных с локальными экологическими проблемами. Для региона характерен устойчивый интерес общества к экологической тематике. Другой отличительной характеристикой Свердловской области является высокая доля положительных исходов в экопротестах: 58% протестных инициатив, связанных с экологическими проблемами в регионе и защитой окружающей среды, завершились победой протестных гражданских коалиций в период с 2006 по 2021 год (Белоусов, Давыдов, 2021: 374).

Как видно из построенного нами графика распределения количества экологических акций в Свердловской области и финансирования президентских грантов в области экологии и защиты окружающей среды в период с 2017 по 2023 год, протестная активность в регионе носит волновой характер с тенденцией постепенного увеличения числа акций. Наиболее интенсивные экопротесты происходили в 2019 (акции протеста в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра), 2021 и 2023 годах (серия протестных акций против строительства нового мусорного полигона в Свердловской области). При этом динамика грантового финансирования проектов в области экологии и защиты окружающей среды демонстрирует умеренный пропорциональный рост начиная с 2020 года (рис. 1).

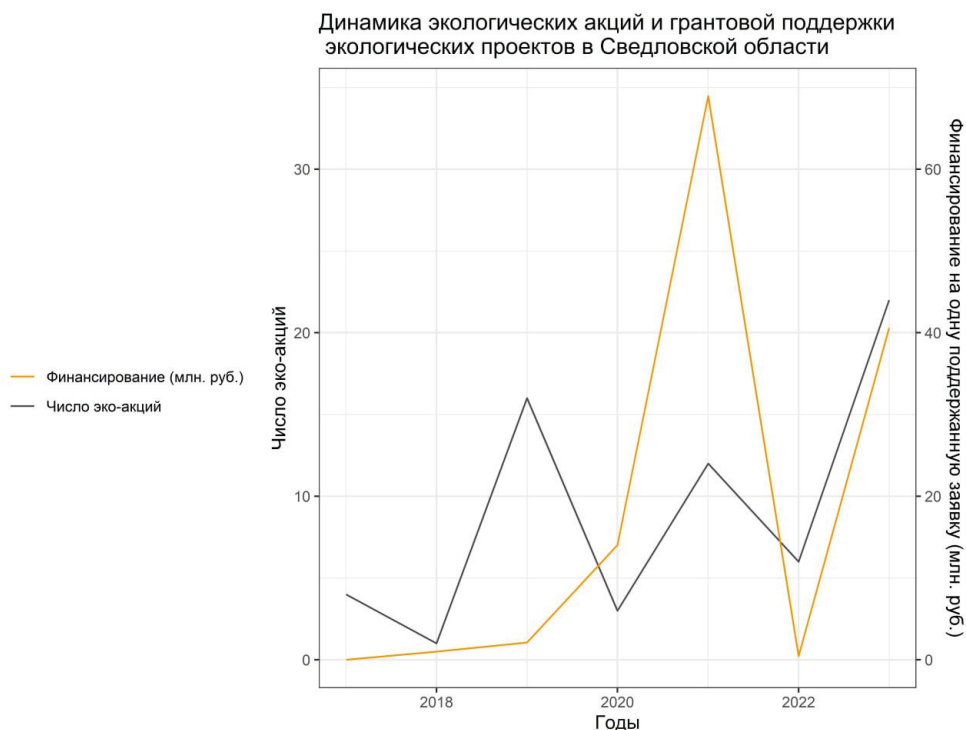


Рис. 1. Динамика экологических акций и грантовой поддержки экологических проектов в Свердловской области

Далее мы более детально рассмотрим, как изменялась протестная динамика в Свердловской области и какие экологические проекты чаще всего находили поддержку со стороны региональных и федеральных властей.

Фонд президентских грантов начал свою работу в 2017 году. Дважды в год Фонд объявляет победителей конкурса грантовой поддержки проектов по 14 тематическим направлениям, в том числе и в категории «Охрана окружающей среды и защита животных». Как видно из таблицы 3, в целом доля отклоненных заявок от Свердловской области выше среднего значения по всем российским регионам в период с 2017 по 2023 год: 73,3% отклоненных, 26,7% одобренных (Щербак, Зубарев, Семушкина, 2024).

Таблица 3. Распределение экологических проектов, поданных от Свердловской области, по годам

Год	Поддержан ли проект		Всего
	Нет	Да	
2018	8 (80%)	2 (20%)	10
2019	8 (80%)	2 (20%)	10
2020	22 (78,57%)	6 (21,43%)	28
2021	15 (93,75%)	1 (6,25%)	16
2022	17 (77,27%)	5 (22,73%)	22
2023	15 (93,75%)	1 (6,25%)	16
Всего	85 (83,33%)	17 (16,67%)	102

Чаще всего заявки подавались по тематикам «зоозащита» (35 заявок, из которых одобрено 9), «экопросвещение» (30 заявок, из которых одобрено 4) и «благоустройство территории» (11 заявок, из которых одобрено 2). Другими менее популярными были «экомероприятия», «экоисследования», «лесоводство», «водообеспечение», «переработка мусора», «экотуризм».

Примечательно, что среди поданных заявок лишь несколько соответствуют наиболее конфликтным экотемам для Свердловской области и Екатеринбурга — защита парков и скверов, переработка мусора и захоронение отходов, загрязнение водоемов. Например, в 2018 году Фонд президентских грантов одобрил заявку проекта «За чистую Патрушиху» (Фонд президентских грантов, 2018), поданную ТОС «Академический» при поддержке Комитета по экологии и природопользованию города Екатеринбурга. Целью проекта было создание видеокарты городского водоема и привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения реки Патрушихи. Ранее река Патрушиха уже становилась местом экологических инцидентов (Экология производства, 2006). Однако это не вызывало массовых протестов жителей близлежащего микрорайона: напротив, местные активисты самостоятельно организовывали и участвовали в акциях по очистке прибрежной территории реки (Информационный портал Екатеринбурга, 2010; ТОС Академический, 2018).

В 2020 году сразу четыре экологических проекта из города Первоуральска Свердловской области получили поддержку Фонда президентских грантов (Городской округ Первоуральск, 2020). Проекты «Чистая Чусовая России» (Общественное волонтерское движение «Город первых») (Фонд президентских грантов, 2020) и «Доступная вода» (Благотворительный фонд местного сообщества «Первоуральск — 21 век») (Фонд президентских грантов, 2020) были направлены на очистку реки Чусовая и городских родников Первоуральска, «Хранители троп Урала» (Фонд президентских грантов, 2020) — на благоустройство прибрежной территории реки Чусовая и организации там экотропы. Также вклад в софинансирование экологических проектов внесло одно из крупнейших предприятий Первоуральска — Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), к которому относится волонтерское движение «Город первых» (ТАСС, 2020) и который является одним из учредителей Фонда местного сообщества «Первоуральск — 21 век» (Благотворительный фонд «Первоуральск — 21 век» п. д.). Стоит отметить, что в последние десять лет в Первоуральске и прилегающим к городу территориям не было зафиксировано значимых протестных акций, посвященных локальным экологическим проблемам. Однако в 2015 году министерство инвестиций и развития Свердловской области объявило о планах развития в данной зоне экотуристического кластера (Официальный сайт правительства Свердловской области, 2015).

Наиболее интенсивные акции протеста в Свердловской области проходили в Екатеринбурге и его агломерациях, а также в нескольких муниципальных образованиях — городах Красноуфимск, Верхняя Пышма и Сысерть. Заметными акциями протеста в Екатеринбурге стали конфликты вокруг постройки в сквере у Драмтеатра храма Святой Екатерины (Маклакова, 2020), уничтожения зеленых насаждений в парке 50-летия ВЛКСМ (Румянцев, 2023) и Московском лесопарке (Рощин, 2021). Тем не менее за рассматриваемый период в Фонд президентских грантов поступило всего две заявки, которые затрагивают проблему сохранения зеленых насаждений, но не в Екатеринбурге, а в области. «Фестиваль ДубФест» (Фонд по сохранению и восстановлению лесов «Лесное наследие»), целью которого было восстановление дубовых лесов в Свердловской области (Фонд президентских грантов, 2020), и «Проект по сохранению и восстановлению лесов “Расти лес”» (Фонд по сохранению и восстановлению лесов «Лесное наследие») (Фонд президентских грантов, 2022), направленный на популяризацию лесотехнических специальностей среди молодежи.

На уровне Екатеринбурга чаще подавались (и получали поддержку Фонда) проекты, связанные с защитой животных, а также массовые экопросветительские мероприятия. Например, в 2024 году грантовую поддержку Фонда получил проект «Братства православных следопытов», направленного на обучение подростков «правилам безопасности с помощью скаутского метода» (Екатеринбургская епархия, 2024).

Серия экологических протестов в городе Сысерти против строительства мусороперерабатывающего завода — еще один региональный сюжет, вышедший

на федеральный уровень. Проблема утилизации и переработки мусора является серьезным вызовом для региональных властей уже в течение нескольких лет. Одним из возможных вариантов размещения нового мусорного полигона стала площадка рядом с городом Сысерть, что вызвало массовое недовольство среди жителей города и близлежащих поселений (Кошек, Румянцев, 2023). Случай Сысерти выделяется на фоне остальных локальных протестов в Свердловской области: в данном городе находится креативный кластер «На заводе», являющийся важным арт-пространством и местом сбора экспертов и любителей современного искусства со всей страны. Начиная с 2020 года летом в Сысерти на территории арт-пространства проводится фестиваль «Лето на Заводе». Основным спонсором фестиваля несколько лет являлся Фонд президентских грантов, однако в 2024 году команде фестиваля не удалось получить федеральное финансирование для проведения мероприятия (Крылова, 2024).

Мы интерпретируем данную ситуацию следующим образом. С одной стороны, на уровне отдельных проектов не складывается впечатление, что поддержка инициатив носит реактивный характер в зависимости от экопротестов. С другой — в рамках региональной экологической политики поддержка носит «валовый», а не точечный характер — ресурсы направляются не на решение самых острых проблем (возможно, чтобы не усиливать «шантажный потенциал» протестующих), а на решение экологических проблем вообще с переносом акцентов на те сюжеты, которые кажутся властям более актуальными и перспективными. Именно так можно описать данный инструмент кооптации экологов на местном уровне.

Заключение

В данной работе мы предприняли попытку показать, что за распределением президентских грантов на экологические инициативы стоит определенная политическая логика. Ее суть можно понять, если использовать понятие «региональная экологическая политика». Региональные власти испытывают давление со стороны экопротестующих и вынуждены на них реагировать. Как бы местные экологов ни старались представить свои требования и действия «неполитическими», власти рассматривают их как политическое действие. Особенно памятен многим опыт «зеленого движения» эпохи перестройки. Не отказываясь от использования «кнутов», власти активно используют и методы «пряника», прибегая к кооптации лояльных экологов. Для этих целей активно применяется финансирование поддержки экологических инициатив. Именно таким образом мы предлагаем интерпретировать распределение президентских грантов на поддержку экологических проектов. Сразу оговоримся, что мы не настаиваем, что президентские гранты распределяются только исходя из политических соображений, к тому же большинство работ по данной тематике отвергает данный тезис (Laruelle, 2020; Skokova, Frohlich, 2020).

Результаты нашего анализа показывают, что на распределение грантов влияют частота экопротестов, динамика экологического рейтинга региона и социально-экономическая ситуация в регионе. Иными словами, играет роль констелляция различных предположений на уровне власти: и реакция на волны протестов, и представление о динамике развития экологической ситуации, и понимание того, что стоит избегать поводов для недовольства на низовом уровне.

В каком-то смысле это своего рода парадокс, на котором основана региональная экологическая политика. Чем больше эооактивисты опротестовывают решения властей, считая их «неполитическим» действием для решения «неполитических» проблем, тем больше для властей вопросы экологии становятся частью внутренней политики. Кооптация части активистов в определенном смысле легитимирует их требования, делая, таким образом, экологию заметным элементом внутренней политической повестки. Другой важный вывод заключается в том, что российская региональная политика остается относительно конкурентной: тезис о преобладании силовых механизмов разрешения конфликтов стоит считать избыточным, так как механизмы кооптации продолжают играть столь важную роль. Кейс Свердловской области уточняет наш тезис: поддержка эооинициатив грантами носит волновой характер, не фокусируясь исключительно на тех проблемах, что вызывали протесты. Экологическая политика не решает вопрос расширения узких мест, а стремится изменить повестку. Это дает основания полагать, что «зеленая повестка» становится важным элементом российской общественно-политической жизни, причем не только как policy, но и как politics.

Источники

- Благотворительный фонд «Первоуральск — 21 век» (n. d.). URL: <http://f21vek.ru/struktura-fonda/organy-upravleniya> (дата доступа: 25.06.2024)
- Городской округ Первоуральск (2020). Сразу 4 первоуральские организации получили президентские гранты. URL: <https://prvadm.ru/novosti/srazu-4-pervouralskie-organizacii-poluchili-prezidentskie-granty/> (дата доступа: 25.06.2024)
- Екатеринбургская епархия (2024). Победителями конкурса Фонда президентских грантов стали уральские отряды Братства православных следопытов. URL: <https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2024/06/14/140386/> (дата доступа: 26.06.2024)
- Информационный портал Екатеринбурга (2010). Активисты привели в порядок популярное место отдыха у реки Патрушихи. URL: <https://www.ekb.org.ru/news/2/18325-aktivisty-priveli-v-poryadok-populyarnoe-mesto-otdykha-u-reki-patrushikhi> (дата доступа: 25.06.2024).
- Кошек Е., Румянцев Д. (2023). Под Екатеринбургом бунтующие жители прижали мэра к стене из-за полигона. URL: <https://www.e1.ru/text/ecology/2023/10/05/72778946/> (дата доступа: 26.06.2024)

- Крылова Е. (2024). Фестиваль «Лето на Заводе» в Сысерти остался без президентского гранта. URL: <https://ura.news/news/1052723421> (дата доступа: 26.06.2024)
- Маклакова О. (2020). «Скверу» — год. Как сегодня главные участники событий вспоминают стояние на Дrame. URL: <https://www.e1.ru/text/gorod/2020/05/13/69255265/> (дата доступа: 26.06.2024)
- Официальный сайт правительства Свердловской области (2015). Новый туристский кластер «Река Чусовая» объединит пять муниципалитетов Свердловской области. URL: <https://midural.ru/news/munitsipal/page1/document74972/> (дата доступа: 25.06.2024)
- Росстат (2024). Неравенство и бедность. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13723> (дата доступа: 26.06.2024)
- Роцин И. (2021). Одиночные пикеты в защиту Московского лесопарка проходят в Екатеринбургe. URL: <https://eburg.mk.ru/social/2021/01/03/odinochnye-pikety-v-zashhitu-moskovskogo-lesoparka-prokhodyat-v-ekaterinburge.html> (дата доступа: 26.06.2024)
- Румянцев Д. (2023). Жители Екатеринбурга (и их собаки) взбунтовались против застройки парка на Юго-Западе. URL: <https://www.e1.ru/text/gorod/2023/11/11/72904730/> (дата доступа: 26.06.2024)
- ТАСС (2020). «Чистая Чусовая России»: экологическая акция движения «Город Первых». URL: <https://tass.ru/press/10663> (дата доступа: 25.06.2024)
- ТОС Академический (2018). За чистую Патрушиху. URL: https://akademtoss.ru/news/za_chistuju_patrushikhu/2018-06-30-167 (дата доступа: 25.06.2024)
- Фонд президентских грантов (2018). За чистую Патрушиху. URL: <https://xn--80afcdbalict6afooklqi50.xn--p1ai/public/application/item?id=B4723121-FC91-480B-939E-C7516CFB3AE8> (дата доступа: 25.06.2024)
- Фонд президентских грантов (2020). Доступная вода. URL: <https://xn--80afcdbalict6afooklqi50.xn--p1ai/public/application/item?id=C798E309-243E-4D2D-8C12-FCDE088FBC08> (дата доступа: 25.06.2024)
- Фонд президентских грантов (2020). Фестиваль ДубФест. URL: <https://xn--80afcdbalict6afooklqi50.xn--p1ai/public/application/item?id=A5C47755-1C93-4D5A-8B36-63B2D58EBF33&ysclid=lxxkprjqw6k332767407> (дата доступа: 26.06.2024)
- Фонд президентских грантов (2020). Хранители троп Урала. URL: <https://xn--80afcdbalict6afooklqi50.xn--p1ai/public/application/item?id=C53B1357-8CBV-4BB2-B722-EEAB74EB460D> (дата доступа: 25.06.2024)
- Фонд президентских грантов (2020). Чистая Чусовая России. URL: <https://xn--80afcdbalict6afooklqi50.xn--p1ai/public/application/item?id=21BB468C-5F20-4BB6-89E6-8EA10535517C> (дата доступа: 25.06.2024)
- Фонд президентских грантов (2022). Проект по сохранению и восстановлению лесов «Расти лес». URL: <https://xn--80afcdbalict6afooklqi50.xn--p1ai/public/application/item?id=f7a25909-f5a8-465d-9cd2-be4403c87a05> (дата доступа: 26.06.2024)

- Фонд президентских грантов (n. d.). URL: <https://президентскиегранты.рф> (дата доступа: 26.06.2024)
- Экология производства (2006). На берегу реки Патрушихи в Екатеринбурге обнаружены слои мазута. URL: <https://www.ecoindustry.ru/news/view/11901.html> (дата доступа: 25.06.2024)

Литература

- Аксенова О. В. (2006). Социально-экологические последствия политического реформирования: от централизации к локализации экологической политики России // Россия реформирующаяся. № 5. С. 296–320.
- Белоусов А. Б., Давыдов Д. А. (2021). От права на город к праву на пространство. Динамика муниципальных конфликтов на примере Свердловской области // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 6. С. 362–385.
- Бронников И. А., Белоусов Г. Ф., Горбачев М. В. (2021). Факторы формирования и развития региональных экологических протестных движений в современной России // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. № 59. С. 214–223.
- Ермолаева П. О., Башева О. А., Корунова В. О. (2021). Экологическая политика и гражданское участие в российских мегаполисах: достижения и вызовы с позиции городских стейкхолдеров // Журнал исследований социальной политики. Т. 19. № 2. С. 301–314.
- Климова А. М., Куликов С. П., Чмель К. Ш. (2021). Роль социальных медиа в формировании регионального экологического протеста в России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 6. С. 28–52.
- Лапин Н. И. (2016). Реалии российской модернизации и ее стратегическое планирование // Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы / Н. И. Лапин (ред.). М.: Весь Мир. С. 295–322.
- Нестик Т. А., Задорин И. В. (2020). Отношение россиян к глобальным рискам: социально-демографические и психологические факторы восприятия угроз // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 5. С. 4–28.
- Семенов А. В. (2019). Корни травы: паттерны низовой городской мобилизации в России // Социологические исследования. № 12. С. 29–37.
- Семенов А. В. (2018). Протестная активность россиян в 2012–2013 гг. // Социологические исследования. № 11. С. 53–63.
- Семенов А. В., Минаева Э. Ю. (2021). Города расходящихся улиц: Развитие городских конфликтов в России 2010-х // Журнал исследований социальной политики. № 2. С. 189–204.

- Смирнов В. А. (2020). Эффективность грантовой поддержки российских социально ориентированных некоммерческих организаций (на примере Фонда президентских грантов) // Социологические исследования. № 9. С. 79–89.
- Тулаева С. А., Немировская А. В. (2024). «Хватит гадить нашу землю»: региональная идентичность и экологическая мобилизация в российских регионах // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 27. № 1. С. 216–246.
- Тулаева С., Снарский Я. (2022). Зеленый национализм в сырьевом государстве: экологическая повестка и национальная идентичность в российских регионах // *Laboratorium: Журнал социальных исследований*. № 3. С. 4–33.
- Туровец М. В. (2014). Противостояние деполитизации: движение против добычи никеля в Воронежской области // Политика аполитичных. Гражданские движения в России 2011–13 гг. / С. В. Ерпылева, А. В. Магун (ред.). М.: Новое литературное обозрение. С. 351–385.
- Турцева К. П. (2022). Векторы разработки региональной экологической политики в России: анализ государственных программ // Вестник Пермского университета. Серия: Политология. Т. 16. № 3. С. 27–40.
- Турцева К. П. (2021). Стейкхолдеры региональной экологической политики в России // *Ars Administrandi*. Т. 13. № 3. С. 309–334.
- Цепилова О. Д., Гольбрайх В. Б. (2020). Экологический активизм: Мобилизация ресурсов «мусорных» протестов в России в 2018–2020 гг. // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 23. № 4. С. 136–162.
- Чмель К. Ш., Климова А. М., Митрохина Е. М. (2020). Политизация экологического дискурса в Архангельской области на примере строительства мусорного полигона около станции Шиес // Журнал исследований социальной политики. Т. 18. № 1. С. 83–98.
- Шварц Е. А., Книжников А. Ю. (2012). Экологический императив, экологическая политика России 2000-х и конкурентоспособность экономики // Общественные науки и современность. № 4. С. 24–38.
- Шойкин А. Д. (2021). Оценка проектов экологической направленности, поддержанных Фондом президентских грантов в 2020–2021 гг. // Состояние и перспективы развития современной науки и образования. С. 191–199.
- Яницкий О. Н. (2005). Экологическая культура России XX века: очерк социокультурной динамики // История и современность. № 1. С. 136–161.
- Яницкий О. Н. (2002). Экологический риск и его политическая интерпретация // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 5. № 1. С. 26–42.
- Яницкий О. Н. (2011). Экомодернизация России: теория, практика, перспектива. М.: Институт социологии РАН.
- Clardie J. (2022). Protests in Russia's regions: The influence of regional governance // *Social Science Quarterly*. Vol. 103. № 1. P. 5–17.
- Demchuk A. L., Mišić M., Obydenkova A., Tosun J. (2022). Environmental conflict management: a comparative cross-cultural perspective of China and Russia // *Post-Communist Economies*. Vol. 34. № 7. P. 871–893.

- Evans A. D.* (2016). Protest patterns in provincial Russia: a paired comparison of company towns // *Studies in Comparative International Development*. Vol. 51. P. 456-481.
- Göbel C.* (2021). The political logic of protest repression in China // *Journal of Contemporary China*. Vol. 30. № 128. P. 169-185.
- Henry L., Plantan E.* (2022). Activism in exile: how Russian environmentalists maintain voice after exit // *Post-Soviet Affairs*. Vol. 38. № 4. P. 274-292.
- Kuzmina Y.* (2022). "The Defenders of Shiyes": Traditionalism as a mobilisation resource in a Russian protest camp // *East European Politics*. Vol. 39. № 2. P. 1-21.
- Laruelle M., Howells L.* (2020). Ideological or Pragmatic? A Data-Driven Analysis of the Russian Presidential Grant Fund // *Russian Politics*. Vol. 5. № 1. P. 29-51.
- Obydenkova A.* (2022). Environmental regionalism and international organizations: implications for post-communism // *Problems of Post-Communism*. Vol. 69. № 4-5. P. 293-303.
- Plantan E.* (2018). Mass mobilization in China and Russia: From unexpected victories to unintended consequences // *Russian Politics*. Vol. 3. № 4. P. 513-547.
- Semenov A.* (2020). Electoral performance and mobilization of opposition parties in Russia // *Russian politics*. Vol. 5. № 2. P. 236-254.
- Skokova Y., Fröhlich C.* (2022). Domestic funding for civil society in a non-democratic context: the example of the Presidential Grants in Russia // *Resourceful civil society: Navigating the changing landscapes of civil society organizations* / Z. Kravchenko, L. Kings, K. Jezierska (eds.). Cham: Springer International Publishing. P. 67-91.
- Wang C., Keith D.* (2020). The greening of European radical left parties: red and green politics // *Journal of contemporary European studies*. Vol. 28. № 4. P. 494-513.
- Wu F., Martus E.* (2021). Contested environmentalism: the politics of waste in China and Russia // *Environmental Politics*. Vol. 30. № 4. P. 493-512.

"Green Carrots?" Distribution of Presidential Grants for Environmental Initiatives in 2017-23 as an Element of Regional Environmental Politics

Andrey Shcherbak

Candidate of Political Science, Deputy Head, Laboratory for Comparative Social Research, HSE University
Address: 55-2 Sedova str., Saint Petersburg, 192171 Russian Federation
E-mail: ascherbak@hse.ru

Yaroslav Snarski

Research Assistant, Laboratory for Comparative Social Research, HSE University
Address: 55-2 Sedova str., Saint Petersburg, 192171 Russian Federation
E-mail: yaasnarskiy@edu.hse.ru

Nikita Zubarev

Research Assistant, Laboratory for Comparative Social Research, HSE University
Address: 55-2 Sedova str., Saint Petersburg, 192171 Russian Federation
E-mail: nzubarev@hse.ru

Ekaterina Semushkina

Senior Lecturer, Department of Political Science and International Relations, HSE University

Address: Griboyedova Canal Emb., 123, Saint Petersburg, Russian Federation 190068

E-mail: esemushkina@hse.ru

This article aims to identify factors associated with the distribution of Presidential grants for environmental initiatives in 2017-23. The main objective is to check if there is a presence of political logic in supporting regional eco-initiatives. While previous studies considered environmental conflicts, as a rule, on the part of eco-activists, in this paper we focus to a greater extent on studying the strategy of the authorities. For this purpose, we propose using the concept of regional environmental politics. Assuming that the key point for the authorities is an attempt to reduce eco-protest activity, we proceed from the fact that the authorities seek to use not only the “stick”, meaning forceful strategies for combating protests, but also the “carrot”, or strategies for co-opting eco-activists. In this model, the distribution of grants to support environmental initiatives is considered as a reaction to the nature of environmental problems and conflicts. We test three main hypotheses about the logic of project support: a reaction to the deterioration of the environmental situation in the region, a reaction to the frequency of eco-protests, and a reaction to inequality, which contributes to protest sentiments in general. We rely on several sources of empirical data. First, we use data on the distribution of Presidential grants to eco-NGOs. Second, we use a large-scale database on eco-protests. Third, we use data from the National Ecological Rating of Russian regions. Fixed-effects models show that the distribution of presidential grants follows both eco-protests and the deterioration of the environmental situation in the regions. In addition, the distribution of grants is affected by low inequality, which in Russia is typically characteristic of poor regions. We also illustrate our arguments through the example of the Sverdlovsk region, which indicates a “gross” rather than individually based nature of support for environmental initiatives.

Keywords: environmental politics, environmental conflicts, environmental protests, Presidential grants, regional politics, inequality

References

- Aksenova O.V. (2006) Socialno-ekologicheskies posledstviya politicheskogo reformirovaniya: ot centralizatsii k lokalizatsii ekologicheskoy politiki Rossii. [Socio-environmental consequences of political reform: from centralization to localization of Russia's environmental policy]. *Rossiya reformiruyushchayasya*, no 5, pp. 296–320.
- Belousov A.B., Davydov D.A. (2021) Ot prava na gorod k pravu na prostranstvo. Dinamika munitsipalnykh konfliktov na primere Sverdlovskoy oblasti. [From the Right to the City to the Right to Space. Dynamics of Municipal Conflicts Using the Example of Sverdlovsk Region]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i sotsialnye peremeny*, no 6, pp. 362–385.
- Bronnikov I.A., Belousov G.F., Gorbachev M.V. (2021) Faktory formirovaniya i razvitiya regionalnykh ekologicheskikh protestnykh dvizheniy v sovremennoy Rossii. [Factors of Formation and Development of Regional Environmental Protest Movements in Contemporary Russia]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*, no 59, pp. 214–223.
- Chmel K. S., Klimova A. M., Mitrokhina E. M. (2020) Politizatsiya ekologicheskogo diskursa v Arkhangel'skoy oblasti na primere stroitelstva musornogo poligona okolo stantsii Shies. [Politicization of Environmental Discourse in Arkhangel'sk Region: A Case Study of the Construction of a Landfill near Shies Station]. *Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki*, vol. 18, no 1, pp. 83–98.
- Chmel K. S., Klimova A. M., Mitrokhina E. M. (2020) Politizatsiya ekologicheskogo diskursa v Arkhangel'skoy oblasti na primere stroitelstva musornogo poligona okolo stantsii Shies. [Politicization of Environmental Discourse in Arkhangel'sk Region: A Case Study of the Construction of a Landfill near Shies Station]. *Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki*, vol. 18, no 1, pp. 83–98.

- Clardie J. (2022) Protests in Russia's regions: The influence of regional governance. *Social Science Quarterly*, vol. 103, no 1, pp. 5-17.
- Demchuk A. L., Mišić M., Obydenkova A., Tosun J. (2022) Environmental conflict management: a comparative cross-cultural perspective of China and Russia. *Post-Communist Economies*, vol. 34, no 7, pp. 871-893.
- Ermolaeva P. O., Basheva O. A., Korunova V. O. (2021) Ekologicheskaya politika i grazhdanskoe uchastie v rossiyskikh megapolislakh: dostizheniya i vyzovy s pozitsii gorodskikh steykholderov. [Environmental Policy and Civic Participation in Russian Megacities: Achievements and Challenges from the Perspective of Urban Stakeholders]. *Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki*, vol. 19, no 2, pp. 301-314.
- Evans A. D. (2016) Protest patterns in provincial Russia: a paired comparison of company towns. *Studies in Comparative International Development*, vol. 51, pp. 456-481.
- Göbel C. (2021) The political logic of protest repression in China. *Journal of Contemporary China*, vol. 30, no 128, pp. 169-185.
- Henry L., Plantan E. (2022) Activism in exile: how Russian environmentalists maintain voice after exit. *Post-Soviet Affairs*, vol. 38, no 4, pp. 274-292.
- Klimova A. M., Kulikov S. P., Chmel K. Sh. (2021) Rol sotsialnykh media v formirovaniy regionalnogo ekologicheskogo protesta v Rossii. [The Role of Social Media in the Formation of Regional Environmental Protests in Russia]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsialnye peremeny*, no 6, pp. 28-52.
- Kuzmina Y. (2022) "The Defenders of Shiyes": Traditionalism as a mobilisation resource in a Russian protest camp. *East European Politics*, vol. 39, no 2, pp. 1-21.
- Lapin N. I. (2016) Realii rossiyskoy modernizatsii i ee strategicheskoe planirovanie [Realities of Russian Modernization and Its Strategic Planning]. *Atlas modernizatsii Rossii i ee regionov: sotsioekonomicheskie i sotsiokulturnye tendentsii i problem* [Atlas of Modernization of Russia and Its Regions: Socioeconomic and Sociocultural Trends and Issues]. (Eds. N. I. Lapin), Moscow: Ves Mir, pp 295-322.
- Laruelle M., Howells L. (2020) Ideological or Pragmatic? A Data-Driven Analysis of the Russian Presidential Grant Fund. *Russian Politics*, vol. 5, no 1, pp. 29-51.
- Nestik T. A., Zadorin I. V. (2020) Otnoshenie rossiyan k globalnym riskam: sotsialno-demograficheskie i psikhologicheskie faktory vospriyatiya ugroz. [Russians' Attitudes Towards Global Risks: Socio-demographic and Psychological Factors of Threat Perception]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsialnye peremeny*, no 5, pp. 4-28.
- Obydenkova A. (2022) Environmental regionalism and international organizations: implications for post-communism. *Problems of Post-Communism*, vol. 69, no 4-5, pp. 293-303.
- Plantan E. (2018) Mass mobilization in China and Russia: From unexpected victories to unintended consequences. *Russian Politics*, vol. 3, no 4, pp. 513-547.
- Semenov A. (2020) Electoral performance and mobilization of opposition parties in Russia. *Russian politics*, vol. 5, no 2, pp. 236-254.
- Semenov A. V. (2018) Protestnaya aktivnost rossiyan v 2012–2013 gg. [Protest Activity of Russians in 2012–2013]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, no 11, pp. 53–63.
- Semenov A. V. (2019) Kornii travy: patterny nizovoy gorodskoy mobilizatsii v Rossii. [Grassroots: Patterns of Grassroots Urban Mobilization in Russia]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, no 12, pp. 29–37.
- Semenov A. V., Minaeva E. Yu. (2021) Goroda raskhodyashchikhsya ulits: Razvitie gorodskikh konfliktov v Rossii 2010-kh. [Cities of Diverging Streets: Development of Urban Conflicts in Russia in the 2010s]. *Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki*, no 2, pp. 189–204.
- Shoykin A. D. (2021) Otsenka proektov ekologicheskoy napravlenosti, podderzhannykh fondom prezidentskikh grantov v 2020–2021 gg. [Assessment of Environmental Projects Supported by the Presidential Grants Fund in 2020–2021]. *Sostoyanie i perspektivy razvitiya sovremennoy nauki i obrazovaniya*, pp. 191–199.
- Shvarts E. A., Knizhnikov A. Yu. (2012) Ekologicheskii imperativ, ekologicheskaya politika Rossii 2000-kh i konkurentosposobnost ekonomiki. [Environmental Imperative, Russia's Environmental Policy in the 2000s, and Economic Competitiveness]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost*, no 4, pp. 24–38.

- Skokova Y., Fröhlich C. (2022) Domestic funding for civil society in a non-democratic context: the example of the Presidential Grants in Russia. *Resourceful civil society: Navigating the changing landscapes of civil society organizations*. (Eds. Z. Kravchenko, L. Kings, K. Jezierska), Cham: Springer International Publishing, pp. 67–91.
- Smirnov V. A. (2020) Effektivnost grantovoy podderzhki rossiyskikh sotsialno-orientirovannykh nekommercheskikh organizatsiy (na primere Fonda prezidentskikh grantov). [The Effectiveness of Grant Support for Russian Socially-Oriented Non-Profit Organizations (Based on the Example of the Presidential Grants Foundation)]. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, no 9, pp. 79–89.
- Tsepilova O. D., Gol'braikh V. B. (2020) Ekologicheskiy aktivizm: Mobilizatsiya resursov "musornykh" protestov v Rossii v 2018–2020 gg. [Environmental Activism: Mobilization of Resources in "Trash" Protests in Russia in 2018–2020]. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii*, vol. 23, no 4, pp. 136–162.
- Tsepilova O. D., Gol'braikh V. B. (2020) Ekologicheskiy aktivizm: Mobilizatsiya resursov "musornykh" protestov v Rossii v 2018–2020 gg. [Environmental Activism: Mobilization of Resources in "Trash" Protests in Russia in 2018–2020]. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii*, vol. 23, no 4, pp. 136–162.
- Tulaeva S. A., Nemirovskaya A. V. (2024) "Khvatit gadit nashu zemlyu": regionalnaya identichnost i ekologicheskaya mobilizatsiya v rossiyskikh regionakh. ["Stop Polluting Our Land": Regional Identity and Environmental Mobilization in Russian Regions]. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii*, vol. 27, no 1, pp. 216–246.
- Tulaeva S., Snarsky Ya. (2022) Zelenyy natsionalizm v syrevom gosudarstve: ekologicheskaya povestka i natsionalnaya identichnost v rossiyskikh regionakh. [Green Nationalism in a Resource-Based State: Environmental Agenda and National Identity in Russian Regions]. *Laboratorium: Zhurnal sotsialnykh issledovaniy*, no 3, pp. 4–33.
- Turovets M. V. (2014) Protivostoianie depolitizatsii: dvizhenie protiv dobychi nikelya v Voronezhskoy oblasti [Resistance to Depoliticization: Movement against Nickel Mining in the Voronezh Region]. *Politika apolitichnykh. Grazhdanskie dvizheniya v Rossii 2011–13* [The Politics of the Apolitical: Civil Movements in Russia 2011–13]. (Eds. S. V. Erpyleva, A. V. Magun), Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 351–385.
- Turtseva K. P. (2021) Steykholdery regionalnoy ekologicheskoy politiki v Rossii. [Stakeholders of Regional Environmental Policy in Russia]. *Ars Administrandi*, vol. 13, no 3, pp. 309–334.
- Turtseva K. P. (2022) Vektory razrabotki regionalnoy ekologicheskoy politiki v Rossii: analiz gosudarstvennykh programm. [Vectors of Development of Regional Environmental Policy in Russia: Analysis of State Programs]. *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Politologiya*, vol. 16, no 3, pp. 27–40.
- Turtseva K. P. (2022) Vektory razrabotki regionalnoy ekologicheskoy politiki v Rossii: analiz gosudarstvennykh programm. [Vectors of Development of Regional Environmental Policy in Russia: Analysis of State Programs]. *Vestnik Permskogo universiteta. Seriya: Politologiya*, vol. 16, no 3, pp. 27–40.
- Wang C., Keith D. (2020) The greening of European radical left parties: red and green politics // *Journal of contemporary European studies*, vol. 28, no 4, pp. 494–513.
- Wu F., Martus E. (2021) Contested environmentalism: the politics of waste in China and Russia. *Environmental Politics*, vol. 30, no 4, pp. 493–512.
- Yanitskiy O. N. (2002) Ekologicheskiy risk i ego politicheskaya interpretatsiya. [Environmental Risk and Its Political Interpretation]. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii*, vol. 5, no 1, pp. 26–42.
- Yanitskiy O. N. (2005) Ekologicheskaya kultura Rossii XX veka: ocherk sotsiokulturnoy dinamiki. [Environmental Culture of Russia in the 20th Century: Outline of Socio-Cultural Dynamics]. *Istoriya i sovremennost*, no 1, pp. 136–161.
- Yanitskiy O. N. (2011) *Ekomodernizatsiya Rossii: teoriya, praktika, perspektiva* [Ecomodernization of Russia: Theory, Practice, Perspective], Moscow: Institut sotsiologii RAN.

Декolonизация юга Африки в свете концепции коллегияльно разделенной власти

Дмитрий Савельев

Аспирант, Новосибирский государственный университет
Адрес: ул. Пирогова, д. 1, Новосибирск, 630090 Российская Федерация
E-mail: d.savelev@g.nsu.ru

В данной статье на материале стран юга Африки второй половины XX века апробируется модель становления коллегияльно разделенной власти (КРВ) посредством складывания паритета внутриполитических сил в условиях общих для них внешних геополитических (военно-политических) угроз, полученная ранее по результатам анализа случаев революций в Западной Европе XIX века. Подход основан на «геополитической теории коллегияльной власти» американского социолога Р. Коллинза, которая описывает процессы становления новых политических систем со «сдержками и противовесами» посредством централизации военных союзов. Проводится качественный сравнительный анализ (QCA) случаев деколонизации Ботсваны, Намибии, ЮАР, Зимбабве, Лесото и Свазиленда по четырем зависимым переменным: наличие/отсутствие правительств с представителями различных партий, внутриэлитных репрессий, ответственности правительства перед парламентом и права главы государства назначать членов парламента. Декolonизация в данном случае трактуется как переход к «правлению черного большинства», при котором население страны имеет, по крайней мере, номинальную возможность посредством всеобщих выборов утверждать и смещать правительства. Результаты анализа показывают, что ранее полученная модель не описывает в полной мере исследуемые случаи, но, за исключением случая Ботсваны, складывание паритета внутриполитических сил при деколонизации все же коррелирует с высокими значениями уровня КРВ. Также выявляется, что теория КРВ должна учитывать опыт существования и осмысления политических систем с доминантной партией. Анализ новой выборки позволил как частично подтвердить полученные ранее результаты, так и выявить определенные ограничения «геополитической теории коллегияльной власти».

Ключевые слова: деколонизация, юг Африки, коллегияльно разделенная власть, качественный сравнительный анализ, разделение властей, политические режимы, демократизация, транзитология

Концепцию *коллегияльно разделенной власти* (КРВ) первым предложил американский социолог Р. Коллинз в конце 1990-х годов (Коллинз, 2015). Согласно Коллинзу, коллегияльно разделенная власть (*collegially shared power*) как одно из возможных измерений политических режимов подвергалась слабой теоретизации, хотя повышение уровня КРВ имеет основания считаться ключевой переменной для становления демократии (Там же: 202). Коллинз не дает эксплицитного определения, но в целом КРВ можно определить как *совокупность взаимосвязанных институтов политической системы, препятствующих произвольному использованию государственного аппарата каким-либо отдельно взятым политическим актором*. Иными словами, КРВ близка по значению полуформальному термину «система сдержек и противовесов» и может подразумевать не только разделение

ветвей власти, но также парламентаризм, федерализм, бикамерализм, равно как и другие возможные способы распределения государственной власти.

Коллинз также указывает, что существуют два пути возникновения баланса сил: через дипломатический альянс и через внутреннюю революцию. В первом случае в ходе геополитических процессов политическая система *изначально* формируется как блок нескольких акторов против общей угрозы. Второй же путь ведет к становлению КРВ через кризис *уже централизованного* государства, противостояние правящего центра силы с подчиненными автономными единицами и последующую институализацию структуры разделенной власти после победы последних (Там же: 252–253). Коллинз, разрабатывая «геополитическую теорию коллегиальной власти», сконцентрировал внимание на первом сценарии, а второй, который непосредственно касается исследовательских областей политической транзитологии и теории революций, он наметил только в общих чертах. Мы полагаем, что подход Коллинза имеет перспективы развития, хотя он и не нашел еще должного распространения в современных исследованиях. В рамках данной статьи неуместно делать подробный обзор литературы; отметим лишь, что Н. С. Розов, переводчик трудов Коллинза на русский язык, регулярно использует концепцию КРВ в своих работах. В частности, он стал автором двух научных статей, посвященных анализу истории и внутренней политики России «сквозь призму» КРВ (Розов, 2008, 2024). Кроме того, в наших предыдущих статьях (Савельев, 2021, 2022) также намечен проект развития концепции КРВ, закономерной ступенью которого становится и настоящая работа.

Целью данной статьи является проверка на новом материале и дополнение полученной ранее модели динамики КРВ в условиях социально-политических кризисов (Савельев, 2022: 82). Предполагается, что паритет внутривнутриполитических сил при общей для них внешнеполитической угрозе ведет к высоким уровням КРВ, а отклонение от такой модели — к низким уровням.

Объектом исследования являются страны юга Африки (Ботсвана, Намибия, ЮАР, Зимбабве, Лесото и Свазиленд¹) в период их деколонизации во второй половине XX века. Такой выбор обусловлен двумя соображениями.

Во-первых, следует отметить, что термины «колониализм», «колонизация», «деколонизация», «постколониализм» и т.п. получили в конце XX века широкое распространение в рамках академических исследований, в частности, в *postcolonial studies*. Так, например, речь может идти о колониализме промышленном (Figueroa, 2013), углеродном (Parsons, 2023), криминологическом (Munsterhjelm, 2023), медицинском (Krupar, 2023), кулинарном (Valens, 2024), о колонизации медиа (Bajomi-Lázár, 2014), колонизации женщин (Summers, 2016), деколонизации образования (Jansen, 2019) и т.д. Все это очевидным образом выходит за рамки классического определения колониализма как иноземной власти над какой-либо страной. Поэтому в наши дни колониализм в самом общем виде можно определить как лишение кого-то субъ-

1. С 2018 года — Эсватини.

ектности другим субъектом (субъектами), а деколонизацию — как, соответственно, восстановление субъектности. Мы же будем далее отталкиваться от более предметных концепций «внутреннего колониализма» (Wolpe, 1975) и «колониализма особого типа» (Камати, 2015: 53–55), согласно которым колониализм (применительно к югу Африки) можно определить как устойчивую власть белого меньшинства над черным большинством даже при условии их расселения на одной и той же территории. Деколонизация в таком случае понимается как переход к «правлению черного большинства»: гражданские и политические права распространяются на широкие слои населения, которые получают, по крайней мере, номинальную возможность посредством всеобщих выборов утверждать и смещать правительства. Коллинз писал, что становление КРВ и расширение избирательного права являются двумя самостоятельными измерениями, что ни одно из западных обществ не продвигалось последовательно сразу по нескольким измерениям и что эти два измерения нередко виделись взаимоисключающими (Коллинз, 2015: 201–204, 206, 211–212). Конфликтные отношения между *демократией как КРВ* и *демократией как «властью большинства»* дают нам основание рассматривать деколонизацию юга Африки как определенный вызов становлению КРВ в этих странах.

Во-вторых, политические системы стран юга Африки вполне корректно сравнивать между собой, поскольку они, так или иначе, были сконструированы под влиянием Вестминстерской системы. Согласно Коллинзу, в Великобритании триумф законодательной власти над исполнительной, соответствующий высоким значениям КРВ, приходится на XVIII век и связан с «внутренней демократизирующей революцией» (Там же: 207, 252–253). В свою очередь, Ботсвана, Лесото, Свазиленд и Зимбабве были британскими колониями, Южная Африка — британским доминионом, а Намибия — подконтрольной ей территорией, которая в ходе конституционного строительства унаследовала некоторые институты Вестминстерской системы.

Активная колонизация Африки началась в конце XIX века, однако британцы на юге континента появились еще в 1795 году, во время войны Первой коалиции, а официально закрепили Капскую колонию за собой по результатам Венского конгресса. После череды конфликтов с британской администрацией африканеры (буры), потомки нидерландских колонистов, предприняли в 1830-е годы т.н. «великий трек» — широкомасштабное переселение с британских территорий в общем направлении на северо-восток, где основали ряд вольных республик. В следующем десятилетии одна из них, Наталь, стала второй в регионе британской колонией. В 1854 году буры в районе реки Оранжевой смогли добиться независимости от Великобритании и основать Оранжевое Свободное Государство. В 1880-е годы третье государство, Южно-Африканская Республика (Трансвааль), тоже смогло отстоять независимость от Великобритании в ходе Первой англо-бурской войны. Однако в ходе Второй войны обе эти республики были захвачены и стали в 1902 году британскими колониями.

Народы басуто и свази имели своих монархов, которые сохранили власть в рамках колониальных административных единиц. Бечуаналенд (Ботсвана) пред-

ставлял собой протяженную неплодородную территорию без единой доколониальной власти, которая была занята британцами в рамках продвижения на север, а также ради недопущения установления прочных контактов между бурскими республиками и германской колониальной администрацией в Юго-Западной Африке (ЮЗА). Колонизация Родезии (Зимбабве) Британской Южно-Африканской компанией С. Родса привела к конфликту с Португалией, которая тогда стремилась объединить территории Анголы и Мозамбика, своих давних колоний, в рамках проекта т.н. «розовой карты». Великобритания смогла отстоять власть над Родезией, а также колонизировать Ньясаленд (Малави), однако дальнейшее продвижение на север было остановлено бельгийцами (Конго) и немцами (современная Танзания).

Южно-Африканский союз возник как доминион в 1910 году в результате соглашения между британцами и африканерами: первые включали государство в свою сферу влияния и сохраняли общий контроль над регионом, а вторые получали возможность объединить четыре колонии (Кап, Наталь, Трансвааль и Оранжевую реку) в рамках одного унитарного государства и стать «титутельной нацией», составляющей большинство белого населения. Политическая система ЮАС была построена по модели Вестминстерской системы, однако монарха замещал назначаемый Лондоном генерал-губернатор. По результатам Первой мировой войны ЮАС получил от Лиги Наций мандат на управление ЮЗА, но вопреки мечтам белых политиков о создании на юге Африки «страны белого человека», дальнейшего расширения государства не произошло из-за сопротивления представителей как коренных народов Бечуаналенда, Басутоленда (Лесото) и Свазиленда, так и белых поселенцев в Родезии.

Правление БЮАК в Родезии завершилось в 1920-е годы: регион был разделен на северную и южную части, причем в последней на референдуме 1922 года поселенцы отвергли идею присоединения к ЮАС в пользу получения статуса колонии с ответственным правительством (по британской модели), т.к., будучи выходцами преимущественно из Великобритании, они не желали становиться частью африканерского государства.

В 1948 году на выборах в ЮАС одержала победу Национальная партия (NP) с программой апартеида — всеобъемлющей расовой сегрегации. Ее реализация шла вразрез с британской политикой в регионе, направленной на его скорейшую деколонизацию. Это привело к ухудшению отношений между странами вплоть до провозглашения Южной Африки парламентской республикой в 1961 году. В 1964 году Ньясаленд и Северная Родезия получили независимость как, соответственно, Малави и Замбия. В последней к власти приходят сторонники «африканского социализма» и страна становится плацдармом для вооруженного сопротивления португальскому режиму в Анголе и Мозамбике, а также «колониализму особого типа» в Южной Родезии, Намибии и ЮАР.

В условиях невозможности белых родезийцев договориться с Великобританией и неприемлемости для них принципа NIBMAR (*No independence before majority*

rule) в Родезии в 1965 году принимается односторонняя декларация независимости, а в 1970 году — провозглашается парламентская республика, что превращает страну в непризнанное государство во главе с партией «Родезийский Фронт» (RF). Против режима ведут боевые действия две основные политические силы — ZANU (*Zimbabwe African National Union*) и ZAPU (*Zimbabwe African People's Union*). ZANU ориентировался на КНР, опирался на крестьянство и этническое большинство шона, вел бои с территориями Замбии и (после 1974 года) Мозамбика. ZAPU же ориентировался на СССР, опирался на городских рабочих и крупное этническое меньшинство матабеле, вел бои с территориями Замбии и Ботсваны.

Ботсвана же получила независимость в 1966 году как парламентская республика с главой государства в лице президента: С. Кхама, возглавлявший страну и правящую Демократическую партию Ботсваны (BDP), проводил внутреннюю политику централистского социально-рыночного развития, а во внешней политике он выстраивал имидж Ботсваны как либерально-демократического государства, порицал апартеид, но поддерживал экономические отношения с ЮАР. Этот курс пережил первого президента, являясь в общих чертах актуальным и поныне.

Лесото в 1966 году и Свазиленд в 1968 году получили независимость как конституционные монархии, однако если в Лесото монарх был церемониальным, то в Свазиленде он стал главой исполнительной власти, что привело к дальнейшим расхождениям в политических траекториях двух стран: в 1970 году в Лесото переворот совершил проигравший на выборах премьер-министр Л. Джонатан (Национальная партия Басуто, BNP), а в Свазиленде король Собуза II в 1973 году отменил конституцию и запретил все политические партии, в т.ч. правящее Национальное движение Имбокодво (INM), после того как оппозиция получила несколько мест в парламенте. Свержение Джонатана в 1986 году привело к полтора десятилетиям политической нестабильности в Лесото, включавшей даже международную миротворческую интервенцию (1998 г.), однако в итоге в стране установился либерально-демократический режим в рамках парламентской монархии. В Эсватини же, несмотря на восстановление конституции в 1978 году и другие политические трансформации, до сих пор сохраняется традиционная монархия с совещательным беспартийным парламентом.

В Намибии с 1966 года действовали вооруженные отряды партии SWAPO (*South West Africa People's Organisation*). Во второй половине 1960-х годов ООН обнулила мандат ЮАР на ЮЗА, предоставила последней официальное название «Намибия» и признала SWAPO единственным представителем ее народа. ЮАР же, в свою очередь, стремилась инкорпорировать ЮЗА в свой состав как пятую провинцию. На территориях ЮАР и ЮЗА стали образовываться т.н. «бантустаны» — территории, предназначенные для компактного проживания чернокожего населения различных этнических групп. Некоторые из них позднее получают независимость как непризнанные государства. На территории ЮАР действовали вооруженные отряды Африканского национального конгресса (ANC), однако они не вели фронтальных боевых действий.

До 1974 года на юге Африки действовал неформальный союз Португалии, ЮАР и Родезии против антиколониальных движений. Однако Мозамбик и Ангола вскоре после «революции гвоздик» получили независимость и присоединились к союзу т.н. «прифронтовых государств» (*The Frontline states*)², боровшихся против владычества белых, в результате чего ZANU и SWAPO смогли расширить зоны боевых действий. Стратегическое положение Родезии вопреки военным победам сильно ухудшилось и правительство Я. Смита пошло на сближение с умеренными африканскими политиками — т.н. «внутреннее урегулирование» (*Internal Settlement*). Политика увенчалась образованием Зимбабве-Родезии в 1979 году, однако она не привела к международному признанию. Согласно Соглашению в Ланкастер-хаусе (*Lancaster House Agreement*), декларация независимости отменялась, страна вновь становилась британской колонией, в ней проводились всеобщие и равные выборы, посредством которых назначалось правительство большинства, после чего ей предоставлялась независимость. По итогам выборов 1980 года премьер-министром стал Р. Мугабе, глава ZANU, который относительно быстро перешел к репрессиям против бывших союзников: геноцид «Гукурахунди» унес жизни до 20 тысяч человек, главным образом народов матабеле и каланга, на поддержку которых опирался ZAPU. В 1987 году ZAPU был присоединен к ZANU, а правки в конституцию отменили зарезервированные для белых места в парламенте и трансформировали государство в президентскую республику. После этого политическая система в целом стабилизируется и сохраняется до наших дней, вопреки некоторым конституционным изменениям начала XXI века и даже свержению самого Мугабе 21 октября 2017 года.

Независимая Ангола быстро перешла в состояние гражданской войны с международным вмешательством. Основными интервентами были Куба на стороне правительства и ЮАР на стороне повстанцев. По сути, гражданская война в Анголе и война за независимость Намибии около 15 лет представляли собой единый фронт боевых действий. В условиях краха португальского колониализма и белой Родезии, а также внутренних экономических проблем правительство ЮАР пошло на реализацию «тотальной стратегии» (*Total Strategy*)³ — масштабного проекта, совмещающего усиление антикоммунистической борьбы с частичными реформами-уступками, направленными на расширение базы поддержки действующего режима. Так, пост премьер-министра был упразднен и главой правительства стал президент, а парламент стал трехпалатным, где каждая палата формировалась на расовой основе (белые, индийцы и «цветные»). Реализация проекта привела, по большому счету, лишь к усугублению социально-политического кризиса.

В 1989 году, после битвы при Квито-Кванавале, ЮАР согласилась на вывод своих войск из Анголы и независимость Намибии при условии установления в последней демократического режима и вывода кубинских войск из Анголы. В регион были введены миротворческие силы и под надзором ООН прошли выборы

2. См.: Hough, 1980.

3. См.: Davies, O'Meara, 1985.

в Учредительное собрание, на которых SWAPO получила чуть менее двух третей мест, что не позволило партии принять конституцию без поддержки оппозиции. В 1990 году Намибия получила независимость как смешанная республика, но постепенно SWAPO смогла укрепить электоральное доминирование.

В 1990 году новоизбранный президент ЮАР де Клерк под впечатлением от падения Берлинской стены освобождает Нельсона Манделу из тюрьмы и легализует ANC, начинается четырехлетний переговорный процесс по демонтажу режима. Бантустаны, трехпалатный парламент и другие проявления апартеида были ликвидированы, но президент остался главой государства, что было закреплено в конституции 1996 года. ANC победил на первых нерасовых выборах 1994 года и с тех пор остается правящей партией, хотя со временем популярность партии падала, а на парламентских выборах 2024 года она впервые набрала менее 50% голосов.

На основании изложенных данных мы можем отвлечься от изучения аспекта конструирования постколониальных политических систем, полагая их системами с достаточно высоким уровнем КРВ, и сосредоточиться на выявлении факторов их сохранения или же трансформации в направлении автократии. Таким образом, «центральными» событиями для нашего исследования станут акты смены власти по результатам всеобщих (нерасовых, без цензов) выборов в Ботсване (1966), Лесото (1966), Свазиленде (1968), Зимбабве (1980), Намибии (1990) и ЮАР (1994).

Методология

Методом исследования является *качественный сравнительный анализ* (QCA), который совмещает сильные стороны качественных и количественных подходов: позволяет переходить от описания отдельных объектов к их более систематичному описанию в малых и средних выборках, а также совмещать качественное описание объекта с формальным анализом (Rihoux, Ragin, 2009; Ragin, 2014; Маркс, Риу, Рэйгин, 2015; Мелешкина, 2015). С момента появления в 1980-х годах метод получил широкое распространение в иностранных социальных науках, а в последние годы он достаточно активно используется и в отечественных социально-политических исследованиях (Пожидаева, 2019; Белоус, Тарасов, 2021; Бедерсон, 2021; Михеев, 2022; Мухаметов, 2023). Существуют различные варианты QCA, позволяющие анализировать нечеткие множества (*fuzzy-set*) и включающие другие нововведения, однако мы полагаем их излишними для данной работы и ограничиваемся стандартным подходом с бинаризацией факторов, хотя и допускаем возможность их перспективного применения в дальнейшем.

Как и в предыдущей работе (Савельев, 2022: 69), мы анализируем выборку, отталкиваясь от четырех *критериев КРВ*: двух *формальных* (наличие ответственности правительства перед парламентом⁴, отсутствие у главы государства права

4. Ответственность правительства может варьироваться от редких отчетов до возможностей выражения вотума недоверия и снятия с постов министров, поэтому критерий специально сформулирован в общей форме.

назначать ставленников в законодательные учреждения) и двух *актор-ориентированных* (наличие правительства с представителями различных политических сил, отсутствие внутриэлитных политических репрессий⁵). Обоснование критериев дано в более ранней статье (Савельев, 2021).

Согласно Коллинзу, КРВ «должна трактоваться в первую очередь в терминах самого государственного устройства» (Коллинз, 2015: 214), а потому мы фокусируемся на политических силах и институтах верховной власти рассматриваемых стран, оставляя «за скобками» разнообразные экономические, психологические, культурные, равно как и ненаблюдаемые явным образом политические факторы (патрон-клиентские отношения, традиционную власть вождей и проч.). Не отрицая их важности, мы полагаем, что для изучения последних требуются антропологические, социологические и т.п. исследования с иной, преимущественно качественной методологией. Мы также не используем соответствующие работы как источники, поскольку данные об интересующих нас событиях и процессах вполне представлены в исторической и политологической литературе, которой мы главным образом и ограничиваемся.

Поскольку подход предполагает бинаризацию показателей, то каждый рассматриваемый случай может быть квалифицирован как удовлетворяющий, либо неудовлетворяющий конкретному критерию в какой-либо момент времени. Соответственно, *объясняемыми явлениями* (зависимыми переменными) являются либо изменения значений показателей по каждому критерию, либо их стабилизация в период после установления «власти большинства» в каждой из стран.

Список *гипотетических факторов* включает в себя следующие независимые переменные (Савельев, 2022: 70):

- *Образование коалиции* (С) несколькими паритетными⁶ по силам оппозиционными политическими акторами против общего для них противника в лице действующего режима.
- *Геополитическая угроза* (G) со стороны соседних стран, которая является общей для акторов политической системы и мотивирует их объединяться для противодействия ей.
- *Действия главы государства* (Р) — центр власти, который контролирует пост главы государства, оказывается способен реализовывать свои политические проекты без необходимости консультаций с другими акторами, а потому делает это исходя из своих собственных оценок и приоритетов.
- *Уступки* (U) — власть имущие полагают, что не могут совладать с недовольным населением исключительно репрессивными методами, поэтому

5. Речь идет об отсутствии во время политических трансформаций противоречащих общеправовым принципам непосредственных актов целенаправленного ущерба (в форме лишения свободы, имущества, прав и проч.) со стороны правящей группы в отношении своих политических соперников ради укрепления своей власти.

6. Особо подчеркиваем, что здесь *коалициями* считаются именно те политические союзы, в которых нет явно доминирующей силы; *коалиции* направлены на достижение общих для акторов целей путем координации их действий и частичного объединения ресурсов.

идут навстречу и удовлетворяют (частично или полностью) его требования посредством ограничения исполнительной власти.

- *Отсутствие в коллегиальном законодательном учреждении⁷ парламентского большинства того центра власти, который также контролирует государственный аппарат⁸ (М)* — присутствует стабильное оппозиционное большинство, либо стабильное большинство вовсе отсутствует.
- *Отсутствие в коллегиальном законодательном учреждении стабильного парламентского большинства (В)* — отсутствует как провластное, так и оппозиционное большинство.

Далее мы приступаем к анализу выборки. Последовательно рассматриваются случаи, в которых происходили изменения по указанным критериям. На основе кратких исторических описаний заполняются таблицы, содержание которых затем записывается в виде факторных формул. Эти формулы подвергаются логическим операциям, а конечные формулы кратко поясняются. Общие итоги подводятся в конце статьи.

Анализ

Для удобства изложения материала анализ факторов динамики КРВ мы начнем с актор-ориентированных критериев.

Первый критерий — *наличие в правительстве представителей различных политических сил*.

Объясняемые явления. ЮАР — появление в 1984 году в ходе реализации «тотальной стратегии» реформирования режима апартеида 2-го правительства Боты, включавшего двух министров от оппозиционных партий; составление в 2009 году 1-го кабинета Зумы, состоявшего целиком из членов ANC. Зимбабве — возникновение в 1978 году в ходе т.н. «внутреннего урегулирования» Исполнительного совета в республике Родезия, состоявшего из членов RF и умеренных черных политиков; изгнание в 1982 году министров ZAPU из правительства Р. Мугабе премьер-министром от ZANU. В Ботсване, Намибии, Лесото и Свазиленде правительства из представителей различных политических сил в процессе деколонизации не возникало.

Коалиция нескольких центров власти (С). В ЮАР ANC действовал в союзе с коммунистами, но коалиция не была паритетной $\{C = 0\}$, т.к. из всех запрещенных организаций африканцев ANC был все же самой популярной и эффективной (Thompson, 2014: 244). В Зимбабве «Патриотический фронт» ZANU и ZAPU, в котором не было явно лидирующей силы, действовал с октября 1976 года, но распался уже к выборам в апреле 1980 года (Raftopoulos, Mlambo, 2009: 147, 166), $\{C = 1\}$, потом $\{C = 0\}$.

7. Общий термин для обозначения парламентов и учредительных собраний.

8. Контроль государственного аппарата определяется на основе того, кто занимает должность главы правительства.

Геополитическая угроза (G). ЮАР с 1960-х до конца 1980-х находилась в конфронтации с т.н. «прифронтовыми государствами», которые оказывали ту или иную поддержку вооруженной борьбе с режимами белого меньшинства, в первую очередь — в Намибии и Анголе (Worden, 2012: 132–133; Lodge, 2011: 478), {G = 1}. Но начиная с президентства де Клерка, при котором Намибия получила независимость и был легализован ANC, международная напряженность на юге Африки заметно уменьшилась {G = 0}. Аналогично — с поддержкой «прифронтовыми государствами» ZANU и ZAPU против Родезии до 1980 года (Hough, 1980: 45), {G = 1}. После 1980 года Зимбабве присоединилось к ним, но не поддерживало активно ANC и SWAPO, потому ЮАР не вела против нее широкомасштабных боевых действий и пыталась не свергнуть ZANU, а лишь дестабилизировать режим (Davies, O'Meara, 1985: 204), {G = 0}.

Действия главы государства (P). В ЮАР парламентская система с президентом как главой исполнительной власти была установлена еще в начале 1980-х годов в рамках т.н. «тотальной стратегии», подразумевавшей также сближение белых с «цветными» и местными индийцами, и пережила демонтаж апартеида, поэтому все перестановки в правительстве производились с ведома правящей партии, хотя ее значение и уменьшилось (Beinart, 2001: 271; Ross, 2008: 181; Worden, 2012: 134), {P = 1}. Родезия была классической парламентской республикой с «церемониальным» президентом как главой государства, равно как и Зимбабве до 1987 года: политику в них проводили правящие партии — RF и ZANU соответственно (Kenrick, 2019: 160; Bourne, 2011: 110), {P = 1}.

Уступки недовольным массам (U). В независимом Зимбабве и в постапартеидной ЮАР властью обладали политические силы коренных африканцев, которым не приходилось идти на уступки в рассматриваемые периоды {U = 0}. Но уступки, приведшие к возникновению правительств с представителями различных политических сил {U = 1}, были характерны для режимов белого меньшинства на излете их существования в этих странах (Raftopoulos, Mlambo, 2009: 162; Kenrick, 2019: 230–231; Ross, 2008: 181; Worden, 2012: 134).

Отсутствие в парламенте провластного большинства (M). Во всех рассматриваемых случаях правительство формировалось доминирующей в парламенте партией: RF в Родезии по выборам 1977 года, ZANU в Зимбабве по выборам 1980 и 1985 годов, NP и ANC в ЮАР по выборам 1981⁹ и 2004 годов соответственно (Kenrick, 2019: 45; Nohlen, Kerennerich, Thibaut, 1999: 836, 973; Southall, 2005: 62), {M = 0}.

Отсутствие в парламенте стабильного большинства (B). Как видно по предыдущему абзацу, стабильное парламентское большинство существовало во всех рассмотренных случаях, {B = 0}.

Составляется *таблица 1*.

9. В Палату Собрания (*House of Assembly*), которая в трехпалатном парламенте ЮАР представляла белое население и монополизировала большую часть власти (Worden, 2012: 134).

Таблица 1.

<i>Правительства с представителями различных политических сил</i>									
Случаи ₁	Факторы _→	C	G	P	U	M	B	=	D
<i>Появление</i>									
ЮАР		o	1	1	1	o	o	=	1
Зимбабве		1	1	1	1	o	o	=	1
<i>Исчезновение</i>									
ЮАР		o	o	1	o	o	o	=	o
Зимбабве		o	o	1	o	o	o	=	o

$$D = cGPUmb + CGPUmb = GPUmb(c + C)^{10} = GPUmb;$$

$$d = cgPumb + cgPumb = cgPumb.$$

Как можно видеть, правительства с представителями различных политических сил возникли (и затем исчезли) только в двух рассматриваемых случаях из шести. Режимы белых меньшинств в условиях геополитического противостояния были вынуждены даже при сохраняющемся парламентском большинстве идти на уступки и целенаправленно включить в состав правительств политиков из умеренной оппозиции, чтобы заручиться их поддержкой и усилить свои позиции, но это не спасло их в итоге от демонтажа. Уже режимы черного большинства в благоприятных для себя условиях (провластное парламентское большинство, отсутствие оппозиционных коалиций и геополитических угроз) стали сохранять все министерские посты за правящей партией.

Второй критерий — *низкий уровень внутриэлитного насилия*.

Объясняемые явления. Ботсвана — полное отсутствие политических репрессий как до получения независимости, так и после. Намибия — завершение в конце 1980-х годов войны за независимость и мирный переход к государственной независимости через созыв Учредительного собрания. ЮАР — прекращение в 1990 году репрессий в отношении ANC и легализация этой организации в начале процесса демонтажа системы апартеида. Зимбабве — прекращение в 1979 году боевых действий и допуск ZANU и ZAPU к всеобщим выборам по условиям Ланкастер-хаузского соглашения; санкционирование правительством в 1982 году геноцида «Гукурахунди» как борьбы с оппозиционной партией ZAPU. Лесото — мирный переход к независимости от Великобритании в 1966 году; государственный «переворот сверху» (англ. *self-coup*) премьер-министра Л. Джонатана в 1970 году, сопровождавшийся актами физического насилия. Свазиленд — мирный переход страны к независимости в 1968 году как дуалистической монархии; «переворот сверху» 1973 года под руководством короля Собузы II, приведший к восстановлению абсолютной монархии.

10. Здесь и далее в формулах *курсивом* выделяются элиминируемые как тавтологии элементы.

Фактор коалиции (C). Ботсвана: всегда $\{C = 0\}$, ибо BDP де-факто самостоятельно правит страной с 1962 года (Picard, 1987: 142), а оппозиция ей была малочисленной, непопулярной и страдавшей от внутренних расколов (Makgala, Giollabhui, 2014: 70) и вообще не представлявшей значимой угрозы для правящей партии (Gulbrandsen, 2012: 249). В Намибии SWAPO была главной оппозиционной силой с 1960 года (Wallace, Kinahan, 2011: 249–250), $\{C = 0\}$. ЮАР — $\{C = 0\}$, Зимбабве — сначала $\{C = 1\}$ и затем $\{C = 0\}$ (см. выше). Лесото — также $\{C = 0\}$, ибо партии занимали весьма далекие друг от друга позиции и потому действовали сами по себе (Machobane, 1990: 282–291). В Свазиленде существовал союз черных и белых традиционалистов, но в нем явно доминировали африканцы, а к моменту независимости он уже распался и INM, занимающее все места в парламенте, правило самостоятельно до переворота и запрета партий в 1973 году (Potholm, 1972: 97, 101, 119–121; Booth, 1983: 69, 72–73), $\{C = 0\}$.

Геополитическая угроза (G). Ботсвана: С. Кхама был одним из основателей союза «прифронтовых государств» (Picard, 1987: 1), а до 1990 года страна была окружена территорией недружественной ЮАР, контролировавшей Намибию, и до 1980 года также белой Родезией; однако страна во внешней политике придерживалась строгого нейтралитета, неприятия расизма и сохранения экономических отношений с ЮАР, так что взаимоотношения Ботсваны с этими странами представляли собой смесь кооперации и конфликта (Stedman, 1993: 142, 163), $\{G = 0\}$. Намибия — не было $\{G = 0\}$, так как первое правительство получило власть при посредничестве ООН и ее войск в одно время с достижением независимости от ЮАР и выводом ее войск, а далее международная напряженность на юге Африки спала, т.к. в то же время начался процесс демонтажа апартеида в самой ЮАР (Cliffe et al., 1994: 134–135; Worden, 2012: 147). ЮАР и Зимбабве — сначала $\{G = 1\}$, затем $\{G = 0\}$ (см. выше). Лесото — окружено со всех сторон ЮАР, но прямых угроз вторжения не было, т.к. тогда премьер-министр Л. Джонатан был сторонником сближения с ЮАР и даже получал оттуда поддержку в различных формах (Khaketla, 1972: 116–120), $\{G = 0\}$. Свазиленд имеет границы только с ЮАР и Мозамбиком; в рассматриваемый период в ЮАР действовал режим апартеида, а в Мозамбике — португальская колониальная администрация, которым Свазиленд не стремился бросать вызов (Potholm, 1972: 97, 150–151), равно как и они ему, поскольку режим черных традиционалистов их вполне устраивал, $\{G = 0\}$.

Действия главы государства (P). В Ботсване многопартийная политическая система имела символическое значение как во внутривнутриполитическом, так и во внешнеполитическом контексте: основатели государства сознательно выбрали либеральную модель, хотя и считали оппозиционеров марионетками Москвы или просто непатриотичными и деструктивными силами, поскольку стремились на контрасте с ЮАР стяжать симпатии международного сообщества как многорасовая и многопартийная демократия (Picard, 1987: 145; Good, 2008: 48–49, 55; Stedman, 1993: 52), $\{P = 1\}$. В случаях Намибии, Зимбабве и ЮАР совершался транзит власти посредством соглашений с главными силами оппозиции, которым

предшествовал отказ от политики их силового подавления действующими властями {P = 1}: согласие ЮАР и Демократического альянса Турнхалле (DTA) на независимость Намибии и свободные выборы с участием SWAPO при посредничестве ООН (Cliffe et al., 1994; Beinart, 2001: 270), согласие RF и черных умеренных политиков на свободные выборы с участием ZANU и ZAPU (Raftopoulos, 2009: 164–166), а также согласие NP и лично ее лидера-реформатора де Клерка на легализацию ANC и переговоры с ней о демонтаже системы апартеида (Beinart, 2001: 272–273; Ross, 2008: 195–197). В случаях Лесото и Свазиленда в начальный период независимости силового подавления оппозиции правящими главами государств не наблюдалось: монарх в Лесото имел лишь церемониальные полномочия {P = 0} (Machobane, 1990: 305–306), а в Свазиленде до 1973 года в этом не было нужды, т.к. черные традиционалисты абсолютно доминировали над соперниками (см. выше), {P = 1}. Переход к репрессиям произошел {P = 1} позднее в Зимбабве при власти ZANU — геноцид «Гукурахунди» и менее масштабные насильственные акции (Raftopoulos, Mlambo, 2009: 179; Bourne, 2011: 105–109), а также в Свазиленде — монархический переворот 1973 года после получения оппозицией 3 из 24 мест в парламенте (Booth, 1983: 72–73; Baloro, 1994: 24–26). В Лесото как за разгоном новогодней встречи населения с королем и помещением самого короля под домашний арест в 1966 году, так и за переворотом 1970 года с последующим террором стоял Л. Джонатан от BNP (Khaketla, 1972: 147, 207–291), {P = 0}.

Отсутствие провластного большинства (М). Ботсвана: на выборах начиная с 1965 года уверенную победу всегда одерживала BDP (Tesfahun, 2015: 14), {M = 0}. Провластного большинства не было в Учредительном собрании Намибии¹¹ (41 место у SWAPO, 21 у DTA, оставшиеся 10 разделили остальные партии), что вынудило SWAPO кооперироваться с другими партиями, прежде всего — с DTA (Cliffe et al., 1994: 183, 218; Kaela, 1996: 124–125; Erasmus, 2010: 81; Wallace, Kinahan, 2011: 306–307), {M = 1}. Провластное большинство также отсутствовало {M = 1} в Лесото, где на выборах 1965 года BNP получила всего на пару мест больше, чем оппозиция, а переворот 1970 года начался во время подсчета голосов, на которых, согласно подсчитанным голосам, побеждала оппозиционная партия (Machobane, 1990: 301–302; Khaketla, 1972: 207–211). В случаях ЮАР, Зимбабве и Свазиленда {M = 0} (см. выше).

Отсутствие стабильного большинства (В). Везде {B = M}.

Составляется *таблица 2*.

Для отсутствия репрессий в процессе деколонизации выявляются два основных сценария. Во-первых, выделяются самостоятельные режимы белого меньшинства (случаи ЮАР и Зимбабве), где власть имущие в сложных стратегических условиях вынуждены были идти на уступки, причем в пользу уже не только умеренной, но и вооруженной оппозиции, хотя и при условии отказа последней от насильственной борьбы. Во-вторых, остальные случаи, где с момента независимости

11. После принятия конституции провозгласило себя Национальным собранием первого созыва (нижняя палата парламента).

присутствовала репрезентация большинства: либо складывался относительный паритет сил в парламенте, что блокировало переход к репрессиям (Лесото и Намибия), либо правящие партии не имели мотивации переходить к ним из-за крайней слабости оппозиции (Ботсвана и Свазиленд). Переход к репрессиям был вызван либо нетерпимостью к оппозиции со стороны явно преобладающих над ними провластных сил в относительно благоприятных геополитических условиях (Зимбабве и Свазиленде), либо угрозой для главы правительства в парламентской монархии утратить власть посредством выборов при неопределенности их исхода из-за паритета сил также при благоприятных геополитических условиях (Лесото).

Таблица 2.

Внутриэлитные репрессии								
Случаи↓	Факторы→	C	G	P	M	B	=	W
Отсутствие при деколонизации								
Ботсвана		0	0	1	0	0	=	1
Намибия		0	0	1	1	1	=	1
ЮАР		0	1	1	0	0	=	1
Зимбабве		1	1	1	0	0	=	1
Лесото		0	0	0	1	1	=	1
Свазиленд		0	0	1	0	0	=	1
Переход к репрессиям								
Зимбабве		0	0	1	0	0	=	0
Лесото		0	0	0	1	1	=	0
Свазиленд		0	0	1	0	0	=	0

$$W = cgPmb + cgPMB + cGPmb + CGPmb + cgpMB + cgPmb = cg(Pmb + PMB + pMB) + GPmb(C + c) = cg(Pmb + MB(P + p)) + GPmb = cg(Pmb + MB) + GPmb;$$
$$w = cgPmb + cgpMB + cgPmb = cg(Pmb + pMB).$$

Первый формальный критерий — *ответственность правительства перед парламентом*.

Объясняемые явления. Ботсвана — принятие и сохранение положений конституции 1966 года, делавшей страну парламентской республикой с президентом как главой правительства. Намибия — принятие действующей поныне конституции 1990 года, которая провозглашает смешанную республику. ЮАР — принятие временной конституции 1993 года, сохранившей страну парламентской республикой с президентом как главой правительства, и сохранение ее основных положений далее. Лесото — принятие конституции 1966 года, делавшей страну парламентской монархией. Зимбабве — реформа 1987 года, превратившая страну из парламентской республики в президентскую. Свазиленд — принятие конституции 1967 года, делавшей страну дуалистической монархией, и прекращение ее действия после монархического переворота 1973 года.

Фактор коалиции (С). Ботсвана, Намибия, ЮАР, Лесото и Свазиленд — не было, а в Зимбабве к моменту конституционной реформы фактор уже не был актуален, потому везде $\{C = 0\}$ (см. выше).

Фактор геополитики (G). Ботсвана, ЮАР, Зимбабве, Лесото и Свазиленд — $\{G = 0\}$, (см. выше). Намибия — фактор уже не был актуален: мирные переговоры между Анголой и ЮАР привели к соглашению, согласно которому кубинские войска выводятся из региона, а страна получает независимость при посредничестве ООН (см. выше), $\{G = 0\}$.

Фактор главы государства (P). Ботсвана: BDP правит страной де-факто с 1962 года (см. выше), конституция независимости 1966 года основана на конституциях 1961 и 1963 годов и включает в себя принцип ответственности правительства (Jalata, Mogalakwe, 2019: 85; Picard, 1987: 146), $\{P = 1\}$. Намибия: конституция 1990 года написана в соавторстве с оппозицией в Учредительном собрании и была принята не менее чем двумя третями голосов, а ее фундаментальные положения были заложены ранее при участии ООН и ЮАР (Cliffe et al., 1994: 77, 199; Wallace, Kinahan, 2011: 306–307; Melber, 2014: 17–19), $\{P = 0\}$. ЮАР: временная конституция 1993 года и затем постоянная 1996 года сохраняли ответственность правительства, обе они стали результатом договоренностей между ANC и другими партиями, в первую очередь — NP (Ross, 2008: 206, 210; Worden, 2012: 151–152), $\{P = 0\}$. Лесото: конституция 1966 года брала за основу Вестминстерскую модель (Machobane, 1990: 291–292); промонархической была Партия Свободы Марематлу (MFP), но доминировала BNP (см. выше), так что и после переворота премьер-министра Л. Джонатана конституционный строй сохранился прежним, $\{P = 0\}$. Зимбабве — Р. Мугабе, премьер-министр, стоял за реформой, которая парламентскую республику делала президентской (см. выше), $\{P = 1\}$. Свазиленд — зачинщиком отмены конституции был король (Booth, 1983: 72–73; Baloro, 1994: 24–26), $\{P = 1\}$.

Отсутствие в парламенте проправительственного большинства (M). ЮАР: требовалось менее двух третей голосов для принятия конституции 1996 года, что не позволило ANC написать ее в одиночку (Worden, 2012: 152; Ross, 2008: 210), $\{M = 1\}$. Намибия и Лесото — $\{M = 1\}$, а Ботсвана, Зимбабве и Свазиленд — $\{M = 0\}$ (см. выше).

Отсутствие в парламенте стабильного большинства (B). Здесь также везде $\{B = M\}$.

Составляется *таблица 3*.

Как видно из таблицы, лишь в случае Ботсваны при доминирующей партии была установлена и сохранена ответственность правительства — либерально-демократическая политика была частью ее имиджа. В остальных случаях конституции, пораздумавшие ответственность правительства, не были написаны в одиночку правящей партией. Отдельно следует сказать о Лесото: это не нашло отражения в таблице 3, но после переворота 1970 года ситуация стала походить на случай Ботсваны, поскольку по структурным и легитимирующим причинам

вопрос отмены парламентаризма не поднимался, хотя ВНР и удерживала полноту власти. В случаях упразднения ответственности правительства (Зимбабве и Свазиленд) имело место укрепление власти главы государства при относительно благоприятных геополитических условиях и при провластном парламентском большинстве.

Таблица 3.

Ответственность правительства перед парламентом								
Случаи	Факторы	C	G	P	M	B	=	O
Сохранение								
Ботсвана		о	о	1	о	о	=	1
Намибия		о	о	о	1	1	=	1
ЮАР		о	о	о	1	1	=	1
Лесото		о	о	о	1	1	=	1
Упразднение								
Зимбабве		о	о	1	о	о	=	о
Свазиленд		о	о	1	о	о	=	о

$$O = cgPmb + cgpMB + cgpMB + cgpMB = cg(Pmb + pMB);$$

$$o = cgPmb + cgPmb = cgPmb.$$

Второй формальный критерий — *отсутствие у главы государства формальных представителей в законодательные учреждения.*

Объясняемые явления: Ботсвана — утверждение и сохранение права президента назначать 4 депутатов парламента согласно конституции 1966 года. Намибия — утверждение и сохранение права президента назначать не более 6 депутатов нижней палаты согласно конституции 1990 года. ЮАР — упразднение права президента назначать членов парламента согласно конституции 1993 года. Зимбабве — наличие права президента назначать сенаторов до упразднения самого Сената в 1989 году. Лесото — утверждение и сохранение права короля назначать 11 сенаторов согласно конституции 1966 года. Свазиленд — наличие права короля назначать по 6 человек в каждую из палат парламента согласно конституции 1966 года, вплоть до ее отмены в 1973 году.

Фактор коалиции (C): везде {C = о} (см. выше).

Фактор геополитики (G): также везде {C = о} (см. выше).

Фактор главы государства (P): Ботсвана, Зимбабве, Свазиленд {P = 1}, Намибия, ЮАР, Лесото — {P = о} (см. выше).

Отсутствие в парламенте проправительственного большинства (M): Намибия, ЮАР и Лесото {M = 1}, остальные случаи — {M = о} (см. выше).

Отсутствие в парламенте стабильного большинства (B): {B = M}.

Составляется таблица 4.

Таблица 4.

Формальные представители главы государства в парламенте								
Случаи ₁	Факторы ₂	C	G	P	M	B	=	F
<i>Сохранение</i>								
Ботсвана		о	о	1	о	о	=	1
Намибия		о	о	о	1	1	=	1
Лесото		о	о	о	1	1	=	1
<i>Упразднение</i>								
ЮАР		о	о	о	1	1	=	о
Зимбабве		о	о	1	о	о	=	о
Свазиленд		о	о	1	о	о	=	о

$$F = cgPmb + cgpMB + cgpMB = cg(Pmb + pMB);$$

$$f = cgpMB + cgPmb + cgPmb = cg(pMB + Pmb).$$

Право главы государства назначать некоторых членов парламента было закреплено не только в случае Ботсваны, но также в конституциях, которые принимались без доминирования какой-либо партии (Намибия и Лесото), что, по всей видимости, говорит об относительно малой значимости самого критерия. Упразднение подобного права в ЮАР, где конституция принималась без большинства ANC, можно считать шагом к увеличению КРВ, но в остальных случаях оно связано с концентрацией власти при провластном парламентском большинстве: с упразднением верхней палаты парламента (Зимбабве), либо самого парламента (Свазиленд).

Заключение

Итак, по результатам анализа можно сделать следующие выводы.

Структурные элементы модели становления КРВ посредством складывания паритета сил (Савельев, 2022: 82) обнаруживаются в случаях Намибии и ЮАР, которые удовлетворяют, соответственно, двум и трем из указанных критериев. SWAPO и ANC не имели возможности самостоятельно заложить основы новой государственности за отсутствием двух третей мест в коллегиальных законодательных учреждениях. Хотя позднее партии заполучили явное электоральное доминирование, это все же не привело к трансформациям конституционного строя.

Случай Лесото также близок указанной модели, но в силу благоприятных для себя обстоятельств (поддержка со стороны ЮАР и отсутствие стабильного большинства в парламенте) премьер-министр имел возможность совершить переворот при угрозе утраты власти по результатам выборов¹² и начать репрессии про-

12. Отметим, что из всех рассмотренных случаев данный — единственный, в котором одна партия черного большинства *de facto* могла проиграть выборы другой такой партии.

тив оппозиции¹³. Однако, по причине оппонирования правящей партии монарху, парламентаризм, в отличие от Свазиленда, сохранился, вследствие чего итоговый результат удовлетворяет одному критерию КРВ.

Случай *Свазиленда* более прозаичен: ни один критерий КРВ здесь не удовлетворяется. Промонархические силы в относительно благополучных геополитических условиях изначально абсолютно доминировали, не оставляя оппозиции шансов, а при появлении парламентской оппозиции они совершили переворот — совпадений с *моделью* нет.

Случай *Зимбабве* также укладывается в логику авторитарного отката: доминирующая ZANU при отсутствии реальных геополитических угроз и эффективной политической оппозиции перешла к репрессиям против ZAPU и вынудила в итоге эту партию слиться с собой. Как и в случае Свазиленда, здесь не удовлетворяется ни один критерий КРВ, но хотя бы сохранились парламент и конституция.

Независимая *Ботсвана* всегда представляла собой островок стабильности в регионе, но ее случай совершенно не походит на *модель становления демократии через паритет политических сил*. Этот случай удовлетворяет двум критериям КРВ: с начала 1960-х годов и до нашего времени BDP руководит страной без значительной оппозиции своей власти, однако сохраняет в целом либерально-демократические порядки.

Как можно заметить, фактор *главы государства* (Р), в отличие от остальных, в большинстве случаев оказывается решающим и для сохранения систем с институтами КРВ, и для транзита режимов к автократии. Иными словами, речь идет об особенностях систем с доминирующей партией, которые не способен ухватить в полной мере подход, *жестко* связывающий долгоживущие либеральные режимы с паритетом внутриполитических сил и общей для них внешней угрозой. В частности, можно отметить влияние *идеологических и геоэкономических факторов*, не рассмотренных в данной и наших предыдущих работах, на политический курс ведущих акторов: имидж Ботсваны как многорасовой демократии близ режима апартеида способствовал сохранению либерального режима в стране; идеология BNP как не-промонархической партии способствовала сохранению парламентаризма в Лесото; доминирование монархистов и авторитарных социалистов привело к становлению автократий в, соответственно, Свазиленде и Зимбабве; включенность Ботсваны, Лесото и Свазиленда в таможенный союз с ЮАР вела к более благоприятной для последней политике этих стран; а дефициты ресурсов и международной поддержки привели в конечном счете к демонтажу режимов белого меньшинства в ЮАР и Родезии. Однако дальнейшее изучение таких факторов выходит за пределы исследования *собственно КРВ*, уводя нас в область проблем

13. Здесь можно провести параллель с рассмотренным ранее случаем переворота 1851 года во Франции (Савельев, 2022), но за одним важным исключением: Луи-Наполеон, в отличие от Л. Джонатана, был не премьер-министром, а главой президентской республики, что и обусловило снижение роли парламента во Второй империи.

определения и функционирования систем с доминантной партией (Островерхов, 2017а, 2017б), а потому остается делом будущего.

Хотя ранее выявленная модель динамики КРВ в условиях социально-политических кризисов и не описывает в полной мере политические трансформации на юге Африки — геополитические процессы были здесь скорее «гибридными», а не фронтальными¹⁴ — складывание паритета сил, за оговоренным исключением Ботсваны, все же коррелирует с высокими значениями КРВ. Таким образом, проведенный анализ позволяет как в целом подтвердить сделанные ранее выводы, так и выявить определенные ограничения «геополитической теории коллегиальной власти».

Литература

- Бедерсон В. Д. (2021). Дорогие москвичи: качественный сравнительный анализ голосования за оппозицию на муниципальных выборах в Москве в 2017 году // Вестник Пермского университета. Политология. Т. 15. № 4. С. 75–87.
- Белоус Ю. А., Тарасов А. С. (2021). Факторы центробежных тенденций в современной Испании: качественный сравнительный анализ // Вестник Пермского университета. Политология. Т. 15. № 1. С. 45–56.
- Камати Н. Ч. (2015). Политические проблемы развития в странах региона юга Африки (Зимбабве, Намибия и ЮАР) после ликвидации колониализма и апартеида. Дисс. канд. пол. наук (23.00.04). М.: Институт Африки Российской академии наук.
- Коллинз Р. (2015). Демократизация извне внутрь: геополитическая теория коллегиальной власти // Коллинз Р. Макроистория: очерки социологии большой длительности / Пер. с англ. Н. С. Розова. М.: УРСС: ЛЕНАНД. С. 196–258.
- Маркс А., Риу Б., Рэйгин Ч. (2015). Истоки, развитие и применение качественного сравнительного анализа: опыт первых 25 лет // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. № 5. С. 319–350.
- Мелешкина Е. Ю. (2015). Возможности качественного сравнительного анализа (QCA) для исследования посткоммунистических трансформаций // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. № 5. С. 351–373.
- Михеев А. К. (2022). Факторы участия «зеленых» партий в правительствах стран Западной Европы в XXI веке // Вестник Пермского университета. Политология. Т. 16. № 1. С. 74–83.
- Мухаметов Р. С. (2023). Международные факторы демократизации постсоветских государств: применение качественного сравнительного анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. Т. 16. Вып. 4. С. 348–366.

14. За исключением случая интервенции ЮАР в Анголу, конфликтующие стороны ограничивались поддержкой вооруженной оппозиции в недружественных странах и отдельными силовыми акциями.

- Островерхов А. А. (2017а). В поисках теории однопартийного господства: мировой опыт изучения систем с доминантной партией (I) // *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*. № 3 (86). С. 136–153.
- Островерхов А. А. (2017б). В поисках теории однопартийного господства: мировой опыт изучения систем с доминантной партией (II) // *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*. № 4 (87). С. 133–149.
- Пожидаева Э. О. (2019). Партийные стратегии как фактор успеха радикально правых популистов в европейском политическом пространстве (Опыт качественного сравнительного анализа) // *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*. № 2 (93). С. 108–124.
- Розов Н. С. (2008). Коллегиально разделенная власть и условия поэтапного становления демократии в России // *Полис. Политические исследования*. № 5. С. 74–89.
- Розов Н. С. (2024). Политическая (де)модернизация России 1990-х годов: поворотные события и модели конфликтной динамики // *Полис. Политические исследования*. № 3. С. 142–161.
- Савельев Д. Б. (2021). Коллегиально разделенная власть: определение и критерии // *Сибирский философский журнал*. Т. 19. № 4. С. 87–98.
- Савельев Д. Б. (2022). Становление коллегиально разделенной власти и революции в Западной Европе XIX века // *Сибирский философский журнал*. Т. 20. № 4. С. 67–85.
- Bajomi-Lázár, P. (2014). *Party Colonisation of the Media in Central and Eastern Europe*. Budapest: Central European University Press.
- Baloro J. (1994). The Development of Swaziland's Constitution: Monarchical Responses to Modern Challenges // *Journal of African Law*. Vol. 38. № 1. P. 19–34.
- Beinart W. (2001). *Twentieth-Century South Africa*. Oxford: Oxford University Press.
- Booth A. R. (1983). *Swaziland: Tradition and Change in a Southern African Kingdom*. Boulder: Westview Press.
- Bourne R. (2011). *Catastrophe: What Went Wrong in Zimbabwe?* London & New York: Zed Books.
- Cliffe L., Bush R., Lindsay J., Mokopakgosi B., Pankhurst D., Tsie B. (1994). *The Transition to Independence in Namibia*. Boulder & London: Lynne Rienner Publishers.
- Davies R., O'Meara D. (1985). Total Strategy in Southern Africa: An Analysis of South African Regional Policy since 1978 // *Journal of Southern African Studies*. Vol. 11. № 2. P. 183–211.
- Erasmus G. (2010). The Constitution: Its Impact on Namibian Statehood and Politics // *State, society and democracy: A Reader in Namibian Politics* / Ch. Keulder (ed.). Windhoek: Macmillan Education Namibia. P. 77–107.
- Figueroa V. M. (2013). *Industrial Colonialism in Latin America: the Third Stage*. Lieden, Boston: Brill.
- Good K. (2008). *Diamonds, Dispossession & Democracy in Botswana*. Oxford & Johannesburg: James Currey and Jacana Media.

- Gulbrandsen Ø.* (2012). *The State and the Social: State Formation in Botswana and Its Pre-Colonial and Colonial Genealogies*. New York & Oxford: Berghahn Books.
- Hough M.* (1980). The Frontline states: entente cordiale // *Africa Insight*. Vol. 10. №. 1. P. 45–48.
- Jalata A., Mogalakwe M.* (2019). Botswana: cultural capital, colonial legacy, and the deficits of democracy // *Jalata A. Cultural Capital and Prospects for Democracy in Botswana and Ethiopia*. London & New York: Routledge. P. 73–100.
- Jansen J.D.* (ed.). (2019). *Decolonisation in Universities: The Politics of Knowledge*. Johannesburg: Wits University Press.
- Kaela L. C.W.* (1996). *The Question of Namibia*. London: Palgrave Macmillan.
- Kenrick D.* (2019). *Decolonisation, Identity and Nation in Rhodesia: A Race Against Time*. London: Palgrave Macmillan.
- Khaketla B.M.* (1972). *Lesotho 1970: An African Coup under the Microscope*. Berkely & Los Angeles: University of California Press.
- Krupar Sh.* (2023). *Health Colonialism: Urban Wastelands and Hospital Frontiers*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Logde T.* (2011). Resistance and Reform, 1973–1994 // *The Cambridge History of South Africa* / R. Ross, A. K. Mager, B. Nasson (eds.). Vol. 2. 1885–1994. New York: Cambridge University Press. P. 409–491.
- Machobane L.B.B. G.* (1990). *Government and Change in Lesotho, 1800–1966: A Study of Political Institutions*. London: Palgrave Macmillan.
- Makgala Ch.J., Giollabhui S.M.* (2014). Botswana: Presidential Ambitions, Party Fractions and the Durability of a Dominant Party // *Party Systems and Democracy in Africa* / R. Doorenspleet, L. Nijzink (eds.). London: Palgrave Macmillan. P. 69–86.
- Melber H.* (2014). *Understanding Namibia: The Trials of Independence*. New York: Oxford University Press.
- Munsterhjelm M.* (2023). *Forensic Colonialism: Genetics and the Capture of Indigenous Peoples*. Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press.
- Nohlen D., Kerennerich M., Thibaut B.* (eds.). (1999). *Elections in Africa: A Data Handbook*. New York: Oxford University Press.
- Parsons L.* (2023). *Carbon Colonialism: How Rich Countries Export Climate Breakdown*. Manchester: Manchester University Press.
- Picard L.A.* (1987). *The Politics of Development in Botswana: A Model for Success?* Boulder & London: Lynne Rienner Publishers.
- Potholm Ch.P.* (1972). *Swaziland: The Dynamics of Political Modernisation*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Raftopoulos B., Mlambo A.S.* (eds.). (2009). *Becoming Zimbabwe: A History from the Pre-colonial Period to 2008*. Harare: Weaver Press.
- Ragin Ch.C.* (2014). *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*. Oakland: University of California Press.
- Rihoux B., Ragin Ch.C.* (eds.). (2009). *Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, Inc.

- Ross R. (2008). *A Concise History of South Africa*. Cape Town: Cambridge University Press.
- Southall R. (2005). The 'dominant party debate' in South Africa // *Africa Spectrum*. Vol. 40. № 1. P. 61–82.
- Stedman S. J. (ed.). (1993). *Botswana: The Political Economy of Democratic Development*. Boudler: Lynne Rienner Publishers.
- Summers A. (2016). *Damned Whores and God's Police: The Colonization of Women in Australia*. Sydney: NewSouth Publishing.
- Tesfahun A. T. (2015). The Endurance and Decline of Single Party Dominance in African States: A Case Study of Botswana and Senegal // *Ethiopian Journal of the Social Sciences and Humanities*. Vol. 11. № 1. P. 1–28.
- Thompson L. (2014). *A History of South Africa*. New Haven & London: Yale University Press.
- Valens K. L. (2024). *Culinary Colonialism, Caribbean Cookbooks, and Recipes for National Independence*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Wallace M., Kinahan J. (2011). *A History of Namibia: From Beginning to 1990*. New York: Columbia University Press.
- Wolpe H. (1975). The theory of internal colonialism: the South African case // *Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and Africa* / I. Oxaal, T. Barnett, D. Booth (eds.). London & Boston: Routledge & Kegan Paul. P. 229–252.
- Worden N. (2012). *The Making of Modern South Africa: Conquest, Apartheid, Democracy*. Hoboken: Wiley-Blackwell.

Decolonization of Southern Africa in Light of Collegially Shared Power Conception

Dmitriy Savelyev

Postgraduate Student, Novosibirsk State University

Address: Pirogova 1, Novosibirsk, 630090 Russian Federation

E-mail: d.savelev@ng.su.ru

The formation model of collegially shared power (CSP) through the emergence of internal political forces parity in the conditions of common external geopolitical threats is tested on the material of Southern African countries in the 2nd half of the 20th century. The approach itself is based on the 'geopolitical theory of collegial power' by the American sociologist R. Collins, which describes the processes of formation of new political systems with 'checks and balances' through the centralization of military coalitions. A qualitative comparative analysis (QCA) of decolonization cases in Botswana, Namibia, South Africa, Zimbabwe, Lesotho and Swaziland is conducted on 4 dependent variables: presence/absence of coalition governments, intra-elite repression, government accountability to parliament and the right of the head of state to appoint members of parliament. Decolonization is interpreted as a transition to 'black majority rule' in which the population of a country has the ability, at least nominally, to approve and remove governments through general elections. The results of the analysis show that the previously derived model does not fully describe the cases under study, but,

with the exception of the Botswana case, the emergence of domestic political forces parity during decolonization does correlate with high levels of CSP. It also reveals that the theory of CSP should take into account the experience of political systems with a dominant party. It is concluded that the analysis of the new sampling allowed both to partially confirm the results obtained earlier and to reveal certain limitations of the 'geopolitical theory of collegial power'.

Keywords: decolonization; Southern Africa; collegially shared power; qualitative comparative analysis; separation of powers; political regimes; democratization; transitology

References

- Bajomi-Lázár P. (2014) *Party Colonisation of the Media in Central and Eastern Europe*, Budapest, Central European University Press.
- Baloro J. (1994) The Development of Swaziland's Constitution: Monarchical Responses to Modern Challenges. *Journal of African Law*, vol. 38, no 1, pp. 19–34.
- Beinart W. (2001) *Twentieth-Century South Africa*, Oxford: Oxford University Press.
- Bederson V. (2021) Dorigie moskvichi: kachestvennyj sravnitel'nyj analiz golosovanija za oppoziciju na municipal'nyh vyborah v Moskve v 2017 godu [Dear Muscovites: a Qualitative Comparative Analysis of Voting for the Opposition in the Municipal Elections in Moscow in 2017]. *Bulletin of Perm University. Political Science*, vol. 15, no 4, pp. 75–87.
- Belous Ju., Tarasov A. (2021) Faktory centrobezhnyh tendencij v sovremennoj Ispanii: kachestvennyj sravnitel'nyj analiz [Factors of Centrifugal Political Tendencies in Spain: a Qualitative Comparative Analysis]. *Bulletin of Perm University. Political Science*, vol. 15, no 1, pp. 45–56.
- Booth A. (1983) *Swaziland: Tradition and Change in a Southern African Kingdom*, Boulder: Westview Press.
- Bourne R. (2011) *Catastrophe: What Went Wrong in Zimbabwe?* London & New York: Zed Books.
- Cliffe L., Bush R., Lindsay J., Mokopakgosi B., Pankhurst D., Tsie B. (1994) *The Transition to Independence in Namibia*, Boulder & London: Lynne Rienner Publishers.
- Collins R. (2015) Demokratizacija izвне vnutr': geopoliticheskaja teorija kollegial'noj vlasti [Democratization from Outside. A Geopolitical Theory of Collegial Power]. *Makroistorija: ocherki sociologii bol'shoj dlitel'nosti* [Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run] (ed. R. Collins), Moscow: URSS: LENAND, pp. 196–258.
- Davies R., O'Meara D. (1985) Total Strategy in Southern Africa: An Analysis of South African Regional Policy since 1978. *Journal of Southern African Studies*, vol. 11, no 2, pp. 183–211.
- Erasmus G. (2010) The Constitution: Its Impact on Namibian Statehood and Politics. *State, society and democracy: A Reader in Namibian Politics* (ed. Ch. Keulder), Windhoek: Macmillan Education Namibia, pp. 77–107.
- Figueroa V. M. (2013) *Industrial Colonialism in Latin America: the Third Stage*, Lieden, Boston: Brill.
- Good K. (2008) *Diamonds, Dispossession & Democracy in Botswana*, Oxford & Johannesburg: James Currey and Jacana Media.
- Gulbrandsen Ø. (2012) *The State and the Social: State Formation in Botswana and Its Pre-Colonial and Colonial Genealogies*, New York & Oxford: Berghahn Books.
- Hough M. (1980) The Frontline states: entente cordiale. *Africa Insight*, vol. 10, no 1, pp. 45–48.
- Jalata A., Mogalakwe M. (2019) Botswana: cultural capital, colonial legacy, and the deficits of democracy. *Cultural Capital and Prospects for Democracy in Botswana and Ethiopia* (ed. A. Jalata), London & New York: Routledge, pp. 73–100.
- Jansen J. D. (ed.) (2019) *Decolonisation in Universities: The Politics of Knowledge*, Johannesburg: Wits University Press.
- Kaela L. (1996) *The Question of Namibia*, London: Palgrave Macmillan.
- Kamati N. (2015) *Politicheskie problemy razvitiya v stranah regiona juga Afriki (Zimbabwe, Namibija i JuAR) posle likvidacii kolonializma i aparteida* [Political Problems of Development in the Countries of Southern Africa Region (Zimbabwe, Namibia and RSA) after Liquidation of Colonialism and Apartheid] (PhD Thesis), Moscow: Institute for African Studies.

- Kenrick D. (2019) *Decolonisation, Identity and Nation in Rhodesia: A Race Against Time*, London: Palgrave Macmillan.
- Khaketla B. (1972) *Lesotho 1970: An African Coup under the Microscope*, Berkely & Los Angeles: University of California Press.
- Krupar Sh. (2023) *Health Colonialism: Urban Wastelands and Hospital Frontiers*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Logde T. (2011) Resistance and Reform, 1973–1994. *The Cambridge History of South Africa*, vol. 2. 1885–1994 (eds. Ross R., Mager A., Nasson B.), New York: Cambridge University Press, pp. 409–491.
- Machobane L. (1990) *Government and Change in Lesotho, 1800–1966: A Study of Political Institutions*, London: Palgrave Macmillan.
- Makgala Ch., Giollabhui S. (2014) Botswana: Presidential Ambitions, Party Fractions and the Durability of a Dominant Party. *Party Systems and Democracy in Africa* (eds. R. Doorenspleet, L. Nijzink), London: Palgrave Macmillan, pp. 69–86.
- Marx A., Rihoux B., Ragin Ch. (2015) Istoki, razvitie i primenenie kachestvennogo sravnitel'nogo analiza: opyt pervyh 25 let [The Origins, Development, and Application of Qualitative Comparative Analysis: the First 25 Years]. *Moscow Yearbook of Works from Social Science Disciplines*, no 5, pp. 319–350.
- Melber H. (2014) *Understanding Namibia: The Trials of Independence*, New York: Oxford University Press.
- Meleshkina E. (2015) Vozmozhnosti kachestvennogo sravnitel'nogo analiza (QCA) dlja issledovaniya postkommunisticheskikh transformacij [Possibilities of Qualitative Comparative Analysis (QCA) in the Study of Post-Communist Transformations]. *Moscow Yearbook of Works from Social Science Disciplines*, no 5, pp. 351–373.
- Mihev A. (2022) Faktory uchastija «zeljonyh» partij v pravitel'stvah stran Zapadnoj Evropy v XXI veke [Factors of Green Parties' Participation in Governments of West European Countries in the XXI century]. *Perm University Herald. Political Science*, vol. 16, no 1, pp. 74–83.
- Mukhametov R. (2023) Mezhdunarodnye faktory demokratizacii postsovetских gosudarstv: primenenie kachestvennogo sravnitel'nogo analiza [International Factors of Democratisation of Post-Soviet States: Using FSQCA]. *Vestnik of Saint Petersburg University. International Relations*, vol. 16, no 4, pp. 348–366.
- Munsterhjelm M. (2023) *Forensic Colonialism: Genetics and the Capture of Indigenous Peoples*, Montreal & Kingston: McGill-Queen's University Press.
- Nohlen D., Kerennerich M., Thibaut B. (eds.) (1999) *Elections in Africa: A Data Handbook*, New York: Oxford University Press.
- Ostroverhov A. A. (2017a) V poiskah teorii odnopartijnogo gospodstva: mirovoj opyt izuchenija sistem s dominantnoj partiej (I) [In Search of a One-Party Dominance Theory: World Experience in the Study of Systems with Dominant Party (I)]. *Politeia. Journal of Political Philosophy and Politics*, no 3, pp. 136–153.
- Ostroverhov A. A. (2017b) V poiskah teorii odnopartijnogo gospodstva: mirovoj opyt izuchenija sistem s dominantnoj partiej (II) [In Search of a One-Party Dominance Theory: World Experience in the Study of Systems with Dominant Party (II)]. *Politeia. Journal of Political Philosophy and Politics*, no 4, pp. 133–149.
- Parsons L. (2023) *Carbon Colonialism: How Rich Countries Export Climate Breakdown*, Manchester: Manchester University Press.
- Picard L. (1987) *The Politics of Development in Botswana: A Model for Success?* Boulder & London: Lynne Rienner Publishers.
- Potholm Ch. (1972) *Swaziland: The Dynamics of Political Modernisation*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Pozhidaeva E. (2019) Partijnye strategii kak faktor uspeha radikal'no pravyh populistov v evropejskom politicheskom prostranstve (Opyt kachestvennogo sravnitel'nogo analiza) [Party Strategies as Success Factor of Radical Right Populists in European Political Space (Qualitative Comparative Analysis)]. *Politeia. Journal of Political Philosophy and Politics*, no 2, pp. 108–124.
- Raftopoulos B., Mlambo B. (eds.) (2009) *Becoming Zimbabwe: A History from the Pre-colonial Period to 2008*, Harare: Weaver Press.

- Ragin Ch.C. (2014) *The Comparative Method: Moving Beyond Qualitative and Quantitative Strategies*, Oakland: University of California Press.
- Rihoux B., Ragin Ch.C. (eds.) (2009) *Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques*, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, Inc.
- Ross R. (2008) *A Concise History of South Africa*, Cape Town: Cambridge University Press.
- Rozov N. (2008) Kollegial'no razdeljonnaja vlast' i uslovija pojetapnogo stanovlenija demokratii v Rossii [Collegially Shared Power and the Conditions of Democracy in Russia in the Making Stage by Stage]. *Polis. Political Studies*, no 5, pp. 74–89.
- Rozov N. (2024) Politicheskaja (de)modernizacija Rossii 1990-h godov: povorotnye sobytija i modeli konfliktnoj dinamiki [Political De(Modernization) of Russia in the 1990th: Turning Events and Models of Conflict Dynamics]. *Polis. Political Studies*, no 3, pp. 142–161.
- Savelyev D. (2021) Kollegial'no razdeljonnaja vlast': opredelenie i kriterii [Collegially Shared Power: Definition and Criteria]. *Siberian Journal of Philosophy*, vol. 19, no 4, pp. 87–98.
- Savelyev D. (2022) Stanovlenie kollegial'no razdeljonnej vlasti i revoljucii v Zapadnoj Evrope XIX veka [Establishing of Collegially Shared Power and Revolutions in Western Europe of XIX century]. *Siberian Journal of Philosophy*, vol. 20, no 4, pp. 67–85.
- Southall R. (2005) The 'dominant party debate' in South Africa. *Africa Spectrum*, vol. 40, no 1, pp. 61–82.
- Stedman S. (ed.) (1993) *Botswana: The Political Economy of Democratic Development*, Boudler: Lynne Rienner Publishers.
- Summers A. (2016) *Damned Whores and God's Police: The Colonisation of Women in Australia*, Sydney: NewSouth Publishing.
- Tesfahun A. (2015) The Endurance and Decline of Single Party Dominance in African States: A Case Study of Botswana and Senegal. *Ethiopian Journal of the Social Sciences and Humanities*, vol. 11, no 1, pp. 1–28.
- Thompson L. (2014) *A History of South Africa*, New Haven & London: Yale University Press.
- Valens K.L. (2024) *Culinary Colonialism, Caribbean Cookbooks, and Recipes for National Independence*, New Brunswick: Rutgers University Press.
- Wallace M., Kinahan J. (2011) *A History of Namibia: From Beginning to 1990*, New York: Columbia University Press.
- Wolpe H. (1975) The theory of internal colonialism: the South African case. *Beyond the Sociology of Development: Economy and Society in Latin America and Africa* (eds. I. Oxaal, T. Barnett, D. Booth), London & Boston: Routledge & Kegan Paul, pp. 229–252.
- Worden N. (2012) *The Making of Modern South Africa: Conquest, Apartheid, Democracy*, Hoboken: Wiley-Blackwell.

Удачно (не)совпало: диалогическая модель рефлексивности в когнитивной социологии

Ульяна Семовских

Студентка социологического факультета Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка).

Адрес: Газетный пер., д. 3-5, стр. 1, Москва, 125009 Российская Федерация

E-mail: semovskikh-us@universitas.ru

Когнитивная социология обещает пополнить ряды тех наук о поведении, которые уже стали частью когнитивного поворота в гуманитарных дисциплинах (напр.: психологии, философии, лингвистики). Основная идея этого направления заключается в признании социальной природы процессов мышления, познания и памяти. Настоящая работа призвана добавить когнитивное измерение к классическому для социологии вопросу социального действия.

В теории социального действия, вдохновленной тезисами, заимствованными из когнитивных наук, принято различать два типа практических установок: нерефлексивную и рефлексивную. Первая обозначает автоматическое телесное «знание-как», или привычные паттерны действия, в то время как вторая определяется как делиберативное «знание-что», или дискурсивные идеи и суждения. Целью данного исследования является экспликация перехода от одного к другому — от автоматизма к делиберации. Конвенциональное объяснение предполагает, что необходимым условием рефлексивности является некоторая проблематичность. И, напротив, рутинная реализация действия не требует дополнительного осмысления. Такого рода суждения распространены, но недостаточно инклюзивны: они не теоретизируют повседневное, привычное действие как возможный триггер делиберации. Представленная в работе концептуализация перехода к рефлексивности рассматривает и «проблематичность», и «рутину» как потенциальные локусы рефлексивности. Для этого здесь последовательно конструируется модель диалогичности когнитивных и аффективных оснований рефлексивности.

Работа состоит из нескольких частей. Сначала из теории практик и классического прагматизма при помощи концепции интереса выводится когнитивное основание понятия рефлексивности. Затем разрабатывается его аффективное основание, которое отвечает за эмоциональную значимость предмета осмысления. Функционально различные диалогические сочетания когниции и аффекта собраны в четырехчастную типологию рефлексивности. Данная типология призвана указать на эпистемический потенциал когнитивной социологии для исследования социального действия.

Ключевые слова: когнитивная социология, рефлексивность, социальное действие, совпадение, несовпадение, интерес, аффект, привычка

Когнитивная наука с начала своего формирования заявляла о себе как о междисциплинарной области исследования человеческого мышления и познания. Ее «федеративный» характер претендовал на взаимовыгодную инклюзию целого эшелона наук; в первую очередь психологии, лингвистики, антропологии (Lizardo, 2014: 986). Идея когнитивного поворота, который с разной степенью «успеха» произошёл в каждой из них, была призвана уравнивать различные дисциплины в их эпистемическом статусе и обеспечить взаимовыгодный обмен между ними

под эгидой зонтичного образования — когнитивных социальных наук. Место самой социологии, точнее одного из ее направлений — когнитивной социологии, — в этом ряду еще не определено; изучение познания с социологических позиций выглядит пока незначительным.

Так называемый «когнитивный поворот в социологии» (Fuller et al., 1989), достижения которого лежат в основе настоящей работы, ведет свое происхождение от классических направлений: феноменологии, прагматизма, теории практик, критической теории, дюркгеймианства и др. (Stydom, 2007). Основопологающей предпосылкой когнитивной социологии служит социальный характер процессов познания (Zerubavel, 1997). Когнитивные исследования, балансирующие между индивидуалистской редукцией мышления к сугубо субъективной операции и универсалистской попыткой описать общие когнитивные стандарты, упускают из вида те культурные условия, в которых люди «вынуждены» познавать мир. Обогащающая когнитивизм социологическая оптика позволяет говорить о том, что закономерности познания являются артефактами коллективного взаимодействия. Иными словами, когнитивная социология ставит своей целью связать две перспективы: культуры и механизмов познания. Их синтез выражен в инструментальном понимании культуры, или «culture in use» (DiMaggio, 1997). Мы «используем» различные формы культуры при классификации, запоминании и припоминании, распределении внимания, в суждении и действии.

Программу ранних исследований в области когнитивной социологии можно достаточно условно разделить на «слабую» и «сильную» (Stydom, 2007; Серебренников, 2023). Первая отсылает к трудам заслуженных профессоров Ратгерской школы Эвиатара Зерубавеля (1991), Карен Серуло (2002), Уэйна Брекхуса (1998; 2015). С некоторыми допущениями, основным исследовательским интересом представителей «слабой» программы можно считать способы организации когнитивных категорий. В повседневной жизни люди мыслят классификациями, которые по-разному делят одну и ту же реальность на «архипелаги смыслов» (Zerubavel, 1997: 56) и подчиняются определенным когнитивным стилям. Например, мы используем топологические категории «близкий» и «далекий», чтобы оправдать свое желание или нежелание контактировать с человеком, или ограждаем регионы науки дисциплинарными «стенами», определяя, какие работы нарушают дисциплинарные границы, а какие нет (Zerubavel, 1991: 15). Будучи прямым наследником гофмановского интеракционизма, «слабый» подход в когнитивной социологии отличается вниманием к смыслам и ментальным репрезентациям, тогда как «сильный» подход инспирирован точными науками — нейропсихологией и биологией — и предполагает, что протекание социальных процессов зависит от нейронных связей и работы головного мозга. «Сильная» программа критикует «слабую» за приверженность конструктивизму и релятивизму и утверждает, что они противоречат достижениям нейронаук (Turner, 2002; Серебренников, 2023). В качестве потенциального решения Тернер предлагает переопределить центральные для социологической теории понятия с помощью концепции коннективизма,

в оптике которого люди являются сложными нейронными сетями, чьи модификации связаны с индивидуальной историей обучения — «привычками».

В современной западной академии споры о роли когнитивистики в социологии постепенно сходят на нет, уступая место успешной ассимиляции когнитивной социологии теорией действия. Когнитивистские аргументы становятся ее естественной основой, опирающейся на наследие критической социологии П. Бурдьё и американский прагматизм (Martin, 2009; Lizardo, Strand, 2010; Vaisey, 2009). Эта третья линия теоретизации, чьим примером следует считать данное исследование, является более широким проектом, претендующим на звание «большой» теории социального действия¹.

Одним из центральных для когнитивной теории действия сюжетов является мотивация. Так называемые репрезентационные подходы² к толкованию социального действия путем соотнесения его с ценностями (Парсонс, Шилз, Олдс, 2002) или правилами (Martin, 2015) объявляются слишком сложными для того, чтобы объяснить повседневное поведение людей (Strand, Lizardo, 2015). Истоки этой критики следует искать в классическом тексте Ч. Р. Миллса (1940) о «словах мотивов». Критикуя социологическое объяснение действия через якобы присутствующие актору мотивы, Миллс переопределяет мотивы как аккаунты³ действия, производимые актерами постфактум. Они всегда оказываются произвольным следствием, то есть «не причиной, а эффектом» действия (Martin, 2011; 310). Как пишет М. Джиннрод, «в большинстве случаев мы вообще не осознаем собственных действий» (Jeannerod, 2006: 25), и нам не требуется объяснять каждый свой шаг. Как правило, неосознанной привычки, сформированной в череде повторяющихся взаимодействий актора со средой, достаточно для совершения ситуационного действия⁴. Нерефлексируемое действие в такой логике не нуждается в четко сформулированной мотивации и отсылкам к правилам или ценностям⁵. А социологические объяснения социального действия, апеллирующие к таким сложным конструкциям, оказываются недостаточно надежными.

Практическая привычка, с одной стороны, и ее объяснение, с другой, складываются в ключевое концептуальное различие. Первый его элемент можно определить как нерефлексируемую компетенцию для действия, а второй — как способность актора описать это действие. Примерами подобных дуальных моделей являются: дискурсивное и практическое сознание (Lizardo, Strand, 2010:

1. «Социальное действие» и «действие» будут использоваться как взаимозаменяемые.

2. Дж. Л. Мартин относит репрезентационный подход к «классической теории действия» [«good old-fashioned action theory»], где сознательная мотивация предвосхищает действие: «Сперва тебе нужно сказать себе, что ты собираешься это сделать, а уже потом сделать это!» (Martin, 2015: 218).

3. Аккаунтом [account] о действии называется то его описание/объяснение, которое предоставляется самими актерами (Garfinkel, 1967).

4. Среда и ситуация — это понятия, заимствованные из прагматической традиции. Их пояснению посвящен следующий раздел текста.

5. По этой же причине, в сущности, никакая сложно организованная символическая система не способна дать правдоподобное объяснение действию. Правила или ценности «являются данными для наших объяснений, но сами они не объясняют данные» (Martin, 2019: 122; см. также: Martin, 2011)

216), репрезентационная и практическая установка [belief] (Strand, Lizardo, 2016), дуально-процессуальная модель, сочетающая делиберативный и интуитивный модусы (Vaisey, 2009; Stoltz, Lizardo, 2017)⁶. Различия в наименованиях не представляются существенными с концептуальной точки зрения, поэтому здесь и далее для нужд данного исследования я редуцирую их к лаконичному различению нерефлексивного (привычного) и рефлексивного (делиберативного) модусов. Важно, что нерефлексивный модус является практическим, телесным «знанием-как» («know-how») (Strand, Lizardo, 2016: 7). К рефлексивному модусу относится «знание-что» («know-that's») или абстрактное дискурсивное знание (по-другому, «justifications»)⁷ (Lizardo, 2016: 4). Данная работа посвящена экспликации оснований перехода от первого ко второму.

Нужда в осмыслении появляется у актора только тогда, когда ситуация становится «проблематичной», а привычное действие затруднительным. Гарфинкель объясняет этот эффект поломкой «здорового смысла» (Garfinkel, 1967). Для П. Ди-Маджио рефлексивному мышлению свойственно внимание актора к проблеме, связанной с нарушением понятных «правил игры» и неспособностью когнитивных схем «адекватно отреагировать на новые стимулы» (DiMaggio, 1997: 271–272). Одной из наиболее подробных попыток теоретизации смены нерефлексивного модуса на рефлексивный является концепция *совпадения* (match) и *несовпадения* (mismatch) (Strand, Lizardo, 2016). Под первым понимается воспроизведение практической привычки, которое воспринимается как само собой разумеющееся, а под вторым — разрыв между действием и изменившимися условиями среды, в которой оно разворачивается. В такой модели, как и в других вышеперечисленных, только несовпадение, обозначающее «проблематичность», выступает основой для рефлексивной переориентации действия. Радикальное несовпадение рассматривается как стимул к делиберации (Strand, Lizardo, 2016: 25). Совпадение, напротив, не пересекает порога рефлексивности.

Тезис о проблематичности, которая становится источником рефлексивности, разделяется целым рядом авторов и не нуждается в оспаривании. Однако представление о том, что *совпадение* не рефлексивируется, не кажется очевидным. В действительности некоторые авторы не отрицают возможность рефлексии в совпадении, но и не дают ей объяснения. Так, Джон Леви Мартин пишет о том, что в некоторых случаях акторы не только действуют в соответствии с привычными практическими закономерностями, но и могут их осмыслить (Martin, 2011: 303). А иногда и сама среда, в которой происходит действие, способствует «непроблематичной» делиберации, не выходящей за рамки повседневности (Leschziner, Green, 2013: 123). В большинстве случаев высказывания такого рода, если они и встреча-

6. Некоторые модели включают в себя дополнительные измерения по типу публичной и персональной культуры (Lizardo, 2016: 6) или эксплицитной и имплицитной культуры (Simko, Olick, 2020: 442). Суть, однако, и здесь остается той же — базовое различие рефлексивности и нерефлексивности сохраняется, но в отчасти измененной конфигурации. Этот факт, в сущности, не является для данной работы важным.

7. «Justifications» (англ.) — обоснования действия (см., напр.: Болтански, Тевено, 2006).

ются, скорее указывают на возможность рефлексии относительно совпадения, но не концептуализируют ее. Поскольку существующие исследования уже содержат часть необходимых предпосылок, я буду утверждать, что теоретизация делиберации в случае совпадения возможна.

Мой главный тезис заключается в том, что в определенных условиях не только несовпадение, но и *совпадение может стать точкой рефлексивной переориентации*. Далее я предложу ответ на вопрос о том, *что лежит в основании рефлексивности в ситуациях (не)совпадения*⁸.

Исследование состоит из четырех частей, в которых последовательно конструируется объяснительная модель, которая: а) проясняет, что предвосхищает делиберацию; б) является более инклюзивной в отношении совпадения. Я укажу на *два основания рефлексивности в (не)совпадении — когнитивное и аффективное*. В первой части я изложу теоретические основания работы, укорененные в теории практик и прагматизме. Вторая часть посвящена когнитивному основанию рефлексивности, а именно концепции интереса — механизму обращения внимания на что-либо (Martin, Lembo, 2020). В третьей части предлагается рассуждение об аффективных основаниях рефлексивности, которые обеспечивают эмоциональную значимость предмета осмысления. Наконец, в четвертой главе отношения между когнитивным и аффективным основаниями наделяются диалогическим статусом. Это означает, что эмоциональный отклик становится возможен только благодаря интересу актора к социальной интеракции; и, наоборот, обращение внимания на что-либо может быть осмыслено только потому, что объект интереса эмоционально значим. Разные комбинации двух оснований составляют вариации (не)совпадений, свидетельствующих о переходе от нерефлексивного модуса к рефлексивному.

Теоретические основания когнитивной теории действия

Культура в дюркгеймианском смысле, понимаемая как набор коллективных смыслов и верований, все чаще заменяется перспективой «культуры в действии» (Swidler, 1986). Необходимость радикального переопределения культуры стала следствием заимствованного из когнитивных наук аргумента о когнитивной ограниченности (cognitive misery) (Martin, 2011: 229; Lizardo, Strand, 2010: 205; Norton, 2018). Буквально он означает, что даже если культура является комплексной сетью значений, то в таком виде она точно не поместится в разуме человека. Нагромождения дискурсов, идеологий и смыслов просто не могут целиком храниться в памяти индивида и «руководить» оттуда социальным действием. Одним из ответов на призыв когнитивной социологии к переопределению культуры становится фрагментация разных ее форм между парой областей — сознанием и средой. Фрагментация в этом тезисе отсылает к среде, понимаемой прагматиче-

8. Далее я буду использовать сокращение «(не)совпадение», имея в виду «совпадение & несовпадение».

ски, и к двум онтологическим порядкам Бурдьё — социальной и ментальной (или когнитивной) структурам (Bourdieu, 1996: 1).

Среда, в которой разворачивается действие, является *средой-для-действия*, так как вещи, с которыми человек взаимодействует, являются его средой» (Дьюи, 2000: 17). То, что имеет практический смысл, *не есть нейтральное* в том смысле, что практическое значение того, с чем индивид непосредственно взаимодействует, «зависит не столько от самих объектов, сколько от наших представлений (constitutions)» об этих объектах (Martin, 2015: 238). Эти представления не находятся в человеческом сознании, а отдаются на «подряд» и являются *внешними* по отношению к актору культурными «подпорками» (scaffoldings) (Lizardo, Strand, 2010). Если, сидя за банкетным столом, вы не кладете на него локти, то происходит это вовсе не потому, что вы каждый раз сознательно напоминаете себе об этом правиле, а из-за того, «кто вокруг него [стола] сидит»⁹ (Martin, 2015: 233) (курсив мой. — У.С.)¹⁰. Мир уже явлен таким образом, что нам остается только распознать его упорядоченность — не такая уж и когнитивно затратная задача!

Социальные структуры, в свою очередь, манифестируются на уровне структур когнитивных (Bourdieu, 2000: 152). Когнитивные структуры не являются копиями социальных, а представляют собой онтологически отличные феномены — когнитивные машинерии. К таким относятся, например, перцепция, первичные классификации, телесные привычки — процессы узнавания практической упорядоченности среды. Важно понимать, что «это не осознанные формы, а телесные диспозиции» (Bourdieu, 2000: 176). На стыке между когнитивными и социальными структурами, а именно при взаимодействии актора со средой, производится действие, которое при должной регулярности становится устойчивой поведенческой закономерностью. Или *совпадением* между «имплицитными, воплощенными диспозициями и внешними институциональными средами» (Lizardo, Strand, 2010: 213).

В когнитивных реверансах в сторону теории действия принято считать, что совпадение или воспроизведение практической привычки *не требует рефлексии a priori* действия; именно поэтому оно проходит по критерию когнитивной ограниченности. Мир и действие в нем в каждой последующей социальной ситуации воспринимаются актором как *самоочевидные* (Bourdieu, 1998: 67).

Обратная ситуация описывается концепцией несовпадения (Strand, Lizardo, 2016). Считается, что рефлексивная переориентация действия или дополнительные усилия по его объяснению становятся необходимыми только тогда, когда действие перестает быть адекватным изменившимся условиям среды. Другими

9. Разумеется, речь не идет о подражании Другому, а о позиции, занимаемой актором в поле. Стол кажется слишком вычурным для того, чтобы класть на него локти только потому, что он, например, является частью светского приема влиятельных благотворителей. Это тем не менее не отменяет того факта, что не-действие «не класть локти на стол» — это непосредственное взаимодействие актора и конкретного стола в конкретной ситуации.

10. Материальные вещи, абстрактные идеи (напр., демократия), события, объединения людей представлены в интересубъективном опыте как нечто цельное и упорядоченное, потому что их упорядоченность является продуктом социальной структуры, о которой говорит Бурдьё.

словами, ожидания более не отвечают объективным шансам (Bourdieu, 2000: 217). Социальная среда не советуется с нами прежде, чем измениться, поэтому именно несовпадение принято считать «локацией» делиберации.

«Систематическое производство *совпадений* и *несовпадений*» предлагается рассматривать в роли аналитической единицы — центрального механизма социального действия в когнитивной перспективе (Strand, Lizardo, 2016). Эта позиция, по той причине, что она охватывает как проблемные ситуации, так и совершенно рутинные, кажется более подходящей для нужд настоящего исследования. Однако данная позиция упускает из виду сущность того, что составляет условия (не) совпадения. Более того, *совпадение оказывается лишенным возможности вызвать последующую делиберацию*. Для того чтобы заполнить эти ниши, я, оставаясь в обозначенной выше области теории практик, займусь теоретическим осмыслением конкретных предпосылок перехода к рефлексии. Первым его основанием, которое я назову когнитивным, станет концепция интереса.

Интерес: когнитивное основание рефлексивности

Какими качествами должно обладать «нечто», чтобы это «нечто» могло быть рефлексивно осмыслено? Если верить тому, что рефлексивность производится *post hoc* и является «надстройкой» над обыкновенной практикой, то нужно также признать, что практические привычки с необходимостью предшествуют как самому действию, так и его рефлексивному осмыслению (Joas, 1996: 163; Strand, Lizardo, 2015). Сама возможность рефлексии обусловлена серией *нерефлексивных* выборов, совершенных в прошлом: «нам остается только оглядеться вокруг, чтобы понять, куда мы уже направили себя благодаря предыдущим действиям» (Martin, 2015: 222). Рефлексивность, иными словами, есть необязательное дополнение к поведенческой привычке.

Чтобы иметь шанс быть осмысленным, взаимодействие актора с объектом должно как минимум обладать для первого практическим смыслом. Оно должно выделяться из неразличимой массы своей причастностью к социальному действию здесь-и-сейчас. Способность актора *обращать внимание*, то есть практически задействовать и воспринимать как релевантное (см., напр.: Zerubavel, 1993¹¹), можно считать когнитивным механизмом, предвосхищающим саму возможность делиберации.

Одни объекты действительно привлекают наше внимание сильнее, чем остальные; одни объекты мы замечаем гораздо чаще, чем целый ворох других. «Мы воспринимаем отдельные элементы социальной жизни как выделяющиеся (*marked*) фигуры, в то время как большая часть нашего социального ландшафта сливается

11. В относительно раннем тексте Зерубавель (1993) вводит концепцию *horizons*, которая выступает первичным фильтром того, что попадает в перцептивное и сознательное внимание актора. Похожим значением обладает «горизонт событий» в теории событий Филиппова (2006); события, в него не входящие, неразличимы для данной событийной организации.

с фоном» (Brekhus, 1998: 35). Подробно работу такого механизма описывают Мартин и Лембо (2020), называя ее *интересом*. Объекты с его помощью становятся *заметными* для актора. Однако подразумеваемый здесь интерес не имеет ничего общего с расхожей трактовкой одноименного феномена, ставшего «жертвой» утилитаристских экономических концепций рационального выбора (см., напр.: Spillman, Strand, 2013). Если интерес — это интерес к объекту, укорененный в действии, то преследовать его могут далеко не только эгоистические акторы. Микроскоп представляет непосредственный интерес для микробиолога, а родители представляют интерес для ребенка (Dewey, 1998: 344).

Мартин и Лембо описывают феномен интереса двойственно: как «having an interest in» и как «taking an interest in» к объекту (Martin, Lembo, 2020: 74). Подобные отношения с объектами сложно назвать равноправными; какие-то объекты заметны сами по себе, а какие-то заметны нам только из-за того, кем мы являемся. В связи с этим Мартин и Лембо, опираясь на концепции из когнитивной психологии (Hidi, Renninger, 2006), предлагают континуум интереса — от *ситуационного* (situational) к *персональному* (individual) (Martin, Lembo, 2020: 79). Первый отсылает к атрибуции интереса собственным «характеристикам события или возникающего объекта», а второй — к диспозициональным качествам самого индивида (Martin, Lembo, 2020: 79). Продуктивных экспликаций этого различия или попыток осмысления интереса как когнитивного феномена в социологии не наблюдается, поэтому я возьму на себя смелость предложить проекцию интереса на концепцию (не)совпадения. Интерес, подсвечивающий определенные зоны социального ландшафта, играет сразу две роли: 1) универсального инструмента обращения внимания и 2) механизма, который работает в ситуациях несовпадения и совпадения по-разному.

Интерес является первым конститутивным элементом (не)совпадения, предвосхищающим действие и последующую рефлексия. Привычки или габитус, выполняющие схожую роль в объяснительных моделях Бурдьё и его последователей, не дают достаточно подробного ответа на вопрос о том, что участвует в производстве рефлексии и причастно ли к этому совпадение.

Ситуационный интерес как медиатор несовпадения

Несовпадение является результатом возникающей рассинхронизации между «практической установкой и институциональными закономерностями с разными темпоральностями» (Strand, Lizardo, 2016: 8). Поведенческая привычка, приобретенная актором за пределами конкретной проблемной ситуации когда-то в прошлом, сталкивается с актуальными изменениями в среде. Некоторая «проблемность» детрутинирует ситуацию, трансформируя ее в задачу, требующую делиберативного вмешательства. Как правило, в центре соответствующих исследований оказываются рефлексивные практические установки (Strand, Lizardo, 2016), или дискурсы и нарративы, используемые акторами для объяснения (Swidler, 2001), но не конститутивные элементы самого несовпадения.

Предметом рефлексии для акторов, включенных в ситуацию, могут стать только те объекты, которые им интересны или заметны. В случае несовпадения, в центре которого оказывается изменение среды, справедливо говорить о том, что интерес смещается к ситуационному полюсу одноименного континуума (Martin, Lembo, 2020). *Проблематичность воспроизведения привычки, которая сопровождает несовпадение, привлекает ситуационный интерес.*

Определенные ситуации, «захватывают наше внимание — они ориентируют нас в свою сторону и имеют способность “привлекать”» (Martin, Lembo, 2020: 79). В таких ситуациях отношения между актором и социальным объектом являются «исходно интересными» (Martin, Lembo, 2020: 81) в том значении, что мы *научились обращать на них внимание* в момент, когда они появляются. Ситуационный интерес, таким образом, воплощен в самом объекте и его ситуационном практическом смысле¹². Для опытного грибника, которому известно, что под кучкой листвы должны находиться грибы, обнаружение там последних станет сюрпризом, который «перетянет» на себя внимание. Такой интерес достаточно слабо связан с диспозициональными качествами актора, поскольку он всего лишь стимулирует чувствительность к порядку и беспорядку в определенном регионе практик (Bourdieu, 2000: 148)¹³. В том, что здесь называется несовпадением, интерес ассоциируется не с паттерном привычного действия, а со способностью актора замечать «неправильность» ситуации. Будучи включенными в «игру» (находясь в поле), мы так или иначе способны обнаружить внезапное изменение в ее правилах. И, наоборот, «безразличный человек “не поймет, зачем другие играют”» (Bourdieu, 1998: 77); изменения среды останутся для него в немаркированной зоне, потому что попросту неинтересны. Отношения с объектом конституируют несовпадение тогда, когда изменение практического смысла этого объекта мешает воспроизведению привычных практик. *Ситуационный интерес может быть понят как инструмент обращения внимания на то, что стало проблематичным.*

Персональный интерес как медиатор совпадения

Совпадение, напротив, сопровождается рутинным воспроизведением практик, когда «практическая установка “формирует и канализирует” действие» (Strand, Lizardo, 2016: 6). Ссылаясь на тезис о cognitive misery, следует заметить, что рефлексивность в такой ситуации скорее редка, однако не непредставима. По аналогии с несовпадением, первичным шагом к осмыслению становится интерес. Поскольку в этом случае привычку формируют диспозициональные качества самого

12. В мидовской (1972) иллюстрации с атакующей собакой ее поведение привлекает наше внимание как происходящее в настоящем моменте. Например, как обстоятельство, которое не входило в наши планы по перемещению из точки А в точку В, но теперь вынуждает нас пойти в обход, более долгим путем.

13. Так, изменения во французской системе высшего образования, кардинальным образом трансформировавшие соответствующее поле, ситуационно интересовали тех, кто имел к этому полю какое-то отношение, то есть, например, профессоров, студентов и абитуриентов (Бурдьё, 2018).

актера, интерес принимает персональную форму; мне интересен объект А, потому что *я тот человек, которому положено им интересоваться*.

Интерес в этом случае минимально контингентен: «желание и *интерес* не даны нам в готовом виде», они «возникают из предшествующей системы деятельности» (Dewey, 1939: 54) (курсив мой. — У.С.). Для грибника — случайного героя иллюстрации — обнаружение гриба под кучей листьев свидетельствует о совпадении, посредством которого он регулярно подтверждает свое звание профессионала. Интерес к игре означает «участие в ней, признание того, что <...> игра “стоит свеч”» (Bourdieu, 1998: 77). Положение актора в поле предоставляет ему естественную возможность понимания «ставок» и «призовых». Персональный интерес, следовательно, является нерефлексивной компетенцией узнавания, которое находится вонне момента взаимодействия, но связано с персональной историей взаимодействия конкретного актора с конкретным объектом. Или, как об этом пишут Мартин и Лембо: «Мы также можем стать заинтересованными в чем-то по причине собственного вклада (investment)» (Martin, Lembo, 2020: 81). Взаимодействие с объектом привлекает наше внимание, потому что оно необходимо для воспроизведения навыка и утверждает компетенцию актора в этом навыке.

Недорефлексивность: незамеченный аргумент

Концепция интереса объединяет в себе все те когнитивные машинерии, которые обычно не интересуют нас как социологов сами по себе, но которые становятся сложно игнорировать, когда мы пытаемся объяснить социальное действие. Мотивацией действия выступает интерес к объекту — способность атрибутировать ему практический смысл, выделив его тем самым из того, что остается незамеченным. Внимание к ситуации является базовым условием любого взаимодействия, поэтому справедливо считать, что и рефлексии тоже. Однако одного лишь интереса не может быть достаточно для перевода ситуации в рефлексивный модус¹⁴. *Рефлексивное* доступно только тогда, когда базовое условие внимания к объекту обретает особую для актора *значимость* (Martin, 2015: 229). Что означает интерес для самого актора? И что позволяет ему закрепиться за конкретным объектом таким образом, что отношение с ним становится рефлексивным?

Развивая ряд присущих когнитивной социологии идей (Abrutyn, Lizardo, 2020), а также тезисы из смежных направлений (напр., когнитивной и культурной антропологии (Strauss, Quinn, 1997), нейронауки (Damasio, 1994)), я назову значимым *аффективный компонент* взаимодействия. Объяснительные модели, опирающиеся на привычки и практики, сознательно или нет, упускают «самый примечательный факт — сознание и эмоции неотделимы друг от друга» (Damasio, 1999: 16). Отношение с социальным объектом может вызывать тревогу, восторг или грусть,

14. Главным образом потому, что интерес отвечает за интенцию взаимодействия с объектом, но необязательно рефлексивную. Феномен интереса предлагается в качестве замены более когнитивного затратным теоретизациям действия, например, с опорой на ценности (Martin, Lembo, 2020).

и именно эти эмоции оказываются одним из центров притяжения интереса, который способен трансцендировать повседневную ситуацию. Сформулированный таким образом тезис оказывается более инклюзивным, потому что не исключает возможность рефлексии в ситуациях, охарактеризованных совпадением. В действительности практическое «знание-как» остается нерелексивным, однако это не означает, что то, что не проговаривается, вообще не может быть проговорено («that the unsaid is unsayable») (Strauss, Quinn, 1997: 45) (см. также: Martin, 2019: 119). И несовпадение, и совпадение, будучи зафиксированными, должны одновременно сопровождаться определенным аффектом. Необходимый тезис о том, что эмоции имманентны релексивному суждению, обнаруживается в смежных, но совершенно разных исследовательских полях, с некоторыми допущениями объединяемых зонтичным термином «когнитивистика» (Damasio, 1994; Haidt¹⁵, 2001; Lakoff, Johnson, 1999). Так, например, концепция интереса, созвучная приведенной выше, но заимствованная из когнитивной психологии, учитывает и эмоциональный элемент познания (Hidi, Renninger, 2006)¹⁶. Рассмотрение аффекта в качестве полноправного элемента модели смещения к релексивности кажется как минимум имеющим смысл. Поэтому стоит уделить отдельное внимание статусу эмоций в когнитивной социологии.

Аффект: от социологии до нейронауки и обратно

Включение эмоционального аспекта в модель функционирования механизмов социального познания нельзя назвать повсеместной. Более когнитивистские модели, как правило, оперируют категориями практических привычек и дискурсивных аккаунтов. Однако сказать, что аффект является для теоретиков социального действия совершенно чуждым, означало бы проигнорировать малочисленный пул текстов, в которых он фигурирует. Мерцающий статус аффекта в когнитивной социологии выражается в: а) эпистемологически различных основаниях для его теоретического импорта; б) неконсистентности в определении роли аффекта в познании; в) спорадическом характере его появления: гораздо более привычной ситуацией будет отсутствие какого-либо упоминания эмоций.

Связь познания и аффективной энативности¹⁷ обсуждается в достаточно ранних работах, посвященных дуальным моделям когниции — «горячей» и «холодной» (DiMaggio, 2002: 277). Между двумя аналитически разведенными областями, где первая отвечает за эмоциональное и аффективное познание, а вторая — за более взвешенное и делиберативное, остается «пробел», который не позволяет объяснить переход от одного к другому и то, какую роль в этом может играть аффект. Реперными точками перевода эмоций на описательный язык когнитивной

15. Дж. Хайдт использует метафору собаки и ее хвоста, где первая означает разум и релексивность, а второй — эмоциональность.

16. Тем не менее роль аффективной составляющей познания здесь не эксплицируется.

17. «Вчувствования» в окружающий мир.

социологии выступают наследие дюркгеймианской традиции в теории культуры (Kurakin, 2019a; Куракин, 2023; Куракин, 2024) и некоторые положения, заимствованные из нейронаук (Abrutyn, Lizardo, 2020).

Позднейдюркгеймианская линия повествования обнаруживается в центре антикибернетического нарратива, который предостерегает от излишнего очарования когнитивистскими моделями познания, лишенными эмоционального измерения культуры. Аргумент, представляющий культуру когнитивно-эмоциональным предприятием, основан на картезианской идее «*homo duplex*» (Дюркгейм, 2013). Оба ее полюса неразрывно связаны с эмоциями, но на онтологически различных уровнях: индивидуальном, где эмоции — это продукт нейронных связей, выраженный в телесных реакциях, и коллективном, имеющем сакральное значение и социальное происхождение (Куракин, 2023: 39). Важным следствием дюркгеймианской трактовки является то, что эмоции есть *sine qua non*¹⁸ когниции. Однако культурсоциологический подход сознательно отказывается от конститутивного для этой работы различения рефлексивного и нерефлексивного модусов, руководствуясь тезисом о том, что культуру нельзя сводить к когнитивным механизмам¹⁹ (Kurakin, 2019a; 2019b; 2023). Принять обоснованную критику, даже при большом желании, не представляется возможным хотя бы потому, что эвристические ресурсы когнитивной социологии задействуются в настоящей работе для поиска оснований рефлексивности.

Сущностно отличный домен импорта эмоционального аффекта в исследования социального действия отсылает к когнитивным и нейронаукам. Так, теория воплощенного (*embodied*) познания (Ignatow, 2007; Ignatow, 2010) синтезируется из базовых аргументов когнитивной психологии (Barsalou, 1999) и посылы об эмоциональной сущности когнитивных процессов, заимствованного из нейробиологии (Damasio, 1994; 1999). Продуктом познания в когнитивной психологии являются бессознательные символы — «записи» нейронных состояний, возникающие непосредственно в процессе телесного взаимодействия со средой и запоминающиеся в такой форме; нейробиологический аргумент заключается в том, что эмоции необходимы для осознанного принятия решений²⁰. Сформированные опытным путем представления об объекте становятся фундаментом социального знания о нем. Часто даже дискурсивного: простейшие телесные способности, например,

18. *Sine qua non* (лат.) — здесь: обязательным условием; дословно — тем, без чего нет.

19. Представление о том, что культура существует в структурных формах тождественных формам когниции, называется Куракиным (2019a) иллюзией гомологии (*homology pitfall*). Такие концептуальные модели, следуя когнитивистской логике, стремятся локализовать культуру на разных, уподобляемых когнитивным механизмам, уровнях; например, декларативная (дискурсивная, вербальная) и недеklarативная (практическая, неосознанная) культура.

20. Исследования А. Дамасио (1994) процесса принятия решений у пациентов с особой формой поражения головного мозга показывают, что деLIBерация оказывается крайне затрудненной или невозможной в случае нарушения способности испытывать эмоции. Это позволяет говорить о неразрывной связи между аффектом и рефлексивным осмыслением.

право- или леворукость, могут структурировать моральный дискурс²¹ (Casasanto, 2009). Телесный опыт и сопутствующие ему эмоции в этой трактовке связаны с дискурсивным режимом познания. Преследуя схожую цель, заключающуюся в сокращении разрыва между нерелексивным и релексивным модусами, я тем не менее выполняю качественно другую исследовательскую задачу: хочу предложить объяснение того, что подлежит релексивному осмыслению и что на когнитивном и аффективном уровнях этому способствует.

Достаточно спорадические обращения к теоретизации эмоций в когнитивной социологии опираются на различные исследовательские традиции, однако солидаризируются в помещении аффекта в «сильную позицию»²². Релексивные когнитивные операции помимо практических навыков требуют эмоциональной включенности. Этот тезис более поздние работы направления (Abrutyn, Lizardo, 2020) разделяют с нейронауками (Damasio, 1994; 1999; Adolphs, Damasio, 2001).

Аффект в теории практик

Метафора диалогичности, к которой я отсылаю в начале текста, включает в себе отношение между когнитивными и аффективными компонентами познания. Предполагается, что локализация их внутри феноменов (не)совпадения может стать триггером релексивности для акторов, включенных во взаимодействие. Другими словами, то, что подлежит осмыслению, должно одновременно выделяться из немаркированного пространства и обладать субъективной значимостью. Прежде чем вдаваться в подробности концептуального диалога между интересом и аффектом, резонно задаться вопросом о том, совместим ли последний с той практической версией социального познания, которая здесь развивается.

Понятие интереса заимствуется из вокабуляра теории практик, в чьей классической версии у Бурдьё аффект является «фигурой умолчания». Неопределенный статус эмоций в теории практик становится предметом критики со стороны постбурдьёвистских концепций (Wacquant, 1998; 2015; Strauss, Quinn, 1997). Проект телесной социологии (carnal sociology) Л. Вакана предостерегает от чрезмерной интеллектуализации (over-intellectualize) социального действия, которая не учитывает эмоциональную природу познания и тот факт, что человек ощущает и часто осознает свои чувства (Wacquant, 1998: 329; Wacquant, 2015: 3; см. также: Ignatow, 2019). Получается, что из представления о воплощенности, заключаю-

21. Предполагается, что в основании абстрактных декларативных идей лежит перцептивно-моторный механизм, участвующий в позитивной или, наоборот, негативной оценке в моральных категориях «хороший/плохой» (Casasanto, 2009). Люди, у которых левая рука является рабочей, относят к «хорошему» то, что пространственно располагается или должно быть расположено слева, а праворукие — справа. Положительные и отрицательные суждения о размещении на горизонтальном пространстве разнятся у левой и у правой.

22. Слабая позиция ассоциируется с социологией эмоций, которая изучает социальный генезис и социальные эффекты от внешних проявлений, репрезентаций эмоций (подробнее см.: Куракин, 2023: 11–12); таких, например, как стыд (Goffman, 1956).

щейся в телесных привычках и практиках взаимодействия с миром, исключается мотивирующая роль эмоций; в теории практик «неважно, насколько *значимым* для [актеров] является то, что они наблюдают и делают» (Strauss, Quinn, 1997: 47) (курсив мой. — У.С.).

Таким образом, предложенный последователями современной теории практик эмоциональный компонент неотделим от когниции, но он также *не сводится к ней*²³ (Damasio, 1994: 14). Атрибуция значимости является той функцией аффекта, которой объясняются поведенческие флуктуации. Это означает, что разделяемый акторами способ действия может применяться или не применяться в зависимости от эмоциональных ощущений (Strauss, Quinn, 1997: 101). Аргумент об эмоциональности перекликается как с теорией практик, так и с той когнитивистской палитрой теорий аффекта, которая была описана выше. Это предложение позволяет выстроить диалогическую модель отношения между интересом и аффектом.

Аффективный континуум

Определенное посредством интереса внимание к объекту взаимодействия не есть маркер рефлексивности: оно необходимо, но не является исчерпывающим (см., напр.: Damasio, 1999: 18). В картинку «интерес + (не)совпадение» должен встроиться недостающий кусок пазла, который я предлагаю искать в сфере эмоциональности. Эмпирические исследования в областях нейронауки (Damasio, 1994), социальной психологии (Haidt, 2001) и когнитивной лингвистики (Lakoff, Johnson, 1999) настаивают на том, что эмоциональный аспект является неотъемлемой частью процесса рефлексии и суждения в той же степени, что и когнитивные машинерии. Эмоциональный аффект рассматривается как компонент целой плеяды рефлексивных когнитивных механизмов; например, морального суждения²⁴, декларативной памяти²⁵, принятия решений (Adolphs, Damasio, 2001), «конструирования» биографии или рефлексивного самопонимания (Abrutyn, Lizardo, 2020). Во всех этих примерах аффект играет ключевую роль, которую я обозначаю как *атрибуцию эмоциональной важности*. Сугубо практическое внимание к объекту должно быть значимым — вызывать тревогу, восторг, крайнее недоумение. Причем более сильный аффект означает большую вероятность осмысления ситуации (Turner, 2007: 61).

23. Возможность редуцирования эмоций к когнитивному означала бы отсутствие всякой необходимости в теоретизации аффекта и невозможность помыслить делиберативность в ситуации совпадения. Последний тезис является центральным объектом критики данной работы — во многом именно эмоциональной возбужденностью объясняется потенциал опривыченного взаимодействия быть оторефлексируемым.

24. Так, эмоции неотделимы от высококонцептуальных идей по типу награды и наказания, личных преимуществ и недостатков или в конечном счете добра и зла (Damasio, 1999: 55).

25. Те события, которые вызывают большее эмоциональное возбуждение, запоминаются лучше и детальнее (Adolphs, Damasio, 2001: 33).

Основная функция аффекта состоит в маркировании «чего-то» важным (Куракин, 2023: 14; Abrutyn, Lizardo, 2020: 98). Однако эмоциональная важность, к примеру, победы на профессиональном теннисном турнире кажется отличной от той, что атрибутируется свитеру, связанному любимой бабушкой. В первом случае аффект скорее обезличен в том смысле, что он разделяется с другими акторами и является типичной реакцией определенной группы людей на определенный вид ситуаций (Abrutyn, Lizardo, 2020: 84). Важностью здесь наделяется тип ситуации, а не специфический объект, который оказывается в нее включен. Такие *ситуационные* триггеры могут быть довольно постоянными в кругу акторов, объединенных социальным и культурным бэкграундом (Damasio, 1999: 56).

С другой стороны, к некоторым объектам мы испытываем более сильную «эмоциональную привязанность», чем к другим (Damasio, 1999: 58). В этом случае аффект выражается в эмоциональной привязанности к конкретному объекту, которая «формируется под влиянием уникального опыта, присущего только этому человеку», то есть *персонально* (Abrutyn, Lizardo, 2020: 84). В моем изложении аффект, как и интерес, описывается с помощью метафоры континуума, который для лаконичности категориального аппарата предлагается обозначать аналогично — от ситуационного полюса к персональному. Однако тождественность названий вовсе не предполагает функциональное дублирование. Когнитивное основание, или интерес, и аффективное основание находятся во взаимодополняющих диалогических отношениях, и только в таком виде производят рефлексивность.

Диалогичность когнитивного и аффективного оснований рефлексивности

«Нам свойственно осознавать наши чувства» (Damasio, 1999: 36). Аналогично тому, как интерес в одиночку не приводит к делиберации, потому что отвечает только за практическое узнавание, аффект *per se* тоже не предвосхищает рефлексивность. Любые телесные реакции, к которым относятся и эмоциональные, требуют *внимания*, чтобы стать поводом для или даже предметом суждения (Damasio, 1994: 182). Такая взаимозависимость носит диалогический характер. Аффект, возникающий в социальной ситуации, может быть осмыслен тогда, когда обстоятельства его появления — взаимодействие актора со средой — привлекают интерес. Интерес, в свою очередь, имеет значение только потому, что взаимодействие с объектом вызывает эмоции. Диалогичность, предвосхищающую рефлексивную переориентацию, можно представить следующим образом: аффект «у» возникает в отношении с объектом «Х», обусловленным интересом; и, наоборот, объект «Х» интересен актору, потому что отношение с ним имеет аффективное значение «у». Следовательно, диалогического вида модель позволяет функционально развести когнитивное и аффективное основания рефлексивности. Интерес и аффект выполняют разные задачи и участвуют в делиберации параллельно друг другу.

При этом, в отличие от интереса, аффективный континуум можно считать абсолютно нейтральным как по отношению к несовпадению, так и к совпадению, поскольку он может проявляться в любой из двух ситуаций. Аффект наделяет интерес эмоциональным значением, типичным и ситуационным, или же сформированным персональной эмоциональной привязанностью. Предполагать, однако, что благодаря взаимной обусловленности интерес и аффект копируют друг друга, было бы ошибочно. Ситуационный интерес не всегда совпадает с ситуационным аффектом и, напротив, персональные полюса обоих также не обязаны резонировать (например, *персональный* интерес может сочетаться с *ситуационным* аффектом). Данный тезис обретает смысл только в контексте той пропозиции, которая лежит в основании работы, — не только несовпадение, но и совпадение может стать триггером рефлексии. Интерес и аффект в ситуациях (не)совпадения взаимодействуют друг с другом по-разному. Варианты их пересечения представлены мной в виде четырехчастной типологии сочетаний интереса и аффекта, образующих *основы перехода нерефлексивной установки в рефлексивную*. (1) Сочетание ситуационного интереса и ситуационного аффекта характеризует *несовпадение*; (2) персональные полюса обоих оснований описывают *совпадение*; (3) персональный интерес в паре с ситуационным аффектом образуют то, что будет называться *ситуационным совпадением*; (4) наконец, ситуационный интерес и персональный аффект совместно относятся к явлению *персонального несовпадения*.

Предрефлексивность: типология (не)совпадения

Целью цепи предшествующих рассуждений стала сборка модели диалогических отношений когнитивного интереса и аффекта, которые, будучи помещенными в ситуацию (не)совпадения, предвосхищают рефлексивность. Если несовпадение считается конвенциональным локусом рефлексивности, совпадение должно производить противоположный эффект, который Бурдьё называет онтологическим соучастием [ontological complicity] ментальных и внешних структур (Bourdieu, 1998: 77). Сама возможность возникновения рефлексии в совпадении является радикальным контртезисом, допустимость которого я основываю на взаимодействии интереса и аффекта. Если интерес — вполне рутинный когнитивный механизм обращения внимания, то аффект отвечает на вопрос «почему то, на что я обратил внимание, заслуживает осмысления?». Такая реконцептуализация делиберации не страдает от повсеместного исключения совпадения. Различные сочетания когнитивных и аффективных оснований, наделенных качествами ситуационности или персональности, образуют *типологию (не)совпадений* (см. рис. 1), иллюстративный обзор которой представлен ниже.

		интерес	
		персональный	ситуационный
аффект	персональный	совпадение (match)	персональное несовпадение
	ситуационный	ситуационное совпадение	несовпадение (mismatch)

Несовпадение (mismatch)

Абсолютное большинство рутинных действий «обслуживается» практической привычкой, характеризующей совпадение. Такой консервативный мир, однако, скучен и, в сущности, непредставим. Регулярное производство несовпадений создает динамику социального действия.

Для того чтобы характеризующееся несовпадением отношение с объектом было осмыслено актором, оно должно: а) стать для него заметным; б) иметь эмоциональную значимость, которую невозможно проигнорировать. Первое является прерогативой *ситуационного интереса* — диспозициональной способности обращать внимание на те изменения, которые оказываются важными для действия. Второе вызывает *ситуационный аффект*, или типичную эмоциональную реакцию на типичную ситуацию, которую в этом случае можно назвать простой неудачей. С поправкой на конкретику, опускаемую здесь в угоду аналитической абстракции, любая «проблемная ситуация» вызывает «ощущение фрустрации, препятствия (obstacles) или неожиданного аффекта» (Abrutyn, Lizardo, 2020: 93). Так, результаты исследований организационного поведения показывают, что неожиданные препятствия, ограничивающие привычные взаимодействия, вызывают негативный эмоциональный аффект: как правило, фрустрацию и неудовлетворение (Peters et al., 1980: 83; Sonnentag, Starzyk, 2015). Можно считать, что несовпадение совмещает в себе ситуационные полюса когнитивного и аффективного оснований рефлексивности.

Так, например, английские ткачи в изложении историка Томиса (1970), долгое время находившиеся в довольно привилегированном положении, к началу XIX

века оказались нерентабельными в связи с введением в производственный процесс технологического новшества — ткацкого станка. Владельцы фабрик сделали выбор в пользу механизации труда, избавив себя от необходимости содержать дорогую рабочую силу. Для работы более не требовалась многолетняя выучка, поскольку у машины мог стоять кто угодно. Меняющиеся институциональные условия трансформировали и те социальные объекты, с которыми рабочие-ткачи привыкли взаимодействовать определенным образом (Martin, Lembo, 2020: 84). Ситуация, которая расходится с ожиданиями, и составляющие ее объекты более не производят привычного практического эффекта. Мастерство в традиционном ручном производстве перестало обеспечивать рабочих прежним статусом. Более того, оставшиеся без работы ткачи столкнулись с последствиями коммерческого кризиса и неурожая — ростом цен и голодом (Thomis, 1970: 70). Ответом на «недовольство и страдания, которые они испытывали», стало создание рабочего движения, которое организовало серию крупных погромов с целью уничтожения ткацких станков (Ibid.: 67). Ситуационный интерес, основанный на невозможности успешного осуществления привычного действия здесь и сейчас, и негативный ситуационный аффект, вызванный крайней нуждой, способствовали рефлексивной переориентации действия²⁶. «Если рабочие и ненавидели эти машины, то только из-за того положения, в котором они из-за них оказались» (Ibid.: 50).

Совпадение (match)

Упорядоченность среды, в которой мы действуем, побуждает нас к формированию уверенности в том, что каждая последующая интеракция со знакомыми объектами будет следовать одному и тому же сценарию. Между акторами и социальными объектами существует практическая иллюзия (illusion) (Bourdieu, 1998: 77) — выражающаяся в устойчивой поведенческой закономерности имплицитная «договоренность» о сотрудничестве. Концепцией *персонального интереса* в этом случае описывается внимание актора к тем социальным объектам, регулярное обращение к которым создает соответствие. Вряд ли есть смысл представлять себе нумизмата, у которого нет монет, или зрителя в кинотеатре без экрана.

Персональный интерес достигает своего апогея в феноменологической идее расширения своего «Я» (extension of self²⁷) (Martin, Lembo, 2020: 83; см. также: Belk, 1988). Под расширением подразумевается перенос некоторых качеств и навыков актора во внешний мир. Его возможность определена двойственной сущностью привычки: она одновременно предполагает прямой контакт с объектом и его на-

26. Исследования в области когнитивной психологии доказывают, что негативный аффект является мотивирующим фактором для проактивного (рефлексивного) действия (Sonnentag, Starzyk, 2015: 811).

27. «Self» в том значении, которым его наделяет Мид, является результатом социального отношения человека с «любим объектом или набором объектов, одушевленных или неодушевленных, человеческих или животных, или вовсе нематериальных», то есть буквально с социальными объектами (Mead, 1972: 154).

турализацию в качестве части того, кем мы являемся и посредством чего познаем окружающий нас мир. Примерами такого взаимодействия могут быть трость в руках слабовидящего человека (Мерло-Понти, 1999: 192), отношения хозяина и домашнего питомца или игрока и аватара в видеоигре (Cerulo, 2009). Даже если за такими интеракциями закреплена преимущественно инструментальная роль, они по-прежнему могут быть дерутинизированы.

Исключительная значимость подобного повседневного взаимодействия является следствием эмоциональной маркировки (*affective tagging*) (Abrutyn, Lizardo, 2020: 98; Куракин, 2024), соответствующей *персональному аффективному* моду-су. Некоторые объекты заслуживают особого внимания только потому, что мы испытываем к ним эмоциональную привязанность, своими корнями уходящую в совместное с объектом прошлое²⁸. Интенсивные эмоции не остаются незамеченными: акторы «не просто чувствуют, они еще и задумываются о том, что они чувствуют»²⁹ (Wacquant, 2015: 3). В ситуации совпадения только персональный интерес и индивидуальная эмоциональная привязанность к объекту могут указать на предмет рефлексии. Адекватной этому иллюстрацией может стать антропологическая идея биографического объекта (Hoskins, 1998).

Биографическое повествование априори рефлексивно, так как биография — это конструирование нарративного понимания себя через релевантные события и объекты. В своей экспедиции Хоскинс обнаружила, что люди часто определяют себя посредством объектов, манипуляции с которыми обуславливают конститутивные для сообщества социальные отношения. Устойчивые персональные связи с некоторыми объектами «используются для овеществления личности» (Ibid.: 24). Так, например, Дж. Хоскинс пишет о сумках с бетелем³⁰, которые принадлежат каждому члену общества Коди (Kodi) и в повседневной жизни служат материальными проводниками приветственного жеста — обмена орехом бетеля. Однако для одного из местных, Мару Даку, сумка имеет индивидуальный смысл как «своего рода альтер эго, метафора собственного “Я”»; она сопровождала его в период обучения традиционным преданиям, освоения преподавательских навыков и ассистирования иностранным исследователям (Hoskins, 1998: 26–27, 39). Называя сумку контейнером «душ и историй», Мару Даку вкладывает в объект свою «идентичность рассказчика» и утверждает свой статус каждый раз, когда рассказывает истории (Hoskins, 1998: 49). Отношение с объектом становится символом вследствие наделения объекта, через который актер утверждает свой диспозиционный статус, персональным эмоциональным значением. Ценные с точки зрения эмоциональной привязанности объекты лучше запоминаются, а воспомина-

28. Поскольку один и тот же объект может быть «фигурой» для одного актора и «фоном» для другого, персональный аффект не является общим и объективным.

29. К примеру, некоторые материальные вещи могут определяться их владельцами как проводники эмоций (музыкальные инструменты) (Rochberg-Halton, 1984: 358).

30. Вечнозеленое растение из класса перцевых.

ния о них легче и охотнее воспроизводятся (Abrutyn, Lizardo, 2020: 95), например, в биографическом интервью.

Ситуационное совпадение

Делиберация часто сосуществует бок о бок с реализацией нерефлексируемого телесного умения (Leschziner, Green, 2013: 118)³¹. Позиция, которую занимает актер, допускает или даже предполагает креативность в выборе способа достижения ожидаемого результата. Например, при создании рецепта шеф-повар может решить отойти от тривиального способа приготовления, не добавив в бульон вино (Leschziner, Green, 2013: 123). Этот процесс по-прежнему имманентен условиям среды — кулинарного поля — и требует совпадения, обеспеченного *персональным интересом*, но он не лишен делиберации в действии.

Момент обнаружения и успешного внедрения в привычное действие чего-то оригинального становится возможен благодаря *ситуационному аффекту*. Аффект, возникающий в моменте, делает совпадение или «резонанс» более вероятным (McDonnell, Bail, Tavory, 2017: 6) и создает «люфт» для делиберации. Последний «напоминает эффект “Aha!” [“Aha!” moments], когда кажется, что все мгновенно встает на свои места, <...> и эмоции усиливаются (McDonnell, 2014: 262). Схожей логике может следовать, в частности, научное открытие.

«Мне кажется, что любая попытка описать научное открытие в категорических терминах так же глупа, как попытка изложить теорию плавания после того, как какой-то парень, не знающий об этой теории, только что выиграл Олимпийские игры» (Wolpert, Richards, 1998: 136). Так иммунолог и нейробиолог Джеральд Эдельман, являющийся лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине, описывает свое обнаружение молекул адгезии, участвующих в морфогенезе.

Научную деятельность невозможно вообразить без негласных, само собой разумеющихся «знаний-как». Медицинская практика, докторская степень в Рокфеллеровском университете, «нудная повседневная возня в лаборатории» (Wolpert, Richards, 1998: 137) — то, из чего складывается привычная жизнь ученого и предполагаемые ей автоматические практические навыки. Большая часть научной деятельности не ставится актором под сомнение. Однако именно наличие этих дорефлексивных практических умений стоит за возможностью делиберации (Strand, Lizardo, 2015: 59). Основой рефлексивности является персональный интерес, но момент совершения открытия, то есть переключения в сознательный модус, представляется контингентным: «случается нечто действительно прекрасное, о чем ты и подумать не мог» (Wolpert, Richards, 1998: 137). Исследования в области когнитивной психологии связывают научное открытие с типичным аффектом

31. Следующий постоянным правилам розыгрыш рядовой игровой партии поощряет игрока, рассчитывающего на победу, в определенную минуту совершить волевой «ход конем». Нахождение в игре определяет актора как ее компетентного участника, а кульминационный финал — типичная и ожидаемая стадия игры — создается моментом.

«эпистемического восторга» [epistemic awe] (Gottlieb, Keltner, Lombro, 2018), характеризуемого рефлексивностью (Shiota, Keltner, Mossman, 2007). В основании научного открытия лежат: а) персональный интерес, обеспечивающий институциональное совпадение и реализацию актора в качестве ученого; и б) ситуационный аффект, отвечающий за значимость этого совпадения. Проще говоря, в ситуации открытия возникает аффект, вызванный изменениями в среде, что, в свою очередь, порождает рефлексивность.

Персональное несовпадение

Наконец, персональное несовпадение предлагается рассматривать как такую ситуацию, которая умаляет воспроизведение поведенческого паттерна вследствие того, что актер более не имеет доступа к чему-то персонально ценному. Опыт проживания отсутствия чего-то важного создает реальность объектов, которые больше не здесь и не с нами. На переднем плане оказывается возникшее несовпадение — замечаемые благодаря *ситуационному интересу* изменения, затрудняющие регулярную практику. События трансформирующего характера, происходящие с теми объектами, которые нам близки, «могут ощущаться так, будто они в некоторой степени происходят с самими нами» (Martin, Lembo, 2020: 84). Важность понимаемого таким образом отсутствия тем не менее располагается извне ситуации: «особые что-то или кто-то, ранее существовавшие, теперь покинуты, устранены или уничтожены» (Scott, 2020: 203), и это становится важным, потому что отсылает к эмоциональной привязанности к объекту, сформированной *персональным аффектом*. Для человека, связавшего свою жизнь со спортом, фатальная для этого вида деятельности травма может привести к потрясению, вызванному потерей культивированной эмоциональной включенности (Scott, 2020: 206). В исходно феноменологической концепции «отсутствия присутствия» (absence of presence) (Frers, 2013) обнаруживается схожая с персональным несовпадением логика.

Опыт переживания отсутствия тем ярче, чем прочнее чувственные отношения и привязанности, сформированные былым присутствием (Frers, 2013: 9). Другими словами, отсутствие чего-либо имеет значение только тогда, когда пропало что-то субъективно ценное. Под категорией «отсутствия» здесь следует понимать практическое несовпадение. «Присутствием» же обозначаются те персональные аффективные отношения, которые, актуализируясь или *присутствуя*, тем не менее отсылают к прошлым эмоциональным контактам с объектом. К примеру, географ О. Джонс (Jones, 2016), описывая собственную реакцию на разрушение фермы, где он провел свое детство, и превращение ее в городскую свалку, делает особый акцент на эмоциональной и телесной связи с местом, вещами и людьми, которые его когда-то наполняли. То, что я называю персональным несовпадением, связано одновременно с «избытком связей с родным домом и почти полным уничтожением ключевых для него мест» (Frers, 2013: 8). По-другому, наличие привязки к дому отсылает к персональному эмоциональному эффекту, а уничтожение дома

приводит к несовпадению, привлекающему ситуационный интерес. Да, чайки все еще кружили, но теперь над горой мусора; ветер все так же дул, но «нес этот сладковатый, тревожный запах гнили»; естественный ход вещей был нарушен (Jones, 2016: 214–215).

Заключение: (не)совпадения как локусы рефлексивности

В широком смысле у этой работы была двойная задача. Во-первых, представить когнитивную социологию как междисциплинарное направление, которое может сочетать в себе мозаику перспектив, оставаясь тем не менее укорененным в социологической традиции. Такая претензия на продуктивный концептуальный обмен согласуется с программным призывом к помещению когнитивной социологии в один ряд с другими смежными дисциплинами из этой области (Lizardo, 2014). И во-вторых, указать на эпистемический потенциал когнитивной социологии для исследований социального действия. Изначально прагматистская идея о том, что действие рождается во взаимосвязи акторов и непосредственно доступной им социальной среды, конкретизируется результатами исследований работы мышления и сознания. Смещение в сторону когнитивных наук позволяет задаваться теми вопросами, которые часто остаются за скобками классических подходов из-за существенной разницы масштабов. Поэтому центральным вопросом данного текста стал переход от нерефлексивной ориентации действия к рефлексивной.

Делиберация по поводу действия, как правило, становится следствием возникновения некоторой проблематичности — несовпадения (mismatch) между практическими ожиданиями и реальностью. Привычные компетенции в изменившихся условиях дают «сбой», который побуждает актора к осмыслению этой ситуации. Тотальный крен в сторону несовпадения как едва ли не единственного источника рефлексивности оставляет без внимания обратное обстоятельство — совпадение (match). Последнее, призванное рутинно, и поэтому неосознанно, воспроизводить практический навык, наделяется сугубо инструментальным значением. Представленная выше цепочка аргументации является попыткой доказать обратное — делиберация есть естественный элемент совпадения. Развитие этого тезиса потребовало поиска универсальных оснований рефлексивности, которая могла бы возникать как в несовпадении, так и при совпадении.

Для этого в данной работе была сконструирована диалогическая модель когнитивных (интерес) и аффективных оснований рефлексивности в (не)совпадении, где заметность становится возможной благодаря эмоциональной значимости, а значимость — благодаря заметности. Различные сочетания полярных полюсов интереса и аффекта укладываются в четыре элемента типологии (не)совпадений, предвосхищающих рефлексивность: несовпадение, совпадение, ситуационное совпадение и персональное несовпадение. Предполагается, что, с поправкой на аналитическую сущность модели, любое подлежащее осмыслению действие попадает в один из названных типов. В дальнейшем каждый из типов (не)совпадения может

быть рассмотрен отдельно с привлечением наиболее близких им теоретических языков и концепций.

Когнитивная социология за весьма недолгое время своего существования в статусе отдельного направления социологической науки успела «обрасти» корпусом понятий, различений и объяснительных схем, которые меняются от работы к работе и не всегда могут быть объединены общей концептуальной идеей. Одной из важных интенций настоящего текста, таким образом, стал синтез такой модели оснований рефлексивности, которая охватила бы весомую область знания, используя при этом достаточно лаконичный набор терминов. Будущее исследование могло бы перейти от вынужденного упрощения к построению связи между типами (не)совпадений и определенными стратегиями делиберации³². Диалогичность когнитивных и аффективных оснований имеет потенциал стать фундаментом теории рефлексивного социального действия.

Литература

- Болтански Л., Тевено Л. (2013). Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов. М.: Новое литературное обозрение.
- Бурдые П. (2018). Homo academicus. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Дьюи Дж. (2000). Демократия и образование. М.: Педагогика-Пресс.
- Дюркгейм Э. (2013). Дуализм человеческой природы и его социальные условия // Социологическое обозрение. Т. 12. № 2. С. 133–144.
- Куракин Д. (2023). Катектические механизмы культуры. Часть 1 // Социологическое обозрение. Т. 22. № 3. С. 9–52.
- Куракин Д. (2024). Катектические механизмы культуры. Часть 2 // Социологическое обозрение. Т. 23. № 1. С. 9–39.
- Мерло-Понти М. (1999). Феноменология восприятия. М.: Ювента, Наука.
- Парсонс Т., Шилз Э., Олд Д. (2002). Ценности, мотивы и системы действия // Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект. С. 458–562.
- Серебренников Д. Е. (2023). Инфраструктура как камера-обскура социальных классификаций: системы городского видеонаблюдения в малых городах // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. Т. 3. С. 104–129.
- Филиппов А. Ф. (2006). Триггеры абсолютных событий // Логос. № 5. С. 104–117.
- Abrutyn S., Lizardo O. (2020). Grief, care, and play: theorizing the affective roots of the social self // Advances in Group Processes / S. R. Thye, E. J. Lawler (eds.). Leeds: Emerald Publishing Limited. P. 79–108.

32. В исследовании М. Стрэнда и О. Лизардо (2016), например, такие стратегии представлены в типологии рефлексивности: радикальная, традиционная, аномическая и ироническая.

- Adolphs R., Damasio A.R.* (2001). The interaction of affect and cognition: A neurobiological perspective // Handbook of affect and social cognition / J. P. Forgas (ed.). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers. P. 27–49.
- Barsalou L. W.* (1999). Perceptual symbol systems // The Behavioral and brain sciences. Vol. 22. № 4. P. 577–660.
- Belk R. W.* (1988). Possessions and the extended self // Journal of Consumer Research. Vol. 15. № 2. P. 139–168.
- Bourdieu P.* (1996). The state nobility: Elite Schools in the Field of Power. CA: Stanford University Press.
- Bourdieu P.* (1998). Practical reason: on the theory of action. CA: Stanford University Press.
- Bourdieu P.* (2000). Pascalian Meditations. CA: Stanford University Press.
- Brekhus W. H.* (1998). A sociology of the unmarked: Redirecting our focus // Sociological Theory. Vol. 16. № 1. P. 34–51.
- Brekhus W. H.* (2015). Culture and cognition: Patterns in the Social Construction of Reality. Cambridge: John Wiley & Sons.
- Casasanto D.* (2009). Embodiment of abstract concepts: good and bad in right- and left-handers // Journal of experimental psychology. Vol. 138. № 3. P. 351–367.
- Cerulo K.* (1998). Deciphering violence: The cognitive structure of right and wrong. New York: Routledge.
- Cerulo K. A.* (2009). Nonhumans in social interaction // Annual Review of Sociology. Vol. 35. № 1. P. 531–552.
- Cerulo K.* (ed.) (2002). Culture in mind: Toward a Sociology of Culture and Cognition. London: Routledge. P. 274–282.
- Damasio A.* (1994). Descartes' Error: Emotions, Reason, and the Human Brain. New York: G. P. Putnam's Sons.
- Damasio A. R.* (1999). The Feeling of what Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. Boston: Houghton Mifflin.
- Dewey J.* (1939). Theory of valuation // International Encyclopedia of Unified Science. Chicago: University of Chicago Press. P. 1–74.
- Dewey J.* (1998). The moral self // The Essential Dewey, Vol. 2: Ethics, Logic, Psychology / L. A. Hickman, T. M. Alexander (eds.). Bloomington: Indiana University Press. P. 341–354.
- DiMaggio P.* (1997). Culture and cognition // Annual Review of Sociology. Vol. 23. № 1. P. 263–287.
- DiMaggio P.* (2002). Why Cognitive (and Cultural) Sociology Needs Cognitive Psychology. Routledge.
- Frers L.* (2013). The matter of absence // Cultural Geographies. Vol. 20. № 4. P. 431–445.
- Fuller S., De Mey M., Shinn T., Woolgar S.* (Eds.) (1989). The cognitive turn: Sociological and Psychological Perspectives on Science. Springer Dordrecht.
- Garfinkel H.* (1967). Studies in ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

- Goffman E.* (1956). Embarrassment and Social Organization // *American Journal of Sociology*. Vol. 62. № 3. P. 264–271.
- Gottlieb S., Keltner D., Lombrozo T.* (2018). Awe as a scientific emotion // *Cognitive Science*. Vol. 42. № 6. P. 2081–2094.
- Haidt J.* (2001). The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment // *Psychological Review*. Vol. 108. № 4. P. 814–834.
- Hidi S., Renninger K. A.* (2006). The Four-Phase model of interest development // *Educational Psychologist*. Vol. 41. № 2. P. 111–127.
- Hoskins J.* (1998). *Biographical objects: How Things Tell the Stories of Peoples' Lives*. London: Routledge.
- Ignatow G.* (2007). Theories of Embodied Knowledge: new directions for cultural and cognitive sociology? // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 37. № 2. P. 115–135.
- Ignatow G.* (2010). Morality and Mind-Body connections // *Handbook of the Sociology of Morality* / S. Hitlin, S. Vaisey (eds.). New York: Springer. P. 411–424.
- Ignatow G.* (2019). Cognitive Sociology and French Psychological Sociology // *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* / W.H. Brekhus, G. Ignatow (eds.). New York: Oxford University Press. P. 137–152.
- Jeannerod M.* (2006). Consciousness of action as an embodied consciousness // *Does Consciousness Cause Behavior?* / S. Pockett, W.P. Banks, S. Gallagher (eds.) Cambridge: The MIT Press. P. 25–38.
- Joas H.* (1996). *The Creativity of Action*. Cambridge: Polity Press.
- Jones O.* (2016). An Ecology of Emotion, Memory, Self and Landscape // *Emotional geographies* / L. Bondi, J. Davidson (ed.). London: Routledge. P. 205–219.
- Kurakin D.* (2019a). Culture and cognition: the Durkheimian principle of sui generis synthesis vs. cognitive-based models of culture // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 8. № 1. P. 63–89.
- Kurakin D.* (2019b). The Sacred, Profane, Pure, Impure, and Social Energization of Culture // *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* / W.H. Brekhus, G. Ignatow (eds.). New York: Oxford University Press. P. 484–506.
- Lakoff G., Johnson M.* (1999). *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought*. New York: Basic Books.
- Leschziner V., Green A. I.* (2013). Thinking about Food and Sex: Deliberate Cognition in the Routine Practices of a Field // *Sociological Theory*. Vol. 31. № 2. P. 116–144.
- Lizardo O.* (2014). Beyond the Comtean schema: the sociology of culture and cognition versus cognitive social science // *Sociological Forum*. Vol. 29. № 4. P. 983–989.
- Lizardo O.* (2016). Improving cultural analysis // *American Sociological Review*. Vol. 82. № 1. P. 88–115.
- Lizardo O., Strand M.* (2010). Skills, toolkits, contexts and institutions: Clarifying the relationship between different approaches to cognition in cultural sociology // *Poetics*. Vol. 38. № 2. P. 205–228.

- Martin J. L.* (2009). Life's a beach but you're an ant, and other unwelcome news for the sociology of culture // *Poetics*. Vol. 38. № 2. P. 229–244.
- Martin J. L.* (2011). *The Explanation of Social Action*. Oxford: Oxford University Press.
- Martin J. L.* (2015). «The Gentleman Is to Let the Lady Enter the Door First»: Or How the Environment Tells Us What to Do // *Martin J. L. Thinking through theory*. New York: W. W. Norton. P. 217–244.
- Martin J. L.* (2019). Can Carnal Sociology Bring Together Body and Soul? or, who's afraid of christian wolff? // *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* / W. H. Brekhus, G. Ignatow (eds.). New York: Oxford University Press. P. 115–136.
- Martin J. L., Lembo A.* (2020). On the Other Side of Values // *American Journal of Sociology*. Vol. 126. № 1. P. 52–98.
- McDonnell T. E.* (2014). Drawing out culture: productive methods to measure cognition and resonance // *Theory and Society*. Vol. 43. № 3–4. P. 247–274.
- McDonnell T. E., Bail C. A., Tavory I.* (2017). A theory of resonance // *Sociological Theory*. Vol. 35. № 1. P. 1–14.
- Mead G. H.* (1972). *Mind Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Mills C. W.* (1940). Situated actions and vocabularies of motive // *American Sociological Review*. Vol. 5, № 6. P. 904–913.
- Norton M.* (2018). Meaning on the move: synthesizing cognitive and systems concepts of culture // *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 7. № 1. P. 1–28.
- Peters L. H., O'Connor E. J., Rudolf C. J.* (1980). The behavioral and affective consequences of performance-relevant situational variables // *Organizational Behavior and Human Performance*. Vol. 25. № 1. P. 79–96.
- Rochberg-Halton E.* (1984). Object relations, role models, and cultivation of the self // *Environment and Behavior*. Vol. 16. № 3. P. 335–368.
- Scott S.* (2020). Social nothingness: A phenomenological investigation // *European Journal of Social Theory*. Vol. 25. № 2. P. 197–216.
- Shiota M. N., Keltner D., Mossman A.* (2007). The nature of awe: Elicitors, appraisals, and effects on self-concept // *Cognition and Emotion*. Vol. 21. № 5. P. 944–963.
- Simko C., Olick J. K.* (2020). What we talk about when we talk about culture: a multi-facet approach. *American Journal of Cultural Sociology*. Vol. 9. № 4. P. 431–459.
- Sonnentag S., Starzyk A.* (2015). Perceived prosocial impact, perceived situational constraints, and proactive work behavior: Looking at two distinct affective pathways // *Journal of Organizational Behavior*. Vol. 36. № 6. P. 806–824.
- Spillman L., Strand M.* (2013). Interest-Oriented action // *Annual Review of Sociology*. Vol. 39. № 1. P. 85–104.
- Stoltz D. S., Lizardo O.* (2018). Deliberate trust and intuitive faith: a Dual-Process model of reliance // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 48. № 2. P. 230–250.
- Strand M., Lizardo, O.* (2015). Beyond World Images: Belief as Embodied Action in the World // *Sociological Theory*. Vol. 33. № 1. P. 44–70.

- Strand M., Lizardo O.* (2016). The Hysteresis effect: theorizing mismatch in action // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 47. № 2. P. 164–194.
- Strauss C., Quinn N.* (1997). *A Cognitive Theory of cultural Meaning*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strydom P.* (2007). Introduction: A cartography of contemporary Cognitive Social Theory // *European Journal of Social Theory*. Vol. 10. № 3. P. 339–356.
- Swidler A.* (1986). Culture in Action: Symbols and Strategies // *American Sociological Review*. Vol. 51. № 2. P. 273–286.
- Swidler A.* (2001). *Talk of love: How Culture Matters*. Chicago: University of Chicago Press.
- Thomis M. I.* (1993). *The Luddites: Machine-breaking in Regency England*. Ashgate Publishing.
- Turner J. H.* (2007). *Human emotions: A Sociological Theory*. London: Routledge.
- Turner S.* (2002). *Brains/Practices/Relativism: Social Theory After Cognitive Science*. Chicago, London: University of Chicago Press.
- Vaisey S.* (2009). Motivation and Justification: A Dual-Process Model of culture in action // *American Journal of Sociology*. Vol. 114. № 6. P. 1675–1715.
- Wacquant L.* (1998). The prizefighter's three bodies // *Ethnos*. Vol. 63. № 3–4. P. 325–352.
- Wacquant L.* (2015). For a sociology of flesh and blood // *Qualitative Sociology*. Vol. 38. № 1. P. 1–11.
- Wolpert L., Richards A.* (1997). *Passionate minds: The Inner World of Scientists*. New York: Oxford University Press.
- Zerubavel E.* (1991). *The fine line: Making distinctions in everyday life*. New York: Free Press.
- Zerubavel E.* (1993). Horizons: On the Sociomental Foundations of Relevance // *Social Research*. Vol. 60. № 2. P. 397–413.
- Zerubavel E.* (1997). *Social mindscapes: An invitation to cognitive sociology*. Cambridge: Harvard University Press.

It's a (Mis)match!: a Dialogical Model of Reflexivity in Cognitive Sociology

Ulyana Semovskikh

Student of the Faculty of Sociology, Moscow Higher School of Social and Economic Sciences (Shaninka).

Address: Gazetnyy Per., 3-5, Moscow, 125009 Russian Federation

E-mail: semovskikh-us@universitas.ru

Cognitive sociology is supposed to join the ranks of those behavioral sciences that have already become part of the cognitive turn (e.g.: psychology, philosophy, linguistics). The basic idea of this research area is to recognize the social nature of thinking, cognition, and memory processes. The present work aims to add a cognitive dimension to the classic sociological question of social action.

The theory of social action, inspired by theses borrowed from the cognitive sciences, discerns between the two types of practical beliefs: non-reflexive and reflexive. The former denotes automatic bodily «knowing-how», or habitual patterns of action, while the latter is defined as deliberative «knowing-what», or discursive ideas and judgments. The purpose of this study is to explicate the transition from one level to the other, from automaticity to deliberation. The conventional explanation assumes that a necessary condition for reflexivity is a certain kind of difficulty. Conversely, the routine realization of an action does not require additional reflection. These kinds of judgments are common but not inclusive enough: they do not theorize everyday, habitual action as a possible trigger of deliberation. The conceptualization of the transition to reflexivity presented in this paper considers both «problematic» and «routine» as potential reflexivity locuses. For this purpose, a dialogical model of the cognitive and affective reflexivity bases is constructed in this paper.

The paper consists of several parts. First, the cognitive basis of reflexivity is derived from the theory of practices and classical pragmatism through the concept of interest. Then, an affective ground for reflexivity is proposed, which is responsible for the object of reflection's emotional significance. Functionally different dialogical combinations of cognition and affect are assembled into a four-part typology of reflexivity. The latter is intended to point to the epistemic potential of cognitive sociology in the study of social action.

Keywords: cognitive sociology, reflexivity, social action, match, mismatch, interest, affect, habit

References

- Abrutyn S., Lizardo O. (2020) Grief, care, and play: theorizing the affective roots of the social self. *Advances in group processes* (eds. S. R. Thye, E. J. Lawler), Leeds: Emerald Publishing Limited, pp. 79–108.
- Adolphs R., Damasio A. R. (2001) The interaction of affect and cognition: A neurobiological perspective. *Handbook of affect and social cognition* (ed. Forgas, J. P.), Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, pp. 27–49.
- Barsalou L. W. (1999) Perceptual symbol systems. *The Behavioral and brain sciences*, vol. 22, no 4, pp. 577–660.
- Belk R. W. (1988) Possessions and the extended self. *Journal of Consumer Research*, vol. 15, no 2, pp. 139–168.
- Boltanski L., Thévenot L. (2013) *Kritika i obosnovanie spravedlivosti: ocherki sotsiologii gradov* [On Justification: Economies of Worth], Moscow: New Literary Observer.
- Bourdieu P. (1996) *The state nobility: Elite Schools in the Field of Power*, CA: Stanford University Press.
- Bourdieu P. (1998) *Practical reason: on the theory of action*, CA: Stanford University Press.
- Bourdieu P. (2000) *Pascalian Meditations*, CA: Stanford University Press.
- Bourdieu P. (2018) *Homo academicus*, Moscow: Izdatel'stvo Instituta Gajdara.
- Brekhus W. H. (1998) A sociology of the unmarked: Redirecting our focus. *Sociological Theory*, vol. 16, no 1, pp. 34–51.
- Brekhus W. H. (2015) *Culture and cognition: Patterns in the Social Construction of Reality*, Cambridge: John Wiley & Sons.
- Casasanto D. (2009) Embodiment of abstract concepts: good and bad in right- and left-handers. *Journal of experimental psychology*, vol. 138, no 3, pp. 351–367.
- Cerulo K. (1998) *Deciphering violence: The cognitive structure of right and wrong*, New York: Routledge.
- Cerulo K. A. (2009) Nonhumans in social interaction. *Annual Review of Sociology*, vol. 35, no 1, pp. 531–552.
- Damasio A. R. (1994) *Descartes' Error: Emotions, Reason, and the Human Brain*, New York: G. P. Putnam's Sons.
- Damasio A. R. (1999) *The Feeling of what Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness*, Boston: Houghton Mifflin.

- Dewey J. (1939) Theory of valuation. *International Encyclopedia of Unified Science*, Chicago: University of Chicago Press, pp. 1–74.
- Dewey J. (1998) The moral self. *The Essential Dewey, Vol. 2: Ethics, Logic, Psychology* (eds. L. A. Hickman, T. M. Alexander), Bloomington: Indiana University Press, pp. 341–354.
- Dewey J. (2000) *Demokratiya i obrazovanie* [Democracy and Education], Moscow: Pedagogy-press.
- DiMaggio P. (1997) Culture and cognition. *Annual Review of Sociology*, vol. 23, no 1, pp. 263–287.
- DiMaggio P. (2002) Why Cognitive (and Cultural) Sociology Needs Cognitive Psychology. *Culture in mind: Toward a Sociology of Culture and Cognition* (ed. K. Cerulo), London: Routledge, pp. 274–282.
- Durkheim, E. (2013) Dualizm chelovecheskoj prirody i ego social'nye uslovija [The dualism of human nature and its social conditions]. *Russian Sociological Review*, vol. 12, no 2, pp. 133–144.
- Filippov A. (2006) Triggery absolutnikh sobytii [Absolute Event Triggers]. *Logos*, no 5, pp. 104–117.
- Frers L. (2013) The matter of absence. *Cultural Geographies*, vol. 20, no 4, pp. 431–445.
- Fuller S., De Mey M., Shinn T., Woolgar S. (Eds.) (1989) *The cognitive turn: Sociological and Psychological Perspectives on Science*, Springer Dordrecht.
- Garfinkel H. (1967) *Studies in ethnomethodology*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Goffman E. (1956) Embarrassment and Social Organization. *American Journal of Sociology*, vol. 62, no 3, pp. 264–271.
- Gottlieb S., Keltner D., Lombrozo T. (2018) Awe as a scientific emotion. *Cognitive Science*, vol. 42, no 6, pp. 2081–2094.
- Haidt J. (2001) The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. *Psychological Review*, vol. 108, no 4, pp. 814–834.
- Hidi S., Renninger K. A. (2006) The Four-Phase model of interest development. *Educational Psychologist*, vol. 41, no 2, pp. 111–127.
- Hoskins J. (1998) *Biographical objects: How Things Tell the Stories of Peoples' Lives*, London: Routledge.
- Ignatow G. (2007) Theories of Embodied Knowledge: new directions for cultural and cognitive sociology? *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 37, no 2, pp. 115–135.
- Ignatow G. (2010) Morality and Mind-Body connections. *Handbook of the Sociology of Morality* (eds. S. Hitlin, S. Vaisey), New York: Springer, pp. 411–424.
- Ignatow G. (2019) Cognitive Sociology and French Psychological Sociology. *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* (eds. W. H. Brekhus, G. Ignatow), New York: Oxford University Press, pp. 137–152.
- Jeannerod M. (2006) Consciousness of action as an embodied consciousness. *Does Consciousness Cause Behavior?* (eds. S. Pockett, W. P. Banks, S. Gallagher), Cambridge: The MIT Press, pp. 25–38.
- Joas H. (1996) *The Creativity of Action*, Cambridge: Polity Press.
- Jones O. (2016) An Ecology of Emotion, Memory, Self and Landscape. *Emotional geographies* (L. Bondi, J. Davidson eds.), London: Routledge, pp. 205–219.
- Kurakin D. (2018) Predislovie k russkomu perevodu «Jelementarnyh form religioznoj zhizni» [Preface to the Russian translation of «The Elementary Forms of Religious Life»]. E. Durkheim *Jelementarnye formy religioznoj zhizni: totemicheskaja sistema v Avstralii* [The Elementary forms of religious life: the totemic system in Australia], Moscow: The Elementary Forms, pp. 15–50.
- Kurakin D. (2019a) Culture and cognition: the Durkheimian principle of sui generis synthesis vs. cognitive-based models of culture. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 8, no 1, pp. 63–89.
- Kurakin D. (2019b) The Sacred, Profane, Pure, Impure, and Social Energization of Culture. *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* (eds. W. H. Brekhus, G. Ignatow), New York: Oxford University Press, pp. 484–506.
- Kurakin D. (2023) Katekticheskie mehanizmy kul'tury Chast' 1 [Cathectic Mechanisms of Culture Part 1]. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 3, pp. 9–52.
- Kurakin D. (2024) Katekticheskie mehanizmy kul'tury Chast' 2 [Cathectic Mechanisms of Culture Part 2] *Russian Sociological Review*, vol. 23, no 1, pp. 9–39.
- Lakoff G., Johnson M. (1999) *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought*, New York: Basic Books.
- Leschziner V., Green A. I. (2013) Thinking about Food and Sex: Deliberate Cognition in the Routine Practices of a Field. *Sociological Theory*, vol. 31, no 2, pp. 116–144.

- Lizardo O. (2014) Beyond the Comtean schema: the sociology of culture and cognition versus cognitive social science. *Sociological Forum*, vol. 29, no 4, pp. 983–989.
- Lizardo O., Strand M. (2010) Skills, toolkits, contexts and institutions: Clarifying the relationship between different approaches to cognition in cultural sociology. *Poetics*, vol. 38, no 2, pp. 205–228.
- Lizardo, O. (2016) Improving cultural analysis. *American Sociological Review*, vol. 82, no 1, pp. 88–115.
- Martin J.L. (2009) Life's a beach but you're an ant, and other unwelcome news for the sociology of culture. *Poetics*, vol. 38, no 2, pp. 229–244.
- Martin J.L. (2011) *The Explanation of Social Action*, Oxford: Oxford University Press.
- Martin J.L. (2015) «The Gentleman Is to Let the Lady Enter the Door First»: Or How the Environment Tells Us What to Do. *Thinking through theory*, New York: W.W. Norton, pp. 217–244.
- Martin J.L. (2019) Can Carnal Sociology Bring Together Body and Soul? or, who's afraid of christian wolff? *The Oxford Handbook of Cognitive Sociology* (eds. W.H. Brekhus, G. Ignatow), New York: Oxford University Press, pp. 115–136.
- Martin J.L., Lembo A. (2020) On the Other Side of Values. *American Journal of Sociology*, vol. 126, no 1, pp. 52–98.
- McDonnell T.E. (2014) Drawing out culture: productive methods to measure cognition and resonance. *Theory and Society*, vol. 43, no 3–4, pp. 247–274.
- McDonnell T.E., Bail C. A., Tavory I. (2017) A theory of resonance. *Sociological Theory*, vol. 35, no 1, pp. 1–14.
- Mead G.H. (1972) *Mind Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist*, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Merleau-Ponty M. (1999) *Fenomenologia vospriyatiya* [Phenomenology of Perception], Moscow: Yuventa, Science.
- Mills C.W. (1940) Situated actions and vocabularies of motive. *American Sociological Review*, vol. 5, no 6, pp. 904–913.
- Norton M. (2018) Meaning on the move: synthesizing cognitive and systems concepts of culture. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 7, no 1, pp. 1–28.
- Parsons T., Shils E., Olds D. (2002) Cennosti, motivy i sistemy dejstvija [Values, motives, and systems of action]. T. Parsons *O strukture social'nogo dejstvija* [The Structure Of Social Action], Moscow: Akademicheskij proekt, pp. 458–562.
- Peters L.H., O'Connor E.J., Rudolf C.J. (1980) The behavioral and affective consequences of performance-relevant situational variables. *Organizational Behavior and Human Performance*, vol. 25, no 1, pp. 79–96.
- Rochberg-Halton E. (1984) Object relations, role models, and cultivation of the self. *Environment and Behavior*, vol. 16, no 3, pp. 335–368.
- Scott S. (2020) Social nothingness: A phenomenological investigation. *European Journal of Social Theory*, vol. 25, no 2, pp. 197–216.
- Serebrennikov D. (2023) Infrastruktura kak kamera-obskura social'nyh klassifikacij: sistemy gorodskogo videonabljudeniya v mal'nyh gorodah [Infrastructure as a Camera Obscura for Social Classifications: Urban CCTV Systems in Russian Small Cities]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, vol. 3, pp. 104–129.
- Shiota M.N., Keltner D., Mossman A. (2007) The nature of awe: Elicitors, appraisals, and effects on self-concept. *Cognition and Emotion*, vol. 21, no 5, pp. 944–963.
- Simko C., Olick J.K. (2020) What we talk about when we talk about culture: a multi-facet approach. *American Journal of Cultural Sociology*, vol. 9, no 4, pp. 431–459.
- Sonnentag S., Starzyk A. (2015) Perceived prosocial impact, perceived situational constraints, and proactive work behavior: Looking at two distinct affective pathways. *Journal of Organizational Behavior*, vol. 36, no 6, pp. 806–824.
- Spillman L., Strand M. (2013) Interest-Oriented action. *Annual Review of Sociology*, vol. 39, no 1, pp. 85–104.
- Stoltz D.S., Lizardo O. (2018) Deliberate trust and intuitive faith: a Dual-Process model of reliance. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 48, no 2, pp. 230–250.
- Strand M., Lizardo O. (2015) Beyond World Images: Belief as Embodied Action in the World. *Sociological Theory*, vol. 33, no 1, pp. 44–70.

- Strand M., Lizardo O. (2016) The Hysteresis effect: theorizing mismatch in action. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 47, no 2, pp. 164–194.
- Strauss C., Quinn N. (1997) *A Cognitive Theory of cultural Meaning*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Strydom, P. (2007) Introduction: A cartography of contemporary Cognitive Social Theory. *European Journal of Social Theory*, vol. 10, no 3, pp. 339–356.
- Swidler A. (1986) Culture in Action: Symbols and Strategies. *American Sociological Review*, vol. 51, no 2, pp. 273–286.
- Swidler A. (2001) *Talk of love: How Culture Matters*, Chicago: University of Chicago Press.
- Thomis M.I. (1993) *The Luddites: Machine-breaking in Regency England*, Ashgate Publishing.
- Turner J.H. (2007) *Human emotions: A Sociological Theory*, London: Routledge.
- Turner, S. (2002) *Brains/Practices/Relativism: Social Theory After Cognitive Science*, Chicago, London: University of Chicago Press.
- Vaisey S. (2009) Motivation and Justification: A Dual-Process Model of culture in action. *American Journal of Sociology*, vol. 114, no 6, pp. 1675–1715.
- Wacquant L. (1998) The prizefighter's three bodies. *Ethnos*, vol. 63, no 3–4, pp. 325–352.
- Wacquant L. (2015) For a sociology of flesh and blood. *Qualitative Sociology*, vol. 38, no 1, pp. 1–11.
- Wolpert L., Richards A. (1997) *Passionate minds: The Inner World of Scientists*, New York: Oxford University Press.
- Zerubavel E. (1993) Horizons: On the Sociomental Foundations of Relevance. *Social Research*, vol. 60, no 2, pp. 397–413.
- Zerubavel E. (1993) *The fine line: Making distinctions in everyday life*, New York: Free Press.
- Zerubavel E. (1997) *Social mindscapes: An invitation to cognitive sociology*, Cambridge: Harvard University Press.

Условия влияния правового дискурса на формирование представлений о социальном порядке: лингвистический и логический аспекты

Марина Пантыкина

Доктор философских наук, доцент, руководитель по научно-образовательной деятельности гуманитарно-педагогического института, Тольяттинский государственный университет

Адрес: Белорусская ул., 14, Тольятти, Самарская область, 445020 Российская Федерация

E-mail: pantikina@tltu.ru

В статье исследуются условия влияния правового дискурса на формирование представлений о социальном порядке в контексте конфликтогенной современной правовой политики, провоцирующей «глобальный хаос» (З. Бауман). Специфика этого влияния определяется типами правового дискурса, а также лингвистическим и логическим аспектами правовой коммуникации. В первой части статьи даются дескриптивные определения понятий правового дискурса, социальных представлений и социального порядка, уточняются отношения между ними. В результате тезаурусного анализа систематизируются подходы к данным социальным явлениям, в зависимости от типа правового дискурса (институциональный (юридический) и неинституциональный), выявляются основные направления его влияния на формирование представлений о социальном порядке. Во второй части статьи представлен лингвистический аспект влияния на представления о социальном порядке в контексте присущих ему языковых функций: смыслообразования, нормативной и конструктивной функции, формализации и функции «отменяемости» правовых понятий. В третьей части доказывается положение о том, что содержание правового дискурса определяется выбором логической стратегии, которая задает конкретные условия формирования представлений о социальном порядке. Так, модернистскому варианту соответствует классический правовой дискурс, подчиненный формальной логике. Неклассический и постструктуралистский дискурсы направлены на критику аристотелевской логики и предлагают варианты семантической логики: логику отношений (А. Кауфманн) и логику эквивалентностей и различий (Э. Лаклау, Ш. Муфф). В частности, теоретико-методологические возможности логики эквивалентностей и различий применяются при анализе примеров либерального правового дискурса 1990-х гг., а также демонстрируются последствия его влияния на формирование представлений о современном мировом порядке.

Ключевые слова: правовой дискурс, социальные представления, социальный порядок, языковые функции, логика отношений, логика различий, логика эквивалентности

В последние десятилетия под влиянием социальных, политических и экономических процессов происходит существенная трансформация как правовых систем отдельных государств, так и международного права. К наиболее значимым изменениям следует отнести широкое внедрение цифровых технологий, развитие судейского права и медиации, усиление значимости прецедентных текстов «мягкого права», признание информационных и соматических прав в качестве нового поколения прав человека, легитимация одностороннего применения в международном праве санкционных режимов и моратория законов. Ряд правовых инноваций уже нашли отражение в нормативно-правовых актах, однако большая их часть, в силу своей многофакторности,

является предметом сложных дискуссий между различными участниками правовой коммуникации. При этом остаются недостаточно исследованы соответствующие ей характеристики правового дискурса, а также условия и основные аспекты его влияния на формирование представлений о социальном порядке.

Решение обозначенных проблем позволит выяснить значение правового дискурса в анализе и оценке изменений, происходящих в современном праве, а исследование механизмов его воздействия на представления о социальном порядке даст возможность укрепить статус права как социального института с высокой степенью социальной ответственности. Актуальность этой проблематики обусловлена распространением правонарушений, узаконенных на государственном и международном уровнях, что подрывает общественные устои и формирует представление о всеобъемлющем характере социального хаоса и правового беспредела. Как отмечал З. Бауман, современный «глобальный хаос» и связанные с ним процессы могут быть описаны как «представляющиеся самопроизвольными, стихийными и беспорядочными, процессы, происходящие помимо людей, сидящих за пультом управления, занимающихся планированием и тем более принимающих на себя ответственность за конечные результаты» (Бауман, 2005: 43). Эти процессы «усугубляют небезопасность вместо того, чтобы бороться с ней, и ускоряют дезинтеграцию нормативно регулируемого порядка» (Там же: 43, 46).

Учитывая сложность современного контекста реализации дискурсивной правовой практики, в предлагаемом исследовании анализируются условия формирования представлений о социальном порядке посредством решения следующих вопросов:

- 1) Почему правовой дискурс следует считать определяющим фактором формирования представлений о социальном порядке?
- 2) Какие функции выполняют языковые формы правового дискурса в формировании представлений о социальном порядке?
- 3) Существует ли логика, релевантная специфике правового дискурса, и какова ее роль в конституировании и актуализации представлений о социальном порядке?

Поиск ответов на эти вопросы позволяет обосновать положение о том, что правовой дискурс определяет лингвистический и логический параметры правовой коммуникации и, в зависимости от типов правового дискурса, задает направления влияния на формирование представлений о социальном порядке. Доказательство данного тезиса основывается на критическом анализе теоретического наследия социологии знаний П. Бергера и Т. Лукмана, теории социальных представлений С. Московичи, аналитической философии права Г.-Л. Харта, логики отношений А. Кауфманна, логики эквивалентности и различий Э. Лаклау и Ш. Муффа.

Правовой дискурс, социальные представления и социальный порядок: терминологическое обоснование

Решение вопроса о влиянии правового дискурса на формирование представлений о социальном порядке требует установления семантических границ понятий

правового дискурса, социальных представлений и социального порядка, а также уточнения отношений между ними. Необходимость тезаурусного анализа обусловлена многозначностью этих понятий, которая влечет за собой различные теоретические трактовки.

В предлагаемом исследовании под правовым дискурсом понимается совокупность форм правовой коммуникации по вопросам норм, ценностей и принципов права, определяющих стабильность социального порядка¹. Однако это не исключает правомерность иных дефиниций². Что касается понятия «социальный порядок», то его следует определить как состояние общественной жизни, характеризующееся структурированностью, устойчивостью и регулярностью воспроизводства социальных практик. Это понятие имеет статус деонтологической категории, выражающей представления о должном, объективно необходимом условии существования общества³. Подобная позитивная оценка социальной тотальности наиболее последовательно представлена в неомарксизме и структурном функционализме. Несмотря на присущие им различия в понимании тотальности общественной жизни, эти направления объединяет склонность к объективизму и признание идеи целостности, предполагающей взаимосвязь целого и части. Так, например, классик неомарксизма Д. Лукач утверждал, что социальные процессы в результате взаимодействия синтезируются в большие объединения, в тотальности. Причем в силу природы вещей «этот синтез усиливается и качественно изменяется в общественном бытии» (Лукач, 1991: 238). Дополняя эту позицию, представитель структурного функционализма Т. Парсонс акцентировал внимание на нормативной функции, обеспечивающей целостность социальных объединений и систем. Он писал, что «ядром общества как системы является структурированный нормативный порядок, посредством которого организуется коллективная жизнь населения. Как порядок, он содержит ценности, дифференцированные и специфицированные (particularized) нормы и правила...» (Парсонс, 1993: 102). Кроме того, каждая из этих авторитетных теоретических позиций раскрывает «ядерное» значение социального порядка с помощью понятий «социальный институт», «стабильность», «функциональное равновесие», «социальная система», «социальная структура», а их содержание интерпретируется в аспекте обобщенного представления о рационально организованном, нормативно регулируемом, стабильном обществе, подчиняющемся объективным историческим и социальным законам.

Второй подход к пониманию социального порядка (связываемый обычно с именами Ж. Бодрийяра, З. Баумана, У. Бека, Дж. Урри и др.) развивается в рамках постструктуралистских социальных теорий и, в отличие от первого, ставит

1. См. подобное понимание правового дискурса: Виноградов, 2018: 124–129; Волков, 2019: 28–36; Гарашко, 2020: 19–23 и др.

2. См. обзор подходов к определению понятия правового дискурса: Батюшкина, 2022: 7–26; Хомутова, Шефер, 2019: 44–53.

3. См. обзор определений понятия социального порядка: Попов, Мартыненко, Мартыненко, Карпова, 2023: 150–159.

под сомнение непреложную необходимость социальной тотальности. Так, Эрнесто Лаклау утверждает, что прежние социальные теории представляли структурную тотальность как «объект, обладающий собственной позитивностью, который можно было бы описать и определить. В этом смысле эта тотальность служила основополагающим принципом постижимости социального порядка. Статус этой тотальности был статусом сущности социального порядка, которая должна была узнаваться за эмпирическими колебаниями, проявляющимися на поверхности социальной жизни. ... Вопреки этому эссенциалистскому представлению, ныне мы склонны признавать бесконечность социального, то есть то обстоятельство, что всякая социальная система ограничена, что ее всегда окружает “избыток значения”, которым невозможно овладеть, и, следовательно, что “общество” как единый и постижимый объект, на котором основаны его частные процессы, невозможно» (Лаклау, 2003: 55). Негация тотальности социального и связанного с ним эссенциалистского представления о социальном порядке не означает отрицание локального порядка. По мнению Лаклау, функцию сохранения последнего выполняет дискурс, поскольку он позволяет, хотя бы временно, зафиксировать идентичности в той или иной форме социальности. При этом «социальное должно отождествляться с бесконечной игрой различий, то есть с тем, что в самом строгом смысле слова мы можем назвать дискурсом — при условии, разумеется, что мы освобождаем понятие дискурса от его ограниченного значения как речи и письма» (Лаклау, 2003: 55). Как видим, для постструктуралистских социальных теорий характерен отказ от идеи социального порядка как онтологического и аксиологического основания обществ эпохи модернизма. Появление современного общества потребления и «молчаливого большинства» (массы) закрывает проблему социальной, а представления о социальном порядке, вытесняясь на периферию общественного сознания, замещаются понятиями глобального хаоса, мобильности, неопределенности и бесконечности.

Несмотря на существующие различия подходов к определению понятия социального порядка, оно по-прежнему входит в систему семантических координат «социальный порядок (согласие) — социальные изменения (конфликт)», что обуславливает устойчивость научного интереса к социальному порядку как явлению.

Обращаясь к вопросу формирования представлений о социальном порядке, следует уделить внимание понятию «социальное представление», которое имеет множество определений, разработанных в различных теориях⁴. Для решения задач данного исследования наибольший интерес вызывает концепция С. Московичи, который утверждал, что социальные представления содержатся в таких ментальных состояниях, как убеждения, идеологические взгляды, знания (Московичи, 1995: 5), и выполняют следующие функции:

4. См. обзор и анализ теорий и методологических подходов к исследованию социальных представлений: Бовина, Дворянчиков, Мельникова, Лаврешкин, 2022: 8–25.

- 1) представления как ценности придают смысл власти и социальным интересам;
- 2) представления как убеждения обеспечивают сплочение индивидов;
- 3) представления как знания и технологии, будучи превращенными в убеждения, выполняют функцию значимой принудительной силы;
- 4) в представлениях социальные акторы, явления и процессы репрезентируются таким образом, что социальный универсум осознается как консенсусный.

Перечень выявленных Московичи функций показывает, что социальный порядок, несмотря на все турбулентности современной общественной жизни, сохраняет за собой статус базового референта социальных представлений. Благодаря последнему в них генерируется и сохраняется идеальная модель общества, описывается последовательность событий, категоризируются социальные явления и процессы, формируются сценарии социальных ожиданий.

Для анализа лингвистического аспекта проблематики исследования значимой является мысль Московичи о том, что социальные представления — это предпосылки непроблематичной коммуникации, которые, будучи разделенными среди участников коммуникации, определяют структуры языка. Он подчеркивал, что «социальные представления... формируются через взаимные влияния, через имплицитные переговоры, по ходу которых люди обязывают себя к особым символическим моделям, образам и разделяемым ценностям. Делая это, они приобретают и некий общий репертуар интерпретаций и объяснений, правил и процедур, которые могут применять в повседневной жизни» (Московичи, 1995: 5).

Анализ понятий правового дискурса, социального порядка и социальных представлений требует установления семантических отношений между ними. Для этого следует выявить способы формирования представлений о социальном порядке в зависимости от разных видов правового дискурса: институционального и неинституционального. Они различаются между собой по степени их интегрированности в процедуры правового регулирования и, как следствие, оказывают разное влияние на формирование представлений о социальном порядке.

Термин «институциональный правовой дискурс» в научной литературе нередко заменяется синонимом «юридический дискурс» и обозначает «статусно-ориентированное взаимодействие его участников в соответствии с системой ролевых предписаний и норм поведения в определенных правовых ситуациях институционального общения» (Палашевская, 2010: 535). Такое понимание юридического дискурса основано на анализе юридических текстов и практики правоприменения, имеет в виде внешней смысловой рамки официально установленные правовые нормы. В качестве его параметров принято выделять набор типичных для сферы правового регулирования ситуаций общения; типичные модели коммуникативного поведения при исполнении определенных социальных ролей; тематику общения, определяемую особым набором задач и вытекающих из них коммуникативных стратегий (Косоногова, 2015: 63).

Одна из основных функций юридического дискурса состоит в том, чтобы выделять и нормативно фиксировать социальные позиции. М. Фуко писал, что хотя дискурс порожден социальными порядками как структурами подчинения, он сам являет собой систему запретов, разделения и отбрасывания участников коммуникации (или конфликта) (Фуко, 1996: 52). Поэтому юридический дискурс воздействует на их социальные представления о социальном порядке следующими способами:

1) он включен в процедуры правового регулирования и поэтому содержит в себе «формулу» прав и обязанностей, на основании которой формируются представления о социальном порядке;

2) так как юридический дискурс представлен прецедентными текстами, то их логический анализ и содержательная интерпретация оказывают влияние на представления о социальном порядке;

3) социальные представления являются разновидностью дискурсивного мышления, а юридический дискурс предусматривает языковые формы их выражения (устные и письменные тексты), поэтому в своем единстве они образуют конфигурацию коммуникации, в ходе которой устанавливается нормативная значимость событий и процессов в соответствии с требованиями права как коррелята социального порядка;

4) юридический дискурс формирует легитимные представления о социальном порядке, в частности тем, что ограничивает коммуникативные стратегии его участников, исключает несоответствующие юридической технике источники информации, лексико-фразеологические и стилистические языковые средства, а также логические выводы.

Институциональный правовой дискурс является важнейшим элементом правового регулирования. Ему, как и правовой системе в целом, вменяется социальная ответственность за стабильность и благополучие в обществе. Н. Луман подчеркивал, что нормативная закрытость правовой системы обусловлена тем, что «нет никакого другого общественного авторитета, который может объявить, что законно, а что незаконно» (Luhmann, 2004: 100). Поэтому при любом толковании закона и его применении следует учитывать возможные результаты: не только в виде будущих решений, но в гарантированности контроля фактических последствий в социальной реальности (Luhmann, 2004: 180). В этом контексте регламентирующая юридический дискурс юридическая техника может быть определена как условие его устойчивого операционального воспроизводства с целью достижения консенсуса ненасильственными методами.

Юридическому дискурсу присущи семантические оппозиции, которые обуславливают различные социальные противоречия: «правомерное/неправомерное», «разрешено/запрещено». В условиях социального кризиса, еще более обостряющего процессы дифференциации, различия указанных бинарных оппозиций усиливаются. В результате «широкие круги населения не включаются в систему права, так что не может утвердиться (или утверждается лишь очень ограниченно)

код «правовое/неправовое», присущий правовой системе. Соответственно, нельзя положиться на то, что программы правовой системы (законы, в том числе и конституционные) действительно регулируют соотношение кодов правового и неправового с фактическими обстоятельствами; и хотя это в значительных объемах все же и происходит, но происходит именно соразмерно включению/исключению» (Луман, 2004: 117). Собственно, закрытостью правовой системы объясняется то, что институциональный правовой дискурс не всегда быстро и адекватно реагирует на социальные конфликты и трансформации.

Специфика неинституционального правового дискурса состоит в том, что он упрощает выявление динамических процессов общественной жизни, имеющих юридические последствия. Это связано с тем, что он «формируется и существует на основе межинституциональных дискурсов, интегрирующих членов различных социальных групп в единый социум с общей культурой, общими нормами, общими ценностями, он основывается на ценностях и принципах нескольких культурных институтов, наиболее значимыми из них являются экономика, религия, политика» (Федулова, 2015: 53). А анализ его содержания и структуры предполагает широкий спектр социально-гуманитарных знаний: правоведения, истории, лингвистики, социальной психологии, экономики, политологии и др.

Кроме того, неинституциональный правовой дискурс особым, отличающимся от юридического дискурса образом влияет на формирование представлений о социальном порядке. В частности, ему свойственно следующее:

1) неинституциональный правовой дискурс выполняет аксиологическую функцию, благодаря которой нормы и ценности фундируются в общественном сознании как базовые социокультурные идеи, а представления о социальном порядке связываются с принципами гармонии (подлинности, оптимальности, согласованности, уместности); социальной необходимости, обнаруживаемой в единстве правовой закономерности и правовой воли; организованности или подчинения общественных отношений совокупности правовых целей, условий, имеющих правовых средств и норм; упорядоченности, выражающейся в последовательности и связности правовых фактов, ситуаций и действий субъекта права (Малахов, 2002: 134–136);

2) неинституциональный правовой дискурс влияет на представления о социальном порядке через формирование в процессе коммуникации определенного семантического поля и обоснование принципов его категоризации⁵;

3) поскольку «определение истины, ориентированное на успех, является подчиненным и вторичным по отношению к определению того, что является законным доказательством в социальной группе, обществе или культуре» (Wagner, 1996: 104),

5. Пример анализа такого влияния в монографии М. В. Батеевой. В этой работе появление в эпоху Нового времени таких категорий, как «юридическая личность», «общественный договор» и других юридических метасубъектов, объясняется культивированием церковью и римским правом универсального понимания государства как «целого», под которым понимались абстрактные «все» (Батеева, 2013: 84–90).

то в правовом дискурсе устанавливаются условия релевантности представлений о социальном порядке, а любые их проявления становятся дискурсивным феноменом⁶;

4) формирование представлений о социальном порядке обеспечивается перформативной функцией правового дискурса, учреждающей «приемлемые формы коммуникативной практики, способы коммуникативной адресации (т.е. нормы коммуникативного поведения)» (Федулова, 2015: 54), а также формирующей легитимность и привлекательность «для общества как основных институтов права, так и его агентов, но прежде всего — поддержание непреложного авторитета самих норм» (Там же: 55).

Итак, предложенные определения понятий «правовой дискурс» (в его институциональном и неинституциональном аспектах), «социальные представления» и «социальный порядок», а также дескрипция отношений между ними позволяют установить семантическое пространство заявленной проблематики. Далее следует обратиться к выявлению и анализу лингвистического и логического ее аспектов, которые уже частично содержатся в представленных рассуждениях.

О влиянии правового дискурса на представления о социальном порядке: лингвистический аспект

Проблема обусловленности представлений о социальном порядке правовым дискурсом предполагает выделение двух аспектов ее исследования. Первый из них соответствует положению о том, что правовой дискурс является языковым образованием и поэтому его следует изучать с лингвистической точки зрения. Второй аспект — логический, предполагает акцентирование внимания на логических формах и структурах, лежащих в его основании. Подчеркнем, что противопоставление лингвистического и логического аспектов не исключает их содержательно-генетического единства, но позволяет обратиться к более детальной тезаурусной проработке заявленной проблематики, а также структурировать ее исследование. Примечательно, что К. Варга именно язык и логику определяет в качестве форм существования права как такового. Он пишет: «Для того чтобы ответить на поставленные вопросы, относящиеся ко всем юридическим обычаям и классификациям, нужно решить следующие задачи. Во-первых, рассмотреть, в полной ли мере право воплощается в существующих письменных сводах... Во-вторых, определить, концептуализировано ли право в лингвистическом носителе, т.е. являются ли использованные слова одновременно системными и таксономическими единицами в смысловой структуре, построенной

6. В этой связи интересен опыт анализа семантической сети понятия «преступник» в швейцарском Уголовном кодексе версий 1942 и 1990 гг., представленном в статье Я. Энгберга. Различия между ними состоят в исключении из новой версии таких признаков, как обстоятельства жизни и личность преступника, и замена их на квалификацию преступления и отношение к мотивам. С привлечением массива эмпирических материалов автор доказывает, что такое изменение явилось результатом широкой дискуссии с участием юристов и общественности (Engberg, 2010: 48–63).

на различных уровнях обобщения с требованием полной завершенности, или же лингвистическое выражение служит единственной цели — сделать возможным процесс передачи информации... В-третьих, установить, возникает ли в ряде последовательных мыслительных операций, направленных на достижение взаимного отражения норм права и фактов... решение, подлежащее принудительному исполнению как его логическому следствию... либо логика остается фактически только на заднем плане, выполняя лишь контрольную функцию, если вообще играет какую-то роль» (Варга, 2011: 19).

Необходимость обращения к лингвистическому аспекту обусловлена тем, что языковые средства коммуникации являются «материей» правового дискурса. Они определяют не только наше понимание социальной реальности, но и в качестве символических систем непосредственно включены в ее конструирование. При этом влияние дискурса как языкового образования на социальную реальность осуществляется опосредованно, проходя через структуры общественного сознания, в том числе в результате конституирования социальных представлений. Данная особенность дискурса является основополагающей и обнаруживается благодаря присущим ему функциям.

Так, Дж. Серль выделял следующие функции языка, которые в полной мере относятся и к правовому дискурсу:

- 1) функция наделения институциональных фактов социальными значениями;
- 2) функция объявления (декларации) значений в качестве существующих в определенном статусе;
- 3) функция установления границ (различий) между представлениями о них.

Выделение этих функций основано на том, что без языка могут существовать только долингвистические интенциональные состояния, такие как желания и убеждения с их диспозициями. В тех же случаях, когда надо признать обязательство обязательством, необходимо иметь понятие обязательства. А для этого нужно уметь представлять нечто как обязательство чего-то, что обуславливает действия, не зависящие от каких-либо склонностей и желаний. При этом не обязательно иметь само слово «обязательство» или его синоним, но должен быть достаточно богатый понятийный аппарат, чтобы представлять его деонтологию (Searle, 2010: 95–96). Поскольку функции, выделенные Дж. Серлем, позволяют представить этапы конституирования значений понятий, то их можно объединить общим названием — функция смыслообразования.

Следующая функция — нормативная, она определяется тем, что «язык — это не просто совокупность традиционно используемых символов; это система символов, значение которых соответствует определенному коду... Лингвистический код является нормативной структурой, параллельной той, которую составляют социетальные ценности и нормы. Эту структуру вполне можно рассматривать как специфический случай норм...» (Парсонс, 1993: 113). В этом контексте дискурс оказывает влияние на представления о социальном порядке тем, что его структуры упорядочивают, ограничивают и обеспечивают повторяемость социальных

взаимодействий по поводу образований социального пространства: институтов, фактов, условий и отношений.

В социологии знания П. Бергера и Т. Лукмана социальный порядок определяется в качестве непрерывного человеческого производства, в отношении которого язык выполняет конструктивную функцию. Последняя проявляется в том, что язык предоставляет возможность непрерывной объективации опыта и знаний, а также типизирует их, «позволяя распределить их по более широким категориям, в терминах которых они приобретают значение не только для меня, но и для других людей» (Бергер, Лукман, 1995: 67–68). Таким образом, в семантике языка постепенно накапливается запас представлений о социальном порядке, передающийся от поколения к поколению. А поскольку «внутренняя нестабильность человеческого существования вынуждает его к тому, чтобы человек сам обеспечивал стабильное окружение для своего поведения» (Бергер, Лукман, 1995: 89), то язык следует рассматривать как важнейшее условие его создания и воспроизводства.

В процессе языкового конструирования социального порядка Бергер и Лукман выделяют несколько этапов. Включению в этот процесс подлежат только те социальные действия, которые обладают способностью повторяться, а случайные — выбраковываются. По мере воспроизводства первые хабиитуализируются, то есть сначала становятся привычными, а затем превращаются в образцы. В повседневной языковой практике последние выражаются с помощью сленга, речевых стереотипов и штампов. В результате устойчивые языковые образования становятся практически целесообразными или нормальными и создают предпосылки для перехода к следующей фазе — институционализации, которая является результатом «взаимной типизации деятелями привычных действий» (Бергер, Лукман, 1995).

По мере усложнения общественной жизни имеющиеся представления о социальном порядке сегментируются и закрепляются за конкретными типами акторов со специфически-ролевыми знаниями, которые становятся основанием приписывания разным акторам различных «комплектов» прав и обязанностей. Последние, с одной стороны, ограничивают притязания акторов, а с другой — создают условия для их конкурентной борьбы. Как следствие, возникает проблема легитимации разных типов институциональной деятельности, которая разрешается появлением множества смысловых подуниверсумов. Их специфика определяется тем, что они «обслуживаются» разными языковыми средствами объективации специфически-ролевого знания, то есть отличающимися категориями, понятиями, формулами и пр. Одной из разновидностей такого подуниверсума является право с соответствующим ему правовым дискурсом.

Представленные языковые функции являются общими, свойственными любому дискурсу. Поэтому они должны быть дополнены функциями, характеризующими специфику правового дискурса. В частности, нельзя забывать о юридической технике, которая наделяет правовой дискурс функцией формализации. С. Н. Касаткин отмечает, что «...юридическая техника... важна как аппарат рационализации юридической деятельности, обеспечения ее результативности и одновре-

менной сообразности принятым в сообществе целям и принципам права. Одной из ключевых целей юридической техники (и, соответственно, параметров ее оценки) традиционно провозглашается гарантирование определенности правового регулирования, точности его формы, языка, нормативно-регулятивных средств» (Касаткин, 2023: 53). Другими словами, юридическая техника определяет границы правовой системы за счет табуирования любых попыток нарушения обоснованности нормотворчества и правоприменения. А достигаемая таким образом логическая выверенность правовых понятий и регламентированность юридического тезауруса имеют непосредственное отношение к обеспечению стабильности правовой системы и, следовательно, к устойчивости социального порядка в целом. В частности, убеждение в наличии данной связи объясняет стремление представителей классического направления аналитической юриспруденции Дж. Остина, Г. Кельзена и У. Хофельдома «выявить ядро правовой системы и кодифицировать его с помощью четко выраженного списка определений юридических понятий» для того, чтобы «единообразно понимать и толковать различные решения по сходным с точки зрения использования правовых терминов случаям» (Оглезнев, Суровцев, 2013: 137).

Если исходить из того, что правовой дискурс представляет собой открытую коммуникацию и высказывания «по вопросам правовой действительности, основными функциями которых выступают предписание, убеждение, провозглашение и информирование» (Волков, 2019: 34), то используемый в нем юридический язык не предполагает обязательное следование формальным, императивно-регулятивным требованиям юридической техники. Более того, правовой дискурс является той коммуникативной средой, в которой формируются предпосылки для актуализации содержания юридических понятий или для их «отменяемости» (Г. Л. А. Харт) вследствие изменения условий их применения.

Думается, что «отменяемость» правовых понятий следует считать еще одной функцией правового дискурса. Правомерность выделения этой функции может быть доказана в результате анализа конкретных случаев применения юридических терминов в правовом дискурсе. Один из примеров такого анализа представлен в публикации Е. В. Тимошиной, в которой содержится богатый фактологический материал, позволяющий выявить этапы деконструкции семьи и брака как фундаментов традиционных представлений о социальном порядке средствами юридического (законотворческого) дискурса. В частности, автор пишет о том, что в ст. 12 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод [далее — Конвенция], принятой в 1950 году, правом вступать в брак и создавать семью наделяются мужчина и женщина. Однако в 2002 году Европейский суд по правам человека обратил внимание на необходимость пересмотра соответствующей статьи Конвенции. А последующие годы уже ознаменовались множеством судебных решений, устанавливающих обязательство юридического признания однополых союзов, право усыновления детей лицами гомосексуальной ориентации и свободу сексуального самоопределения (Тимошина, 2023: 137–140).

Анализ фактов, представленных в статье, позволяет реконструировать процесс легитимации нетрадиционных представлений о семейных и брачных отношениях. Сначала судебные инстанции, ссылаясь на нестандартность правовых случаев, «смягчают» ограничения юридической техники, «отменяют» устоявшиеся юридические термины, вводят новые понятия. Затем сложившееся из этих составляющих содержание юридического дискурса становится основой правотворческой деятельности. В итоге система норм, созданная судебским правом, публично распространяется средствами институционального и неинституционального правового дискурса и легитимизируется как наиболее правильное отражение реальных изменений устоев общественной жизни.

Возвращаясь к исследованию функции «отменяемости» правовых понятий, следует обратить внимание на аномалии правовых терминов, которые, по мнению Г. Харта, определяют специфику юридического языка. Во-первых, им нельзя поставить в соответствие аналоги в мире фактов. Поэтому, в отличие от слов, являющихся названиями предметностей эмпирического мира, содержание правовых понятий устанавливается с учетом обстоятельств их применения в правовом дискурсе. Во-вторых, правовые понятия далеко не во всех случаях могут быть соотнесены с общим понятием с ясным содержанием, поэтому им сложно дать родовидовые определения. Если такие определения все-таки получается произвести, то они не всегда проясняют положение дел. В-третьих, открытость, вариативность и разнообразие пограничных ситуаций правового дискурса зачастую приводят к тому, что смысловое пространство правовых понятий нельзя ограничить необходимыми и достаточными условиями. Например, в отношении имущественного права «отменяемость» правовых понятий означает, что оно «подлежит прекращению или “отменяется” при ряде различных случайных обстоятельств, но остается неприкосновенным, если таких непредвиденных обстоятельств нет. Таким образом, в этом смысле договор — отменяемое понятие» (Харт, 2017: 31). Как видим, область применения функции «отменяемости» правовых понятий определяется высказываниями о фактах, которые «подтверждают или опровергают правовые выводы, и тем самым интерпретируют фразы, используемые юристами для связи между фактом и законом, когда последние говорят о “правовом результате или последствиях фактов”, “правовом заключении, выведенном из фактов” или о “последствиях, приписанных фактам”» (Харт, 2017: 38).

К вопросу о границах «отменяемости» правовых понятий Харт возвращается в своих работах 1950–1960-х годов в связи с дискуссией о статусе нацистских законов в послевоенной Германии, а также вызванной ею критикой судебского права. Нестандартность обстоятельств этой дискуссии обусловлена тем, что она продолжалась до конца 1950-х годов, несмотря на то, что нацистская правовая доктрина, основанная на антигуманном «естественном праве расы, крови и почвы», требовала незамедлительного разоблачения и устранения. Более того, вплоть до этого времени имели место правовые коллизии, свидетельствующие о косвенном оправдании государственных преступлений фашистского режима. В частности, «в кон-

це 1953 года ФКС [Федеральный конституционный суд. — *Прим. авт.*] Германии вынес решение, согласно которому... капитуляция Германии была не просто сменимой государственной формой, но уничтожением конституции Рейха (параграфы 86 и 88 решения), отношения государственной службы лиц, ставших служащими при нацистском режиме, прекратились в день капитуляции. Новый же формат государственной службы стоит на «традиционных принципах профессионального чиновничества» (статья 33 ОЗ), а потому не имеет отношения к государственной службе нацистского режима (BVerfG, 17.12.1953 — 1 BvR 147/52). ...В пику данному решению ФКС Большая палата по гражданским делам Федерального суда приняла решение, в котором указала, что нацистский режим не затронул государственной службы, а оценка, данная ФКС, является не правовым, но исторически-ценностным суждением» (Кондуров, 2023: 100–101).

Наряду с этими спорными решениями широкое применение в правовом дискурсе имела известная формула Г. Радбруха, согласно которой действительность легальных норм зависит от того, насколько правоприменительным органам удастся в своих решениях и постановлениях уравновесить строгое следование «писаному праву» с априорными принципами элементарной справедливости. Эта формула неоднократно использовалась судебными инстанциями послевоенной Германии. В результате часто выносились судебные решения применительно к каждому отдельному случаю, обстоятельствам, или, как заявляли сами судьи, «руководствуясь сущностью права», которая полагалась выше позитивного права.

Различные позиции в отношении способов преодоления наследия нацистского права явились причиной дискуссии о соотношении права и морали, в ходе которой Харт скорректировал свой подход к вопросу об отменяемости правовых понятий, акцентировав внимание на ее ограничениях. В частности, им была выявлена неоднозначность формулы Радбруха. С одной стороны, ее применение в практике немецких судов позволило военным преступникам, бывшим нацистским доносчикам и шпионам понести заслуженное наказание (Харт, 2005: 127). А с другой стороны, порочность постулата о том, что идея *Recht's* (законности) должна быть обогащена фундаментальными принципами гуманистической морали латентно содержит допущение отмены понятий законности и правопорядка. Так, известную фразу юспозитивизма «Право есть право» можно рассматривать как квинт-эссенцию формализма и подвергать ее в этом качестве критике, но это не значит, что юристы и судьи должны отказаться от своих обязанностей применять законы.

В своей поздней работе «Понятие права» (1961) Харт возвращается к вопросу о моральной нейтральности права и уточняет отличительные особенности правового дискурса. Прежде всего, для него язык права — это язык правил, которые должны быть основным средством социального контроля и обеспечения социального порядка. В этом аспекте предназначение правового дискурса состоит в том, чтобы сообщать общие образцы поведения. В свою очередь, закон должен доводить информацию о классах лиц и классах «действий, вещей и обстоятельств, и его успешное действие в обширных областях социальной жизни зависит от широко

распространенной способности признавать частные действия, вещи и обстоятельства как примеры общих классификаций, которые проводит закон» (Харт, 2007: 127).

При этом правовой дискурс должен транслировать все виды правил. Так, первичные правила, или правила-обязательства, относятся к определенной социальной группе и предписывают ей что-либо делать или воздерживаться от действий под угрозой санкций (Там же: 86). Поскольку толкование и применение первичных правил обусловлено социальным контекстом, то им свойственны дефекты неопределенности, статичности и неэффективности. На устранение этих дефектов направлены вторичные правила или высказывания о первичных правилах, приносящие в социальный порядок элементы того, что свойственно именно праву. Например, дефект статичности устраняется «правилом изменения», вводящим в правовой дискурс новые правила (Там же: 99).

Следовательно, специфика правового дискурса в контексте функции «отменяемости» правовых понятий обнаруживается в том, что он не только представляет собой комбинацию первичных и вторичных правил, но и эксплицирует содержание специфических правовых концептов — общих понятий правового дискурса. Назначение последних состоит в том, чтобы сообщать большой группе людей единые для всех правила, образцы и принципы, являющиеся основным инструментом социального контроля. Как пишет Харт, общие классифицирующие слова используются во всех известных системах права: в континентальном праве — в большей, в прецедентном праве — в меньшей степени. Будучи закрепленными в законодательстве, они представляют собой описания, которые должны гарантировать правомерность поведения как в настоящем, так и в будущем. Для этого нужно только «распознавать случаи, выраженные в ясных словесных терминах, чтобы “подвести” отдельные факты под общие классификационные понятия и сделать простое силлогическое заключение» (Харт, 2007: 128). В прецедентном праве подобные описания выражают авторитетные примеры. Однако, вследствие открытости структуры юридического языка, прецеденту и законодательству в равной степени свойственна «неопределенность в пограничных случаях — это цена, которую приходится платить, чтобы использовать общие классифицирующие термины в любой форме сообщения, касающегося фактов» (Там же: 130).

Открытость структуры языка права обуславливает тот факт, что «законодатель часто вынужденно использует прием неопределенных формулировок (т.н. «каучуковых» норм, правовых принципов, целевых норм-программ и т.п.) для того, чтобы распространить действие закона на круг неизвестных ему ситуаций, которые потенциально могут возникнуть. Все это определяет значительную сферу усмотрения правоприменителя и, соответственно, открывает возможности влияния массы факторов, несводимых к правовому предписанию» (Кашанин, 2013: 22). Конечно, общие понятия остаются важным языковым ресурсом, обеспечивающим предсказуемость и единообразие правоприменения. Их значения уточняются в контексте того способа, каким общие понятия соотносятся с имеющимися правилами.

А в неясных, спорных случаях они «приспосабливаются» к конкретным правовым случаям и речевым ситуациям.

Таким образом, обобщая анализ таких функций, как смыслообразование, нормативная и конструктивная функции, формализация и «отменяемость» правовых понятий, можно утверждать, что правовому дискурсу присуща ограниченная открытость. При этом возникает вопрос о допустимых пределах ограниченной открытости, поскольку может быть несколько «предсказуемых комбинаций релевантных факторов... и это вносит относительную неопределенность в нашу исходную цель — справедливую цену или безопасную систему...» (Харт, 2007: 134). Необходимость решения этого вопроса предполагает исследование влияния правового дискурса на представления о социальном порядке в логическом аспекте, с учетом того, что правовой дискурс подчиняется последовательности мыслительных операций. Как отмечали Бергер и Лукман, «логика свойственна не институтам и их внешней функциональности, но способу рефлексии по их поводу. Иначе говоря, рефлектирующее сознание переносит свойство логики на институциональный порядок. Язык предусматривает фундаментальное наложение логики на объективированный социальный мир» (Бергер, Лукман, 1995: 108).

Логика конституирования представлений о социальном порядке и прагматика правового дискурса

Специфика правового дискурса состоит в том, что в основании всегда обнаруживается определенная стратегия аргументации. «Генетическим кодом» западно-европейского правового дискурса принято считать аристотелевскую формальную логику. И хотя Аристотель создал два вида логик: формальную логику и диалектику, в древнеримском праве предпочтение было отдано аподиктическому доказательству, в котором рассуждения строятся на очевидно истинных посылах и обеспечивают необходимые и достаточные условия получения достоверных решений (выводов). Именно она затем развивалась различными школами глоссаторов, а также была инкорпорирована в современное юридическое образование и в практику правоприменения в качестве стандарта юридической техники (Тарасов, 2011: 641–648).

В начале XX века в рамках естественного права и философии права сформировалась точка зрения, согласно которой формальная логика может претендовать лишь на опосредованное значение для реальной практики правоприменения. Так, критикуя аристотелевскую логику за «формализм» и «буквализм», Харт писал, что она непригодна для толкования терминов и высказываний, бесполезна при анализе частных случаев. В случае необходимости толкования оснований судебных решений она также не подходит, ведь «судья должен применять норму к конкретному случаю, например, норму, запрещающую перемещать украденное «транспортное средство» (скажем, аэроплан) за пределы государственной границы. Он либо не видит, либо предпочитает не видеть, что общие термины этой нормы могут

быть истолкованы по-разному и что он стоит перед неограниченным выбором, предоставленным ему лингвистическими конвенциями. Он игнорирует либо не замечает тот факт, что находится в полутени и имеет дело не со стандартным случаем. Вместо того чтобы делать выбор, руководствуясь социальными целями, судья фиксирует значение слова иным путем. Он либо выбирает значение, которое наиболее очевидным образом предлагает обычный неюридический контекст обычному человеку, либо значение, следующее из какого-либо другого юридического контекста, либо, что еще хуже, он пытается придумать обычное толкование и произвольно выделяет ряд признаков...» (Харт, 2005: 120–121). Как следствие, если судья и применяет формальную логику, то только «задним числом», когда необходимо оформить решения в виде прецедентного документа.

В качестве поддержки критической позиции в отношении формальной логики можно привести следующие доводы:

1) дедуктивный способ мышления ошибочен, так как представляет процесс осуществления права как всецело внеисторический, где ничего не происходит (Кауфманн, 2013: 213);

2) законы логики и нормы права различаются по своей семантической природе: правовые нормы инкорпорированы в прескриптивный дискурс, так как они предписывают определенный порядок действий и меру ответственности в случае его нарушения; а законы логики рационализируют правовой дискурс, описывают порядок действий, но ни к чему не обязывают (Вригт фон, 1986: 293);

3) право содержит большое количество примеров исключений из норм, которые вводятся в правовой дискурс дедуктивным методом, исходя из какой-либо аксиомы, установки или принципа. «Эти исключения обусловлены другими установками, принципами и другими аксиомами, многочисленность, взаимопроникновение, а иногда запутанность, большая или меньшая напряженность которых делают невозможным выражение позитивного права в математической форме» (Бержель, 2000: 469);

4) поскольку «усилия юристов... были направлены на примирение техники юридических суждений со справедливостью, или, по крайней мере, на обеспечение социальной приемлемости решения... то уже одной такой установки достаточно, чтобы ясно увидеть несовершенство с точки зрения права чисто формального суждения, которое может довольствоваться контролем за корректностью выводов, не затрагивая вопроса о ценности заключения» (Perelman, 1979; цит. по: Бержель, 2000: 472).

Предложенных аргументов достаточно, чтобы признать справедливость мысли С. С. Алексеева о том, что требуется новый порядок (уровень) логики права, благодаря которому раскроются «новые, глубокие пласты юридической материи, в том числе — те, которые характеризуют право в движении, в процессах, где отдельные правовые явления сцепляются, синтезируются и где на первое место выступают... своеобразные черты права» (Алексеев, 2011: 520). Следовательно, необходима такая логика, которая бы представляла собой пересмотр понимания правового дискур-

са как закрытой системы верифицированных суждений и позволяла обнаружить в ментальных структурах правового дискурса отношения между имманентными свойствами фактов и правовыми нормами. Примером логической теории, соответствующей этим условиям, является логика отношений А. Кауфманна, которая представляет собой синтез диалектики Аристотеля, реляционной логики Ч. Пирса и логической матрицы практики судейского права.

В основании логики Кауфманна лежат следующие отрицательные посылки:

- 1) право — это не субстанция;
- 2) право — это не простое соответствие нормам закона;
- 3) закон суть не-диспозитивен (текст закона не самодостаточен, а детерминирован процессом и принимаемыми решениями);
- 4) нельзя сказать, что метод образования права дедуктивный или индуктивный.

Следуя принципам диалектики Аристотеля, Кауфманн не выводит из отрицательных посылок антитезис, а предлагает третий путь — логику отношений, в основе которой лежит абдукция или вероятностный силлогизм⁷. Его специфика состоит в том, что вывод — это представления об объекте, а посылками являются практические следствия из признания релевантности вывода. То есть основаниями вероятностного силлогизма являются факты, а не некие предзаданные теоретические положения. Последние если и необходимы, то только для объяснения фактов (Кауфманн, 2013: 216). Преимущество такого логического метода состоит в том, что он конгруэнтен процедурам правоприменения, представленным, по мнению Кауфманна, актами конструкции и интерпретации: «С одной стороны, необходимо конструирование дела, выработка особенностей этого дела в свете нормы; другими словами, формирование юридически значимого положения дел (Sachverhalt). С другой стороны, интерпретация норм требует на самом деле их конкретизации в свете частного случая, формирования нормативного каркаса, к которому можно приспособить реальность (Tatbestand). Посредством обоих актов конструкции и интерпретации, которые не следуют во времени друг за другом, но, скорее, совпадают в отношении взаимообуславливания, соответствия случая и нормы в форме фактического и правового, нормативный каркас Sachverhalt и Tatbestand завершен» (Кауфманн, 2013: 216–217). Как следствие, отношение соответствия между положением дел и нормой устанавливается не заранее, а создается в процессе правового дискурса, в котором «созидание юридически значимого каркаса фактов и каркаса нормативного, “положения дел” и “юридического состава” связано с... абдукцией» (Там же: 217).

Так как в основе правового дискурса лежит «мышление в терминах случая», то его структура должна соответствовать следующей формуле: «Отношение “П” (право) есть отношение между “х” (делом) и “у” (нормой), которое только тогда удовлетворительно, когда высказывание хПу истинно» (Кауфманн, 2013: 219).

7. Следует отметить, что логика отношений Кауфманна представляет собой интерпретацию реляционной логики Ч. Пирса, адаптированную к специфике права.

Другим словами, отношение между фактами и нормой представляет собой конфигурацию, которая дает возможность рассматривать частные случаи в качестве референтов правового дискурса и выявлять фактические основания решений, принимаемых в результате демонстрации его содержания. Будучи объективированным в понятиях и объяснительных схемах, правовой дискурс становится фактором, конституирующим представления о социальном порядке.

С помощью методологии дискурс-анализа исследуются конкретные проявления конфигурации (или логико-семантического отношения) фактов и норм, которые прямо или косвенно касаются представлений о социальном порядке. Например, в работе Э. К. Келли и М. С. Крэндалл показано, как институциональные и неинституциональные дискурсы, отражающие проблемы политики США в области управления лесными ресурсами, «производят управляемую реальность», «ограничивают сферу возможного» и устанавливают «границы действия». Благодаря этому они непосредственно влияют на представления о социальном порядке, а именно на разработку моделей решения проблемы достижения баланса между нормативно определенными правами частной собственности и ресурсами общественного доверия (Kelly, Crandall, 2022).

Не менее интересным и значимым вариантом неклассической логики, определяющей конституитивность правового дискурса в отношении представлений о социальном порядке, является семантическая логика эквивалентности и различий Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф. Поскольку ее авторы стремились «найти диалектику вещей в логике понятий», то на первый взгляд может показаться, что предлагаемая ими концепция подобна диалектической логике Г. В. Ф. Гегеля. Однако, как утверждают Лаклау и Муфф, они опирались на философию деконструкции Ж. Деррида. Поэтому их логика является «перевернутой»: начинается с констатации различий, а не тождеств, как у Гегеля. Кроме того, гегелевское спекулятивное «снятие» противоречий заменяется «рассеиванием» или «регулярностью дисперсии» различных субъективных позиций внутри дискурсивной формации (Laclau, Mouffe, 2001: 109). В результате им удалось создать достаточно оригинальную теорию дискурса, которая долгие годы, начиная с 1990-х годов, остается востребованной. Она с успехом применяется в эмпирических исследованиях дискурсивных практик в контексте различных социальных процессов. Кроме того, как будет показано ниже, ее базовые принципы обнаруживаются и в современном дискурсе западноевропейской политики в области прав человека и правозащитной деятельности.

Главной теоретической предпосылкой логики Лаклау и Муфф является положение о том, что антагонистические границы общества служат препятствием его окончательного конституирования (Laclau, Mouffe, 2001: 128). Поэтому общества как объективной реальности не существует. Реальны лишь значения и представления, благодаря которым появляется возможность рассуждать о его существовании. Именно в этом контексте следует понимать следующую дескрипцию дискурса: «...Мы будем называть *артикуляцией* любую практику, устанавливающую

отношение между элементами таким образом, что их идентичность изменяется в результате артикуляционной практики. Структурированную тотальность, возникающую в результате артикуляционной практики, мы назовем *дискурсом*. Дифференциальные позиции, в той мере, в какой они проявляются в дискурсе, мы будем называть *моментами*. В противоположность этому мы будем называть *элементом* любое различие, которое не артикулировано дискурсивно» (Laclau, Mouffe, 2001: 105). Как видим, в этом определении дискурса представлены общее его понимание и структура. Она подобна «рыболовецкой сети» (М. В. Йоргенсен, Л. Дж. Филипс), состоящей из двух видов различий или дифференциальных позиций: моментов и элементов. Они и образуют исходную ипостась дискурса — логику различий.

Что касается эквивалентности или отношения идентичности конкретной совокупности смыслов, то она является другой ипостасью дискурса, сущность которой определяют следующие положения:

1) это не умозрительный принцип, а регулярность системы структурных позиций внутри дискурса (Laclau, Mouffe, 2001: 106);

2) поскольку тотальности или универсальности в действительности не существует, то отношение эквивалентности следует считать символическим выражением недостижимой полноты (Laclau, 2005: 71);

3) эквивалентности свойственно временно соединять значения дискурса посредством «неприятия исключенной идентичности» и установления господствующей идентичности, которая «становится чем-то вроде пустого означающего» (Laclau, 2005: 70–71);

4) состояние эквивалентности означает, что в определенный момент времени дискурс существует в статусе замкнутого пространства, «где каждое дифференциальное положение фиксируется как определенный невосполнимый момент» (Laclau, Mouffe, 2001: 127).

Условность и относительность эквивалентности определяют проблематичность ее «удержания». Эта особенность эквивалентности объясняется присущим ей противоречием: с одной стороны, для того, чтобы моменты как дифференциальные позиции дискурса уравнивали друг друга, специфика каждого из них должна быть растворена; а с другой — различия должны уметь сохранять идентичность и фиксированный смысл, чтобы ансамбль дифференциальных позиций мог образовывать цепочку эквивалентности. Кроме того, как внутри, так и за пределами дискурса существуют элементы как знаки с многочисленными значениями. Различия с полисемией также «подрывают» замкнутость дискурса и создают условия для его неопределенности и изменчивости.

Для восстановления расчлененной дискурсивной структуры требуется трансформировать противоречия между идентичностями и дифференциальными позициями в противоположность, а также редуцировать полисемию элементов до моментов дискурсивной целостности. Такое упрощение осуществляется благодаря артикуляционной практике, которая реализуется «в построении узловых точек,

частично фиксирующих смысл, а частичный характер этой фиксации проистекает из открытости социального, являющегося, в свою очередь, результатом постоянного переполнения всякого дискурса бесконечностью поля дискурсивности» (Laclau, Mouffe, 2001: 113). Результатом артикуляции является рассеивание различий или «ниспровержение» границ между элементами и моментами. Таким образом устанавливается условная эквивалентность, закрытость которой является следствием неконститутивности и случайности системы различий. Как резюмируют Лаклау и Муфф, «окончательный характер этого непостоянства, предельная ненадежность всякого различия проявляются в отношении полной эквивалентности, где дифференциальная положительность всех его членов растворяется» (Laclau, Mouffe, 2001: 128).

Следует отметить, что семантическая логика Лаклау и Муфф соответствует положениям постструктуралистских теорий права. А последствия деконструкции, лежащей в ее основе, можно обнаружить в современных представлениях о социальном порядке. Последние, закрепляясь в когнитивных сценариях и моделях поведения, оказывают влияние на правовую политику и практику правоприменения. В частности, в настоящее время все чаще подвергается сомнению эквивалентность (универсальность) либерального правового дискурса. Свидетельства этого нового тренда можно обнаружить в усилившейся критике международных стандартов правозащитной деятельности, методов формирования и распространения представлений о мировом порядке. Как справедливо указывает А. В. Щипков, на сегодня либеральная концепция «врожденных» прав и свобод является догматической доктриной и универсальной идеологией, которая якобы не нуждается ни в научной верификации, ни в нравственно-религиозной. Поэтому в этом качестве она служит тормозом на пути усовершенствования социальных институтов в эпоху начавшейся деглобализации (Щипков, 2024: 17–28).

Однако приходится признать, что критика либерального правового дискурса является скорее исключением из правила. Это объясняется тем, что правовые и политические системы Западной Европы и США нацелены на противодействие любым идеологическим альтернативам. При этом средства защиты от угроз устойчивости либерального правового дискурса заложены в основании его логики. Для доказательства этого утверждения достаточно обратиться к некоторым примерам западноевропейского правового дискурса 1990-х годов.

Так, по мнению А. Дж. Б. де Кармона, исходная структурированная тотальность либерального правового дискурса образована дифференциальными позициями государство/индивид, глобальный правовой порядок/локальный правовой порядок. Устойчивость этих различий обусловлена социальными сдвигами, «которые предлагают проекты с «постмодернистским содержанием: экология вместо индустриализации, досуг вместо производства, сексуальное равенство вместо сексуальной гетерогенности, эстетика вместо этики...» (Кармон де, 1998: 123). При этом указанные дифференциальные позиции являются реальными оппозициями (противоположностями), а не логическими противоречиями. Это обстоятельство

особенно важно потому, что противоречия (A — не- A) исключают реальность друг друга, в то время как противоположности (A — B) обладают собственной позитивностью, порождающей нечто третье в качестве актуализированной эквивалентности (Laclau, Mouffe, 2001: 122–125, 128). В частности, если права отдельных лиц и консолидированных социальных агентов на производство и легитимацию юридических норм противопоставить монополии государства на законность, то возникает возможность для появления третьей внешней силы, уполномоченной устанавливать между ними паритет и в случае необходимости прибегать к принуждению.

В следующем примере либерального правового дискурса — в работе Р.П. Черчилля представлены основные этапы развития международного права и защиты прав человека, начиная с Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и заканчивая Международным трибуналом в Югославии (1993 г.). Анализ этого дискурса показывает, что его содержание подчинено логике эквивалентности и различий. Как показывает Черчилль, Всеобщая декларация прав человека неоднократно подвергалась трансформации в 1970–1990-е годы. Она дополнялась новыми нормами, привносящими в ее исходную концептуальную целостность дополнительные семантические элементы: делегирование надзора за правами человека негосударственным организациям (например, «Международной амнистии»), подмена государственного суверенитета представлениями о географических границах государства, требование международной помощи (вмешательство) в защите прав человека при чрезвычайных ситуациях и др. (Черчилль, 1998: 293). В течение многих лет эти понятия дискурсивно артикулировались, распространялись СМИ, способствуя адаптации людей к новым параметрам социального порядка. Перспективы этих изменений Черчилль описывает следующим образом: «Чем дальше революционизируется международный закон, тем больше ООН устраняет противоречия государственной системы, соединяя фундаментальные принципы государственного суверенитета и право использования силы для сохранения коллективной безопасности» (Черчилль, 1998: 294).

На практике эти изменения в правовом дискурсе привели к тому, что первичные значения норм международного права «рассеялись», превратив понятия «права человека», «государственный суверенитет» и «право на самоопределение» в пустые означающие. В результате были созданы условия для «события водораздела», а именно для быстрого дробления «больших национальных государств на более малые однородные национальные образования, как, например, в бывшей Югославии и в СНГ» (Черчилль, 1998: 294). А триггером этого события явилось введение резолюциями ООН норм, устанавливающих «бесполетные зоны», условия предоставления убежища, методы принуждения и пр. Эти новые дифференциальные позиции Черчилль рассматривает как посягательства на «атавистически стабильную систему» государства, которые «могут быть подкреплены идентификацией и кодификацией объективного критерия для вмешательства обоих трибуналов ООН и наиболее сильных правовых комиссий» (Черчилль, 1998: 298–299). Прак-

тическая результативность подобного правового дискурса доказывается, по его мнению, беспрецедентной скоростью распада СССР и Югославии, а также отсутствием реального противодействия санкциям и бойкотам.

Таким образом, доминирование либерального правового дискурса развивалось в следующей логической последовательности: ожидания и убеждения, накапливаясь как цепи случайных различий (элементы дискурса), превращались в моменты артикуляции, которые, в свою очередь, путем рассеивания и деконструкции различий создали предпосылки для актуализации исходной эквивалентности дискурса международного права. Последняя, дополняясь инновациями дифференциальных позиций, способствовала актуализации социальных представлений о новом мировом порядке. По мнению Черчиля, это должна быть «новая статья договора» или согласия между людьми, который принципиально отличается от заключения договора между государствами. «В этом новом соглашении человеческие права, а не территориальная сила, признаются правящими, и правительства существуют для упорядочивания полноценного развития автономии личности» (Черчилль, 1998: 297).

Представленная логика правового дискурса является одним из главных факторов устойчивости либеральной правовой политики. Несмотря на то что эти ее результаты зачастую являются бесчеловечными и предельно разрушительными, продолжается деконструкция модернистских представлений о социальном порядке. Однако в правовом дискурсе все чаще наблюдаются заявления о необходимости конституирования новой цепочки эквивалентности, строятся предположения о том, с какими представлениями о социальном порядке она будет коррелировать⁸. Думается, что по мере обострения конфронтации между национальными и транснациональными (международными) институтами будет усиливаться отождествление социального порядка с государственным правопорядком. При этом последний следует рассматривать не как абстрактную модель, а как состояние конкретного общественного устройства со своими культурно-историческими особенностями.

Таким образом, при решении вопроса о процессах и условиях влияния правового дискурса на формирование представлений о социальном порядке целесообразно различать институциональный правовой дискурс (юридический) и неинституциональный правовой дискурс. Рассмотрение их в контексте лингвистического и логического аспектов позволяет сформировать концептуальный подход, объясняющий механизмы этого влияния. При этом лингвистический аспект, предполагающий вы-

8. Например, в настоящее время наблюдается раскол либерального правозащитного общества на адептов прав и свобод отдельного индивида и сторонников борьбы против дискриминации малых социальных групп. Позиция последних оказалась настолько влиятельной, что во многих странах Европы и США появились законы, закрепляющие права по политическим, конфессиональным, сексуальным и иным группообразующим признакам. Одновременно с усилением дифференциации между лагерями правозащитников формируется ориентация на единство права и блага, свободы и блага, индивидуальных и общественных благ, что, по мнению В. Г. Федотовой, должно привести к формированию новой эквивалентности — новой теории капитализма (Федотова, 2005: 486).

деление языковых функций (смыслообразование, нормативная и конструктивная функции, формализации и функция «отменяемости» правовых понятий), является общим для всех видов дискурса. Исследование правового дискурса в логическом аспекте показало, что его виды различаются по степени детерминированности и регламентированности. Так, юридический дискурс с некоторыми условиями подчинен принципам формальной логики. В то время как неинституциональный правовой дискурс в большей степени соответствует принципам семантической логики (логика отношений, логика эквивалентности и различий). В первом случае логика определяет структуру и условия демонстративности правового дискурса, а во втором — отвечает за соблюдение принципов отбора и сохранения релевантности понятий.

Кроме того, результаты исследования определяют условия влияния правового дискурса на формирование представлений о социальном порядке:

1) правовой дискурс является инфраструктурным элементом правового регулирования;

2) правовой дискурс является разновидностью коммуникативной практики, в ходе которой достигается консенсус в понимании того, что следует считать социальным порядком, а также какие институциональные и неинституциональные условия необходимы для предотвращения глобального хаоса;

3) диалектика лингвистической открытости и логической закрытости правового дискурса определяет условия формирования коммуникативных стратегий и соответствующих им логических схем конституирования убеждений, идеологических установок и знаний о социальном порядке.

Литература

- Алексеев С. С. (2011). Тайна и сила права // Российский ежегодник теории права. 2009. № 2. СПб.: Издательский Дом СПбГУ. С. 514–584.
- Батеева М. В. (2013). Язык и право. Казань: Отечество.
- Батюшкина М. В. (2022). Дискурсивные доминанты законотворчества. М.: РОО ГЛЭДИС.
- Бауман З. (2005). Индивидуализированное общество / Пер. с англ., под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Логос.
- Бергер П., Лукман Т. (1995). Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / Пер. с англ. Е. Д. Руткевич. М.: Медиум.
- Бержель Ж.-Л. (2000). Общая теория права / Под общ. ред. В. И. Даниленко; пер. с фр. М.: Издательский дом NOTA BENE.
- Бовина И. Б., Дворянчиков Н. В., Мельникова Д. В., Лаврешкин Н. В. (2022). К вопросу об исследовании социальных представлений: взгляд со стороны // Социальная психология и общество. Т. 13. № 3. С. 8–25.
- Варга К. (2011). Право, юридический процесс и судебское сознание / Пер. с англ. И. С. Бедриной, Д. Б. Бушмеловой // Российский юридический журнал. № 4. С. 14–24.

- Виноградов И. А. (2018). Свойства, функции и языковые черты юридического дискурса // *Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. А. Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія)*. № 1 (51). С. 124–129.
- Волков А. А. (2019). Правовой дискурс как объект социально-философского познания // *Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Сер. № 3: Гуманитарные и общественные науки*. № 2. С. 28–36.
- Вригт Г. Х. фон (1996). Нормы, истина и логика // *Вригт Г. Х. фон. Логико-философские исследования: Избранные труды* / Пер. с англ. П. И. Быстровой. М.: Прогресс. С. 290–410.
- Гарашко А. Ю. (2020). Правовой дискурс как интегративный фактор формирования метасистемы права // *Вестник Московского университета МВД России*. № 4. С. 19–23.
- Кармона А. Дж. Б. де (1998). Постмодернизм, политическая философия и философия закона // *Александров А. И., Кузнецов Э. В. Вызовы закону XXI века: Сборник статей*. М.: Граница. С. 117–125.
- Касаткин С. Н. (2023). Идея лингвистической «открытости» права в современном юспозитивизме: пределы юридической техники // *Журнал юридической антропологии и конфликтологии*. № 3 (4). С. 52–64.
- Кауфманн А. (2013). Предварительные замечания по поводу правовой логики и онтологии отношений: основы правовой теории, базирующейся на понятии личности / Пер. с англ. А. В. Стоббы // *Известия высших учебных заведений. Правоведение*. № 6. С. 210–226.
- Кашанин А. В. (2013). Неопределенность права и усмотрение правоприменителя как ограничители использования централизованных методов регулирования // *Вопросы государственного и муниципального управления*. № 4. С. 19–36.
- Кондуров В. Е. (2023). «Тирания ценностей» Карла Шмитта в контексте спора о природе конституционных прав // *Социологическое обозрение*. Т. 22. № 3. С. 96–124.
- Косоногова О. В. (2015). Характеристики юридического дискурса: границы, содержание, параметры // *Историческая и социально-образовательная мысль*. Т. 7. № 1. С. 61–68.
- Лаклау Э. (2003). Невозможность общества / Пер. с англ. А. Смирнова // *Логос*. № 4–5 (39). С. 54–57.
- Лукач Д. (1991). К онтологии общественного бытия. Прологомены / Пер. с нем., общ. ред. и вступ. ст. И. С. Нарского и М. А. Хевеши. М.: Прогресс.
- Луман Н. (2004). Общество как система / Пер. с нем. А. Ю. Антоновский. М.: Логос.
- Малахов В. П. (2002). Философия права: Учебное пособие. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга.
- Московичи С. (1995). Социальные представления: исторический взгляд / Пер. с фр. Т. П. Емельяновой // *Психологический журнал*. Т. 16. № 2. С. 3–14.
- Оглезнев В. В., Суровцев В. А. (2013). Аналитическая философия права Г. Харта и правовой реализм // *Известия высших учебных заведений. Правоведение*. № 4 (309). С. 134–147.

- Палашевская И. В. (2010). Функции юридического дискурса и действия его участников // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 12. № 5 (2). С. 535–540.
- Парсонс Т. (1993). Понятие общества: компоненты их взаимоотношения / Пер. с англ. Н. Л. Поляковой // THESIS. Вып. 2. С. 94–122.
- Попов М. Ю., Мартыненко В. В., Мартыненко С. В., Кареева С. Г. (2023). Социальный порядок: структура и факторы, его определяющие // Caucasian Science Bridge. Т. 6. № 3 (21). С. 150–159.
- Тарасов Н. Н. (2011). Юридическая наука: границы и проблемы самоопределения (методологические эскизы) // Российский ежегодник теории права. 2009. № 2. СПб.: Издательский дом СПбГУ. С. 627–663.
- Тимошина Е. В. (2023). «Тирания ценностей» как «воля к власти»: к генеалогии и последствиям ценностного дискурса в правосудии // Социологическое обозрение. Т. 22. № 3. С. 125–146.
- Федотова В. Г. (2005). Хорошее общество. М.: Прогресс-Традиция.
- Федулова М. Н. (2015). Юридический дискурс как социокультурный и языковой феномен: уровни научной интерпретации // Филологические науки в МГИМО. № 4. С. 47–59.
- Фуко М. (1996). Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Пер. с фр. С. В. Табачниковой. М.: Касталь.
- Харт Г. Л. А. (2005). Позитивизм и разграничение права и морали / Пер. с англ. В. В. Архипова // Известия высших учебных заведений. Правоведение. № 5. С. 102–136.
- Харт Г. Л. А. (2007). Понятие права / Пер. с англ.; под общ. ред. Е. В. Афонасина, С. В. Моисеева. СПб.: Издательство С.-Петербур. ун-та.
- Харт Г. Л. А. (2017). Приписывание ответственности и прав / Пер. с англ. В. В. Оглезнева, В. А. Суровцева // Харт Г. Л. А. Философия и язык права. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация». С. 27–52.
- Хомутова Т. Н., Шефер Е. А. (2019). Юридический дискурс: проблемы и перспективы исследования // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика. Т. 16. № 3. С. 44–53.
- Черчилль Р. П. (1998). Вызов закону в конце XX века: изменение международного закона о геноциде и преступление против человечества // Александров А. И., Кузнецов Э. В. Вызов закону XXI века: Сборник статей. М.: Граница. С. 293–299.
- Щипков А. В. (2024). Кризис теории и практики правозащитного действия // Вопросы философии. № 7. С. 17–28.
- Engberg. J. (2010). Knowledge construction and legal discourse: The interdependence of perspective and visibility of characteristics // Journal of Pragmatics. № 42 № 1. P. 48–63.
- Kelly E. C., Crandall M. S. (2022). State-level forestry policies across the US: Discourses reflecting the tension between private property rights and public trust resources // Forest Policy and Economics, no 4. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934122000697> (дата доступа: 16 may 2024).
- Laclau E. (2005). On populist reason. London, New York: Verso.

- Laclau E., Mouffe C. (2001). *Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics*. London, New York: Verso.
- Luhmann N. (2004). *Law as Social System*. New York: Oxford University Press.
- Searle J. R. (2010). *Making the Social World: the structure of human civilization*. New York: Oxford University Press.
- Wagner W. (1996). Queries about social representation and construction // *Journal for the theory of social behavior*. Vol. 26. № 2. P. 95–120.

Conditions of Influence of the Legal Discourse on the Formation of Representations of Social Order: Linguistic and Logical Aspects

Marina Pantykina

Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor, Head of Scientific-Educational Work, Humanitarian-Pedagogical Institute, Togliatti State University
Address: Belorusskaya str., 14, Togliatti, Samara Region, 445020 Russian Federation
E-mail: pantykina@tltu.ru

The article analyzes the conditions under which legal discourse affects the development of concepts concerning social order in the context of conflict-prone modern legal policy. The particular nature of this impact is determined by the form of legal discourse, as well as the linguistic and logical dimensions of legal communication. In the first section of the article, the authors provide a series of descriptive definitions for the concepts of legal discourse, social representations and social order. These definitions are accompanied by the thorough exposition of relationships between these concepts. The result of this analysis is a systematization of approaches to understanding these social phenomena. The authors then proceed to identify the main directions of legal discourse's influence on the formation of ideas about social order, distinguishing between its institutional (legal) and non-institutional forms. The second part of this study explores the linguistic aspect of this influence, focusing on the inherent linguistic functions of legal discourse. These functions include semantic formation, normative and constructive functions, formalization and the function of a legal concept's "cancellability". These functions play a crucial role in shaping collective perceptions of social order. The third part argues that the content of legal discourse is determined by the selection of a logical strategy that establishes particular conditions for the development of concepts concerning social order. Thus, classical legal discourse, which is governed by formal logic, aligns with the modernist perspective. Conversely, non-classical and poststructuralist discourses introduce alternative versions of semantic logic: the logic of relations and the logic of differences and equivalences. The theoretical and methodological potential of the logic of equivalences and differences is demonstrated through the analysis of examples from the liberal legal discourse of the 1990-s, also the consequences of this discourse's influence on the formation of modern worldviews are examined.

Keywords: legal discourse, social representations, social order, language functions, logic of relations, logic of differences, logic of equivalence.

References

- Alekseev S. (2011) Tajna i sila prava [The mystery and power of law]. *The Russian Yearbook of the Theory of Law*, 2009, no 2, St. Petersburg: Izdatel'skij Dom SPbGU, pp. 514–584.

- Bateeva M. (2013) *Jazyk i pravo* [Language and law], Kazan': Izdatel'stvo «Otechestvo».
- Batyushkina M. (2022) *Diskursivnye dominanty zakonotvorchestva* [The discursive dominants of lawmaking], Moscow: ROO GLADYS.
- Bauman Z. (2005) *Individualizirovannoe obshchestvo* [Individualized society] (trans., ed. V. Inozemtsev), Moscow: Logos.
- Bergel J.-L. (2000) *Obshhaja teorija prava* [General theory of law] (ed. V. Danilenko), Moscow: Izdatel'skij dom NOTA BENE.
- Berger P., Lukman T. (1995) *Social'noe konstruirovanie real'nosti. Traktat po sociologii znaniya* [The social construction of reality. A treatise on the sociology of knowledge] (trans. E. Rutkevich), Moscow: Medium.
- Bovina I., Dvoryanchikov N., Melnikova D., Lavreshkin N. (2022) K voprosu ob issledovanii social'nykh predstavlenij: vzgljad so storony [On the issue of the study of social representations: a view from the outside], *Social Psychology and Society*, vol. 13, no 3, pp. 8–25.
- Carmona De A. (1998) Postmodernizm, politicheskaja filosofii i filosofija zakona [Postmodernism, political philosophy and philosophy of law]. *Vyzov zakonu XXI veka: Sbornik statej* [Challenge to the law of the XXI century: Collection of articles] (eds. A. Alexandrov, E. Kuznetsov), Moscow: Granica, pp. 117–125.
- Churchill R. (1998) Vyzov zakonu v konce XX veka: izmenenie mezhdunarodnogo zakona o genocide i prestuplenie protiv chelovechestva [The challenge to the law at the end of the twentieth century: changing the international law on genocide and a crime against humanity] *Vyzov zakonu XXI veka: Sbornik statej* [Challenge to the law of the XXI century: Collection of articles] (eds. A. Alexandrov, E. Kuznetsov), Moscow: Granica, pp. 293–299.
- Engberg. J. (2010) Knowledge konstruktion and legal discourse: The interdependence of perspective and visibility of characteristics. *Journal of Pragmatics*, no 42, no 1, pp. 48–63.
- Fedotova V. (2005) *Horoshee obshchestvo* [A good society], Moscow: Progress–Tradiciya.
- Fedulova M. (2015) Juridicheskij diskurs kak sociokul'turnyj i jazykovoj fenomen: urovni nauchnoj interpretacii [Legal discourse as a socio-cultural and linguistic phenomenon: levels of scientific interpretation]. *Philological Sciences at MGIMO*, no 4, pp. 47–59.
- Foucault M. (1996) *Volja k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [The Will to Truth: Beyond knowledge, power and sexuality. Works of different years] (trans. S. Tabachnikova), Moscow: Kastal'.
- Garashko A. (2020) Pravovoj diskurs kak integrativnyj faktor formirovaniya metasistemy prava [Legal discourse as an integrative factor in the formation of a legal meta-system]. *Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, no 4, pp. 19–23.
- Hart G. (2005) Pozitivizm i razgranichenie prava i morali [Positivism and the differentiation of law and morality] (trans V. Arkhipov). *Izvestia of Higher Educational Institutions. Jurisprudence*, no 5, pp. 102–136.
- Hart G. (2007) *Ponjatie prava* [The concept of law] (trans., ed. E. Afonasin, S. Moiseev), St. Petersburg: Izdatel'stvo S.-Peterb. un-ta.
- Hart G. (2017) Pripisyvanie otvetstvennosti i prav [Attribution of responsibility and rights] (trans. V. Oglezneva, V. Surovtsev). *Filosofija i jazyk prava* [Philosophy and language of law], Moscow: Kanon+ ROOI «Reabilitacija», pp. 27–52.
- Kasatkin S. (2023) Ideja lingvisticheskoy «otkrytosti» prava v sovremennom juspozitivizme: predely juridicheskoy tehniki [The idea of linguistic “openness” of law in modern Uspositivism: the limits of legal technique]. *Journal of Legal Anthropology and Conflictology*, no 3 (4), pp. 52–64.
- Kashanin A. (2013) Neopredelennost' prava i usmotrenie pravoprimenitelja kak ogranichiteli ispol'zovaniya centralizovannykh metodov regulirovaniya [Uncertainty of law and discretion of the law enforcement officer as constraints on the use of centralized regulatory methods]. *Issues of State and Municipal Management*, no 4, pp. 19–36.
- Kaufmann A. (2013) Predvaritel'nye zamechanija po povodu pravovoj logiki i ontologii otnoshenij: osnovy pravovoj teorii, bazirujushhejsja na ponjatii osoby [Preliminary remarks on the legal logic and ontology of relations: the foundations of a legal theory based on the concept of a person] (trans. A. Stovby). *Izvestia of Higher Educational Institutions. Jurisprudence*, no 6, pp. 210–226.

- Kelly E., Crandall M. (2022) State-level forestry policies across the US: Discourses reflecting the tension between private property rights and public trust resources. *Forest Policy and Economics*, no 4. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934122000697> (accessed: 16 may 2024).
- Khomutova T., Schaefer E. (2019) Juridicheskij diskurs: problemy i perspektivy issledovaniya [Legal discourse: problems and prospects of research]. *Bulletin of the South Ural State University*, ser.: Linguistics, vol. 16, no 3, pp. 44–53.
- Kondurov V. (2023) «Tiranija cennostej» Karla Shmitta v kontekste spora o prirode konstitucionnyh prav [“The tyranny of values” by Karl Schmitt in the context of the dispute about the nature of constitutional rights]. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 3, pp. 96–124.
- Kosonogova O. (2015) Harakteristiki juridicheskogo diskursa: granicy, sodержanie, parametry [Characteristics of legal discourse: boundaries, content, parameters]. *Historical and Socio-educational Thought*, vol. 7, no 1, pp. 61–68.
- Lukacs D. (1991) *K ontologii obshchestvennogo bytiya. Prolegomeny* [Towards an ontology of social being. Prolegomena] (trans. I.S. Narsky, M.A. Hevesi), Moscow: Progress.
- Laclau E. (2005) *On populist reason*, London, New York: Verso.
- Laclau E., Mouffe C. (2001) *Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics*, London, New York: Verso.
- Laklau E. (2003) Nevozmozhnost' obshchestva [The impossibility of society] (trans. A. Smirnov). *Logos*, no 4–5 (39), pp. 54–57.
- Luhmann N. (2004) *Law fs Social System*, New York: Oxford University Press.
- Luhmann N. (2004) *Obshchestvo kak sistema* [Society as a system] (trans. A. Antonovsky), Moscow: Izdatel'stvo «Logos».
- Malakhov V. (2002) *Filosofija prava: Uchebnoe posobie* [Philosophy of Law: Textbook], Moscow: Akademicheskij proekt, Ekaterinburg: Delovaja kniga.
- Moscovici S. (1995) Social'nye predstavleniya: istoricheskij vzgljad [Social representations: a historical view] (trans. T. Yemelyanova). *Psychological Journal*, vol. 16, no 2, pp. 3–14.
- Ogleznev V., Surovtsev V. (2013) Analiticheskaja filosofija prava G. Harta i pravovoj realizm [G. Hart's Analytical Philosophy of Law and legal Realism]. *Izvestia of Higher Educational Institutions. Jurisprudence*, no 4 (309), pp. 134–147.
- Palashevskaya I. (2010) Funkcii juridicheskogo diskursa i dejstviya ego uchastnikov [The functions of legal discourse and the actions of its participants]. *Izvestiya Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences*, vol. 12, no 5 (2), pp. 535–540.
- Parsons T. (1993) Ponjatie obshchestva: komponenty ih vzaimootnosheniya [The concept of society: the components of their relationship] (trans. N. Polyakova). *THESIS*, vol. 2, pp. 94–122.
- Popov M., Martynenko V., Martynenko S., Karepova S. (2023) Social'nyj porjadok: struktura i faktory, ego opredelajushhie [Social order: structure and factors determining it]. *Caucasian Science Bridge*, vol. 6, no 3 (21), pp. 150–159.
- Searle J. (2010) *Making the Social World: the structure of human civilization*, New York: Oxford University Press.
- Shchipkov A. (2024) Krizis teorii i praktiki pravozashhitnogo dejstvija [The crisis of theory and practice of human rights action]. *Questions of philosophy*, no 7, pp. 17–28.
- Tarasov N. (2011) Juridicheskaja nauka: granicy i problemy samoopredeleniya (metodologicheskie jeskizy) [Legal science: boundaries and problems of self-determination (methodological sketches)]. *The Russian Yearbook of the Theory of Law*, no 2, St. Petersburg: Izdatel'skij Dom SPbGU, pp. 627–663.
- Timoshina E. (2023) «Tiranija cennostej» kak «volja k vlasti»: k genealogii i posledstvijam cennostnogo diskursa v pravosudii [“The tyranny of values” as the “will to power”: towards genealogy and the consequences of value discourse in justice]. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 3, pp. 125–146.
- Varga K. (2011) Pravo, juridicheskij process i sudejskoe soznanie [Law, legal process and judicial consciousness] (trans. I. Bedrina, D. Bushmelova). *Russian Law Journal*, no 4, pp. 14–24.
- Vinogradov I. (2018) Svojstva, funkcii i jazykovye cherty juridicheskogo diskursa [Properties, functions and linguistic features of legal discourse]. *Bulletin of Mogilev State University named after A. A. Kulyashov. Ser. A. Humanities (history, philosophy, philology)*, no 1 (51), pp. 124–129.

- Volkov A. (2019) Pravovoj diskurs kak ob#ekt social'no-filosofskogo poznanija [Legal discourse as an object of social and philosophical cognition]. *Bulletin of the Perm State Humanitarian Pedagogical University*, ser. 3: Humanities and Social Sciences, no 2, pp. 28–36.
- Vrigt von G. (1996) Normy, istina i logika [Norms, truth and logic]. *Logiko-filosofskie issledovaniya: Izbrannye trudy* [Logical and philosophical studies: Selected works] (trans. P. Bystrova), Moscow: Progress, pp. 290–410.
- Wagner W. (1996) Queries about social representation and construction. *Journal for the theory of social behavior*, vol. 26, no 2, pp. 95–120.

Что не так с социологией профессий?

Татьяна Ларкина

Аспирантка аспирантской школы по социологическим наукам
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: tlarkina@hse.ru

Трансформационные процессы, происходящие в трудовой жизни людей, являются объектом пристального научного внимания социальных исследователей. Социологи профессий описывают некоторые из них в терминах профессионализации и депрофессионализации трудовых занятий. Как правило, концептуализация таких терминов начинается с определения того, что есть профессия, но в этом вопросе социальные исследователи не смогли достичь консенсуса. Между тем, несмотря на теоретико-методологическую многоликость социологии профессий, существуют точки пересечения разных подходов в этой отрасли социологического знания в определении ее основного понятия и его производных. А именно: социологи профессий выделяют эксклюзивные знания, идеал служения и рабочую автономию в качестве элементов профессионального комплекса и по этим трем признакам-измерениям оценивают разные роды занятий на предмет их профессионализации и депрофессионализации. Более того, они предполагают, что рабочая автономия профессионалов происходит из двух других элементов профессионального комплекса. Приложение такой аналитической схемы профессионализма к эмпирическому миру профессий оказывается затруднительным в ситуации распространения формальных структур — рыночных и бюрократических. В настоящей статье идентифицируются проблемные точки ее соотношения с современными реалиями профессиональной жизни людей и диагностируются области манифестации этих точек при социологическом исследовании трудовых занятий с позиции их профессионализации и депрофессионализации. При этом профессионализация и депрофессионализация трудовых занятий как аналитические категории характеризуются эмпирической нечувствительностью, поскольку они затушевывают вариативность трансформаций, происходящих с базой знаний, логикой действия в институциональной должности и объемом рабочей автономии разных специалистов в изменчивой социальной среде.

Ключевые слова: профессии, профессионализация, депрофессионализация, субстантивная рациональность, формальная рациональность, формальные структуры, рабочая автономия

Профессия — одна из ключевых составляющих социальной жизни современного человека. Люди через профессиональную деятельность определяют себя и окружающих в отношениях друг с другом, судят о своем и иных лиц достоинстве (Хьюз, 2003; Lamont, 2018). Разнообразие профессий указывает на разделение об-

* Автор выражает признательность коллегам по аспирантской школе (в особенности М. М. Родионовой), а также Г. Б. Юдину (признан Минюстом иноагентом), Р. Н. Абрамову, В. Г. Николаеву и участникам рабочей группы «Социальные процессы в институтах образования и здравоохранения: методы изучения и теоретические интерпретации новых трендов», финансируемой за счет средств ФСН НИУ ВШЭ, за содержательное обсуждение черновой версии этого критического обзора и импульс к развитию представленных в нем идей. Без обстоятельных комментариев и метких замечаний анонимного рецензента текст настоящего обзора не был бы улучшен и дополнен примерами актуальных эмпирических работ по социологии профессий.

щественного труда, которое выступает основой органической солидарности, этическим стержнем общества (Дюркгейм, 1996), а разделение общественного труда, в свою очередь, сопровождается разделением морального труда и распределением респектабельности между субъектами социальной жизни (Хьюз, 2009: 48). Поэтому трансформационные процессы, происходящие с профессиями и в системе профессий, могут вызывать научный интерес не только у социологов профессий, но и у более широкого круга социальных исследователей.

Итак, в социологии профессий различные трудовые занятия рассматриваются на предмет их профессионализации и депрофессионализации. Во второй половине XX века разгорается академическая дискуссия о будущем трудовых групп. Г. Виленский критикует выдвинутую Н. Футом гипотезу о профессионализированном будущем рабочей силы, как беловоротничковой, так и синеворотничковой (Foote, 1953), и обосновывает свою критику тем, что многие трудовые занятия не могут полностью профессионализироваться из-за определенных организационных и культурных барьеров (Wilensky, 1964). Позже М. Хауг публикует серию статей, где размышляет над альтернативной гипотезой будущего трудовых групп, то есть над гипотезой о депрофессионализации каждой из них. Она также приводит немало эмпирических свидетельств, так сказать, распада слагаемых медицинской профессии (Haug, 1972, 1975, 1988).

Впрочем, и отечественные социологи профессий проявляют внимание к процессам профессионализации и депрофессионализации трудовых занятий. Русскоязычная литература по социологии профессий полна эмпирических работ, посвященных профессионализации того или иного рода занятий. Например, Е. Ярская-Смирнова и П. Романов анализируют профессионализацию социальной работы в России (Романов, Ярская-Смирнова, 2015: 117-201), в сборниках статей под их редакцией демонстрируются результаты исследований профессионализации российских гомеопатов (Садыков, 2013), социальных рекламщиков (Антонова, Кисурина, 2013), домашних работников (Ткач, 2011) и других специалистов. Напротив, депрофессионализация как обратный процесс профессионализации трудовых занятий представляется предметом социологического изучения в небольшом числе русскоязычных публикаций. Кроме того, их авторы могут не называть в явном виде, а лишь подразумевать депрофессионализацию конкретного трудового занятия, будь то академической профессии (Абрамов, 2011) или медицинского дела (Николаев, 2015б), указывая на возникающий конфликт между профессиональной и менеджериальной логиками.

Но чтобы вести научный разговор о профессионализации и депрофессионализации трудовых занятий и выдвигать гипотезы о будущем трудовых групп, нужно эти понятия концептуализировать. Как правило, такая аналитическая процедура сопровождается определением того, что есть профессия (Wilensky, 1964: 138-141; Toren, 1975: 324-326). Между тем в социологии профессий не существует единого, консенсусного определения ее основного понятия и его производных (Абрамов, 2014; Сакс, 2020: 29-33). Появляются новые концепции профессионализма, которые оказываются более чувствительными к деятельности профессионалов в бы-

стро меняющейся среде нынешнего века, чем концепции профессионализма, разработанные социальными исследователями в веке минувшем (Noordegraaf, 2015; Абрамов, Быков, 2021: 9-12). Таким образом, вопрос концептуализации профессии, профессионализации и депрофессионализации трудовых занятий остается открытым для социологии профессий.

Эта статья не претендует на то, чтобы считаться всесторонним обзором существующих в социологии профессий решений по концептуализации ее ключевого понятия и его производных. Здесь выявляются проблемные точки соотнесения некоторых из этих решений с эмпирическим миром профессий и их области манифестации при социологическом изучении трудовых занятий с позиции их профессионализации и депрофессионализации в контексте распространения рыночных и бюрократических структур.

Неудобное понятие

Смысл слов «профессия», «профессионал» и прочих однокоренных слов зависит от того, какой язык используют слушающие и говорящие, пишущие и читающие — язык теории или язык здравого смысла. По мнению Э. Хьюза и Г. Беккера, несоциологи рассматривают профессию в качестве «почетного титула», сигнализирующего о моральном благородстве и статусном превосходстве одних трудовых занятий над другими (Беккер, 1994; Хьюз, 2003). В английском языке эта разница между профессиями и не-профессиями находит отражение в двух словах, используемых носителями языка для обозначения разного рода рабочей деятельности людей — «profession» («профессия») и «occupation» («занятие»). Выходит, профессия выступает ценностно-насыщенным понятием, причем его объем различается в зависимости от культурно-языковой среды (Лукша, 2003; Романов, Ярская-Смирнова, 2009: 59-60).

Ценностно-насыщенные понятия характеризуются тем, что они одновременно и описывают, и оценивают объекты окружающего мира, и при этом невозможно отделить описание этих объектов окружающего от их оценивания (Abend, 2011; Hitlin, Vaisey, 2013). Стало быть, поэтому социальные ученые испытывают сложности в концептуализации профессии и других производных от нее понятий. Так, англо-американские социологи, которые определяют профессию как эталон трудовой деятельности, ассоциируемой с престижем и свободой от государственного и клиентского вмешательства, попадают под критику коллег за обывательское и идеализированное видение профессии и профессионалов (Лукша, 2003; Сакс, Олсоп, 2003; Сакс, 2020). Из-за этого Э. Хьюз находит понятие «профессия» зашоривающим, а вопрос, является ли какое-то трудовое занятие профессией, «ложным» (Хьюз, 2003: 135).

Кроме того, из определения профессии как эталонной и высокостатусной трудовой деятельности следует, что профессионализация и депрофессионализация трудовых занятий становятся проявлением их вертикальной мобильности

в структуре общества. Такой концептуальный ход предполагает единые для всех трудовых занятий критерии их иерархизации, к примеру, в неовеберовской традиции социологии профессий ими считаются доход, власть и престиж (Мансуров, Юрченко, 2009; Сакс, 2020: 32).

Среди названных критериев иерархизации трудовых занятий особо проблематичным кажется власть, поскольку власть профессионалов лимитируется их сферой компетенции (Fournier, 2001; Парсонс, 2015). Если сферы компетенции нескольких профессий пересекаются, то иерархизация этих профессий возможна, но внутри зоны пересечения их профессиональных вопросов. Так, можно сравнивать врачей, юристов и священников во власти определять сущность аборта и его доступность для людей; но нельзя в целом установить, у кого из них больше власти. Можно, конечно, рассматривать власть профессионалов через объем рабочих операций и решений, которые им подконтрольны и ими монополизированы, но тогда придется допустить, что рабочие операции и решения представителей разных профессий соизмеримы. С властью профессионалов подчинять себе свою работу связана еще одна теоретико-методологическая трудность: нужно выяснить, на чем эта власть основывается, чтобы отличить профессионалов, положим, от бюрократов низового уровня (об этом более подробно говорится ниже).

Помимо этого, осмысление профессионализации и депрофессионализации трудовых занятий в терминах их вертикальной мобильности (восходящей и нисходящей соответственно) склоняет социальных исследователей рассуждать о них как о монолитных образованиях. Но в то или иное трудовое занятие, в ту или иную профессию включается дифференцированное множество работников, в социальном плане по-разному успешных, то есть это множество имеет стратифицированный вид (Freidson, 1984). Например, управленческие кадры, выходящие из профессиональных рядов, как и практикующие специалисты, обучаются менеджменту и начинают разобщаться с неорганизационными трудовыми занятиями (Абрамов, 2007). Так среди работников российского образования «наметился и усиливается определенный социальный <...> раскол по линии “практики” — “управленцы”», причем первые оказываются в зависимом положении от вторых (Башкирова и др., 2020: 8). В этой связи становится непонятным, как рассматривать немонолитные трудовые занятия на предмет их профессионализации или депрофессионализации, особенно когда велик разрыв между их «верхом» и «низом»; к какому роду занятий причислить руководителей учебных заведений, имеющих педагогическое образование и опыт учительствования, — к управленческому делу или к учительской профессии.

Отказ от определения профессии в качестве высокостатусного трудового занятия не предполагает неприятия того факта, что отношения между профессионалами и непрофессионалами (обывателями) устроены иерархически. И социологи профессий обосновывают иерархичность этих отношений, аналитически различия профессии и не-профессии по ряду параметров. В настоящей статье подвергаются ревизии такие элементы профессионального комплекса, как эксклюзивные

знания, идеал служения и рабочая автономия, а также их функциональная связанность, отмечаемая некоторыми социальными исследователями (Haug, Sussman, 1969; Haug, 1975: 198; Toren, 1975: 328).

Надо добавить, что противники атрибутивного подхода (возможно, самого критикуемого в социологии профессий) тоже не могут обойтись без выделения этих или других элементов профессионального комплекса как признаков профессии, если им приходится оперировать понятиями профессионализации и депрофессионализации трудовых занятий. Вместо того чтобы по набору таких признаков как дискретных единиц вычленять профессии среди всей совокупности родов занятий, они предлагают представлять эти признаки в качестве измерений (континуумов). Это значит, что степень выраженности тех или иных признаков профессии неодинакова у разных трудовых занятий, и она может у них меняться со временем (Greenwood, 1957; Toren, 1975; Ritzer, 1975). Впрочем, тезис о сравнении трудовых занятий между собой по определенным признакам-измерениям возвращает теоретико-методологическую проблему соизмеримости элементов профессионального комплекса у людей, занятых разными видами трудовой деятельности.

Эксклюзивные знания

В массе определений профессии прослеживается общий элемент — знания (Haug, 1975: 201). Это приводит социологов профессий к актуализации следующего вопроса: какими знаниями должны обладать люди, чтобы считаться профессионалами и иметь рабочую автономию, обеспеченную их профессионализмом?

Идеально-типической профессии присущи эксклюзивные, монополизированные знания. Профессионалов от непрофессионалов отличает то, что первые обладают специфическим запасом знаний и умений (практических знаний), которого нет у вторых, то есть профессионалы знают и умеют делать то, что другие не знают и не умеют. Это в социологии профессий находит отражение в таких понятиях, как «техническая компетентность» (Парсонс, 2015) или «эзотерическое знание» (Хьюз, 2012а). Для профессионалов компетентностный разрыв с непрофессионалами становится оправданием своих притязаний на автономную работу и пассивную роль реципиентов их услуг (Haug, 1975: 202). В идеологии профессий невежественный клиент представляется неспособным быть «подлинным судьей ценности той услуги, которую он получает» (Хьюз, 2012а: 33), и неспособным оценивать квалификационные качества и работу профессионалов, определять порог входа в профессию и управлять доступом к профессиональной практике.

В социологии профессий потенциал трудовых занятий профессионализироваться или депрофессионализироваться зависит от того, насколько база знаний, на которую они опираются, подлежит монополизации. Социальные исследователи сходятся в том, что эксклюзивность базы знаний профессионалов обеспечивается за счет того, что такие знания нельзя полностью кодифицировать и формализовать, а значит, нельзя стандартизировать и рутинизировать решение проблем,

с которыми имеют дело профессионалы (Greenwood, 1957: 46; Toren, 1975: 329-331; Wilensky, 1964: 138). Соответственно, технологические изменения, включая прорывные компьютерные изобретения, способны нанести удар по знаниевой монополии профессионалов, поскольку делают их деятельность стандартизированной и рутинизированной. Это, в свою очередь, открывает дорогу для делегирования работы либо машинам, либо большему числу людей ввиду меньшей сложности рабочих операций (Haug, 1972, 1975; Toren, 1975; Wilensky, 1964). Кроме этого, знания профессионалов перестают быть эзотерическими, и исчезает магия профессий (Toren, 1975: 330-331).

М. Хауг полагает, что академические знания профессионалов подвержены кодификации и формализации (Haug, 1972: 201). Академические знания заключаются в дисциплины и приобретаются будущими профессионалами посредством продолжительного изучения этих дисциплин; а в эпоху развитых информационных технологий академические знания по одному клику извлекаются из поисковых систем. Но знаниевая база профессий не ограничивается академическими знаниями, она также включает явные и неявные знания, получаемые профессионалами практическим путем (Freidson, 2001). На эксклюзивность практической составляющей знаниевой базы профессионалов наступают люди без профессионального обучения, но с опытом жизни и взаимодействия с некоторой своей проблемой (Haug, 1988: 51). Например, пациент с хронической болезнью может считать, что он лучше новоиспеченного терапевта знает, какое лечение следует ему назначить. Высокая доля практической составляющей в знаниевой базе профессионалов вместе с тем связывается с идеей обучения на рабочем месте, что, по мнению Хауг, подрывает эксклюзивность профессиональных знаний, сокращает компетентностный разрыв между профессионалами и непрофессионалами (Haug, 1972: 203-204).

К слову, такому мнению противостоят результаты эмпирического исследования профессиональной культуры специалистов по социальной работе, проводимого В. Николаевым в современной России. Знания, которые приобретают социальные работники вне отрыва от своего рабочего места, являются неотделимыми от социального контекста их трудовой деятельности; они передаются, обновляются и поддерживаются посредством коллегиальных обсуждений, локализованных в конкретных организациях социального обслуживания. Эти сугубо практические знания оказываются специфичными для специалистов по социальной работе и дают им компетентностное преимущество над теми, кто находится по ту сторону их профессиональной группы (Николаев, 2015а).

Компетентностный разрыв между профессионалами и непрофессионалами может обеспечиваться и институциональными средствами: профессионалы усиливают уникальность собственного корпуса знаний и своего положения на рынке труда в определенной сфере с помощью государства (Сакс, Олсоп, 2003; Abbott, 1991). Легально той или иной профессиональной деятельностью могут заниматься только те лица, у которых есть документ о соответствующем профессиональном образовании, поскольку на пути к его получению отсеиваются те, кто не овладел

достаточным количеством профессиональных знаний. Например, в Российской Федерации нельзя работать учителем в школе, врачом в медицинской организации или судьей в сфере правосудия без выполнения ряда образовательных требований, установленных государством. Но кризис credenциализма, спровоцированный массовостью профессионального обучения, увеличением предложения образовательных программ по какой-либо специальности, ведет к потере профессионалами эксклюзивности собственных знаний (Абрамов, 2007: 37-38). Помимо этого, credenциалистская инфляция сопровождается недоверием людей к документам об образовании и квалификации, полученным профессионалами, значит, и сомнительным видится непрофессионалам компетентностный разрыв, созданный между ними и профессионалами институциональным образом.

Можно заметить, что для социологов профессий их главное понятие немислимо без понятия знания. Д. Блур определяет «в качестве знания все то, что человек за него принимает», и допускает, что «оно состоит из <...> представлений» и является «социально санкционированным» (Блур, 2002: 3). С блуровским определением резонирует мысль Г. Виленского о том, что способность трудовых занятий профессионализироваться зависит от легитимности базы знаний, на которую они опираются. Причем корпус знаний профессионалов может состоять не только из практических знаний и знаний, систематизированных в некую научную дисциплину, но и из тех, что в сумме образуют определенную моральную или религиозную доктрину по обращению с чем-то сакральным (Wilensky, 1964: 138-140). Примером такого трудового занятия служит педагогика. База знаний педагогов строится как на научных теориях, так и на моральной доктрине, задающей правила руководства с детьми, то есть с сакральным объектом современности. Так, педагогические работники детских учреждений, действующие вразрез с гуманистической педагогикой, могут обвиняться в непрофессионализме теми, кто разделяет детоцентристские взгляды на воспитание и обучение детей.

Социологи профессий также связывают сокращение компетентностного разрыва между профессионалами и непрофессионалами с распространением профессиональной культуры и профессиональных знаний как ее элементов среди обывателей (Naug, Sussman, 1969). Например, Ж. Чернова и Л. Шпаковская отмечают, что посредством научно-популярной литературы об уходе за детьми и их воспитании осуществляется профессионализация родительства. Этот процесс характеризуется «дискурсивн[ым] оформлени[ем] родительства в виде сложной специализированной деятельности по уходу за детьми, требующей от матерей и отцов специализированных знаний (в области медицины, психологии, педагогики), приобретаемых ими в результате родительской социализации и обучения» (Чернова, Шпаковская, 2016: 521).

А просвещенные получатели профессиональных услуг могут сомневаться в правильности решений и действий профессионалов и тем самым подрывать притязания тех на автономную работу и доминирующую роль в отношениях со своими клиентами. Такие непрофессионалы в предметных спорах с профес-

сионалами опираются на научные теории, моральные или религиозные доктрины, используемые самими профессионалами (Haug, Sussman, 1969; Dewey, 2008; Flick, 2021). Но не это ли свидетельствует о легитимности знаниевой базы профессионалов, без которой они не могли бы профессионализироваться?

Идеал служения

Идеал служения является еще одним элементом профессионального комплекса и немаловажным основанием для легитимации притязаний профессионалов на автономную работу. В социологической литературе под приверженностью профессионалов идеалу служения понимается то, что они осуществляют свою профессиональную деятельность во благо конкретных клиентов или общества в целом, а не в угоду собственным интересам (Greenwood, 1957; Маршалл, 2010, Парсонс, 2015: 155).

Но далеко не все социологи профессий атрибутируют профессионалам приверженность идеалу служения. Социологи профессий, которые в корне отрицают добродетельную сущность профессионалов, рассматривают их как участников борьбы за контроль над ресурсами и распределением позиций в занятостиной структуре общества (Лукша, 2004; Сакс, 2020). Так, социальное закрытие, стратегия профессионализации трудовых занятий в неовеберианской социологии профессий, оказывается средством достижения профессионалами непрофессиональных целей — высокого дохода и прочих привилегий, обеспечиваемых их монопольным положением на рынке некоторой работы (Абрамов, 2014: 38-39). А приверженность идеалу служения, зашитая в кодекс профессиональной этики, становится прикрытием эгоистических интересов профессионалов (Маршалл, 2010: 108).

Надо сказать, что и социологи профессий, которые видят профессионалов приверженными служению клиентским или общественным интересам, и социологи профессий, которые изображают профессионалов мотивированными личной выгодой, не находятся в принципиально разных теоретико-методологических позициях. И те и другие приписывают профессионалам некую заинтересованность до того, как те не окажутся вовлеченными в определенные социальные ситуации. Социологи профессий, вменяя альтруистические или эгоистические мотивы профессионалам, опираются на такие же данные, что и несоциологи, — на слова и действия тех, кого они исследуют. У социологов обоих лагерей имеется интерпретативная схема, посредством которой они увязывают видимые действия людей с некоторым наименованием этих действий, в том числе взятых из словарей мотивов. Ч. Миллс предлагает работать с мотивами не как с «внутренними» возбудителями человеческой активности, а как со словами, которые «указывают на предвосхищаемые ситуативные последствия поведения, оказавшегося под вопросом» (Миллс, 2011: 99), и которые «стабилизируют и ориентируют поступки и ожидания в отношении реакций окружающих» (Там же: 106). Таким образом, словари мотивов нужно соотносить с определенными социальными ситуациями, выявлять

условия, в которых люди вменяют мотивы себе и другим, и устанавливать следствия этих мотивационных вменений.

Вышесказанное не означает, что социологи профессий не могут выводить из эмпирических данных связь между рабочей автономией профессионалов и считыванием окружающими в действиях тех приверженность идеалу служения. Если получатели профессиональных услуг признают благонамеренность профессионалов и, следовательно, им доверяют, то в дело профессионалов в меньшей степени кто-либо вмешивается. Напротив, из подозрения к профессионалам как к этически ненадежным персонам возникает идея необходимости государственного или клиентского контроля над ними. Например, такую идею не просто озвучивают, но и воплощают в жизнь российские чиновники в сфере здравоохранения посредством ее реформирования, что оборачивается «[утратой] медиками контроля в узловых точках работы с пациентами (болезнями)» (Николаев, 2015б: 621). В любом случае идеал служения остается важной аналитической категорией, поскольку через нее строится различие между профессионалами и непрофессионалами, в особенности между профессионалами, бюрократами и предпринимателями; без нее становится затруднительным описывать маркетизацию и бюрократизацию трудовых занятий как процессы, запускающие депрофессионализацию.

В самом деле, между профессионалами, бюрократами и предпринимателями много общего. Т. Парсонс определяет профессию в качестве одного из элементов структуры общества наряду с бизнесом и государственным управлением. И всем трем элементам занятийной структуры общества свойственны рациональность, функциональная специфичность и универсализм (Парсонс, 2015). М. Вебер видит профессионализацию и бюрократизацию общества частью общего тренда на его рационализацию (Ritzer, 1975: 632). Веберовские идеально-типические бюрократы обладают также и техническими знаниями вместе с фактической осведомленностью (служебной тайной): «бюрократическое управление означает господство через знание, в этом и заключается его специфическая рациональная основа» (Вебер, 2016: 263); и они принимают «долг служебной верности» (Вебер, 2019: 32). Если же профессионалы отличаются от предпринимателей тем, что профессиональная рациональность «отделена от институционализированного ожидания корыстного интереса» (Парсонс, 2015: 158), то чем они тогда отличаются от бюрократов, специально обученных и приверженных своеобразному идеалу служения — «безличной функции» (Вебер, 2019: 32)?

Направление поиска ответа на этот вопрос подсказывают Дж. Ритцер и Д. Вальчак, которые точно так же, как и М. Сакс, опираются на теоретическое наследие Вебера в изучении профессий, но центральной категорией их аналитической схемы становится не социальное закрытие, а рациональность. Они выделяют в качестве отличительной черты профессий и бюрократий рациональность, а через разницу ее типов проводят разделительную полосу между этими рациональными образованиями: получается, что профессионалы руководствуются субстантивной рациональностью, а бюрократы — формальной. Субстантивная рациональность

предполагает, что выбор профессионалами оптимальных средств достижения рабочих целей задается связным набором социальных ценностей, среди которых — альтруизм (под альтруизмом Ритцер и Вальчак понимают приоритет клиентского или общественного блага над личной выгодой профессионалов). Формальная рациональность подразумевает безразличие действующих лиц (бюрократов) к какому-либо социальным ценностям при их точном и планомерном следовании формальным правилам (Ritzer, Walczak, 1988: 3-4). И в этом отношении депрофессионализация трудовых занятий проявляется их переориентацией с субстантивной рациональности на формальную.

Но в предложенной Ритцером и Вальчаком аналитической схеме изучения профессий и их трансформаций набор социальных ценностей, которыми руководствуются профессионалы в своей трудовой деятельности, совпадает с признаками профессии (Ritzer, Walczak, 1988: 4-6). Поэтому в ней можно постараться иначе расставить акценты: скорее важно не то, что социальные ценности задают для профессионалов выбор средств достижения рабочих целей, а то, что эти ценности сами по себе являются конечными, предельными целями профессий. Из чего следует, что профессионалы служат не интересам отдельных клиентов или целому обществу, а некоей ценности, ассоциируемой с их делом и конституирующей его. К примеру, для судей такой ценностью выступает справедливость, для врачей — здоровье людей и других живых существ.

А напрямую служить клиентским или общественным интересам значило бы для профессионалов плясать под чужую дудку... Или играть на саксофоне ту музыку, которую хочет слышать платежеспособная публика, а не сами джазмены, как это описывает Г. Беккер в «Аутсайдерах» (Беккер, 2018: 110-114). Э. Хьюз характеризует такую ситуацию, как ситуацию «уязвления эго» профессионалов (Хьюз, 2003: 144), но в ней также видится отступление профессионалов от субстантивной рациональности. Непрофессионалы могут требовать от профессионалов чего-то, что идет вразрез с ценностью, конституирующей дело последних. И кто-то из профессионалов, включая уже упомянутых джазменов, поступает этой ценностью и служит (прислуживает) интересам своих клиентов, допустим, чтобы не терять часть собственного дохода. Таким образом, услужливые профессионалы утрачивают рабочую автономию в том смысле, что их трудовая деятельность начинает задаваться не предельной целью их дела, а целью, лежащей вне его; герметичность ценностного универсума профессии, так сказать, нарушается.

Однако же, если социологи профессий аналитическим образом определяют, кому или чему служат профессионалы, то они рискуют слепо не различать деталей преобразовательных процессов, происходящих с разнообразными трудовыми занятиями. Объект профессионального служения не является предзаданным и фиксированным: он определяется и переопределяется в длящихся взаимодействиях между различными субъектами социальной жизни и в окружении развивающихся бюрократических и рыночных структур. Наряду с этим нужно заметить, что выгодоприобретателями профессиональных услуг могут выступать люди, отличные

от тех, над кем профессионалы совершают рабочие операции (Хьюз, 2009: 47). Одним словом, нельзя полностью исключить фигуру получателей профессиональных услуг (клиентов) из определения объекта профессионального служения; напротив, с этой фигурой в частности и с содержанием объекта профессионального служения в целом стоит обходиться как с предметом тщательного социологического анализа.

Рабочая автономия

Г. Виленский, М. Хауг и другие социологи профессий представляют элементы профессионального комплекса сплетенными функциональными связями (Wilensky, 1964; Naug, 1972, 1975; Toren, 1975). Как говорилось ранее, профессионалы обретают рабочую автономию за счет компетентностного разрыва с остальными субъектами социальной жизни, а также за счет принятия на себя обязательства быть верными идеалу служения. Зачастую в социологии профессий используются юридические метафоры («юрисдикция», «дискреция» и «мандат») для обозначения рабочей автономии профессионалов, и эти метафоры выражают ее важнейшее свойство — легитимность. Рабочей автономией охватывается широкий спектр совершаемых профессионалами по своему усмотрению определений объектов, событий и ситуаций. Например, профессионалы устанавливают, «что хорошо и правильно для индивида и общества в целом в том или ином аспекте жизни» (Хьюз 2015: 48); определяют природу и способы разрешения проблем, которыми они занимаются (Toren, 1975: 325); распоряжаются ценными для людей вещами, телами, душами или умами (Fournier 1999: 285-286).

Некоторые социологи профессий признают своеобразность отношений между профессионалами и их клиентами из-за компетентностной асимметрии сторон. Так, этим отношениям Э. Гринвуд противопоставляет отношения между потребителями некоторого продукта и его производителями. Потребители самостоятельно решают, какой продукт им нужен. Поэтому они могут судить о том, в какой мере некоторый продукт соответствует их запросам, критиковать его качество и требовать возврата денег за него. У клиентов профессионального сервиса такой прерогативы нет — профессионалы за них решают, что тем пойдет на пользу, а что во вред. Получателем профессиональных услуг остается согласиться с экспертным суждением профессионалов (Greenwood, 1957: 48).

Но даже если не принимать в расчет тот факт, что описанная модель отношений между профессионалами и их клиентами является идеализированной (не каждый клиент профессионального сервиса считается с авторитетом профессионального суждения), она оказывается неадекватной современным эмпирическим реалиям ввиду того, что ее двухролевая структура игнорирует организационный контекст, в котором трудятся профессионалы. Отношения между профессионалами и их клиентами опосредуются частными и государственными бюрократиями, в которых производятся и предоставляются профессиональные услуги. В этой

связи обостряется проблема определения клиента или заказчика профессиональной работы (Хьюз, 2012б: 56), и «обретают особую значимость проблемы лояльности, власти, контроля над профессиональными группами» (Николаев, 2012: 70).

Сегодня профессионалы действуют в формализующейся среде, где множатся элементы рационализированных формальных структур — инструкции, процедуры, программы, должности, показатели эффективности и др. Эти элементы «функционируют как влиятельные мифы, и многие организации перенимают их как церемониал» (Мейер, Роуэн, 2011: 45). Часть социальных исследователей (Ritzer, Walczak, 1988; Ball, 2003; Schimank, 2015; Trappenburg, van Beek, 2019; de Saxe et al., 2020) полагает, что депрофессионализация трудовых занятий вызывается распространением формальных структур, как рыночных, так и бюрократических, иными словами, маркетизацией и бюрократизацией общественной жизни. Однако эмпирические исследования не подтверждают этого однозначно (Fournier, 1999; Faulconbridge, Muzio, 2008; Brass, Holloway, 2019).

В формализующейся среде профессионалы все же способны поддерживать субстантивную основу своего действия и не предаваться формализму полностью, как то описывается в работах социальных мыслителей критического толка (Иллич, 2006; Гребер, 2020). Для этого профессионалы расцепляют свою фактическую деятельность с рационализированными формальными структурами и обращаются к институционализированным правилам церемониальным образом, демонстрируя «видимость формального соответствия этим правилам» (Никитина, 2023: 132). К примеру, Дж. Фолконбридж и Д. Муцио устанавливают, что в международных юридических компаниях управленческие процедуры и должности являются в основном номинальными, благодаря чему занятым в этих компаниях юристам удается сохранять субстантивную составляющую их профессии (Faulconbridge, Muzio, 2008: 21).

Задействуя логику расцепления, профессионалы не могут целиком посвящать себя своему делу, некоторая часть их рабочего времени заполняется церемониальной деятельностью — они начинают делать то, что не соответствует смыслу (предельной цели) их трудового занятия, и теряют контроль над организацией собственной работы. Но между профессионалами, занятыми в одной организации, церемониальная работа может распределяться неравномерно: кому-то в большей, а кому-то в меньшей степени приходится заниматься непрофессиональными задачами и подвергаться депрофессионализирующему эффекту рационализированных формальных структур. Кроме того, внутри организации могут создаваться специальные должности и отделы, которые берут на себя груз церемониальной работы, вроде PR-службы или секретариата.

За созданным формализованным щитом профессионалы, с одной стороны, могут сохранять рабочую автономию и субстантивную рациональность своего дела. С другой стороны, долгое пребывание за ним может обернуться для профессионалов стагнацией их знаниевой базы подобно тому, что происходит с судмедэкспертами в сравнительном исследовании С. Тиммерманса двух медицинских спе-

циализаций — доказательной медицины и судебной медицины. Без обновления знаний в меняющемся мире профессионалы утрачивают властную позицию и, как вариант, становятся зависимыми от узкой клиентской аудитории в лице государства (Timmermans, 2008).

Наконец, логика расщепления подразумевает, что реальная деятельность профессионалов регулируется неформально: «индивидам предоставляется возможность разрабатывать неформальные принципы технологического взаимодействия», ценится «умение ладить с людьми» (Мейер, Роуэн, 2011: 60-61). Но неформальные отношения, в которые вовлекаются профессионалы, могут становиться партикулярными, из-за чего профессионалы на своем рабочем месте начинают действовать не из верности идеалу служения, связанного с их делом, а из соображений лояльности отдельному человеку и чувства долга перед ним. Партикуляризм, как и формализм, может препятствовать автономной работе профессионалов и размывать их функциональную специфичность (Парсонс, 2015).

Так или иначе, в настоящее время профессионалы оказываются вплетенными в паутину формальных и неформальных взаимодействий с многообразными социальными акторами, которые могут как поддерживать, так и оспаривать рабочую автономию первых. А еще знания о том, с кем, как и по какому поводу можно или нужно взаимодействовать, образуют основу связующего профессионализма и позволяют профессионалам справляться с рабочими случаями (Noordegraaf, 2020). Например, российские операторы диспетчерской службы экстренного реагирования пользуются знаниями того, как мобилизовывать разного рода социальные контакты (в том числе неформальные) и манипулировать ими, чтобы устранять последствия чрезвычайных происшествий. И эти знания расширяют их свободу действий на рабочем месте и делают их профессиональную деятельность не такой запротоколированной, какой она может показаться на первый взгляд (Серебренников, 2023).

Помимо всего прочего, из того обстоятельства, что многие профессиональные услуги создаются и оказываются в частных и государственных организациях, возникает проблема эмпирической неразличимости рабочей автономии профессионалов и дискреции бюрократов низового уровня. Бюрократы низового уровня, согласно их классическому определению, — это сотрудники государственных и муниципальных учреждений, которые, находясь на низшей ступени бюрократической иерархии в этих учреждениях, занимаются производством и распределением общественных благ и напрямую взаимодействуют с жителями государства. Бюрократы низового уровня занимают особую структурную позицию: они одновременно существуют в бюрократическом мире государственной системы с ее обширным сводом регламентов, шаблонов, стандартов и в клиентском мире, который характеризуется сложностью, непредсказуемостью, изменчивостью человеческого бытования (Protas, 1978). При этом они располагают неадекватными или дефицитными ресурсами для выполнения своей работы и действуют в усло-

виях неопределенных и противоречивых ролевых требований к себе (Lipsky, 1971; Maynard-Moody, Portillo, 2010).

Из такого специфического положения бюрократов низового уровня происходит их неотъемлемая дискреция, то есть свобода действовать по своему усмотрению. Ей они распоряжаются постольку, поскольку они сталкиваются с неминуемым выбором между взаимоисключающими определениями их роли, между разнообразными способами использования личных и организационных ресурсов, которых не хватает для выполнения всех рабочих задач на том уровне качества, который задается государством или его жителями (Lipsky, 1971; Maynard-Moody, Portillo, 2010). А знания, извлекаемые бюрократами низового уровня из двух миров (бюрократического и клиентского), дают им информационное превосходство как над своими клиентами, так и над своим руководством, за счет чего они могут по-своему управлять процессом производства и распределения общественных благ (Prottas, 1978).

Итак, наблюдаемая у сотрудников бюрократических организаций рабочая автономия (дискреция) может иметь разные основания: либо она укореняется в признании окружающими за ними профессионализма, либо она обеспечивается их особой структурной позицией (другие возможные варианты в этой статье не обзревается). В действительности же профессионалы (обученные и благонамеренные специалисты) и бюрократы низового уровня совмещаются в одних персонах, что препятствует точному эмпирическому различению оснований их автономного действия на рабочем месте.

Без понятия, или Вместо заключения

Профессия как категория социологического анализа не имеет конкретного и однозначного определения, что подтверждается ее концептуальной многоликостью в социологии профессий (Абрамов, 2014; Сакс, 2020); в блумеровской перспективе она предстает сенсibiliзирующим понятием, «содержание [которого] локализовано» (Блумер, 2017: 208). Социологи профессий не могут явным образом выделить профессии из всей массы трудовых занятий хотя бы потому, что элементы профессионального комплекса в виде эксклюзивных знаний, идеала служения и рабочей автономии континуальны и динамичны. Профессионализация и депрофессионализация трудовых занятий как аналитические категории, казалось бы, лишены этого недостатка, но их использование в любом случае требует от социологов профессий идентификации атрибутов профессии или конструирования ее идеального типа.

Идеально-типическая профессия — это, по сути, нормативная модель, которая «используется в эмпирических исследованиях для описания этических аспектов профессии и для анализа формирования общеразделяемых профессиональных стандартов работы [тех или иных специалистов]» (Ходжаева, Рабовски, 2015: 138). Поэтому содержание элементов профессионального комплекса, предопределяемое

социологами профессий, не может быть частью их аналитической оптики при эмпирическом изучении трудовых занятий и трудового поведения людей; оно определяется и переопределяется субъектами социальной жизни вне отрыва от социального контекста их действия.

Кроме того, за фасадом аналитических категорий профессионализации и депрофессионализации трудовых занятий хоронится вариативность трансформационных процессов, происходящих с корпусом знаний, логикой действия в институциональной должности и объемом рабочей автономии врачей, юристов, учителей и других специалистов. Причем профессионализация или депрофессионализация трудовых занятий может не затрагивать каждый из этих элементов профессионального комплекса. Например, профессионализация сестринского дела в Италии, сопровождающаяся развитием академического образования и утверждением этических стандартов в этой области, не гарантирует медицинским сестрам рабочую автономию — они остаются в тени врачебной гегемонии (Sena, 2017). Или, допустим, в России адвокаты по уголовным делам работают в условиях обвинительного уклона, то есть они не обладают значительным объемом рабочей автономии, который присущ эталонным профессиям. Но они, несмотря на собственную ресурсную слабость в уголовном процессе, могут выстраивать линию защиты своего клиента, ставя в приоритет его потребности, иначе говоря, оставаться на службе клиентских интересов (Ходжаева, Рабовски, 2015).

Функциональная связанность компонентов профессионального комплекса, которая теоретизируется социологами профессий, может не находить реального воплощения в трудовой жизни людей. Конечно, было бы неверным полностью отвергать выдвигаемый социологами профессий тезис о том, что рабочая автономия профессионалов формируется определенным образом. Но в данном случае перед социальными исследователями встает теоретико-методологическая задача по различению источников происхождения рабочей автономии профессионалов, разрешение которой осложняется тем, что современные специалисты, работающие в формализующейся среде, могут манипулировать элементами формальных структур так, чтобы действовать по своему усмотрению в определенных рабочих ситуациях.

Более того, представители какого-либо рода занятий могут развивать собственную концепцию профессионализма, в которую встраивается их неспособность контролировать условия своей трудовой деятельности, что в социологии профессий принимается за долю потерянной ими рабочей автономии (Faulconbridge, Muzio, 2008: 10). К примеру, в США сотрудники образовательных программ по журналистике переописывают текущую нестабильность рынка креативного труда как данность, которую новоиспеченным журналистам следует сделать частью своей профессиональной идентичности и к которой им стоит адаптироваться через отказ от традиционной для журналистики функциональной специфичности (Besbris, Petre, 2020).

Ко всему прочему, профессии, рынки и бюрократии развиваются рука об руку и не являются несовместимыми (Ritzer, 1975): профессионалы обучаются и работают в бюрократических организациях, а также вовлекаются в рыночный обмен с физическими и юридическими лицами. Формальная рациональность, воплощаемая в рыночной и бюрократической логиках, может как конфликтовать, так и сосуществовать с субстантивной рациональностью, составляющей основу профессиональной логики (Ritzer, Walczak, 1988: 4). Ситуации конфликтного соприкосновения профессиональной, бюрократической и рыночной логик в трудовой деятельности разнообразных специалистов по-прежнему нуждаются в эмпирическом изучении. Но для социологического анализа этих ситуаций обширные аналитические категории вроде профессионализации и депрофессионализации трудовых занятий не подходят, поскольку они, будто бы сито с крупной сеткой, не улавливают текучий и контекстуальный характер ценностных выборов, совершаемых профессиональными работниками «между линиями действия, соответствующими традиционным ценностям профессии и несовместимыми с ними» (Николаев, 2015б: 611). Так, быть может, социологам профессий стоит отказаться (на время или вовсе) от профессионализации и депрофессионализации трудовых занятий как концептуальных инструментов социологического анализа преобразований в трудовой жизни людей?

Литература

- Абрамов Р. Н. (2007). Парадоксы кренденциализма и динамика современного профессионализма // *Профессии.doc. Социальные трансформации профессионализма: взгляды снаружи, взгляды изнутри* / Е. Р. Ярская-Смирнова, П. В. Романов (ред.). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. С. 30–40.
- Абрамов Р. Н. (2011). Менеджериализм и академическая профессия. Конфликт и взаимодействие // *Социологические исследования*. № 7. С. 37–47.
- Абрамов Р. Н. (2014). Классификация исследовательских направлений в изучении занятий и профессий // *Социологический ежегодник, 2013–2014* / Н. Е. Покровский, Д. В. Ефременко (ред.). С. 83–104.
- Абрамов Р. Н., Быков А. В. (2021). Мир профессий в контексте труда и занятости: пандемическое и цифровое вертиго // *Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены*. № 3. С. 4–20.
- Антонова В. К., Кисурина А. Е. (2013). «Социальный рекламист»: становление новой профессии в социальном государстве // *Профессии социального государства* / П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова (ред.). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. С. 293–307.
- Башикирова Ю. В. и др. (2020). Школа в бумажной пучине: кризис информационных потоков в образовании. Великий Новгород: ООО «Типография “Виконт”».
- Беккер Г. (1994). Природа профессии // *Этика успеха: вестник исследователей, консультантов и ЛПР*. Выпуск 3/94. С. 46–53.

- Беккер Г. (2018). Аутсайдеры: исследования по социологии девиантности / Пер. с англ. Н. Г. Фархатдинова; под ред. А. М. Корбута. М.: Издательство «Элементарные формы».
- Блумер Г. (2017). Символический интеракционизм: перспектива и метод / Пер. с англ. А. М. Корбута. М.: Издательство «Элементарные формы».
- Блур Д. (2002). Сильная программа в социологии знания // Логос. Т. 5–6. № 35. С. 1–24.
- Вебер М. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 1: Социология / Пер. с нем., под ред. Л. Г. Ионина. М.: ВШЭ. С. 252–333.
- Вебер М. (2019). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 4: Господство / Пер. с нем., под ред. Л. Г. Ионина. М.: ВШЭ. С. 17–72.
- Гребер Д. (2020). Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда / Пер. с англ. А. В. Арамяна и К. А. Митрошенкова. М.: Ад Маргинем Пресс.
- Дюркгейм Э. (1996). О разделении общественного труда / Пер. с фр. А. Б. Гофмана, примечания В. В. Сапова. М.: Канон.
- Иллич И. (2006). Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир: (фрагменты из работ разных лет) / Под. ред. Т. Шанина. М.: Просвещение. С. 22–128.
- Лукиша О. В. (2003). Социология профессиональных групп: определение понятий // Профессиональные группы интеллигенции. С. 1–20.
- Мансуров В. А., Юрченко О. В. (2009). Социология профессий: становление дисциплины и перспективы ее развития // Профессиональные группы: динамика и трансформация / В. А. Мансуров (ред.). М.: Изд-во Института социологии РАН. С. 16–36.
- Маршалл Т. Х. (2010). Новейшая история профессионализма в связи с социальной структурой и социальной политикой // Журнал исследований социальной политики. Т. 8. № 1. С. 105–124.
- Мейер Дж., Роуэн Б. (2011). Институционализированные организации: формальная структура как миф и церемониал // Экономическая социология. Т. 12. № 1. С. 44–67.
- Миллс Ч. Р. (2011). Ситуативные действия и словари мотивов // Социологическое обозрение. Т. 10. № 3. С. 98–109.
- Никитина Д. А. (2023). Бессмысленный труд, бредовая работа и организационный абсурд: новые направления для институциональной теории // Социологическое обозрение. Т. 22. № 1. С. 129–146.
- Николаев В. Г. (2012). Социология занятий и профессий Эверетта Хьюза: Забытый интеллектуальный ресурс // Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности / П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова (ред.). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. С. 59–74.
- Николаев В. Г. (2015а). Профессиональная культура и идеология «социальных услуг» // Профессиональная культура работников социальных служб: социально-антропологическое исследование / Е. Р. Ярская-Смирнова (ред.). М.: ООО «Вариант». С. 46–101.

- Николаев В. Г. (2015б). Реформа российского здравоохранения и ценностные конфликты профессионализма // Журнал исследований социальной политики. Т. 13. № 4. С. 611–626.
- Парсонс Т. (2015). Профессии и социальная структура // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ/РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. М. № 4. С. 153–170.
- Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. (2009). Российский и европейский подходы к исследованию профессий — сближение перспектив // Профессиональные группы: динамика и трансформация / В. А. Мансуров (ред.). М.: Изд-во Института социологии РАН. С. 59–93.
- Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. (2015). Социология профессий: аналитические перспективы и методология исследований. М.: ООО «Вариант». С. 117–201.
- Садыхов Р. А. (2013). Практики и перспективы профессионализации гомеопатии в России // Профессии социального государства / П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова (ред.). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. С. 116–136.
- Сакс М. (2020). Неовеберизм и профессии // Социологические исследования. № 6. С. 28–41.
- Сакс М., Олсон Дж. (2003). Социология профессий: государство, медицина и рынок в Великобритании // Профессиональные группы интеллигенции. С. 36–57. URL: <http://ecsocman.hse.ru/text/18171705/> (дата обращения: 28.01.2021).
- Серебренников Д. Е. (2023). От звонка до карточки: в поисках дискреции у операторов службы единого номера «112» // Антропологический форум. № 59. С. 130–152.
- Ткач О. А. (2011). Профессионализация домашней уборки: очерчивая фронтиры // Антропология профессий, или Посторонним вход разрешен / П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова (ред.). М.: Вариант. С. 304–333.
- Ходжаева Е. А., Рабовски (Шестернина) Ю. В. (2015). Стратегии и тактики адвокатов в условиях обвинительного уклона в России // Социология власти. № 2. С. 135–167.
- Хьюз Э. Ч. (2003). Работа и человеческое «Я» // Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Т. 11. С. 133–145.
- Хьюз Э. Ч. (2009). Социальная роль и разделение труда // Социологические исследования. № 8. С. 46–52.
- Хьюз Э. Ч. (2012а). Профессии // Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности / П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова (ред.). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. С. 31–46.
- Хьюз Э. Ч. (2012б). Профессии в обществе // Антропология профессий: границы занятости в эпоху нестабильности / П. В. Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова (ред.). М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. С. 47–58.
- Хьюз Э. Ч. (2015). Лицензия и мандат // Личность. Культура. Общество. Т. 17. № 3–4. С. 47–53.

- Чернова Ж. В., Шпаковская Л. Л. (2016). Профессионализация родительства: между экспертным и обыденным знанием // Журнал исследований социальной политики. Т. 14. № 4. С. 521–534.
- Abbott A. (1991). The Order of Professionalization: An Empirical Analysis // *Work and Occupations*. Vol. 18. № 4. P. 355–384.
- Abend G. (2011). Thick Concepts and the Moral Brain // *European Journal of Sociology*. Vol. 52. № 1. P. 143–172.
- Ball S. J. (2003). The Teacher's Soul and the Terrors of Performativity // *Journal of Education Policy*. Vol. 18. № 2. P. 215–228.
- Besbris M., Petre C. (2020). Professionalizing Contingency: How Journalism Schools Adapt to Deprofessionalization // *Social Forces*. Vol. 98. № 4. P. 1524–1547.
- Brass J., Holloway J. (2019). Re-professionalizing Teaching: The New Professionalism in the United States // *Critical Studies in Education*. P. 1–18.
- De Saxe J. G. et al. (2020). The Deprofessionalization of Educators: An Intersectional Analysis of Neoliberalism and Education "Reform" // *Education and Urban Society*. Vol. 52. № 1. P. 51–69.
- Dewey J. M. (2008). Knowledge Legitimacy: How Trans-Patient Behavior Supports and Challenges Current Medical Knowledge // *Qualitative Health Research*. Vol. 18. № 10. P. 1345–1355.
- Faulconbridge J., Muzio D. (2008). Organizational Professionalism in Globalizing Law Firms // *Work, Employment and Society*. Vol. 22. № 1. P. 7–25.
- Flick S. (2021). Theorising Medical Psychotherapy: Therapeutic Practice between Professionalisation and Deprofessionalisation // *European Journal of Social Theory*. Vol. 24. № 2. P. 227–245.
- Foot N. N. (1953). The Professionalization of Labor in Detroit // *American Journal of Sociology*. Vol. 58. № 4. P. 371–380.
- Fournier V. (1999). The Appeal to 'Professionalism' as a Disciplinary Mechanism // *The Sociological Review*. Vol. 47. № 2. P. 280–307.
- Fournier V. (2001). Boundary Work and the (Un)Making of the Professions // *Professionalism, Boundaries and the Workplace* / N. Malin (ed.). London & New York: Routledge. P. 67–86.
- Freidson E. (1984). The Changing Nature of Professional Control // *Annual Review of Sociology*. Vol. 10. № 1. P. 1–20.
- Freidson E. (2001). *Professionalism: The Third Logic*. London: Polity Press.
- Greenwood E. (1957). Attributes of a Profession // *Social Work*. Vol. 2. № 3. P. 45–55.
- Haug M. R. (1972). Deprofessionalization: an Alternate Hypothesis for the Future // *The Sociological Review*. Vol. 20. № 1. P. 195–211.
- Haug M. R. (1975). The Deprofessionalization of Everyone? // *Sociological Focus*. Vol. 8. № 3. P. 197–213.
- Haug M. R. (1988). A Re-examination of the Hypothesis of Physician deprofessionalization // *The Milbank Quarterly*. Vol. 66. Suppl. 2. P. 48–56.

- Haug M. R., Sussman M. B. (1969). Professional Autonomy and the Revolt of the Client // *Social Problems*. Vol. 17. № 2. P. 153–161.
- Hitlin S., Vaisey S. (2013). The New Sociology of Morality // *Annual Review of Sociology*. Vol. 39. P. 51–68.
- Lamont M. (2018). Addressing Recognition Gaps: Destigmatization and the Reduction of Inequality // *American Sociological Review*. Vol. 83. № 3. P. 419–444.
- Lipsky M. (1971). Street-level Bureaucracy and the Analysis of Urban Reform // *Urban Affairs Quarterly*. Vol. 6. № 4. P. 391–409.
- Maynard-Moody S., Portillo S. (2010). Street-Level Bureaucracy Theory // *The Oxford Handbook of American Bureaucracy* / R. F. Durant (ed.). Oxford: Oxford University Press. P. 252–277.
- Noordegraaf M. (2015). Hybrid Professionalism and Beyond: (New) Forms of Public Professionalism in Changing Organizational and Societal Contexts // *Journal of Professions and Organization*. Vol. 2. № 2. P. 187–206.
- Noordegraaf M. (2020). Protective or Connective Professionalism? How Connected Professionals Can (Still) Act as Autonomous and Authoritative Experts // *Journal of Professions and Organization*. Vol. 7. № 2. P. 205–223.
- Prottas J. M. (1978). The Power of the Street-Level Bureaucrat in Public Service Bureaucracies // *Urban Affairs Quarterly*. Vol. 13. № 3. P. 285–312.
- Ritzer G. (1975). Professionalization, Bureaucratization And Rationalization: The Views of Max Weber // *Social Forces*. Vol. 53. № 4. P. 627–634.
- Ritzer G., Walczak D. (1988). Rationalization and the Deprofessionalization of Physicians // *Social forces*. Vol. 67. № 1. P. 1–22.
- Schimank U. (2015). 'New Public Management' as De-professionalization — Conceptual Reflections with Some Applications to School Teachers // *Restructuring Welfare Governance—Marketization, Managerialism and Welfare State Professionalism* / T. Klenk (ed.). Cheltenham: Edward Elgar. P. 183–199.
- Sena B. (2017). Professionalization without Autonomy: The Italian Case of Building the Nursing Profession // *Professions and Professionalism*. Vol. 7. № 3. P. 1–14.
- Timmermans S. (2008). Professions and Their Work: Do Market Shelters Protect Professional Interests? // *Work and Occupations*. Vol. 35. № 2. P. 164–188.
- Toren N. (1975). Deprofessionalization and Its Sources. A Preliminary Analysis // *Sociology of Work and Occupations*. Vol. 2. № 4. P. 323–337.
- Trappenburg M., van Beek G. (2019). 'My Profession is Gone': How Social Workers Experience De-professionalization in the Netherlands // *European Journal of Social Work*. Vol. 22. № 4. P. 676–689.
- Wilensky H. L. (1964). The Professionalization of Everyone? // *American Journal of Sociology*. Vol. 70. № 2. P. 137–158.

What is Wrong with the Sociology of Professions?

Tatyana Larkina

PhD student of the Graduate School of Sociology

HSE University

Address: 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000 Russian Federation

E-mail: tlarkina@hse.ru

The transformational processes in working life are closely studied by social researchers. The sociologists of professions describe some of these processes in terms of occupational professionalization and deprofessionalization. Generally, the conceptualization of such terms begins with the definition of what a profession is; however, the sociologists of professions have not yet reached a consensus on this issue. Meanwhile, despite the conceptual diversity in the sociology of professions, there are points of intersection between different approaches of this branch of sociological knowledge in defining its basic concept and its derivatives. Namely, the sociologists of professions single out exclusive knowledge, the service ideal, and work autonomy as the elements of a professional complex; and they use these three attributes-dimensions to examine different occupations for their professionalization and deprofessionalization. Moreover, they assume that the work autonomy of professionals derives from the two other elements of a professional complex. Applying this analytical scheme of professionalism to the empirical world of occupations turns out to be difficult in the situation of the spread of formal structures such as markets and bureaucracies. This article reveals the problematic areas of matching this scheme with the contemporary realities of a professional world, in particular in the sociological study of occupations from the point of their professionalization and deprofessionalization. Moreover, occupational professionalization and deprofessionalization as analytical categories are characterized by empirical insensitivity. These categories obscure the variability of transformations with the knowledge base, the logic of acting in an institutional office and the scope of work autonomy of particular specialists in the changing social environment.

Keywords: professions, professionalization, deprofessionalization, substantial rationality, formal rationality, formal structures, work autonomy

References

- Abbott A. (1991) The Order of Professionalization: An Empirical Analysis. *Work and Occupations*, vol. 18, no 4, pp. 355–384.
- Abend G. (2011) Thick Concepts and the Moral Brain. *European Journal of Sociology*, vol. 52, no 1, pp. 143–172.
- Abramov R. N. (2007) Paradoxy kredencializma i dinamika sovremennogo professionalizma [Paradoxes of Credentialism and the Dynamics of Modern Professionalism]. *Professii.doc. Social'nye transformacii professionalizma: vzglyady snaruzhi, vzglyady iznutri* [Professions.doc. Social Transformation of Professionalism: Views from Inside and Outside] (eds. E. R. Yarskaya-Smirnova, P. V. Romanov), Moscow: Variant, pp. 30–40.
- Abramov R. N. (2011) Menedzherializm i akademicheskaya professiya. Konflikt i vzaimodeystvie [Managerialism and the Academic Profession: Conflict and Cooperation]. *Sociological Studies*, no 7, pp. 37–47.
- Abramov R. N. (2014) Klassifikatsiya issledovatel'skikh napravlenij v izuchenii zanjatij i professij (Analiticheskij obzor) [Classification of Research Areas in the Study of Occupations and Professions (Analytical Review)]. *Sociologicheskij ezhegodnik, 2013–2014* [Sociological Yearbook, 2013–2014] (eds. N. E. Pokrovsky, D. V. Efremenko), Moscow: INION RAN, HSE, pp. 83–104.

- Abramov R. N., Bykov A. V. (2021) Mir professij v kontekste truda i zanjatosti: pandemicheskoe i cifrovoe vertigo [The World of Professions in the Context of Work and Employment: Pandemic and Digital Vertigo]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 3, pp. 4–20.
- Antonova V. K., Kisurina A. E. (2013) "Social'nyj reklamist": stanovlenie novoj professii v social'nom gosudarstve ["Social Advertiser": the Formation of a New Profession in the Welfare State]. *Professii social'nogo gosudarstva* [Professions of the Welfare State] (eds. E. R. Yarskaya-Smirnova, P. V. Romanov), Moscow: Variant, CSPGI, pp. 293–307.
- Ball S. J. (2003) The Teacher's Soul and the Terrors of Performativity. *Journal of Education Policy*, vol. 18, no 2, pp. 215–228.
- Bashkirova Yu. V. et al. (2020) *Shkola v bumazhnoj puchine: krizis informacionnyh potokov v obrazovanii* [School in the Abyss of Paper: Crisis of Information Flows in Education], Veliky Novgorod: Viscount Printing House LLC.
- Becker G. (1994) Priroda professii [The nature of the profession]. *Jetika uspeha: vestnik issledovatelej, konsul'tantov i LPR* [Ethics of Success: Bulletin of Researchers, Consultants And Decision Makers], Issue 3/94, Tyumen-Moscow, pp. 46–53.
- Becker H. (2018) *Autsajdery: issledovaniya po sociologii deviantnosti* [Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance], Moscow: Elementary Forms Press.
- Besbris M., Petre C. (2020) Professionalizing Contingency: How Journalism Schools Adapt to Deprofessionalization. *Social Forces*, vol. 98, no 4, pp. 1524–1547.
- Bloor D. (2002) Sil'naja programma v sociologii znaniya [The Strong Programme in the Sociology of Knowledge]. *Logos*, no 5/6, pp. 1–24.
- Blumer H. (2017) *Simvolicheskij interakcionizm: perspektiva i metod* [Symbolic Interactionism: Perspective and Method], Moscow: Elementary Forms Press.
- Brass J., Holloway J. (2019) Re-professionalizing Teaching: The New Professionalism in the United States. *Critical Studies in Education*, pp. 1–18.
- Chernova Z. V., Shpakovskaya L. L. (2016) Professionalizacija roditel'stva: mezhdru jekspertnym i obydennym znanijem [The Professionalization of Parenthood: Between Common Sense and Expert Knowledge]. *The Journal of Social Policy Studies*, vol. 14, no 4, pp. 521–534.
- De Saxe J. G. et al. (2020) The Deprofessionalization of Educators: An Intersectional Analysis of Neoliberalism and Education "Reform". *Education and Urban Society*, vol. 52, no 1, pp. 51–69.
- Dewey J. M. (2008) Knowledge Legitimacy: How Trans-Patient Behavior Supports and Challenges Current Medical Knowledge. *Qualitative Health Research*, vol. 18, no 10, pp. 1345–1355.
- Durkheim E. (1996) *O razdelenii obshhestvennogo truda* [On the Division of Social Labor], Moscow: CANON.
- Faulconbridge J., Muzio D. (2008) Organizational Professionalism in Globalizing Law Firms. *Work, Employment and Society*, vol. 22, no 1, pp. 7–25.
- Flick S. (2021) Theorising Medical Psychotherapy: Therapeutic Practice between Professionalisation and Deprofessionalization. *European Journal of Social Theory*, vol. 24, no 2, pp. 227–245.
- Foote N. N. (1953) The Professionalization of Labor in Detroit. *American Journal of Sociology*, vol. 58, no 4, pp. 371–380.
- Fournier V. (1999) The Appeal to 'Professionalism' as a Disciplinary Mechanism. *The Sociological Review*, vol. 47, no 2, pp. 280–307.
- Fournier V. (2001) Boundary Work and the (Un)Making of the Professions. *Professionalism, Boundaries and the Workplace* (ed. N. Malin), London & New York: Routledge, pp. 67–86.
- Freidson E. (1984) The Changing Nature of Professional Control. *Annual Review of Sociology*, vol. 10, no 1, pp. 1–20.
- Freidson E. (2001) *Professionalism: The Third Logic*, London: Polity Press.
- Greber D. (2021) *Bredovaya rabota. Traktat o rasprostranении bessmyslennogo truda* [On the Phenomenon of Bullshit Jobs: A Work Rant], Moscow: Ad Marginem Press.
- Greenwood E. (1957) Attributes of a Profession. *Social Work*, vol. 2, no 3, pp. 45–55.
- Haug M. R. (1972) Deprofessionalization: an Alternate Hypothesis for the Future. *The Sociological Review*, vol. 20, no 1, pp. 195–211.
- Haug M. R. (1975). The Deprofessionalization of Everyone? *Sociological Focus*, vol. 8, no 3, pp. 197–213.

- Haug M. R. (1988) A Re-examination of the Hypothesis of Physician Deprofessionalization. *The Milbank Quarterly*, vol. 66, Suppl. 2, pp. 48–56.
- Haug M. R., Sussman M. B. (1969) Professional Autonomy and the Revolt of the Client. *Social Problems*, vol. 17, no 2, pp. 153–161.
- Hitlin S., Vaisey S. (2013) The New Sociology of Morality. *Annual Review of Sociology*, vol. 39, pp. 51–68.
- Hughes E. C. (2003) Rabota i chelovecheskoe "Ja" [Work and Self]. *Social'nye i gumanitarnye nauki za rubezhom* [Social and Humanitarian Sciences Abroad], vol. 11, pp. 133–145.
- Hughes E. C. (2009) Social'naja rol' i razdelenie truda [Social Role and the Division of Labor]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 46–52.
- Hughes E. C. (2012a) Professii [Professions]. *Antropologiya professij, granicy zanjatosti v jepohu nestabil'nosti* [Anthropology of Profession, Employment Boundaries in an Age of Instability] (eds. E. R. Yarskaya-Smirnova, P. V. Romanov), Moscow: Variant, CSPGI, pp. 31–46.
- Hughes E. C. (2012b) Professii v obshhestve [Professions in Society]. *Antropologiya professij, granicy zanjatosti v jepohu nestabil'nosti* [Anthropology of Profession, Employment Boundaries in an Age of Instability] (eds. E. R. Yarskaya-Smirnova, P. V. Romanov), Moscow: Variant, CSPGI, pp. 47–58.
- Hughes E. C. (2015) Licenzija i mandat [License and Mandate]. *Personality. Culture. Society*, vol. 17, no 3–4, pp. 47–53.
- Illich I. (2006) *Osvobozhdenie ot shkol. Proporcional'nost' i sovremennyy mir* [Deschooling society. Proportionality and the Contemporary World], Moscow: Prosveshchenie, pp. 22–128.
- Khodzhaeva E. A., Rabovski (Shesternina) Yu. V. (2015) Strategii i taktiki advokatov v uslovijah obvinitel'nogo uklona v Rossii [Strategies and Tactics of Lawyers in the Context of an Accusatory Bias in Russia]. *Sociology of Power*, no 2, pp. 135–167.
- Lamont M. (2018) Addressing Recognition Gaps: Destigmatization and the Reduction of Inequality. *American Sociological Review*, vol. 83, no 3, pp. 419–444.
- Lipsky M. (1971) Street-level Bureaucracy and the Analysis of Urban Reform. *Urban Affairs Quarterly*, vol. 6, no 4, pp. 391–409.
- Luksha O. V. (2003) Sociologija professional'nyh grupp: opredelenie ponjatij [Sociology of Professional Groups: The Definition of Concepts]. *Professional'nye gruppy intelligencii* [Professional Groups of the Intelligentsia] (ed. V. A. Mansurov), Moscow: RAS Institute of Sociology Publishing House, pp. 1–20.
- Mansurov V. A., Yurchenko O. V. (2009) Sociologija professij: stanovlenie discipliny i perspektivy ee razvitiya [Sociology of Professions: the Formation of the Discipline and the Prospects for Its Development]. *Professional'nye gruppy: dinamika i transformacija* [Professional Groups: Dynamics and Transformation] (ed. V. A. Mansurov), Moscow: RAS Institute of Sociology Publishing House, pp. 16–36.
- Marshall T. (2010) Novejshaja istorija professionalizma v svyazi s social'noj strukturoj i social'noj politikoj [The Recent History of Professionalism with Regard to Social Structure and Social Policy]. *The Journal of Social Policy Studies*, vol. 8, no 1, pp. 105–124.
- Maynard-Moody S., Portillo S. (2010) Street-Level Bureaucracy Theory. *The Oxford Handbook of American Bureaucracy* (ed. R. F. Durant), Oxford: Oxford University Press, pp. 252–277.
- Meyer J. W., Rowan B. (2011) Institucionalizirovannye organizacii: formal'naja struktura kak mif i ceremonial [Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 12, no 1, pp. 44–67.
- Mills C. W. (2011) Situativnye dejstvija i slovari motivov [Situational Actions and Vocabularies of Motive]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 3, pp. 98–109.
- Nikitina D. A. (2023) Bessmyslennyj trud, bredovaja rabota i organizacionnyj absurd: novye napravlenija dlja institucional'noj teorii [Pointless Labor, Bullshit Jobs, and Organizational Absurdity: New Directions for Institutional Theory]. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 1, pp. 129–146.
- Nikolaev V. G. (2012) Sociologija zanjatij i professij Jefferetta H'juza: Zabytyj intellektual'nyj resurs [Sociology of Occupations and Professions by Everett Ch. Hughes: A Forgotten Intellectual Resource]. *Antropologiya professij, granicy zanjatosti v jepohu nestabil'nosti* [Anthropology of

- Profession, Employment Boundaries in an Age of Instability] (eds. E. R. Yarskaya-Smirnova, P. V. Romanov), Moscow: Variant, CSPGI, pp. 59–74.
- Nikolaev V. G. (2015a) Professional'naja kul'tura i ideologija "social'nyh uslug" [Professional Culture and the Ideology of "Social Services"]. *Professional'naja kul'tura rabotnikov social'nyh sluzhb: social'no-antropologicheskoe issledovanie* [The Professional Culture of Social Services Workers: A socio-anthropological study] (ed. E. R. Yarskaya-Smirnova), Moscow: Variant, pp. 46–101.
- Nikolaev V. G. (2015b) Reforma rossijskogo zdravooxranenija i cennostnye konflikty professionalizma [Reform of the Russian Public Health System and the Value Conflicts of Professionalism]. *The Journal of Social Policy Studies*, vol. 13, no 4, pp. 611–626.
- Noordegraaf M. (2015) Hybrid Professionalism and Beyond: (New) Forms of Public Professionalism in Changing Organizational and Societal Contexts. *Journal of Professions and Organization*, vol. 2, no 2, pp. 187–206.
- Noordegraaf M. (2020) Protective or Connective Professionalism? How Connected Professionals Can (Still) Act as Autonomous and Authoritative Experts. *Journal of Professions and Organization*, vol. 7, no 2, pp. 205–223.
- Parsons T. (2015) Professii i social'naja struktura [The Professions and Social Structure]. *Social and Humanitarian Sciences: Domestic and Foreign literature. Ser. 11: Sociology*, no 4, pp. 153–170.
- Prottas J. M. (1978) The Power of the Street-Level Bureaucrat in Public Service Bureaucracies. *Urban Affairs Quarterly*, vol. 13, no 3, pp. 285–312.
- Ritzer G. (1975) Professionalization, Bureaucratization and Rationalization: The views of Max Weber. *Social Forces*, vol. 53, no 4, pp. 627–634.
- Ritzer G., Walczak D. (1988) Rationalization and the Deprofessionalization of Physicians. *Social forces*, vol. 67, no 1, pp. 1–22.
- Romanov P. V., Yarskaya-Smirnova E. R. (2009) Rossijskij i evropejskij podhody k issledovaniju professij — sblizhenie perspektiv [The Russian and the European Approaches to the Study of Professions — A Convergence of Perspectives]. *Professional'nye gruppy: dinamika i transformacija* [Professional Groups: Dynamics and Transformation] (ed. V. A. Mansurov), Moscow: RAS Institute of Sociology Publishing House, pp. 59–93.
- Romanov P. V., Yarskaya-Smirnova E. R. (2015) *Sociologija professij: analiticheskie perspektivy i metodologija issledovanij* [Sociology of Professions: Analytical Perspectives and Research Methodology], Moscow: Variant, pp. 117–201.
- Sadykov R. A. (2013) Praktiki i perspektivy professionalizacii gomeopatii v Rossii [Practices and Prospects for the Professionalization of Homeopathy in Russia]. *Professii social'nogo gosudarstva* [Professions of the Welfare State] (eds. E. R. Yarskaya-Smirnova, P. V. Romanov), Moscow: Variant, CSPGI, pp. 116–136.
- Saks M. (2020) Neoveberianstvo i professii [Neo-Weberianism and the Professions]. *Sociological Studies*, no 6, pp. 28–41.
- Saks M., Alsop J. (2003) Sociologija professij: gosudarstvo, medicina i rynek v Velikobritanii [Sociology of the Professions: State, Medicine and the Market in Great Britain]. *Professional'nye gruppy intelligencii* [Professional Groups of the Intelligentsia] (ed. V. A. Mansurov), Moscow: RAS Institute of Sociology Publishing House, pp. 36–57.
- Schimank U. (2015) 'New Public Management' as De-professionalization — Conceptual Reflections with Some Applications to School Teachers. *Restructuring Welfare Governance—Marketization, Managerialism and Welfare State Professionalism* (ed. T. Klenk), Cheltenham: Edward Elgar, pp. 183–199.
- Sena B. (2017) Professionalization without Autonomy: The Italian Case of Building the Nursing Profession. *Professions and Professionalism*, vol. 7, no 3, pp. 1–14.
- Serebrennikov D. E. (2023) Ot zvonka do kartochki: v poiskah diskrecii u operatorov sluzhby edinogo nomera "112" [From Call to Emergency Card: Looking for Discretion of "112" Operators]. *Forum for Anthropology and Culture*, no 59, pp. 130–152.
- Timmermans S. (2008) Professions and Their Work: Do Market Shelters Protect Professional Interests? *Work and Occupations*, vol. 35, no 2, pp. 164–188.
- Tkach O. A. (2011) Professionalizatsiia domashnei uborki: ocherchivaia frontiry [Professionalization of Home Cleaning: Outlining Frontiers]. *Antropologiya professii, ili Postoronnim vkhod razreshen*

- [Anthropology of Profession, or Unauthorized Entry is Permitted] (eds. E. R. Yarskaya-Smirnova, P. V. Romanov), Moscow: Variant, CSPGI, pp. 304–333.
- Toren N. (1975) Deprofessionalization and Its Sources. A Preliminary Analysis. *Sociology of Work and Occupations*, Vol. 2, no 4, pp. 323–337.
- Trappenburg M., van Beek G. (2019) 'My Profession is Gone': How Social Workers Experience Deprofessionalization in the Netherlands. *European Journal of Social Work*, vol. 22, no 4, pp. 676–689.
- Weber M. (2016) *Hozhajstvo i obshchestvo: ocherki ponimajushhej sociologii T. I. Sociologija* [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Vol. 1: Sociology], Moscow: HSE, pp. 252–333.
- Weber M. (2019) *Hozhajstvo i obshchestvo: ocherki ponimajushhej sociologii T. IV. Sociologija* [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Vol. 4: Sociology], Moscow: HSE, pp. 17–72.
- Wilensky H. L. (1964) The Professionalization of Everyone? *American Journal of Sociology*, vol. 70, no 2, pp. 137–158.

Сложный городской конфликт: концептуальные основания анализа и эмпирическое описание*

Ирина Скалабан

Доктор социологических наук, профессор кафедры социальной работы и социальной антропологии,
научный руководитель Лаборатории городских исследований Институт социальных технологий
Новосибирский государственный технический университет
Адрес: проспект Карла Маркса, 20, Новосибирск, 630073 Российская Федерация
E-mail: skalaban@corp.nstu.ru

Юрий Лобанов

Кандидат философских наук, научный сотрудник Лаборатории городских исследований
Институт социальных технологий Новосибирского государственного технического университета
Адрес: проспект Карла Маркса, 20, Новосибирск, 630073 Российская Федерация
E-mail: lobanov-y@mail.ru

Усложнение общества неизменно влечет за собой и усложнение социальных конфликтов. Город не только представляет собой пространство их презентации, но и сам конструирует конфликты. Их часто принято рассматривать как линейные дуальные взаимодействия. В настоящей статье с опорой на теории Л. Тевено и Л. Болтански, Б. Латура, Н. Флигстина и Д. Макадама мы пытаемся найти теоретико-методологические и эмпирические основания идентификации и анализа такого феномена, как сложный городской конфликт. Эмпирический и теоретический анализы позволили выделить его признаки: множественность элементов, связанность с другими конфликтами, устойчивость протекания и структурная подвижность (способность к трансформации). Информационную базу исследования составили кейсы Геоинформационной базы данных конфликтов Новосибирской агломерации и материалы более 60 полуструктурированных интервью с участниками городских конфликтов. Объектом эмпирического анализа стала группа конфликтов с характеристиками, релевантными выделенным признакам. Отмечено, что городские конфликты становятся пространством взаимодействий все большего числа связанных между собой акторов, разворачиваются одновременно на разных полях стратегического действия и в разных логиках обоснования справедливости. Сложные конфликты содержат не менее трех из выделенных признаков, являются реакцией на появление значимого ресурса, проявляют себя в умении акторов создавать информационный резонанс, наращивать связи и находить новых союзников за счет конструирования новых смыслов и дополнительных повесток; в них вовлечены акторы, уже имеющие опыт неоднократного участия в городских конфликтах.

Ключевые слова: городской конфликт, сложность, связанность, поля стратегического действия, триггер, медийный резонанс, актор городских отношений

Сложное общество продуцирует сложный конфликт

Апелляция к нарастающей сложности современного социума стала, пожалуй, общим местом в работах в области наук, производящих социальное знание. Нелинейность и недетерминированность, неопределенность и гиперреальность,

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-01352, <https://rscf.ru/project/24-28-01352/>

открытость, многовариантность, альтернативность и гибридность, рискогенность и непредсказуемость — вот лишь небольшой набор характеристик и свойств, через которые определяется современная сложность. За многими из них стоит своя теоретическая рамка, позволяющая высветить тот или иной аспект все ускоряющихся социальных изменений.

Характеризуя современность, Алан Турен писал: сложное общество все больше «производится» и, стало быть, меньше воспроизводится, чем менее сложное общество. Этот процесс «производства» создает дополнительные элементы и смыслы возникновения новой субъектности — «расширения воздействия общества на самого себя» (Турен, 1998: 45). Если ранние эволюционные теории определяли усложнение социума через дифференциацию социальных структур и функций, то осмысление его современного состояния требует куда более «тонкого понимания исторических, географических, пространственных и структурных сложностей» (Moser, McIlwaine, 2014).

Современное общество сложно структурировано и конфликт — его естественная и функциональная составляющая. Как заметил Турен, «в сложном обществе не перестает расширяться область общественных отношений и конфликтов» (Турен, 1998: 45). Их источники множественны. Это «конгломерат противоречивых отношений между разными слоями населения, секторами экономики и общества», рождающий сложносоставные конфликты (Никовская, 2009: 84), или «дефицит институционального потенциала и политической легитимности», провоцирующий в хрупких средах сложные насильственные конфликты (Lamb, Gregg, 2018: 1).

В альтернативных постмодернизму теориях фокус направлен не только на процессы конфликтогенерирования, но и конфликторегулирования. Запрос на взаимодействие, разрешение ситуаций с конфликтующими притязаниями актуализирует внимание к справедливости как критерию оценки действий регулирующих и контролирующих институтов (Харви, 2018).

Усложнение конфликтов носит поступательный характер. В индустриальных обществах конфликт скорее носит бинарный характер (война/мир) (Frank, 2018), и уходит корнями в противоречия труда и капитала. Современный же «центральный» конфликт в терминах социологии действия разворачивается между «хозяевами» культурных моделей и зависимыми, которые хотят освободиться от влияния хозяев, но при этом сохранить саму культурную модель (Турен, 1998). Конфликт актуализирован не только в сферах перераспределения, потребления, но и, к примеру, в городском пространстве (Leonardi, 2023), что создает новые многогранные ландшафты конфликтности с сильными культурными измерениями (Wieviorka, 2013: 704) и делает конфликт более управляемым, а его акторов — более зависимыми от «правил игры» и их ценностных оснований. Например, акцент на значимости в конфликтных коммуникациях мировоззрения отдельных агентов провоцирует крен от нормативных рамок его протекания в сторону морализации и поляризации позиций (Kühne, 2020), создавая тем самым возможность актору клеймить противника как нелегитимного (Leonardi, 2023).

Если в период модерна неизменными признаками конфликта были: единство социального, физического пространств, единство времени его протекания и автономия вовлеченных агентов, то сегодня все три характеристики претерпели существенные изменения (Wieviorka, 2013: 700; Leonardi, 2023: 40–41). Единство социального пространства слабо работает при ценностных, религиозных и этнических конфликтах, где акторами становятся образования, которые не являются в строгом смысле социальными (Leonardi, 2023: 34). Перемещение конфликта в Сеть лишило его единства физического пространства и времени, возникли трудности в определении противника и ответственного субъекта. При этом стали возникать связи между конфликтными группами, разделяющими одну и ту же проблему в географически разных регионах. Акторами конфликтов все чаще становятся слабо формализуемые группы, сообщества с новыми или модернизированными адекватно ситуациям практиками социального и гражданского участия (Скалабан, Никовская, 2018; Ревнауа, 2024). Старые структуры коллективных действий распадаются на локальные, групповые и индивидуальные. Появляются новые гибридные альянсы, например, «интернет-СМИ — читатели», «силовая структура — сетевое сообщество». Наблюдается большая устойчивость временно возникающих сообществ, их быстрая мобилизация в ситуациях риска неблагоприятных изменений (Скалабан, Лобанов, Сергеева, 2022). Требования их участников, «чтобы с ними считались как с личностями ...», стали намного более очевидными, чем в прошлом; они хотят сделать выбор в пользу участия на их собственных условиях и возможности уйти, когда они захотят» (Leonardi, 2023: 35). Проблемы возникают и с определением в конфликтах причинно-следственных связей, поскольку в сложных динамических системах причины часто бывают отделены от событий-триггеров («симптомов») во времени и пространстве.

Одно остается неизменным: так же, как и в эпоху модерна, роль конфликта в современном обществе интерпретируется исследователями в широком диапазоне: от маркера наступающих кризисов и угроз до механизма трансформации институциональных систем и достижения устойчивости. Однако все большая амбивалентность социальных отношений вынуждает искать потенциал в тех конфликтах, в которых он ранее отрицался. Даже конфликт с экстремальным насилием может интерпретироваться сегодня как совместное признание проблем. Он не препятствует сосуществованию между субъектами молчаливых форм согласия и упорядоченной конкуренции в стремлении к контролю над ресурсом (Wieviorka, 2013: 699). Естественное и перманентное присутствие конфликта в современном социуме обозначил М. Кастельс: «Конфликты никогда не заканчиваются; они просто приостанавливаются с помощью временных соглашений и нестабильных контрактов, которые трансформируются в институты доминирования теми социальными акторами, кто достиг выгодной позиции в борьбе за власть, даже ценой допущения некоторой степени институционального представительства множества интересов и ценностей, которые остаются отодвинутыми на второй план» (Кастельс, 2016: 59).

Описанное выше изменение характера современного социального конфликта ставит проблему изучения его сложности как самостоятельную исследовательскую задачу. В настоящее время в общественных науках сложность как комплексная характеристика конфликта концептуально более проработана в изучении открытых насильственных конфликтов макроуровня. Саму возможность ее исследования специалисты связывают с возросшей доступностью компьютеризированных наборов данных о конфликтах в социальных науках (Johnson, 2008: 304). Однако они же отмечают недооцененность и важность теоретизации сложных конфликтов на субнациональном уровне, где наблюдается их наибольшая непрозрачность (Lamb, Gregg, 2018).

Возникают закономерные вопросы: какие параметры конфликта могут стать маркерами его сложности? Какие факторы способны влиять на формирование сложного конфликта?

Если структурировать признаки социального конфликта, которые чаще остальных связываются в современных исследованиях с его сложностью, то выстраивается следующий список.

Множественность конфликтов, включая *многосубъектность*, «*многопартийность*» акторов (Болтански, Тевено, 2013; Тыканова, Хохлова, 2023), действующих на разных уровнях властных и социальных отношений, а также нарастающая *множественность коммуникаций и предметов* в конфликтах. Сложность приобретает конфликт, преодолевший дуальность субъектов. В него вовлечены многообразные самостоятельные акторы или коалиции, действующие на разных иерархических уровнях с часто неопределенными, изменчивыми или неявными мотивами, обоснованиями и целями.

Конфликты с большим количеством участников длятся дольше, действия в них жестче, и их труднее разрешить (Cunningham, Bakke, Seymour, 2016). Дополнительный фактор сложности — способность акторов адаптироваться к ситуации конфликта и воспроизводить уже сложившиеся ранее связи (Kadowaki, 2019; Скалабан, Лобанов, Сергеева, 2022). Это порождает *устойчивость и онтологическую самостоятельность* элементов конфликта и требует *разнообразия тактик и концентрации* в конфликте акторов и ресурсов по социальным или пространственным основаниям.

Связанность: установление многообразных *зависимостей, связей, сетей*, как между конфликтами и их акторами, так и между элементами конфликта, с усугублением внутренней сложности и возможной асинхронизации их протекания на локальном и городском уровне (Kühne, 2020). Формируются союзы и коалиции, выстраиваются сложные властные отношения. Усложнение связей трансформирует конфликт в длинную серию часто перекрывающихся эпизодов (Trudelle, Klein, Fontan, Tremblay, 2015; Salverda, 2017). Интенсивность и семантическая сложность конфликтных коммуникаций стимулируется апелляцией к разным принципам согласия (Болтански, Тевено, 2013), спорным и противоречивым нормам, возникают риски передоговаривания и отказов от договоренностей.

Структурная подвижность: взаимовлияние и подвижность элементов внутри конфликта, подвижность значений и силы (Латур, 2014: 151), связей и границ конфликта (Pelletier, Trudelle, 2016), изменение соотношения симметрии/асимметрии внутри конфликтной системы: во власти, легитимности, уровнях насилия (Lamb, Gregg, 2018); временных границ его эпизодов (Желнина, Семенов, Тыканова, 2022), дихотомичность функционального потенциала осуществляемых действий: обострения и ослабления конфликта (Pelletier, Trudelle, 2016). Все это содействует легкости перетекания конфликта из одной сферы отношений в другую, установлению связей, формированию многообразных режимов вовлеченности (Болтански, Тевено, 2013).

Город и сложный городской конфликт

Одним из уровней, где сегодня проявляют себя выделенные признаки сложного конфликта, является крупный город. Анализ конфликтных процессов в пространстве города позволит «заземлить» проблему сложности современного конфликта и конкретизировать ее.

Город как специфическая общественная подсистема априори сложен. Социально-пространственная дифференциация и одновременно сопряженность элементов, функций города и пригородных пространств порождают и поддерживают социальное и пространственное неравенство и сегрегацию, порождают конфликты. Крупный город принципиально несводим к одной или нескольким функциям (Слука, 2008). Он не может быть ареной действия только одного или немногих типов акторов, которые усиливают друг друга и конкурируют между собой. Поэтому в таком городе априори отсутствует однозначный набор сценариев развития событий, вокруг которых выстраиваются связи, (пере)определяются интересы и предпочтения субъектов городских отношений (Семенов, 2022). Город меняется. Усложняются городские сообщества (Соколов, Абрамовский, 2022) и городские политические процессы разной степени институционализированности (Кольба, Орфаниди, 2022). Вместе с ними усложняются конфигурации, взаимодействия и альянсы акторов в городских конфликтах (Тыканова, Хохлова, 2023; Тыканова, Шевцова, Желнина, 2024).

Таким образом, город многосубъектен, и в этом его фундаментальное общее благо. Многообразие и множественность слабо упорядоченных и сложно взаимосвязанных акторов в условиях непрерывных изменений генерируют конфликты и усложняют их. Если в иных диспозитивах (предприятие, деревня, семья) есть шанс прийти хотя бы к временному соглашению о том, логика какого мира справедливости в конфликте является определяющей, и достичь компромисса, то в городе такая операция затруднена. Город существует в ситуации наложения разных миров, и доминирование одного из них приводит к упадку других, что нарушает баланс городской жизни. В силу концентрации разнообразных акторов и дефицита ресурсов в одном и том же физическом пространстве город вынужден откры-

вать одновременный доступ к ним для носителей разных групп интересов. Так, тротуар как общий ресурс не может принадлежать только пешеходам, только велосипедистам или любителям самокатов — жесткие ограничения могли бы парализовать важные для города функции мобильности и городской торговли, в частности, курьерской доставки и кикшеринга. Город содержит в себе множество зон индивидуального и коллективного присвоенного пространства и непосредственного контроля, здесь множество «моих задних дворов» на неопределенной границе публичного и приватного, которые не могут полностью контролировать органы власти. Городская жизнь может быть формально отрегулирована лишь в определенных ситуациях — в остальных город вынужден полагаться на то, что акторы сами договорятся и установят приемлемые для всех режимы использования общих ресурсов, неформальные нормы и практики, которые часто могут быть оспорены.

Необходимо различать город как пространство развертывания конфликта и город как источник конфликта. Последний возникает между пользователями городом и содержит городскую или локальную повестку¹. Метко это различие обозначили Дж. Хамфрис и Д. Уолмсли: конфликты квалифицируются как городские не потому, что они происходят в городе, а потому, что они касаются города (Humphreys, Walmsley, 1991). Выделяют несколько ключевых признаков городского конфликта: их темой является городская среда (Villeneuve, Trudelle, Pelletier, Thériault, 2009), а участники — акторы, действующие в рамках городского сообщества, иначе говоря, «пользователи» города (Медведев, 2017). Их цель — оспаривание изменений физических или символических аспектов городского пространства (Желнина, Семенов, Тыканова, 2022). Такие конфликты должны быть достаточно масштабны, чтобы оправдать участие действующих лиц независимо от используемых способов действий (обсуждение, переговоры, угрозы, демонстрация, судебный иск и т.д.) и стать предметами общественных дебатов горожан (Oliver, Myers, 1999). Иными словами, такие конфликты должны быть публичными, поскольку «без оспаривания образов, созданных и брошенных в публичное пространство теми, кто обладает властью, индивидуальные сознания не могут воссоздать новое общественное сознание» (Кастельс, 2016: 360). Они могут возникать в публичной сфере или «прорываться» в нее для привлечения внимания к проблеме, конфликтной мобилизации, публичного давления на оппонентов. Поэтому манифестируя конфликт, их инициаторы апеллируют к некоему не всегда четко очерченному, сложно идентифицируемому городскому сообществу, публичная реакция которого во многом и делает конфликт городским.

Однако для того, чтобы осмыслить конфликтные процессы в городской среде, необходим анализ всего поля городской конфликтности, в то время как сегодня

1. **Повестка конфликта** — перечень заявляемых *акторами* проблем. В слабо организованных и эмоциональных по своему характеру конфликтах их четкие формулировки могут отсутствовать, проявляясь отчасти в лозунгах, требованиях *акторов*. URL: <https://conflictsnsk.ru/site/page?name=method> (дата обращения: 01.07.2024)

интерес исследователей можно определить скорее как «урбанистический». Такой фокус концентрирует внимание на конфликтах градостроительства, землеустройства, городского планирования, экологии. Это важно, но за рамками исследований часто остаются связи между конфликтами, к примеру, инвестиционными и символическими, конфликтами благоустройства и этническими конфликтами, конфликтами ЖКХ и безопасности, что мешает оценить их предметные границы, понять логику перехода акторов из одного конфликта в другой, феномен формирования локальных и городских конфликтных сетей, конфликтных сообществ.

Сложность большого города гипотетически усложняет и его конфликты, поэтому их анализ требует специальных исследовательских инструментов и особых методологических подходов, которым мы посвящаем следующую часть этой статьи. Это шаг в направлении теоретического и эмпирического анализа феномена «сложный городской конфликт». Опираясь на выделенные признаки, мы попытаемся обозначить хотя бы крупными мазками характеристики сложного городского конфликта и проблематизировать некоторые его стороны. Однако в силу многоаспектности и сложности самого феномена мы обозначим в этой работе лишь общие контуры намечающейся концепции, раскрывая специфику проявления его признаков в серии будущих статей.

Методология, эмпирический объект и методы исследования

Концептуализация феномена «сложный городской конфликт» для авторов статьи есть не столько стремление к теоретизации, сколько вынужденный способ осмысления накопленного массива данных и множества возникающих в связи с ним вопросов.

Что удерживает ряд конфликтов в публичной повестке города длительное время и позволяет им легко перетекать из одной сферы в другую или расширять их? Почему одни конфликты приобретают общественный резонанс и становятся «градоустроительными», а другие нет, хотя они сопоставимы по масштабам и повестке? Ответы на эти вопросы трудно начать искать, если мы не согласимся с тезисом, что многообразие, связанность и способность к самовоспроизводству части городских конфликтов наделяют их дополнительным потенциалом влияния на городскую политику, сообщества и изменение городской среды.

Мы ориентируемся на совокупность теоретических подходов, способных очертить и интерпретировать сложный городской конфликт. Мы предполагаем оценить изменения в его важных составляющих — пространствах, структурах, действиях и смыслах через выделенные выше параметры сложности — множественность, связанность, устойчивость и подвижность. Перспективной методологической основой для изучения социальной сложности может стать социологический институционализм, сформировавшийся под влиянием критической (особенно П. Бурдьё) и неинституциональной парадигм. Сквозь его оптики сложность видится следствием противоречий между множеством трудно согласуемых

ценностных, когнитивных и институциональных систем, социальных порядков, миров, полей и режимов взаимодействий. Для осмысления этих противоречий особый интерес представляет прагматический подход в социологии (Л. Тевено, Л. Болтански, Б. Латур) с присущим ему вниманием к множественности миров справедливостей, понимания блага, компромиссам и конвенциям, взаимоотношениям между согласием (accord) и разногласием (discorde) (Болтански, Тевено, 2013: 57), акторам, сетям и связям.

Выбранная теоретическая рамка закладывает представление о конфликте как социально и пространственно сложном явлении — он одновременно реализуется в *«реальности, конструирование которой во многом является работой институций, и мире, охватывающем все, что случается»* (Хархордин, Болтански, 2020: 77). Еще один аргумент в пользу прагматического подхода — фокус на анализе ситуаций. Они состоят не только из акторов конфликта (персоны, сообщества, организации), но и объектов («вещи», реальности, в версии Б. Латура — актанты), вокруг которых разворачивается спор, а также из связей между конфликтами и их элементами. Изучение города больше, чем любое другое направление исследований, предполагает анализ «ансамблей людей и вещей», так как для большей части городских отношений в ситуациях конфликта имеет значение физическое пространство и свойственный ему материальный субстрат. В нашем исследовании к «вещам» относятся и объекты конфликтов на карте города и их характеристики, конфликтные эпизоды-события, проекты-триггеры, провоцирующие конфликт, объем и характер инвестиций в проект и в конфликт и так далее.

В соответствии с логикой Тевено и Болтански, сложно структурированное общество (*societe complexe*) характеризует множественность общих принципов, которые образуют внутренне связанные самодостаточные «миры», что делает проблематичным достижение согласия (Болтански, Тевено, 2013: 306). Согласие как общее благо всегда находится в ситуации оспаривания и конфликта, подвергается испытанию на прочность через различные способы обоснования справедливости. Справедливо обоснованный порядок зависит от большей или меньшей способности людей придавать ценность объектам, соотносимым ими с тем или иным высшим общим принципом. Для справедливого обоснования ситуации необходимо, чтобы каждый человек и каждый объект, вовлеченный в нее, был связан между собой в соответствии с каким-либо общим высшим принципом. Нарушение соответствия будет расценено как несправедливость или дисфункция. Это может быть результат неправильного поведения людей, неправильного соотношения между людьми и вещами, между общим и частным, между разными формами понимания общего (Болтански, Тевено, 2013: 80–81), что, собственно, и создает ситуации конфликта.

Но что способствует усложнению конфликта? С позиций Болтански и Тевено, ситуации могут дифференцироваться на более и менее сложные. Особенно часто подвергаются критике и оспариванию *неясные, нечеткие ситуации*, в которых в распоряжении людей оказываются вещи, относящиеся к различным мирам (Бол-

тански, Тевено, 2013: 347). Именно в таких случаях хрупкость достигаемых компромиссов между носителями разных миров чаще возвращает людей к оспариванию, что только удлинняет и затягивает течение сложных конфликтов. Поэтому члены сложного (*complexe*) общества должны обладать необходимой компетенцией для определения природы ситуации (Болтански, Тевено, 2013: 332). Важно, что такой подход создает потенциал для выделения сложных ситуаций за счет возможности при анализе единичной ситуации выделить разные смысловые пласты конфликта, учитывая стремление актора затушевывать обстоятельства личного характера и придавать ситуации общее значение (Там же: 28) с потенциалом масштабирования конфликта.

Для исследования города важно учитывать не только принципы и риторики оправдания справедливости акторов, но и структурные условия действий акторов: правила игры, положение актора в сложившихся социальных отношениях, его связи, динамику и характер изменений среды. Поэтому предложенная логика анализа сложно структурированных и связанных конфликтов требует обращения к иным методологически близким оптикам. Сложные ситуации конфликтов, помимо анализа ситуации нарушения соответствия и апелляции к принципам справедливости, то есть «столкновения принципов с обстоятельствами, с реальностью» (Там же: 205), требуют уточнения этой реальности за рамками справедливости, что требует уделить внимание обстоятельствам и рациональным аспектам действий в конфликтах, характеру распределения власти, всему тому многоаспектному социальному и пространственному контексту, который создает арену сложного конфликта в городе.

Дополнительные возможности для анализа сложного конфликта мы видим в теории полей стратегического действия Н. Флигстина и Д. Макадама. Поле — социальный порядок мезоуровня, где индивидуальные и коллективные акторы с разным объемом ресурсов, включая доминирующих игроков и претендентов, в силу своих интересов, понимания правил и распределения власти борются за более выгодное положение (Флигстин, Макадам, 2022). Ситуация конфликта — шанс актора запустить процесс изменения своего положения в поле. Важно, что поле стратегического действия никогда не бывает полностью изолировано от других полей, и изменения в одном поле могут повлиять на положение акторов в других полях, что открывает возможности для анализа конфликта, расположенного одновременно в разных сопряженных полях городского действия.

Обращение к описанным теоретическим рамкам не ново. Одним из первых в России к логике Л. Болтански и Л. Тевено обратился Б. С. Гладарев (Гладарев, 2011) при анализе градозащитных эпизодов в Санкт-Петербурге. Она же использовалась петербургскими социологами, изучающими городские конфликты (Туканова, Khokhlova, 2016), как и теории полей стратегических действий (Желнина, Семенов, Тыканова, 2022).

Многоаспектный анализ сложного конфликта необходимо поддержать и соответствующим массивом данных. Эмпирическим объектом исследования стали

конфликты последних 14 лет Новосибирской агломерации ($N = 2\,084,4$ тыс.) — крупнейшего муниципального образования России. Новосибирск, в отличие от многих других крупных городов России, не имеет четкой экономической специализации, а значит, и ограниченного числа доминирующих игроков, и десятилетия живет в условиях ярко выраженной конкуренции элит, поэтому городские конфликты Новосибирска генерируются проектами разных экономических и социальных сфер. Ситуации конфликтов последних 14 лет собраны в Геоинформационной базе данных конфликтов Новосибирской агломерации (<https://conflictsnsk.ru>) (далее — ГБД). Ее наполнение осуществляется с помощью геокодирования всех медийно зафиксированных случаев городских конфликтов по более чем 30 параметрам (Скалабан, 2021). На момент подготовки статьи база содержала кейсы по 550 конфликтам, 1242 составляющих их событиям, включала медиаданные по 2524 акторам конфликта, включая 81 сообщество.

Конфигурация базы позволяет фиксировать публичную сторону конфликта и ключевых игроков, опираясь на несколько надежных медиаисточников, что несколько понижает интерпретативное влияние позиции СМИ. Непубличные аспекты ключевых городских конфликтов выделяются отчасти контекстуально, отчасти используя материалы более чем 60 полуструктурированных интервью с участниками конфликтов, экспертами.

Для настоящего этапа исследования были отобраны 12 конфликтов с гипотетически сложной структурой взаимодействия. Использовались показатели: число акторов конфликта; присутствие в них акторов-персон с большим опытом участия в конфликтах; длительность протекания конфликта; множественность и разнообразие конфликтных повесток; размер бюджета проекта-триггера (если таковой имелся); уровень резонанса конфликта в СМИ; устойчивость сформировавшихся или вовлеченных конфликтных сообществ. Количество сложных конфликтов в базе этими кейсами не ограничивается, но отобранные случаи представляются показательными. Дополнительным основанием отбора стали данные интервью, в которых информанты упоминали рассматриваемые кейсы как проблемные конфликты с участием скрытых игроков, значимые для баланса интересов городских элит, сложные для урегулирования и внутренне противоречивые.

Мы предположили, что конфликт может оказаться сложным, если его три и более показателя значений существенно отклоняются от средних для базы данных. Особый интерес для нас представляло сравнение отобранных конфликтов с конфликтами, бюджет проекта-триггера которых превышал 1 млрд рублей, но по признакам соответствовавших скорее «простым» конфликтам. Их признаки: строятся вокруг дуального противостояния акторов, ограниченная повестка с однозначно интерпретируемыми смыслами разногласий, ограниченный репертуар действий акторов.

Интервальные и модальные значения показателей использовались в случаях, когда абсолютные значения были незначимы, а фиксация точных данных затруднительна. Диапазон интервалов определялся эмпирически. Например, в анали-

зируемых конфликтах, вызванных проектами изменений, бюджеты проектов-триггеров варьируются в диапазоне от 157 млн руб. (К8) до 40,9 млрд руб. (К5) (см. список отобранных конфликтов в табл. 1). Однако интервью с участниками показали, что для них значима не точная сумма бюджета проекта-триггера, а ее символическое значение, свидетельствующее о том, какому проекту противостоят горожане: «*большому*» или «*малому*», «*дешевому*» или «*дорогому*». Психологически значимый рубеж в один миллиард рублей часто упоминался информантами как признак «дорогого» проекта. Определение интервальных значений показателя «число публикаций» объясняется тем, что оно может меняться даже на постконфликтном этапе.

Сложные конфликты Новосибирска: общая характеристика

Список кейсов городских конфликтов, имеющих признаки сложности (табл. 1), включает в себя резонансные локальные конфликты (8) и конфликты с общегородской повесткой (4). Более чем наполовину он состоит из конфликтов, вызванных запуском коммерческих и государственных инвестиционных проектов с перспективой инфраструктурных изменений в «присвоенных» жителями пространствах (7), часто на территориях парков и городских лесов. Еще часть — конфликты, вызванные угрозой институциональных изменений, способных повлиять на качество жизни горожанина (4) и символический конфликт — противостояние двух гражданских групп горожан, отстаивающих свои ценности (1).

Анализ показал, что очевидная для большинства конфликтов дифференциация по триггерам (инвестиционный, нормативный, институциональный, ценностный/символический) (Скалабан, Лобанов, Сергеева, Волченко, 2023) в группе «сложных» конфликтов размывается, а триггеры становятся множественными. Например, конфликт, вызванный запретом исполнения оперы «Тангейзер», был манифестирован как конфликт «*прав*»: права на свободу творчества и права на защиту чувств верующих. Однако он возник накануне реализации большой и финансово емкой программы ремонта театра, что обусловило участие нетипичных акторов и активные действия власти по его нейтрализации. В свою очередь, конфликт вокруг проектов развития территории исторически значимого Военного городка, инициированный в 2014 году, не урегулирован по настоящее время, что тесно связано с возможностью использования всей или части его территории под новые крупные девелоперские проекты.

Опишем характеристики сложных конфликтов, опираясь на параметры, заложенные в таблице 1. Отобранные «сложные» конфликты в среднем существенно длительнее по времени протекания, чем «простые» конфликты, бюджет проекта-триггера которых превышает один миллиард рублей. В них происходит примерно в два раза больше событий, более высок уровень вовлечения городских или локальных сообществ (в 2,8 раза) и манифестируется более двух повесток на один конфликт.

Таблица 1. Общие характеристики городских конфликтов, обладающих признаками сложности

№	Конфликты, год манифестации	Длительность протекания (годы)	Бюджет проекта-триггера (млрд руб.) ²	Уровень резонанса (число публикаций)	Число персон, упоминаемых в СМИ	Кол-во персон с множественным участием в конфликтах	Число повесток	Кол-во событий в конфликте	Число сообществ, шт.
K1	Строительство гостиницы на территории Нарымского сквера (2014)	3	≤ 1	≤ 150	5	3	2	5	2
K2	Военный городок: концепция трансформации и угроза застройки (2014)	10	≤ 1	≥ 50	11	5	5	14	2
K3	Православные активисты против оперы «Тангейзер» (2015)	0,3	—	≤ 150	12	3	2	11	4
K4	Снос под жилую застройку Дома спорта и клуба «Отдых» на ул. Б. Хмельницкого (2016)	1	0,1–0,5	50–100	6	3	2	4	2
K5	Концессионное соглашение и строительство четвертого моста через р. Обь (2016)	5	≤ 1	≤ 150	15	13	4	6	2
K6	Против повышения цен на ЖКХ (2016)	0,4	≤ 1	≤ 150	15	15	2	7	0
K7	Задолженность компании «Дискус» перед мэрией (2016)	6	0,1–0,5	≤ 150	11	6	2	9	0
K8	Быть ли улице Ленина пешеходной? (2017)	2	0,1–0,5	≤ 150	5	8	5	4	4

2. Показатели — размер бюджета и уровень резонанса в СМИ — представляют собой интервальные значения.

K9	Хилокский треугольник: рынок, мусорный полигон, кладбище (2020)	4	≤ 1	≤ 150	10	3	5	25	2
K10	За и против КРТ в Академгородке (2021)	1	≤ 1	≥ 50	6	3	3	5	0
K11	Новый корпус НГУ на территории леса (2013)	10	≤ 1	≤ 150	5,5	1	2	6	1
K12	Жилой комплекс на месте «Универсама» (2020)	1	≤ 1	50–100	17	4	1	15	1
	Среднее значение для отобранных конфликтов	3,6	≤ 1 (модальное значение)	≤ 150 (модальное значение)	9	5,6	2,5	9,25	1,6
	Среднее значение по конфликтам ГДБ с бюджетом свыше 1 млрд руб., без учета отобранных конфликтов	1,75	≤ 1 (модальное значение)	50–100 (модальное значение)	4,6	1,75	1,75	3,3	0,4

Одним из рельефных маркеров трансформации городского конфликта в его сложную версию является размер бюджета инвестиционных проектов, инициирующих конфликт. Почти все конфликты, определяемые как сложные, оказались «дорогими»³. Однако это не значит, что проект с высоким бюджетом непременно запускает сложный конфликт. Выше отмечалось, что среди конфликтов с бюджетом проекта-триггера более 1 млрд рублей в ГБД нами были выделены 12 конфликтов, которые не содержат совокупные признаки сложности, несмотря на актуальную для горожан повестку и масштаб грядущих изменений. Например, публичная манифестация проблемы перехода новосибирских ТЭЦ на предположительно менее экологически безопасный бурый уголь (2018 г.), инициированная общественниками, НКО, депутатами муниципального и регионального уровней, СМИ, не вызвала широкого общественного резонанса, несмотря на солидный бюджет проекта. Созданная петиция собрала всего 914 голосов. Несмотря на периодическое возвращение к теме в медиа и новую петицию в 2021 году (500 голосов), мобилизации в конфликт горожан не произошло⁴. Возможно, дело не только в раз-

3. Впрочем, фактор высокой стоимости не всегда проявляется в явном виде. В ряде конфликтов потери могут присутствовать опосредованно в виде рисков потери ценного объекта, потенциального бюджета, доверия к инвестору, репутационных потерь отдельными элитными группами.

4. Целесообразно обратить внимание на соотношение двух параметров, требующих в перспективе осмысления: степени важности реализации крупного проекта для инвестора и уровня сопротивления

мере бюджета проекта-триггера, но и в потенциале его оспаривания как ресурса. Анализ кейсов позволяет предположить, что существуют ресурсы, которые трудно оспорить и перераспределить в силу их уникальности, значимости для города или силы позиции держателя ресурса. Например, собственник ТЭЦ всегда найдет способ обосновать целесообразность использования определенной марки угля, а федеральный оператор развития транспортной инфраструктуры всегда может сформулировать условия предоставления субсидии с прицелом на конкретный проект и подрядчика. Другое дело — перспективный участок для строительства крупного элитного жилого комплекса, который технически может быть освоен многими игроками строительного рынка.

Прямо или опосредованно финансово дорогой проект вызывает медийный резонанс, однако число публикаций в СМИ у «сложных» конфликтов оказалось приблизительно в два раза выше, чем у «простых» конфликтов с высоким бюджетом. Медийный резонанс выше, когда соблюдаются следующие условия: имеется общественный запрос на использование повестки и возможность тиражирования в других локациях.

Гипотеза для дальнейшего исследования состоит в том, что отмеченные параметры не только свидетельствуют о сложности конфликта, но и сами эту сложность задают. Умножение числа повесток не только делает конфликт сложным для урегулирования, но и позволяет присоединиться к нему новым акторам, носителям новых групп интересов и миров справедливости. Высокая мобилизация в типичный для города конфликт уплотнительной застройки на улице Б. Хмельницкого (К4) случилась благодаря гомогенному и устойчивому местному сообществу (работники двух крупных промышленных предприятий) и сформировавшейся вокруг депутата муниципального уровня Д. Прибаловца инициативной группе (трансформировавшейся в оборонительное сообщество) и нашла отклик в среде горожан. На этапе эскалации в конфликт включились городские краеведческое и архитектурное сообщества. Позиционируя свою активность как борьбу за сохранение исторического облика ценного архитектурного ансамбля части проспекта, они совместно с жителями смогли добиться получения для него охрannого статуса и защиты от дальнейшей застройки.

Усложнить конфликт может и расширение предметных, субъектных и пространственных границ конфликта или возникновение новых смыслов в отношении его предмета. В конфликте вокруг строительства Четвертого моста через Обь (К5) реализацию проекта пыталась не допустить коалиция городских активистов из разных сообществ. Сначала они обратились к риторике нерационального использования средств регионального бюджета, но это не позволяло вовлечь в конфликт широкие круги горожан, не воспринимавших эти средства как «свои». Тогда активисты сосредоточились на транспортных проблемах, которыми угрожала стройка, — апеллировали к возможному «транспортному коллапсу» в цен-

тре города в связи с непродуманными развязками и другими неудачными решениями по будущему распределению транспортных потоков. Этот довод нашел отклик в городских сетях и повлиял на формирование критического отношения горожан к проекту. Однако тема «городского бюджета» не является безнадежной для инициаторов конфликта, как и массовое участие «простых горожан» не всегда обязательно для победы, если речь идет о сложном конфликте. В конфликте вокруг долгов строительной компании «Дискус» перед городским бюджетом (К7) инициаторам удалось добиться от мэрии признания крупных долгов застройщика и запуска процесса их взыскания. Они перевели в публичную плоскость внутри-элитное противостояние (доминирующих игроков), вызванное нарушением баланса интересов, формальных и неформальных норм поведения в стратегическом поле городского строительства жилья из-за предоставления необоснованных предпочтений крупному застройщику со стороны мэрии. В конфликт были вовлечены компетентные акторы городских конфликтов — общественники, депутаты, представители силовых структур и бизнеса, что повлияло на конфигурацию и режимы взаимодействия в самом поле. В свою очередь, конфликт вокруг строительства Четвертого моста протекал на фоне относительного консенсуса элит и его инициаторы не смогли найти поддержку среди влиятельных политиков и предпринимателей, что ослабило их позиции в конфликте. Однако элитного консенсуса было недостаточно для разрешения сложного конфликта — затухание оказалось временным, и при появлении новых триггеров (затягивание сроков сдачи объекта и др.) инициаторы конфликта снова проявили себя, спровоцировав новый виток противостояния.

Новые предметы, связи между участниками разных конфликтов перспективны для вовлечения новых акторов, тем самым «прочерчивая сеть» (Латур, 2017: 192), конструируя сложную систему связей внутри и между конфликтами с нелинейно разворачивающимися сценариями, затрагивающими разные сферы городской жизни. Каждый параметр усложнения — это дополнительная возможность для появления в конфликте нового содержания, переноса в него новой информации и энергии развития его структур. Рассмотрим, как проявляют себя в городе отдельные свойства сложного конфликта.

Сложный городской конфликт: множественность и разнообразие

Среда города продуцирует множественные изменения, которые происходят «с различной скоростью в различных группах, территориях и социальных пространствах» (Кастельс, 2016: 360). Это множественность мест конфликта, предметов, ресурсов, акторов разных уровней властных отношений, действующих исходя из множественных справедливостей в разных режимах коммуникаций. Множественность выражается и в значительном количестве событий «сложных» конфликтов, превышающих более чем в полтора раза число событий «простых» конфликтов с высоким бюджетом. Это подтверждает отмеченную на основании

данных ГБД тенденцию последнего десятилетия — «удлинение» городских конфликтов, в том числе за счет увеличения числа событий. Длительность конфликта интерпретируется нами как признак его устойчивости — долгий срок протекания может свидетельствовать о том, что конфликт трудно разрешить в силу его связанности с другими конфликтами, многообразием интересов и типов акторов, сложной повесткой, высокой рыночной стоимостью оспариваемого ресурса, а также безальтернативности выбора процедурно неспешных, но легитимных бюрократических механизмов конфликторегулирования.

Множественность акторов обусловлена не только массовостью публичных действий, хотя и этот показатель имеет значение: два наиболее массовых конфликта последнего десятилетия г. Новосибирска (3,5–7 тыс. чел.) присутствуют в списке (К3, К6). Большую роль играет и многообразие субъектов городских отношений, прямо или опосредованно, открыто и скрыто присутствующих в конфликте. Предприниматели, депутаты, исполнительные органы власти разных уровней, общественники, сообщества принадлежности и интересов, локальные конфликтные группы, выступающие от имени территориальных сообществ и т.д. Чем больше отличаются их интересы, режимы справедливости, к которым они апеллируют, образы желательных итогов конфликта, тем более многопозиционным и запутанным становится противостояние.

Конфликтные ситуации часто воспринимаются как сложные и горожанами. Их вовлечение в конфликт может сопровождаться универсализацией действий или оценок, поэтому приводит к упрощению повестки или драматургии конфликта. Например, в конфликте вокруг значительного повышения тарифов ЖКХ (К6) был использован универсальный и понятный для разных групп горожан нарратив: необоснованное повышение тарифов вызвано *«растущими аппетитами монополиста»*, в интересах которого действует непопулярный губернатор, и вместе они хотят *«огробрать народ»*. Упрощенные стандартизированные схемы — объединение повесток или их персонификация: *«поддержать мост Ротенберга — поддержать олигархов!»* (К5), упрощение образов и морализация оценок. Все это помогает горожанину оценивать сложные ситуации исходя из собственного набора оснований справедливости. Значимая часть конфликтов ГБД, возникающих как реакция на инвестиционные проекты, построена на противостоянии миру рынка, его ценностям в риторике гражданского, научно-технического, экологического или патриархального миров. Последние два чаще других в условиях изменений становятся конфликтогенерирующими, актуализируя или сами будучи актуализированными NIMBY-синдромом: *«...Для местных жителей это станет просто “газовой камерой”, поскольку большая часть лесов будет вырублена»* (экологический мир), *«Никто не верит, что лучшее будет не хуже старого. Потому что уж лучше пускай все как есть стоит, потому что иначе не будет ничего»* (патриархальный мир). Чем многоакторнее конфликт, чем больше в нем актуализировано миров, тем сложнее достичь компромиссов.

Наиболее драматичные конфликты возникают в ситуациях размывания границ миров. Это происходит, например, когда рыночные мотивации начинают определять действия субъектов, заявляющих о своей принадлежности к гражданскому миру. К примеру, в случае с *«продажным чиновником»*, который, ставя подпись под обременительным для города контрактом, *«действует в интересах бизнеса»*, хотя должен действовать в интересах горожан. Одновременно в сложных конфликтах наблюдается умножение числа риторик оправдания справедливости. Стремление защитников статус-кво Академгородка использовать одновременно риторику экологического (*«в защиту лесов»*) мира и мира репутации (*«всемирно известный академический центр»*), мира вдохновения (*«Академгородок — шедевр ландшафтной архитектуры»*; *«лес для Академгородка имеет даже... мистическое какое-то значение»*) и гражданского мира (*«и незаконная застройка продолжилась»*) для оправдания борьбы с изменениями и сохранения локации, *«привычной для привычного»* образа жизни, сталкивается с позицией мира проектов (*«проекты развития нужны здесь и сейчас»*) и гражданского мира (*«законность, право представителя»*). При этом обе стороны формально используют как вспомогательную риторику научно-технического мира (*«эффективность прежде всего»*) и гражданского (*«законность»*). Но поскольку ни для одной из сторон в сложившейся ситуации ценности научно-технического мира не являются доминирующими, договориться они не могут. Это заставляет задуматься о формальном или манипулятивном использовании предсказуемых риторик миров как самостоятельном виде триггера в конфликте, поскольку отказ от ценностей своего града вовлеченными в конфликт воспринимается как *«предательство»*, открывающее путь моральным оценкам и критике с позиции представлений о фундаментальном зле, которое угрожает всему социальному порядку.

Ситуацию многомирности дополняет сложность дифференциации ролей акторов. Традиционный линейный сценарий развертывания конфликта конструируется через противопоставление двух основных акторов — игроков конфликта: инициатор триггера и оспаривающий его действия инициатор конфликта при влиянии «третьего». Последний часто обладает посредническим или регулятивным потенциалом (например, муниципальные органы власти). Сложность возрастает, когда ролевые позиции интересантов конфликта, обладающих ресурсами влияния, дифференцируются, оставаясь публично проявленными или непроявленными. В отобранных для анализа «сложных» конфликтах часто присутствуют скрытые игроки: «четвертый», «пятый» и т.д., способные влиять на характер, скорость протекания конфликта, качество и позиции вовлеченных в конфликт групп. Их интересы и действия могут определяться не только и не столько интересом к объекту конфликта, сколько быть *«акцией возмездия»* за возникшие у скрытого игрока проблемы с проектом в другой локации города, в другом конфликте, где он также противостоял нынешнему оппоненту. Действия «четвертого» также могут определяться общим текущим конкурентным взаимодействием в полях стратегических действий, в том числе и в сфере городского управления.

Обозначим предполагаемые признаки участия скрытого игрока, обладающего ресурсами для изменения параметров протекания конфликта: резко отклоняющиеся от средних значений конфликтов такого типа или текущего этапа количество и синхронность публикаций в СМИ, постов в социальных сетях; интенсивное вовлечение в конфликт лояльных общественников или активных групп местных жителей с согласованной позицией, выступающих от имени всего сообщества, «квакеров», высокооплачиваемых юристов и изначально дистанцированных от ситуации экспертов. Усложнение ситуаций усиливает запрос на компетентность вовлекаемых акторов, косвенным признаком которой является богатый опыт участия в предыдущих публичных конфликтах. В исследуемых «сложных» конфликтах задействовано приблизительно в два раза больше публичных персон и в три раза больше персон с большим опытом участия в иных конфликтах, чем в «дорогих», но «простых» конфликтах. Но наличие скрытого игрока не делает конфликт заведомо искусственно сконструированным в чьих-либо интересах. По нашим наблюдениям, такой актор чаще использует естественно сложившуюся ситуацию, чем конструирует искусственную — последнее требует экстраординарных усилий и ресурсов, которые доступны крайне узкому кругу городских акторов.

Еще один фактор усложнения: «многослойность», казалось бы, однозначных ролевых позиций, интересов и целей части акторов в городских отношениях. Инициатор конфликта начинает свою карьеру как общественник в одном из микрорайонов, через некоторое время становится сотрудником строительной компании, затем — депутатом городского совета. В конфликтах на территории микрорайона он теперь должен представлять не только интересы жителей, но и интересы своего работодателя, и интересы той группы депутатов, которую он представляет в городском совете. Имея «сдвоенные» интересы, которые не всегда совпадают с требованиями «простых жителей микрорайона», такой актор может продолжать поддерживать конфликт, несмотря на то что требования «простых жителей» либо уже удовлетворены, либо не могут быть удовлетворены заведомо. Такие «сложно-связанные» акторы часто входят в конфликт с целями и интересами, далекими от публично манифестируемых. Конфликты используются как средство давления на конкурирующие финансово-промышленные группы (ФПГ), например, для получения сильной переговорной позиции в несвязанных с конфликтом обсуждениях или даже для общего ослабления влияния и потенциала конкурирующей ФПГ. Экспертные интервью показывают, что иногда «сложные» акторы входят в конфликт без одной определенной цели или с широким набором возможных целей, проверяя гипотезу о достижимости каждой из них на практике.

Нарастающая сложность акторов и предметов конфликтов в современном городе показывает, что множественность может влиять не только на количественные, но и качественные характеристики конфликта, например, способствовать «раздвоению» предмета конфликта в силу связанности полей стратегических действий города. Так, реализация одного и того же проекта может дать значительные

преимущества как в стратегическом поле городского строительства жилья (сверхприбыль и реинвестиция в новые проекты и технологии), так и в поле городской политики (инвестирование сверхприбыли в лояльность части депутатского корпуса через спонсирование предвыборных кампаний).

Усложняет ситуации и нарастающая сложность коммуникации. Разные акторы и группы акторов говорят на разных языках. В современном российском городе, как правило, отсутствуют агенты, способные систематически создавать и поддерживать протоколы конфликтных коммуникаций, конституировать их каналы и пространства. Единый язык и порядок конфликтных коммуникаций не существует в готовом виде, его необходимо вырабатывать или совершенствовать.

Связанность и усложнение городского конфликта

«Простой» городской конфликт, будучи скорее замкнутым на себе, повестке и ресурсах своих субъектов, обладает ограниченным потенциалом генерирования множественности. Но последнее все же может произойти при заимствовании повестки, стратегий, ресурсов из иных текущих или завершившихся конфликтов (в случае, если актуализируется «старая» повестка и/или ее бывшие участники все еще присутствуют в публичном пространстве города). Например, органы власти заявляют о возобновлении проекта строительства полигона твердых бытовых отходов (ТБО), некогда «поставленного на паузу» в результате конфликта. Одним из механизмов эффективного противостояния жителей может стать установление связей «с городскими акторами, обстоятельствами и ситуациями» (подробнее см.: Скалабан, Лобанов, 2023: 17), уже имеющими опыт подобного конфликтования.

Связь может представлять технологическую ценность для протекания конфликта. Она создает условия для многообразных зависимостей и взаимных влияний, конструирует каналы перетекания ресурсов и информации. Связь осуществляется через формирование союзов и коалиций, выстраивание сложных властных отношений и последовательностей событий (Trudelle, Klein, Fontan, Tremblay, 2015), создает потенциал для взаимодействия с другими городскими сущностями, в частности, с «потенциально заинтересованными группами и целевыми аудиториями, превращая их в коммуникационную сеть» (Кастельс, 2016: 68).

Обозначим несколько эмпирически выделенных типов связей, способствующих усложнению: *связи через акторов, общность повесток, общее пространство конфликтности, объект конфликта или смежный конфликт*. Так, акторы одних конфликтов могут использовать другие конфликты как способ привлечения внимания к своей ситуации, дестабилизации поля стратегического действия и достижения своих целей. Связь между конфликтами может устанавливаться в том числе и вне намерений части их акторов, к примеру, через стабильное присутствие в медиа информации о вовлеченности акторов или актантов («вещей») одного конфликта в «соседние» конфликты этой локации, или декларирова-

ние связи их повесток. Например, такие относительно самостоятельные и действительно трудноразрешимые проблемы, как законность границ кладбища и крупнейшего в регионе плодоовощного оптового *рынка*; негативное влияние проблемного объекта — полигона ТБО Левобережный «у *рынка*» на общую экологическую ситуацию на территории; незаконная торговля «*вокруг рынка*»; неконтролируемые процессы этнической анклавизации «*вокруг рынка*» и низкое качество жизни жителей соседних территорий «*из-за рынка*», объединились в общественном сознании в единый крайне сложный конфликт — «Хилокский треугольник» (К9), а также были связаны с интересами конкретных городских акторов. Публичный фокус на них как на «виновниках» сложившейся ситуации усиливает конкурентные преимущества оппонентов, но усложняет системное решение всей совокупности хронических проблем территории, накопленных здесь за последние тридцать лет.

Связи могут отягощать конфликт, делать его образ противоречивым, калейдоскопным, но могут и обеспечить возможность его разрешения. Ресурсы, передаваемыми из конфликта в конфликт, являются альянсы и коалиции (Тыканова, Шевцова, Желнина, 2024), знания и новые компетенции; публичная поддержка позиции лидерами иных конфликтов, авторитетными публичными фигурами, экспертами; содействие в экспертизе; правовая поддержка, представительство и лоббирование; содействие доступу к структурам власти; координация действий разных конфликтных групп или их объединение в ходе акций протеста и т.д. В ряде конфликтов зафиксирована и используемая акторами помощь «людьми» — группой поддержки для офлайн-манифестаций. Последнее фиксируется скорее в случае уже существующей аффилиации между общественниками или группами, имеющими опыт участия в городских конфликтах, структурами бизнеса или органами власти при решении конкретной «проблемной ситуации» (Скалабан, Лобанов, 2023). Так отдельные конфликты и конфликтные группы вписываются в ансамбль городских отношений, конструируя конфликтность большого города как систему взаимосвязанных конфликтов, часть которых попадает в публичное поле.

В условиях нарастающей сложности связанных конфликтов на городских полях стратегических действий все чаще появляется новый тип игроков («квалифицированные акторы») (Флигстин, Макадам, 2022), которые стремятся не только наращивать связи, но и взаимно уравнивать их, сохраняя относительную свободу от влияния и обязательств. Конвертируя ее в перспективные роли «глашатая городской проблемы», «инициатора резонансного конфликта», «консультанта», «переговорщика», «посредника» в конфликтах, они тем самым капитализируют свое участие в них. На данный момент мы отмечаем движение ряда городских общественников к профессионализации в конфликтной среде (появление группы «профессиональных общественников»), но описание их как самостоятельного явления в ландшафте городской конфликтности требует отдельного исследования.

Заключение

Конструируемая нами теоретическая модель сложного конфликта строится на его основных параметрах (свойствах): множественность, связанность, устойчивость и подвижность. И хотя фокус внимания настоящей статьи нацелен преимущественно на два первых параметра, эмпирический анализ подтверждает важность устойчивости и подвижности при оценке характера протекания сложных городских конфликтов и общего конфликтного ландшафта города, например, через устойчивость связей и поведенческих практик. Отмеченные количественные и качественные характеристики позволяют утверждать об усложнении конфликтной среды города и выделять как самостоятельный его вид сложный городской конфликт.

Наиболее наглядными, публично маркируемыми показателями сложности выступают высокий бюджет проекта-триггера, уровень и динамика резонанса конфликта в СМИ. Большой бюджет всегда означает потенциальную возможность капитализации усилий для значительного числа участников. Устойчивость, интенсивность и длительность конфликтования требует ресурсов и возможна лишь при значительных финансовых, организационных и социальных инвестициях в триггерный проект и вызванный ими конфликт. Резонанс конфликта принципиально важен для заявления проблемы как значимой для города в целом, а не для отдельных его агентов. Поэтому именно публичность делает конфликт городским (а не элитным или корпоративным). Связи и резонанс также влияют на устойчивость конфликта: внимание городского сообщества придает участникам новые моральные силы для продолжения борьбы и ограничивает возможности по купированию конфликта органами власти.

Связанность и множественность поддерживаются участием в конфликте не только большим числом акторов, но особенно акторами разных типов. Новые акторы объективно меняют конфликт, привнося в него новые смыслы, практики и новые противоречия, влияя на его подвижность и способность к трансформации. Множественность поддерживается разнообразием *повесток*, которые создают новые возможности для связанности: при появлении новой конфликтной повестки в конфликт может вступить новый актор с новыми интересами.

Таким образом, отобранные «сложные» городские конфликты оказались более резонансными, более насыщенными участвующими акторами, сообществами и происходящими в них событиями, более длительными, чем «простые» конфликты. Структурная подвижность и связанность делают городской конфликт более динамичным, но и более устойчивым. Позиции многих акторов сложно согласовать, а стоящий на кону крупный приз (достижение цели) мотивирует участников инвестировать значительные ресурсы в противостояние, подталкивая их к новым и новым попыткам оспаривания, что выражается в высокой насыщенности конфликта событиями и длительностью его протекания.

Описанные выше обстоятельства позволяют предположить, что не все городские конфликты могут быть рассмотрены в классической трехчастной схеме «инициатор триггера — инициаторы конфликта — органы власти в роли субъекта урегулирования или медиатора». На деле многие конфликты имеют множество заинтересованных и участников с многообразными интересами и нелинейной логикой взаимодействия, а сами конфликты не могут быть понятны, если будут рассмотрены как изолированные ситуации: логика их возникновения и развития становится ясна только в контексте сложной системы городских противоречий и в связи с другими конфликтами, публично видимыми и невидимыми.

Сложный городской конфликт несет в себе не только опасности, но и возможности. Он труден для регулирования, делает городские отношения более противоречивыми и запутанными. Но он является одним из немногих пространств деятельной встречи акторов разных миров справедливости и полей стратегических действий, редкой возможностью непосредственного или опосредованного реального взаимодействия, преодолевающего отчужденность большого города. В сложном конфликте трудно представить полную и однозначную победу одной из сторон. Поэтому сложный конфликт является той редкой ситуацией, где акторы должны подняться над узкими интересами своего мира, своей социальной группы и попытаться начать действовать в интересах общего блага города. Стратегии работы со сложными конфликтами требуют отдельного внимания и погружения, но мы предполагаем, что именно сложные конфликты могут оказаться тем горнилом, в котором куется городское гражданство и рождаются новые городские практики взаимодействия. Эта тема будет направлением наших дальнейших поисков.

Литература

- Болтански Л., Тевено Л. (2013). Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии Градов. М.: Новое литературное обозрение.
- Гладарев Б. (2011). Историко-культурное наследие Петербурга: рождение общест-венности из духа города // От общественного к публичному / Под ред. О. Хар-хордина. СПб.: изд-во ЕУСПб. С. 70–304.
- Желнина А. А., Семенов А. В., Тыканова Е. В. (2022). Методология изучения город-ских конфликтов: уровни масштабирования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 5. С. 49–71.
- Кастельс М. (2016). Власть коммуникации. М.: Изд. дом Высшей школы экономи-ки.
- Латур Б. (2014). Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Латур Б. (2017). Об акторно-сетевой теории. Некоторые разъяснения, дополнен-ные еще большими усложнениями // Логос. Т. 27. № 1. С. 173–200.
- Кольба А. И., Орфаниди Э. В. (2023). Гражданские структуры в системе политиче-ского управления городскими конфликтами: формальные и неформальные

- основания институционализации // Политические институты в современном мире: коллапс или перезагрузка? Сб. матер. конференции. СПб.: Скифия-принт.
- Медведев И. Р. (2017). Разрешение городских конфликтов. М.: Инфотропик Медиа.
- Скалабан И. А. (2021). Инструменты анализа сообществ в городских конфликтах (на примере г. Новосибирска) // *Caucasian Science Bridge*. № 4 (14). С. 138–142.
- Скалабан И. А., Сергеева З. Н., Лобанов Ю. С. (2022). Защищающиеся. Оборонительные функции сообществ в городских конфликтах (на материалах г. Новосибирска) // *Мир России*. Т. 31. № 4. С. 33–56.
- Скалабан И. А., Лобанов Ю. С., Сергеева З. Н., Волченко С. Ю. (2023). «Уровень опасений зашкаливает!»: как изменения становятся триггерами городских конфликтов. Кейс г. Новосибирска // *Социология власти*. Т. 35. № 1. С. 190–218.
- Соколов А. В., Абрамовский И. С. (2022). Городские конфликты: стратегии борьбы акторов конфликта // *Вестник Кемеровского государственного университета*. Серия: Политические, социологические и экономические науки. Т. 7. № 1. С. 20–28.
- Никовская Л. И., Скалабан И. А. (2018). Общественное и гражданское участие в контексте публичной политики развития // *Публичная политика: институты, цифровизация, развитие*. М.: Аспект Пресс. С. 169–180.
- Никовская Л. И. (2009). Сложносоставной конфликт как инструмент анализа трансформации и кризиса // *Полис. Политические исследования*. № 6. С. 83–94.
- Слука Н. А. (2008). Ключевые функции глобальных городов в мировой системе // *География*. № 20. 16–31 окт. С. 11–18.
- Турен А. (1998). Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: Научный мир.
- Тыканова Е., Шевцова И., Желнина А. (2024). Альянсы чиновников и активистов в городских локальных конфликтах // *Социологическое обозрение*. Т. 23. № 2. С. 90–119.
- Тыканова Е. В., Хохлова А. М. (2023). Связь полей стратегического действия с исходами городских конфликтов вокруг историко-культурного наследия // *Российское общество сегодня: ценности, институты, процессы*. Материалы Всероссийской научной конференции. Санкт-Петербург. С. 1143–1146.
- Флигстин Н., Макадам Д. (2022). Теория полей. М.: Изд. дом ВШЭ.
- Харви Д. (2018). Социальная справедливость и город. М.: Новое литературное обозрение.
- Хархордин О., Болтански Л. (2020). «Задачи политики... выразить словами то, что в жизненном опыте ускользнуло от сконструированной реальности»: интервью с Люком Болтански // *Социологическое обозрение*. Т. 19. № 1. С. 74–84.
- Cunningham K., Bakke K. M., Seymour L. J. M. (2012). Shirts Today, Skins Tomorrow: Dual Contests and the Effects of Fragmentation in Self-Determination Disputes // *Journal of Conflict Resolution*. № 56(1). P. 67–93.
- Frank G. (2018). Hoffman Source // *PRISM. A Journal of the Center for Complex Operations*. Vol. 7. № 4. P. 30–47.

- Johnson N. F.* (2008). Complexity in Human Conflict // Managing Complexity: Insights, Concepts, Applications. Understanding Complex Systems / D. Helbing (ed.). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Humphreys J. S., Walmsley D. J.* (1991). Locational Conflict in Metropolitan Areas: Melbourne and Sydney, 1989 // Australian Geographical Studies. Vol. 29. № 2. P. 313–328.
- Kadowaki J.* (2019). The Contemporary Defended Neighborhood: Maintaining Stability and Diversity Through Processes of Community Defense // City & Community. Vol. 18. № 4. P. 1220–1239.
- Lamb R., Gregg M.* (2018). The Dual-system Problem in Complex Conflicts // Strategic Studies Institute. P. 5–28. URL: <https://www.jstor.org/stable/resrep20101.7> (дата доступа 04.07.2024)
- Leonardi L.* (2023). Social Conflicts and Citizenship in the Context of Societal Complexity // Società Mutamento Politica. №14 (28). P. 33–39.
- Moser C., Mcilwaine C.* (2014). Editorial: New frontiers in twenty-first century urban conflict and violence // Environment & Urbanization. Vol. 26. № 2. P. 331–344.
- Pelletier M., Trudelle C.* (2016). Analysis of Urban Conflict Networks: Theoretical and Methodological Perspectives // Conflicts in the City. Reflections on Urban Unrest / L. Del Romero ed. New York: Nova Publishers.
- Pevnaya M. V.* (2024). Social Participation as a Theoretical Concept and Social Phenomenon // Changing Societies & Personalities. Vol. 8. № 1. P. 5–13.
- Oliver P. E.; Myers D. J.* (1999). How Events Enter the Public Sphere: Conflict, Location, and Sponsorship in Local Newspaper Coverage of Public Events // American Journal of Sociology. Vol. 105. № 1. P. 38–87.
- Salverda N.* (2017). Complex Conflicts. Causes and Consequences of Multiparty Civil Wars. Report. Department of Peace and Conflict Research. № 115.
- Trudelle C., Klein J., Fontan J., Tremblay D.* (2015). Urban Conflicts and Socio-Territorial Cohesion: Consensus Building and Compromise in the Saint-Michel Neighborhood in Montreal // Canadian Journal Urban Research. Vol. 24(2). P. 138–157.
- Villeneuve P., Trudelle C., Pelletier M., Thériault M.* (2009). Les conflits urbains: une approche analytique. Environnement urbain // Urban environment. Vol. 3. P. 1–8.
- Wieviorka M.* (2013). Social conflict // Current Sociology. Vol. 61. № 5–6. P. 696–712.

Complex Urban Conflict: Conceptual Foundations and Modern Practices

Irina Skalaban

Doctor of Sociological Sciences, Professor of the Department of Social Work and Social Anthropology, Scientific Director of the Urban Research Laboratory of the Institute of Social Technologies of Novosibirsk State Technical University

Address: Karl Marx Avenue, 20, Novosibirsk, 630073 Russian Federation

E-mail: skalaban@corp.nstu.ru

Yuri Lobanov

PhD in Philosophy, Researcher at the Urban Research Laboratory of the Institute of Social Technologies of Novosibirsk State Technical University

Address: Karl Marx Avenue, 20, Novosibirsk, 630073 Russian Federation

E-mail: lobanov-y@mail.ru

In this article, based on the theories of L. Theveno and L. Boltansky, N. Fligstein and D. McAdam, we try to find theoretical, methodological and empirical grounds for identifying and analyzing the phenomenon known as a complex urban conflict. Theoretical analysis allows us to identify its hypothetical features: the multiplicity of elements, connectivity with other conflicts and their components, stability of flow and structural mobility (ability to transform), as well as to take steps to substantiate them, empirically based on the analysis of the Geoinformation database of conflicts of the Novosibirsk agglomeration and more than sixty semi-structured interviews with their participants. Conflicts approximately corresponding to the selected features were selected from the database, and analyzed according to a number of parameters. The analysis showed that urban conflicts are becoming a more stable and closely related to the urban context space of interactions of an increasing number of interconnected actors moving simultaneously in different strategic fields and in different logical justifications of justice. Complex conflicts correspond to at least three of the highlighted parameters: they are a reaction of a significant resource; they manifest themselves in the ability of actors to create an information resonance, to make connections and find new allies by constructing new meanings and additional agendas; they involve actors who already have experience of repeated participation in urban conflicts.

Keywords: urban conflict, complexity, connectivity, strategic field, budget, trigger, media resonance, actor of urban relations

References

- Boltanski L., Teveno L. (2013) *Kritika i obosnovanie spravedlivosti: Ocherki sociologii Gradov* [De la justification: les économies de la grandeur] (Trans. from french O. Koveneva), Moscow: New Literary Review.
- Castells M. (2016) *Vlast' kommunikacii* [Communication Power] (Trans. from English N. Tylevich), Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics.
- Cunningham K., Bakke K. M., Seymour L. J. M. (2012) Shirts Today, Skins Tomorrow: Dual Contests and the Effects of Fragmentation in Self-Determination Disputes. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 56, no 1, pp. 67–93.
- Fligstein N. McAdam D. (2022) *Teorija polej* [A Theory of Fields] (Trans. from English E. Golovljanicyna), Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics.
- Frank G. (2018) Hoffman Source. *PRISM*, vol. 7, no 4, pp. 30–47.
- Gladarev B. (2011) *Istoriko-kul'turnoe nasledie Peterburga: rozhdenie obshchestvennosti iz duha goroda* [Historical and cultural heritage of St. Petersburg: the birth of the public from the spirit of the city], Publishing House of the European University in St. Petersburg, pp.70–304.
- Johnson N. F. (2008) *Complexity in Human Conflict. Managing Complexity: Insights, Concepts, Applications. Understanding Complex Systems* (D. Helbing ed.), Berlin, Heidelberg: Springer.
- Harhordin O., Boltanski L. (2020) «Zadachi politiki... vyrazit' slovami to, chto v zhiznennom opyte uskol'znulo ot skonstruirovannoj real'nosti: interv'y u Lyukom Boltanski [The tasks of politics... to put into words what escaped the constructed reality in life experience: an interview with Luke Boltansky]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 1, pp. 74–84.
- Harvey D. (2018) *Social'naya spravedlivost' i gorod* [Social Justice and the City], Moscow: New Literary Review.
- Humphreys J. S., Walmsley D. J. (1991) Locational Conflict in Metropolitan Areas: Melbourne and Sydney, 1989. *Australian Geographical Studies*, vol. 29, no 2, pp. 313–328.

- Kadowaki J. (2019) The Contemporary Defended Neighborhood: Maintaining Stability and Diversity Through Processes of Community Defense. *City & Community*, vol. 18, no 4, pp. 1220–1239.
- Kol'ba A. I., Orfanidi E. V. (2023) Grazhdanskie struktury v sisteme politicheskogo upravleniya gorodskimi konfliktami: formal'nye i neformal'nye osnovaniya institucionalizacii [Civil structures in the system of political management of urban conflicts: formal and informal grounds for institutionalization]. *Political institutions in the modern world: collapse or reset? In the collection of conference materials*, Saint Petersburg: Skifiya-print.
- Kühne O. (2020) Landscape Conflicts—A Theoretical Approach Based on the Three Worlds Theory of Karl Popper and the Conflict Theory of Ralf Dahrendorf, Illustrated by the Example of the Energy System Transformation in Germany. *Sustainability*, no 12, p. 6772. URL: <https://> (date accessed: 02.07.2024).
- Lamb R., Gregg M. (2018) *The Dual-system Problem in Complex Conflicts*. Strategic Studies Institute. pp. 5–28. URL: <https://www.jstor.org/stable/resrep20101.7> (date accessed: 04.07.2024)
- Latour B. (2014) *Peresborka social'nogo: vvvedenie v aktorno-setevuju teoriju* [Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory], Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics.
- Latour B. (2017) Ob aktorno-setevoj teorii. Nekotorye raz'yasneniya, dopolnennyye eshche bol'shimi uslozheniyami [On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few complications]. *Logos*, vol. 27, no 1, pp. 173–200.
- Leonardi L. (2023) Social Conflicts and Citizenship in the Context of Societal Complexity. *SocietàMutamentoPolitica*, no 14(28), pp. 33–39.
- Medvedev I. R. (2017) *Razreshenie gorodskih konfliktov* [Urban conflict Resolution], Moscow: Infotropik Media.
- Moser C., McIlwaine C. (2014) Editorial: New frontiers in twenty-first century urban conflict and violence. *Environment & Urbanization*, vol. 26, no 2, pp. 331–344.
- Nikovskaja L. I., Skalaban I. A. (2018) Obshhestvennoe i grazhdanskoe uchastie v kontekste publichnoy politiki razvitiya [Public and civic participation in the context of public development policy]. *Public policy: institutions, digitalization, development*, Moscow: Aspect Press, pp. 169–180.
- Nikovskaja L. I. (2009) Slozhnosostavnoj konflikt kak instrument analiza transformacii i krizisa [Complex conflict as a tool for analyzing transformation and crisis]. *Polis. Political Research*, no 6, pp. 83–94.
- Pelletier M., Trudelle C. (2016) *Analysis of Urban Conflict Networks: Theoretical and Methodological Perspectives In Conflicts in the City. Reflections on Urban Unrest* (L. Del Romero ed.), New York: Nova Publishers.
- Pevnaya M. V. (2024) Social Participation as a Theoretical Concept and Social Phenomenon. *Changing Societies & Personalities*, vol. 8, no 1, pp. 5–13.
- Oliver P. E., Myers D. J. (1999) How Events Enter the Public Sphere: Conflict, Location, and Sponsorship in Local Newspaper Coverage of Public Events. *American Journal of Sociology*, vol. 105, no 1, pp. 38–87.
- Salverda N. (2017) Complex Conflicts. Causes and Consequences of Multiparty Civil Wars. *Report. Department of Peace and Conflict Research*, no 115.
- Skalaban I. A. (2021) Instrumenty analiza soobshhestv v gorodskih konfliktah (na primere g. Novosibirsk) [Tools for analyzing communities in urban conflicts (on the example of Novosibirsk)]. *Caucasian Science Bridge*, vol. 4, no 14, pp. 138–142.
- Skalaban I. A., Sergeeva Z. N., Lobanov Ju. S. (2022) Zashhishhajushiesja. Oboronitel'nye funkcii soobshhestv v gorodskih konfliktah (na materialah g. Novosibirsk) [Defending. Defensive functions of communities in urban conflicts (based on the materials of Novosibirsk)]. *Mir Rossii*, vol. 31, no 4, pp. 33–56.
- Skalaban I. A., Lobanov Ju. S., Sergeeva Z. N., Volchenko S. Ju. (2023) «Uroven' opaseniya zashkalivaetsya»: kak izmeneniya stanovjatsya triggerami gorodskih konfliktov. Kejs g. Novosibirsk [The level of fears is off the scale!": how changes become triggers of urban conflicts. The case of Novosibirsk]. *Sociology of Power*, vol. 35, no 1, pp. 190–218.
- Sluka N. A. (2008) Ključevye funkcii global'nyh gorodov v mirovoj sisteme [Key functions of global cities in the global system]. *Geography*, no 20, October 16–31, pp. 11–18.

- Sokolov A. V., Abramovskij I. (2022) S. Gorodskie konflikty: strategii bor'by aktorov konflikta. [Urban conflicts: strategies for the struggle of conflict actors]. *Bulletin of Kemerovo State University. Series: Political, Sociological and Economic Sciences*, no 1, pp. 20–28.
- Touraine A (1998) *Vozvrashhenie cheloveka deystvujushhego. Ocherk sociologii* [Le retour de L'acteur] (Trans from French E. Samarskaja), Moscow: Scientific World.
- Trudelle C., Klein J., Fontan J., Tremblay D. (2015) Urban Conflicts and Socio-Territorial Cohesion: Consensus Building and Compromise in the Saint-Michel Neighbourhood in Montreal. *Canadian Journal Urban Research*, vol. 24, no 2, pp.138–157.
- Tykanova E. V., Hohlova A. M. (2023) Svjaz' polej strategicheskogo deystvija s ishodami gorodskih konfliktov vokrug istoriko-kul'turnogo nasledija [The connection of strategic action fields with the outcomes of urban conflicts around historical and cultural heritage]. *Russian Society Today: values, institutions, processes. Materials of the All-Russian Scientific Conference*, Sankt Petersburg, pp. 1143–1146.
- Tykanova E., Shevcova I., Zhelnina A. (2024) Al'jansy chinovnikov i aktivistov v gorodskih lokal'nyh konfliktah [Alliances of officials and activists in urban local conflicts]. *Russian Sociological Review*, vol. 23, no 2, pp. 90–119.
- Tykanova E., Khokhlova A. (2016) The Performative Logic of Urban Space Contestation: Two Examples of Local Community Mobilisation in St. Petersburg. *Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe* (Ed. by K. Jacobsson), London: Ashgate, pp. 139–162.
- Villeneuve P., Trudelle C., Pelletier M., Thériault M. (2009) Les conflits urbains: une approche analytique. *Environnement urbain/Urban environment*, vol. 3, pp. 1-8.
- Wieviorka M. (2013) Social conflict. *Current Sociology*, vol. 61, no 5-6, pp. 696–712.
- Zhelnina A. A., Semenov A. V., Tykanova E. V. (2022) Metodologiya izucheniya gorodskih konfliktov: urovni masshtabirovaniya [The Methodology for Studying Urban Conflicts: Levels of Scaling]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 5.

Культурные различия между 60 российскими регионами по измерению «индивидуализм — коллективизм»

Борис Соколов

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований им. Р. Ф. Инглхarta; доцент департамента социологии, Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Седова, д. 55, корп. 2, Санкт-Петербург, 192171 Российская Федерация
E-mail: bssokolov@hse.ru, bssokolov@gmail.com

Анна Алмакаева

Кандидат социологических наук, заведующая Лабораторией сравнительных социальных исследований им. Р. Ф. Инглхarta; доцент департамента социологии, факультет социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; научный редактор научно-методического департамента, Всероссийский центр изучения общественного мнения, Москва
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: aalmakaeva@hse.ru

Илья Ломакин

Приглашенный специалист Лаборатории сравнительных социальных исследований им. Р. Ф. Инглхarta, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; магистрант, Академия ОБСЕ в Бишкеке, Киргизская Республика; приглашенный исследователь факультета экономики, Университет Коимбры, Португалия
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: ilomakin@hse.ru, elijah.lomakin@gmail.com

Михаил Минков

PhD по социальной антропологии, научный руководитель Лаборатории сравнительных социальных исследований им. Р. Ф. Инглхarta, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; профессор кросс-культурных исследований, Варненский университет менеджмента, Болгария
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: profminkov@abv.bg

Наталья Михайлова

Эксперт Института социальной политики; преподаватель департамента социологии, факультет социальных наук; стажер-исследователь Лаборатории сравнительных социальных исследований им. Р. Ф. Инглхarta, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: nmikhaylova@hse.ru

Екатерина Настина

Кандидат социологических наук, младший научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований им. Р. Ф. Инглхarta; старший преподаватель департамента социологии, факультет социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: enastina@hse.ru

Эдуард Понарин

PhD по социологии, ведущий научный сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований им. Р.Ф. Инглхарта; профессор департамента социологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Седова, д. 55, корп. 2, Санкт-Петербург, 192171 Российская Федерация
E-mail: eponarin@hse.ru

В работе исследуются культурные различия между российскими регионами по измерению индивидуализм — коллективизм (ИК), которое операционализируется с помощью вопросов из анкеты Всемирного исследования ценностей, отражающих мнения респондентов относительно репродуктивных свобод и гендерного равенства. На основе масштабного опроса, проведенного в 2019–2020 гг. и охватившего 60 субъектов федерации ($N = 18\,768$), строится культурная карта России, отражающая межрегиональную вариацию по указанному измерению. Наиболее высокий уровень индивидуализма наблюдается в Ярославской области, Москве и Санкт-Петербурге; самыми коллективистскими оказались мусульманские республики Северного Кавказа. Превалирующие в конкретных регионах нормы предсказываются такими характеристиками, как средняя заработная плата, географическая широта столицы, доля этнических русских и — в меньшей степени — водообеспеченность на душу населения. Каждая из этих переменных положительно связана с распространенностью индивидуалистических ориентаций. Кроме того, относительное преобладание индивидуализма ассоциируется с более высоким уровнем инновационной активности в регионе, а коллективизма — с меньшим суммарным количеством избыточных смертей на 100 000 человек за 2020–2022 годы (период активной фазы пандемии COVID-19). При этом ИК не коррелирует с показателями волонтерской активности и эффективности государственного управления в регионах. Также приводятся значения индекса ИК для обследованных субъектов, которые могут использоваться другими исследователями для изучения взаимосвязей культурной специфики и объективных показателей регионального социально-экономического развития в Российской Федерации.

Ключевые слова: российские регионы, культура, модель Минкова–Хофстеде, индивидуализм — коллективизм, инновации, социально-экономическое развитие, пандемия COVID-19

Российская Федерация, будучи самым крупным по площади государством в мире, характеризуется крайним разнообразием географических, гидрологических, климатических и иных средовых условий, а также значительной этнической, лингвистической и религиозной неоднородностью. Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2020 года (Росстат, 2022), в стране проживают более 190 народов, носители 155 языков (по другим источникам — почти четырех сотен), которые относятся к 16 языковым группам (Коряков и др., 2022), а также представители практически всех основных крупных религий и конфессий (ВЦИОМ, 2022). Все это коррелирует и с административно-территориальным устройством: некоторые субъекты изначально были созданы по национальному принципу и в структуре их населения преобладают конкретные этнические или этноконфессиональные группы — не говоря уже о очевидных природных контрастах между регионами Крайнего Севера и Северного Кавказа или Центральной России и Дальнего Востока.

Транслируются ли многочисленные гетерогенности, пронизывающие практически все сферы и измерения общественной жизни страны, в разнообразие куль-

турное? Или в ходе социально-экономической модернизации, сопровождавшейся массовой внутренней миграцией (Зайончковская, 1999; Карцева, Мкртчян, Флоринская, 2020), в России оформилась единая культурная среда, так что федерацией она является только в политическом смысле, но не в культурном, а жители разных регионов в плане ценностей и установок ничем не отличаются друг от друга?

Существует значительное количество научных работ, посвященных экономическим и политическим различиям между российскими регионами. Впрочем, региональные культуры также не были обойдены вниманием исследователей. В частности, в литературе обсуждаются такие темы, как исторические и географические предпосылки формирования культурных особенностей отдельных субъектов федерации и макрорегионов, а также их связь с политическими, демографическими и социально-экономическими процессами (Герд, Лебедев, 1999; Туровский, 2003; Мурзина, 2004; Ослон, 2006; Лункин, 2008; Зубаревич, 2010; Крылов, 2010; Немировская, Фоа, 2013; Лапин, 2016; Щербак, Ухватова, 2018; Брызгалин, Никишина, 2020; Бахтигараева и др., 2021; Макласова, 2020; Tatarko, Maklasova, Van de Vliert, 2022; Minkov et al. 2023; Щербак, 2023). Более того, тема субнациональных культурных различий становится все более актуальной и в международной академической среде (Kara, Peterson, Søndergaard, 2021).

Вместе с тем публикации, посвященные России, носят либо теоретико-методологический характер, либо используют исторические свидетельства или косвенные индикаторы современных культурных различий, либо покрывают ограниченное количество регионов. Эмпирических исследований, которые использовали бы данные по большому количеству субъектов и одновременно измеряли культуру напрямую, через отражение с помощью социологических опросов нормативных представлений людей, проживающих в пределах конкретных административных единиц, на сегодняшний день крайне мало (Ослон, 2006; Лапин, 2016; Брызгалин, Никишина, 2020; Щербак, 2023; Minkov et al., 2023). Настоящая статья ставит своей целью восполнить этот пробел. Она основывается на данных телефонного опроса, проведенного в 2019–2020 годах ($N = 18\,768$), и описывает различия между 60 российскими регионами по культурному измерению индивидуализм — коллективизм (далее — ИК) (Hofstede, 1980; Minkov et al., 2017), а также связь этих различий с рядом географических переменных и показателей социально-экономической модернизации¹.

1. Некоторые из представленных ниже результатов уже опубликованы (Minkov et al., 2023). Однако упомянутая работа имеет методологический фокус и направлена прежде всего на формулирование критериев выделения единиц кросс-культурного анализа и апробацию этих критериев на российском материале. Хотя данное исследование использует в основном те же материалы и методы, акцент в нем сделан на содержательном описании культурных различий между регионами России, в частности на построении культурной карты страны по измерению индивидуализм–коллективизм. Кроме того, в эмпирический анализ добавлены новые предикторы и корреляты ИК, что позволяет дополнительно проверить устойчивость выявленных ранее закономерностей.

Почему ИК?

Культура — крайне многогранное понятие. В классической работе А. Кребера и К. Клакхона, изданной еще в 1952 году, насчитывается около 150 определений этого термина (Kroeber, Kluckhohn, 1952). Как справедливо отметил Г. Триандис, выбор конкретного определения зависит от профессиональной специализации исследователя (Триандис, 2007). В предлагаемой работе используется популярный в современной социологии и сравнительной психологии подход, в рамках которого культура понимается как набор специфических ценностей, характерных для ее носителей (Ионин, 2004: 58). Согласно определению Ш. Шварца, ценности — это «желаемые кросс-ситуативные цели, различающиеся по важности и служащие руководящими принципами в жизни человека» (Schwartz, 1994: 21; Магун, Руднев, Шмидт, 2015: 74). В свою очередь, культура представляет собой «обширный комплекс значений, убеждений, обычаев, символов, норм и ценностей», доминирующих в обществе (Шварц, 2008: 37).

Существует несколько ценностных моделей культуры, наиболее известные из которых были предложены Г. Хофстеде и М. Минковым (Hofstede, 1980; Minkov, 2018), Р. Инглхарт и К. Вельцелем (Инглхарт, Вельцель, 2011; Вельцель, 2018), а также Ш. Шварцем (Шварц, 2008). Хотя в этих моделях основными единицами анализа выступают страны, появляется все больше свидетельств в пользу применимости некоторых из них и на субнациональном уровне (Kara, Peterson, Søndergaard, 2021; Minkov, Kaasa, 2021). Это позволяет предположить, что их можно использовать и в случае такой большой и неоднородной страны, как Россия (Minkov et al., 2023).

Центральным структурным элементом всех упомянутых моделей являются так называемые измерения (*англ. dimensions*) культуры, то есть наборы концептуально и статистически связанных количественных показателей (обычно — агрегированных результатов опросов общественного мнения), отражающих преобладание конкретных норм, ценностей и представлений в разных странах (регионах). В исходной версии модели Хофстеде таких измерений было четыре (Hofstede, 1980; Лебедева, Татарко, 2007: 51-65; Лебедева, Татарко, 2009: 79-98; Безуглова, 2008; Хофстеде, 2014).

Первое, *индивидуализм — коллективизм*, отражало то, в какой степени люди, проживающие в данной стране, автономны от или, напротив, подчинены интересам и нормам своей группы (под которой подразумевается не весь социум, а в первую очередь ближний круг — расширенная семья/клан и друзья). Измерение *дистанции власти* показывало, насколько важным в обществе считается поддержание строгой иерархии (пусть даже в ущерб социальному равенству). *Избегание неопределенности* фиксировало социетальный уровень тревоги и страха перед будущим (выражающийся в поддержке жестких норм и законов). Наконец, *маскулинность — феминность* характеризовало относительную распространенность «мужских» (прежде всего — соревновательность и жизненный успех) и «жен-

ских» (поддержание хороших отношений с другими людьми) ценностей. Затем были добавлены еще два измерения: *долгосрочная ориентация* (акцент на будущее, проявляющийся, например, в инвестициях в образование, против предпочтения консервации существующего порядка и неприятия изменений) и *снисходительность — ограничение* (позволено ли людям свободно выбирать стиль жизни и формы досуга).

Впоследствии эта громоздкая шестимерная структура была скорректирована, в результате чего появилась обновленная модель Минкова–Хофстеде (Minkov et al., 2017; Minkov, 2018; Минков, Соколов, Ломакин, 2023), упорядочивающая культурные различия между современными обществами вдоль двух основных осей: все тот же *индивидуализм — коллективизм* (включивший в себя элементы избегания неопределенности, дистанции власти, маскулинности — феминности и снисходительности — ограничения), а также *монументализм — гибкость* (МГ) (расширенная и усовершенствованная версия долгосрочной ориентации).

Недавние исследования показывают, что и модель Минкова–Хофстеде, и другие влиятельные ценностные модели являются частными вариантами латентного двумерного пространства межстрановых культурных различий, оси которого в общем соответствуют ИК и МГ (Fog, 2021, 2023; Kaasa, Minkov, 2022; Минков, Соколов, Ломакин, 2023: 295–298; Галлямова, Григорьев, 2023: 119–123). В этом отношении выбор конкретной модели во многом является делом вкуса. Однако есть ряд объективных причин, в силу которых в настоящей работе сходства и отличия культур российских регионов операционализируются в терминах ИК².

Прежде всего, это измерение является наиболее популярным в прикладных исследованиях (Галлямова, Григорьев, 2023). Его характеризуют как «самый важный результат в кросс-культурной психологии на сегодняшний день» (Smith, Dugan, Trompenaars, 1996: 237) и «наиболее значимый культурный маркер исторически расходящихся страновых траекторий [развития]» (Beugelsdijk, Welzel, 2018: 1496). По сравнению с другими измерениями, ИК обладает наибольшей предсказательной силой по отношению к широкому кругу показателей социально-экономического прогресса (Minkov, Kaasa, 2021, 2022). Кроме того, ИК является валидным не только на страновом, но и на региональном уровне (Minkov, Kaasa, 2021; Minkov et al., 2023). Это измерение активно применяется и отечественными исследователями (напр.: Наумов, 1996; Данилова, Тарарухина, 2003; Латов, Латова, Николаева, 2005; Латов, Латова, 2007; Дубицкая, Тарарухина, 2010; Латова, 2016; Науменко, Морозова, 2018; Антонов и др. 2019; Брызгалин, Никишина, 2020). Наконец, эмпирически и концептуально ИК тесно связан с *ценностями выживания — самовыражения* Р. Инглхарта и их более поздней версией — *эмансипативными ценностями*

2. К сожалению, используемые данные не содержат надежных индикаторов измерения *монументализм — гибкость*. При этом индекс МГ, основанный на косвенных показателях (Minkov, Kaasa, 2022), сильно коррелирует с ИК ($r = 0,7$, $p < 0,001$) по российским регионам. Более того, коллинеарность ИК и МГ отмечается и на страновом уровне, в силу чего некоторые авторы высказывают сомнения в легитимности выделения последнего в отдельное измерение культуры (Галлямова, Григорьев, 2023: 118–119).

К. Вельцеля, равно как и с осью *автономия — принадлежность* Ш. Шварца (Kaasa, 2021; Minkov, Kaasa, 2022; Минков, Соколов, Ломакин, 2023). При этом используемые ниже индикаторы ИК представляют собой вариант индекса эмансипативных ценностей (Вельцель, 2018), так что полученные результаты могут быть также интерпретированы в терминах этой альтернативной модели.

Теоретические предикторы ИК

Межстрановые различия по шкале ИК объясняются прежде всего уровнем экономического развития: *в относительно бедных обществах в большей степени распространены коллективизм, тогда как в богатых преобладают индивидуалистические установки* (Hofstede, 1980; Green, Deschamps, Pérez, 2005; Minkov et al., 2017; Santos, Varnum, Grossman, 2017; Вельцель, 2018). Эта закономерность отмечается и при сравнении регионов некоторых крупных государств (Minkov, Kaasa, 2021; Minkov et al., 2023). В условиях недостатка материальных ресурсов, порождающего ожесточенную конкуренцию за них с «чужаками» и разнообразные сопутствующие угрозы и риски, выживание человека зависит в первую очередь от поддержки со стороны сообщества. Это способствует приоритизации интересов группы (которые во многом заключаются в поддержании консервативных поведенческих ограничений, функционально способствующих ее сохранению и успешной адаптации к неблагоприятным внешним условиям) над индивидуальными нуждами и желаниями (Triandis et al., 1988: 324). По мере роста благосостояния давление среды ослабевает, а обеспечение фундаментальных потребностей в пище и защите от физического насилия для большинства перестает быть насущной проблемой, решение которой требует значительного напряжения сил на ежедневной основе. В результате у людей появляются возможности для удовлетворения потребностей более абстрактного порядка (самореализация, достижение общественного равенства и справедливости, забота о природе и т.д.) и снижаются стимулы к соблюдению строгих коллективных норм, — групповая принадлежность больше не играет столь важную роль (Минков, Соколов, Ломакин, 2023: 307; Вельцель, 2018).

Также тесно связаны с ИК некоторые географические факторы (Галлямова, Григорьев, 2023: 125–130). В частности, комбинация прибрежного расположения и умеренного климата, характеризующегося выраженной сезонностью температурного режима и достаточно высоким уровнем осадков, способствует преобладанию индивидуалистических установок: *такая констелляция гидрометеорологических условий обеспечивает доступность свежей воды и тем самым стимулирует развитие децентрализованных методов использования природных ресурсов, что, в свою очередь, приводит к большей автономии локальных сообществ и в конечном итоге отдельных их членов* (Welzel et al., 2023).

Кроме того, *уровень индивидуализма растет по мере удаления от экватора* (van de Vliert, 2020). На данный момент этот паттерн не имеет общепринятого объяснения. Возможно, дело в том, что географическая широта коррелирует с рас-

пространенностью патогенов, угроза со стороны которых способствует избеганию аутистичности (Fincher et al., 2008). Будучи относительно свободными от патогенов, умеренные и высокие широты благоприятствуют развитию индивидуализма, в то время как низкие широты из-за большой патогенной нагрузки порождают коллективизм. Кроме того, инфекционные заболевания сопряжены с высокой смертностью, особенно детской, естественным ответом на что является рост рождаемости. Это ставит женщин в неблагоприятное социально-экономическое положение и препятствует их эмансипации — что является одним из отличительных признаков коллективизма (Вельцель, 2018). Другим связующим звеном могут выступать различия в исторически преобладавших типах сельского хозяйства (Minkov, Kaasa, 2021; Welzel et al., 2023) или суровость климата (van de Vliert, 2013). Последний фактор в разрезе российских регионов коррелирует с индексом коллективизма, рассчитанным на основе демографических показателей (Макласова, 2020).

Наконец, *можно ожидать положительную ассоциацию между долей русских в структуре населения и распространенностью индивидуализма в регионе*. Русские — единственная этническая группа, представленная практически во всех субъектах федерации и, следовательно, способная значимо влиять на культуру менее многочисленных народов. Однако средний размер семьи у русских один из наименьших в стране (Росстат, 2012). При этом данный показатель тесно связан с измерением *принадлежности* (Шварц, 2008), которое можно рассматривать как вариант ИК (Minkov et al., 2017): чем больше людей в среднем проживают в одном домохозяйстве, тем выше принадлежность (то есть коллективизм).

Потенциальные социально-экономические эффекты ИК

Как на межстрановом, так и на внутристрановом уровнях анализа ИК коррелирует со многими метриками социально-экономического развития и модернизации. Подробный обзор опубликованных результатов требует написания полноценной статьи³, поэтому здесь приводятся лишь некоторые из них, имеющие отношение к показателям, которые используются в эмпирическом анализе ниже. Сами эти показатели отобраны прежде всего по соображениям доступности данных для российских регионов.

В литературе активно обсуждается взаимосвязь между ИК и эффективностью государственного управления. Показано, что коллективизм тесно сопряжен с такими явлениями, как коррупция, nepotизм и клиентелизм, отрицательно сказывающимися на качестве политических институтов (Kyriacou, 2016). Вельцель (2018) отмечает, что в обществах, где преобладают индивидуалистические ценности, граждане активнее участвуют в политике и обеспечивают обратную связь для правительства, тем самым повышая его эффективность. ИК связан с типом

3. К тому же такие работы уже имеются, в том числе совсем свежие и на русском языке (Minkov, Kaasa, 2021, 2022; Минков, Соколов, Ломакин, 2023; Галлямова, Григорьев, 2023).

политического режима на страновом уровне (Minkov, Kaasa, 2021) и с индексом демократичности российских регионов (Петров, Титков, 2013) на субнациональном (Minkov et al., 2023). Можно предположить и *наличие прямой корреляции между ИК и качеством управления в отдельных субъектах РФ*.

В ряде исследований отмечается *положительная связь между ИК и инновациями* (Gorodnichenko, Roland, 2011; Taylor, Wilson, 2012; Аузан, Никишина, 2013), в том числе во внутристрановой перспективе (Minkov, Kaasa, 2021), включая Российскую Федерацию (Антонов и др., 2019). Это объясняется тем, что индивидуалистические культуры поощряют неконформистское мышление, в то время как коллективистские, напротив, подчеркивают важность следования сложившимся традициям.

Кроме того, в *индивидуалистических обществах в большей степени распространены гражданская активность и вовлеченность в разнообразные общественные движения* (что идет вразрез с интерпретацией индивидуализма как формы эгоизма) (Welzel, 2010). В то же время фокус на автономии и свободе выбора, характерный для таких социумов, может приводить к нежелательным последствиям. Так, имеются свидетельства, что *в ходе пандемии COVID-19 в странах с преобладанием коллективистских установок смертность от коронавируса была ниже*, что, видимо, сопряжено с повышенной готовностью их жителей⁴ соблюдать рекомендованные профилактические ограничения ради общественного блага (Webster et al., 2021; Maaravi et al., 2021). Нижеследующий анализ позволяет понять, проявляются ли выделенные курсивом тенденции для субъектов РФ.

Данные и методы

Сбор данных

Используемые материалы получены⁵ в ходе масштабного межрегионального социологического опроса, проведенного Институтом сравнительных социальных исследований (CESSI) в 2019–2020 годах по методу автоматизированного компьютеризированного телефонного интервью (САТИ) (Алмакаева и др., 2024). Выборка строилась следующим образом. Сначала по показателям социально-экономического развития и численности населения были отобраны 60 из 85 субъектов РФ. На следующем этапе были сформированы региональные выборки — с помощью случайной генерации телефонных номеров (RDD) с фиксированными префиксами. Основой выборки в каждом субъекте выступало множество лиц в возрасте 18 лет и старше, проживавших в нем минимум три месяца на момент проведения интервью и имевших доступ к мобильным или стационарным телефонам. Во всех

4. Возможно, впрочем, что здесь большую роль играет позиция страны по другой оси модели Минкова–Хофстеде, *монументализм — гибкость* (Li et al., 2022).

5. Сбор данных осуществлялся в рамках проекта «Ценностная трансформация и субъективное качество жизни: региональная перспектива», поддержанного грантом Российского научного фонда (№18-18-00341).

регионах выборки репрезентируют постоянное совершеннолетнее население по ключевым социально-демографическим параметрам (пол, возраст, образование и тип населенного пункта по уровню урбанизации). Всего в опросе приняли участие 18 768 человек — по 500 в Москве и Санкт-Петербурге и примерно по 300 в остальных регионах. Анкета включала в основном стандартные вопросы Всемирного исследования ценностей (англ. *World Values Survey* — WVS) об установках респондентов по широкому кругу социально-политических проблем, а также доверии, социальном капитале и субъективном благополучии.

Описание переменных

В качестве индикаторов ИК выступают вопросы, отражающие мнения респондентов относительно репродуктивных свобод и гендерного равенства, а именно (А) их взгляды по поводу допустимости абортов, гомосексуальности и разводов, измеренные по шкале от 1 («никогда не может быть оправдано») до 10 («всегда может быть оправдано»), и (Б) согласие по 4-балльной шкале (1 — «полностью согласен», 4 — «полностью не согласен») с утверждениями относительно равенства мужчин и женщин в таких сферах, как политика, образование, домашние обязанности и рынок труда, а также в плане способности разбираться в технических вопросах. Хотя такой метод измерения ИК отличается от оригинального подхода Хофстеде, похожие варианты использовались в ряде недавних межстрановых и субнациональных исследований и показали высокую внутреннюю и внешнюю валидность (Minkov, Kaasa, 2021, 2022; Minkov et al., 2023).

Есть и теоретические основания в пользу того, чтобы рассматривать эти две группы установок как чувствительные показатели ИК в сравнительной перспективе (Minkov, Blagoev, Hofstede, 2013; Minkov et al., 2023: 643–644). Традиционные репродуктивные ограничения и подчиненное положение женщин позволяют поддерживать рождаемость на высоком уровне, что является ключевым условием выживания сообщества в неблагоприятной среде. Массовая поддержка этих норм, предполагающих строгий контроль отдельных членов сообщества на физиологическом уровне, является одним из важнейших отличительных признаков коллективистских культур, постулирующих приоритет групповых целей над личными — в том числе и в такой фундаментальной сфере, как телесность (Vauclair, Fischer, 2011: 648). Даже К. Вельцель, который применяет эти показатели — ценности *выбора* и *равенства* в его терминологии — в качестве индикаторов эмансипативных ценностей, признает правомерность их использования для измерения ИК (Beugelsdijk, Welzel, 2018: 1479–1481).

Все восемь переменных приводятся к шкале от 0 до 1, где 0 соответствует наиболее коллективистской позиции, а 1 — наиболее индивидуалистической. Затем для каждой рассчитываются арифметические средние по регионам, которые, в свою очередь, объединяются в композитный индекс с весовыми коэффициентами, полученными с помощью метода главных компонент (МГК). Итоговая шкала ИК имеет среднее ноль и стандартное отклонение единица; положительные значения

указывают на то, что уровень индивидуализма в конкретном регионе выше среднего по выборке, а отрицательные — что уровень коллективизма в конкретном регионе выше среднего по выборке. Другими словами, чем выше значение получившегося индекса, тем в большей степени в соответствующем субъекте распространены индивидуалистические ориентации; чем оно ниже, тем в большей степени распространены коллективистские ориентации.

Для операционализации выбранных предикторов ИК используются такие показатели, как (1) средняя номинальная начисленная заработная плата в регионе в тыс. рублей в 2019 году (Росстат, 2023); (2) удельная водообеспеченность региона (тыс. м³/год на душу населения) в 2017 году (НИА-Природа, 2018); (3) географическая широта столицы региона (по *Google Earth*); и (4) доля этнических русских по итогам переписи 2010 года (Росстат, 2012).

Для операционализации потенциальных эффектов ИК — (1) значения Рейтинга эффективности управления в субъектах РФ за 2020 год (Орлов, Туровский, 2022) (основывается на комбинации экспертных оценок, электоральных и опросных данных, а также социально-экономической статистики, отражающей сравнительную успешность работы региональных властей); (2) индекс инновационной деятельности за 2018 год — один из компонентов Рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации ИСИЭЗ НИУ ВШЭ (Гохберг, 2021) (объединяет показатели активности в сфере технологических и нетехнологических инноваций, удельного веса малых инновационных предприятий, затрат на технологические инновации и результативности инновационной деятельности); (3) суммарное количество избыточных смертей (на 100 000 человек) за 2020–2022 годы (GitHub, 2023) — метрика, которая считается наилучшим косвенным индикатором смертности от COVID-19 в ходе пандемии (Karlinsky, Kobak, 2021); и (4) активность гражданского общества, выраженная через число зарегистрированных на крупнейшем волонтерском сайте России «Добро.РФ» на 1000 жителей по данным на март 2021 года (Добро.РФ, 2021).

Статистический анализ

Все расчеты выполнялись с использованием языка программирования R (v4.3.1). Исходные данные и скрипты, позволяющие воспроизвести все количественные результаты, которые приводятся в тексте (включая таблицы, рисунки и дополнительную информацию, упоминаемую в сносках и в приложении), доступны по следующей ссылке: <https://lcsr.hse.ru/databases/swbreg/indcol>

Результаты

Анализ по методу главных компонент⁶ (МГК) показывает, что межрегиональные различия средних значений по восьми индикаторам ИК могут быть описаны

6. В сравнительных количественных исследованиях культура традиционно рассматривается как агрегированная характеристика территориально локализованных сообществ (прежде всего — стран

с помощью единственного измерения (см. табл. 1): первая компонента с собственным значением 5,73 объясняет 72% общей дисперсии, тогда как собственное значение следующей — всего 0,81 (10% объясненной дисперсии).

Таблица 1. Нагрузки индикаторов ИК по первой компоненте

Аборт может быть оправдан	0,957
Развод может быть оправдан	0,920
Когда рабочих мест недостаточно, мужчины должны иметь больше прав на работу, чем женщины	0,903
Ведение домашнего хозяйства — не в меньшей степени обязанность мужа, чем жены	0,857
Высшее образование важнее для мальчика, чем для девочки	0,826
Гомосексуальность может быть оправдана	0,794
Женщины способны разбираться в технических вопросах наравне с мужчинами	0,792
В целом мужчины становятся лучшими политическими лидерами, чем женщины	0,692

На рисунке 1 представлена «культурная» карта России, отражающая вариацию ИК между 60 субъектами федерации (по состоянию на 2020 год). Наиболее индивидуалистическими регионами являются Ярославская область (значение индекса ИК 1,47; см. табл. 4), Москва (1,38) и Санкт-Петербург (1,33). Для исламских регионов северо-восточного Кавказа, напротив, характерен крайне высокий уровень коллективизма (–4,01 в Дагестане и –4,38 в Чечне)⁷. Между остальными культурные раз-

или субнациональных регионов). Поэтому культурные различия чаще всего моделируются с помощью средних значений по соответствующим индикаторам, отражающим относительную распространенность тех или иных типов ценностей, установок и представлений на конкретной территории (Akaliyski et al., 2021; Welzel, Inglehart, 2016; Minkov et al., 2024). Отдельные показатели культуры на агрегированном уровне часто объединяются в композитный индекс с помощью МГК.

Этот метод, в отличие от родственного ему факторного анализа (ФА), следует формативной, а не рефлексивной логике построения шкалы. В частности, МГК не предполагает, что (ко-)вариация наблюдаемых культурных индикаторов объясняется воздействием некоторой латентной переменной (фактора). Напротив, МГК позволяет свести размерность пространства культурных различий к одному или нескольким композитным индексам, которые в максимально возможной степени отражают вариацию (не только совместную, как в ФА, но и частично идиосинкратическую) отдельных индикаторов между сравниваемыми регионами. Впрочем, вопрос о том, какой из этих подходов более уместен для построения многомерных метрик культурных различий, является дискуссионным (Welzel, Inglehart, 2016; Sokolov, 2018; Minkov et al., 2024). В любом случае, как показано в приложении (раздел 1), подтверждающий факторный анализ дает содержательно идентичные результаты, поэтому выбор между МГК и ФА в контексте задач настоящей статьи не является принципиальным.

7. Преимущественно мусульманские регионы Северного Кавказа занимают верхние позиции и в рейтинге коллективизма российских регионов, построенном на основе демографических показателей (Макласова, 2020: 31). На индивидуалистическом «полюсе» расхождения с вариантом Макласовой более заметны. В работе Брызгалина и Никишиной (2020: 117, рис. 1б), напротив, наиболее коллективистским оказывается Северо-Западный федеральный округ, в то время как наиболее индивидуалистическими — сибирские и дальневосточные территории. Эти авторы, однако, используют небольшие студенческие выборки, составленные исключительно из обучающихся на экономических

личия выражены не столь сильно (для 53 регионов из 60 значения индекса попадают в интервал от -1 до 1), хотя на Русском Севере индивидуалистические установки распространены в большей степени, в то время как на юге европейской части и Сибири — в меньшей, что может быть частично объяснено с помощью теории фронтира (Резун, Шиловский, 2005, гл. 4; Немировская, Фoa, 2013; Foa, Nemirovskaya, 2019).

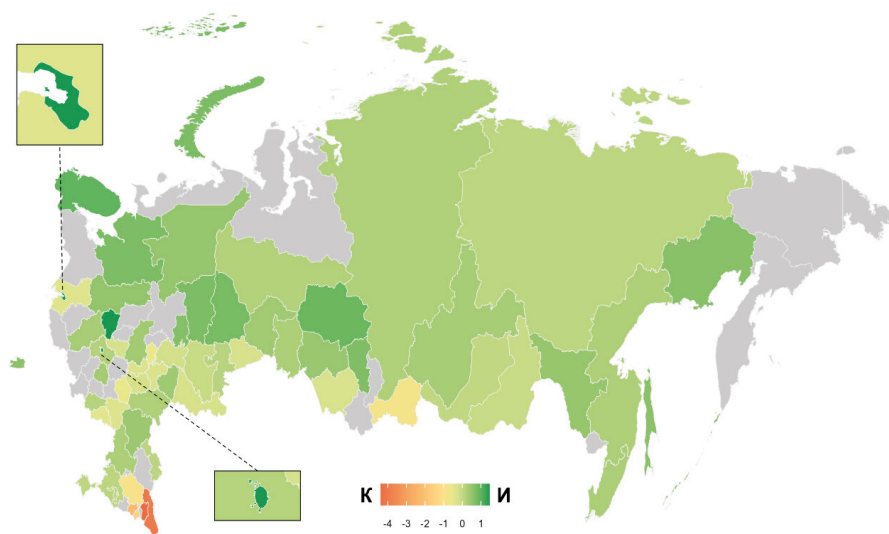


Рис. 1. Различия по шкале ИК между 60 субъектами РФ в 2020 году⁸

Рисунок 2 показывает совместные распределения региональных значений индекса ИК и четырех его теоретических предикторов с наложенными аппроксимациями функции зависимости, полученными с помощью линейной (оранжевая пунктирная прямая) и локальной полиномиальной (зеленая кривая) регрессий, а также соответствующими доверительными областями. Во всех случаях связь положительная. Так как распределение средней заработной платы сильно скошено вправо из-за наличия нескольких регионов, в которых медианный общероссийский показатель превышен в три раза, для этой переменной в расчетах используется натуральный логарифм. Корреляция по Пирсону между логарифмированной средней зарплатой и ИК равняется $0,50$ ($p < 0,001$; при использовании исходных значений $r = 0,42$, $p < 0,001$): богатые регионы действительно более индивидуалистичны. Логарифм водообеспеченности

специальностях и покрывающие только 27 регионов. Впрочем, Ярославская область и Москва выделяются уровнем индивидуализма и на их карте.

8. Границы РФ на карте показаны на момент проведения исследования (2019–2020 гг.). Серым закрашены регионы, в которых опрос не проводился. Москва и Санкт-Петербург вынесены на отдельные панели.

на душу населения⁹ также коррелирует с индивидуализмом, однако величина и уровень статистической значимости соответствующего коэффициента в целом небольшие ($r = 0,27$, $p = 0,037$) — в отличие от связи между ИК и географической широтой ($r = 0,57$, $p < 0,001$). Наиболее сильной является корреляция между ИК и долей этнических русских ($r = 0,71$, $p < 0,001$). Похожие результаты дает и множественная МНК-регрессия, включающая все четыре предиктора одновременно (табл. 2), хотя коэффициент для водообеспеченности в ней незначим. Эта модель объясняет 68,4% дисперсии ИК¹⁰.

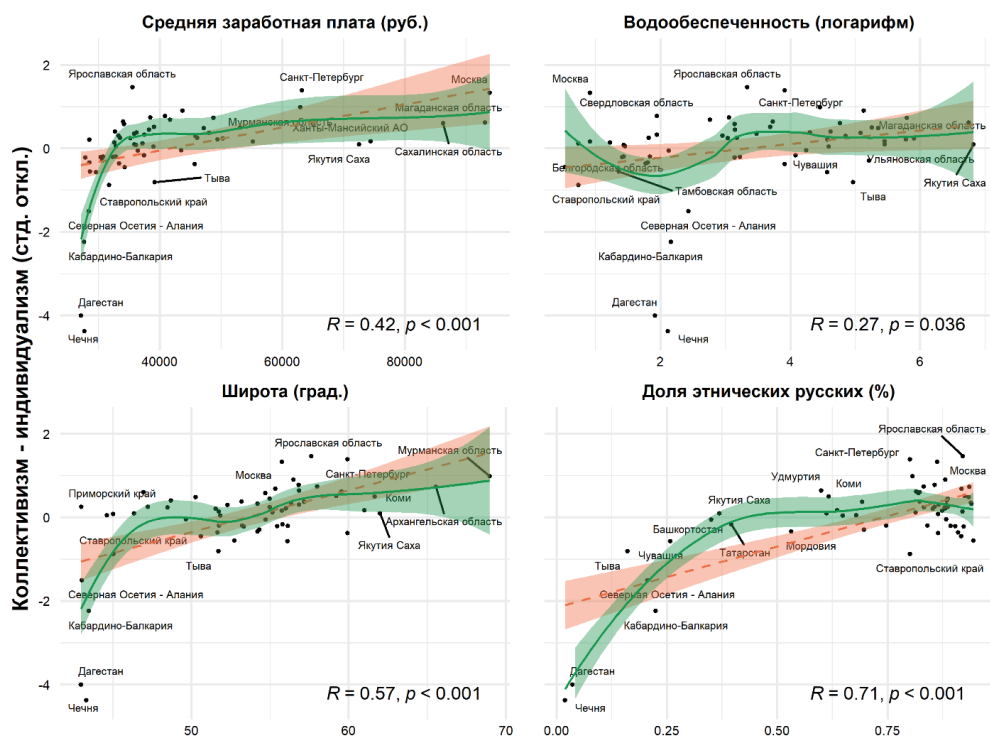


Рис. 2. Взаимосвязи ИК и его теоретических предикторов

Примечание: линейная аппроксимация и соответствующая доверительная область представлены оттенками оранжевого; локальная полиномиальная — оттенками зеленого. R — коэффициент корреляции по Пирсону; p — коэффициент статистической значимости (англ. *p-value*).

9. В Якутии и в Магаданской области водообеспеченность на душу населения более чем в 30 раз превосходит медианное значение по выборке, поэтому моделировать связь между этим показателем в исходном виде и ИК как линейную не представляется оправданным.

10. При добавлении дополнительных показателей, таких как среднегодовая температура в столице, доля жителей, родившихся в регионе, и доля жителей с высшим образованием, содержательные результаты не меняются. Новые предикторы ИК являются статистически незначимыми, а скорректированный коэффициент детерминации соответствующих моделей оказывается даже чуть ниже, чем для представленной в таблице 2. Подробности приводятся в разделе 2.1 приложения.

Таблица 2. МНК-оценки взаимосвязей ИК и его теоретических предикторов

Предиктор	β	p
Константа	-11,56	<0,001
Ср. зар. плата (log)	0,66	0,028
Водообеспеч. (log)	0,07	0,197
Широта	0,05	0,004
Доля русских	2,47	<0,001
N	60	
R ² / Скоррект. R ²	0,705 / 0,684	

Примечание: показаны нестандартизованные регрессионные коэффициенты.

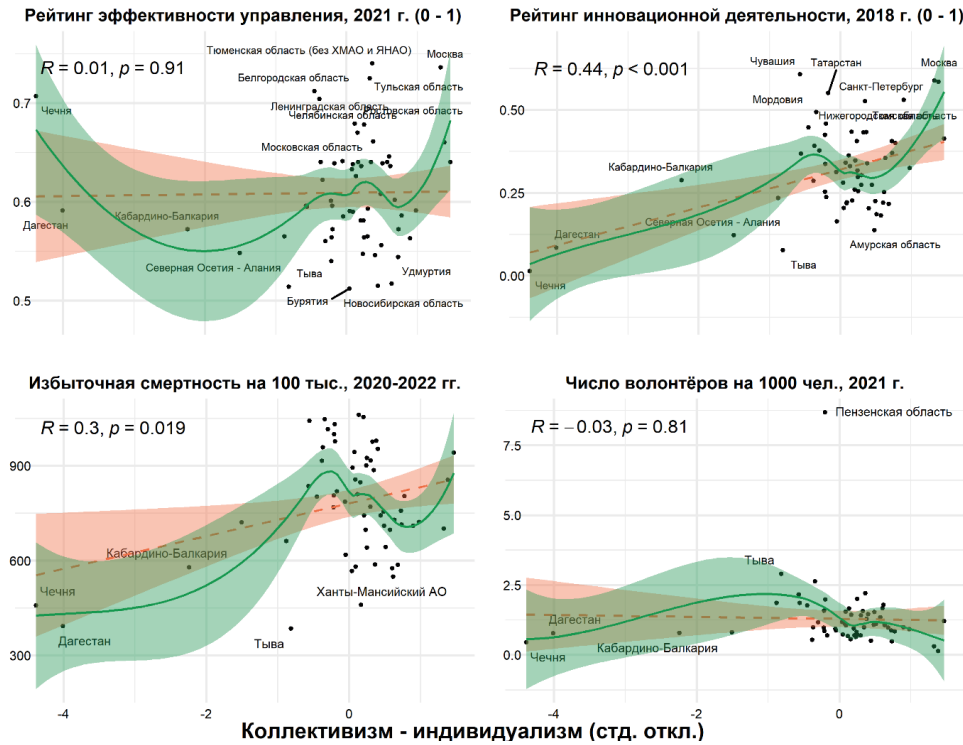


Рис. 3. Взаимосвязи ИК и избранных показателей регионального развития
Примечание: линейная аппроксимация и соответствующая доверительная область представлены оттенками оранжевого; локальная полиномиальная — оттенками зеленого. R — коэффициент корреляции по Пирсону; p — коэффициент статистической значимости (англ. p-value).

Что касается предсказательной способности региональных культурных различий, то ИК значимо и положительно связан с уровнем инновационной активности и избыточной смертностью во время пандемии (см. рис. 3 и табл. 3). При контроле на среднюю заработную плату по региону¹¹, увеличение ИК на одно стандартное отклонение сопряжено с увеличением индекса инновационной деятельности на 7 п. п. (теоретический размах — от 0 до 1) и ростом числа избыточных смертей на 100 000 человек за 2020–2022 годы на 112,78 (при разбросе значений этой переменной от 383,91 в Тыве до 1060,83 в Курской области). Корреляция между ИК и качеством работы региональных властей отсутствует. С гражданской активностью ситуация более сложная: коэффициент ИК в исходной модели незначим, но при исключении кавказских регионов и Пензенской области (в которой аномально много волонтеров) проявляется обратная зависимость между этими показателями ($\beta = -0,51$, $p = 0,003$, $N = 55$).

Таблица 3. МНК-оценки взаимосвязей ИК и избранных показателей регионального развития

Предиктор	Эффективность управления		Инновационная деятельность		Избыточная смертность		Волонтеров на 1000 человек	
	β	p	β	p	β	p	β	p
Константа	−0,07	0,819	1,05	0,092	5056,87	<0,001	9,41	0,112
ИК	−0,01	0,289	0,07	<0,001	112,78	<0,001	0,08	0,634
Ср. зар. плата (log)	0,06	0,021	−0,07	0,239	−403,81	<0,001	−0,77	0,168
N	60							
R ² / Скоррект. R ²	0,090/0,058		0,212/0,184		0,477/0,458		0,034/−0,000	
Примечание: показаны нестандартизированные регрессионные коэффициенты.								

11. С теоретической точки зрения средняя зарплата (как один из показателей уровня благосостояния) может рассматриваться как потенциально наиболее влиятельная общая причина межрегиональных различий в ИК. С теоретической точки зрения средняя зарплата (как один из показателей уровня благосостояния) может рассматриваться как потенциально наиболее влиятельная общая причина межрегиональных различий в ИК с одной стороны и эффективности управления, инновационной деятельности, избыточной смертности и волонтерской активности с другой стороны. При включении дополнительных контрольных переменных — процент жителей региона с высшим образованием, широта, доля русских — ИК остается значимым предиктором инновационной деятельности и избыточной смертности, хотя в абсолютном значении соответствующие коэффициенты несколько уменьшаются. Более подробное обсуждение этих результатов, равно как и спецификации моделей, представленных в таблице 3, дается в разделе 2.2 приложения.

Заключение

В настоящей работе описаны культурные различия между 60 субъектами Российской Федерации. На основе самого масштабного на данный момент ценностного опроса, проводившегося в стране, построена культурная карта России, отражающая межрегиональную вариацию по измерению *индивидуализм — коллективизм*. Согласно этой карте, наиболее коллективистскими регионами страны являются мусульманские республики СКФО. На другом «полюсе» — Москва, Санкт-Петербург и примкнувшая к ним Ярославская область.

Показано, что различия в преобладающих установках по отношению к репродуктивным свободам и гендерному равенству между регионами связаны с такими характеристиками, как средняя заработная плата, географическая широта, доля этнических русских и — в несколько меньшей степени — водообеспеченность на душу населения. Это свидетельствует о том, что теории, объясняющие процессы формирования национальной культуры через призму влияния экономических, историко-демографических и геоклиматических факторов, применимы и на внутристрановом уровне.

Кроме того, установлено, что региональные значения по шкале ИК коррелируют с инновационным развитием и смертностью в период пандемии COVID-19 — что также воспроизводит паттерны, ранее выявленные в межстрановых исследованиях. Вполне предсказуемо в регионах с преобладанием индивидуалистических ценностей наблюдается более высокий уровень инновационной активности. При этом в субъектах с преобладанием коллективистских ценностей зафиксировано меньше избыточных смертей в 2020–2022 годах.

В то же время не удалось подтвердить наличие связей между ИК и эффективностью государственного управления или уровнем волонтерской активности в российских регионах. Это может объясняться спецификой индикаторов, использованных для операционализации соответствующих переменных. Так, позициям конкретных субъектов в Рейтинге эффективности управления свойственна существенная и при этом нелинейная краткосрочная динамика¹². Культура меняется гораздо медленнее, поэтому ее эффекты в этом отношении могут быть не очень заметны. Подобная интерпретация подкрепляется тем фактом, что ИК коррелирует с другим политологическим рейтингом, измеряющим более стабильный признак — уровень демократичности регионов ($r = 0,44$, $p < 0,001$) (Minkov et al., 2023: 650).

Разумеется, нельзя исключать и того, что в России ИК на самом деле не связан с этими показателями: альтернативная метрика волонтерской активности — доля тех, кто указал, что работал волонтером, в том числе «...предоставлял свои про-

12. Корреляция по Пирсону между показателями 2021 и 2020 годов составляет всего 0,50. Однако в регрессионной модели с данными 2020 г. в качестве зависимой переменной коэффициент ИК также является незначимым. Кроме того, регрессионный анализ не подтверждает и предположение о параболической связи между ИК и эффективностью региональных властей в оба года.

фессиональные услуги для решения общественной проблемы, для благотворительной акции»¹³, — также демонстрирует слабую негативную ассоциацию с ИК ($r = -0,28$, $p = 0,027$), которая полностью исчезает при исключении кавказских республик ($r = -0,04$, $p = 0,749$).

Представленный анализ имеет ряд ограничений. Во-первых, хотя использованная выборка и является наиболее полной по своему покрытию из доступных, она охватывает не все регионы России. С другой стороны, сильные корреляции между ИК и другими региональными характеристиками позволяют предположить, что при необходимости можно рассчитать приближенные значения по этому измерению для тех субъектов, в которых опрос не проводился, с помощью множественного восстановления (Фабрикант, 2015).

Во-вторых, культурные различия не сводятся исключительно к ИК. В той же модели Минкова–Хофстеде есть второе измерение (МГ); имеются и альтернативные теоретические модели. Поэтому предложенную в работе карту не следует воспринимать как исчерпывающее описание всех возможных культурных особенностей российских регионов — она показывает только их положение на шкале ИК и не учитывает, например, уровни религиозности и доверия (которые могут legitimately рассматриваться в качестве важных аспектов региональной культуры), а также специфику традиций и обычаев этнических групп, проживающих в конкретных субъектах.

В-третьих, в представленных регрессионных моделях учтены далеко не все возможные предикторы и эффекты ИК. Впрочем, в таблице 4 приводятся рассчитанные по описанной выше методике значения индекса ИК для каждого региона, попавшего в выборку. Другие исследователи могут свободно использовать эти данные для изучения того, как культурная специфика связана с показателями социально-экономического развития, политической динамикой и иными характеристиками российских регионов, представляющими академический или практический интерес.

Дополнительные материалы

Приложение и архив с материалами (исходными данными и скриптами R) для воспроизведения результатов, представленных в статье, доступны по следующей ссылке: <https://lcsr.hse.ru/databases/swbreg/indcol>

13. Этот вопрос также был включен в анкету регионального исследования.

Таблица 4. Значения индекса ИК для 60 российских регионов

Регион	ИК
Ярославская обл.	1,47
Москва	1,38
Санкт-Петербург	1,33
Мурманская обл.	0,98
Томская обл.	0,90
Свердловская обл.	0,78
Архангельская обл.	0,73
Кемеровская обл.	0,73
Магаданская обл.	0,68
Пермский край	0,64
Коми	0,62
Сахалинская обл.	0,60
Удмуртия	0,58
Калининградская обл.	0,51
Вологодская обл.	0,49
Волгоградская обл.	0,48
Новосибирская обл.	0,44
Амурская обл.	0,40
Нижегородская обл.	0,38
Самарская обл.	0,37
Тверская обл.	0,35
Тульская обл.	0,33
Иркутская обл.	0,30
Тюменская обл.	0,30
Саратовская обл.	0,25
Хабаровский край	0,25
Омская обл.	0,24
Красноярский край	0,23
Ростовская обл.	0,21
Приморский край	0,20
Ханты-Мансийский АО	0,17

Краснодарский край	0,16
Якутия	0,14
Бурятия	0,12
Курская обл.	0,09
Челябинская обл.	0,09
Московская обл.	0,08
Астраханская обл.	0,05
Крым	0,04
Башкортостан	–0,05
Забайкальский край	–0,06
Алтайский край	–0,17
Татарстан	–0,20
Оренбургская обл.	–0,20
Курганская обл.	–0,21
Пензенская обл.	–0,21
Владимирская обл.	–0,22
Ульяновская обл.	–0,30
Ленинградская обл.	–0,34
Мордовия	–0,36
Воронежская обл.	–0,38
Тамбовская обл.	–0,45
Белгородская обл.	–0,56
Чувашия	–0,57
Ставропольский край	–0,81
Тыва	–0,88
Северная Осетия	–1,50
Кабардино-Балкария	–2,24
Дагестан	–4,01
Чечня	–4,38

Литература

Алмакаева А. М., Соболева Н. Э., Климова А. М., Андреевкова А. В., Понарин Э. Д.
Региональное исследование лаборатории сравнительных социальных иссле-

- дований 2019–2020. Свидетельство о регистрации базы данных RU 2024623620, 20.08.2024.
- Аузан А. А., Никишина Е. Н. (2013). Долгосрочная экономическая динамика: роль неформальных институтов // Журнал экономической теории. № 4. С. 48–57.
- Антонов Е. В., Аузан А. А., Брызгалин В. А., Вороненко В. А., Золотов А. В., Никишина Е. Н., Припузова Н. А., Трухачев С. А. (2019). Социокультурные факторы инновационной активности населения. М.: Институт национальных проектов; Российская венчурная компания.
- Бахтигараева А. И., Брызгалин В. А., Никишина Е. Н., Припузова Н. А. (2021). Социокультурные особенности регионов России: общее и различия // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. № 5. С. 29–51.
- Безуглова Н. П. (2008). Модель четырех параметров культуры Герта Хофстеде // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. № 5. С. 29–32.
- Брызгалин В. А., Никишина Е. Н. (2020). Существует ли региональная социокультурная специфика в России? Возможности использования социокультурного подхода в экономике // Вопросы экономики. № 7. С. 108–126.
- Вельцель К. П. (2018). Рождение свободы / Пер. с англ. А. Лисовского. М.: ВЦИОМ.
- ВЦИОМ. (2022). Великий пост-2022. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/velikii-post-2022> (дата доступа: 02.05.2024).
- Галлямова А. А., Григорьев Д. С. (2023). Культурное измерение «индивидуализм — коллективизм» как основной инструмент анализа сходств и различий культур // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 26. № 3. С. 115–148.
- Герд А. С., Лебедев Г. С. (ред.). (1999). Основания регионалистики. Формирование и эволюция историко-культурных зон. СПб.: Издательство СПбГУ.
- Гохберг Л. М. (ред.). (2021). Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 7. М.: НИУ ВШЭ.
- Данилова Е., Тарарухина М. (2003). Российская производственная культура в параметрах Г. Хофстеде // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3. С. 53–64.
- Добро.РФ. (2021). Аналитика волонтерства. URL: <https://dobro.ru/analytics> (дата доступа: 02.05.2024).
- Дубицкая В. П., Тарарухина М. И. (2010). Быть ли России Америкой? Российское исследование управленческой культуры по методике Герта Хофстеде // Социологический журнал. № 4. С. 42–65.
- Зайончковская Ж. А. (1999). Внутренняя миграция в России и в СССР в XX веке как отражение социальной модернизации // Мир России. Социология. Этнология. Т. 8. № 4. С. 22–34.
- Зубаревич Н. В. (2010). Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Независимый институт социальной политики.
- Инглхарт Р. Ф., Вельцель К. П. (2011). Модернизация, культурные изменения и демократия. М.: Новое издательство.

- Ионин Л. Г. (2004). Социология культуры. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ.
- Карцева М. А., Мкртчян Н. В., Флоринская Ю. Ф. (2020). Миграция в России и социально-экономическое развитие регионов: анализ взаимного влияния // Проблемы прогнозирования. № 4. С. 87-97.
- Коряков Ю. Б., Давидюк Т. И., Харитонов В. С., Евстигнеева А. П., Сюрюн А. А. (2022). Список языков России и статусы их витальности. Монография-препринт. М.: Институт языкознания РАН.
- Крылов М. П. (2010). Региональная идентичность в Европейской России. М.: Новый хронограф.
- Лапин Н. И. (ред.). (2016). Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы. М.: Весь мир.
- Латов Ю. В., Латова Н. В., Николаева С. И. (2005). Повседневная теневая экономика и национальная экономическая ментальность в современной России: взаимосвязь индексов Г. Хофстеде и индикаторов теневой экономической деятельности. М.: Директмедиа Паблишинг.
- Латов Ю. В., Латова И. В. (2007). Открытия и парадоксы этнометрического анализа российской хозяйственной культуры по методике Г. Хофстеде // Мир России. Социология. Этнология. Т. 16. № 4 С. 43-72.
- Латова Н. В. (2016). Культурная специфика россиян (этнометрический анализ на основе концепции Г. Хофстеде) // Вестник института социологии. Т. 7. № 4. С. 155-179
- Лебедева Н. М., Татарко А. Н. (2007). Ценности культуры и развитие общества. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ.
- Лебедева Н. М., Татарко А. Н. (2009). Культура как фактор общественного прогресса. М.: ЗАО «Юстицинформ».
- Лункин Р. Н. (2008). «Русские» регионы России: степень православности и политические ориентации // Социологические исследования. № 4. С. 27-36.
- Магун В. С., Руднев М. Г., Шмидт П. (2015). Европейская ценностная типология и базовые ценности россиян // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. № 3-4. С. 74-93.
- Макласова Е. В. (2020). Взаимодействие климата и экономики как фактор уровня коллективизма в регионах России // Общественные науки и современность. Т. 20. № 2. С. 25-40.
- Минков М. А., Соколов Б. О., Ломакин И. В. (2023). Эволюция модели культурных измерений Хофстеде: параллели между объективной и субъективной культурой // Социологическое обозрение. Т. 22. № 3. С. 287-317.
- Мурзина И. Я. (2004). Методологические аспекты изучения региональной культуры // Социологические исследования. № 2. С. 60-65.
- Наумов А. (1996). Хофстидово измерение России (влияние национальной культуры на управление бизнесом) // Менеджмент. № 3. С. 70-103.
- Науменко Т. В., Морозова Д. А. (2018). Теория межкультурных измерений Г. Хофстеде как методологическая основа исследования современных социальных процессов // Международный журнал исследований культуры. № 1. С. 144-154.

- Немировская А. В., Фоа Р. (2013). Социокультурные особенности фронта России // Социологические исследования. № 4. С. 80-88.
- НИА-Природа (2018). Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2017 году». М.: НИА-Природа.
- Орлов Д., Туровский Р. (2022). IX Рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации в 2021 году // Агентство политических и экономических коммуникаций. URL: http://apcom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=7691 (дата доступа: 02.05.2024).
- Ослон А. А. (2006). Мегаопросы населения России (Проект Георейтинг) // Полис. Политические исследования. № 6. С. 6-23.
- Петров Н. В., Титков А. С. (2013). Рейтинг демократичности регионов Московского центра Карнеги: 10 лет в строю. М.: Московский центр Карнеги.
- Резун Д. Я., Шиловский М. В. (2005). Сибирь, конец XVI — начало XX века: фронт в контексте этносоциальных и этнокультурных процессов. Новосибирск: ИД «Сова».
- Росстат (2012). Социально-демографический портрет России: по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года. М.: ИИЦ «Статистика России».
- Росстат (2022). Итоги ВПН-2020. Том 5. Национальный состав и владение языками. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami (дата доступа: 02.05.2024).
- Росстат (2023). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 2000–2022 гг. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 01.05.2024).
- Триандис Г. К. (2007). Культура и социальное поведение / Пер. с англ. В. А. Соснина. М.: Форум.
- Туровский Р. Ф. (2003). Соотношение культурных ландшафтов и региональной идентичности в современной России // Идентичность и география в постсоветской России / М. Бассин, К. Э. Аксенов (ред.). СПб.: Геликон Плюс. С. 139-173.
- Фабрикант М. С. (2015). Модель-ориентированный подход к отсутствующим значениям: множественная импутация в многоуровневой регрессии посредством R (на примере анализа опросных данных) // Социология: методология, методы, математическое моделирование. № 41. С. 7-29.
- Хофстеде Г. (2014). Модель Хофстеде в контексте: параметры количественной характеристики культур / Пер. с англ. В. Б. Кашкина // Язык, коммуникация и социальная среда. № 12. С. 9-49.
- Шварц Ш. (2008). Культурные ценностные ориентации: природа и следствия национальных различий // Психология. Журнал Высшей школы экономики. Т. 5. № 2. С. 37-67.
- Щербак А. Н. (2023). «Православный пояс» на электоральной карте России в 2011–2021 годах // Социологическое обозрение. Т. 22. № 3. С. 172-195.

- Щербак А. Н., Ухватова М. В. (2018). От «красного пояса» — к «библейскому»: исторические предпосылки сдвигов в политической географии России // *Общественные науки и современность*. Т. 6. № 6. С. 98–113.
- Akaliyski P., Welzel C., Bond M. H., Minkov M. (2021). On “Nationology”: The Gravitational Field of National Culture // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 52. № 8–9. P. 771–793.
- Beugelsdijk S., Welzel C. (2018). Dimensions and Dynamics of National Culture: Synthesizing Hofstede with Inglehart // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 49. № 10. P. 1469–1505.
- Fincher C. L., Thornhill R., Murray D. R., Schaller M. (2008). Pathogen Prevalence Predicts Human Cross-Cultural Variability in Individualism/Collectivism // *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*. Vol. 275. № 1640. P. 1279–1285.
- Foa R. S., Nemirovskaya A. (2019) Frontier Settlement and the Spatial Variation of Civic Institutions // *Political Geography*. Vol. 73. P. 112–122.
- Fog A. (2021). A Test of the Reproducibility of the Clustering of Cultural Variables // *Cross-Cultural Research*. Vol. 55. № 1. P. 29–57.
- Fog A. (2023). Two-Dimensional Models of Cultural Differences: Statistical and Theoretical Analysis // *Cross-Cultural Research*. Vol. 57. № 2–3. P. 115–165.
- GitHub. (2023). Excess Mortality During COVID-19 Pandemic. URL: <https://github.com/dkobak/excess-mortality> (дата доступа: 02.05.2024).
- Gorodnichenko Yu., Roland G. (2011). Individualism, Innovation, and Long-Run Growth // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol. 108. № supplement_4. P. 21316–21319.
- Green E. G. T., Deschamps J.-C., Páez D. (2005). Variation of Individualism and Collectivism Within and Between 20 Countries: A Typological Analysis // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 36. № 3. P. 321–339.
- Hofstede G. (1980). *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Kaasa A. (2021). Merging Hofstede, Schwartz, and Inglehart into a Single System // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 52. № 4. P. 339–353.
- Kaasa A., Minkov M. (2022). Are Different Two-Dimensional Models of Culture Just a Matter of Different Rotations? Evidence from the Analysis Based on the WVS/EVS // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 53. № 2. P. 127–156.
- Kara A., Peterson M. F., Søndergaard M. (2021). Seeking and Explaining Culturally Meaningful Within-Country Regions: A Functional, Institutional and Critical Event Analysis // *International Journal of Cross Cultural Management*. Vol. 21. № 3. P. 507–544.
- Karlinsky A., Kobak D. (2021). Tracking Excess Mortality Across Countries During the COVID-19 Pandemic with the World Mortality Dataset // *eLife*. Vol. 10. P. 1–21.
- Kroeber A. L., Kluckhohn C. (1952). *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. Cambridge, MA: Peabody Museum Press.

- Kyriacou A. P. (2016). Individualism–Collectivism, Governance and Economic Development // *European Journal of Political Economy*. Vol. 42. № C. P. 91–104.
- Li J., Akaliyski P., Heisig J. P., Löbl S., Minkov M. (2022). Flexible Societies Excelled in Saving Lives in the First Phase of the COVID-19 Pandemic // *Frontiers in Psychology*. Vol. 13. P. 1–13.
- Maaravi Yo., Levy A., Gur T., Confino D., Segal S. (2021). “The Tragedy of the Commons”: How Individualism and Collectivism Affected the Spread of the COVID-19 Pandemic // *Frontiers in Public Health*. Vol. 9. P. 1–6.
- Minkov M. (2018). A Revision of Hofstede’s Model of National Culture: Old Evidence and New Data from 56 Countries // *Cross Cultural & Strategic Management*. Vol. 25. № 2. P. 231–256.
- Minkov M., Blagoev V., Hofstede G. (2013). The Boundaries of Culture: Do Questions About Societal Norms Reveal Cultural Differences? // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 44. № 7. P. 1094–1106.
- Minkov M., Dutt P., Varma T., Schachner M., Morales O., Sanchez C. J., Jandosova J., Khassenbekov Ye., Mudd B. (2017). A Revision of Hofstede’s Individualism–Collectivism Dimension: A New National Index from a 56-Country Study // *Cross Cultural & Strategic Management*. Vol. 24. № 3. P. 386–404.
- Minkov M., Kaasa A. (2021). A Test of the Revised Minkov-Hofstede Model of Culture: Mirror Images of Subjective and Objective Culture Across Nations and the 50 US States // *Cross-Cultural Research*. Vol. 55. № 2–3. P. 230–281.
- Minkov M., Kaasa A. (2022). Do Dimensions of Culture Exist Objectively? A Validation of the Revised Minkov-Hofstede Model of Culture with World Values Survey Items and Scores for 102 Countries // *Journal of International Management*. Vol. 28. № 4.
- Minkov M., Sokolov B., Ponarin E., Almakaeva A., Nastina E. (2023). Is “Regional Culture” a Meaningful Concept? Cultural Differences Across 60 Russian Regions // *Cross Cultural & Strategic Management*. Vol. 30. № 3. P. 637–656.
- Minkov M., Vignoles V., Welzel C., Akaliyski P., Bond M. H., Kaasa A., Smith P. (2024). Comparative Culturology and Cross-Cultural Psychology: How Comparing Societal Cultures Differs from Comparing Individuals’ Minds Across Cultures // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 55. № 2. P. 164–188.
- Santos H. C., Varnum M. E. W., Grossman I. (2017). Global Increases in Individualism // *Psychological Science*. Vol. 28. № 9. P. 1228–1239.
- Schwartz Sh. H. (1994). Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values? // *Journal of Social Issues*. Vol. 50. № 4. P. 19–45.
- Smith P. B., Dugan S., Trompenaars F. (1996). National Culture and the Values of Organizational Employees: A Dimensional Analysis Across 43 Nations // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 27. № 2. P. 231–264.
- Sokolov B. (2018). The Index of Emancipative Values: Measurement Model Misspecifications // *American Political Science Review*. Vol. 112. № 2. P. 395–408.
- Tatarko A., Maklasova E., Van de Vliert E. (2022). Climato-Economic Context of Regional Crime and Corruption Across the Russian Federation // *Environment and Behavior*. Vol. 54. № 3. P. 575–596.

- Taylor M. Z., Wilson S.* (2012). Does Culture Still Matter? The Effects of Individualism on National Innovation Rates // *Journal of Business Venturing*. Vol. 27. № 2. P. 234–247.
- Triandis H., Bontempo R., Villareal M., Asai M., Lucca N.* (1988). Individualism and Collectivism: Cross-Cultural Perspectives on Self-Ingroup Relationships // *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol. 54. № 2. P. 323–338.
- Van de Vliert E.* (2013). Climato-Economic Habitats Support Patterns of Human Needs, Stresses, and Freedoms // *Behavioral and Brain Sciences*. Vol. 36. № 5. P. 465–480.
- Van de Vliert E.* (2020). The Global Ecology of Differentiation Between Us and Them // *Nature Human Behaviour*. Vol. 4. № 3. P. 270–278.
- Vauclair C. M., Fischer R.* (2011). Do Cultural Values Predict Individuals' Moral Attitudes? A Cross-Cultural Multilevel Approach // *European Journal of Social Psychology*. Vol. 41. № 5. P. 645–657.
- Webster G. D., Howell J. L., Losee J. E., Mahar E. A., Wongsomboon V.* (2021). Culture, COVID-19, and Collectivism: A Paradox of American Exceptionalism? // *Personality and Individual Differences*. Vol. 178.
- Welzel C.* (2010). How Selfish Are Self-Expression Values? A Civicness Test // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. Vol. 41. № 2. P. 152–174.
- Welzel C., Inglehart R. F.* (2016). Misconceptions of Measurement Equivalence: Time for a Paradigm Shift // *Comparative Political Studies*. Vol. 49. № 8. P. 1068–1094.
- Welzel C., Kruse S., Brunkert L., Brieger S. A.* (2023). Cool Water: The Geo-Climatic Source of Western Exceptionalism, Research Monograph Preprint Version # 2023-08-27. URL: https://www.coolwatereffect.com/_files/ugd/d5cf89_4dcc947d7ef746148d0365b2c2076e50.pdf (дата доступа: 02.05.2024).

Individualism–Collectivism Differences Across 60 Russian Regions

Boris Sokolov

Candidate of Sciences in Political Science, Leading Research Fellow at the Ronald F. Inglehart Laboratory for Comparative Social Research, HSE University; Associate Professor at the Department of Sociology, St. Petersburg School of Social Sciences and Area Studies, HSE University in St. Petersburg.
Address: 55-2 Sedova str., Saint Petersburg, 192171 Russian Federation
E-mail: bssokolov@gmail.com

Anna Almakaeva

PhD in Sociology, Head of the Ronald F. Inglehart Laboratory for Comparative Social Research: Associate Professor at the School of Sociology, Faculty of Social Sciences, HSE University; Academic Editor at the Department for Science and Methodology, Russian Public Opinion Research Center (VCIOM).
Address: 20 Myasnitskaya str., Moscow, 101000 Russian Federation
E-mail: aalmakaeva@hse.ru

Ilya Lomakin

Visiting Specialist at the Ronald F. Inglehart Laboratory for Comparative Social Research, HSE University, Russia; Graduate Student at the OSCE Academy in Bishkek, Kyrgyzstan; Visiting Researcher at the Faculty of Economics, University of Coimbra, Portugal.

Address: 20 Myasnitskaya str., Moscow, 101000 Russian Federation

E-mail: ilomakin@hse.ru, elijah.lomakin@gmail.com

Michael Minkov

PhD in Social Anthropology, Academic Supervisor at the Ronald F. Inglehart Laboratory for Comparative Social Research, HSE University, Russian Federation; Professor of Cross-Cultural Studies, Varna University of Management, Bulgaria.

Address: 20 Myasnitskaya str., Moscow, 101000 Russian Federation

E-mail: profminkov@abv.bg

Natalia Mikhailova

Expert at the Institute for Social Policy; Lecturer at the School of Sociology, Faculty of Social Sciences; Research Assistant at the Ronald F. Inglehart Laboratory for Comparative Social Research, HSE University.

Address: 20 Myasnitskaya str., Moscow, 101000 Russian Federation

E-mail: nmikhaylova@hse.ru

Ekaterina Nastina

Candidate of Sciences in Sociology, Junior Research Fellow at the Ronald F. Inglehart Laboratory for Comparative Social Research; Senior Lecturer at the School of Sociology, Faculty of Social Sciences, HSE University.

Address: 20 Myasnitskaya str., Moscow, 101000 Russian Federation

E-mail: enastina@hse.ru

Eduard Ponarin

PhD in Sociology, Leading Research Fellow at the Ronald F. Inglehart Laboratory for Comparative Social Research, HSE University; Professor at the Department of Sociology, St. Petersburg School of Social Sciences and Area Studies, HSE University in St. Petersburg.

Address: 55-2 Sedova str., Saint Petersburg, 192171 Russian Federation

E-mail: eponarin@hse.ru

This paper explores the cultural differences between Russian regions operationalized in terms of Minkov's recent revision of Hofstede's famous individualism — collectivism dimension (I-C). Using a large survey (N = 18,768) conducted in 2019-2020 and spanning 60 regions, we construct a cultural map of the Russian Federation illustrating within-country variation in I-C. Our measure of I-C is based on respondents' attitudes toward reproductive freedoms and gender equality in different spheres of life, aggregated to the regional level and then merged into a composite index via principal components analysis. The highest prevalence of individualistic norms is found in the Yaroslavl region, Moscow, and St. Petersburg, while the highest prevalence of collectivist norms is found in the Muslim regions of the Northern Caucasus. Such characteristics as average wage, geographical latitude of the capital, percentage of ethnic Russians and — to a somewhat lesser extent — freshwater availability per capita, predict higher prevalence of individualistic norms in regional culture. In addition, we find that the relative prevalence of individualism is associated with higher innovation rates, while the relative prevalence of collectivism is associated with less excess deaths per 100,000 during the active phase of the COVID-19 pandemic (2020-2022). At the same time, we do not observe the putative effects of I-C on the level of volunteer activity and the quality of regional governance. Finally, we report I-C scores for all 60 surveyed regions, in order

to facilitate further research endeavors focusing on the interplay between regional cultures and socio-economic modernization in Russia.

Keywords: Russian regions, culture, Minkov — Hofstede model, individualism — collectivism, innovations, socio-economic development, COVID-19 pandemic

References

- Akaliyski P., Welzel C., Bond M.H., Minkov M. (2021) On "Nationology": The Gravitational Field of National Culture. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 52, no 8–9, pp. 771–793.
- Antonov E.V., Auzan A.A., Bryzgalin V.A., Voronenko V.A., Zolotov A.V., Nikishina E.N., Pripuzova N.A., Trukhachev S.A. (2019) *Sotsiokul'turnye faktory innovatsionnoi aktivnosti naseleniya* [Sociocultural Factors of Population Innovation Activity], Moscow: Institute for National Projects; Russian Venture Company.
- Auzan A.A., Nikishina E.N. (2013) Dolgosrochnaya ehkonomicheskaya dinamika: rol' neformal'nykh institutov [Long-Term Economic Dynamics: The Role of Informal Institutions]. *Journal of Economic Theory*, no 4, pp. 48–57.
- Bakhtigaraeva A.I., Bryzgalin V.A., Nikishina E.N., Pripuzova N.A. (2021) Sotsiokul'turnye osobennosti regionov Rossii: obshchee i razlichiya [Sociocultural Specifics of Russia's Regions: Common Features and Differences]. *Moscow University Economics Bulletin*, no 5, pp. 29–51.
- Beugelsdijk S., Welzel C. (2018) Dimensions and Dynamics of National Culture: Synthesizing Hofstede with Inglehart. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 49, no 10, pp. 1469–1505.
- Bezuglova N.P. (2008) Model' chetyreh parametrov kul'tury Girta Hofsteda [Geert Hofstede's Four Cultural Dimensions Model]. *Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*, no 5, pp. 29–32.
- Bryzgalin V.A., Nikishina E.N. (2020) Sushchestvuet li regional'naya sotsiokul'turnaya spetsifika v Rossii? Vozmozhnosti ispol'zovaniya sotsiokul'turnogo podkhoda v ehkonomike [Is there a regional culture in Russia? Opportunities of using a sociocultural approach in economics]. *Voprosy ehkonomiki*, no 7, pp. 108–126.
- Danilova E., Tararukhina M. (2003) Rossijskaja proizvodstvennaja kul'tura v parametroh G. Hofsteda [The Russian Industrial Culture in G. Hofstede's Dimensions]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 3, pp. 53–64.
- Dobro.RU. (2021) *Analitika volonterstva* [Volunteering Analytics]. Available at: <https://dobro.ru/analytics> (accessed 2 May 2024).
- Dubitskaya V.P., Tararukhina M.I. (2010) Byt' li Rossii Amerikoi? Rossiiskoe issledovanie upravlencheskoi kul'tury po metodike Gerta Khofstede [Can Russia Become America? Russian Study of Management Culture Using Geert Hofstede's Method]. *Sociological Journal*, no 4, pp. 42–65.
- Fabrykant M.S. (2015) Model'-orientirovannyj podhod k otsutstvujushhim znachenijam: mnozhestvennaja imputacija v mnogourovnevoj regressii posredstvom R (na primere analiza oprosnih dannyh) [Model-Oriented Approach to Missing Values: Multiple Imputation in Multilevel Regression Using R (On the Example of Analyzing Survey Data)]. *Sociology: Methodology, Methods, Mathematical Modeling*, no 41, pp. 7–29.
- Fincher C. L., Thornhill R., Murray D.R., Schaller M. (2008) Pathogen Prevalence Predicts Human Cross-Cultural Variability in Individualism/Collectivism. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, vol. 275, no 1640, pp. 1279–1285.
- Foa R.S., Nemirovskaya A. (2019) Frontier Settlement and the Spatial Variation of Civic Institutions. *Political Geography*, vol. 73, pp. 112–122.
- Fog A. (2021) A Test of the Reproducibility of the Clustering of Cultural Variables. *Cross-Cultural Research*, vol. 55, no 1, pp. 29–57.
- Fog A. (2023) Two-Dimensional Models of Cultural Differences: Statistical and Theoretical Analysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 57, no 2–3, pp. 115–165.

- Gallyamova A. A., Grigoryev D. S. (2023) Kul'turnoe izmerenie "individualizm — kollektivism" kak osnovnoj instrument analiza shodstv i razlichij kul'tur [The Cultural Dimension "Individualism–Collectivism" as the Main Tool for Analyzing the Similarities and Differences of Cultures]. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 26, no 3, pp. 115–148.
- Gerd A. S., Lebedev G. S. (eds.) (1999) *Osnovaniya regionalistiki. Formirovanie i jevoljucija istoriko-kul'turnyh zon* [Foundations of Regionalism. Formation and Evolution of Historical and Cultural Zones], Saint Petersburg: St. Petersburg State University Publishing House.
- GitHub. (2023) Excess Mortality During COVID-19 Pandemic. Available at: <https://github.com/dkobak/excess-mortality> (accessed 2 May 2024).
- Gokhberg L. M. (ed.) (2021) *Rejting innovacionnogo razvitiya subjektov Rossijskoj Federacii. Vypusk 7* [Russian Regional Innovation Scoreboard, Issue 7], Moscow: HSE Publishing House.
- Gorodnichenko Yu., Roland G. (2011) Individualism, Innovation, and Long-Run Growth. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 108, no supplement_4, pp. 21316–21319.
- Green E. G. T., Deschamps J.-C., Páez D. (2005) Variation of Individualism and Collectivism Within and Between 20 Countries: A Typological Analysis. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 36, no 3, pp. 321–339.
- Hofstede G. (1980) *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*, Beverly Hills, CA: Sage.
- Hofstede G. (2014) Model' Hofstede v kontekste: parametry kolichestvennoj harakteristiki kul'tur [Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context]. *Language, Communication and Social Environment*, no 12, pp. 9–49.
- Inglehart R., Welzel C. (2011) *Modernizacija, kul'turnye izmenenija i demokratija* [Modernization, Cultural Change, and Democracy], Moscow: Novoye izdatelstvo.
- Ionin L. G. (2004) *Sociologija kul'tury* [Sociology of Culture], Moscow: HSE Publishing House.
- Kaasa A. (2021) Merging Hofstede, Schwartz, and Inglehart into a Single System. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 52, no 4, pp. 339–353.
- Kaasa A., Minkov M. (2022) Are Different Two-Dimensional Models of Culture Just a Matter of Different Rotations? Evidence from the Analysis Based on the WVS/EVS. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 53, no 2, pp. 127–156.
- Kara A., Peterson M. F., Søndergaard M. (2021) Seeking and Explaining Culturally Meaningful Within-Country Regions: A Functional, Institutional and Critical Event Analysis. *International Journal of Cross Cultural Management*, vol. 21, no 3, pp. 507–544.
- Karlinsky A., Kobak D. (2021) Tracking Excess Mortality Across Countries During the COVID-19 Pandemic with the World Mortality Dataset. *eLife*, vol. 10, pp. 1–21.
- Kartseva M. A., Mkrtychyan N. V., Florinskaya Yu. F. (2020) Migracija v Rossii i social'no-jeekonomicheskoe razvitie regionov: analiz vzaimnogo vlijanija [Migration in Russia and Regional Socioeconomic Development: Cross-Impact Analysis]. *Studies on Russian Economic Development*, no 4, pp. 87–97.
- Koryakov Yu. B., Davidyuk T. I., Kharitonov V. S., Evstigneeva A. P., Syuryun A. A. (2022) *Spisok jazykov Rossii i statusy ih vital'nosti. Monografija-preprint* [List of Languages of Russia and the Statuses of Their Vitality, Preprint Monograph], Moscow: Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences.
- Kroeber A. L., Kluckhohn C. (1952) *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*, Cambridge, MA: Peabody Museum Press.
- Krylov M. P. (2010) *Regional'naja identichnost' v Evropejskoj Rossii* [Regional Identity in European Russia], Moscow: Novyi Khronograf.
- Kyriacou A. P. (2016) Individualism–Collectivism, Governance and Economic Development. *European Journal of Political Economy*, vol. 42, no C, pp. 91–104.
- Lapin N. I. (ed.) (2016) *Atlas modernizacii Rossii i ee regionov: sociojeekonomicheskie i sociokul'turnye tendencii i problemy* [Atlas of Modernization of Russia and Its Regions: Socioeconomic and Sociocultural Trends and Challenges], Moscow: Ves' Mir.
- Latov Yu. V., Latova N. V., Nikolaeva S. I. (2005). *Povsednevnyaya tenevaya ehkonomika i natsional'naya ehkonomicheskaya mental'nost' v sovremennoi Rossii: vzaimosvyaz' indeksov G. Khofsteda i indikatorov tenevoi ehkonomicheskoi deyatel'nosti* [Routine Shadow Economy and National

- Economic Mentality in Modern Russia: Relationship Between Hofstede Indices and Indicators of Shadow Economy Activities], Moscow: Direktmedia Publishing
- Latov, YU. V., Latova, I. V. (2007). Otkrytiya i paradoksy etnometricheskogo analiza rossijskoi khozyaistvennoi kul'tury po metodike G. Khofsteda [Discoveries and Paradoxes of Ethnometric Analysis of Russian Economic Culture Using G. Hofstede's Methodology]. *Universe of Russia*, vol. 16, no 4, pp. 43–72.
- Latova N. V. (2016) Kul'turnaja speciYka rossijan (jetnometricheskij analiz na osnove koncepcii G. Hofsteda) [Russians' Cultural SpecYcity (An Ethnometrical Analysis Based on G. Hofstede's Model)]. *Bulletin of the Institute of Sociology*, vol. 7, no 4, pp. 155–179.
- Lebedeva N. M., Tatarko A. N. (2007) *Tsennosti kul'tury i razvitie obshchestva* [Cultural Values and Social Development], Moscow: Higher School of Economics publishing house.
- Lebedeva N. M., Tatarko A. N. (2009) Kul'tura kak faktor obshchestvennogo progressa [Culture as a Factor of Social Progress], Moscow: ZAO «YustitsinforM».
- Li J., Akaliyski P., Heisig J. P., Löbl S., Minkov M. (2022) Flexible Societies Excelled in Saving Lives in the First Phase of the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Psychology*, vol. 13, pp. 1–13.
- Lunkin R. N. (2008) "Russkie" regiony Rossii: stepen' pravoslavnosti i politicheskie orientacii ["Russian" Regions of Russia: The Degree of Orthodoxy and Political Orientations]. *Sociological Studies*, no 4, pp. 27–36.
- Maaravi Yo., Levy A., Gur T., Confino D., Segal S. (2021) "The Tragedy of the Commons": How Individualism and Collectivism Affected the Spread of the COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Public Health*, vol. 9, pp. 1–6.
- Magun V. S., Rudnev M. G., Schmidt P. (2015) Evropejskaja cennostnaja tipologija i bazovye cennosti rossijan [European Value Typology and Basic Values of Russians]. *The Russian Public Opinion Herald. Data. Analysis. Discussions*, no 3–4, pp. 74–93.
- Maklasova E. V. (2020) Vzaimodejstvie klimata i jekonomiki kak faktor urovnja kolektivizma v regionah Rossii [The Interaction of Climate and Economy as a Factor of the Level of Collectivism in the Regions of Russia]. *Social Sciences and Contemporary World*, vol. 20, no 2, pp. 25–40.
- Minkov M. (2018) A Revision of Hofstede's Model of National Culture: Old Evidence and New Data from 56 Countries. *Cross Cultural & Strategic Management*, vol. 25, no 2, pp. 231–256.
- Minkov M., Blagoev V., Hofstede G. (2013) The Boundaries of Culture: Do Questions About Societal Norms Reveal Cultural Differences? *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 44, no 7, pp. 1094–1106.
- Minkov M., Dutt P., Varma T., Schachner M., Morales O., Sanchez C. J., Jandosova J., Khassenbekov Ye., Mudd B. (2017) A Revision of Hofstede's Individualism–Collectivism Dimension: A New National Index from a 56-Country Study. *Cross Cultural & Strategic Management*, vol. 24, no 3, pp. 386–404.
- Minkov M., Kaasa A. (2021) A Test of the Revised Minkov-Hofstede Model of Culture: Mirror Images of Subjective and Objective Culture Across Nations and the 50 US States. *Cross-Cultural Research*, vol. 55, no 2–3, pp. 230–281.
- Minkov M., Kaasa A. (2022) Do Dimensions of Culture Exist Objectively? A Validation of the Revised Minkov-Hofstede Model of Culture with World Values Survey Items and Scores for 102 Countries. *Journal of International Management*, vol. 28, no 4.
- Minkov M., Sokolov B., Lomakin I. (2023) Jevoljucija modeli kul'turnyh izmerenij Hofstede: paralleli mezhdu objektivnoj i subjektivnoj kul'turoj [Evolution of the Hofstede Model of Cultural Dimensions: Parallels Between Objective and Subjective Culture]. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 3, pp. 287–317.
- Minkov M., Sokolov B., Ponarin E., Almakaeva A., Nastina E. (2023) Is "Regional Culture" a Meaningful Concept? Cultural Differences Across 60 Russian Regions. *Cross Cultural & Strategic Management*, vol. 30, no 3, pp. 637–656.
- Minkov M., Vignoles V., Welzel C., Akaliyski P., Bond M. H., Kaasa A., Smith P. (2024) Comparative Culturology and Cross-Cultural Psychology: How Comparing Societal Cultures Differs from Comparing Individuals' Minds Across Cultures. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 55, no 2, pp. 164–188.
- Murzina I. Ya. (2004) Metodologicheskie aspekty izuchenija regional'noj kul'tury [Methodological Aspects of the Study of Regional Culture]. *Sociological Studies*, no 2, pp. 60–65.

- Naumov A. (1996) Khofstidovo izmerenie Rossii (vliyanie natsional'noi kul'tury na upravlenie biznesom) [Hofstede's Dimensions of Russia (The Influence of National Culture on Business Management)]. *Management*, no 3, pp. 70-103.
- Naumenko T.V., Morozova D.A. (2018) Teoriya mezhkul'turnykh izmerenij G. Hofstede kak metodologicheskaya osnova issledovaniya sovremennykh social'nykh processov [Cultural Dimensions Theory of G. Hofstede as a Methodological Basis for the Study of Modern Social Processes]. *International Journal of Cultural Research*, no 1, pp. 144-154.
- Nemirovskaya A.V., Foa R. (2013) Sociokul'turnye osobennosti frontira Rossii [Sociocultural Features of the Frontier of Russia]. *Sociological Studies*, no 4, pp. 80-88.
- NIA-Priroda (2018) *Gosudarstvennyj doklad "O sostojanii i ispol'zovanii vodnykh resursov Rossijskoj Federacii v 2017 godu"* [State Report "On the State and Use of Water Resources of the Russian Federation in 2017"], Moscow: NIA-Priroda.
- Orlov D., Turovsky R. (2022) IX Rejting jeffektivnosti upravlenija v subjektah Rossijskoj Federacii v 2021 godu [9th Rating of Governance Efficiency in the Federal Subjects of Russia in 2021]. Available at: http://apecom.ru/projects/item.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=7691 (accessed 2 May 2024).
- Oslon A. A. (2006) Megaoprosy naselenija Rossii (Proekt Georejting)[Megapolls for Russia's Population (The "Georating" Project)]. *Polis. Political Studies*, no. 6, pp. 6-23.
- Petrov N.V., Titkov A. S. (2013) *Rejting demokratichnosti regionov Moskovskogo Centra Karnegi: 10 let v stroju* [Carnegie Moscow Centre's Rating of Democracy in Regions: 10 Years in Duty], Moscow: Carnegie Moscow Centre.
- Rezun D.Ya., Shilovsky M.V. (2005) *Sibir', konets XVI — nachalo XX veka: frontir v kontekste ehtnosotsial'nykh i ehtnokul'turnykh protsessov* [Siberia, Late 16th — Early 20th Centuries: The Frontier in the Context of Ethnosocial and Ethnocultural Processes], Novosibirsk: "Sova" Publishing House.
- Rosstat (2012) *Social'no-demograficheskij portret Rossii: Po itogam Vserossijskoj perepisi naselenija 2010 goda* [Socio-Demographic Portrait of Russia: According to the Results of the 2010 All-Russia Population Census], Moscow: IIC Statistika Rossii.
- Rosstat (2022) Itogi VPN-2020. Tom 5. Nacional'nyj sostav i vladenie jazykami [Results of the 2020 All-Russia Population Census. Vol. 5. National Composition and Language Skills]. Available at: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami (accessed 2 May 2024).
- Rosstat (2023) Srednemesjachnaja nominal'naja nachislennaja zarabotnaja plata rabotnikov v celom po jekonomike po subjektam Rossijskoj Federacii za 2000–2022 gg. [Average Monthly Nominal Accrued Wages of Workers in the Economy as a Whole by Federal Subjects of Russia in 2000–2022]. Available at: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (accessed 2 May 2024).
- Santos H. C., Varnum M. E. W., Grossman I. (2017) Global Increases in Individualism. *Psychological Science*, vol. 28, no 9, pp. 1228–1239.
- Schwartz Sh. (1994) Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values? *Journal of Social Issues*, vol. 50, no 4, pp. 19–45.
- Schwartz Sh. (2008) Kul'turnye cennostnye orientacii: priroda i sledstvija nacional'nykh razlichij [Cultural Value Orientations: Nature & Implications of National Differences]. *Psychology. Journal of the Higher School of Economics*, vol. 5, no 2, pp. 37–67.
- Shcherbak A. N. (2023) "Pravoslavnyj pojas" na jelektoral'noj karte Rossii v 2011-21 godah [The "Orthodox Belt" on the Russia's Electoral Map in 2011–2021]. *Russian Sociological Review*, vol. 22, no 3, pp. 172–195.
- Shcherbak A. N., Ukhvatova M. V. (2018) Ot "krasnogo pojasa" — k "biblejskomu": istoricheskie predposylki sdvigo v politicheskoy geografii Rossii [From "the Red Belt" to "the Bible Belt": Historical Roots of the Shift in Russian Political Geography]. *Social Sciences and Contemporary World*, vol. 6, no 6, pp. 98–113.
- Sokolov B. (2018) The Index of Emancipative Values: Measurement Model Misspecifications. *American Political Science Review*, vol. 112, no 2, pp. 395–408.

- Smith P.B., Dugan S., Trompenaars F. (1996) National Culture and the Values of Organizational Employees: A Dimensional Analysis Across 43 Nations. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 27, no 2, pp. 231–264.
- Tatarko A., Maklasova E., Van de Vliert E. (2022) Climato-Economic Context of Regional Crime and Corruption Across the Russian Federation. *Environment and Behavior*, vol. 54, no 3, pp. 575–596.
- Taylor M. Z., Wilson S. (2012) Does Culture Still Matter? The Effects of Individualism on National Innovation Rates. *Journal of Business Venturing*, vol. 27, no 2, pp. 234–247.
- Triandis G. (2007) *Kul'tura i social'noe povedenie* [Culture and Social Behavior], Moscow: Forum.
- Triandis H. C., Bontempo R., Villareal M., Asai M., Lucca N. (1988) Individualism and Collectivism: Cross-Cultural Perspectives on Self-Ingroup Relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 54, no 2, pp. 323–338.
- Turovsky R. F. (2003) Correlation of Cultural Landscapes and Regional Identity in Modern Russia. *Identity and Geography in Post-Soviet Russia* (eds. M. Bassin, K. E. Aksenov), Saint Petersburg: Helikon Plus, pp. 139–173.
- Van de Vliert E. (2013) Climato-Economic Habitats Support Patterns of Human Needs, Stresses, and Freedoms. *Behavioral and Brain Sciences*, vol. 36, no 5, pp. 465–480.
- Van de Vliert E. (2020) The Global Ecology of Differentiation Between Us and Them. *Nature Human Behaviour*, vol. 4, no 3, pp. 270–278.
- Vauclair C. M., Fischer R. (2011) Do Cultural Values Predict Individuals' Moral Attitudes? A Cross-Cultural Multilevel Approach. *European Journal of Social Psychology*, vol. 41, no 5, pp. 645–657.
- VCIOM. (2022) Velikij post — 2022 [Lent — 2022]. Available at: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/velikii-post-2022> (accessed 2 May 2024).
- Webster G. D., Howell J. L., Losee J. E., Mahar E. A., Wongsomboon V. (2021) Culture, COVID-19, and Collectivism: A Paradox of American Exceptionalism? *Personality and Individual Differences*, vol. 178.
- Welzel C. (2010) How Selfish Are Self-Expression Values? A Civicness Test. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, vol. 41, no 2, pp. 152–174.
- Welzel C. (2018) *Rozhdenie svobody* [Freedom Rising], Moscow: VCIOM.
- Welzel C., Kruse S., Brunkert L., Brieger S. A. (2023) Cool Water: The Geo-Climatic Source of Western Exceptionalism. Research Monograph Preprint Version # 2023-08-27. Available at: https://www.coolwatereffect.com/_files/ugd/d5cf89_4dcc947d7ef746148d0365b2c2076e50.pdf (accessed 2 May 2024).
- Welzel C., Inglehart R. F. (2016) Misconceptions of Measurement Equivalence: Time for a Paradigm Shift. *Comparative Political Studies*, vol. 49, no 8, pp. 1068–1094.
- Zayonchkovskaya J. A. (1999) Vnutrennjaja migracija v Rossii i v SSSR v XX veke kak otrazhenie social'noj modernizacii [Internal Migration in Russia and the USSR in the XX Century as a Reflection of Social Modernization]. *The Universe of Russia*, vol. 8, no 4, pp. 22–34.
- Zubarevich N. V. (2010) *Regiony Rossii: neravenstvo, krizis, modernizacija* [Regions of Russia: Inequality, Crisis, Modernization], Moscow: Independent Institute for Social Policy.

Браконьерство, фиктивное родство, адюльтер: культурные модели социализации в неблагополучных районах низовий Волги

Илья Ермолин

Кандидат политических наук, доцент кафедры демографии Института демографии имени А. Г. Вишневого,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, Москва, 101000 Российская Федерация
E-mail: iermolin@hse.ru

Линас Сволкинас

PhD in Environmental Studies, научный сотрудник Института проблем устойчивого развития при Школе изучения Земли и окружающей среды и Школы биологии,
Университет Лидса, Великобритания
Адрес: ул. Вудхаус-Лейн, Лидс, LS2 9JT, Великобритания
E-mail: linassvolkinas@gmail.com

Павел Суворков

Ассоциированный научный сотрудник
Центр арктических и сибирских исследований, Социологический институт РАН
Адрес: ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14. Санкт-Петербург, 190005 Российская Федерация
E-mail: psuvorkov@socinst.ru

Немногие работы в российской социологической науке посвящены неблагополучным районам. В данной статье мы рассматриваем такие исследовательские вопросы, как концептуализация неблагополучных районов при отказе от использования понятия «гетто» и культурные модели, определяющие социализацию индивидов в районах. Авторы предлагают использовать понятие автономного сообщества как замену несостоятельного концепта гетто. На материале полевых исследований нелегального рынка биоресурсов в Астраханской области с использованием социобиографического метода авторы показывают, каким образом в разных поколениях протекает социализация в домохозяйствах различного типа. Авторы считают, что разные типы домохозяйств в пойме и дельте реки Волги, образовавшиеся после 1991 года, порождают разные культурные модели социализации. Авторы обнаружили, что в пойме Волги индивиды, образующие домохозяйства, в нелегальную экономическую деятельность которых вовлечены только муж и жена, руководствуются локальными коллективными культурными моделями, приводящими к распространению гедонистического образа жизни в среде взрослых при исключении подростков и молодых взрослых из производственного процесса домохозяйства. Такая динамика приводит к постепенному разрушению коллективных социальных институтов, межпоколенческому разрыву в «альтернативных» и мейнстримных культурных моделях, отходу подростков и взрослых от занятия браконьерством, неудачной социализации взрослых и кризису данного типа домохозяйства как основы нелегального рынка биоресурсов. Напротив, в дельте Волги преобладает домохозяйство-семейная фирма. Здесь «альтернативные» культурные модели социализации определяются включением подростков и молодых взрослых в нелегальный производственный процесс, а также распространением оппозиции «свой-чужой» для поддержания стабильного социального порядка. Это способствует сохранению стабильной социальной структуры поселений в краткосрочном периоде.

Ключевые слова: гетто, автономное сообщество, социализация, культурная модель, браконьерство, адюльтер, серийный брак, фиктивное родство

В российской социологической науке есть немного работ, посвященных теории и практике социальной организации сельско-городских неблагополучных районов и социализации в них (Чернышева, 2019; Желнина, 2019). Между тем изучение изменений в социальной структуре и направлений социализации в таких районах вследствие развала СССР и последующих событий может многое рассказать про целый спектр проблемных вопросов социального российских регионов: развитии локальных социальных институтов и их влияния на адаптацию резидентов в разных культурных средах, соответственно, их способности и возможности миграции (Quillian, 1999; Sharkey, Faber, 2014), взаимодействии с окружающей средой в рамках социально-экологических систем (Gerkey, 2011; Ermolin, Svolkinas, 2016), криминализации соседства (Harding, 2009; Goffman, 2014); о репродуктивном поведении индивидов, с одной стороны, и самосохранительном и саморазрушительном — с другой, определяющими динамику рождаемости и смертности (Anderson, 1990, 1999; Buyukkeseci, 2023).

Социализация — неоднородный процесс, охватывающий все гендерно-возрастные группы, хотя наиболее часто внимание фокусируется на социализации в подростковой и ранней взрослой возрастных группах, поскольку с демографической точки зрения это «насыщенная фаза жизни» (Rindfuss, 1991), в рамках которой происходит множество событий и принимаются важнейшие решения (Richter, 2006).

В основе принятия решений стоят специфические культурные модели, присущие социальным группам какого-либо сообщества. Исследования в неблагополучных районах поставили несколько ключевых тематических дискуссионных вопросов:

- Насколько мейнстримные идеалы, как считают многие социологи, определяют культурное восприятие в рабочем и образовательном процессах, браках и деторождении в неблагополучных районах (Newman, 1999; Edin, Kefalas, 2005), или социальная изоляция приводит к культурной изоляции (Wilson, 1996)?
- Является ли культура в таких районах гомогенной (Wacquant, 1997) или гетерогенной (Harding, 2011)?
- Кто оказывает основное влияние на социализацию подростков и индивидов в раннем взрослом возрасте и как это влияние изменяется от поколения к поколению? Старшие сверстники в районе проживания навязывают свое представление о социальном порядке, который должен соблюдаться членами сообщества (эпидемическая теория) (Crane, 1991; Brewster, 1994; South, Baumer, 2000; Harding, 2009), или широко распространено заимствование ролевых моделей взрослых, означающее, что подростки могут воспроизводить модели формирования семьи, проявляющиеся в поведении взрослых (South, Crowder, 1999; South, Crowder, 2010); либо главенствует институциональная социализация (Jencks, Mayer, 1990; Siegmunt, 2016)?

В статье мы рассматриваем биографии членов домохозяйств, обусловленные гендерно-возрастными характеристиками. Основываясь на обоснованной теории конструктивистского типа и биографических интервью, проведенных с 18 респондентами разных поколений, мы описываем процесс социализации индивидов в неблагополучных районах поселений регионов Каспийского водного бассейна, социально-экономические и культурные практики населения которых тесно связаны с нелегальной рыбопромысловой деятельностью и последующим развитием нелегального рынка биоресурсов (НРБ). Мы показываем, каким образом вовлеченность в такого рода деятельность повлияла на карьерные траектории жизни индивидов, их способности к адаптации в разных социально-экономических условиях, культурно обусловленный выбор той или иной жизненной стратегии, способность наладить личную жизнь и образовать длительные семейные союзы.

Мы утверждаем, что в одних районах процесс социализации оставался в семейном русле: серьезные изменения затронули структуру домохозяйств, часто трансформируя ее в форму семейной фирмы или домохозяйства пары, объединенной общим бизнесом. В других районах социализация в семье постепенно оспаривалась другими социальными институтами, вновь образованными после развала СССР и составившими костяк локальных сообществ. Организующие категории, такие как «речка» и «рыбалка», порождающие неформальные экономические активности, усиливают в индивидах «чувство района» как формы социальной идентичности, новые или трансформированные старые социальные группы структурируют их географическое пространство, ограничивают круг лиц, с которыми у подростков и молодых людей складываются рабочие и досуговые отношения, усиливают привязанность к району, в конце концов приводящую к неспособности индивида покинуть неблагополучный район, и определяют те стратегии жизнедеятельности в районе, которые помогут им выжить, встроиться в существующую культурную модель.

Неблагополучный район: ракурсы исследований

Что такое неблагополучный район?

Социологическая перспектива исследований неблагополучных районов восходит к двум традициям: американской (с фокусом на непривилегированные и привилегированные районы) и европейской (с формально большим вниманием к каузальным механизмам городских неравенств).

Основным концептом в ракурсе американской традиции является концепт *эффекта соседства*, или *совместного проживания* (*neighborhood effect*) (Sampson, Morenoff, Gannon-Rowley, 2002; Тыканова, Тенишева, 2020). Согласно Р. Сэмпсону, районы отличаются не только по физической инфраструктуре, но и по способности к объединению (*civic capacity*) и эффективности совместного действия

(collective efficacy) (Sampson, 1997), что в конечном счете оказывает влияние на жизненные шансы резидентов. При характеристике «плохого» района (bad neighborhood) Сэмпсон и коллеги исходят из предпосылки об ограниченных возможностях формирования гражданского общества в бедных, «обессиленных» районах, поскольку в них меньше организаций (Sampson, MacIndoe, McAdam, Weffer-Elizondo, 2005). Характеристиками «плохого» района являются: 1) отсутствие комьюнити: люди отказываются принадлежать, идентифицироваться с районом, не имеют социальных связей с соседями; 2) стигматизация района: жители не хотят принимать на себя стигму района; 3) как следствие, отсутствие желания заботиться о районе.

Интересен подход Л. Вакана, совместившего в своем творчестве идею объективации социальных отношений в пространстве в традиции Бурдьё-Батлер, зависящей от процессов обустройства мест проживания и типов капитала (Butler, Robson, 2001) и ведущей к производству неравенства через пространственные отношения (Blokland, 2008), с одной стороны, и идею гетто как института Л. Вирта, с другой (Вирт, 2005). Вакан раскритиковал эффект соседства, подчеркивая, что город является историческим и политическим продуктом и сторонники эффекта соседства не учитывают факторы конкретно направленной эволюции экономической и социальной структуры общества. В этой связи маргинальность как социальная основа отношений в неблагополучных районах, по Вакану, неоднородное явление, тесно связанное со специфическими государством, классом и пространством определенного периода и общества (Wacquant, 2008a). Исторически маргинальность наряду с расой или классом обуславливали формирование районов разного типа гетто в США и банльё во Франции.

Таким образом, Вакан, своеобразно эклектируя взгляды на неблагополучный район (в различных вариациях гетто), представил культурно гомогенный, пространственно ограниченный социум, в основании которого лежит расовое господство и государственная политика (Wacquant, 1997).

Другой взгляд на неблагополучный район гетто предлагают Р. Уилсон, Д. Хардинг и упомянутый выше коллега по Гарвардскому университету и последователь Р. Уилсона, Р. Парка и Э. Берджеса — Р. Сэмпсон. Уилсон в рамках теории изоляции (Wilson, 1987) утверждает, что жители районов, характеризующихся высокой концентрацией бедности и безработицы среди мужчин (Wilson, 1996), развивают «культурные репертуары», отличные от культурных репертуаров среднего класса или общества в целом, от которого они изолированы. Таким образом, взаимодействие с соседями знакомит молодых людей с культурными моделями, «специфичными для гетто». На схожих позициях находится теория социальной дезорганизации, признающая фрагментацию соседства и нестабильность связей внутри района источниками сложностей в формировании и поддержании социального порядка (Park, Burgess, 1925; Sampson, Byron Groves, 1989).

Наконец, идеи Хардинга вылились в саму теорию культурной гетерогенности (Harding, 2009, 2011). Он постулирует наличие как мейнстримных, так и множества

частных культурных моделей, контрастирующих с общепринятой, в чем-то пересекающихся с ней (ними), но влияющих на проецирование индивидуального действия резидентов неблагополучных районов исходя из специфического социального контекста.

Неблагополучные районы в российских регионах: гетто или автономное сообщество?

Особой проблемой при анализе социальных процессов в неблагополучных районах на постсоветском пространстве является собственно дефиниция таких районов.

«Гетто» — с одной стороны, понятие, «наполненное» богатым историческим контекстом, с другой — достаточно пространное, характеризующее как географические (пространственные) границы района, так и институциональные, социально-экономические и культурные аспекты существования района, тесно связанное с идентификацией и самоидентификацией резидентов, сопутствующими явлениями стигматизации и дискриминации по расовому и национальному признакам.

Если оставить в стороне расовую сегрегацию как основу процесса геттоизации в США, справедливо отнесенную Л. А. Чернышевой к чужеродному для советской и российской градостроительной политике элементу (Чернышева, 2019: 41), думается, что классическое определение Вирта было бы уместно для характеристики как множества городских районов постсоветского пространства в целом, так и России в частности. Такие черты, как «социальная дистанция, которая складывается между его жителями и “внешним” городом, высокий уровень внутренней организации и социального контроля» (Вирт, 2005), вполне схожи с характеристиками автономного сообщества, в основании которого лежит экс-полярная экономика (Ермолин, 2019; Ермолин, Суворков, 2020; Shanin, 1990; Шанин, 1999), определяемого как «форма социальной организации индивидов анархистского типа, которая в результате эволюции социальной, экономической и политической систем превратилась в единицу хозяйственного самоуправления на определенной территории, полностью либо частично заменяющей государство в предоставлении социальных и экономических благ, обеспечении контроля над хозяйственной деятельностью и безопасностью своих членов» (Ермолин, 2019: 86).

Как бы то ни было, использование термина «автономное сообщество» для характеристики неблагополучных районов на постсоветском пространстве в целом и в России в частности может быть уместно по нескольким причинам:

- *Относительно короткий временной промежуток возникновения и формирования большинства неблагополучных районов в 1980–1990-х годах.* Традиции и культура неблагополучия, включая нормы культуры бедности, появились скорее как ситуационный спонтанный ответ на аномию, чем долгосрочный тщательно спланированный процесс.

- *Контекст российских муниципальных реформ и особенности урбанизации в России.* Важным моментом в эволюции автономных сообществ в российских городах являются особенности формирования городских районов в 2000–2010-х годах, повлиявшие на долгосрочное «состояние» жилого района (Т. Блокланд). Муниципальные реформы привели в большинстве регионов России к присоединению поселков городского типа (пгт) к крупным городам (Карачурина, 2012), так что некоторые поселения, будучи на большом отдалении от города, стали частью городских районов, как бы то ни было, не получив достаточно бюджетных средств, сохранив слабо-развитую производственную и социальную инфраструктуру и, самое интересное, свои поселковые администрации, часто конфликтовавшие с администрациями городских районов. Такая урбанизация еще больше усилила автономизацию сообществ, начавшуюся с развала СССР, а в каких-то поселениях возникшую еще раньше¹.
- *Поселения по этническому составу населения могут быть как гомогенными, так и гетерогенными, что соответствующим образом формирует культурные модели.* Автономное сообщество, как и гетто, во многих случаях представляет собой защищающееся сообщество (defended neighborhood) (Suttles, 1972; см. также развитие концепции: Kadowaki, 2019), но в отличие от гетто не являющееся анклавом с преобладанием расовой/этнической гомогенности как основы моральной категоризации района.
- *Как в гетто, так и в автономном сообществе происходит морализация восприятия района и вида неформальной деятельности (например, наркоторговли, браконьерства).* В случае автономного сообщества, однако, сначала стигматизируется неформальная экономическая деятельность, а затем уже район и его жители. В гетто же нерезиденты соотносят образ района морфологически с его обитателями, а затем уже переносят на их занятие.
- *Относительная ресурсная обеспеченность резидентов,* что дает им возможность частичной автаркии при минимальной социальной поддержке со стороны государства. В то время как в гетто источник (ресурс) в неформальной экономике в большинстве случаев опосредуется, а не изымается или производится, автономное сообщество изымает или другим способом производит ресурс, чтобы в дальнейшем либо потреблять, или же способствовать его продвижению по потребительской цепи. Автономные сообщества образовались во многих малых, средних и больших городах (а где-то захватили и районы крупных городов) и, конечно же, в сельских поселениях. Ресурсная обеспеченность резидентов состояла как из ценных или особо ценных биоресурсов, так и продуктов собирательства в виде

1. В некоторых сельских поселениях Северного Кавказа автономизацию можно связать, например, с процессом депортации представителей коренных этнических групп в 1940-х годах, причем и кавказской внутрирегиональной. Это хорошо демонстрирует случай, описанный Ермолиным и коллегами (Ermolin et al., 2023).

ягод, грибов, трав, сельскохозяйственных культур, а также мяса диких животных, не занесенных в Красную книгу РФ или региона. Подобные сообщества можно отнести к неблагополучным районам.

- *Наличие собственной системы социальных гарантий* в рамках социального контроля. Ярким примером переплетения кредитной функции и функции социального хеджирования служат ведение владельцами местных магазинов долговых тетрадей, которые содержат порой достаточно большие суммы. Основанием для функционирования являются механизмы реципрокности.

Допускается, что в России процесс автономизации отличался от стран Запада (см. подробнее: Ермолин, 2019б) и затронул в равной степени город и село. По этой причине, в отличие от гетто, концепция автономного сообщества может применяться универсально.

Подобная ситуация характерна для развития сообществ в государствах Каспийского водного бассейна. Если обратить внимание на российские регионы Прикаспия, то наиболее ярким примером выступает Республика Дагестан, где пгт вокруг Махачкалы административно образовали одно целое с центром: Кировский район Махачкалы включает в себя пгт Ленинкент, пгт Семиндер, пгт Шамхал, пгт Сулак и остров Чечень. Кроме того, в подчинение администрации этого района входят сёла Красноармейское, Богатырёвка и Шамхал-Термен. Ту же самую картину можно наблюдать и в других районах города.

Республика Калмыкия, напротив, демонстрирует пример смены состояния районов, когда ресурсная обеспеченность резидентов в определенный момент дает сбой из-за истощения ресурсных запасов, описанной в теории игр «дилеммой одного выстрела» (Cardenas et al., 2004). Ресурсная обеспеченность может прекратиться либо вследствие возвращения государством функций контроля над изъятием ресурса, нарушением цепей функционирования НРБ, социально-экономического контроля в целом, а также, например, вследствие изменения климата. Последнее и стало триггером смены состояния районов г. Лагань в Калмыкии, предопределившего массовую трудовую миграцию из поселения и дальнейшую люмпенизацию местного сообщества.

Наконец, городские и сельские поселения Астраханской области, ставшие объектом рассмотрения в данной статье, демонстрируют средний вариант из представленного.

Основные структуры автономного сообщества: основа институциональной социализации

Структуры, составляющие автономное сообщество, соответствуют выделяемым Т. Шаниным типам экс-полярной экономики и включают самообеспечиваемое (самодостаточное) домохозяйство, симбиотические структуры и неформальные (часто теневые) бизнес-структуры (Шанин, 1999). Все выде-

ленные структуры являются в той или иной степени агентами социализации, определяющими развитие индивидов на определенном этапе и, что для социологов более важно, чувство социальной самоидентичности. Как бы то ни было, как считается, самообеспечиваемое домохозяйство играет определяющую роль в структуре экс-полярной экономики (смотрите обоснование этого тезиса, в частности, в статьях сборника «Неформальная экономика: Россия и мир» (Неформальная экономика в России... 1999)) и, соответственно, оказывает наиважнейшее влияние на становление индивида как социального субъекта, осуществляя семейные функции воспитания и образования (Маккарти, Эдвардс, 2018)².

В автономных сообществах самообеспечиваемое домохозяйство отнюдь не гомогенно (Ермолин, Суворков, 2020). Выделяются *домохозяйства*, где муж совместно с женой заняты нелегальной экономической деятельностью; *домохозяйства* по типу семейной фирмы, где в процесс производства вовлечены представители всех поколений; *представители отдельных домохозяйств*, участвующие в нелегальной экономической деятельности других домохозяйств; наконец, *диффузное домохозяйство*, порождающее неформальные бизнес-структуры. Симбиотические структуры в зависимости от исследованных локальностей включают артели (и производные от них причалы) и турбазы, сельские религиозные общины в Дагестане, органы управления поселений «автономий», а также официальные рыбные рынки в крупных городах, являющиеся одними из площадок сбыта продукции сообществ.

Все домохозяйства, симбиотические структуры и неформальные бизнес-структуры в той или иной мере служат источниками кросс-когортной социализации, но если в Астраханской области преобладает первый тип домохозяйства, относительно слабо связанный с неформальными бизнес-структурами, то диффузное домохозяйство широко распространено как в горных, так и прибрежных районах Дагестана. При этом домохозяйство по типу семейной фирмы можно обнаружить во всех регионах. Гипотетически диффузное домохозяйство и семейная фирма могут обеспечивать тесную трансляцию социальных норм между поколениями.

Методология

Исследование являлось частью проекта по изучению социальной природы браконьерства Прикаспийского региона и включало в себя полевые исследования в прикаспийских областях России, Казахстана и Азербайджана. Исследование, ма-

2. Понятие семьи можно рассматривать взаимоменяемо с понятием самообеспечиваемого домохозяйства, не как структуру или социальный институт, а как семейную практику, процесс деятельности, основанный как на прошлом опыте индивида, подобно концепту габитуса П. Бурдьё (Бурдьё, 2002), так и учитывающий современные социальные реалии, в которых оказался индивид (Morgan, 1996). В этом контексте традиционный взгляд на такие социальные институты, как брак или родство, формируется сквозь призму конкретного действия индивида, влияющего на динамику ситуации в целом.

териал для которого используется в этой статье, проводилось в поселении в дельте реки Волги (население — 1000 человек), а также в городском поселении Волго-Ахтубинской поймы (население — несколько десятков тысяч человек) Астраханской области в 2012–2016 годах. Поскольку изначальная цель состояла в изучении практик браконьерства, критериями выбора мест проведения исследований были следующие факторы: современное состояние промыслового рыболовства на Каспии, интенсивность промысловой деятельности, в том числе незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысла), географическая близость к миграционным путям осетровых, географическая изменчивость экологических условий, доступность промысловых угодий и близость рыболовецкой деятельности к охраняемым территориям. Однако, поскольку интервью с самого начала проводились в стезе социобиографического подхода (life-story approach), мы пришли к пониманию важности биографии респондентов для осмысления их экономической деятельности во всем многообразии. Постепенно с возрастанием количества раундов интервью с одним респондентом и количества времени, проведенного в полевых исследованиях в целом, становилось ясно, что получается многогранная социальная история промысла, затрагивающая жизни тысяч индивидов.

Почему исследуемые районы можно считать неблагополучными? Высокая концентрация бедности и безработицы

Средняя численность работников организаций за 2012–2015 годы, осуществляющих деятельность в сфере рыболовства и рыбоводства в сельском поселении, составляет 41% от средней среднесписочной численности работников организаций за период; при этом отношение числа трудоустроенных в организациях к числу жителей, находящихся в трудоспособном возрасте, составляет в рассматриваемом интервале календарных лет всего пятую часть (порядка 20%) и имеет тенденцию к снижению (за четыре года снижение составило 6 п.п., с 23 до 17%). Очевидно, что подобный высокий уровень совокупного экономически активного, но нетрудоустроенного, и экономически неактивного населения из числа жителей трудоспособных возрастов имеет под собой определенные основания. Прежде всего можно упомянуть теневую занятость, активное участие в собственных малых предприятиях (обычно существующих в форме предпринимательства) и малых предприятиях родственников, осуществление поддерживающих и обеспечительных функций в семьях. Однако сравнение числа зарегистрированных предпринимателей и населения не показывает более высокой доли населения, зарегистрированного как ИП по отношению к общероссийским данным, следовательно, можно предполагать, что в сельском поселении могут быть развиты практики различного частного заработка, кустарного производства, интенсивного изъятия биоресурсов, прежде всего, речных (для сравнения, аналогичный показатель, характеризующий участие населения в деятельности предприятий, для административного центра области — Астрахани находился в этот период в интервале 40–45%). Также на низкий уровень экономического

благополучия могут указывать и средние начисляемые заработные платы. В сельском поселении средний уровень заработных плат за 2012–2015 годы в два раза меньше среднемесячных заработных плат в Астрахани. Нужно отметить, что в отрасли рыболовства и рыбоводства уровень фиксируемых заработных плат еще ниже (вероятно, это компенсируется теневым доходом от изъятия и продаж биоресурсов).

Городское поселение отличается в сторону большей занятости населения в трудоспособном возрасте в организациях по отношению к сельскому поселению и является достаточно близким по этому показателю интенсивности трудоустройства в организациях с Астраханью, по причине того, что городское поселение является центром муниципального района. Основное число трудоустроенных в организациях осуществляют деятельность в областях государственного управления, образования, здравоохранения, коммунальных услугах. Однако среднемесячная заработная плата работников организаций в городском поселении также существенно ниже зарплат административного центра. Занятые в сельском хозяйстве городского поселения имеют еще более низкую среднюю заработную плату. Как ни странно, в городском поселении текущим учетом практически не выделяются работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере рыболовства и рыбоводства. Видимо, это обусловлено характером социальных норм и практик неформального природопользования.

Таким образом, мы считаем, что высокая концентрация низкого достатка и низкой вовлеченности в формальный рынок труда являются признаками неблагополучности исследуемых поселений.

Данные по экспресс-анализу «включенности» населения поселений в экономику представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики особенностей трудоустройства населения рассматриваемых поселений

	2012	2013	2014	2015
Сельское поселение				
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	156***	128*	118***	112***
Оценка числа занятых в секторе рыболовства и рыбоводства (по данным 2013 года)	65***	53*	49***	46***
Среднее население в трудоспособном возрасте	674**	663**	655**	645**
Трудоустроенные в организациях по отношению к численности населения в трудоспособном возрасте, (доля ед.)	0.23***	0.19**	0.18***	0.17***
Среднемесячная заработная плата, руб.	10297***	13199*	14519***	16181***
Среднемесячная заработная плата в организациях рыболовства и рыбоводства, руб	9724**	12465*	13712**	15282**

Муниципальный район, к которому относится сельское поселение				
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	6428***	5259*	4858*	4600*
Среднесписочная численность работников организаций рыболовства и рыбоводства, чел.	760*	686*	499*	415*
Среднее население в трудоспособном возрасте	29380**	28975**	28550**	27860**
Трудоустроенные в организациях по отношению к численности населения в трудоспособном возрасте, (доля ед.)	0.22**	0.18**	0.17**	0.17**
Среднемесячная заработная плата, руб.	10091***	12936*	14230*	15859*
Среднемесячная заработная плата в организациях рыболовства и рыбоводства, руб	10047*	10149*	7023*	11564*
Городское поселение				
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	10162***	9575*	9548***	9263***
Оценка числа занятых в секторе рыболовства и рыбоводства	нд****	нд****	нд****	нд****
Среднее население в трудоспособном возрасте	22745**	21615**	20903**	20213**
Трудоустроенные в организациях по отношению к численности населения в трудоспособном возрасте, (доля ед.)	0.45**	0.44**	0.46**	0.46**
Среднемесячная заработная плата, руб.	15497***	18489*	20258***	20278***
Среднемесячная заработная плата в сельском и лесном хозяйстве, руб (достоверные данные по заработным платам в сфере рыболовства и рыбоводства - отсутствуют)	10301*	11087***	12706***	15585***
Муниципальный район, к которому относится городское поселение				
Среднесписочная численность работников организаций, чел.	12962***	12213*	12178*	11815*
Среднесписочная численность работников организаций рыболовства и рыбоводства, чел.	нд****	нд****	нд****	нд****
Среднее население в трудоспособном возрасте	40186**	38173**	36842**	35583**
Трудоустроенные в организациях по отношению к численности населения в трудоспособном возрасте (доля ед.)	0.32**	0.32**	0.33**	0.33**
Среднемесячная заработная плата, руб.	17062***	19095*	20923*	20943*
Среднемесячная заработная плата в сельском и лесном хозяйстве, руб (достоверные данные по заработным платам в сфере рыболовства и рыбоводства — отсутствуют)	10425*	11219*	12858*	15771*

Справочно: среднемесячные заработные платы в административном центре — г. Астрахань, руб.	нд****	27588*	29724*	30908*

* данные представлены «как есть» в статистике текущего учета.

** данные рассчитаны непосредственно, на основании сведений, представленных в текущем учете.

*** представлены оценки, сделанные авторами с использованием методов экстраполяции, интерполяции и аналогии на основании исходных представленных в текущем учете данных.

**** в связи с отсутствием необходимых сведений, ячейка не заполнялась.

Составлено и рассчитано авторами на базе: База данных муниципальных образований. Государственная статистика. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gks.ru/dbscripts/munst/> (дата обращения: 15.11.2024).

Методы сбора данных

Тайминг сбора данных был неравномерно распределен по времени из-за трудностей, возникавших в ходе реализации стратегии многолетних исследований (Ермолин, Сволкина, Суворков, Холмс, Гудман, 2022).

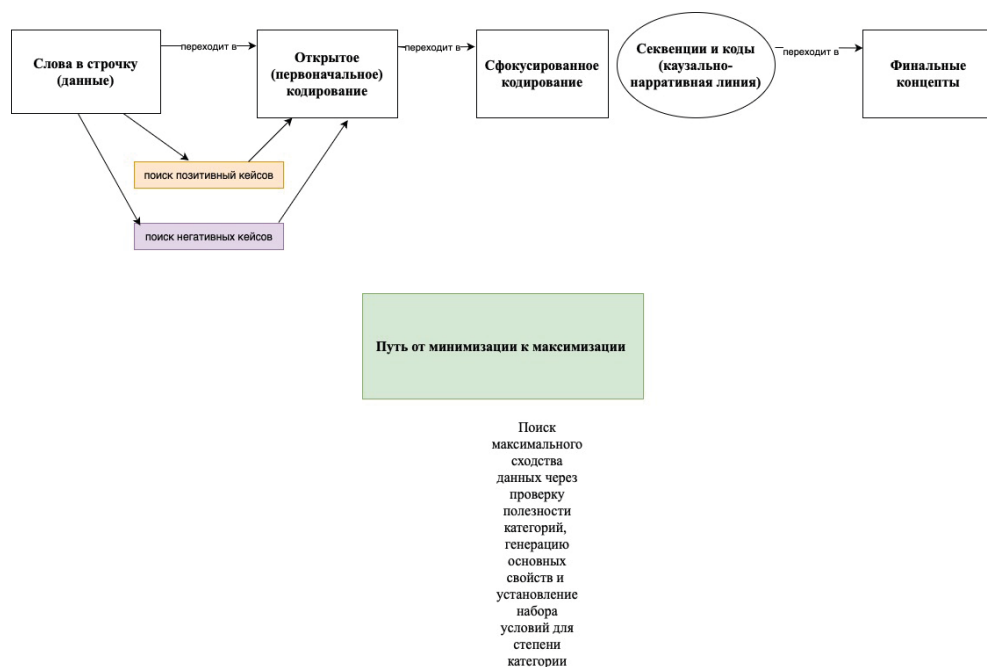
Сбор данных проводился в рамках кратких исследовательских визитов длительностью от трех недель до двух месяцев. Стратегия полевого исследования включала использование полуструктурированных интервью (от 30 мин до 4 часов), фокус-групп (по два часа в среднем), а также проведение неформальных встреч или бесед и прямых наблюдений, отраженных в полевых записках.

Основной критерий отбора респондентов — он должен был быть практикующим рыбаком. Всего для анализа ответов было взято 18 интервью с рыбаками и членами их семей. Все интервью были проведены по вопросам, разработанным в рамках социобиографического подхода. Выбор респондентов не был случайным и субъективным, поскольку взгляды исследователей на то, кто является хорошим респондентом для интервью, повлияли на процесс отбора. Включая членов семей рыбаков, мы интервьюировали людей из разных социальных слоев, таким образом стремясь повысить достоверность информации. Интервью с 11 респондентами проводились в три раунда, что позволяло усилить доверие между респондентом и исследователем (Spiro, 1996). Кроме того, еще более 100 жителей данных неблагополучных районов тем или иным путем способствовали проведению исследования. Среди них были и информанты, и просто жители, с которыми авторы проводили, например, неформальные беседы, но не интервью по обозначенному алгоритму.

Методы анализа данных

Биографический метод и этнография выступили методологическими рамками исследования. Здесь схематично представлена процедура анализа данных (схема 1 и таблица 2).

Схема 1. Структура интегрированного анализа данных



Философия анализа данных

Мы предлагаем взглянуть на социализацию в разных типах домохозяйств, преобладающих в регионах, сквозь призму семейных историй членов локальных автономных сообществ. Мы анализируем несколько основных семейных историй, дополняя очерченные траектории схожими концепциями из историй других пар респондентов. Целью реализации такого алгоритма является демонстрация разнообразия практик социализации на исследуемых территориях.

Нелегальный рынок биоресурсов как основной вид неформальной экономической деятельности в Астраханской области

Основной сферой жизнедеятельности для поселений низовий реки Волги, в особенности расположенных непосредственно в дельте, является рыболовство. Вылов рыбы частиковых пород (сазан, судак, щука, жерех) осуществляется артелями и колхозами по лицензиям и квотам, в меньшей степени индивидуально нелегально. Вылов и дальнейшая перепродажа рыб осетровых пород (русский осетр, белуга, севрюга, стерлядь, шип) полностью нелегалны, за исключением научного лова. По подсчетам Н. И. Кузнецовой, незаконное изъятие водных биологических ресурсов, в том числе особо ценных пород рыб и млекопитающих, составляет

99,7% от общего количества зарегистрированных в Астраханской области экологических преступлений (Кузнецова, 2017).

Таблица 2. Пример построчного описания секвенций, их значений, модальностей и кода

№	Строки	Значение секвенции	Кода	Модальность (описание, нарратив, интерпретация)
	4	Образование	не закончил...	описание
	6	Семейное положение	жду пятого... [ребенка]	описание
	14-15	Проживание в месте, где живет сейчас	я с детства был прописан здесь, но здесь не жил...	описание
	22-29	Причина переезда из одного места в другое	В городе менты меня начали преследовать... непостоянная была работа...	нарратив
	33	Чем занимаются дети	Ничем, они несовершеннолетние	Описание
	106-116	Отношение к образованию сейчас	как мать говорила, надо было тогда учиться... у меня не получалось... вот такие дела...	Интерпретация
	118-126	Интерес к образованию	вот и школа была... но здесь так и недоучился в вечерней школе, не пошёл	Описание

Широкое распространение ННН-промысла осетровых и прилова каспийского тюленя, как основных особо ценных биоресурсов Каспия, подтверждается цифрами, приведенными исследователями в 2000–2010-х годах для прибрежных регионов Казахстана и России, когда нелегальная добыча превышала легальную в десятки раз, при этом подпитываясь постоянным выпуском молодежи осетровых с государственных рыбопроизводящих заводов (Ermolin, Svolkinas, 2018). В то же время количество нелегальных осетровых бригад колебалось в пределах от 2130 в 2007 году (Strukova, Guchgeldiyev, 2010) до 1000 единиц в 2013–2014 годах (Ermolin, Svolkinas, 2016).

В последние десятилетия весомым источником дохода и потребления становится тюлений жир. Потребление жира в Астраханской области до сих пор не становилось предметом изучения. Однако исследование в соседнем Даге-

стане показывает рост потребления до 1000 литров в год в связи с разными эпидемиями вирусных заболеваний, особенно пандемии COVID-19 (Svolkinas et al., 2020).

Браконьерство и социальная идентичность: случай Валентина и Надежды

«Речка» и «Рыбалка»

В рассматриваемых сообществах браконьерская деятельность структурирует идентичность сообщества, одновременно являясь основным способом, которым эта идентичность переживается и укрепляется в повседневной жизни. Одна модель деятельности связана с социальными аспектами преступного сообщества, тогда как другая допускает браконьерство как необходимое зло, позволяющее людям выжить в неблагоприятных экономических и социальных условиях. Поскольку речь идет о районах, расположенных вдоль реки Волги и ее притоков, браконьерство как неформальная экономическая деятельность развивается вокруг «речки» — центральной организующей категории в семантическом словаре местных жителей. Образ реки Волги, как локальной онтологической категории, достаточно ярок в изображении респондентами своей истории жизни. Он демонстрирует значение, которое река и ее окружение сыграли в процессе социализации и то, как ее образ стал в некоторой степени абсолютным в репрезентации себя как личности, что впоследствии сформировало личность жителей сообществ и в некоторой степени их восприятие себя и развитие неформального рыбацкого образа жизни.

Один из таких респондентов, представитель первого типа домохозяйства Валентин, с раннего детства жил в тесной связи с ритмом жизни «на речке». Семейные праздники проводились «на речке». «Речка» также стала любимым местом времяпрепровождения с друзьями, и когда Валентин учился в школе, все свободное время он проводил «на речке». «Речка» была и местом, где Валентин мог уйти от контроля своего властного отца, пригласить девушек на свидание и доказать свою ценность как личности. «Речка» же «подарила» Валентину прозвище (кличку), под которым он стал впоследствии известен другим рыбакам. Его мастерство в ловле пауков размером с мышь принесло ему прозвище Дракон, уважение в глазах сверстников и поддержание длительных хороших отношений с одноклассниками.

«Речка» определила отношения Валентина с отцом — первым человеком, показавшим ему в семилетнем возрасте, как ловить «царь-рыбу»: Валентин впервые поймал 50-килограммового осетра. Опыт вылова по-настоящему большой рыбы запомнился ему. С тех пор в жизни Валентина появилась «рыбалка». «Рыбалка» привела к личному конфликту с отцом. Его отец считал, что занятие Валентина

слишком опасное, и не хотел, чтобы он продолжал вести образ жизни «рыбака»³. Валентин в интервью транслировал слова отца о себе как не очень одаренном ученике, у которого *«нет времени на учебу, все, что хочется, — это съездить на рыбалку»* (В., 41 год).

Недовольный плохой успеваемостью Валентина в школе из-за «речки», отец, будучи военным, отправил его в армию, в стройбат, в надежде преодолеть в молодом человеке желание к «рыбалке». Этот шаг примирил Валентина с отцом. Однако для него самого служба в стройбате лишь укоренила стиль жизни на «речке» через разные стратегии выживания:

«Да там много сидевших, поэтому служба была на выживание, как в тюрьме; было трудно первые полгода, а потом нормально. Сильная дедовщина была, и вешались, и убивали, и что только не было. Много было межнациональных конфликтов (узбеки, кавказцы и т.п.), стенка на стенку ходили. Были и случаи воровства и грабежей в селе, такие, что селяне писали в передачу «Служу Советскому Союзу», чтобы обороняли их от таких солдат, которые на селе всё поворовали, съели весь скот. Потом пригнали ВВ (УИН), и стало намного тише...»

Так-то в армии друзей много было, нарушали правила, а как иначе, там бардак сплошной: я тоже воровал, поскольку еда была поганой и приходилось воровать на стройке и перепродавать потом. Ходили и в лес, собирали грибы да жарили. Это было вынужденное» (В., 41 год).

Сам Валентин связывает начало настоящей «рыбалки» с периодом возвращения из армии, совпавшим с распадом СССР. В дальнейшем «рыбалка» в жизни Валентина оказала взаимозависимое влияние, во-первых, на становление социального института «братства рыбаков», во-вторых, на официальное трудоустройство, в-третьих, на развитие семейных отношений.

Официально Валентин работал один год, параллельно занимаясь «рыбалкой»: *«Сначала в гарнизоне устанавливал боеголовки на ракеты, потом поймали меня с рыбой как раз перед самой первой свадьбой... потом они попросили уволиться по собственному желанию, ну я и уволился; а потом теща первая меня устроила в котельную, сказала, что квартиру получу; там тоже нахулиганил и меня уволили по собственному желанию (на 23 февраля напились и заснула вся наша смена, а меня как молодого поставили на смену соляру подавать там, ну и я заснул; а там как два котла взорвалось, у половины гарнизона разморозило трубы); после этого я перестал работать... ночью на речке, днем на работе... там трое, такие же, как я, браконьеры, были в этой смене... такая там работа была».*

Соответственно, у него официально нет ни доходов, ни работы. Все его доходы и имущество, нажитое тяжким трудом на «речке», зарегистрированы на имя его второй жены Надежды и детей. Брак Надежды и Валентина, определяемый как классический пример домохозяйства, где муж совместно с женой заняты нелегальной экономической деятельностью, показывающий межпоколенческий разрыв,

3. Валентин не считал себя браконьером, но любил подчеркивать тот факт, что в «душе рыбак» (В., 41 год).

когда наследники не горят желанием продолжать традиционный бизнес родителей, встроен в систему «братства». Концепт «братства» отражает, с одной стороны, эгалитаризм защищающегося сообщества, заимствованный от родителей («отец нас учил не брать чужого») и испытывающий кризис, с другой — идею контекстуального сообщества (Rasanayagam, 2003), с расплывчатыми территориальными границами самого сообщества. Как следствие эгалитаризма, деньги в «братстве», как и в автономном сообществе, в целом наделяются множественными социальными функциями (Зелизер, 2002), например, деньги на «гуляние» или деньги на «выкуп» из казахского «плена» (Ермолин, 2019а).

«Шальные деньги»

Гедонистический образ жизни Валентина в «братстве» тесно связан со структурированием бюджета семьи и частыми разводами. Развод с первой женой стал прямым следствием «рыбалки» как неформальной экономической деятельности. Вторая жена, Надежда, будучи малым предпринимателем, провела всю сознательную жизнь «на речке» вместе с первым мужем — другом Валентина — любителем «рыбалки», и детьми. Их брак с Валентином продлился больше десяти лет, из которых семь лет Надежда помогала мужу в нелегальном бизнесе, обрабатывая товар, являясь посредником с клиентами и часто выступая гарантом стабильного бизнеса Валентина перед лицом «крыши» из силовых структур.

С одной стороны, Надежда называет шальные (лишние, неконтролируемые (женой)) деньги причиной развода с Валентином: *«то есть зарплату можно проконтролировать, а тут я же не знаю доход и всего остального»* (Н., 39 лет). С другой — ее статус бизнесвумен помогал прикрывать незаконно полученные шальные деньги. В этом плане примечательна история покупки Валентином автомобиля, рассказанная дочерью Надежды: Валентин заключил сделку с продавцом по покупке джипа стоимостью 35 000 евро. Но покупать машину в Москве и доставлять ее в поселение отправил жену, поскольку накануне ему приснился плохой сон, который Валентин воспринял как знак несчастья и потерю денег. На стратегию Надежды по сохранению брака с Валентином повлиял как прочный брак ее родителей, сами родители, так и ее первый брак, закончившийся неудачно по причине алкогольной зависимости первого мужа и его агрессии в пьяном состоянии. Валентин был «одобрен» дочерью Надежды за отсутствие «шабаша» в пьяном состоянии и ее родителями, давшими добро на первый развод и принявшими второго мужа, несмотря на его занятие, поскольку «любили “речку” с детства» (Н., 39 лет). В то же время сама Надежда чувствовала свою функциональную значимость в браке с Валентином, которая диктовала зависимость второго мужа и, в конце концов, вылилась в длительный процесс развода.

Для Валентина, как и для многих членов «братства», шальные деньги воспринимаются, однако, весьма рационально, как этого просит идеология эгалитаризма, наделяя деньги множественными социальными функциями: большая их часть

тратится на «гуляние» в ресторанах с «братством», другая на семью, и последняя часть делегируется на откуп как полицейской, так и криминальной «крыше» (Varese, 2001).

Рациональность такого бюджета семьи подкреплялась соответствующим восприятием женой распределения ролей. Институционализированные правила гендерного брачного поведения связаны, в частности, с тем, кто, как ожидается, будет кормильцем, а кто будет обеспечивать уход (Blumstein, Schwartz, 1985) и какую выгоду от этого получают супруги. Как бы то ни было, вопреки утверждениям теории ресурсов и модели рационального субъекта, гендерные правила в пользу контроля финансов мужчинами работают даже в случае преобладания дохода женщины в бюджете семьи (Vogler, 1998; Tichenor, 1999). В случае Валентина и Надежды для последней соблюдение гендерных правил носило априорный характер нормы первичной социализации:

«Для меня муж являлся таким же авторитетом, как и отец, но брак всегда был скорее равноправным... Если муж мне сказал сделать так, то сделаю так... Даже одежду, которую я надевала, муж все время контролировал» (Н., 39 лет).

Валентин строго контролировал и ограничивал возможности Надежды получать полную информацию про свой доход. Например, сдавал улов еще до возвращения в город и совместной работы с женой, проводя до двух месяцев на «рыбалке». Полученные деньги оставались загадкой для Надежды и шли на «гуляние».

Отчасти гендерные правила, отчасти нехватка материально независимых партнеров ее возраста предопределили достаточно лояльное отношение Надежды к еще одному продукту цепочки «речка»-«рыбалка»-шальные деньги — постоянным изменам мужа.

Серийный брак и адюльтер

Одной из важнейших социальных функций шальных денег, адресованных для «гуляний», служила социализация новых членов «братства»: рыбаки наблюдали, как новичок поведет себя в определенной ситуации, можно ли рассчитывать на взаимность и ковать доверие, какую часть денежного вознаграждения он готов отдать в «общую кассу», согласится ли он помочь кому-то из членов «братства» в сложных спорных ситуациях («разборках»). В основе материального эгалитаризма может также лежать и механизм реципрокности (Салинс, 1999), хорошо известный исследователям неблагополучных районов (Stack, 1974; Newman, 1999; Harding, 2011), когда старшие помогают младшим в отсутствие отцов среди соседской молодежи, или когда нужна помощь менее опытному и молодому работнику.

Практики адюльтера, серийного брака и последовательной полигамии можно рассматривать сквозь призму механизма реципрокности. Адюльтер, как социальная норма сельской России, перекочевала в российские города еще в дореволюционное время, когда крестьяне приезжали в города и вопреки воздействию анонимии консервировали сельские нормы общежития в землячествах или артелях (Brower,

1990). Как подчеркивает С. И. Голод, практика адюльтера получила широкое распространение в российском обществе в постсоветский период (Голод, 1994). Более сложными явлениями считаются серийный брак и последовательная полигамия. В антропологических исследованиях серийный брак принято отличать от последовательной полигамии: полигамия предполагает одновременность сексуальных отношений в пространстве, но не во времени, и возможность не образовывать формальные брачные союзы, тогда как серийный брак говорит о последовательности таких отношений во времени (Zeitzen, 2008).

В ходе бесед и интервью с членами «братства» в большинстве случаев встречались параллельные практики адюльтера и серийного брака, гораздо реже — последовательная полигамия. Эгалитаризм практики «гуляния» требует от членов «братства» не только «легкого» отношения к шальным деньгам, но и равенства в других ритуалах. В их среде распространено насилие, идентифицируемое с «братством» как закрытым сообществом (выражавшееся в помощи в решении «проблем» с другими на районе (Anderson, 1999), или казнь на «крючках» за воровство сетей или улова), доноительство (стукачество), поддержание связей с «крышей». Адюльтер и более развитая практика серийного брака не исключение: если не участвуешь, становишься чужим. Валентин эти практики описывает следующим образом:

«У нас, наверное, образ жизни такой. Процентов 90 все такие, сколько я знаю пацанов. Нам жёны такие нужны, чтобы терпели, знали и молчали. Лет до 50 гуляют, потом перестают. Кто вытерпел, дак нормально, кто нет, значит — нет. Все женаты по два, по три раза».

Культурная модель поведения Валентина и его друзей в отношениях почти во всех исследованных случаях включала этап романтических отношений, этап проверки надежности партнера и этап полезности партнера для бизнеса членов «братства». После примерно десятилетнего цикла все повторялось опять, в новом брачном союзе. Случай Валентина и Надежды, однако, показывает, что при сильной функциональной зависимости совместное проживание и деятельность могли продолжаться и после окончания формальных отношений. На момент интервью у Валентина была любовница, с которой он познакомился, когда «гулял в кабаке», но он жил в квартире бывшей жены и держал на балконе квартиры небольшую мастерскую по изготовлению снастей для «рыбалки». Профессиональная зависимость крайне затрудняла процесс развода. Окончательное расставание произошло только через шесть лет благодаря отчасти снижению уловов и способности Валентина обеспечивать рынок без помощи третьих лиц.

В рамках такой стратегии интересно отношение Валентина к детям. У Валентина в двух браках было двое детей: дочь от первого брака и сын от второго. Тогда как с дочерью-студенткой он общался очень редко, в основном снабжая ее деньгами, сына Валентин назвал в свою честь и считал долгожданным мальчиком. Его падчерица Евгения описывала свой опыт детства следующим образом:

«Он никогда не ходил на родительские собрания, никогда не проверял дневников, для него школа — это мама, которая будет заниматься школой... Его это не ин-

тересовало. Если мне не хотелось идти в школу, то мама всегда говорила, чтобы я шла и спрашивала папу (Валентина). Валентин всегда оставлял дома... Он никогда не играл в волейбол, поговорить мог, конечно... На любительскую рыбалку не брал» (Е., 21 год).

Эта история раскрывает важность различий между работой, хобби и семейной жизнью для Валентина, но также указывает на то, что это различие не является универсальным в среде рыбаков, поскольку, как мы увидим позже, в домохозяйстве — семейной фирме все три явления в целом синхронизированы во времени и пространстве. Валентин никогда не рассматривал детей как продолжение своей личности, своего увлечения «речкой» и рыбалкой, поэтому никогда не старался передать им свои навыки. Надежда подчеркивала, что Валентин «никогда не гулял с детьми, но зато дарил много подарков и одежду». Коммодификация отношений с детьми — это то, что, по мнению Валентина, отстранит детей от негативного влияния «речки». Сожаление отца и исчерпание ресурса обесценили «речку» и «рыбалку» и как хобби, и как источник заработка, сделав занятие Валентина бесперспективным. В конце концов исчерпание ресурса привело и к кризису «братства» как основного социального института в жизни Валентина.

Браконьерство и социальная идентичность: случай домохозяйств — семейных фирм поселений дельты Волги

Свои-Чужие

К югу от поселений Волго-Ахтубинской поймы располагаются поселения дельты реки Волги с преобладающим типом домохозяйства-семейной фирмы. «Речка» и «рыбалка» также оказали влияние на социально укорененные практики жизнедеятельности местных домохозяйств. Как бы то ни было, «братство» не формирует здесь схожих с поймой паттернов социализации. Это может быть следствием как более сельского уклада быта, удаленности от большого города, так и куда более слаборазвитой социально-экономической и производственной инфраструктуры поселений (см. подробнее по социально-экономическим индикаторам районов Астраханской области: Эльдяева, Салахова, 2011).

Исследованные траектории социализации указывают и на более острую по сравнению с поймой проблему «своих-чужих». «Речка» — это категория, которую почти все жители этих неблагополучных районов используют, чтобы отличать своих от чужих. Она сильно влияет, хотя и не определяет жестко, с кем из односельчан они общаются и кого из них считают потенциальными друзьями. Таисия, 58 лет — переселенка из районов Крайнего Севера — описывает проблему следующим образом:

«Они (местные) привыкли не работать вообще... И все зависит от «речки»... «речка» кормила раньше всех. Тут в сезон ловилась красная рыба икраяная, вот это всё сдавали (икру, рыбу) — все было поставлено на этом... сейчас это перекрыто,

а работать никто не хочет... вот и все... давай им работу, многие и не пойдут никуда работать... Я вот занималась рыбой или арбузы выращивала, нанять кого-то на работу — это проблемы... а если нанять, то придут, и чтобы ничего не делать, и чтобы им побольше платили...» (Т., 58 лет).

Домохозяйства-семейные фирмы первоначально сформировались в относительно изолированном социуме, где, кроме родственников, сложно было встретить кого-либо еще. Эпоха развития туризма, ассоциируемая у местных прежде всего с массовым строительством рыболовных баз, привнесла, во-первых, возможность для местных получить работу на базах; во-вторых, мигрировать, выйдя замуж или женившись на приезжих, работающих на базах; в-третьих, усиление природоохранных мероприятий, прежде всего расширение пограничной зоны, что ограничило возможности для местного населения свободно ловить любую рыбу.

Развитие туризма усугубило кризис института семьи в целом и расширенной семьи в частности, традиционно преобладавшей в сельской местности России и рассматриваемой А. Ларо в качестве основы интенсивных социальных взаимодействий в семьях низшего класса (Lareau, 2003). Миграция из поселения вовне, доступная единицам без появления «чужих», открыла местным возможности горизонтальной социальной мобильности, однако оставляя несовершеннолетних и/или партнеров незащищенными. Миграция из города в село — редкий случай. В интервью один из таких мигрантов, Даниил, признался, что из 200 человек в организации, прокладывавшей газ в селах дельты Волги, 15 человек женились на местных девушках.

История Даниила характерна. Даниил, тогда 24 года, образование среднее, мигрант из Астрахани, как и Таисия, женился на местной девушке Нине (тогда 20 лет), познакомившись с ней в магазине, куда зашел с коллегами в пьяном виде. На момент первого интервью Даниил в браке с Ниной прожил пять лет, обзавелся двумя детьми, работал вахтами экскаваторщиком последние восемь лет. В первую же встречу с Ниной зачал ребенка, хаотично решил жениться после этого, смеясь в интервью над видом «невесты с брюхом в ЗАГСе». Последующие несколько лет проводил время в основном на работе, пропустил рождение как первого, так и второго ребенка. На момент второго интервью через два года развелся с Ниной и вернулся в Астрахань, чем немало удивил и огорчил отца Нины Павла.

Социальная дезадаптация Даниила в локальной социальной среде может быть объяснена как формированием его стиля жизни, так и воздействием локальных социальных норм и механизмов. Даниил вырос в неполной семье, где отец постоянно пил и избивал мать, самого Даниила и сестру. Мать развелась с отцом, с тех пор Даниил не желает иметь никаких контактов с ним, внутренне испытывая огромное разочарование. Он не смог закончить 11 классов школы, поскольку «стал полноценно работать, чтобы был кусок хлеба» (Д., 32 года), не смог попасть на армейскую службу, когда исполнилось 18 лет, и постоянно оказывался в криминальных хрониках. Выбрал Нину только потому, что «мне там просто не хватило

(девушек), а в селе закрытый замкнутый круг, тыкаться девкам некуда, потому что местные либо алкоголики, либо братья; девушкам выходить замуж либо в город, либо в никуда» (Д., 32 года). Его мама была рада, когда Даниил женился на сельской девушке, поскольку видела в этом шаге сына выход из состояния маргинальности и не воспринимала это как нисходящую социальную мобильность. Однако прожив в селе почти восемь лет, ни с кем фактически, кроме близких родственников жены, Даниил не общался, потому что «никого не знает». Игнорировал просьбы членов домохозяйства Павла поучаствовать в промысле, поскольку «не рыбак с детства», но в то же время опасался братьев жены, которые сначала требовали от него мужских поступков при сватовстве к Нине, затем упрекали его в нежелании участвовать в общем бизнесе, хотя и понимали бесполезность помощи Даниила. Для членов домохозяйства Павла места братьев и самого Павла закреплены на вершине локальной социальной иерархии их репутацией кормильцев, институционализированным гендерным порядком, но для Даниила не существует иерархии, тем более криминальной, от которой он бежал в село, случайно женившись на Нине. Для самого Даниила проблемой стал и ритм сельской жизни, исключающей наличие постоянной «тусовки», вместо этого диктующий постоянный индивидуальный и групповой контроль Павла и братьев.

История Даниила еще раз иллюстрирует сложность социального взаимодействия со «своими». Даниил, женившись, так и не стал частью экономики домохозяйства-семейной фирмы, частью бизнеса и бюджета. Старшие члены домохозяйства, боясь потерять свой авторитет и репутацию, так и не смогли изменить ситуацию.

Фиктивное родство

Благодаря такой динамике все районы дельты Волги превратились, опять же, в «защищенные сообщества» наподобие тех, что сформировались в контекстуальном «братстве» поймы, но уже с четко очерченными границами домохозяйств-семейных фирм с жесткими барьерами для входа. Для Никиты, 17 лет, чей отец умер от алкоголизма, а мать еле сводила концы с концами, домохозяйства-семейные фирмы — это места, где «наследие» передается ему от старших поколений и где он также передаст его младшим мальчикам, с которыми сталкивается в поселении. Ограниченные в результате государственной политики выходом за пределы своего поселения, такие мальчики, как Никита, часто вступают в контакт с мужчинами старшего возраста, и эти мужчины становятся частью их социальных сетей, не обязательно как друзья, но как знакомые.

Они предоставляют им низкоквалифицированную работу в своем домохозяйстве (в бригадах по вылову рыбы или прилову тюленя), допускают к участию в «гуляниях» по разным случаям, подобно отношениям «фиктивного родственника» (Stack, 1974), как это делает для Никиты и еще нескольких ребят Виктор — друг и сосед Павла.

Виктор, 56 лет, местный житель, домохозяйство которого соответствует типу расширенной семьи: трое детей, из которых дочь с тремя детьми живут в поселении с Виктором, сын живет и в городе, и в поселении с Виктором, и еще одна дочь проживает постоянно в городе. Основным занятием домохозяйства Виктора является «рыбалка». Сам Виктор, его дочь и сын — официально безработные.

Фиктивное родство — эффективный инструмент социального контроля и надзора, который почти отсутствует в среде среднего класса, часто наблюдается в небольших городах и сельской местности, причем чем сильнее социальный кризис, тем быстрее распространяется фиктивное родство как социальная практика.

Потенциальные последствия взаимодействия с фиктивными родственниками зависят от их характеристик. Авторитет Виктора утверждается через статус и репутацию в поселении, поскольку он для сельчан хоть и рецидивист (отсидел несколько сроков), что не являет собой, однако, негативный образ, поскольку нормы тюремной культуры достаточно хорошо воспринимаются местным населением, в особенности подростками, но и «лучший охотник села» (М., 80 лет). Вот как он описывает установление социального контроля в своем домохозяйстве и селе в целом:

«Я выгнал двух мужей дочери... Она в 10-м классе замуж вышла, училась на пятерки. Муж оказался крысой, то кусок кури укрдет, то что-нибудь посерьезнее (килограммами икру для продажи)... Рожу набил и выгнал, нахер мне здесь крыса нужна... Потом у кого-то что-то украл и на 10 лет сел... Надо серьезные статьи иметь, а что так по мелочи... Сейчас (дочь) никого не подпускает... Я ей сказал...

...Хороший зять был, но бывший наркоман, потом мы вместе с ним «парились», я ему помог в одном месте, ну «откинулись», конечно... 15 лет прошло, наверное... он сам родился здесь, у нас, руки золотые, из говна конфетку может сделать, и шустрый. Но наркоман, и дочь мою, и вот этих ребят, совсем еще пацанов, посадил на иглу потом; 8 лет не пил, я его закодировал, пару раз рожу набил ему... Позже присел на таблетки и внуков начал приучать к таблеткам... Я его избил и все, выгнал отсюда» (В., 56 лет).

Рассказ Виктора иллюстрирует попытки сдержать разрушение локальных социальных структур с помощью легитимного насилия. Насилие как стратегия подкрепляется демонстрацией маскулинности как со стороны самого Виктора, так и его сына, стимулирующая реакцию как на индивидуальные, так и на локальные проблемы (Anderson, 1999). Подростки и молодые взрослые, у которых нет отцов, могут быть более восприимчивы к влиянию таких культурных моделей взрослых сверстников. Например, Павел в нескольких местах дома публично демонстрировал головы убитых им кабанов, одновременно сдавая часть дома туристам, Анатолий, сын Павла, давил на Даниила, чтобы он продемонстрировал серьезность своих намерений в отношении сестры с помощью мужских поступков. Интересна и история Игоря — сына Виктора: Игорь ждал место для строительства дома рядом с домом своего отца, где в доме проживала старая женщина Ольга, которая предложила купить Игорю однокомнатную квартиру для нее в городе взамен на этот дом,

но размен в таком случае получался бы неравноценным: Игорь нашел старика 80 лет в городе и выдал за него Ольгу, таким образом получив дом бесплатно.

Хотя осетровое браконьерство на Волге не является трофейным браконьерством, можно допустить, что умения вылавливать осетровых и туши тюленей в качестве прилова в осетровых сетях также служат свидетельством маскулинности, и в какой-то мере частью обряда инициации подростков, как это происходит в Дагестане (Ермолин, 2019а). Некоторые молодые люди — ровесники Никиты — рассказывали нам про применение физической силы к ним со стороны членов домохозяйства Виктора при подготовке и последующем успешном окончании промысла. Ребятам было отказано в оплате пойманного в первую поездку, хотя символически они были угощены ухой из осетра.

Мы подчеркнули важность насилия в сельской среде для понимания более широкого социального взаимодействия. Как и в случае с «братством», насилие, идентичность поселения и членство в сообществе тесно связаны между собой. Связь затрагивает не только тех, кто активно участвует в насилии, но и индивидов, которые остаются в стороне. Вопреки часто принятой в социологии идее «отказа» некоторых подростков от общественной жизни неблагополучного поселения или района (Managing to Make It..., 2000), мы не увидели этого в нашем случае.

Заключение: мейнстримные, или «альтернативные», культурные модели

Теоретические культурные подходы к исследованию социализации в неблагополучных районах предполагают, что эффект соседства имеет ключевое значение в построении локальных культурных моделей взаимодействия и приводит к преобладанию либо мейнстримных идеалов, или же альтернативных, «специфичных для гетто» (Wilson, 1996). Однако у этих подходов есть три существенных минуса. Во-первых, фокусирование основного внимания на американском и западноевропейском контексте, «поэтому неясно, действуют ли подобные процессы культурной передачи в других районах или среди индивидов других рас/этнических групп» (Harding, 2009: 459); при этом концепция гетто подвергается критике при использовании во внеамериканском контексте. Во-вторых, преобладание в российской социологической науке структурного подхода к социализации, применимого исключительно для анализа трансформации явления бедности в андерклассе при нисходящей мобильности и олицетворяемого с обнищанием населения (Руткевич, 2004; Ярошенко, 2006, 2019; Батуренко, 2016), что, по нашему мнению, не учитывает, например, всех эффектов неформальной экономической деятельности на социальное взаимодействие и структуру, которые могут, наоборот, предотвратить обнищание целых поселений. В-третьих, отсутствие понимания онтологии передачи культурных норм в таких районах, несмотря на сильную поддержку традиционных культурных идеалов среди резидентов бедных районов: какие онтологические категории преобладают и каким образом они влияют на процесс передачи, как трансформируются.

В нашей работе мы предлагаем исходить из концепции автономного сообщества как концепта, более подходящего для постсоветского пространства, нежели гетто. В основе культурных моделей рассматриваемых в работе автономных сообществ лежат две онтологические категории, «речка» и «рыбалка», которые, однако, по-разному определяют траектории социализации индивидов в дельте и пойме Волги.

Определяющим типом домохозяйства в пойме является нуклеарная семейная пара, где муж совместно с женой заняты нелегальной экономической деятельностью. Культурная модель социализации с раннего взрослого возраста развивалась в нуклеарном домохозяйстве и диктовалась правилами «братства» — контекстуального сообщества рыбаков поймы. «Братство» нормировало «легкое» отношение к деньгам и гедонистический образ жизни, что выразилось в норме «гуляния», порождавшей *шальные деньги*, которые, в свою очередь, разрушали семейные отношения нормами *адюльтера* и, в конце концов, или параллельно, *серийного брака*. Вероятно, в случае поймы можно говорить о наличии как мейнстримной, так и «альтернативной» локальной культурной модели, что проявляется в межпоколенческом разрыве, ненаблюдаемом в дельте Волги или в Дагестане, являющемся для автономных сообществ скорее исключением. С одной стороны, «братство» введением новых норм предложило своим членам выбрать альтернативную культурную модель, которая была бы реципрокна по отношению к младшим и формировала бы схожий для всех образ жизни, в то же время выступая альтернативой культурным моделям их родителей. В этом контексте можно рассматривать и отношение к детям: воспитанием занимается жена, наследования профессиональных навыков и умений не происходит. С другой стороны, раз такого наследования не происходит, то отпрыски без помех со стороны взрослых социализируются в социальных средах с преобладающими мейнстримными культурными моделями.

Исключительно альтернативная культурная модель развивалась в дельте, где преобладало *домохозяйство* по типу семейной фирмы, в котором в процесс производства вовлечены представители всех поколений. В отличие от поймы, социализация в семейной фирме, во-первых, проходит на контрасте «свои-чужие», во-вторых, широко использует социальный механизм фиктивного родства, подкрепляемый репутацией и иногда нормами тюремной культуры главы домохозяйства. При этом не только свои дети, но и все подростки и молодые взрослые рассматриваются и социализируются как необходимый ресурс для поддержания воспроизводства социальной структуры поселения.

Литература

- Айламазян Э. К., Беляева Т. В. (2003). Общие и частные проблемы экологической репродуктологии // Журнал акушерства и женских болезней. Т. 52. № 2. С. 4–10.
- Батуренко С. А. (2016). Андеркласс в современном российском обществе: проблема идентификации // Социология. № 1. С. 3–8.
- Бурдые П. (2002). Опыт рефлексивной социологии / Пер. с англ. Е. Д. Руткевич // Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит.; сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. М.: Книжный дом «Университет». Ч. 2. С. 163–191.

- Вирт Л. (2005). Гетто // *Вирт Л. Избранные работы по социологии* / Пер. с англ. В. Г. Николаев; отв. ред. Л. В. Гирко. М.: ИНИОН. С. 178–191.
- Голод С. И. (1994). Сексуальное поведение и субкультурная дифференциация полов // *Социологический журнал*. № 4. С. 127–133.
- Желнина А. А. (2019). «Гетто в хорошем смысле» против «бетонного гетто»: районные дискурсы и реновация в Москве // *Городские исследования и практики*. Т. 4. № 2. С. 21–36.
- Зелизер В. (2002). Создание множественных денег // *Экономическая социология*. Т. 3. № 4. С. 58–72.
- Ермолин И. В. (2019а). Предумышленный прилов каспийского тюленя и развитие нелегального рынка биоресурсов в Дагестане: экономико-социологический подход // *Экономическая социология*. Т. 20. № 1. С. 83–122.
- Ермолин И. В. (2019б). Феномен «сопротивления»: от спонтанного проявления к комплексным ответам // *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. 22. № 3. С. 141–165.
- Ермолин И. В., Суворков П. Э. (2020). На пути к теории «автономного» сообщества: эксполлярные экономические структуры прибрежного рыболовства на юге России // *Мир России. Социология. Этнология*. Т. 29. № 2. С. 156–178.
- Ермолин И. В., Сволкина Л., Суворков П. Э., Холмс Дж., Гудман С. Дж. (2022). Методологические вызовы полевых исследований нелегального рынка биоресурсов // *Экономическая социология*. Т. 23. № 1. С. 125–153.
- Карачурина Л. Б. (2012). Урбанизация по-российски // *Отечественные записки*. Т. 3. № 48. С. 10–24.
- Кузнецова Н. И. (2017). О региональных особенностях экологической преступности (на примере Астраханской области) // *Проблемы детерминации и предупреждения преступности* / Долгова А. И. (ред.). М.: Российская криминологическая ассоциация.
- Маккарти Дж. Р., Эдвардс Р. (2018). Исследования семьи: основные понятия / Пер. с англ., под науч. ред. Е. Ю. Рождественской. М.: Издательский дом «ВШЭ».
- Морозова Л. Н., Воскун С. Е., Базеров М. А., Свечина М. Н. (1998). Состояние здоровья населения, проживающего в экологически неблагоприятных городских районах // *Гигиена и санитария*. № 1. С. 34–37.
- Неформальная экономика (1999): Россия и мир. М.: Логос.
- Руткевич М. Н. (2004). Возрастание социальной напряженности к концу советского периода // *Социологические исследования*. Т. 7. № 243. С. 62–69.
- Салинс М. (1999). Экономика каменного века. М.: ОГИ.
- Тыканова Е. В., Тенишева К. А. (2020). В плену «эффекта соседства»: социальный капитал и активизм в новых анклавных жилищных комплексах // *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. 23. № 2. С. 7–35.
- Чернышева Л. А. (2019). Российское гетто: воображаемая маргинальность новых жилых районов // *Городские исследования и практики*. Т. 4. № 2. С. 37–58.
- Шанин Т. (1999). Эксполлярные структуры и неформальная экономика современной России // *Неформальная экономика: Россия и мир*. М.: Логос. С. 11–32.
- Эльдеева А. Б., Салахова Э. К. (2011). Многомерная классификация районов Астраханской области по уровню социального развития // *Вестник АГТУ: сер. Экономика*. № 2. С. 182–190.
- Ярошенко С. С. (2006). Российское поколение next: границы жизненного успеха молодых селян при капитализме // *Журнал исследований социальной политики*. Т. 4. № 2. С. 205–214.
- Ярошенко С. С. (2019). О возможностях применения теории андеркласса в России // *Социологические исследования*. № 9. С. 28–38.
- Anderson E. (1990). *Streetwise*. Chicago: University of Chicago Press.
- Anderson E. (1999). *Code of the Street*. New York: Norton.
- Blokland T. (2008). «You Got to Remember you Live in Public Housing»: Place-Making in an American Housing Project // *Housing, Theory and Society*. Vol. 25. № 1. P. 31–46.
- Blumstein P., Schwartz P. (1985). *American Couples: Money, Work, and Sex*. New York: Pocket Books.
- Brewster K. L. (1994). Race differences in sexual activity among adolescent women: The role of neighborhood characteristics // *American Sociological Review*. Vol. 59. № 3. P. 408–424.
- Brower D. R. (1990). *The Russian City Between Tradition and Modernity, 1850–1900*. Berkeley: University of California Press.

- Buyukkececi Z. (2023). Neighbourhood effects on early adulthood family life courses: A trajectory-based approach // *Population, Space and Place*. Vol. 29. № 2. e2609.
- Cardenas J. C., Ahn T. K., Ostrom E. (2004). Communication and Co-operation in a Common-Pool Resource Dilemma: A Field Experiment // *Advances in Understanding Strategic Behaviour* / S. Huck (eds.). London: Palgrave Macmillan. P. 258-286.
- Crane J. (1991). The epidemic theory of ghettos and neighborhood effects on dropping out and teenage childbearing // *American Journal of Sociology*. Vol. 96. № 5. P. 1226-1259.
- Edin K., Kefalas M. (2005). *Promises I Can Keep: Why Poor Women Put Motherhood before Marriage*. Berkeley: University of California Press.
- Ermolin I., Svolkinas L. (2016). Who Owns Sturgeon in the Caspian? New Theoretical Model of Social Responses Towards State Conservation Policy // *Biodiversity and Conservation*. Vol. 25. № 14. P. 2929-2945.
- Ermolin I., Svolkinas L. (2018). Assessment of the Sturgeon Catches and Seal Bycatches in an IUU Fishery in the Caspian Sea // *Marine Policy*. Vol. 87. P. 284-290.
- Ermolin I., Suvorkov P., Fedorova M. (2023). Demographic effects of deportation: seeking the causes of high fertility rates in the North Caucasus, Russia // *Central Asian Survey*. Vol. 42. № 1. P. 191-210.
- Furstenburg F. et al. (eds.) (2000). *Managing to Make It: Urban Families and Adolescent Success*. University of Chicago Press.
- Gerkey D. (2011). Abandoning Fish: The Vulnerability of Salmon as a Cultural Resource in a Post-Soviet Common // *Anthropology of Work Review*. Vol. 32. № 2. P. 77-89.
- Goffman A. (2014). *On the Run. Fugitive Life in an American City*. University of Chicago Press.
- Harding D.J. (2009). Violence, Older Peers, and the Socialization of Adolescent Boys in Disadvantaged Neighborhoods // *American Sociological Review*. Vol. 74. № 3. P. 445-464.
- Harding D.J. (2011). Rethinking the Cultural Context of Schooling Decisions in Disadvantaged Neighborhoods: From Deviant Subculture to Cultural Heterogeneity // *Sociology of Education*. Vol. 84. № 4. P. 322-339.
- Jencks C., Mayer S.E. (1990). The social consequences of growing up in a poor neighborhood // *Inner-City Poverty in the United States* / L. E. Lynn Jr., M. G. H. McGeary (Eds.). National Academy Press. P. 111-186.
- Kadowaki J. (2019). The Contemporary Defended Neighborhood: Maintaining Stability and Diversity through Processes of Community Defense // *City & Community*. Vol. 18. № 4. P. 1220-1239.
- Lareau A. (2003). *Unequal Childhoods*. Berkeley: University of California Press.
- Morgan D.H.J. (1996). *Family Connections: An Introduction to Family Studies*. Cambridge: Polity Press.
- Newman K. (1999). *No Shame in My Game: The Working Poor in the Inner City*. New York: Vintage and Russell Sage.
- Quillian L. (1999). Migration Patterns and the Growth of High-Poverty Neighborhoods, 1970-1990 // *American Journal of Sociology*. Vol. 105. № 1. P. 1-37.
- Park R.E., Burgess E.W. (1925). *The City*. University of Chicago Press.
- Rasanayagam J. (2003). Market, State and Community in Uzbekistan: reworking the concept of the informal economy. Max Planck Institute for Social Anthropology. Working Paper № 59.
- Richter L.M. (2006). Studying adolescence // *Science*. Vol. 312. № 5782. P. 1902-1905.
- Rindfuss R.R. (1991). The young adult years: Diversity, structural change, and fertility // *Demography*. Vol. 28. № 4. P. 493-512.
- Sampson R., Byron Groves W. (1989). Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization Theory // *American Journal of Sociology*. Vol. 94. № 4. P. 774-802.
- Sampson R. J., Raudenbush S. W., Earls F. (1997). Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy // *Science*. Vol. 277. P. 918-924.
- Sampson R. J., Morenoff J. D., Gannon-Rowley T. 2002. Assessing "neighborhood effects": Social processes and new directions in research // *Annual Review of Sociology*. № 28 (1). P. 443-478.
- Sampson R. J., MacIndoe H., McAdam D., Weffer-Elizondo S. (2005). Civil Society Reconsidered: The Durable Nature and Community Structure of Collective Civic Action // *American Journal of Sociology*. Vol. 111. № 3. P. 673-714.
- Shanin T. (1990). *Defining Peasants. Essays Concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from Them in the Contemporary World*. Oxford: Basil Blackwell.

- Sharkey P., Faber J.* (2014). Where, When, Why, and For Whom Do Residential Contexts Matter? Moving Away from the Dichotomous Understanding of Neighborhood Effects // *Annual Review of Sociology*. Vol. 40. P. 559–579.
- Siegmunt O.* (2016). Neighborhood Disorganization and Social Control: Case Studies from Three Russian Cities. Springer.
- Spiro M. E.* (1996). Postmodernist Anthropology, Subjectivity, and Science: A Modernist Critique // *Comparative Studies. Society and History*. Vol. 38. № 4. P. 759–780.
- South S. J., Baumer E. P.* (2000). Deciphering community and race effects on adolescent premarital childbearing // *Social Forces*. Vol. 78. № 4. P. 1379–1407.
- South S. J., Crowder K. D.* (1999). Neighborhood effects on family formation: Concentrated poverty and beyond // *American Sociological Review*. Vol. 64. № 1. P. 113–132.
- South S. J., Crowder K. D.* (2010). Neighborhood poverty and nonmarital fertility: Spatial and temporal dimensions // *Journal of Marriage and Family*. Vol. 72. № 1. P. 89–104.
- Stack C.* (1974). *All Our Kin: Strategies for survival in a black community*. New York: Basic Books.
- Strukova E., Guchgeldiyev O.* (2010). Study of the economics of bio-resources utilization in the Caspian // Report to Caspian Environment Programme, published by World Bank.
- Suttles G.* (1972). *The Social Construction of Communities*. Chicago: University of Chicago Press
- Svolkinas L. et al.* (2020). Natural Remedies for COVID-19 as a Driver of the Illegal Wildlife Trade // *Oryx*. Vol. 54. № 5. P. 601–602.
- Tichenor V. J.* (1999). Status and income as gendered resources: the case of marital power // *Journal of Marriage and the Family*. Vol. 61. P. 638–650
- Wacquant L.* (1997). Three Pernicious Premises in the Study of the American Ghetto // *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 21. № 2. P. 341–353.
- Wacquant L.* (2008). *Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality*. London: Polity.
- Wilson W. J.* (1987). *The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and public policy*. University of Chicago Press.
- Wilson W. J.* (1996). *When Work Disappears: The World of the New Urban Poor*. New York: Alfred A. Knopf.
- Varese F.* (2001). *The Russian mafia. Private protection in a new market economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Vogler C.* (1998). Money in the household: some underlying issues of power // *Sociological Review*. Vol. 46. P. 687–713.
- Zeitzen M. K.* (2008). *Polygamy: A Cross-Cultural Analysis* (1st ed.). Routledge.
- Zukin Sh.* (1989). *Loft Living: Culture and Capital in Urban Change*. Rutgers University Press.

Poaching, Fictive Kin Relationships, Adultery: Cultural Models of Socialization in the Disadvantaged Neighborhoods of the Lower Volga

Ilya Ermolin

Department of Demography, Vishnevsky Institute of Demography, HSE University
Address: 20 Myasnitskaya Str., Moscow, 101000 Russian Federation
E-mail: iermolin@hse.ru

Linas Svolkinas

Research Fellow School of Earth and Environment, University of Leeds, Leeds, UK.
Address: LS2 9JT, Woodhouse Lane, Leeds, UK
E-mail: linassvolkinas@gmail.com.

Pavel Suvorkov

Research Fellow Center for Arctic and Siberian Exploration, The Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia.

Address: 25/14 7-Krasnoarmeyskaya, St.-Petersburg, 190005 Russian Federation

E-mail: psuvorkov@socinst.ru

Until now there have been a few works in Russian sociology devoted to the study of disadvantaged neighborhoods. The use of the concept of ghetto and cultural models that determine the socialization are particularly questionable. The authors suggest that the use of the concept of autonomous community instead of ghetto would be more relevant to show how socialization in different types of households occurs in the disadvantaged neighborhoods across Russia. Based on long-lasting field studies in Astrakhan oblast, the authors show how individuals in different generations are socialized in typical households of the area. We argue that the different types of households that emerged after 1991 can expose individuals to different cultural models. We find that solitary producers or partners in the settlements of the Volga-Akhtuba Floodplain who are involved in IWT of sturgeon meat and caviar employ local collective cultural models that promote the hedonistic lifestyle, in particular widespread «easy» money, adultery and serial marriages. This results in the exclusion of adolescents and young adults from the households' production chain, furthering the intergenerational gap when adults do not keep young people from leaving home. Thus, mainstream cultural models circulating among the youth are combined with «alternative» ones that are widespread among people of the older generation. Unlike settlements in the floodplain areas, settlers in the Volga River delta areas share unified «alternative» cultural models within the family firm type of household that allow them to maintain stable social order.

Keywords: Ghetto, autonomous community, socialization, cultural model, poaching, adultery, serial marriages, fictive kin relationships

References

- Ajlamazjan Je. K., Beljaeva T.V. (2003) Obshhie i chastnye problemy jekologicheskoy reproduktologii [General and specific problems of ecological reproduction]. *Zhurnal akusherstva i zhenskikh boleznej*, vol. 52, no 2, pp. 4–10.
- Anderson E. (1990) *Streetwise*, Chicago: University of Chicago Press.
- Anderson E. (1999) *Code of the Street*, New York: Norton.
- Baturenko S.A. (2016) Anderklass v sovremennom rossijskom obshhestve: problema identifikacii [Underclass in modern Russian society: the problem of identification]. *Sociology*, no 1, pp. 3–8.
- Bokland T. (2008) «You Got to Remember you Live in Public Housing»: Place-Making in an American Housing Project. *Housing, Theory and Society*, vol. 25, no 1, pp. 31–46.
- Blumstein P., Schwartz P. (1985) *American Couples: Money, Work, and Sex*, New York: Pocket Books.
- Brewster K.L. (1994) Race differences in sexual activity among adolescent women: The role of neighborhood characteristics. *American Sociological Review*, vol. 59, no 3, pp. 408–424.
- Brower D.R. (1990) *The Russian City Between Tradition and Modernity, 1850–1900*, Berkeley: University of California Press.
- Burd'e P. (2002) Opyt reflektivnoj sociologii [An Experience of Reflexive Sociology] / Per. s angl. E.D. Rutkevich. *Teoreticheskaja sociologija: Antologija* [Theoretical Sociology: An Anthology]: V 2 ch. / Per. s angl., fr., nem., it.; sost. i obshh. red. S.P. Ban'kovskoj, Moscow: Knizhnyj dom «Universitet». Ch. 2, pp. 163–191.
- Buyukkececi Z. (2023) Neighbourhood effects on early adulthood family life courses: A trajectory-based approach. *Population, Space and Place*, vol. 29, no 2, p. e2609.
- Cardenas J.C., Ahn T.K., Ostrom E. (2004) Communication and Co-operation in a Common-Pool Resource Dilemma: A Field Experiment. *Advances in Understanding Strategic Behaviour* (S. Huck eds.), London: Palgrave Macmillan, pp. 258–286.

- Chernysheva L. A. (2019) Rossijskoe getto: vobrazhaemaja marginal'nost' novyh zhilyh rajonov [Russian ghetto: the imaginary marginality of new housing estates]. *Gorodskie issledovanija i praktiki*, vol. 4, no 2, pp. 37–58.
- Crane J. (1991) The epidemic theory of ghettos and neighborhood effects on dropping out and teenage childbearing. *American Journal of Sociology*, vol. 96, no 5, pp. 1226–1259.
- Edin K., Kefalas M. (2005) *Promises I Can Keep: Why Poor Women Put Motherhood before Marriage*, Berkeley: University of California Press.
- Ermolin I., Suvorkov P., Fedorova M. (2023) Demographic effects of deportation: seeking the causes of high fertility rates in the North Caucasus, Russia. *Central Asian Survey*, vol. 42, no 1, pp. 191–210.
- Ermolin I. (2019a) Predumyslennyj prilov kaspijskogo tyulenyja i razvitie nelegal'nogo rynka bioresursov v Dagestane: ekonomiko-sotsiologičeskij podkhod [Deliberate By-Catch of the Caspian Seal and the Development of Illegal Wildlife Trade (IWT) in Dagestan, Russia: A Socio-Economic Approach]. *Journal of Economic Sociology = Ekonomičeskaja sotsiologija*, vol. 20, no 1, pp. 83–122.
- Ermolin I. (2019b) Fenomen «soprotivlenija»: ot spontannogo proyavlenija k kompleksnym otvetam [Conceptualizing the «resistance»: from disorganized forms towards complex responses]. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoj antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology], vol. 22, no 4, pp. 141–165.
- Ermolin I.V., Suvorkov P.E. (2020) Na puti k teorii «avtonomnogo» soobshhestva: eks-polyarnye ekonomičeskie struktury pribrežnogo rybolovstva na yuge Rossii [Towards the Theory of the Autonomous Community: Ex-Polar Economy Structures in Coastal Fishing in Southern Russia]. *Universe of Russia = Mir Rossii*, vol. 29, no 2, pp. 156–178.
- Ermolin I., Svolkinas L. (2016) Who Owns Sturgeon in the Caspian? New Theoretical Model of Social Responses Towards State Conservation Policy. *Biodiversity and Conservation*, vol. 25, no 14, pp. 2929–2945.
- Ermolin I., Svolkinas L. (2018) Assessment of the Sturgeon Catches and Seal Bycatches in an IUU Fishery in the Caspian Sea. *Marine Policy*, vol. 87, pp. 284–290.
- Ermolin I., Svolkinas L., Suvorkov P., Holmes G., Goodman S. J. (2022) Metodologičeskie vyzovy polevykh issledovanij nelegal'nogo rynka bioresursov [Fieldwork Challenges Stemming from Doing Studies in Illegal Wildlife Trade (IWT)]. *Journal of Economic Sociology = Ekonomičeskaja sotsiologija*, vol. 23, no 1, pp. 125–153.
- Furstenburg F. et al. (eds.) (2000) *Managing to Make It: Urban Families and Adolescent Success*, University of Chicago Press.
- Gerkey D. (2011) Abandoning Fish: The Vulnerability of Salmon as a Cultural Resource in a Post-Soviet Common. *Anthropology of Work Review*, vol. 32, no 2, pp. 77–89.
- Goffman A. (2014) *On the Run. Fugitive Life in an American City*, University of Chicago Press.
- Golod S. I. (1994) Seksual'noe povedenie i subkul'turnaja differenciacija polov [Sexual behavior and subcultural differentiation of the sexes]. *Sociological Journal*, no 4, pp. 127–133.
- Harding D. J. (2009) Violence, Older Peers, and the Socialization of Adolescent Boys in Disadvantaged Neighborhoods. *American Sociological Review*, vol. 74, no 3, pp. 445–464.
- Harding D. J. (2011) Rethinking the Cultural Context of Schooling Decisions in Disadvantaged Neighborhoods: From Deviant Subculture to Cultural Heterogeneity. *Sociology of Education*, vol. 84, no 4, pp. 322–339.
- Jaroshenko S. C. (2006) Rossijskoe pokolenie next: granicy zhiznennogo uspeha molodyh seljan pri kapitalizme [Russia's Generation Next: The Limits of Life Success for Young Rural People under Capitalism]. *Zhurnal issledovanij social'noj politiki*, vol. 4, no 2, pp. 205–214.
- Jaroshenko S. S. (2019) O vozmožnostjah primenenija teorii anderklasse v Rossii [On the Possibilities of Applying the Underclass Theory in Russia]. *Sociologičeskie issledovanija*, no 9, pp. 28–38.
- Jel'djaeva A. B., Salahova Je. K. (2011) Mnogomernaja klassifikacija rajonov Astrahanskoj oblasti po urovnju social'nogo razvitiya [Multidimensional classification of districts of the Astrakhan region by level of social development]. *Vestnik AGTU: ser. Ekonomika*, no 2, pp. 182–190.
- Jencks C., Mayer S. E. (1990) The social consequences of growing up in a poor neighborhood. *Inner-City Poverty in the United States* (L. E. Lynn Jr., M. G. H. McGeary eds.), National Academy Press, pp. 111–186.

- Kadowaki J. (2019) The Contemporary Defended Neighborhood: Maintaining Stability and Diversity through Processes of Community Defense, *City & Community*, vol. 18, no 4, pp. 1220–1239.
- Karachurina L. B. (2012) Urbanizacija po-rossijski [Urbanization in Russian style]. *Otechestvennye zapiski*, vol. 3, no 48, pp. 10–24.
- Kuznecova N. I. (2017) O regional'nyh osobennostjah jekologicheskoy prestupnosti (na primere Astrahanskoj oblasti) [On regional features of environmental crime (using the Astrakhan region as an example)]. *Problemy determinacii i preduprezhdenija prestupnosti* (A. I. Dolgova (red.)), Moscow: Rossijskaja kriminologicheskaja asociacija.
- Lareau A. (2003) *Unequal Childhoods*, Berkeley: University of California Press.
- Makkarti Dzh. R., Jedvards R. (2018) *Issledovaniya sem'i: osnovnye ponjatija* [Family Studies: Basic Concepts] (Per. s angl. pod nauch. red. E. Ju. Rozhdestvenskoj), Moscow: Izdatel'skij dom «VShJe».
- Morgan D. H. J. (1996) *Family Connections: An Introduction to Family Studies*, Cambridge: Polity Press.
- Morozova L. N., Voskun S. E., Bazerov M. A., Svechina M. N. (1998) Sostojanie zdorov'ja naselenija, prozhivajushhego v jekologicheski neblagopoluchnyh gorodskih rajonah [Health status of the population living in ecologically unfavorable urban areas]. *Gigiena i sanitarija*, no 1, pp. 34–37.
- Neformal'naja jekonomika: Rossija i mir (1999) [Informal Economy: Russia and beyond], Moscow: Logos.
- Newman K. (1999) *No Shame in My Game: The Working Poor in the Inner City*, New York: Vintage and Russell Sage.
- Park R. E., Burgess E. W. (1925) *The City*, University of Chicago Press.
- Quillian L. (1999) Migration Patterns and the Growth of High-Poverty Neighborhoods, 1970–1990. *American Journal of Sociology*, vol. 105, no 1, pp. 1–37.
- Rasanayagam J. (2003) *Market, State and Community in Uzbekistan: reworking the concept of the informal economy*. Max Planck Institute for Social Anthropology. Working Paper № 59.
- Richter L. M. (2006) Studying adolescence. *Science*, vol. 312, no 5782, pp. 1902–1905.
- Rindfuss R. R. (1991) The young adult years: Diversity, structural change, and fertility, *Demography*, vol. 28, no 4, pp. 493–512.
- Rutkevich M. N. (2004) Vostrastanie social'noj naprjazhennosti k koncu sovetskogo perioda [Rising social tensions towards the end of the Soviet period]. *Sociologicheskie issledovaniya*, vol. 7, no 243, pp. 62–69.
- Salinc M. (1999) *Jekonomika kamennogo veka* [Stone Age Economy], Moscow: OGI.
- Sampson R., Byron Groves W. (1989) Community Structure and Crime: Testing Social-Disorganization Theory. *American Journal of Sociology*, vol. 94, no 4, pp. 774–802.
- Sampson R. J., Raudenbush S. W., Earls F. (1997) Neighborhoods and Violent Crime: A Multilevel Study of Collective Efficacy. *Science*, vol. 277, pp. 918–924.
- Sampson R. J., MacIndoe H., McAdam D., Weffer-Elizondo S. (2005) Civil Society Reconsidered: The Durable Nature and Community Structure of Collective Civic Action. *American Journal of Sociology*, vol. 111, no 3, pp. 673–714.
- Sampson R. J., Morenoff J. D., Gannon-Rowley T. (2002) Assessing “neighborhood effects”: Social processes and new directions in research. *Annual Review of Sociology*, vol. 28, no 1, pp. 443–478.
- Shanin T. (1990) *Defining Peasants. Essays Concerning Rural Societies, Expolary Economies, and Learning from Them in the Contemporary World*, Oxford: Basil Blackwell.
- Shanin T. (1999) Jekspoljarnye struktury i neformal'naja jekonomika sovremennoj Rossii [Ex-polar structures and the informal economy of modern Russia]. *Neformal'naja jekonomika: Rossija i mir*, Moscow: Logos, pp. 11–32.
- Sharkey P., Faber J. (2014) Where, When, Why, and For Whom Do Residential Contexts Matter? Moving Away from the Dichotomous Understanding of Neighborhood Effects. *Annual Review of Sociology*, vol. 40, pp. 559–579.
- Siegmunt O. (2016) *Neighborhood Disorganization and Social Control: Case Studies from Three Russian Cities*, Springer.
- South S. J., Baumer E. P. (2000) Deciphering community and race effects on adolescent premarital childbearing, *Social Forces*, vol. 78, no 4, pp. 1379–1407.
- South S. J., Crowder K. D. (1999) Neighborhood effects on family formation: Concentrated poverty and beyond. *American Sociological Review*, vol. 64, no 1, pp. 113–132.

- South S.J., Crowder K.D. (2010) Neighborhood poverty and nonmarital fertility: Spatial and temporal dimensions. *Journal of Marriage and Family*, vol. 72, no 1, pp. 89–104.
- Spiro M.E. (1996) Postmodernist Anthropology, Subjectivity, and Science: A Modernist Critique. *Comparative Studies. Society and History*, vol. 38, no 4, pp. 759–780.
- Stack C. (1974) *All Our Kin: Strategies for survival in a black community*, New York: Basic Books.
- Strukova E., Guchgeldiyev O. (2010) Study of the economics of bio-resources utilization in the Caspian. *Report to Caspian Environment Programme*, published by World Bank.
- Suttles G. (1972) *The Social Construction of Communities*, Chicago: University of Chicago Press.
- Svolkinas L. et al. (2020) Natural Remedies for COVID-19 as a Driver of the Illegal Wildlife Trade. *Oryx*, vol. 54, no 5, pp. 601–602.
- Tichenor V.J. (1999) Status and income as gendered resources: the case of marital power. *Journal of Marriage and the Family*, vol. 61, pp. 638–650.
- Tykanova E.V., Tenisheva K.A. (2020) V plenu «jeffekta sosedstva»: social'nyj kapital i aktivizm v novyh anklavnyh zhilishnyh kompleksah [Trapped by the “neighborhood effect”: social capital and activism in the new enclave condominiums]. *Zhurnal sociologii i social'noj antropologii*, vol. 23, no 2, pp. 7–35.
- Varese F. (2001) *The Russian mafia. Private protection in a new market economy*, Oxford: Oxford University Press.
- Virt L. (2005) Getto [Ghetto]. *Izbrannye raboty po sociologii* [Selected Works on Sociology]. (Per. s angl. V.G.Nikolaev; red. L.V. Girko), Moscow: INION, pp. 178–191.
- Vogler C. (1998) Money in the household: some underlying issues of power. *Sociological Review*, vol. 46, pp. 687–713.
- Wacquant L. (1997) Three Pernicious Premises in the Study of the American Ghetto. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 21, no 2, pp. 341–353.
- Wacquant L. (2008) *Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality*, London: Polity.
- Wilson W.J. (1987) *The truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and public policy*, University of Chicago Press.
- Wilson W.J. (1996) *When Work Disappears: The World of the New Urban Poor*, New York: Alfred A. Knopf.
- Zeitzen M.K. (2008) *Polygamy: A Cross-Cultural Analysis* (1st ed.), Routledge.
- Zelizer V. (2002) Sozdanie mnozhestvennyh deneg [Making Multiple Money]. *Jekonomicheskaja sociologija*, vol. 3, no 4, pp. 58–72.
- Zhel'nina A.A. (2019) «Getto v horoshem smysle» protiv «betonnogo getto»: rajonnye diskursy i renovacija v Moskve [“Ghetto in a good sense” versus “the concrete ghetto”: neighborhood discourses and renovation in Moscow]. *Gorodskie issledovanija i praktiki*, vol. 4, no 2, pp. 21–36.
- Zukin Sh. (1989) *Loft Living: Culture and Capital in Urban Change*, Rutgers University Press.

Опыт анализа «цифровых следов» процесса структурной интеграции мигрантов в России с помощью нейросети BERT*

Дмитрий Тимошкин

Доктор социологических наук, научный сотрудник, Иркутский государственный университет
Адрес: ул. Карла Маркса, 1, Иркутск, 664003 Российская Федерация
Профессор кафедры информационных технологий в креативных и культурных индустриях ГИ Сибирский федеральный университет
Адрес: проспект Свободный, 82, Красноярск, 660049 Российская Федерация
E-mail: dmttrim@gmail.com

Тихон Ермаков

Младший научный сотрудник, Иркутский государственный университет Адрес: ул. Карла Маркса, 1, Иркутск, 664003 Российская Федерация
Ассистент, Сибирский федеральный университет
Адрес: проспект Свободный, 82, Красноярск, 660049 Российская Федерация
E-mail: erm-tihon@mail.ru

Кирилл Иванов

Инженер-исследователь, Иркутский государственный университет
Адрес: ул. Карла Маркса, 1, Иркутск, 664003 Российская Федерация
E-mail: ivanov-ka@word.isu.ru

Павел Тарасов

Независимый исследователь
Адрес: Достоевского 14, Нови Сад 21000, Сербия
E-mail: Berryimorr@gmail.com

Михаил Жарков

Младший научный сотрудник, Сибирский федеральный университет,
Адрес: пр. Свободный, 79, Красноярск, 660041 Российская Федерация
E-mail: mzharkov@sfu-kras.ru

Александр Потехин

Магистрант, ITMO AI Talent Hub; NLP Team Lead X5 Tech
Адрес: Санкт-Петербург, Кронверский проспект, 49 197101 Российская Федерация

В статье исследуются «цифровые следы» двух важнейших этапов процесса структурной интеграции трансграничных мигрантов в России — поиска работы и жилья. Наша цель — проанализировав сообщения на релевантные темы в «мигрантских» группах во «ВКонтакте», описать, с какими трудностями сталкиваются их авторы и как они используют социальные медиа для их преодоления. Для анализа текстового массива мы применили комбинацию автоматических классификаторов (линейного и нейросетевого) и контент-анализа. Используя написанный на языке Python парсер, мы извлекли из «мигрантских» групп 129 261 текстов, на которых обучили нейросеть BERT (F1-мера 0,94) выделять сообщения интересующей нас тематики. Для уточнения корректности классификации и получения предварительных выводов методом контент-анализа была

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-78-10075, <https://rscf.ru/project/22-78-10075/>

проанализирована случайная выборка из отобранного нейросетью массива. Мы увидели, что рассмотренные цифровые площадки являются пространствами концентрации «силы слабых связей», выстраиваемых приезжими для накопления информации и социального капитала, снижающих интеграционные издержки и риски при поиске жилья и работы в ситуации острого дефицита ресурсов. Их основой становится религиозная и земляческая солидарность. Также цифровые медиа становятся местом контакта мигрантов и принимающего сообщества: с их помощью приезжих — например, беженцев из Украины, ДНР и ЛНР — активно вовлекают в неформальную семейную экономику и экономику ухода. Результаты не противоречат тем, что получены более традиционными методами, что говорит о возможности применения подхода для изучения больших по объему массивов, созданных менее исследованными сообществами.

Ключевые слова: мигранты, структурная интеграция, цифровые медиа, автоматические классификаторы, BERT, неформальная экономика, экономика ухода, эксплуатация

В статье исследуются репрезентации процесса включения трансграничных мигрантов в российских городах в социальных сетях. Предметом стали две отраженные в текстах тематических сообществ во «ВКонтакте» практики, подпадающие под определение структурной интеграции (Малахов, 2015; Варшавер, 2016), которые можно считать наиболее значимыми: поиск работы и жилья.

Цель заключалась в том, чтобы определить, какую роль цифровые медиа играют в поиске мигрантами работы и жилья; каковы представленные здесь спрос и предложение; с какими проблемами сталкиваются мигранты в процессе и как они их решают. Для этого было необходимо, определив ряд тематических площадок в социальной сети «ВКонтакте» (выбранной из-за популярности в РФ, а также из-за наличия простых инструментов ее парсинга), связанных с миграцией, отыскать в них посты и комментарии, где пользователи обсуждают жилье и работу. Затем — классифицировать массив, выделив наиболее характерные и интересные тенденции и практики.

Выбор цифровых пространств обусловлен их растущей ролью в формировании миграционных мотиваций, планировании траекторий и выборе тактик интеграции (Dekker, 2014, 2018). Возможности, которые открываются перед мигрантами благодаря цифровым технологиям, приводят к появлению многочисленных «цифровых следов» миграционных потоков. Это массивы постов и комментариев в социальных медиа, где люди обмениваются информацией, касающейся любых, сколь-либо значимых событий, связанных с переездом в другую страну.

Для социальных исследователей эти массивы представляют большой интерес. Работая с ними, мы можем надеяться на «парадокс приватности» (Пронкина, 2018; Taddicken, 2014) — склонность людей довольно откровенно обсуждать чувствительные темы в открытых цифровых пространствах. Их подталкивает иллюзия того, что опубликованную информацию не увидит никто, кроме непосредственных участников взаимодействия. Это позволяет рассчитывать на более детальную информацию о чувствительных аспектах миграционных процессов, которую сложнее получить в ситуации «интервьюер–респондент».

Например — о неформальной экономике, работе «мигрантских» горизонтальных сетей, способах преодоления институциональных ограничений. В странах, где

население и бюрократия с подозрением, опаской и некоторой долей шовинизма относится к мигрантам (Россия, безусловно, является такой) (Мукомель, 2014; Ма-лахов, 2018; Садырин, 2020), приезжие неохотно обсуждают эти темы, испытывая вполне оправданные опасения (Дмитриев, 2013; Ивлева, 2009).

Изучение «цифровых следов» столь чувствительных аспектов социальных процессов (Iosifides, 2016) предполагает использование подхода, который, обеспечивая широкий охват материала, позволяет сохранить аналитическую чувствительность, свойственную качественным методам. Особенно если исследуются не распространённость текстовых выражений социальной практики, а ее содержание и восприятие, что сложнее поддается формализации (Zpata-Barrero, 2022).

Эта задача связана с рядом проблем (Bolander, 2019), ключевой из которых был выбор оптимального соотношения качественного и количественного инструментария. Мы можем, изучая взаимодействие между пользователями социальных медиа, применить традиционный социально-антропологический инструментарий (Addeo, Masullo, 2021). Это возможно, если согласиться с тем, что цифровые медиа — лишь новая техническая платформа, поддерживающая прежние практики (Кужелева-Саган, 2016; Alencar 2018; Dekker, 2014), а границы между цифровым и офлайн-пространствами если и существуют, то вполне проницаемы (Tankosik, Dovchin, 2021). Языки описания, воспоминания, отголоски событий с легкостью пересекают ее в обоих направлениях (Thurlow, 2018), что происходит, в частности, благодаря специфике построения нарративов (Aarseth, 1997). В то же время качественные методы накладывают понятные ограничения: они не позволяют охватить сколь бы то ни было значимую часть создаваемого мигрантами массива. Полный же отказ от них в пользу количественных означает вероятность потери значимой информации (Slonim-Nevo, 2009) при сохранении субъективного фактора (Onwuegbuzie, 2005).

Выходом может быть использование количественных методов для классификации достаточно большого объема текстов в комбинации с качественными — для детальной обработки определенной выборки (Савинская, 2016; Большаков, 2017; Gamlen, 2013; Fauser, 2018). Качественные методы в таком случае позволят интерпретировать данные, полученные с помощью количественных подходов (Полухина, 2015; Onwuegbuzie, 2005). Такая комбинация отчасти дает возможность обойти ограничения и тех, и других методов (Creswell, 2009), успешно применяясь в том числе в исследованиях цифровых пространств и сообществ (Bergu, 2017; Kim, 2019; Langer, 2005; Paecher, 2013; Kozinets, 2002; Snelson, 2016). Используются подобные подходы и при изучении цифровых следов миграционных процессов (Варшавер, Рочева, Иванова, 2017; Salamoska, 2022; Тимошкин, Сметанин, Корешкова, Зборовицкая, Волошин, Брызгина, 2023).

Новизна нашего исследования заключалась в использовании нейросетевых классификаторов, обученных на небольшом отобранном вручную массиве, а также линейных классификаторов, в комбинации с качественными методами анализа текстов. Это позволило, сэкономив ресурсы, получить социологические данные,

характеризующие процесс интеграции трансграничных мигрантов, при этом считать результаты релевантными для всех попавших в выборку «мигрантских» цифровых сообществ.

Проблемы применения нейросетей в исследованиях текстовых репрезентаций миграционных процессов

Нейронные сети возникли как результат попытки построить искусственный интеллект, опираясь на принципы организации естественного интеллекта, а именно — на представление о сети нейронов, которые активируются при попадании на них определенного сигнала (Newell, 1985; Muller, 1995). В дальнейшем технология была воспринята более утилитарно, отдельные нейроны заменены нейронными слоями, предложены разнообразные архитектуры их взаимодействия, позволяющие решать широкий комплекс задач от шифрования данных до генерации текстов и изображений (Anderson, 2000).

Параллельно произошла формализация проблемы построения и обучения нейронных сетей, что дало возможность представить их в качестве математической модели. Принципы ее функционирования опирались на теории алгоритмов и теории вероятности, решение математических задач нелинейной оптимизации. С появлением архитектуры рекуррентных нейронных сетей, способных работать с потоками данных, и сверточных сетей, воспринимающих массив данных целиком, нейронные сети начинают активно применяться для анализа текстовой информации (Suissa, 2022). В том числе они используются и в социологических исследованиях для постановки гипотез (Park, 2024), классификации больших текстовых массивов (Ziems, 2024), распознавания выраженных в тексте эмоций (Rodríguez-Ibáñez, 2023) или даже политических позиций (Zhang, 2023; Huang, 2023).

Необходимость использования автоматических классификаторов в нашем исследовании очевидна из-за объема материала. Из миллионов постов и комментариев в «мигрантских» интернет-сообществах в «ВК» нам нужно было выделить те, что касались бы поиска работы, жилья и решения связанных с этим проблем. Выполнение такой работы вручную потребовало бы несопоставимых временных затрат. Можно было ввести искусственные ограничения на погружение в массив (по времени создания конкретного текста, по присутствующим в массиве оригинальным темам и т.д.), однако это существенно ограничило бы релевантность выводов.

Мы предположили, что нейронная сеть может выступить в роли «независимого исследователя» (Орехов, 2021), способного самостоятельно анализировать потенциально бесконечный массив, в отличие от исследователя — человека, не меняя однажды определенные критерии соотнесения (Carley, 1996; Situngkir, 2003). Результатом ее работы станет массив релевантных текстов, который затем можно обработать вручную с помощью качественных методов.

Мы не смогли отыскать исследования, в которых нейронные сети использовались бы для анализа текстов, отражающих интересующие нас аспекты структурной интеграции мигрантов. Таким образом, мы не могли опереться на существующую базу данных или имеющийся алгоритм анализа, что означало необходимость создать свои. Выполняя эту задачу, мы опирались на «агностический» подход к использованию искусственного интеллекта в социальных исследованиях (Grimmer, 2021). Он предполагает невозможность создания универсального алгоритма для анализа собранных под разные цели баз данных, а значит — необходимость создания оригинальной модели в каждом отдельном случае. Причем одним из главных критериев ее эффективности является то, насколько она способствует оптимизации процесса сбора/анализа материала.

Специфика нашего массива и ряд субъективных факторов (прежде всего — экономия ресурсов) означали, что нейросеть придется обучать на относительно небольшом (десятки тысяч постов и сообщений) массиве коротких текстов. Необходимость экономить ресурсы сама по себе ставит вопрос о возможности использования нейросетей (Patil, 2019), поскольку именно обучение на больших корпусах способствует формированию у нейросетевой модели понимания неочевидных контекстуальных связей. Ограничение объема изначальной выборки также может вести к эффекту переобучения, снижающего возможность использовать обученную модель для классификации других массивов, создаваемых в том числе и другими группами мигрантов (Батура, 2021).

Другая проблема, с которой мы сталкиваемся при подготовке массива, — краткость большинства сообщений (Li, 2016). В некоторых исследованиях утверждается, что более выгодным для выполнения задачи классификации небольших текстов является использование линейных классификаторов (Жаксыбаев, 2022; Максютин, 2022), чем нейронной сети. Однако, взаимодействуя с небольшими текстами, для понимания контекста употребления того или иного слова модель не будет учитывать большое число связей, что может привести к потере ключевых преимуществ, которые дает нейросеть.

В нашем случае отдельные темы характеризуются более сложными закономерностями, чем характеристика векторного представления текста. Без учета контекста употребления тех или иных слов мы вряд ли можем получить интересующие нас данные, что делает целесообразным применение нейросети, даже учитывая эти ограничения. Предполагалось решить эти проблемы за счет включения в обучающую выборку текстов, обеспечивающих максимальный тематический разброс и использования предобученных моделей-трансформеров для нивелирования потенциальных эффектов переобучения, связанных с использованием небольшой выборки.

Сбор и анализ материала

Использовались варианты построения свёрточной рекуррентной нейронной сети с собственной архитектурой и на основе архитектуры BERT, ее эффективность

сравнивалась с традиционной математической линейной моделью. Их применение требовало формализации проблемы до того уровня, на котором она или может быть описана математическим языком, или хотя бы представлена как задача, решаемая математическими методами. Выбор инструмента означал необходимость редуцирования многообразия и сложности процесса интеграции до отдельных составляющих, однако не до такой степени, которая сделает бессмысленным применение качественных методов.

Мы решили остановиться на структурном аспекте процесса интеграции, понимая под этим прежде всего постепенное обретение мигрантом доступа к механизмам перераспределения сосредоточенных в городе ресурсов (Малахов, 2015; Варшавер, 2016). Представляется, что структурная интеграция несколько проще, чем другие, поддается формализации. В свою очередь, «структурную интеграцию» мы редуцировали к двум практикам — поиску работы и жилья, предположив, что именно это наиболее важно для комфортного проживания в принимающем городе. Присутствие двух этих тем стало критерием релевантности текстов. Искусственное ограничение спектра практик, подразумеваемых понятием «интеграция», до «работы» и «жилья» позволило относительно легко делить массив на понятные и простые категории, поиск и выделение которых может произвести нейросеть.

Для подготовки обучающего массива сперва было необходимо выбрать сообщества во «ВКонтакте», содержащие в названии ключевые слова, этнонимы и топонимы, отсылающие к теме миграции в РФ из ключевых стран-доноров (Таджики Москва, Бирге, мигрант РФ, Казахи Новосибирск и т.п.). Выбирались группы, основным языком которых является русский и где наблюдалась пользовательская активность (в течение трех дней в открытом доступе публиковались посты и комментарии к ним). Была сформирована выборка из 850 групп социальной сети «ВКонтакте», отвечающих обозначенным требованиям.

Предполагалось создать базу данных, включив в нее тексты, содержащие максимальное количество тем, связанных с поиском работы и жилья, а также некоторого количества текстов, никак с ними не связанных. Для этого мы провели наблюдение в выбранных площадках, определив связанные со структурной интеграцией темы и языки их описания, которые позволили сформировать параметры для парсинга данных внутри площадок. Критерием релевантности стало наличие в отдельном законченном высказывании (посте или комментарии) упоминания поиска/аренды/покупки/типа жилья или поиска/смены/типа работы мигрантом в российском городе, связанных с этим препятствий и путей решения.

Этот шаг был спорным, он мог существенно повлиять на корректность работы модели. Тем не менее мы посчитали его целесообразным, расценивая как эксперимент проверки возможности создания адекватных моделей на ограниченной выборке для дальнейшего применения на более широком массиве данных. Мы предполагали, что такой подход позволит сэкономить время при создании обучающего массива, обеспечив достаточное тематическое разнообразие: несмотря на предза-

данные параметры, в массив попадет огромное количество текстов, не связанных с интересующими нас темами.

Мы включали в массив и комментарии, и посты в силу их различной структурной и семантической наполненности, чтобы с большей вероятностью обучить модель выявлять именно смысловое содержание текстов, а не просто типические последовательности символов. Включение и постов, и комментариев в выборку позволило рассматривать нарративы, порожденные «коммуникативным соавторством» (Винокур, 1993), что опять же несколько расширяет потенциальные возможности модели. Для сбора базы данных и ее ручной разметки был написан парсер, аккумулирующий данные через API VK с использованием языка программирования Python. В выделенных «VK»-сообществах были произведены сбор постов и комментариев и сохранение их в базу данных, созданную с посредством языка MySQL. В связи с ограничениями API VK сбор данных занял около недели.

Следующим шагом было ручное отделение текстов, содержащих интересные нас темы, от тех, что относились к третьим темам, в базе данных.

Учитывая, что количество текстов, соответствующих заданным критериям, превышало сотню тысяч, было создано веб-приложение для их ручного распределения на три категории: «работа», «жилье» и «другое», с использованием языка программирования Python и фреймворка Flask. Основное внимание было уделено сокращению количества действий пользователя для разметки каждого из сообщений, а также возможности параллельно вести работу нескольким пользователям, что позволило существенно ускорить ручную обработку. Количество действий при разметке равнялось одному клику на сообщение и одному на сохранение данных.

Оба приложения деплоились на виртуальный выделенный сервер в облаке с помощью docker compose, что позволило обеспечить дистанционный доступ, и вместе с тем минимизировать затраты времени на релиз новых версий. Для сокращения потенциальных потерь каждые два часа с базы данных снимались бэкапы с недельным сроком хранения. Были сформированы два текстовых раздела (комментарии и посты), где каждому тексту соответствовал один из трех классов — «Жилье», «Работа» и «Другое». Тексты распределились по классам следующим образом: «Жилье» — 2460 комментариев и 913 постов; «Работа» — 2995 комментариев и 1011 постов; «Другое» — 10 925 комментариев и 12 667 постов.

Выборка обладала двумя особенностями: относительно малый объем и несбалансированность классов. Стандартные корпуса, составленные для обучения классификации текстовых моделей, содержат более 100 тысяч текстов в каждой релевантной цели исследования категории и имеют сравнимые объемы классов. В корпусах с относительно малым объемом имеется количественное превосходство класса «Другое» над классами «Работа» и «Жилье» (более чем в 10 раз). Для решения проблемы несбалансированности корпусов было выполнено искусственное выравнивание выборки — замена наибольшего класса («Другое»)

случайной подвыборкой текстов этого класса, по мощности равной остальным классам (3000 текстов для корпуса комментариев и 1000 текстов для корпуса постов).

Для построения автоматического классификатора производилось сравнение нескольких различных моделей — самописный нейросетевой классификатор, «тонко-настроенный» классификатор на основе языковой модели BERT, предобученной нейронной сети от Google. Нейронные языковые модели обучены на больших объемах текстов таким образом, чтобы учитывать контекст и семантику. Самописная нейронная сеть использует готовые векторные представления слов и собственную архитектуру для классификации. Тонкая настройка большой языковой модели BERT позволяет использовать уже готовую архитектуру, дополнительно обучая ее на полученных данных. Также мы использовали линейный классификатор для того, чтобы определить, действительно ли он может быть более эффективен в работе с небольшими текстами.

Для обучения линейной модели была произведена предобработка текстов, которая включала в себя:

- Исправление ошибок в текстах при помощи контекстной автокоррекционной модели русского языка JamSpell [<https://github.com/bakwc/JamSpell>].
- Приведение всех слов в нормальную форму (лемматизация) при помощи пакета обработки естественного языка Natasha [<https://github.com/natasha/natasha>].
- Замена имен собственных (именованных сущностей) на соответствующие кодовые слова при помощи пакета Natasha и регулярных выражений (LOC — Локация, PER — Персона, ORG — Организация, ADDR — Адрес, DATE — Дата, MONEY — Деньги, USERNAME — Имя пользователя, PHONE — Телефон, EMAIL — Имейл, URL — Ссылка на веб-страницу).
- Удаление пунктуации и символов, не являющихся символами русского и английского алфавита.
- Удаление стоп-слов, самых частотных слов и самых редких слов корпуса.

После предварительной обработки каждый текст был преобразован в числовой вектор посредством использования термообратной частотности документов (TF-IDF). Линейный классификатор был обучен при помощи стохастического градиентного спуска, оптимизирующего модифицированную функцию Хубера, с регуляризацией Elastic Net.

Для обучения нейронной сети предварительная обработка текстов не проводилась, поскольку в ходе подобной предобработки меняется информация о формах слов. Данная функция полезна для линейных классификаторов, не способных к восприятию семантики, однако снижает эффективность семантически чувствительных нейронных сетей.

Была разработана свёрточная нейронная сеть с долгой краткосрочной памятью, чувствительная к словосочетаниям длины 3, 4 и 5.

Для тонкой настройки была использована уменьшенная версия языковой модели BERT — rubert tiny, предназначенная для русского и английского языков.

В качестве основной оценки качества классификации была использована F1-мера — среднее гармоническое между точностью и полнотой модели. Идеальная классификация достигается при F1-мере равной 1, худшая классификация при F1-мере равной 0.

Процедуры предварительной обработки текстов, обучения классификаторов и оценки качества классификации реализованы в виде приложения на языке программирования Python 3.9 с использованием библиотек Pandas, PyTorch и scikit-learn.

Основными результатами работы моделей стали показатели F1-меры, равные 0,83 для линейной модели, 0,88 — для самописной нейронной сети и 0,94 — для тонкой настройки ruBERT tiny, что говорит о достаточно высокой достоверности классификаторов, несмотря на субъективные факторы и ограничения.

Использованные нами алгоритмы обучения выложены в открытый доступ на платформе github (<https://github.com/alpotekhin/socclassif>) и могут быть применены для классификации любого массива текстов (в первую очередь «мигрантских») на три категории («Жилье», «Работа» и «Прочее»).

Мы применили к подготовленному нейросетью массиву линейный классификатор с использованием классического векторного представления в виде «мешка слов» и с помощью векторизации нейронной сетью ruBERT. Были предприняты попытки машинной категоризации текстов групп «Работа» и «Жилье». Категоризация проводилась методом бинарной классификации через поиск наиболее близких групп текстов, исходя из их векторного описания. В одном случае векторное представление формировалось с помощью библиотеки word2vec для Python и, по сути, отражало лишь количественную характеристику встречаемости в тексте каждого слова из всех встречающихся в массиве. Во втором случае использовались эмбединги нейронной сети ruBERT, что позволило получить векторные представления, учитывающие не только частоту встречаемости слов, но и контекст их употребления.

«Слабые связи» в сильных обстоятельствах: результаты анализа массива

Чтобы проверить корректность классификации и выяснить, пригоден ли полученный в результате массив для получения социологических данных, описывающих интеграционные процессы интересующей нас группы, мы проанализировали случайную выборку методом качественного контент-анализа. Из базы SQL с помощью стандартной функции рандомизации были отобраны тексты категории «Работа» (1206 текстов) и «Жилье» (1127 текстов) и проанализированы методом качественного контент-анализа с помощью программы MAXQDA.

Были выделены следующие подкатегории для «Работы»: «Преодоление институциональных ограничений», выбор направления, «предложение» и «спрос». Две последних подкатегории, в свою очередь, включали следующие темы: «социальные характеристики соискателя» (пол, возраст, правовой статус); тип занятости (уда-

ленная работа, работа с проживанием, стройка/отделка/разнорабочие, сфера обслуживания, экстралегальная/нелегальная работа). В группе «Жилье» были выделены подкатегории «спрос» и «предложение», каждая из которых, в свою очередь, включала следующие основные темы: «расположение», «характеристики окружения», «характеристики жилья», «тип сделки», «характеристики соискателя», «тип жилья».

Мы видим, что рассмотренные площадки активно используются мигрантами для оптимизации процесса структурной интеграции, становясь своеобразной точкой концентрации «силы слабых связей» (Грановеттер, 2009). Рассчитывая на земляческую, религиозную солидарность или солидарность, возникающую у участников «лиминальных» сообществ, пользователи-мигранты продают и покупают труд, ищут варианты совместной аренды, обмениваются информацией.

Ищут работу здесь чаще мужчины, чем женщины, причем и те, и другие готовы к тяжелой физической работе или работе в сфере экономики ухода. Уточняя запрос, пользователи-мужчины чаще всего пишут, что хотели бы получить работу на стройке, женщины — в обслуживании, однако большинство этого не делают, указывая, что готовы к абсолютно любой работе.

Работодатели, напротив, чаще ищут соискателей-женщин, предлагая работу также в сфере обслуживания (сиделками, горничными, поварами, парикмахерами). Мужчинам ожидаемо предлагают работу в сферах, предполагающих тяжелый, низкоквалифицированный физический труд (каменщики, бетонщики, отделочники, разнорабочие, рабочие на производстве). И работодатели, и соискатели указывают в объявлениях возможность получить работу с проживанием.

В категории «Жилье» мы видим множество текстов о срочном поиске вариантов с совместным проживанием, комнат в общежитиях. Это говорит о том, что многие соискатели находятся в ситуации цейтнота и крайнего дефицита ресурсов. Запрос учитывают арендодатели: в большинстве объявлений о сдаче речь о комнатах в двух- или трехкомнатных квартирах. Предпочтительным соседом называют при этом женщин: большая часть объявлений о сдаче комнат содержит подобное ограничение.

Многие работодатели целенаправленно ищут работников в «мигрантских» группах, рассчитывая на то, что уязвимые люди, находящиеся в ситуации крайнего дефицита, охотнее примут заведомо невыгодное или даже опасное предложение. Мигрантов рассматривают как подходящих кандидатов для вовлечения в теневую экономику. В рассмотренных сообществах широко распространены объявления, позволяющие заподозрить авторов в работе на секс-индустрию и финансовые пирамиды:

— *Ищу красивую девушку для сопровождения в сделках. Командировки 4 раза в месяц по 1–2 дня. Загран паспорт обязателен. Зарплата очень хорошая, пишите в личку.*

— *Мне нужны трудоспособные мужчины и девушки, у которых есть ноутбук (или смартфон), один свободный час в день и желание уделить его обучению и при-*

менению знаний на практике, чтобы зарабатывать в 2–3 больше, чем на основной работе. (Здесь и далее сохранена оригинальная орфография и пунктуация).

Большинство пользователей, участвующих в интеракции, действительно находятся в ситуации жесткого дефицита ресурсов, особенно — социального капитала, и осознают это. Дефицит информации и чувства безопасности, которые в регионе исхода могли бы им обеспечить «сильные связи», они пытаются компенсировать «слабыми связями» со случайными собеседниками во «ВКонтакте», рассчитывая, что это поможет им снизить риски. Некоторые при этом дифференцируют «нормальных» работодателей и тех, кто ориентирован на эксплуатацию мигрантов:

Всем привет, подскажите пожалуйста может есть у кого работа, или знакомые кто берет к себе с ДНР. Но не нужно писать, 15000р + питание и проживание!.. сразу в ЧС, если можно проверенные временем работодателями!) Про себя мне 27, не пью не курю и нужна работа!

<...>

Здравствуйте, самая дружная группа! Примите нас в свои ряды? Я с дочкой приехала два дня назад. Подскажите, как с работой? Кто мошенники(работа)? Для начала устроились. Но очень нужна комната примерно через месяц в районе ул. Титова. Может, есть варианты?

Некоторые пользователи, рассчитывающие на снижение интеграционных издержек с помощью «слабых связей», выстраивают их, опираясь на религиозную солидарность. Об этом говорят приветствия в начале постов и комментариев, обращения «брат» и другие маркеры. Впрочем, чаще мы видим обращение к земляческой солидарности:

Привет всем, хотела бы узнать от работающих земляков, если жить в Кургане, то найдется ли работа, или не стоит, вряд ли устроиться работать. Ну в общем как относятся к приезжим казахам коренные жители?

В отдельную группу мы можем выделить выходцев из Украины, ДНР, ЛНР, составляющих самую значительную часть топонимов/этнонимов в массиве. Выходцы из этих регионов нередко запрашивают «любую работу», в ряде случаев жалуются на произвол работодателей и нежелание принимать людей с украинскими паспортами. В массив попали сообщения, созданные до выхода указа, разрешающего беженцам работать без патента, в которых люди жаловались на чрезмерные издержки интеграции, что также выталкивало их в теневой сегмент экономики:

Привет! Я гражданка Украины, ищу работу во Всеволожске или в СПб. Деньги нужны на патент для работы. Хочу найти работу с временной регистрацией (имеется) с целью заработать и приобрести патент.

<...>

В основном не берут. Не хотят оформлять, много с этим проблем и если неправильно оформят, то большой штраф. Вот и бояться. Нужно проявить терпение и методично искать. Кто-то все равно возьмет к себе на работу. Если паспорт ЛДНР, то в серьезные организации типа Ростсельмаше и ему подобные не возьмут. Нужно искать средней величины фирмы. Типа пекарня, сеть магазинов Алекс, про-

давец в любой ТЦ и дальше в том духе. Если парню, то все намного проще. Стройки, производство (не большой цех) и так далее. Но на работу устроиться можно 99,9%.

<...>

А работа вообще есть для донбасчан... Нужна работа. срочно. желательно без оформления документов.

Спецификой этой группы является то, что ее представителей через «мигрантские» социальные медиа особенно активно вовлекают в неформальную «семейную» экономику и экономику ухода. Выделяются объявления, в которых за незначительные суммы их приглашают оказывать помощь по хозяйству в отдаленные деревни и поселки, также нередко объявления о помощи беженцам размещают люди с ограниченными возможностями, нуждающиеся в уходе. Судя по тому, что на некоторые такие посты отвечают, можно предположить, что часть переселенцев находят такие предложения привлекательными.

Женщин-беженок с детьми можно выделить в отдельную группу, которая особенно уязвима. Находясь в бедственном положении, эти женщины нередко изначально ориентированы на занятость в неформальном сегменте, принимая все связанные риски, так как не имеют достаточно времени для тщательного поиска более комфортных вариантов.

Здравствуйте. Помогите найти жилье в Ростовской области. Мы (я и трое детей) приехали из Горловки в Ростовскую область 2 марта, нас приютили люди и срок оговоренный заканчивается. Мы сейчас нуждаемся в жилье и я в работе. Может у кого то есть дом или дача пустующие на месяц-два с минимальными удобствами. Может с пожилым родственником, которому требуется уход, может кому то за двором присмотреть надо.

<...>

Нужна удаленная работа в интернете без вложений! Беженка с Донецка с маленьким ребенком, нужны средства на жизнь. Помогите может у кого-то есть вакансия?!

<...>

Ребята, подскажите пожалуйста. Планирую с ребенком переехать в Ростов. Мы вообще из Горловки. С чего нужно начать? Нужно ли переводить документы на русский, еще до переезда? Или это можно сделать по приезду? Как у вас с работой? Что нужно чтобы устроиться на работу? Я медсестра по специальности. Возьмут ли ребенка в садик? Что нужно для этого? Пожалуйста, если кто может поподробней расскажите, так как я очень переживаю и боюсь, я с сыном вдвоём, в Ростове ни родных, ни знакомых нет.

<...>

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если ли варианты удаленной работы, выехала с двумя детьми в Ростов из Горловки, один ребёнок инвалид на нормальную работу пока нет возможности устроится! Заранее благодарю!

Их положение пытаются эксплуатировать представители принимающего сообщества. Некоторые рассчитывают получить в распоряжение практически бесправ-

ных и бесплатных работников для выполнения обязанностей, на которые вряд ли согласится человек, не находящийся в беде. В значительной части объявлений, вовлекающих переселенцев в семейную или экономику ухода, люди заявляют, что готовы «принять» либо одинокую женщину, либо женщину с детьми. В некоторых случаях такой «прием» может предполагать оказание беженкой сексуальных услуг:

Устрою на работу беженцев с Украины. Пишите в личку. Для девушек и женщин не старше 35 лет. Совместное проживание.

<...>

Молодой, одинокий, но хорошо обеспеченный человек приютит молодую украинку и трудоустроит у себя дома. Обязанности: -Уборка по дому -Готовка

-Прочее (асотрапу)

<...>

Подселю женщину, мать одиночку, бесплатно, на постоянно, к себе в деревню. Мне 30.

<...>

Живу один своя квартира, впускаю, женщину можно с ребёнком из Украины, бесплатно. Я не фейк. Ростовская область

<...>

Нужна помощница по дому! Обязанности: уборка два раза в неделю оплата 200р за выход! Подработка для студентов или просто кто готова работать пару часов в неделю! Желательно девушка с хорошей внешностью и улыбкой)) Шушу просто хотя бы нормальную, а то устал убираться в одного)

Завуалированный поиск сексуального партнера в «мигрантских» сообществах можно выделить в отдельный тематический сегмент. Судя по количеству таких сообщений, можно заключить, что «мигрантские» сообщества в «ВК» довольно активно используются как инструмент сексуальной эксплуатации женщин-мигранток.

Интересный побочный результат дало применение линейного классификатора. В целом использование этого инструмента показало его неэффективность в решении классификации социальных практик в «мигрантских» массивах: нам не удалось достичь согласия в определении логики категоризации, предложенной классификатором. Но мы обратили внимание, что во все категории, вне зависимости от их количества, классификатор относил упоминания тех или иных бюрократических процедур (получение РВП, ВНЖ, патентов, медицинских справок, банковских счетов, прохождения экзаменов). Их было на порядок больше, нежели упоминаний непосредственно поиска работы и жилья.

Проблемы, связанные с бюрократическими процедурами, линейным классификатором выделяются не в качестве единого класса, а всегда дробятся на несколько групп. Разные варианты могут быть сведены или к акценту на тип документа/процедуры (тогда первыми ключевыми словами становятся явные маркеры «паспорт», «гражданство», «регистрация» и т.д.), или же привязываются к неявному алгоритму прохождения самой процедуры. Во втором случае выделяются тексты,

нацеленные или на уточнение особенностей самой процедуры (тогда более значимыми становятся слова «срок», «документы», «подавать» и т.д.), или на поиск формальных и неформальных приемов прохождения интересующей процедуры (акцента на «бесплатно», «платно», «помощь» и т.д.).

Классы, которые не связываются с прохождением всевозможных бюрократических процедур, с точки зрения линейного классификатора менее значимы. Как правило, к ним относятся ключевые слова общего смысла: географические локации, приветствия. Создается впечатление, что сюда относятся все выражения, которые не несут под собой значимой информации о бюрократических процедурах, но имеют к ним косвенное отношение. Опять же, важно подчеркнуть, что ни один из вариантов классификации не относил ключевые слова, связанные непосредственно со структурной интеграцией, к значимым ключевым словам: они терялись на фоне описания административных барьеров.

Обсуждения бюрократических процедур встречаются на порядок чаще, чем непосредственно структурная интеграция, и при ручной обработке массива:

— *Подскажите, пожалуйста, как правильно действовать. Мы с женой были официально трудоустроены. Живем по временной регистрации на основании трудового договора. У жены на работе произошло сокращение. Соответственно ей надо найти работу в течении 2х недель. По факту за такой срок найти работу официальную нереально практически у всех испытательный срок. Знаю, что есть правило по которому члены семьи трудящихся могут находиться на территории РФ на основании его тд. Можно ли так продлить жене регистрацию? Или ей надо выезжать через границу? В фмс вообще сказали, что она может выехать и захватить опять и ей сделают регистрацию на 90 дней. Но это какая-то подстава 90 на 180 никто не отменял и это будет нарушение как я понимаю. Гражданство Казахстан у меня и у нее. Заранее спасибо.*

Наш материал подтверждает исследования коллег, указывающих на чрезмерное количество и высоту административных барьеров, стоящих перед мигрантами в РФ (Малахов, Симон, 2017). Как и то, что закономерным следствием этого становится рост интеграционных издержек, снова и снова выталкивающих мигрантов в «серую зону». Сопоставимость результатов, полученных с помощью автоматических классификаторов с данными, полученными более консервативными методами, может говорить о том, что использование опробованного нами подхода уместно как альтернатива или дополнение к более традиционным методам. При исследовании менее известных групп, при постановке рабочих гипотез, выделении ключевой проблематики того или иного сообщества.

Наш материал позволяет построить ряд гипотез о выходцах из ЛНР, ДНР и Украины, которые выделяются в отдельную группу в рассмотренном массиве. Они, предположительно, сталкиваются (или, по крайней мере, сталкивались до выхода указа 2022 года, отменяющего патенты для мигрантов с паспортами народных республик и Украины) ровно с теми же проблемами, что и трансграничные мигранты из Центральной Азии, несмотря на значительную разницу

в официальной риторике, сопровождающей два миграционных потока. Предположительно, именно эту группу принимающее сообщество охотнее видит частью семейной экономики и экономики ухода. В некоторых случаях это может означать более высокий уровень доверия к этой группе: люди пишут, что буквально готовы принять человека в свою семью и разделить с ним повседневную жизнь.

При этом другая часть принимающего сообщества не видит никаких различий между выходцами из народных республик, Украины и стран Центральной Азии, рассматривая их исключительно как ресурс и источник ренты. Обилие текстов, в которых мужчины заявляют о готовности «принять» беженков, неявно подразумевая получение от них сексуальных услуг, а также — объявлений, вовлекающих женщин-мигранток в секс-индустрию, может свидетельствовать о наличии масштабной проблемы сексуальной эксплуатации этой категории мигрантов в России.

Заключение

Описанный подход позволяет отчасти снимать одну из главных претензий к качественным методам изучения «цифровых следов» миграционных процессов. Она заключается в том, что качественные методы существенно ограничивают охват материала, что делает результаты менее релевантными относительно всего массива. В нашем случае автоматический классификатор выделяет большинство релевантных текстов из массива, а функция рандомизации открывает возможность провести выборочный качественный анализ случайной их части. Таким образом, мы можем утверждать, что полученные выводы, при сохранении аналитической чувствительности, можно распространить на все попавшие в выборку «мигрантские» цифровые сообщества.

Описанные практики и тенденции (рост административных барьеров, ориентированность на 3D-занятость, совместная аренда, вовлечение в неформальную экономику и т.д.) вполне согласуются с результатами исследований, выполненных более традиционными и — иногда — более трудозатратными методами. Это позволяет рассчитывать на то, что, применяя этот подход к «цифровым следам» менее изученных сообществ, мы можем надеяться получить вполне адекватные представления об их жизни, которые в дальнейшем будут подтверждены офлайн полевыми исследованиями. В исследованиях менее изученных групп его использование может помочь проверить рабочие гипотезы, выделить ключевые, наиболее значимые аспекты повседневности рассматриваемого сообщества.

При этом, учитывая ограниченность ресурсов малых научных групп, представляется, что привлечение нейросетей далеко не всегда означает оптимизацию исследовательского процесса, особенно в случае, когда речь идет об исследовании сенситивных практик. Необходимость вручную готовить обучающий массив сводит на нет целесообразность этого подхода в том случае, если у исследователей не стоит целей распространять свои выводы на большие совокупности текстов.

Иначе ситуация выглядит в том случае, если обученную модель предполагается использовать на схожем, близком по содержанию массиве, созданном другой интересующей исследователя группой. Это может быть особенно актуально при проведении сравнительных исследований схожих по характеристике и проблематике групп, например, земляческих сообществ, проживающих в разных странах, но использующих один язык для онлайн-коммуникации.

Литература

- Батура Т. В. и др. (2021). Семантический анализ научных текстов: опыт создания корпуса и построения языковых моделей // Программные продукты и системы. № 1. С. 132-144.
- Большаков Н. В. (2017). Сочетать, комбинировать, смешивать: качественные и количественные методы в современной исследовательской практике // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 3. С. 21-29.
- Варшавер Е., Рочева А. (2016). Интеграция мигрантов: что это и какую роль в ее осуществлении играет государство // Журнал исследований социальной политики. Т. 14. № 3. С. 315-330.
- Варшавер Е. А., Рочева А. Л., Иванова Н. С. Информационное поведение мигрантов из Средней Азии в контексте изменения миграционного законодательства // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 1. С. 182-195.
- Винокур Т. Г. (1993). Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. М.: Наука.
- Гофман И. (2000) Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Кучково поле.
- Гришаева С. А. (2020). Социальные трансформации в условиях цифровой среды // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. Т. 26. № 1. С. 70-81.
- Дмитриев А. В., Пядухов Г. А. (2013). Интеграция трудовых мигрантов в мегаполисе: локальные модели, контекст идентичности (методология и методы исследования) // Социологические исследования. № 5 (349). С. 49-56.
- Жаксыбаев Д. О., Бакиев М. Н. (2022). Алгоритмы классификации текстовых документов с учетом близости в признаковом пространстве // Моделирование систем и процессов. Т. 15. № 1. С. 36-43
- Излева И. В. (2009). Трудовые мигранты в городской экономике // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 12. № 3. С. 128-149.
- Кужелева-Саган И. П., Глухов А. П., Ахметова Л. В., Бычкова М. Н., Гужова И. В., Носова С. С., Окушева Г. А., Стаховская Ю. М. (2016). «Цифровые диаспоры» мигрантов из Центральной Азии: виртуальная сетевая организация, дискурс «воображаемого сообщества» и конкуренция идентичностей. Томск: Издательский дом Томского государственного университета.

- Макклюэн М. (2020). Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М.: Академический проект.
- Максютин П. А., Шульженко С. Н. (2022) Обзор методов классификации текстов с помощью машинного обучения // Инженерный вестник Дона. № 12. С. 1-9.
- Малахов В. С. (2015). Интеграция мигрантов. Концепции и практики. М.: Фонд «Либеральная Миссия».
- Малахов В. С., Симон М. Е. (2017). Миграционная политика в условиях турбулентностей: опыт Европейского союза и перспективы России. М.
- Малахов В. С., Симон М. Е. (2018). К генеалогии миграционной политики в России: столкновение двух правительственных рациональностей // Вопросы теоретической экономики. № 1(2). С. 58-72.
- Мукомель В. И. (2011). Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики // Мир России. Т. 20. № 1. С. 34-50.
- Мукомель В. И. (2014). Ксенофобия и мигрантофобия в контексте культуры доверия // Мир России. Т. 23. № 1. С. 137-166.
- Николаев В. Г. (1998). «Человек на границе»: проблема маргинальности в зеркале социологической классики // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. № 2. С. 156-172.
- Орехов Б. (2021). Экстраполяция текста с помощью искусственных нейронных сетей. Архив ГАХН // Синтез современности: руины ГАХН и постдисциплинарность / Отв. ред. А. Хенниг, Н. Сазонов. С. 59-73.
- Полухина Е., Просянюк Д. (2015). Исследования со смешанными методами (mixed methods research): интеграция количественного и качественного подходов // Метод: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин. № 5. С. 309-318.
- Пронкина Е. С. (2018). Парадокс приватности: почему пользователи социальных медиа раскрывают персональную информацию в публичном пространстве // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. Т. 41. № 8. С. 155-165.
- Савинская О. Б., Истомина А. Г., Ларкина Т. Ю., Круглова К. Д. (2016). Концептуальные представления о стратегиях «смешивания методов» (mixed methods research): этапы развития и современные дискуссии // Социологические исследования. № 8. С. 21-29.
- Садьрин А. (2020). Размышления о точке невозврата: Включенное наблюдение как «антиметод» в исследовании мигрантского сообщества // Laboratorium. Журнал социальных исследований. Т. 12. № 1. С. 183-194.
- Северина Е. М. (2019). Цифровой текст в пространстве современной культуры // Человек и культура. № 5. С. 65-72.
- Тимошкин Д. (2019). Доверие vs дезориентация: экономика русскоязычных «мигрантских» групп в социальных сетях // Экономическая социология. Т. 20. № 5. С. 53-73.
- Тимошкин Д., Сметанин Ф., Корешкова Ю., Зборовицкая Н., Волошин А., Брызгина Д. (2023). Поисковые системы как механизм производства границ «вообра-

- жаемых сообществ». На примере образа внутреннего мигранта в сибирских региональных цифровых медиа // *Полития*. № 2 (109). С. 55-76.
- Шапинская Е. Н. (2022). Сторителлинг в нарратологии цифровой эпохи // *Культурный код*. № 1. С. 53-63.
- Aarseth E. J. (1997). *Cybertext: Perspectives on ergodic literature*. JHU Press.
- Addeo F., Masullo G. (2021). Studying the Digital Society: Digital Methods between Tradition and Innovation in Social Research // *Italian Sociological Review*. Vol. 11. P. 153-165
- Alencar A. (2018). Refugee integration and social media: a local and experiential perspective // *Information communication and society*. Vol. 21. P. 1588-1603.
- Anderson J. A., Rosenfeld E. (2000). *Talking nets: An oral history of neural networks*. MIT Press.
- Bar-Zvi Shaked K., Shamir A., Vakil E. (2020). An eye tracking study of digital text reading: a comparison between poor and typical readers // *Reading and Writing*. Vol. 33. P. 1925-1944.
- Baumer E. P. S. et al. (2017). Comparing Grounded Theory and Topic Modeling: Extreme Divergence or Unlikely Convergence? // *Journal of the Association for information Science and Technology*. Vol. 68. № 6. P. 1397-1410.
- Berry D. M., Anders F. (2017). *Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age*. Cambridge: Polity.
- Bolander B., Locher M. A. (2020). Beyond the online offline distinction: Entry points to digital discourse // *Discourse, Context & Media*. Vol. 35. № 4.
- Carley K. M. (1996). Artificial intelligence within sociology // *Sociological methods & research*. Vol. 25. №. 1. P. 3-30.
- Creswell J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. LA: Sage.
- Dekker R., Engbersen G. (2014). How social media transform migrant networks and facilitate migration // *Global Networks*. №14. P. 401-418.
- Dekker R., Engbersen G., Klaver J. (2018). Smart Refugees: How Syrian Asylum Migrants Use Social Media Information in Migration Decision-Making // *Social media + Society*. №4. P. 1-11.
- Fausser M. (2018). Mixed Methods and Multisited Migration research: innovation from transnational perspective // *Journal of Mixed Methods Research*. Vol. 12. № 4. P. 394-412.
- Gamlen A. (2013). *Mixing methods in research on diaspora policies* // *Handbook of research methods in migration*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Grimmer J., Roberts M., Stewart B. (2021). Machine learning for social science: an agnostic approach // *Annual Review of Political Science*. № 24. P. 395-419.
- Huang F., Kwak H., An J. (2023). Is ChatGPT better than human annotators? Potential and limitations of ChatGPT in explaining implicit hate speech // *Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2023*. P. 294-297.
- Iosifides T. (2011). *Qualitative methods in migration studies: a critical realist perspective*. NY: Routledge.

- Kim Y. (2019). New Opportunities for Sociological Research: A Discussion of the Usefulness of Mixed Methods with Data Science // *Journal of Asian Sociology*. Vol. 48. № 3. P. 343–358.
- Kozinets R. V. (2002). The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities // *Journal of marketing research*. Vol. 39. P. 252–264.
- Langer R., Beckman S. C. (2005). Sensitive research topics: netnography revisited // *Qualitative Market Research*. Vol. 8. № 2. P. 189–203.
- Li Y., Tripathi A., Srinivasan A. (2016). Challenges in short text classification: The case of online auction disclosure // *Mediterranean Conference on Information Systems*. P. 18.
- Müller B., Reinhardt J., Strickland M. T. (1995). *Neural networks: an introduction*. Springer Science & Business Media.
- Newell A. (1982). Intellectual issues in the history of artificial intelligence // *Artificial Intelligence: Critical Concepts*. P. 25–70.
- Onwuegbuzie A. J., Leech N. L. (2005). Enhancing the interpretation of “significant” findings: The role of mixed methods research // *Qualitative Report*. Vol. 9. № 4. P. 770–792.
- Onwuegbuzie A., Leech N. (2005). On Becoming a Pragmatic Researcher: The Importance of Combining Quantitative and Qualitative Research Methodologies // *International Journal of Social Research Methodology*. Vol. 8. № 5. P. 375–387.
- Paechter C. (2012). Researching Sensitive Issues Online: Implications of a Hybrid Insider/ Outsider Position in a Retrospective Ethnographic Study // *Qualitative Research*. Vol. 13. № 1. P. 71–86.
- Park Y. J. et al. (2024). Can chatgpt be used to generate scientific hypotheses? // *Journal of Materiomics*. Vol. 10. № 3. P. 578–584.
- Patil P. B., Ijeri D. M. (2019). Classification of text documents. // *International Conference on Artificial Intelligence and Data Engineering*. P. 675–685.
- Rodríguez-Ibáñez M., Casáñez-Ventura A., Castejón-Mateos F., Cuenca-Jiménez P. M. (2023). A review on sentiment analysis from social media platforms // *Expert Systems with Applications*. Vol. 223. P. 1–14.
- Salamoska J. (2022). *Digitization of Migration Research Methods: Promises and Pitfalls*. Workshop booklet. Warsaw.
- Situngkir H. (2003). Emerging the emergence sociology: The philosophical framework of agent-based social studies // *Journal of Social Complexity*. Vol. 1. №. 2.
- Slonim-Nevo V., Nevo I. (2009). Conflicting Findings in Mixed Methods Research: An Illustration From an Israeli Study on Immigration // *Journal of Mixed Methods Research*. Vol. 3. № 2. P. 109–128.
- Snelson C. L. (2016). Qualitative and Mixed Methods Social Media Research: A Review of the Literature // *International Journal of Qualitative Methods*. № 1. P. 1–15.
- Suissa O., Elmalech A., Zhitomirsky-Geffet M. (2022). Text analysis using deep neural networks in digital humanities and information science // *Journal of the Association for Information Science and Technology*. Vol. 73. №. 2. P. 268–287.

- Taddicken M.* (2014). The 'Privacy Paradox' in the Social Web: The Impact of Privacy Concerns, Individual Characteristics, and the Perceived Social Relevance on Different Forms of Self-Disclosure // *Journal of Computer-Mediated Communication*. Vol. 19. № 2. P. 248–273.
- Tankosik A., Dovchin S.* (2021). The impact of social media in the sociolinguistic practices of the peripheral post-soviet contexts // *International Journal of Multilingualism*. № 20. P. 869–890
- Thurlow C.* (2018). Digital discourse: Locating language in new/social media // *The SAGE handbook of social media*. P. 135–145.
- Zapata-Barrero R., Yalaz E.* (2022). Qualitative Methods in Migration Research // *Introduction to Migration Studies*. IMISCOE Research Series / P. Scholten ed. Cham, Switzerland: Springer. P. 411–423.
- Zhang B., Ding D., Jing L.* (2023). How would stance detection techniques evolve after the launch of chatgpt? // *ArXiv*. № 2212. P. 1–7.
- Ziems C. et al.* (2024). Can large language models transform computational social science? // *Computational Linguistics*. Vol. 50. № 1. P. 237–291.

Experience of Analyzing Textual Representations of the Structural Integration of Migrants in Russia on Social Media Using the BERT Neural Network

Dmitry Timoshkin

Doctor of Sociological Sciences,

Research Fellow, Irkutsk State University

Address: 1 Karl Marx Street, Irkutsk, 664003, Russian Federation;

Professor, Department of Information Technologies in Creative and Cultural Industries, School of Humanities, Siberian Federal University

Address: 82 Svobodny Avenue, Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation

E-mail: dmtrtim@gmail.com

Tikhon Ermakov

Junior Research Fellow, Irkutsk State University

Address: 1 Karl Marx Street, Irkutsk, 664003, Russian Federation

E-mail: erm-tihon@mail.ru

Kirill Ivanov

Research Engineer, Irkutsk State University

Address: 1 Karl Marx Street, Irkutsk, 664003, Russian Federation

E-mail: ivanov-ka@word.isu.ru

Pavel Tarasov

Independent Researcher

Address: Dostojevskog 14, Novi Sad, 21000, Serbia

E-mail: Berrymorr@gmail.com

Mikhail Zharkov

Junior Research Fellow, Siberian Federal University; Research Engineer, BSS Artificial Intelligence
Address: 79 Svobodny Avenue, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation
E-mail: mzharkov@sfu-kras.ru

Alexander Potehin

Master's Student, ITMO AI Talent Hub; NLP Team Lead, X5 Tech
Address: 49 Kronverksky Avenue, Saint Petersburg, 197101, Russian Federation

Experience of Analyzing Textual Representations of the Structural Integration of Migrants in Russia on Social Media Using the BERT Neural Network

The article explores the “digital traces” of the structural integration of cross-border migrants in Russia by combining qualitative text analysis methods with automatic classifiers. Our goal was to analyze posts related to job and housing searches in migrant communities on VKontakte in order to describe the challenges these individuals face and how they use social media to overcome them. From the wide range of practices falling under the definition of structural integration, we focused on job and housing searches, considering them the most significant. Our tasks were to identify and classify mentions of these practices in migrant groups on VK, determining the role of social media in these processes. Given the large volume of material, achieving these goals required an approach that combined the capabilities of automatic classifiers with the analytical sensitivity of qualitative methods. The use of a linear classifier did not yield the expected results, prompting the need to train a neural network classifier. To reduce the associated labor costs, we tested the possibility of training the model on a small manually selected dataset of short texts. Using a Python-based parser, we extracted 129,261 posts from migrant groups, categorizing them thematically via web interface. The texts were then used to train a BERT network (F1 score: 0.94). To ensure the accuracy of classification and to obtain preliminary sociological insights, a randomized sample was analyzed using qualitative content analysis. This analysis revealed that the digital platforms under study serve as spaces where migrants build “the strength of weak ties,” accumulating information and social capital, which in turn reduces the costs and risks associated with integration when searching for jobs and housing in resource-scarce conditions. Religious and regional solidarity serve as the foundation of these networks. Additionally, digital media platforms become contact points between migrants and the host society: they facilitate the informal involvement of migrants, especially refugees from Ukraine, Donetsk, and Luhansk, into family economies and caregiving roles. For example, migrants are offered low-paying agricultural work or caregiving jobs for elderly relatives in small towns or villages, with free accommodation provided by the employer. Another category of posts offers housing in Russian cities to refugee women in exchange for domestic labor and sex. This indicates that some migrant groups may be part of the broader problem of sexual exploitation of female refugees in Russia and the marginalization of migrants by the host community. The results are consistent with those obtained through more traditional methods, indicating that this approach can be applied to the study of large datasets generated by less-researched communities.

Keywords: Migrants, structural integration, digital media, automatic classifiers, BERT, informal economy, care economy, exploitation

References

- Aarseth E. J. (1997) *Cybertext: Perspectives on ergodic literature*, JHU Press.
- Addeo F., Masullo G. (2021) Studying the Digital Society: Digital Methods between Tradition and Innovation in Social Research. *Italian Sociological Review*, vol. 11, pp. 153-165.
- Alencar A. (2018) Refugee integration and social media: a local and experiential perspective. *Information communication and society*, vol. 21, pp. 1588-1603.
- Anderson J. A., Rosenfeld E. (2000) *Talking nets: An oral history of neural networks*, MIT Press.
- Bar-Zvi Shaked K., Shamir A., Vakil E. (2020) An eye tracking study of digital text reading: a comparison between poor and typical readers *Reading and Writing*, vol. 33, pp. 1925-1944.
- Batura T. V. et al. (2021) Semanticheskij analiz nauchnyh tekstov: opyt sozdaniya korpusa i postroeniya jazykovykh modelej [Semantic analysis of scientific texts: experience of creating a corpus and constructing language models]. *Programmnye produkty i sistemy*, no 1, pp. 132-144.
- Baumer E. P. S. et al. (2017) Comparing Grounded Theory and Topic Modeling: Extreme Divergence or Unlikely Convergence? *Journal of the Association for information Science and Technology*, vol. 68, no 6, pp. 1397-1410.
- Berry D. M., Anders F. (2017) *Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age*, Cambridge: Polity.
- Bolander B., Locher M. A. (2020) Beyond the online offline distinction: Entry points to digital discourse. *Discourse, Context & Media*, vol. 35, no 4.
- Bol'shakov N. V. (2017) Sochetat', kombinirovat', smeshivat': kachestvennye i kolichestvennye metody v sovremennoj issledovatel'skoj praktike [Combine, combine, mix: qualitative and quantitative methods in modern research practice]. *Monitoring obshhestvennogo mnenija: Jekonomicheskie i social'nye peremeny*, no 3, pp. 21-29.
- Carley K. M. (1996) Artificial intelligence within sociology *Sociological methods & research*, vol. 25, no 1, pp. 3-30.
- Creswell J. W. (2009) *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, LA: Sage.
- Dekker R., Engbersen G. (2014) How social media transform migrant networks and facilitate migration. *Global Networks*, no 14, pp. 401-418.
- Dekker R., Engbersen G., Klaver J. (2018) Smart Refugees: How Syrian Asylum Migrants Use Social Media Information in Migration Decision-Making *Social media. Society*, no 4, pp. 1-11.
- Dmitriev A., Pjadhov G. (2013) Integracija trudovyh migrantov v megapolise: lokal'nye modeli, kontekst identichnosti (metodologija i metody issledovaniya) [Integration of Labour Migrants in a Megacity: Local Models, Context of Identity (Methodology and Research Methods)]. *Sotsiologicheskie Issledovaniia*, no 5 (349), pp. 49-56.
- Fausser M. (2018) Mixed Methods and Multisited Migration research: innovation from transnational perspective. *Journal of Mixed Methods Research*, vol. 12, no 4, pp. 394-412.
- Gamlen A. (2013) *Mixing methods in research on diaspora policies / Handbook of research methods in migration*, Cheltenham: Edward Elgar.
- Goffman E. (2000) *The presentation self in every day life*, Moscow: Kuchkovo Pole. (In Russian)
- Grimmer J., Roberts M., Stewart B. (2021). Machine learning for social science: an agnostic approach. *Annual Review of Political Science*, no 24, pp. 395-419.
- Grishaeva S. A. (2020) Social'nye transformacii v uslovijah cifrovoj sredy [Social transformations in the digital environment]. *Bulletin of Moscow University. Series 18. Sociology and political science*, vol. 26, no. 1, pp. 70-81.
- Huang F., Kwak H., An J. (2023) Is ChatGPT better than human annotators? Potential and limitations of ChatGPT in explaining implicit hate speech. *Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2023*, pp. 294-297.
- Iosifides T. (2011) *Qualitative methods in migration studies: a critical realist perspective*, NY: Routledge.
- Ivleva I. V. (2009) Trudovye migranty v gorodskoj jekonomike [Labour Migrants in the Urban Economy]. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 12, no 3, pp. 128-149.
- Kim Y. (2019) New Opportunities for Sociological Research: A Discussion of the Usefulness of Mixed Methods with Data Science. *Journal of Asian Sociology*, vol. 48, no 3, pp. 343-358.

- Kozinets R.V. (2002) The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities. *Journal of marketing research*, vol. 39, pp. 252-264.
- Kuzheleva-Sagan I. P., Gluxov A. P., Axmetova L. V., By'chkova M. N., Guzova I. V., Nosova S. S., Okusheva G. A., Staxovskaya Yu. M. (2016) «Cifrovye diaspory» migrantov iz Central'noj Azii: virtual'naja setevaja organizacija, diskurs «voobrazhaemogo soobshhestva» i konkurencija identichnostej ["Digital diasporas" of migrants from Central Asia: virtual network organization, discourse of "imaginary community" and competition of identities], Tomsk: Izdatel'skij Dom Tomskogo gosudarstvennogo universiteta.
- Langer R., Beckman S. C. (2005) Sensitive research topics: netnography revisited. *Qualitative Market Research*, vol. 8, no 2, pp. 189-203.
- Li Y., Tripathi A., Srinivasan A. (2016) Challenges in short text classification: The case of online auction disclosure. *Mediterranean Conference on Information Systems*, pp. 18.
- Maksjutin P. A., Shul'zhenko S. N. (2022) Obzor metodov klassifikacii tekstov s pomoshh'ju mashinnogo obuchenija [Review of text classification methods using machine learning]. *Inzhenernyj vestnik Dona*, no 12, pp. 1-9.
- Malakhov V. S. (2015) *Integracija migrantov. Konceptii i praktiki* [Integration of migrants. Concepts and practices], Moscow: Fond «Liberal'naya Missiya».
- Malakhov V., Simon M. (2018) K genealogii migracionnoj politiki v Rossii: stolknovenie dvuh pravitel'stvennyh racional'nostej [To the Genealogy of Russian Migration Policy: the Collision Between Two Governmentalities]. *Issues of Economic Theory*, no 1(2), pp. 58-72.
- McLuhan M. (2020) *Galaktika Gutenberga. Stanovlenie cheloveka pečatajushhego* [The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man], Moscow: Akademicheskij projekt.
- Mukomel' V. (2011) Integracija migrantov: vyzovy, politika, social'nye praktiki [Integration of migrants: challenges, policies, social practices]. *Mir Rossii*, vol. 20, no 1, pp. 34-50.
- Mukomel' V. (2014) Ksenofobija i migrantofobija v kontekste kul'tury doverija [Xenophobia in the Context of Culture of Trust]. *Mir Rossii*, vol. 23, no 1, pp. 137-166.
- Müller B., Reinhardt J., Strickland M. T. (1995) *Neural networks: an introduction*, Springer Science & Business Media.
- Newell A. (1982) Intellectual issues in the history of artificial intelligence. *Artificial Intelligence: Critical Concepts*, pp. 25-70.
- Nikolaev V. (1998) «Chelovek na granice»: problema marginal'nosti v zerkale sociologicheskoy klassiki ["Man on the Border": the Problem of Marginality in the Mirror of Sociological Classics]. *Social Sciences and Humanities. Domestic and foreign literature. Series 11: Sociology*, no 2, pp. 156-172.
- Onwuegbuzie A., Leech N. (2005) On Becoming a Pragmatic Researcher: The Importance of Combining Quantitative and Qualitative Research Methodologies. *International Journal of Social Research Methodology*, vol. 8, no 5, pp. 375-387.
- Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L. (2005) Enhancing the interpretation of "significant" findings: The role of mixed methods research. *Qualitative Report*, vol. 9, no 4, pp. 770-792.
- Orehov B. (2021) Jekstrapoljacija teksta s pomoshh'ju iskusstvennyh nejronnyh setej. Arhiv GAHN [Text extrapolation using artificial neural networks. Archive of the State Academy of Arts] *Sintez sovremennosti: ruiny GAXN i postdisciplinarnost'* [Synthesis of modernity: the ruins of the State Academy of Arts and Sciences and post-disciplinarity] (eds. A. Xennig, N. Sazonov), pp. 59-73.
- Paechter C. (2012) Researching Sensitive Issues Online: Implications of a Hybrid Insider/Outsider Position in a Retrospective Ethnographic Study. *Qualitative Research*, vol. 13, no 1, pp. 71-86.
- Park Y. J. et al. (2024) Can chatgpt be used to generate scientific hypotheses? *Journal of Materiomics*, vol. 10, no 3, pp. 578-584.
- Patil P. B., Ijeri D. M. (2019) Classification of text documents. *International Conference on Artificial Intelligence and Data Engineering*, pp. 675-685.
- Poluhina E., Prosjanjuk D. (2015) Issledovanija so smeshannymi metodami (mixed methods research): integracija kolichestvennogo i kachestvennogo podhodov [Mixed methods research: integration of quantitative and qualitative approaches]. *Metod: Moskovskij ezhegodnik trudov iz obshhestvennyh disciplin*, no 5, pp. 309-318.

- Pronkina E. S. (2018) Paradoxs privatnosti: pochemu pol'zovateli social'nyh media raskryvajut personal'nuju informaciju v publicnom prostranstve [The paradox of privacy: why social media users disclose personal information in the public space]. *Bulletin of the Russian State Humanitarian University. Series: Literary criticism. Linguistics. Culturology*, vol. 41, no 8, pp. 155–165.
- Rodríguez-Ibáñez M., Casáñez-Ventura A., Castejón-Mateos F., Cuenca-Jiménez P. M. (2023) A review on sentiment analysis from social media platforms. *Expert Systems with Applications*, vol. 223, pp. 1–14.
- Sadyrin A. (2020) Razmyshlenija o tochke nevozvrata: Vkljuchennoe nabljudenie kak «antimetod» v issledovanii migrantskogo soobshhestva [Reflections on the Point of No Return: Participant Observation as an "Antimethod" in the Study of a Migrant Community]. *Laboratorium: Russian Review of Social Research*, vol. 12, no 1, pp. 183–194.
- Salamoska J. (2022) *Digitization of Migration Research Methods: Promises and Pitfalls. Workshop booklet*, Warsaw.
- Savinskaja O. B., Istomina A. G., Larkina T. Ju., Kruglova K. D. (2016) Konceptual'nye predstavlenija o strategijah "smeshivaniya metodov" (mixed methods research): jetapy razvitija i sovremennye diskussii [Conceptual ideas about "mixed methods research" strategies: stages of development and modern discussions]. *Sociologicheskie issledovanija*, no 8, pp. 21–29.
- Severina E. M. (2019) Cifrovoj tekst v prostranstve sovremennoj kul'tury [Digital text in the space of modern culture]. *Chelovek i kul'tura*, no 5, pp. 65–72.
- Shapinskaya E. N. (2022) Storitelling v narratologii cifrovoj jepohi [Storytelling in the Narratology of the Digital Age]. *Kul'turnyj kod*, no 1, pp. 53–63.
- Situngkir H. (2003) Emerging the emergence sociology: The philosophical framework of agent-based social studies. *Journal of Social Complexity*, vol. 1, no 2.
- Slonim-Nevo V., Nevo I. (2009) Conflicting Findings in Mixed Methods Research: An Illustration From an Israeli Study on Immigration. *Journal of Mixed Methods Research*, vol. 3, no 2, pp. 109–128.
- Snelson C. L. (2016) Qualitative and Mixed Methods Social Media Research: A Review of the Literature. *International Journal of Qualitative Methods*, no 1, pp. 1–15.
- Suissa O., Elmalech A., Zhitomirsky-Geffet M. (2022) Text analysis using deep neural networks in digital humanities and information science. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, vol. 73, no 2, pp. 268–287.
- Taddicken M. (2014) The 'Privacy Paradox' in the Social Web: The Impact of Privacy Concerns, Individual Characteristics, and the Perceived Social Relevance on Different Forms of Self-Disclosure. *Journal of Computer-Mediated Communication*, vol. 19, no 2, pp. 248–273.
- Tankosik A., Dovchin S. (2021) The impact of social media in the sociolinguistic practices of the peripheral post-soviet contexts. *International Journal of Multilingualism*, no 20, pp. 869–890.
- Thurlow C. (2018) Digital discourse: Locating language in new/social media. *The SAGE handbook of social media*, pp. 135–145.
- Timoshkin D. O. (2019) Doverie vs dezorientacija: jekonomika russkojazychnyh «migrantskih» grupp v social'nyh setjah [Trust vs disorientation: the economics of Russian-speaking "migrant" groups in social networks]. *E'konomicheskaya sociologiya*, vol. 20, no 5, pp. 53–73.
- Timoshkin D., F. Smetanin, Y. Koreshkova, N. Zborovitskaya, A. Voloshin, D. Bryazgina (2023) Search engines as mechanisms for producing the boundaries of «Imagined communities». *Politeia*, no 2 (109), pp. 55–76.
- Varshaver E. A., Rocheva A. L., Ivanova N. S. (2017) Information behavior of migrants from Central Asia under changes in the Russian migration legislation. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 1, pp. 182–195.
- Varshaver E., Rocheva A. (2016) Integracija migrantov. chto jeto i kakuju rol' v ee osushhestvlenii igraet gosudarstvo [Integration of migrants. what is it and what role does the state play in its implementation]/ *Zhurnal issledovanij social'noj politiki*, vol. 14, no 3, pp. 315–330.
- Vinokur T. G. (1993) *Govorjashhij i slushajushhij: Varianty rechevogo povedenija* [Speaking and listening: Variants of speech behavior], Moscow: Nauka.
- Zapata-Barrero R., Yalaz E. (2022) Qualitative Methods in Migration Research. *Introduction to Migration Studies*. (eds. P. Scholten) IMISCOE Research Series, Cham, Switzerland: Springer, pp. 411–423.

- Zhaksybaev D.O., Bakiev M.N. (2022) Algoritmy klassifikacii tekstovyh dokumentov s uchetom blizosti v priznakovom prostranstve [Algorithms for classifying text documents taking into account proximity in the feature space]. *Modelirovanie sistem i processov*, vol. 15, no 1, pp. 36-43.
- Zhang B., Ding D., Jing L. (2023) How would stance detection techniques evolve after the launch of chatgpt? *ArXiv*, no 2212, pp. 1-7.
- Ziems C. et al. (2024) Can large language models transform computational social science? *Computational Linguistics*, vol. 50, no 1, pp. 237-291.

«Эффект друзей и соседей»: 75 лет электорально-географических исследований*

Федор Чернецкий

Аспирант, кафедра социально-экономической географии зарубежных стран,
географический факультет, МГУ им. М. В. Ломоносова

Адрес: Ленинские горы, 1, Москва, 119991 Российская Федерация

E-mail: fedor.mche@gmail.com

«Эффект друзей и соседей» — один из классических контекстуальных эффектов в электоральной географии. Обычно он проявляется в виде повышения поддержки кандидата, баллотирующегося на выборах, в окрестностях его места проживания, родного района или других мест, с которыми он как-либо связан. Иногда этот феномен называют «эффектом кандидата» или эффектом «домашнего преимущества». В данной статье представлен обзор исследований данного эффекта, характеризуются его основные черты и особенности, а также формулируются ключевые проблемы, стоящие перед исследователями в данной области. Несмотря на то что с момента «открытия» данного явления прошло уже 75 лет, география исследований, посвященных «эффекту друзей и соседей», до сих пор ограничивается в основном США, Австралией, Новой Зеландией и несколькими странами Европы, тогда как работы по другим регионам единичны. В России ему тоже практически не уделялось внимания, а первая статья, посвященная непосредственно данному эффекту, появилась лишь в 2022 году. При этом в последние 15 лет в англоязычной литературе наблюдается взрывной рост интереса к «эффекту друзей и соседей». Именно в этот период появилась большая часть работ по странам Восточной Европы, а также несколько исследований по африканским и восточноазиатским странам. Другая актуальная проблема — переход от этапа накопления информации и первичных результатов по отдельным контекстам к синтетическому обобщению знаний об исследуемом феномене на основе сравнительных исследований. Возможно, именно подобное обобщение поможет ответить на ряд нерешенных пока вопросов, связанных с «эффектом друзей и соседей».

Ключевые слова: «эффект друзей и соседей», электоральная география, контекстуальные эффекты, локализм, «эффект кандидата»

75 лет назад вышла ставшая классической для электоральной географии книга В. О. Ки «Южная политика» (1949 г.), в которой впервые было обращено внимание на влияние места происхождения или проживания политика на распределение его электоральной поддержки в пространстве. Он исследовал «политические» машины Демократической партии (партий) на Юге США, где в большинстве штатов на губернаторских и сенаторских внутрипартийных праймериз существовали географически устойчивые электоральные расколы между районами с разными электоральными предпочтениями. Однако в случаях Алабамы и Флориды подобного не наблюдалось, вместо этого на каждых выборах формировалась новая система расколов, для которых основным фактором был эффект, названный Ки «эффектом друзей и соседей» (ЭДиС). Вокруг родных районов кандидатов наблю-

* Работа выполнена в рамках темы государственного задания «Теория и практика эволюционного страноведения в условиях глобальных вызовов» (№ ЦИТИС 121051400060-2)

дались ареалы их повышенной поддержки, тогда как за пределами данных районов их поддержка была минимальна (Key, 1949).

Подобное стало возможным из-за абсолютного доминирования Демократической партии в южных штатах США. В них за выборные должности конкурировали не представители разных партий, а однопартийцы. Идеологические различия между ними зачастую были минимальны, что повышало эффект личности кандидата при выборе избирателем, за кого из них голосовать. Спустя пять лет Г. Маккарти подтвердил выводы Ки, используя количественные методы, на примере голосования за сенатора Дж. Маккарти (McCarty, 1954). В ряде последующих работ феномен, обнаруженный Ки и Маккарти, называли не «эффектом друзей и соседей», а «эффектом локализма», «эффектом кандидата», эффектом «домашнего преимущества» или эффектом «любимого сына» («favorite son») (какого-либо штата) (Lewis-Beck, Rice, 1983; Dudley, Rapoport, 1989).

Однако сразу всплеска интереса к этому явлению не последовало. В 1959 году ученик Ки в Йельском университете Д. Локард повторил его работу на примере штатов Новой Англии, уделив внимание и «эффекту друзей и соседей» (Lockard, 1959). Исследование Маккарти в конце 1960-х годов расширил его преемник на посту заведующего кафедрой географии Университета штата Айова Д. Рейнольдс, продолживший использование количественных методов для исследования эффекта, но уже на праймериз в Джорджии (Reynolds, 1969). Одновременно с этим С. Фланаган в работе, посвященной электоральному поведению японских избирателей, лишь упомянул открытие Ки, указав на существование эффекта на выборах и в Японии (Flanagan, 1968). На этом закончилась «эпоха», в которой «эффект друзей и соседей» не был непосредственным объектом исследований, фигурируя в книгах политологов и экономико-географов лишь как один из сюжетов политической картины тех или иных штатов США.

Серьезный интерес к эффекту начался в 1970-х годах (рис. 1). Во-первых, географы стали активно использовать количественные методы (корреляционный, регрессионный анализ). Во-вторых, появились научные статьи, непосредственно направленные на те или иные аспекты ЭДиС в разных контекстах. В-третьих, данным вопросом занялись именно географы, специализировавшиеся на географии выборов, а не представители других направлений. В-четвертых, появилась теоретическая основа, определившая место исследуемого феномена в дисциплине.

К. Кокс ввел в электоральную географию понятие контекста, указывая, что местоположение избирателя в сложных сетях межличностных коммуникаций влияет на получаемую им информацию и его электоральное поведение. Он в основном исследовал «эффект соседства», однако некоторые выводы распространяются и на ЭДиС. В частности, он обратил внимание на «сильную обратную зависимость между расстоянием и формированием знакомств» (Cox, 1969: 92). Идея воздействия на избирателя «местного контекста» противопоставлялась т.н. «территориально-структурному подходу» («areal/spatial-structural approach»), предполагавшему почти полную зависимость электоральных предпочтений избирателя

от его социально-экономических характеристик (раса, возраст, уровень доходов и др.) (Сох, 1969). Такой подход критиковался за недостаточную географичность и перестал быть практически безальтернативным благодаря работам Р. Джонстона, обобщенным в «пространственный подход» («spatial approach»), учитывающий контекстуальные эффекты (Johnston, Forrest, 1985).

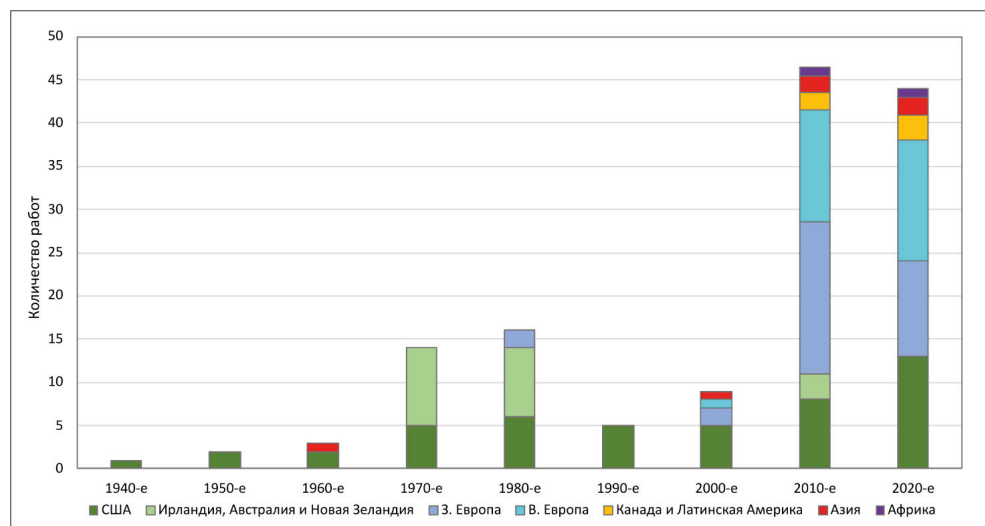


Рис. 1. Исследования «эффекта друзей и соседей» по десятилетиям и регионам
Источник: составлено автором

Второй этап исследования эффекта

Р. Джонстон и соавторы, будучи сотрудниками новозеландских университетов, обратили внимание на выборы в местные городские советы (Крайтчерча и Данидина). Оказалось, что на местных выборах ЭДиС выражен сильнее, чем на национальных (Johnston, 1972). При этом на исследуемых выборах использовалась не мажоритарная система относительного большинства, а многомандатные округа, в рамках которых в выборах участвовало сразу по несколько представителей одной и той же партии, что нивелировало влияние на географию их поддержки фактора партийности (Johnston, 1974; Forrest, Johnston, 1973). На некоторых выборах баллотировались только беспартийные кандидаты, что делало ЭДиС определяющим фактором географии их поддержки (Forrest, Marjoribanks, Johnston, 1977).

Тогда же эти выводы были подтверждены исследованиями, посвященными местным выборам в Австралии (Hermann, 1976; Johnston, 1978; Forrest, 1982) и Ирландии (Sacks, 1970; Roche, 1983; Tiering, 1984; Parker, 1986). М. Галлахер указывал на ключевую роль локализма в ирландской политике, в которой «местные корни»

(«local roots») кандидата — важнейший аргумент для партии при отборе ею кандидатов в конкретном округе (Gallagher, 1980). П. Сакс исследовал «политические машины» в графстве Донегол, показывая, что для местных избирателей крайне важно общее с кандидатом (географическое) происхождение. Это делало местную политику закрытой для «чужаков», позволяя одной местной «мафии» контролировать политическую жизнь в Донеголе на протяжении десятилетий (Sacks, 1976).

Однако за пределы четырех данных стран (США, Новая Зеландия, Австралия, Ирландия) исследования ЭДиС почти не распространялись до 2000-х годов (рис. 1). При этом продолжалось расширение исследований на выборы разных видов. Например, особый интерес привлекал подбор кандидатуры вице-президента на выборах в США и его влияние на исход голосований. К. Таббесинг назвал преимущество, получаемое кандидатом в вице-президенты, «правилом губернатора Хернса» («Governor Hearnese's Rule»), указывавшим на важность местного происхождения кандидата для жителей его штата (Миссури). Он критически отнесся к выдвижению крайне либерального Дж. Макговерна на президентских выборах 1972 года от Демократической партии, но заявил, что предварительный выбор им Т. Иглтона (уроженец Миссури) в качестве вице-президента увеличивает их шансы на победу в штате (Tubbesing, 1973).

Дж. Гаранд, пытавшийся опровергнуть значимость (и само существование) ЭДиС, в итоге определил его влияние в родном штате кандидата в вице-президенты в среднем в три процентных пункта (Dudley, Rapoport, 1989). Однако влияние кандидата в вице-президенты на итоговое голосование оказывалось все-таки небольшим и заметно уступало эффекту, создаваемому кандидатом в президенты (Devine, Kopko, 2016). К тому же есть основания полагать, что данный эффект постепенно теряет силу из-за национализации выборов.

Например, во время неопределенности с выбором кандидата в вице-президенты от Демократической партии США летом 2024 года математическая модель «Silver Bulletin» Н. Сильвера, статистика и основателя проекта «FiveThirtyEight», специализирующегося на анализе электоральных данных и прогнозов, показывала преимущество лишь в десятые доли процентного пункта в разных ключевых штатах от выбора кандидатом в вице-президенты известных местных политиков. Эта добавка может быть решающей для исхода выборов, однако уступает потенциальным преимуществам, которые могут дать иные (не географические) характеристики других кандидатов. Модель также указала на обратную зависимость выраженности эффекта от численности населения штата. Например, эффект от выбора Дж. Шапиро, губернатора Пенсильвании, в родном штате мог бы составить 0,4 п. п., тогда как для М. Келли, сенатора от Аризоны, в его штате мог бы дать 0,7 п. п. Еще больший эффект, по мнению Сильвера, наблюдался у С. Пейлин и Дж. Байдена на выборах 2008 года в их «домашних» и одних из самых малонаселенных штатах (Аляске и Делавэре) (Silver Bulletin).

Л. Аспин и соавторы исследовали влияние ЭДиС на выборах судей в США. Было обнаружено, что из-за плохой осведомленности избирателей о кандида-

тах влияние ЭДиС увеличивалось (Aspin, Hall, 1987). Эффект влиял не только на то, за кого голосует избиратель, но и на его явку на выборы и активность в финансировании избирательных кампаний кандидатов. Больше всего пожертвований кандидатам на выборах в Верховный суд Техаса 1988 года поступало не только из округов с большой долей юристов, непосредственно заинтересованных в результатах, и родных округов кандидатов, но и из родных округов оппонентов. Иными словами, из-за повышенной узнаваемости кандидатов в родных округах происходит мобилизация не только сторонников, но и противников, решающих помочь оппонентам своего земляка. Дж. Тильман назвал этот феномен «эффектом друзей и врагов» («friends and enemies effect») (Thielemann, 1993).

Д. Крамер в статье, посвященной выборам в 61-м избирательном округе Ассамблеи штата Нью-Йорк, указывал на важность для формирования ЭДиС не только ориентации избирателей на местных кандидатов, но и антагонизма с представителями других частей округа/штата/страны. Исследовавшийся округ состоит из разделенных рекой Южного Манхэттена и Северо-Восточного Стейтен-Айленда. Отношение электората одной части округа к кандидатам из другой Крамер описал цитатой, вынесенной в название его статьи, «эти люди по ту сторону [реки] ничего не знают о наших проблемах» (Kramer, 1990: 189).

Значительная часть исследований, посвященных поиску ЭДиС в разных обычных условиях (выборы судей, небольшие городские округа и др.), была выполнена в 1990–2000-х годах, когда интерес к эффекту значительно снизился (рис. 1). Предыдущий (второй) этап в исследовании ЭДиС закончился после серии работ Р. Джонстона и соавторов, их коллег и учеников. В дальнейшем они лишь упоминали его в обобщающих работах, посвященных дисциплине в целом. Прежний уровень интереса к ЭДиС вернулся только с приходом следующего поколения политико-географов.

В течение же данного периода исследования затрагивали практически исключительно американские выборы. Проверялись отдельные наблюдения из ранних работ на примере отдельных штатов и общие положения на обширном материале со всей страны за длительный период (Holbrook, 1991; Potoski, 1994; Kjar, Laband, 2002; Mixon, Tyrone, 2004). В итоге преимущество кандидата в родном штате кандидата на президентских выборах было оценено в 4–6 п. п. (Lewis-Beck, Rice, 1983; Mixon, King, Lawing, 2008). При этом авторы ссылались уже не на первые работы (Ки и Маккарти), а на несколько более поздние исследования. Особое место в их ряду занимает статья Р. Таталовича 1975 года, посвященная ЭДиС на праймериз в Миссисипи (Tatalovich, 1975). В ней Таталович использовал корреляционный анализ для подтверждения своих гипотез: значимость эффекта с годами снижается; эффект сильнее на праймериз и местных выборах; при большом количестве конкурирующих кандидатов; для маргинальных кандидатов; если кандидат баллотируется на пост впервые; если ближайший и сильнейший оппоненты проживают в удаленных районах.

К таким же выводам пришли и другие авторы, в том числе использовавшие другие методы, анализируя материалы выборов в соседних Алабаме (Black E., Black, 1973) и Миссури (Van Wingen, Parker, 1979; Van Wingen, 1984). Итак, к концу данного периода эффект был исследован даже не на материале четырех стран, а на примере лишь нескольких их районов: Юг США, Крайстчерч и Данидин в Новой Зеландии, Викториа в Австралии, Голуэй и Донегол в Ирландии. Работы по выборам в других странах приносили небольшую теоретическую прибавку, лишь подтверждая или опровергая сформулированные ранее тезисы.

Механизмы формирования эффекта

Выделяются две группы объяснений возникновения «эффекта друзей и соседей».

Первая может быть описана следующим образом. Информационная составляющая ЭДиС связана с неравномерным распределением в пространстве информации о кандидатах (Hunt, 2022a). Избиратели, живущие рядом с кандидатом, имеют больше шансов (при прочих равных условиях) узнать о его существовании. Локальность кандидата создает вероятность большей частоты контактов с местными избирателями (Schulte-Cloos, Bauer, 2023). Избирателям уже может быть знакома фамилия кандидата, если ранее он баллотировался на местных выборах (Sajuria, 2016). Информацию о наличии местного кандидата могут распространять в локальной информационной среде местные СМИ (Johnston et al., 2016).

Возможно, ЭДиС возникает в первую очередь именно из-за положения избирателя в сложных сетях межличностных коммуникаций и неравномерного распространения информации в пространстве, которое и создает неравномерное распределение поддержки политиков (Bowler, Donovan, Snipp, 1993). Асимметричность этих сетей может создавать неравномерное воздействие эффекта в разных направлениях от его источника. Есть предположение, что информационные потоки о кандидатах следуют гравитационной модели, т.е. зависят от размеров населенных пунктов, между жителями которых и проходят эти потоки (Guarnieri, da Silva, 2022). Однако эффект не обязательно вызывается персоналистическими отношениями между кандидатами и избирателями. Концентрация голосов за определенного кандидата в определенном месте может быть связана с затрудненностью распространения политиками информации о себе за пределы зоны своего влияния в избирательном округе (Zolnerkevic, 2024). В некоторых странах (например, в Германии) информация о месте проживания кандидата содержится в бюллетене, что сглаживает «информационную» составляющую ЭДиС (Bukman, 2023; Harfst et al., 2023), хотя эффект все равно проявляется уже из-за реакции избирателей на информацию о локальности кандидата.

Вторая группа факторов дает объяснение, почему избиратель, знающий о географическом происхождении кандидата, с большей или меньшей вероятностью проголосует за него. Некоторые руководствуются логикой «pork barrel politics», т.е. рассчитывают, что кандидат будет больше внимания уделять интересам своей

электоральной базы (Harjunen, Saarimaa, Tukiainen, 2023). Местное происхождение делает избранных политиков более подотчетными, ибо избирателям легче вознаграждать или наказывать их за отступление от местных интересов, а партиям сложнее контролировать своих депутатов с сильными личными базами поддержки (Tavits, 2010; Jankowski, 2016). При этом избиратели могут действовать и не исходя из чисто «корыстных» интересов, им может быть достаточно уверенности, что избранный политик знает о существовании их локальных проблем, а местный кандидат для этого подходит лучше других (Kovarek, 2022).

Другой фактор — доверие. Избиратели часто голосуют за тех, кто по каким-либо личным характеристикам похож на них. Происхождение из одного района/города/области — один из таких видов близости, создающих доверие и понимание между избирателем и избираемым (Parker, 1982; Gimpel et al., 2008). Подчеркивание кандидатом своего местного происхождения можно рассматривать как способ донести до избирателей идею «я знаю, чего вы хотите» (Espírito-Santo, Sanches, 2018). Р. Пиличек назвал это «общей географией» («shared geography») (Pileček, 2021: 236), которая может подстегивать местную идентичность и местный патриотизм (Panagopoulos, Leighley, Hamel, 2017; Delmar, Sajuria, 2018; Hunt, 2022b). ЭДиС — своего рода проявление «лояльности к территории» (Malcová, 2012), которой «избиратели придают личные чувства, самоуважение и политический смысл» (Hunt, Fontana, 2024: 19).

Разделяя кандидатов на категории «мы» и «они», избиратели определяют, за каких кандидатов голосовать. Одной из таких категорий может быть их принадлежность к одному району, и голосование за местного кандидата — способ выбора «одного из нас» («внутригрупповой фаворитизм») (Nyholt, 2024: 6). Для расширения своей «электоральной коалиции» кандидату обычно необходимо преодолеть барьер партийного восприятия, что можно достичь посредством апелляции к «местному стилю», поддерживая «разговор на местном языке» («talking local») и о местных проблемах (Munis, Burke, 2023). Чем сложнее избирателям узнать какую-либо информацию о кандидатах, тем чаще они будут полагаться на место происхождения в качестве ориентира при принятии решения о голосовании (Górecki, Marsh, 2014; Put, Smulders, Maddens, 2019). Еще значимее эффект в случаях с высоким разнообразием кандидатов и наличием возможности у избирателя голосовать за отдельных кандидатов, а не за партии (в открытых списках и мажоритарной системе) (Shugart, Valdini, Suominen, 2005).

Наиболее простой способ для избирателя определить, за какого кандидата он будет голосовать (на мажоритарных выборах), — партийная принадлежность политика. В странах с более-менее устойчивой партийной системой большая часть электората однозначно ассоциирует себя с той или иной партией, отстаивающей наиболее близкий для конкретного избирателя набор ценностей. Однако в случаях с нестабильной партийной системой или с беспартийными кандидатами (особенно на местных выборах) избирателям сложнее ориентироваться в политическом пространстве (Arzheimer, Evans, 2014). В подобных ситуациях избиратели в большей

степени ориентируются на личные качества кандидатов, в том числе и на их происхождение (McAllister, 2015). В Европе ЭДиС выше в восточноевропейских странах, где партии вызывают меньше доверия, чем в западноевропейской политике, а роль отдельных политиков выше (Goralski, 2012). Похожее электоральное поведение избирателей и локализм характерны для политических контекстов, в которых основные акторы не имеют значимых идеологических различий (Whyte, 1974). Поэтому ЭДиС, как правило, ниже в регионах с высоким этническим, культурным и экономическим разнообразием (Disarro, Barber, Rice, 2007). Однако даже в наиболее благоприятных для локализма контекстах происходит постепенное сокращение его влияния из-за национализации политической повестки и поляризации политиков и электората (Munis, 2021). С другой стороны, есть подтверждения, что ЭДиС снижает уровень национализации выборов в некоторых странах, «взламывая» общенациональные «композиционные» электоральные расколы, привнося в них местный контекст (Туровский, Сухова, Синицина, 2022).

Есть понимание, что эффект может создаваться разными видами локальности кандидата, однако пока не установлены различия между эффектами, создаваемыми ими (Herron, Lynch, 2019). Например, кандидат может не иметь ЭДиС в родном районе/городе, однако ЭДиС существует в месте, где кандидат провел какую-то часть жизни (Mixon, 2013). Можно вывести лишь общее тривиальное правило: кандидаты с более сильными «местными корнями» (локальностью) или занимавшие монархические политические позиции на местном уровне (особенно мэры), как правило, создают более сильный эффект (Boldrini, 2023).

«Эффект друзей и соседей» во многих отношениях пересекается с другими контекстуальными эффектами: соседства и избирательной кампании. Массовая поддержка местного кандидата, усиленная более активной агитацией в родных районах, может привлекать на сторону данного кандидата большую часть местного электората, что активизирует «эффект соседства», добавляющего доминирующему в местном контексте политику голосов конформного электората (Górecki, Marsh, 2012). Также усиливается эффект сильными «местными корнями» кандидата (Hunt, 2021; Hunt, Rouse, 2023; Crosson, Kaslovsky, 2023). Особенно значим «эффект инкумбента», т.е. наличие у кандидата какой-либо местной должности (мэра, губернатора, депутата), которая повышает известность на местном уровне, а также добавляет симпатий местного электората при участии в выборах более высокого уровня (Meredith, 2013a; Papp, 2018).

Эффект может стать рычагом для мобилизации людей, которые иначе не приняли бы участия в выборах (Meredith, 2013b; Baumann et al., 2021). Наличие «близкого» кандидата увеличивает шансы, что избиратель узнает про выборы, кандидата и примет участие в голосовании (Rice, Macht, 1987). Иными словами, ЭДиС работает не столько на смену устоявшихся электоральных предпочтений избирателей, сколько на привод на участки новых (Freundreis, Tatalovich, 2021; Poertner, 2023). Если выборы проходят в два тура, то выбытие местного кандидата обычно снижает явку на его родине (Fiva, Smith, 2017).

В итоге «он [местный кандидат] получает поддержку в первую очередь не за то, за что он выступает, или из-за своих способностей, а из-за того, где он живет» (Key, 1949: 37). Однако не всегда понятно, за счет чего именно появляется эффект (Johnston et al., 2016). Иногда место жительства/рождения кандидата совпадает с районом стабильно повышенной поддержки его партии, поэтому нельзя быть уверенным в наличии у него ЭДиС (хотя в такой ситуации и об отсутствии эффекта однозначно говорить тоже нельзя).

ЭДиС оказывает не одинаковое влияние на разных избирателей. Электорат, имеющий сильную привязанность к какой-либо партии, голосует за ее кандидатов почти в любых условиях. Однако колеблющиеся избиратели в большей степени ориентируются на личные качества кандидатов, в т.ч. на их локальность (Bengtsson, Wass, 2011). Другая группа избирателей, реагирующая на ЭДиС сильнее, чем другие, — жители районов с низким представительством в органах власти (своего рода «place resentment») (Munis, 2022). Избиратели из периферийных районов возмущены такой несправедливостью, поэтому чаще голосуют за местных кандидатов и оказывают давление на избранных местных депутатов (Cramer, 2016; André, Depauw, 2018). Локализм в виде ЭДиС в данном случае — проявление недоверия и недовольства центральными властями и политикой в целом (Hegewald, 2023). Чем больше люди чувствуют, что политики не уделяют достаточно внимания к «их месту», тем больше они доверяют местному уровню власти. Точно так же эти избиратели с меньшей вероятностью отвернутся от местного кандидата, если он окажется замешан в каком-либо скандале (не связанным с локальной повесткой) (Mixon, 2018).

С возрастом у людей развивается большая привязанность к месту. Напротив, молодые люди меньше подвержены региональным сантиментам и не связаны с местом своего проживания так сильно. В городских районах привязанность к месту у его жителей увеличивается в основном после развития тесных социальных связей, брака, рождения детей и покупки жилья (Van Wingen, 1984).

Разница между избирателями разных возрастов в их реакции на местных кандидатов отчасти создает различия между городами и сельской местностью. В городах ЭДиС существует, но выражен слабее, чем за их пределами (Johnson, 1989; Tiran, 2023a). Высокая плотность населения, неоднородность сообществ и мобильность жителей уменьшают привязанность избирателей к месту и сообществу, снижая и их заинтересованность в местных кандидатах (Mixon, 2013; Velimsky et al., 2023). Эффект слабее в более молодых городских районах, где слабее соседские связи, и сильнее в старых густонаселенных (с высокой долей частных, а не многоквартирных домов), где существуют сложившиеся соседские сообщества (Sendra, 1980; Czapiewski, Woźniak, 2021). Местная идентичность тоже больше характерна для сельских жителей, в большей степени привязанных к месту своего проживания (Jacobs, Munis, 2019). Идентичность, основанная на месте, может повлиять на избирателей до такой степени, что они отдадут голоса за кандидатов, у которых даже нет никаких шансов на победу (Collignon, Sajuria, 2018).

Например, на президентских выборах 2022 года в Словении максимальный ЭДиС наблюдался у В. Пребилича — единственного кандидата, представлявшего периферию страны. При общем результате в 10%, в родном районе он набрал почти 80%, а в родном городе Кочевье, мэром которого он был, — около 65% (рис. 2). Явка местного электората выросла до 53 с 38% в 2017 году. Другие кандидаты — выходцы из крупных городов, поэтому почти не пользовались повышенной поддержкой соседей. Слабый ЭДиС наблюдался у фаворита первого тура выборов А. Логара, известность которого сгладила выраженность эффекта. У М. Кордиша эффект вовсе отсутствовал, так как он принадлежал к социалистической партии «Левые», крайнее положение которой в политическом спектре ограничивало ее небольшим идеологизированным электоратом, больше ориентирующимся на политическую платформу, а не на географическое происхождение кандидата (Tiran, 2023b).

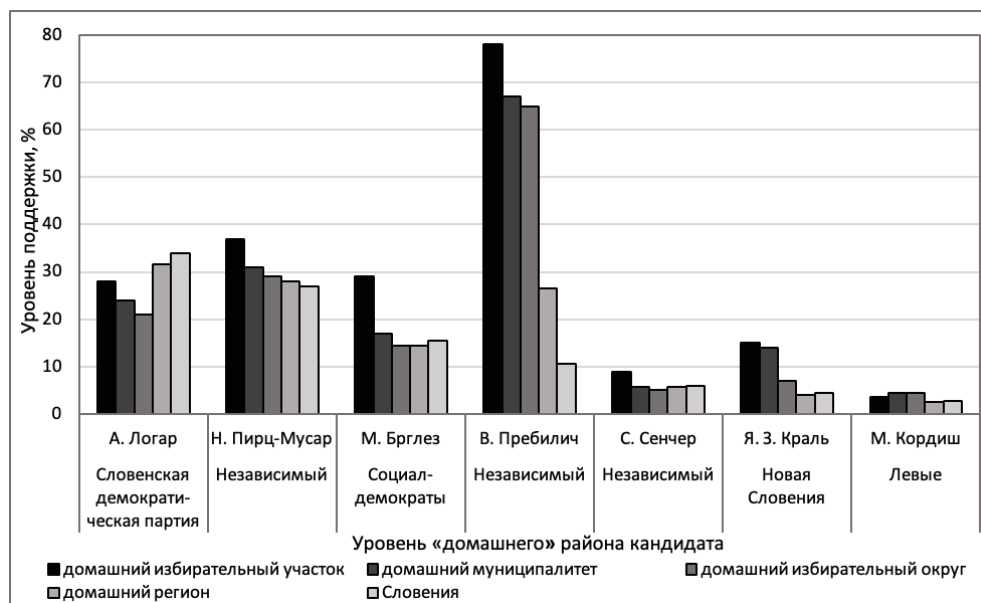


Рис. 2. Уровни поддержки кандидатов на разных уровнях «домашних» районов на президентских выборах 2022 г. в Словении

Источник: (Tiran, 2023b)

Другой показательный пример проявления ЭДиС — президентские выборы в Республике Корея. На выборах в этой стране ярко выражен политический регионализм: две основные партии и кандидаты получают стабильно повышенную поддержку на юго-западе (регион Чолла) и юго-востоке (регион Кенсан) страны. Ранее существовало регионалистское движение и в центрально-западной части страны (регион Чхунчхон). Регионализм в Корее — комплексное явление, заро-

дившееся в 1960-х годах, однако к нынешнему моменту основные причины, его породившие (например, территориальное неравенство экономического развития), уже исчезли, а регионализм сохранился почти в том же виде (Chernetskii, 2024). Одна из причин, создавших и поддерживающих (а в некоторых случаях, наоборот, ослабляющих) регионализм, — «эффект друзей и соседей». Апогея регионализм достиг в 1987 году, когда на президентских выборах конкурировали четыре кандидата, апеллировавших к электорату своих родных регионов. В итоге политики получили максимальные уровни поддержки не только в этих регионах, но и внутри них наблюдалась четкая зависимость голосования за соответствующих кандидатов от удаленности от их родных мест (рис. 3). Например, Ким Ёнсам получил более 80% голосов избирателей в родном городе Кодже (при 28% в целом по стране) и менее 30% в самой отдаленной (северной) части родного региона. Ким Джонпхиль, де-факто создавший регионализм в родном регионе Чхунчхон, тоже получил в «домашнем» уезде около 80%, а в противоположной части региона — около 7%. Коэффициенты корреляции между расстоянием от домов кандидатов и уровнем их поддержки для Кимов составили $-0,75$ и $-0,84$ соответственно.

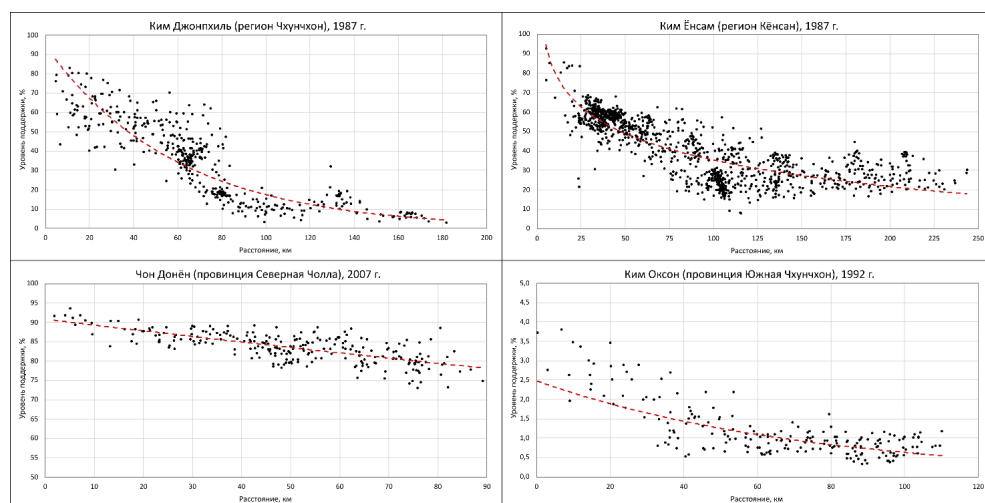


Рис. 3. Зависимость уровня поддержки от удаленности от дома кандидатов в их «домашних» регионах на президентских выборах в Республике Корея
Источник: составлено автором

Отметим, что в случае Ким Джонпхилия наблюдается не только континуальное проявление эффекта (постепенное снижение уровня поддержки кандидата при удалении от его дома), но и дискретное. На расстоянии 80 км заметно резкое снижение уровня поддержки Кима, что объясняется прохождением на примерно таком расстоянии от родины Кима границы между его родной провинцией (Южная Чхунчхон) и Се-

верной Чхунчхон. Жители соседней провинции в гораздо меньшей степени воспринимали Ким Джонпхилиа как «своего» кандидата, поэтому реже отдавали за него свои голоса. У некоторых кандидатов эффект фиксируется не на региональном уровне, а локальнее (например, у Ким Оксона в 1992 году и Чон Донена в 2007 году). Иными словами, эффект либо «затухает» быстрее, как в случае малоизвестного Ким Оксона, набравшего лишь 0,36% на выборах 1992 года, но 3,7% в родном районе и 10,5% на «домашнем» избирательном участке, либо влияние эффекта на больших расстояниях осложняется какими-то другими факторами. Похожие распределения двух данных показателей наблюдаются у большинства кандидатов, набравших значимую долю голосов избирателей, на всех президентских выборах в Республике Корея.

Иногда использование локализма в виде ЭДиС становится осознанной стратегией партий (Vandeleene, 2017; Gallagher, 1980; Нисимура, 2020). При прочих равных они предпочитают выставлять кандидатов с сильными «местными корнями» (Berz, Jankowski, 2022). В Бельгии и Финляндии используется пропорциональная система с открытыми списками, поэтому избиратели голосуют только за кандидатов, голоса которых потом суммируются в голоса партии. Следовательно, партиям выгодно выдвигать даже бесперспективных кандидатов из разных частей избирательного округа только для того, чтобы собрать голоса электората, мобилизованного ЭДиС отдельных кандидатов (Parker, 1982; Put, Smulders, Maddens, 2019; Put, von Schoultz, Isotalo, 2020). Бельгийские партии зачастую используют эту стратегию в ответ на неудачи на местных выборах, выдвигая больше местных кандидатов там, где на предыдущих выборах столкнулись с сильным снижением собственной поддержки (Put, Maddens, Verleden, 2017).

Данный эффект распространяется и на лидеров партий или иных известных их представителей, что дает партии дополнительные голоса (Fiva, Halse, 2016; Čagalj, Vukosav, Radoš, 2023; Slagarp, Himberg, 2023). К тому же эффект от одного кандидата передается другим. Если одновременно происходит несколько выборов, ЭДиС, создаваемый одним кандидатом, окажет воздействие на голосование избирателей за его однопартийца на других выборах (Put, 2021) — кандидат может иметь районы повышенной поддержки за счет ЭДиС не только в «своем» районе, но и в «домашних» районах своих «политических друзей» (Johnston et al., 2016; Kovarek, 2024).

Отметим также существование двух проявлений ЭДиС: локального и регионального (Туровский, 2006). Первое иногда ограничено буквально друзьями, родственниками и соседями. Подобное особенно свойственно кандидатам с крайне низким уровнем поддержки, а эффект виден лишь на одном или нескольких соседних избирательных участках. Второй вид более глобальный, так как распространяется на большие дистанции. Расстояние может рассматриваться не только как географическое, но и как институциональное — за счет соседства осмысленных территориальных единиц (или «legally bounded spaces», по Р. Фенно) (Fenno, 1978). Избиратели во всех частях одной провинции/области/штата имеют больше мотивации голосовать за местного кандидата вне зависимости от фактического расстояния до его дома, так как в любой точке этой административной единицы он может восприниматься как «свой»

(Audemard, Gouard, 2020). К тому же редко избиратели обладают информацией о точном географическом происхождении кандидата и обычно ограничены знанием о родном регионе/провинции/области/штате/городе. Расстояние перестает быть непрерывным, сменяясь бинарным различием между принадлежностью и непринадлежностью к определенному населенному пункту или области с их конкретными названиями и границами (Munis, 2022; Górecki, Bartnicki, Alimowski, 2022). В таких случаях особенно важны т.н. «фантомные границы» (Dobysch, Yatsenko, 2020). Этот вид ЭДиС еще можно назвать «эффектом землячества» (Туровский, 2006).

Также различаются «континуальный» ЭДиС с постепенным снижением уровня поддержки кандидата при удалении от его дома (рис. 4А), и «дискретный» ЭДиС, при котором поддержка резко изменяется на границах каких-либо территориальных сущностей (рис. 4Б) (Arzheimer, Evans, 2012). Хороший пример такого «дискретного» эффекта друзей и соседей — поддержка Ким Джонхилия в провинциях Южная и Северная Чхунчхон (рис. 3). Однако и в случае с континуальностью эффект может быть нелинеен (рис. 4В) (Van Wingen, Parker, 1979). Поддержка кандидата может быстро снижаться при удалении от его дома, но на больших расстояниях изменяться под действием уже каких-то иных факторов (Gimpel et al., 2008). Или же это сокращение может иметь разные скорости на разном удалении и в разных направлениях от источника эффекта (рис. 4Г).

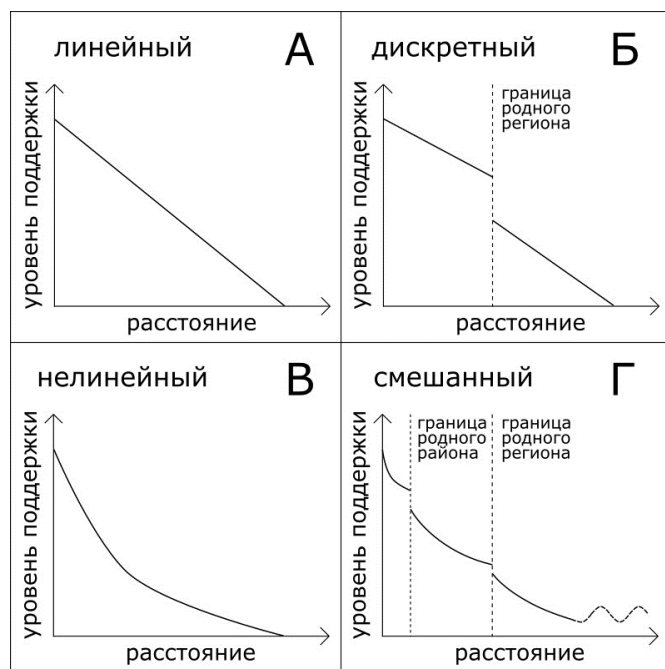


Рис. 4. Виды проявлений эффекта друзей и соседей
Источник: составлено автором

Современный этап исследования эффекта

Несмотря на существенное снижение интереса к «эффекту друзей и соседей» в 1990–2000-х годах, в последующие 15 лет наблюдается резкий всплеск количества исследований по данной теме. На этот период приходится 65% всех существующих на данный момент работ по ЭДиС. Причем значительно изменилась география исследований (рис. 1): из традиционных контекстов остались лишь выборы в США, а на первый план вышли европейские выборы (в основном британские и немецкие). За четыре года 2020-х появилось практически столько же статей/книг/диссертаций, сколько за все предыдущее десятилетие. Возможно, за следующие 10 лет выйдет не меньшее количество работ по данной теме, так как нельзя сказать, что исчерпаны выборы и страны, по которым еще не проводились подобные исследования.

Если в 1990-х годах общественно-научную мысль в «новых демократиях» Восточной Европы, где электоральные институты были восстановлены сравнительно недавно, занимали скорее вопросы транзита власти, смены старых и строительства новых политических институтов, перестройки экономики и смежные с ними темы, то в 2000-х годах географы обратили внимание на выборы. Однако электоральная география в них сводилась в основном к «композиционному подходу», т.е. к поиску закономерностей между социально-экономическими факторами и результатами голосований. Лишь в 2010–2020-х годах появляется масса исследований контекстуальных электоральных эффектов (в т.ч. ЭДиС) и по странам Восточной Европы (в основном по странам Вышеградской группы).

Однако значительная часть данных работ обособлена от остальных из-за того, что написана местными географами, социологами и политологами на местных же языках. Основной вклад в развитие национальных «школ» исследований ЭДиС внесли сотрудники и студенты нескольких чешских вузов (Карлов, Масариков и университет Западной Богемии), где с 2008 года было защищено как минимум восемь бакалаврских и магистерских работ, посвященных ЭДиС (Voda, 2009; Tengler, 2014; Kral, 2015; Frič, 2018; Pileček, 2020; Vaculik, 2022; Lohr, 2023). Вдохновлены они были первым таким исследованием П. Воды 2008 года (Voda, 2008) и статьей К. Малковой 2012 года (Malcová, 2012). В этой группе работ рассмотрены практически все вопросы, касающиеся ЭДиС на выборах всех уровней в Чехии. Особенно важны они тем, что содержат почти полный набор методов, используемых для оценки влияния ЭДиС (картографический, корреляционный, пространственной автокорреляции и регрессионный). Однако лишь Р. Пиличек опубликовал результаты своего исследования в англоязычном журнале, поэтому большая часть полученных данными авторами результатов вряд ли широко известна за пределами «Чешской школы» (Pileček, 2021). Несколько работ на национальных языках, посвященных ЭДиС, есть в соседних Польше и Словакии (Flis, 2014; Górecki, 2015; Czapiewski, 2018; Kohoutek, 2018), однако польские авторы все-таки гораздо активнее в англоязычной среде, где они в последние годы стали одними из основных специалистов в данной области.

Постепенно статьи, посвященные влиянию места происхождения или проживания кандидата на географию его поддержки, стали появляться и по странам Азии (Япония, Корея) (Hirano, 2006; Nemoto, Shugart, 2013; Чон, 2017; Чернецкий, 2022; Chernetskii, 2024), Африки (Кения, Египет) (Simiyu, 2010; Younes, 2022) и Латинской Америки (Бразилия, Мексика) (Zolnerkevic, Fernandes, 2016; Poertner, 2023; Zolnerkevic, 2024). Однако они пока остаются единичными и не выделяются точностью используемых методов, поэтому их выводы еще требуют дополнительных подтверждений.

Это же относится и к российском выборам, по материалам которых пока опубликовано всего одно полноценное исследование ЭДиС (Мухаметов, 2022). Ранее отечественные авторы лишь указывали на существование этой особенности электорального поведения избирателей в изучаемых странах, приводя немногочисленные примеры, но не исследуя эффект прицельно (Сегал, 2006; Ковин, 2016; Кришталь, 2017), а географ-американист К. Э. Аксенов в обзоре «географических эффектов» голосования ошибочно утверждал, что «эффект друзей и соседей» — «специфическое американское явление» (Аксенов, 1987).

Важная проблема была поднята Д. Ковареком в редакционной статье «Ложные друзья в изучении голосования друзей и соседей» («False friends in studying friends-and-neighbors voting», 2023 г.) в журнале *Political Geography*. Он рассмотрел несколько статей об эффекте, в которых содержались ссылки на канадские исследования ЭДиС, что создавало впечатление, будто Канада — «колыбель» исследований эффекта (Kovarek, 2023). Однако пока не существует ни одной работы, подтверждающей данный тезис. Дело в том, что в канадской традиции «местным кандидатом» («local candidate») принято называть тех, кто баллотируется в одномандатных избирательных округах, но необязательно кандидатов, родившихся/живущих в них. В итоге многие делали неправильный вывод о доказанном существовании в Канаде значимого ЭДиС, хотя это был лишь результат непонимания местного контекста. Отметим все-таки, что в 2016 году в Макгиллском университете была защищена диссертация, посвященная выборам в Квебеке, где в том числе демонстрировалось и наличие ЭДиС в Канаде, однако данная работа пока что не была процитирована ни разу (Trotter, 2016).

В последние годы, кроме расширения географии исследований ЭДиС, в работах по данной теме в основном обращались к двум крупным вопросам. Первый — разница в выраженности эффекта в городах и за их пределами. В основном авторы сходятся во мнении, что в городах ЭДиС во всех проявлениях распространен гораздо меньше (Myers, 2015; Panagoropoulos, Bailey, 2020), чем в периферийных, однородных и маргинальных районах (Šerv, 2015). Второй — влияние избирательной системы. Этот вопрос уже поднимался в 1970-х годах в работах Р. Джонстона, однако он снова стал актуальным, когда волна исследований в 2010–2020-х годах дошла до стран с пропорциональной и мажоритарной многомандатной избирательными системами (например, Финляндии, Бельгии).

Связи с другими концепциями

Электорально-географические теории, разумеется, находятся не в вакууме и тесно связаны с другими (а вернее, прямо проистекают из них) обще(общественно)географическими или социологическими. Пространственные взаимодействия различных акторов (в данном случае избирателей, кандидатов и партий) формируются и проходят по ограниченному ряду моделей.

Одна из них — теория «близости» («proximity»), популяризированная голландским географом Р. Бошмой. Данная концепция анализирует потенциал взаимодействия различных акторов, учитывая некоторые их характеристики (положение в пространстве и др.). Бошма выделил пять форм близости: 1) географическую (пространственную) — расстояние между объектами; 2) социальную — социальный капитал и связи; 3) институциональную — схожесть институтов как норм и правил; 4) организационную — принадлежность к одной структуре; 5) когнитивную — схожесть систем ценностей, мировоззрения (Boschma, 2005).

Взаимодействия избирателей и кандидатов/партий можно разложить на такие же типы. Композиционные факторы электорального поведения избирателей — опосредованное следствие социального и когнитивного видов близости. А. Торре, представитель «Французской школы», выделял еще (6) временную близость, создающуюся на некоторый промежуток времени (Torre, 2008). Его проекция в электоральной географии — эффект избирательной кампании. «Эффект друзей и соседей» в такой схеме — в чистом виде географическая (пространственная) близость (между кандидатом и избирателем).

По сути, «эффект друзей и соседей» — следствие т.н. «первого закона географии» (он же «закон Тоблера»): «Все связано со всем, но более близкие объекты связаны сильнее» (Tobler, 1970). Если во многих других сферах закон трансформировался от понимания расстояния как «евклидова» к более сложным его интерпретациям через сети коммуникаций и др., то в случае с исследуемым эффектом «закон Тоблера» работает буквально: более близкие (географически) к кандидату избиратели с большей вероятностью отдадут свои голоса за него. Иными словами, «эффект друзей и соседей», пожалуй, самое «географичное» явление в электоральной науке. Почти такой же механизм у «диффузии инноваций», пространственная концептуализация которой принадлежит Т. Хегерстранду (Hagerstrand, 1967). Несколько вариантов схем диффузии инноваций идентичны схемам ЭДиС на рисунке 4.

При этом в концепции контекстуальных эффектов (в т.ч. и «эффекта друзей и соседей») можно обнаружить проявление концепции «социального капитала». С одной стороны, политическая деятельность в целом — проявление «связывающего» социального капитала («bridging social capital»), базирующегося на слабых межгрупповых социальных связях (Putnam, 2015). С другой стороны, конкретно ЭДиС в форме поддержки «своих» на выборах, скорее, похож на другой вид социального капитала — скрепляющий («bonding social capital»), основанный на внутригрупповых связях в рамках замкнутых сообществ или социальных групп.

Еще одна связь — соотношение между концепцией «эффекта друзей и соседей» и концепцией «места» в политической географии. После информационной составляющей эффекта первична фильтрация политических действий через призму восприятия избирателем окружающего физического пространства. Если «место» для избирателей — нечто большее, чем просто образ в голове, — эмоциональная и личная привязанность к пространствам, где они работают и живут, это во многом определяет интерпретацию избирателями влияющих на них политических явлений (Agnew, 2014).

Заключение

Несмотря на то что контекстуальные эффекты стали объектом исследований еще в 1950-х годах, в электоральной географии долгое время доминировал композиционный подход, предполагающий зависимость электорального поведения избирателей практически только от их социально-экономических характеристик. «Эффект друзей и соседей» стал одним из популярных направлений электорально-географических исследований в 1970-х годах, однако этот интерес продлился недолго. Лишь в последние 15 лет наблюдается кратный рост количества исследований, посвященных ЭДиС.

За 75 лет удалось накопить и значительный эмпирический материал, и некоторые важные теоретические обобщения. В частности, хорошо разработаны факторы, формирующие эффект, причем внимание уделялось не только бихевиористскому подходу, но и влиянию информационной среды на локалистское поведение избирателей. Эмпирические результаты можно свести к характеристике кандидатов, создающих вокруг своих родных/домашних районов сильный ЭДиС. Эффект заметно более выражен для кандидатов без четких идеологических позиций (особенно беспартийных) и на партийных праймериз, где выше роль личности кандидата. Сильный, но локальный эффект свойственен маргинальным (малоизвестным) кандидатам, баллотирующимся впервые и не занимающим ранее местных выборных должностей, поэтому не имеющим широкой известности. Эффект выше в сельской местности и других районах со значимой местной идентичностью. Ориентация на происхождение кандидата характерна для персонифицированных выборов (мажоритарных), однако фиксируется и на партийных (пропорциональная система).

Данное направление исследований практически прошло этап накопления первичных данных и результатов, но пока так и не подступилось к синтезу и обобщению на основании сравнительных исследований. Это направление — очевидный «фронт» для следующих исследований. К частным нерешенным проблемам относятся: недостаток работ по странам Азии, Африки и Латинской Америки; вопрос инерции эффекта — сохранения его проявлений после исчезновения источника (кандидата); методическая проблема «ложного эффекта друзей и соседей»; влияние на ЭДиС кандидата его «политических друзей и соседей»; соотношение между эффектами, создаваемыми разными степенями локальности кандидата;

влияние поляризации и национализации выборов, а также транслокальности и миграций избирателей на выраженность эффекта.

Литература

- Аксенов К. Э. (1987). «Географические эффекты» голосования и психологическая концепция в американской политической географии // Известия ВГО. Т. 119. № 2. С. 182–187.
- Ковин В. С. (2016). Локальные факторы электоральных девиаций в регионах Урала на выборах 18.09.2016 // Научный ежегодник Института философии и права УРО РАН. № 4. С. 45–59.
- Кришталь М. И. (2017). Электоральное пространство Калининградской области в системе социально-политических отношений. Дисс. ... канд. геогр. наук. Калининград: БФУ.
- Мухаметов Р. С. (2022). Электоральные предпочтения избирателей: эффект «друзей и соседей» имеет значение в России? // Политическая наука. № 4. С. 165–184.
- Нисимура Ц. (2020). Сэито но конан сэнкаку то дзимото ко:хо-китэи е:ин то ситэ но сэнке кэка [Партийные стратегии отбора кандидатов и их локальность: результаты выборов как определяющий фактор]. Нэмпо сэидзи-гаку [Японская ассоциация политических наук]. Vol. 71. № 2. Р. 280–302. (На яп.).
- Сегал Е. А. (2006). Политическая география Швейцарской Конфедерации в условиях интегрирующей Европы. Дисс. ... канд. геогр. наук. М.: МГУ.
- Туровский Р. Ф. (2006). Региональное измерение электорального процесса // Общественные науки и современность. № 5. С. 1–20.
- Туровский Р. Ф., Сухова М. С., Синицина А. В. (2022). Эволюция латиноамериканской демократии и деконсолидации электорального пространства // Мировая экономика и международные отношения. Т. 66. № 9. С. 98–110.
- Чернецкий Ф. М. (2022). Эффект географической близости на президентских праймериз южнокорейских партий // Корееведение. № 1. С. 136–158.
- Чон С. (2017). hubojaui jiyeogdaeryoseong-i deugpyouyulgwa dangseonganeungseong-e michineun yeonghyanglyeog: jezodae gughoeuiwon seongeo gyeolgwa-e daehan bunseog [Голосование «друзей и соседей»: анализ результатов выборов 20-й Национальной Ассамблеи] // Хангукчончхиенгу [Журнал корейской политики]. Vol. 26. № 2. Р. 129–157. (На кор.).
- Agnew J. A. (2014). Place and politics: The geographical mediation of state and society. London: Routledge.
- André A., Depauw S. (2018). Looking beyond the district: The representation of geographical sub-constituencies across Europe // International Political Science Review. Vol. 39. № 2. Р. 256–272.
- Arzheimer K., Evans J. (2012). Geolocation and voting: Candidate–voter distance effects on party choice in the 2010 UK general election in England // Political Geography. Vol. 31. № 5. Р. 301–310.

- Arzheimer K., Evans J. (2014). Candidate geolocation and voter choice in the 2013 English County Council elections // *Research & Politics*. Vol. 1. № 2. P. 1–9.
- Aspin L. T., Hall W. K. (1987). The friends and neighbors effect in judicial retention elections // *Western Political Quarterly*. Vol. 40. № 4. P. 703–715.
- Audemard J., Gouard D. (2020). Friends, neighbors, and sponsors in the 2016 French primary election. Revisiting a classical hypothesis from aggregated-level data // *Political Geography*. Vol. 83. P. 1–15.
- Baumann Z. D. et al. (2021). What are friends for? The effect of geographic proximity on primary turnout in gubernatorial elections // *Political Research Quarterly*. Vol. 74. № 2. P. 317–331.
- Bengtsson Å., Wass H. (2011). The representative roles of MPs: A citizen perspective // *Scandinavian Political Studies*. Vol. 34. № 2. P. 143–167.
- Berz J., Jankowski M. (2022). Local preferences in candidate selection. Evidence from a conjoint experiment among party leaders in Germany // *Party Politics*. Vol. 28. № 6. P. 1136–1149.
- Black E., Black M. (1973). The Wallace vote in Alabama: A multiple regression analysis // *The Journal of Politics*. Vol. 35. № 3. P. 730–736.
- Boldrini M. (2023). Local roots and the acquisition of personal votes: the case of single-member district candidates in the 2018 Italian general election // *Contemporary Italian Politics*. P. 1–17.
- Boschma R. (2005). Proximity and innovation: a critical assessment // *Regional studies*. Vol. 39. № 1. P. 61–74.
- Bowler S., Donovan T., Snipp J. (1993). Local sources of information and voter choice in State elections: microlevel foundations of the «friends and neighbors» effect // *American Politics Quarterly*. Vol. 21. № 4. P. 473–489.
- Bukman D. (2023). Role of place-of-residence in Provincial and Water Board elections. Master Thesis. Utrecht, Utrecht University.
- Čagalj M. S., Vukosav B., Radoš D. (2023). Friends-and-neighbours efekt na parlamentarnim izborima 2020 u Hrvatskoj // *Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja*. Vol. 32. № 4. P. 657–671.
- Červ A. (2015). Vpliv učinka poznanstva in sosedstva na volilno vedenje v volilnem okraju Tolmin // *Dela*. № 44. P. 25–43.
- Chernetskii F. M. (2024). «Our Local President»: Friends and Neighbors Effect on the Presidential Elections in the Republic of Korea // *Korea Journal*. Vol. 64. № 3.
- Collignon S., Sajuria J. (2018). Local means local, does it? Regional identification and preferences for local candidates // *Electoral studies*. Vol. 56. P. 170–178.
- Could Josh Shapiro win Kamala Harris the Electoral College? // *Silver Bulletin*. URL: https://www.natesilver.net/p/could-josh-shapiro-win-kamala-harris?utm_source=publication-search (дата доступа: 02.07.2024).
- Cox K. R. (1969). The voting decision in a spatial context // *Board C., Charley R. J., Haggett P. (ed.). Progress in Geography: International Reviews of Current Research*. New York: St. Martin's. P. 81–117.

- Cramer K. J. (2016). The politics of resentment: Rural consciousness in Wisconsin and the rise of Scott Walker. Chicago: University of Chicago Press.
- Crosson J., Kaslovsky J. (2023). Do Local Roots Impact Washington Behaviors? District Connections and Representation in the US Congress.
- Czapiewski T. (2018). Efekt głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego w wyjaśnianiu zachowań wyborczych // *Acta Politica Polonica*. № 46. P. 33–46.
- Czapiewski T., Woźniak M. (2021). Friends and Neighbours Voting in Local Elections in Open List System: Evidence from Poland // *Athenaeum Polskie Studia Politologiczne*. Vol. 72. № 4. P. 168–187.
- Delmar S. C., Sajuria J. (2018). Who Cares About Local Candidates? Finding Voters That Use Candidate Localness as a Cue for Their Vote Choices. P. 1–17.
- Devine C. J., Kopko K. C. (2016). The VP Advantage: How running mates influence home state voting in presidential elections. Manchester: Manchester University Press.
- Disarro B., Barber J., Rice T. W. (2007). Elections: the home state effect in presidential elections: advances in the study of localism // *Presidential Studies Quarterly*. Vol. 37. № 3. P. 558–566.
- Dobysch M., Yatsenko B. (2020). Borders, Constituency Politics, and «Our Man» Voting in Electoral Geography of Ukraine // *Belgeo. Revue belge de géographie*. № 2.
- Dudley R. L., Rapoport R. B. (1989). Vice-presidential candidates and the home state advantage: Playing second banana at home and on the road // *American Journal of Political Science*. Vol. 33. № 2. P. 537–540.
- Espírito-Santo A., Sanches E. R. (2018). Looking for locals under a closed-list proportional representation system: The case of Portugal // *Electoral Studies*. Vol. 52. P. 117–127.
- Fenno R. F. (1978). Home style: House members in their districts. New York: Little, Brown and Company.
- Fiva J. H., Halse A. H. (2016). Local favoritism in at-large proportional representation systems // *Journal of Public Economics*. Vol. 143. P. 15–26.
- Fiva J. H., Smith D. M. (2017). Local candidates and voter mobilization: Evidence from historical two-round elections in Norway // *Electoral Studies*. Vol. 45. P. 130–140.
- Flanagan S. C. (1968). Voting behavior in Japan: The persistence of traditional patterns // *Comparative Political Studies*. Vol. 1. № 3. P. 391–412.
- Flis J. (2014). Złudzenia wyboru: społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Forrest J. (1982). Social contextual and local effects in voter behaviour: The act. Legislative assembly elections of 1979 // *Politics*. Vol. 17. № 1. P. 59–67.
- Forrest J., Johnston R. J. (1973). Spatial aspects of voting in the Dunedin City Council elections of 1971 // *New Zealand Geographer*. Vol. 29. № 2. P. 166–181.
- Forrest J., Marjoribanks E., Johnston R. J. (1977). Local effects at New Zealand local elections // *People, Places and Votes: Essays on the Electoral Geography of Australia and New Zealand*. P. 35–50.
- Frendreis J., Tatalovich R. (2021). Understudied questions of Key's friends and neighbors voting thesis // *Social Science Quarterly*. Vol. 102. № 4. P. 1439–1450.

- Frič D.* (2018). Efekt souseda ve volbách v Královéhradeckém kraji. Bachelor Thesis. Prague, Charles University.
- Gallagher M.* (1980). Candidate selection in Ireland: The impact of localism and the electoral system // *British Journal of Political Science*. Vol. 10. № 4. P. 489–503.
- Gimpel J. G. et al.* (2008). Distance-decay in the political geography of friends-and-neighbors voting // *Political Geography*. Vol. 27. № 2. P. 231–252.
- Goralski P.* (2012). Home region advantage in presidential elections in Europe 1990–2010. PhD Thesis. Budapest, Central European University.
- Górecki M.* (2015). «Głosowanie przyjacielsko-sąsiedzkie»: Przyczynek do badań w kontekście polskim // *Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa*. Vol. 3. № 1. P. 63–73.
- Górecki M. A., Bartnicki S., Alimowski M.* (2022). Local voting at local elections revisited: «Friends and neighbors voting» at mayoral elections in rural Poland // *Political Geography*. Vol. 94. P. 1–13.
- Górecki M. A., Marsh M.* (2012). Not just ‘friends and neighbours’: Canvassing, geographic proximity and voter choice // *European Journal of Political Research*. Vol. 51. № 5. P. 563–582.
- Górecki M. A., Marsh M.* (2014). A decline of «friends and neighbours voting» in Ireland? Local candidate effects in the 2011 Irish «earthquake election» // *Political Geography*. Vol. 41. P. 11–20.
- Guarnieri F., da Silva G. P.* (2022). A spatial interaction model of vote dispersion // *Political Geography*. Vol. 98. P. 1–11.
- Hagerstrand T.* (1967). *Innovation Diffusion as a Spatial Process*. Chicago: University of Chicago Press.
- Harfst P. et al.* (2023). All (electoral) politics is local? Candidate’s regional roots and vote choice // *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*. Vol. 33. № 1. P. 1–22.
- Harjunen O., Saarimaa T., Tukiainen J.* (2023). Love Thy (Elected) Neighbor? Residential Segregation, Political Representation, and Local Public Goods // *The Journal of Politics*. Vol. 85. № 3. P. 860–875.
- Hegewald S.* (2023). Locality as a safe haven: place-based resentment and political trust in local and national institutions // *Journal of European Public Policy*. P. 1–26.
- Hermann R. J.* (1976). *People at the polls: a geographical analysis of a local government election, Wollongong, 1974*. Wollongong: University of Wollongong.
- Herron E. S., Lynch M. S.* (2019). «Friends and Neighbors» Voting Under Mixed-Member Majoritarian Electoral Systems: Evidence from Lithuania // *Representation*. Vol. 55. № 1. P. 81–99.
- Hirano S.* (2006). Electoral institutions, hometowns, and favored minorities: evidence from Japanese electoral reforms // *World Politics*. Vol. 59. № 1. P. 51–82.
- Holbrook T. M.* (1991). Presidential elections in space and time // *American Journal of Political Science*. P. 91–109.
- Hunt C.* (2021). Expanding constituency support through shared local roots in US house primaries // *American Politics Research*. Vol. 49. № 2. P. 233–244.

- Hunt C. R. (2022). Home field advantage: Roots, reelection, and representation in the modern congress. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Hunt C. R. (2022). Won't You Be My Senator? Nuanced «Friends and Neighbors» Voting in US Senate Elections, 1968–2018 // Electoral Studies. Vol. 80. P. 1–8.
- Hunt C. R., Fontana D. (2024). Is Some Politics Still Local? Voter Preferences for Local Candidates // Political Behavior. P. 1–23.
- Hunt C. R., Rouse S. (2023). Local Candidate Roots and Electoral Advantages in US State Legislatures // State Politics & Policy Quarterly. Vol. 23. № 2. P. 233–243.
- Jacobs N. F., Munis B. K. (2019). Place-based imagery and voter evaluations: Experimental evidence on the politics of place // Political research quarterly. Vol. 72. № 2. P. 263–277.
- Jankowski M. (2016). Voting for locals: Voters' information processing strategies in open-list PR systems // Electoral Studies. Vol. 43. P. 72–84.
- Johnson N. C. (1989). An analysis of the «friends and neighbours» effect in an Irish urban constituency // Irish Geography. Vol. 22. № 2. P. 93–105.
- Johnston R. et al. (2016). «If You've Got Friends and Neighbours»: Constituency Voting Patterns for the UK Labour Party Leader in 2010 // Journal of elections, public opinion and parties. Vol. 26. № 1. P. 58–77.
- Johnston R. J. (1972). Spatial elements in voting patterns at the 1968 Christchurch City Council election // Political Science. Vol. 24. № 1. P. 49–61.
- Johnston R. J. (1974). Local effects in voting at a local election // Annals of the Association of American Geographers. Vol. 64. № 3. P. 418–429.
- Johnston R. J. (1978). On elections, voting and participation: Friends-and-neighbours voting in Victoria: A note // Politics. Vol. 8. № 1. P. 151–154.
- Johnston R. J., Forrest J. (1985). Spatial-structural effects and the geography of voting in Australia, 1977 // Australian geographer. Vol. 16. № 4. P. 286–290.
- Key V. O. (1949). Southern politics in state and nation. New York: AA Knopf.
- Kjar S. A., Laband D. N. (2002). On «home grown-ness» in politics: evidence from the 1998 election for Alabama's third congressional district // Public Choice. Vol. 12. № 1. P. 143–150.
- Kohoutek J. (2018). Friends and Neighbours Effect in the 2009 Czech Elections to the European Parliament // Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov. Vol. 10. № 2. P. 50–52.
- Kovarek D. (2022). Distributive politics as behavioral localism: Evidence from a vignette experiment in Hungary // Research & Politics. Vol. 9. № 3. P. 1–7.
- Kovarek D. (2023). False friends in studying friends-and-neighbors voting: How comparativists misunderstood Canadian scholars on local candidates // Political Geography. Vol. 102. P. 11–23.
- Kovarek D. (2024). Neighbors with benefits: How politicians' local ties generate positive externalities when bureaucratic oversight is limited // Governance. P. 1–22.
- Kral O. (2015). Sousedský efekt ve vybraných senátních obvodech. Master Thesis. Masaryk University.

- Kramer D. C.* (1990). «Those people across the water just don't know our problems»: an analysis of friends and neighbours voting in a geographically-split legislative district // *Political Geography Quarterly*. Vol. 9. № 2. P. 189–196.
- Lewis-Beck M. S., Rice T. W.* (1983). Localism in presidential elections: The home state advantage // *American Journal of Political Science*. Vol. 27. № 3. P. 548–556.
- Lockard D. S.* (1959). *New England State Politics*. Princeton: Princeton University Press.
- Lohr D.* (2023). *Senátní volby 2022 a sousedský efekt*. Bachelor Thesis. Plzeň, University of West Bohemia.
- Malcová K.* (2012). Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR // *Sociologický časopis/Czech Sociological Review*. Vol. 48. № 2. P. 283–313.
- McAllister I.* (2015). The personalization of politics in Australia // *Party politics*. Vol. 21. № 3. P. 337–345.
- McCarty H. H.* (1954). *McCarty on McCarthy: The spatial distribution of the McCarthy vote, 1952*. Iowa City: University of Iowa Press.
- Meredith M.* (2013). Exploiting friends-and-neighbors to estimate coattail effects // *American Political Science Review*. Vol. 107. № 4. P. 742–765.
- Meredith M.* (2013). *Heterogeneous friends-and-neighbors voting*. Philadelphia: University of Pennsylvania.
- Mixon F. G.* (2013). Warm springs ran deep: friends-and-neighbors voting in the US presidential elections of 1940 and 1944 // *J. Pol. & L.* Vol. 6. P. 105–115.
- Mixon F. G.* (2018). Glass houses and friends-and-neighbors voting: An exploratory analysis of the impact of political scandal on localism // *Economies*. Vol. 6. № 3. P. 48–57.
- Mixon F. G., King E. W., Lawing M. L.* (2008). Modeling the Impact of Localism in US Presidential Elections // *Journal of Public Finance and Public Choice*. Vol. 26. № 1. P. 3–18.
- Mixon F. G., Tyrone J. M.* (2004). The «Home Grown» Presidency: empirical evidence on localism in presidential voting, 1972–2000 // *Applied Economics*. Vol. 36. № 16. P. 1745–1749.
- Munis B. K.* (2021). Place, candidate roots, and voter preferences in an age of partisan polarization: Observational and experimental evidence // *Political Geography*. Vol. 85. P. 102–121.
- Munis B. K.* (2022). Us over here versus them over there... literally: Measuring place resentment in American politics // *Political Behavior*. P. 1–22.
- Munis B. K., Burke R.* (2023). Talk Local to Me: Assessing the Heterogenous Effects of Localistic Appeals // *American Politics Research*. Vol. 51. № 5. C. 655–669.
- Myers C. A.* (2015). *Hometown Influence: The Impact of Geography on Statewide Candidate Emergence and Success*. Saint Louis: University of Missouri-Saint Louis.
- Nemoto K., Shugart M. S.* (2013). Localism and coordination under three different electoral systems: The national district of the Japanese House of Councillors // *Electoral Studies*. Vol. 32. № 1. P. 1–12.
- Nyholt N.* (2024). Why Do Voters Prefer Local Candidates? Evidence from a Danish Conjoint Survey Experiment // *Political Behavior*. P. 1–20.

- Panagopoulos C., Bailey K.* (2020). «Friends-and-Neighbors» mobilization: A field experimental replication and extension // *Journal of Experimental Political Science*. Vol. 7. № 1. P. 13–26.
- Panagopoulos C., Leighley J. E., Hamel B. T.* (2017). Are voters mobilized by a «friend-and-neighbor» on the ballot? Evidence from a field experiment // *Political Behavior*. Vol. 39. № 4. P. 865–882.
- Papp Z.* (2018). Challenging the Odds: Incumbency Disadvantage, Local Ties, and Electoral Performance in Hungary, 1994–2010 // *East European Politics and Societies*. Vol. 32. № 3. P. 518–543.
- Parker A. J.* (1982). The «friends and neighbours» voting effect in the Galway West constituency // *Political Geography Quarterly*. Vol. 1. № 3. P. 243–262.
- Parker A. J.* (1986). Geography and the Irish Electoral System: The presidential address of 1984–85 // *Irish Geography*. Vol. 19. № 1. P. 1–14.
- Pileček R.* (2020). Efekt souseda a jeho vliv na volební chování v českých parlamentních volbách. Bachelor Thesis. Prague, Charles University.
- Pileček R.* (2021). The influence of mayors as candidates in the 2017 parliamentary elections on voter decision-making in Czechia // *AUC Geographica*. Vol. 56. № 2. P. 234–247.
- Poertner M.* (2023). Does Political Representation Increase Participation? Evidence from Party Candidate Lotteries in Mexico // *American Political Science Review*. Vol. 117. № 2. P. 537–556.
- Potoski M.* (1994). «Friends and Neighbors Voting» in Gubernatorial and Senatorial Primaries // *Southeastern Political Review*. Vol. 22. № 3. P. 543–548.
- Put G. J.* (2021). Is there a friends-and-neighbors effect for party leaders? // *Electoral Studies*. Vol. 71. P. 7–23.
- Put G. J., Maddens B., Verleden F.* (2017). The within-district distribution of party candidates: A geographical analysis of party lists for Belgian lower house elections // *Acta Politica*. Vol. 52. P. 241–260.
- Put G. J., Smulders J., Maddens B.* (2019). How local personal vote-earning attributes affect the aggregate party vote share: Evidence from the Belgian flexible-list PR system (2003–2014) // *Politics*. Vol. 39. № 4. P. 464–479.
- Put G. J., von Schoultz A., Isotalo V.* (2020). Fighting over friends and neighbors: The effect of inter-candidate geographic distance on intra-party competition // *Political Geography*. Vol. 81. P. 11–22.
- Putnam R. D.* (2015). *Bowling alone: America's declining social capital* // *The city reader*. London: Routledge. P. 188–196.
- Reynolds D. R.* (1969). A Spatial model for analyzing voting behavior // *Acta Sociologica*. Vol. 12. № 3. P. 122–131.
- Rice T. W., Macht A. A.* (1987). Friends and neighbors voting in statewide general elections // *American Journal of Political Science*. Vol. 31. № 2. P. 448–452.
- Roche W.* (1983). Friends and neighbours voting in the North Cork Central constituency. General Election February 1982. Bachelor Thesis. Cork, University College Cork.

- Sacks P.M. (1976). *The Donegal Mafia: An Irish Political Machine*. New Haven: Yale University Press.
- Sajuria J. (2016). *Is the «Local Candidate» Advantage a Myth? Analysing the Effects of Localism in the 2015 UK General Election*. London: Birkbeck University.
- Schulte-Cloos J., Bauer P.C. (2023). Local candidates, place-based identities, and electoral success // *Political Behavior*. Vol. 45. № 2. P. 679–698.
- Sendra J.B. (1980). Influencias espaciales en el comportamiento electoral: el efecto de amigos y vecinos (votaciones al Senado, ciudad de Granada, 15 de junio de 1977) // *Revista Internacional de Sociología*. Vol. 38. № 36. P. 577–594.
- Shugart M.S., Valdini M.E., Suominen K. (2005). Looking for locals: Voter information demands and personal vote-earning attributes of legislators under proportional representation // *American Journal of Political Science*. Vol. 49. № 2. P. 437–449.
- Simiyu R. (2010). Politics of residency, friends and neighbors effect, and voting patterns in Kwanza constituency, Kenya, 1988–2000 // *African geographical review*. Vol. 29. № 1. P. 37–61.
- Slagarp F., Himberg S. (2023). *Finns det konsekvenser av att bo granne med en partiledare?: En kvantitativ studie över friends-and-neighbours-effekten i Sverige*. Bachelor Thesis. Stockholm, Stockholm University.
- Tatalovich R. (1975). «Friends and Neighbors» Voting: Mississippi, 1943–73 // *The Journal of Politics*. Vol. 37. № 3. P. 807–814.
- Tavits M. (2010). Effect of local ties on electoral success and parliamentary behaviour: The case of Estonia // *Party Politics*. Vol. 16. № 2. P. 215–235.
- Tengler O. (2014). *Sousedský efekt v senátních volbách v ČR*. Master Thesis. Brno, Masaryk University.
- Thielemann G.S. (1993). Local advantage in campaign financing: Friends, neighbors, and their money in Texas Supreme Court elections // *The Journal of Politics*. Vol. 55. № 2. P. 472–478.
- Tiering T.O. (1984). *An ecological analysis of voting patterns in Donegal South West in the November 1982 General Election*. Bachelor Thesis. Dublin, University College Dublin.
- Tiran J. (2023). «Nam bolj diši domači kruh od tuje pogače? »Vpliv lokalnosti kandidatur na izide volitev v Državni zbor 2022 // *Geografski vestnik*. Vol. 95. № 1. P. 9–27.
- Tiran J. (2023). *Geografski vpogled v supervolilno leto 2022* // *Geografski obzornik*. Vol. 70.
- Tobler W.R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region // *Economic geography*. Vol. 46. № 1. P. 234–240.
- Torre A. (2008). On the role played by temporary geographical proximity in knowledge transmission // *Regional studies*. Vol. 42. № 6. P. 869–889.
- Trotter D.M. (2016). *Following the leader? The impact of federal party leaders on federal elections in Quebec*. PhD Thesis. Montreal, McGill University.
- Tubbesing C.D. (1973). Vice Presidential Candidates and the Home State Advantage: or, «Tom Who?» Was Tom Eagleton in Missouri // *Western Political Quarterly*. Vol. 26. № 4. P. 702–716.

- Vaculik B. C. O. (2022). *Sousedský efekt v krajských volbách*. Master Thesis. Brno, Masaryk University.
- Van Wingen J. R. (1984). Localism, factional fluidity, and factionalism: Louisiana and Mississippi gubernatorial contests // *Social Science History*. Vol. 8. № 1. P. 3–41.
- Van Wingen J. R., Parker J. B. (1979). Measuring friends-and-neighbors voting // *American Politics Quarterly*. Vol. 7. № 3. P. 367–383.
- Vandeleene A. (2017). Friends and Neighbours Politics in Belgian Candidate Selection Processes. Does Place Matter // *ECPR General Conference*. P. 1–21.
- Velimsky J. A. et al. (2023). Probing the Effect of Candidate Localness in Low-Information Elections: Evidence from the German Local Level // *Political Studies*. P. 1–22.
- Voda P. (2008). *Sousedský efekt v českých parlamentních volbách*. Bachelor Thesis. Brno, Masaryk University.
- Voda P. (2009). *Efekt kandidáta ve volbách v českém prostředí*. Master Thesis. Brno, Masaryk University.
- Whyte J. H. (1974). Ireland: politics without social bases // *Electoral behaviour: A comparative handbook*. P. 619–651.
- Younes D. (2022). The Effect of distance on voter behavior during 2015 Egyptian Parliament elections «Case study of Kafr El-Sheikh constituency» // *Journal of Humanitarian and Literary Studies*. Vol. 26. № 2. P. 850–874.
- Zolnerkevic A. (2024). Localismo nas Eleições Proporcionalis do Brasil: Efeito Contextual de «Amigos e Vizinhos» // *Dados*. Vol. 68. P. 1–37.
- Zolnerkevic A., Fernandes H. C. (2016). Efeito contextual de «amigos e vizinhos» nas eleições presidenciais brasileiras: o caso da votação do candidato Aécio Neves no estado de Minas Gerais // *Em Tese*. Vol. 13. № 2. P. 83–105.

«Friends and Neighbors Effect»: 75 Years of Geographical Analysis of Elections

Fedor M. Chernetskii

PhD Student, Department of Human Geography of Foreign Countries, Faculty of Geography, Lomonosov MSU
Address: Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991 Russian Federation
E-mail: fedor.mche@gmail.com

The «friends and neighbors effect» is one of the classic contextual effects in electoral geography. It manifests as an increase in a candidate's support in the vicinity of their home, birthplace, or other places to which they are connected. This phenomenon is sometimes referred to as the «candidate effect» or the «hometown advantage». This article provides an overview of the studies of this effect, formulates its main features and peculiarities, as well as the key problems facing researchers in this field. Despite the fact that 75 years have passed since the «discovery» of this phenomenon, research on the «friends and neighbors effect» is still concentrated in the USA, Australia, New Zealand, and a few European countries, while studies on other regions are rare. In Russia, it has also received little attention, with the first article devoted to this effect having appeared only in 2022. However, in the last 15 years, there has been explosive growth in interest in the «friends and

neighbors effect» in English-language literature. It is during this period that a large part of the research on Eastern European countries has emerged, as well as several studies on African and East Asian contexts. Another pressing issue is the transition from the stage of accumulating information and initial results for the countries to the synthetic stage of generalizing knowledge based on comparative researches. Perhaps such generalization will help answer a number of unresolved questions.

Keywords: friends and neighbors effect, electoral geography, contextual effects, localism, candidate effect

References

- Agnew J. A. (2014) *Place and politics: The geographical mediation of state and society*, London: Routledge.
- Aksenov K. Je. (1987) «Geograficheskie jeffekty» golosovanija i psihologicheskaja koncepcija v amerikanskoj politicheskoj geografii [The «geographical effects» of voting and the psychological concept in American political geography]. *Izvestija VGO*, vol. 119, no 2, pp. 182–187.
- André A., Depauw S. (2018) Looking beyond the district: The representation of geographical sub-constituencies across Europe. *International Political Science Review*, vol. 39, no 2, pp. 256–272.
- Arzheimer K., Evans J. (2012) Geolocation and voting: Candidate–voter distance effects on party choice in the 2010 UK general election in England. *Political Geography*, vol. 31, no 5, pp. 301–310.
- Arzheimer K., Evans J. (2014) Candidate geolocation and voter choice in the 2013 English County Council elections. *Research & Politics*, vol. 1, no 2, pp. 1–9.
- Aspin L. T., Hall W. K. (1987) The friends and neighbors effect in judicial retention elections. *Western Political Quarterly*, vol. 40, no 4, pp. 703–715.
- Audemard J., Gouard D. (2020) Friends, neighbors, and sponsors in the 2016 French primary election. Revisiting a classical hypothesis from aggregated-level data. *Political Geography*, vol. 83, pp. 1–15.
- Baumann Z. D. et al. (2021) What are friends for? The effect of geographic proximity on primary turnout in gubernatorial elections. *Political Research Quarterly*, vol. 74, no 2, pp. 317–331.
- Bengtsson Å., Wass H. (2011) The representative roles of MPs: A citizen perspective. *Scandinavian Political Studies*, vol. 34, no 2, pp. 143–167.
- Berz J., Jankowski M. (2022) Local preferences in candidate selection. Evidence from a conjoint experiment among party leaders in Germany. *Party Politics*, vol. 28, no 6, pp. 1136–1149.
- Black E., Black M. (1973) The Wallace vote in Alabama: A multiple regression analysis. *The Journal of Politics*, vol. 35, no 3, pp. 730–736.
- Boldrini M. (2023) Local roots and the acquisition of personal votes: the case of single-member district candidates in the 2018 Italian general election. *Contemporary Italian Politics*, pp. 1–17.
- Boschma R. (2005) Proximity and innovation: a critical assessment. *Regional studies*, vol. 39, no 1, pp. 61–74.
- Bowler S., Donovan T., Snipp J. (1993) Local sources of information and voter choice in State elections: microlevel foundations of the «friends and neighbors» effect. *American Politics Quarterly*, vol. 21, no 4, pp. 473–489.
- Bukman D. (2023) *Role of place-of-residence in Provincial and Water Board elections* (Master Thesis), Utrecht, Utrecht University.
- Čagalj M. S., Vukosav B., Radoš D. (2023) Friends-and-neighbours efekt na parlamentarnim izborima 2020 u Hrvatskoj. *Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja*, vol. 32, no 4, pp. 657–671.
- Červ A. (2015) Vpliv učinka poznanstva in sosedstva na volilno vedenje v volilnem okraju Tolmin. *Dela*, no 44, pp. 25–43.
- Chernetskii F. M. (2022) Jefferkt geograficheskoy blizosti na prezidentskih prajmeriz juzhнокorejskih partij [The effect of geographic proximity on the presidential primaries of South Korean parties]. *Koreanology*, no 1, pp. 136–158.

- Chernetskii F. M. (2024) «Our Local President»: Friends and Neighbors Effect on the Presidential Elections in the Republic of Korea. *Korea Journal*, vol. 64, no 3.
- Collignon S., Sajuria J. (2018) Local means local, does it? Regional identification and preferences for local candidates. *Electoral studies*, vol. 56, pp. 170–178.
- Could Josh Shapiro win Kamala Harris the Electoral College? Silver Bulletin. Available at: https://www.natesilver.net/p/could-josh-shapiro-win-kamala-harris?utm_source=publication-search (accessed 02.07.2024).
- Cox K. R. (1969) The voting decision in a spatial context. *Progress in Geography: International Reviews of Current Research* (ed. C. Board, R. J. Charley, P. Haggett), New York: St. Martin's, pp. 81–117.
- Cramer K. J. (2016) *The politics of resentment: Rural consciousness in Wisconsin and the rise of Scott Walker*, Chicago: University of Chicago Press.
- Crosson J., Kaslovsky J. (2023) *Do Local Roots Impact Washington Behaviors? District Connections and Representation in the US Congress*.
- Czapiewski T. (2018) Efekt głosowania przyjacielsko-sąsiedzkiego w wyjaśnianiu zachowań wyborczych. *Acta Politica Polonica*, no 46, pp. 33–46.
- Czapiewski T., Woźniak M. (2021) Friends and Neighbours Voting in Local Elections in Open List System: Evidence from Poland. *Athenaeum Polskie Studia Politologiczne*, vol. 72, no 4, pp. 168–187.
- Delmar S. C., Sajuria J. (2018) *Who Cares About Local Candidates? Finding Voters That Use Candidate Localness as a Cue for Their Vote Choices*, pp. 1–17.
- Devine C. J., Kopko K. C. (2016) *The VP Advantage: How running mates influence home state voting in presidential elections*, Manchester: Manchester University Press.
- Disarro B., Barber J., Rice T. W. (2007) Elections: the home state effect in presidential elections: advances in the study of localism. *Presidential Studies Quarterly*, vol. 37, no 3, pp. 558–566.
- Dobysch M., Yatsenko B. (2020) Borders, Constituency Politics, and «Our Man» Voting in Electoral Geography of Ukraine. *Belgeo. Revue belge de géographie*, no 2.
- Dudley R. L., Rapoport R. B. (1989) Vice-presidential candidates and the home state advantage: Playing second banana at home and on the road. *American Journal of Political Science*, vol. 33, no 2, pp. 537–540.
- Espírito-Santo A., Sanches E. R. (2018) Looking for locals under a closed-list proportional representation system: The case of Portugal. *Electoral Studies*, vol. 52, pp. 117–127.
- Fenno R. F. (1978) *Home style: House members in their districts*, New York: Little, Brown and Company.
- Fiva J. H., Halse A. H. (2016) Local favoritism in at-large proportional representation systems. *Journal of Public Economics*, vol. 143, pp. 15–26.
- Fiva J. H., Smith D. M. (2017) Local candidates and voter mobilization: Evidence from historical two-round elections in Norway. *Electoral Studies*, vol. 45, pp. 130–140.
- Flanagan S. C. (1968) Voting behavior in Japan: The persistence of traditional patterns. *Comparative Political Studies*, vol. 1, no 3, pp. 391–412.
- Flis J. (2014) *Złudzenia wyboru: społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Forrest J. (1982) Social contextual and local effects in voter behaviour: The act. Legislative assembly elections of 1979. *Politics*, vol. 17, no 1, pp. 59–67.
- Forrest J., Johnston R. J. (1973) Spatial aspects of voting in the Dunedin City Council elections of 1971. *New Zealand Geographer*, vol. 29, no 2, pp. 166–181.
- Forrest J., Marjoribanks E., Johnston R. J. (1977) Local effects at New Zealand local elections. *People, Places and Votes: Essays on the Electoral Geography of Australia and New Zealand*, pp. 35–50.
- Freundreis J., Tatalovich R. (2021) Understudied questions of Key's friends and neighbors voting thesis. *Social Science Quarterly*, vol. 102, no 4, pp. 1439–1450.
- Frič D. (2018) *Efekt souseda ve volbách v Královéhradeckém kraji* (Bachelor Thesis), Prague, Charles University.
- Gallagher M. (1980) Candidate selection in Ireland: The impact of localism and the electoral system. *British Journal of Political Science*, vol. 10, no 4, pp. 489–503.
- Gimpel J. G. et al. (2008) Distance-decay in the political geography of friends-and-neighbors voting. *Political Geography*, vol. 27, no 2, pp. 231–252.

- Goralski P. (2012) *Home region advantage in presidential elections in Europe 1990–2010* (PhD Thesis), Budapest, Central European University.
- Górecki M. (2015) «Głosowanie przyjacielsko-sąsiedzkie»: Przyczynek do badań w kontekście polskim. *Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa*, vol. 3, no 1, pp. 63–73.
- Górecki M. A., Bartnicki S., Alimowski M. (2022) Local voting at local elections revisited: «Friends and neighbors voting» at mayoral elections in rural Poland. *Political Geography*, vol. 94, pp. 1–13.
- Górecki M. A., Marsh M. (2012) Not just 'friends and neighbours': Canvassing, geographic proximity and voter choice. *European Journal of Political Research*, vol. 51, no 5, pp. 563–582.
- Górecki M. A., Marsh M. (2014) A decline of «friends and neighbours voting» in Ireland? Local candidate effects in the 2011 Irish «earthquake election». *Political Geography*, vol. 41, pp. 11–20.
- Guarnieri F., da Silva G. P. (2022) A spatial interaction model of vote dispersion. *Political Geography*, vol. 98, pp. 1–11.
- Hagerstrand T. (1967) *Innovation Diffusion as a Spatial Process*, Chicago: University of Chicago Press.
- Harfst P. et al. (2023) All (electoral) politics is local? Candidate's regional roots and vote choice. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, vol. 33, no 1, pp. 1–22.
- Harjunen O., Saarimaa T., Tukiainen J. (2023) Love Thy (Elected) Neighbor? Residential Segregation, Political Representation, and Local Public Goods. *The Journal of Politics*, vol. 85, no 3, pp. 860–875.
- Hegewald S. (2023) Locality as a safe haven: place-based resentment and political trust in local and national institutions. *Journal of European Public Policy*, pp. 1–26.
- Hermann R. J. (1976) *People at the polls: a geographical analysis of a local government election, Wollongong, 1974*, Wollongong: University of Wollongong.
- Herron E. S., Lynch M. S. (2019) «Friends and Neighbors» Voting Under Mixed-Member Majoritarian Electoral Systems: Evidence from Lithuania. *Representation*, vol. 55, no 1, pp. 81–99.
- Hirano S. (2006) Electoral institutions, hometowns, and favored minorities: evidence from Japanese electoral reforms. *World Politics*, vol. 59, no 1, pp. 51–82.
- Holbrook T. M. (1991) Presidential elections in space and time. *American Journal of Political Science*, pp. 91–109.
- Hunt C. (2021) Expanding constituency support through shared local roots in US house primaries. *American Politics Research*, vol. 49, no 2, pp. 233–244.
- Hunt C. R. (2022) *Home field advantage: Roots, reelection, and representation in the modern congress*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Hunt C. R. (2022) Won't You Be My Senator? Nuanced «Friends and Neighbors» Voting in US Senate Elections, 1968–2018. *Electoral Studies*, vol. 80, pp. 1–8.
- Hunt C. R., Fontana D. (2024) Is Some Politics Still Local? Voter Preferences for Local Candidates. *Political Behavior*, pp. 1–23.
- Hunt C. R., Rouse S. (2023) Local Candidate Roots and Electoral Advantages in US State Legislatures. *State Politics & Policy Quarterly*, vol. 23, no 2, pp. 233–243.
- Jacobs N. F., Munis B. K. (2019) Place-based imagery and voter evaluations: Experimental evidence on the politics of place. *Political research quarterly*, vol. 72, no 2, pp. 263–277.
- Jankowski M. (2016) Voting for locals: Voters' information processing strategies in open-list PR systems. *Electoral Studies*, vol. 43, pp. 72–84.
- Jeong S. (2017) Huboja-ui jiyek gdaepyoseong-i deukgpyoyul-gwa dangseonganeungseong-e michineun yeonghyangnlyeokg: jJe-20-de gukghoeuiwon seongeo gyeolgwa-e daehan bunseokg [Impact of a Candidate's Regional Representation on His or Her Voter Turnout and Chances of Winning: An Analysis of the Results of the 20th National Assembly Election Friends and Neighbors Voting in the 20th Korean National Assembly Election], *Hanguk jeongchi yeongu Journal of Korean Political Research Politics*, vol. 26, no 2, pp. 129–157. (In Kor.).
- Johnson N. C. (1989) An analysis of the «friends and neighbours» effect in an Irish urban constituency. *Irish Geography*, vol. 22, no 2, pp. 93–105.
- Johnston R. et al. (2016) «If You've Got Friends and Neighbours»: Constituency Voting Patterns for the UK Labour Party Leader in 2010. *Journal of elections, public opinion and parties*, vol. 26, no 1, pp. 58–77.
- Johnston R. J. (1972) Spatial elements in voting patterns at the 1968 Christchurch City Council election. *Political Science*, vol. 24, no 1, pp. 49–61.

- Johnston R. J. (1974) Local effects in voting at a local election. *Annals of the Association of American Geographers*, vol. 64, no 3, pp. 418–429.
- Johnston R. J. (1978) On elections, voting and participation: Friends-and-neighbours voting in Victoria: A note, *Politics*, vol. 8, no 1, pp. 151–154.
- Johnston R. J., Forrest J. (1985) Spatial-structural effects and the geography of voting in Australia, 1977. *Australian geographer*, vol. 16, no 4, pp. 286–290.
- Key V. O. (1949) *Southern politics in state and nation*, New York: AA Knopf.
- Kjar S. A., Laband D. N. (2002) On «home grown-ness» in politics: evidence from the 1998 election for Alabama's third congressional district. *Public Choice*, vol. 12, no 1, pp. 143–150.
- Kohoutek J. (2018) Friends and Neighbours Effect in the 2009 Czech Elections to the European Parliament. *Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov*, vol. 10, no 2, pp. 50–52.
- Kovarek D. (2022) Distributive politics as behavioral localism: Evidence from a vignette experiment in Hungary. *Research & Politics*, vol. 9, no 3, pp. 1–7.
- Kovarek D. (2023) False friends in studying friends-and-neighbors voting: How comparativists misunderstood Canadian scholars on local candidates. *Political Geography*, vol. 102, pp. 11–23.
- Kovarek D. (2024) Neighbors with benefits: How politicians' local ties generate positive externalities when bureaucratic oversight is limited. *Governance*, pp. 1–22.
- Kovin V. S. (2016) Lokal'nye faktory jelektoral'nyh deviacij v regionah Urala na vyborah 18.09.2016 [Local factors of electoral deviations in the Ural regions in the elections of 18.09.2016], *Nauchnyj ezhegodnik Instituta filosofii i prava URO RAN*, no 4, pp. 45–59.
- Kral O. (2015) *Sousedský efekt ve vybraných senátních obvodech* (Master Thesis), Masaryk University.
- Kramer D. C. (1990) «Those people across the water just don't know our problems»: an analysis of friends and neighbours voting in a geographically-split legislative district. *Political Geography Quarterly*, vol. 9, no 2, pp. 189–196.
- Krishtal' M. I. (2017) *Jelektoral'noe prostranstvo Kaliningradskoj oblasti v sisteme social'no-politicheskich otnoshenij* [The electoral space of the Kaliningrad Region in the system of socio-political relations] (PhD Thesis), Kaliningrad: BFU.
- Lewis-Beck M. S., Rice T. W. (1983) Localism in presidential elections: The home state advantage. *American Journal of Political Science*, vol. 27, no 3, pp. 548–556.
- Lockard D. S. (1959) *New England State Politics*, Princeton: Princeton University Press.
- Lohr D. (2023) *Senátní volby 2022 a sousedský efekt* (Bachelor Thesis), Plzeň, University of West Bohemia.
- Malcová K. (2012) Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR. *Czech Sociological Review*, vol. 48, no 2, pp. 283–313.
- McAllister I. (2015) The personalization of politics in Australia. *Party politics*, vol. 21, no 3, pp. 337–345.
- McCarty H. H. (1954) *McCarty on McCarthy: The spatial distribution of the McCarthy vote, 1952*, Iowa City: University of Iowa Press.
- Meredith M. (2013) Exploiting friends-and-neighbors to estimate coattail effects. *American Political Science Review*, vol. 107, no 4, pp. 742–765.
- Meredith M. (2013) *Heterogeneous friends-and-neighbors voting*, Philadelphia: University of Pennsylvania.
- Mixon F. G. (2013) Warm springs ran deep: friends-and-neighbors voting in the US presidential elections of 1940 and 1944. *J. Pol. & L.*, no 6, pp. 105–115.
- Mixon F. G. (2018) Glass houses and friends-and-neighbors voting: An exploratory analysis of the impact of political scandal on localism. *Economies*, vol. 6, no 3, pp. 48–57.
- Mixon F. G., King E. W., Lawing M. L. (2008) Modeling the Impact of Localism in US Presidential Elections. *Journal of Public Finance and Public Choice*, vol. 26, no 1, pp. 3–18.
- Mixon F. G., Tyrone J. M. (2004) The «Home Grown» Presidency: empirical evidence on localism in presidential voting, 1972–2000. *Applied Economics*, vol. 36, no 16, pp. 1745–1749.
- Muhametov R. S. (2022) Jelektoral'nye predpochtenija izbiratelej: jeffekt «druzej i sosedej» imeet znachenie v Rossii? [Electoral preferences of voters: does the «friends and neighbors» voting matter in Russia?], *Politicheskaja nauka*, no 4, pp. 165–184.
- Munis B. K. (2021) Place, candidate roots, and voter preferences in an age of partisan polarization: Observational and experimental evidence. *Political Geography*, vol. 85, pp. 102–121.

- Munis B. K. (2022) Us over here versus them over there... literally: Measuring place resentment in American politics. *Political Behavior*, pp. 1–22.
- Munis B. K., Burke R. (2023) Talk Local to Me: Assessing the Heterogenous Effects of Localistic Appeals. *American Politics Research*, vol. 51, no 5, pp. 655–669.
- Myers C. A. (2015) *Hometown Influence: The Impact of Geography on Statewide Candidate Emergence and Success*, Saint Louis: University of Missouri-Saint Louis.
- Nemoto K., Shugart M. S. (2013) Localism and coordination under three different electoral systems: The national district of the Japanese House of Councillors. *Electoral Studies*, vol. 32, no 1, pp. 1–12.
- Nishimura T. (2020) Seito no konan senryaku to imouto koho kitay join to shite no sankyodai kekka [Political party recognition strategies and local candidates: Election results as determining factors]. *Nenpō seiji-gaku [Japanese Political Science Association]*, vol. 71, no 2, pp. 280–302. (In Jap.).
- Nyholt N. (2024) Why Do Voters Prefer Local Candidates? Evidence from a Danish Conjoint Survey Experiment. *Political Behavior*, pp. 1–20.
- Panagopoulos C., Bailey K. (2020) «Friends-and-Neighbors» mobilization: A field experimental replication and extension. *Journal of Experimental Political Science*, vol. 7, no 1, pp. 13–26.
- Panagopoulos C., Leighley J. E., Hamel B. T. (2017) Are voters mobilized by a «friend-and-neighbor» on the ballot? Evidence from a field experiment. *Political Behavior*, vol. 39, no 4, pp. 865–882.
- Papp Z. (2018) Challenging the Odds: Incumbency Disadvantage, Local Ties, and Electoral Performance in Hungary, 1994–2010. *East European Politics and Societies*, vol. 32, no 3, pp. 518–543.
- Parker A. J. (1982) The «friends and neighbours» voting effect in the Galway West constituency. *Political Geography Quarterly*, vol. 1, no 3, pp. 243–262.
- Parker A. J. (1986) Geography and the Irish Electoral System: The presidential address of 1984–85. *Irish Geography*, vol. 19, no 1, pp. 1–14.
- Pileček R. (2020) *Efekt souseda a jeho vliv na volební chování v českých parlamentních volbách* (Bachelor Thesis), Prague, Charles University.
- Pileček R. (2021) The influence of mayors as candidates in the 2017 parliamentary elections on voter decision-making in Czechia. *AUC Geographica*, vol. 56, no 2, pp. 234–247.
- Poertner M. (2023) Does Political Representation Increase Participation? Evidence from Party Candidate Lotteries in Mexico. *American Political Science Review*, vol. 117, no 2, pp. 537–556.
- Potoski M. (1994) «Friends and Neighbors Voting» in Gubernatorial and Senatorial Primaries. *Southeastern Political Review*, vol. 22, no 3, pp. 543–548.
- Put G. J. (2021) Is there a friends-and-neighbors effect for party leaders? *Electoral Studies*, vol. 71, pp. 7–23.
- Put G. J., Maddens B., Verleden F. (2017) The within-district distribution of party candidates: A geographical analysis of party lists for Belgian lower house elections. *Acta Politica*, vol. 52, pp. 241–260.
- Put G. J., Smulders J., Maddens B. (2019) How local personal vote-earning attributes affect the aggregate party vote share: Evidence from the Belgian flexible-list PR system (2003–2014). *Politics*, vol. 39, no 4, pp. 464–479.
- Put G. J., von Schoultz A., Isotalo V. (2020) Fighting over friends and neighbors: The effect of inter-candidate geographic distance on intra-party competition. *Political Geography*, vol. 81, pp. 11–22.
- Putnam R. D. (2015) Bowling alone: America's declining social capital. *The city reader*, London: Routledge, pp. 188–196.
- Reynolds D. R. (1969) A Spatial model for analyzing voting behavior. *Acta Sociologica*, vol. 12, no 3, pp. 122–131.
- Rice T. W., Macht A. A. (1987) Friends and neighbors voting in statewide general elections, *American Journal of Political Science*, vol. 31, no 2, pp. 448–452.
- Roche W. (1983) *Friends and neighbours voting in the North Cork Central constituency. General Election February 1982* (Bachelor Thesis), Cork, University College Cork.
- Sacks P. M. (1976) *The Donegal Mafia: An Irish Political Machine*, New Haven: Yale University Press.
- Sajuria J. (2016) *Is the «Local Candidate» Advantage a Myth? Analysing the Effects of Localism in the 2015 UK General Election*, London: Birkbeck University.

- Schulte-Cloos J., Bauer P.C. (2023) Local candidates, place-based identities, and electoral success. *Political Behavior*, vol. 45, no 2, pp. 679–698.
- Segal E. A. (2006) *Politicheskaia geografiia Shvejcarskoj Konfederacii v uslovijah integrirujushhejsja Evropy* [The political geography of the Swiss Confederation in an integrating Europe] (PhD Thesis), Moscow: MSU.
- Sendra J. B. (1980) Influencias espaciales en el comportamiento electoral: el efecto de amigos y vecinos (votaciones al Senado, ciudad de Granada, 15 de junio de 1977). *Revista Internacional de Sociología*, vol. 38, no 36, pp. 577–594.
- Shugart M. S., Valdini M. E., Suominen K. (2005) Looking for locals: Voter information demands and personal vote-earning attributes of legislators under proportional representation. *American Journal of Political Science*, vol. 49, no 2, pp. 437–449.
- Simiyu R. (2010) Politics of residency, friends and neighbors effect, and voting patterns in Kwanza constituency, Kenya, 1988–2000. *African geographical review*, vol. 29, no 1, pp. 37–61.
- Slagarp F., Himberg S. (2023) *Finns det konsekvenser av att bo granne med en partiledare?: En kvantitativ studie över friends-and-neighbours-effekten i Sverige* (Bachelor Thesis), Stockholm, Stockholm University.
- Tatalovich R. (1975) «Friends and Neighbors» Voting: Mississippi, 1943–73. *The Journal of Politics*, vol. 37, no 3, pp. 807–814.
- Tavits M. (2010) Effect of local ties on electoral success and parliamentary behaviour: The case of Estonia. *Party Politics*, vol. 16, no 2, pp. 215–235.
- Tengler O. (2014) *Sousedský efekt v senátních volbách v ČR* (Master Thesis), Brno, Masaryk University.
- Thielemann G. S. (1993) Local advantage in campaign financing: Friends, neighbors, and their money in Texas Supreme Court elections. *The Journal of Politics*, vol. 55, no 2, pp. 472–478.
- Tiering T. O. (1984) *An ecological analysis of voting patterns in Donegal South West in the November 1982 General Election* (Bachelor Thesis), Dublin, University College Dublin.
- Tiran J. (2023) «Nam bolj diši domači kruh od tuje pogače? »Vpliv lokalnosti kandidatur na izide volitev v Državni zbor 2022. *Geografski vestnik*, vol. 95, no 1, pp. 9–27.
- Tiran J. (2023) Geografski vpogled v supervolilno leto 2022. *Geografski obzornik*, vol. 70.
- Tobler W. R. (1970) A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic geography*, vol. 46, no 1, pp. 234–240.
- Torre A. (2008) On the role played by temporary geographical proximity in knowledge transmission. *Regional studies*, vol. 42, no 6, pp. 869–889.
- Trotter D. M. (2016) *Following the leader? The impact of federal party leaders on federal elections in Quebec* (PhD Thesis), Montreal, McGill University.
- Tubbesing C. D. (1973) Vice Presidential Candidates and the Home State Advantage: or, «Tom Who?» Was Tom Eagleton in Missouri. *Western Political Quarterly*, vol. 26, no 4, pp. 702–716.
- Turovskij R. F. (2006) Regional'noe izmerenie jelektoral'nogo processa [The regional dimension of the electoral process], *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, no 5, pp. 1–20.
- Turovskij R. F., Suhova M. S., Sinicina A. V. (2022) Jevoljucija latinoamerikanskoj demokratii i dekonsolidacii jelektoral'nogo prostranstva [The evolution of Latin American democracy and the deconsolidation of the electoral space], *Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija*, vol. 66, no 9, pp. 98–110.
- Vaculik B. C. O. (2022) *Sousedský efekt v krajských volbách* (Master Thesis), Brno, Masaryk University.
- Van Wingen J. R. (1984) Localism, factional fluidity, and factionalism: Louisiana and Mississippi gubernatorial contests. *Social Science History*, vol. 8, no 1, pp. 3–41.
- Van Wingen J. R., Parker J. B. (1979) Measuring friends-and-neighbors voting. *American Politics Quarterly*, vol. 7, no 3, pp. 367–383.
- Vandeleene A. (2017) Friends and Neighbours Politics in Belgian Candidate Selection Processes. Does Place Matter. *ECPR General Conference*, pp. 1–21.
- Velimsky J. A. et al. (2023) Probing the Effect of Candidate Localness in Low-Information Elections: Evidence from the German Local Level. *Political Studies*, pp. 1–22.
- Voda P. (2008) *Sousedský efekt v českých parlamentních volbách* (Bachelor Thesis), Brno, Masaryk University.

- Voda P. (2009) *Efekt kandidáta ve volbách v českém prostředí* (Master Thesis), Brno, Masaryk University.
- Whyte J.H. (1974) Ireland: politics without social bases. *Electoral behaviour: A comparative handbook*, pp. 619–651.
- Younes D. (2022) The Effect of distance on voter behavior during 2015 Egyptian Parliament elections «Case study of Kafr El-Sheikh constituency». *Journal of Humanitarian and Literary Studies*, vol. 26, no 2, pp. 850–874.
- Zolnerkevic A. (2024) Localismo nas Eleições Proporcionais do Brasil: Efeito Contextual de «Amigos e Vizinhos». *Dados*, vol. 68, pp. 1–37.
- Zolnerkevic A., Fernandes H.C. (2016) Efeito contextual de «amigos e vizinhos» nas eleições presidenciais brasileiras: o caso da votação do candidato Aécio Neves no estado de Minas Gerais. *Em Tese*, vol. 13, no 2, pp. 83–105.

Вокизм и метод «уличной эпистемологии» Питера Богоссяна

Екатерина Коростиченко

Кандидат философских наук, научный сотрудник, сектор современной западной философии,
Институт философии РАН
Адрес: ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, г. Москва, 109240 Российская Федерация
E-mail: ek.korostichenko@gmail.ru

В статье исследуется идеология вокизма и анализируется вклад американского философа Питера Богоссяна в борьбу с ней. Подробно рассматривается концепция «уличной эпистемологии» Богоссяна — инструмента для ведения бесконфликтного диалога, который призван стимулировать человека задуматься о надежности методов, используемых им для формирования убеждений, особенно религиозных. Богоссян выступает за использование сократического метода для разубеждения верующих, рекомендуя сконцентрироваться на критике веры как способе познания (он называет это «ненадежной эпистемологией») вместо освещения внешних аспектов религии. Он характеризует веру и вокизм как «вирусы разума» и предлагает общие методы борьбы с ними. Статья выделяет сходства вокизма и религиозного фундаментализма, выявленные Богоссяном и другими учеными, а также подробно описывает конфликт некоторых новых атеистов, включая Богоссяна, с вокистским движением. В статье показано, что вокизм обладает чертами религии, включая неопровержимые догмы (повсеместный расизм), аналог первородного греха (белизна), моральное высокомерие приверженцев (несогласие считается пороком), магическое мышление (гендерная идентичность), пуританизм, обряды, мучеников. Обсуждается концепция «гипотезы замещения» и роль нового атеизма в формировании вокистского атеизма, получившего название «Атеизм Плюс». Делается вывод, что для противостояния внерелигиозным иррациональным идеологиям, таким как вокизм, можно применять практики секуляризма.

Ключевые слова: вокизм, культура отмены, новый атеизм, атеизм, Атеизм Плюс, квазирелигия, «уличная эпистемология», сократический метод, гипотеза замещения, Питер Богоссян

Питер Богоссян — американский философ, новый атеист, отстаивающий критическое мышление и научный скептицизм. Эти подходы он противопоставляет не только различным религиозным доктринам, но и таким иррациональным идеологиям, как вокизм (wokism, от англ. woke — пробужденный). Эта популярная идеология, получившая широчайшее распространение в США и имеющая зачатую радикальные проявления, значительно противоречит рационалистическим установкам, которыми руководствуется Богоссян и часть новых атеистов. Богоссян рассматривает вокизм как иррациональную идеологию, весьма близкую к религии и заслуживающую такого же, если не более решительного, противостояния.

В своих многочисленных интервью и лекциях мыслитель подчеркивает, что цель его жизни — развивать критическое мышление. Он утверждает, что его антирелигиозная кампания на самом деле является миссией по развитию критического мышления (Gilson, 2013: 15). Богоссяна называют «настоящим лидером атеистов» (Gilson, 2013: 1), за которым можно следовать, поскольку ни Докинз, ни другие

«всадники», несмотря на всю свою известность, не могут предложить деятельные методы достижения секуляризма в американском обществе. Христианский исследователь Том Гилсон даже опасается, что публикация книги Богоссяна «A Manual for Creating Atheists» (в русском переводе «Евангелие от атеиста») «стала поворотным моментом в упадке христианства на Западе» (Gilson, 2013: 1), хотя, по нашему мнению, это явное преувеличение.

Однако более интересным аспектом работы Богоссяна, на наш взгляд, является его вклад в противодействие вокизму. В статье мы описываем основные характеристики убеждений Богоссяна и его практической методике «уличной эпистемологии». Затем мы останавливаемся на сходстве вокизма и религиозного фундаментализма, отмечаемом Богоссяном и другими исследователями, а также конфликте части новых атеистов, включая Богоссяна, с вокистским движением.

Понимание религиозного и рационалистического мировоззрения у Питера Богоссяна

Богоссян о вере

Богоссян предлагает несколько определений веры: «признание чего-либо без доказательств» (Богоссян, 2015: 15), «симуляция знания при его отсутствии» (Там же) и «иррациональный скачок за пределы вероятности» (Там же: 18). Человек, который верит, согласно Богоссяну, просто «притворяется, будто знает, хотя на самом деле не знает» (Там же: 19). Вера, по мнению Богоссяна, — «ненадежная эпистемология», то есть ненадежный метод и процесс, который люди используют для постижения реальности. Выводы, основанные на вере, представляют собой утверждения о знании. Люди, основывающие свои выводы на вере, претендуют на наличие знаний о внешнем мире. Например, пишет Богоссян, когда кто-то говорит «Иисус ходил по воде» (Мф, 14:22–33), он утверждает, что знает, что Иисус Христос совершал данное действие (Богоссян, 2015: 24). Таким образом, выражение «Иисус ходил по воде» — это утверждение о знании, объективная констатация факта. Автор «Евангелия от атеиста» убежден, что у веры «нет встроенного механизма коррекции» (Там же: 27). Другими словами, утверждения, основанные на вере, не могут быть исправлены, изменены или пересмотрены. Единственный способ установить, какое утверждение относительно окружающего мира имеет с большей вероятностью истинное значение, а какое — с такой же долей вероятности ложное, заключается в использовании логики и эмпирических данных. Богоссян считает, что основывание веры на недостаточной доказательной базе может привести к неправильному толкованию того, что является хорошим не только для отдельных людей, но и для общества в целом. Например, в США, по мнению философа, социальная политика, которую проводят «те, кто притворяется, будто знают то, чего они не знают» (Там же: 27), продолжает наносить вред людям: запреты на однополое браки, запрет эвтаназии, отсутствие финансирования международных

программ контроля рождаемости, преподавание креационизма и других псевдонаучных концепций — это лишь некоторые из множества ошибочных решений, вызванных иррациональностью. Выводы, сделанные на основе недостаточных доказательств, могут иметь опасные последствия. В качестве примера он приводит талибов, которые создали свое видение праведной жизни, опираясь на Коран. По его мнению, талибы ошиблись, следуя пути, не учитывающему эмпирические данные или разумное обоснование для достижения процветания их общества, а руководствуясь лишь верой.

Как и другие новые атеисты, Богоссян утверждает, что вера представляет собой когнитивное заболевание, которое маскируется под нравственную добродетель. Люди, «зараженные» этим «вирусом», чувствуют благодарность и признательность за свое «заболевание». Однако часть трудностей в борьбе с «вирусом» веры заключается в том, что, как утверждает новый атеист Дэниел Деннет, вера воспринимается как нравственная добродетель (Dennett, 2007). «Зараженные» верой люди не воспринимают ее как «болезнь», а скорее как «благословенный дар». Люди, подвергшиеся воздействию «вируса» веры, убеждены, что быть верующим — это очень важно, и вера — это добродетель (Dennett, LaScola, 2010). Богоссян отмечает, что этот широко распространенный и удивительно устойчивый феномен, известный как «мем», обрел такое развитие, что стал культурной ценностью и априори рассматривается как истина: «Верь во что-то. Защищай то, во что веришь. Вера — это хорошо. Вера — это важно. Вера делает нас лучше. Верующий человек — хороший человек» (Богоссян, 2015: 240). Богоссян, рассматривая веру как «вирус разума», предлагает относиться к ней аналогично другим эпидемиям — локализовать и ликвидировать. Вокизм он называет «мощным вирусом разума», который существует для того, чтобы «разрушить западную цивилизацию» (Smith, 2021).

Сейчас, по его мнению, возникла насущная потребность в широкомасштабных реформах в образовательных системах, церквях и других учреждениях, пропагандирующих веру и другие ошибочные эпистемологии. Необходимо не только создать «эпистемологические санитарные организации», но и разработать «вмешательства» для противодействия распространению этих «вирусных эпистемологий» (самих эпистемологий, а не их последствий). Такие «вмешательства» должны пропагандировать, поддерживать и даже рекламировать надежные эпистемологии. То есть стратегии «вакцинации» и сдерживания должны поддерживать ценность убеждений на основе доказательств. Богоссян предлагает модель, используемую в движении за гражданские права. Это трехэтапный процесс. Во-первых, это публичное осуждение веры как неадекватной эпистемологии (этот этап уже начался, по мнению философа); во-вторых, вера должна перестать использоваться в качестве оправдания; наконец, люди должны перестать прибегать к вере: вера, подобно идее, что рабство допустимо, должна просто исчезнуть. На наш взгляд, исчезновение веры — маловероятно, Богоссян выдает желаемое за действительное. Это видение в целом распространено среди новых атеистов, которые надеются, что наука в определенный исторический момент «заменит» веру. Этот подход

напоминает изначальную гипотезу о секуляризации, однако на сегодняшний день возникли серьезные сомнения в его адекватности.

Богоссян о гипотезе замещения и атеизме

Когда люди оставляют организованную религию, они часто находят замену в других убеждениях и сообществах. Это явление называется «гипотезой замещения» и было впервые предложено в 2011 году философом Филом Цукерманом. Во время интервью с отступниками — людьми, добровольно отказавшимися от религии, — Цукерман обнаружил, что, вместо того чтобы жить светской жизнью, большинство из них присоединяются к альтернативным системам верований и сообществам. Буддизм, Нью-эйдж, политические идеологии, теории заговора заменяют их прежнюю веру. По словам Цукермана, гипотеза замещения предполагает, что «люди могут иметь врожденную, эволюционно укоренившуюся склонность к религии... Мы созданы для веры, сообщества и смысла. Когда отбрасывается одна ортодоксия, ее место занимает другая» (Basu, 2023). Докинз настроен более пессимистично: «Если гипотеза замещения верна, — отмечает он, — значит, я на самом деле потратил жизнь впустую, потому что пытался убедить людей поддаться влиянию рациональных доказательств. Я бы предпочел обратиться к науке и сказать, что наука прекрасна и поэтична» (Boghossian, 2024). Докинз не считает, что религию нужно чем-то заменять: «Чем вы заменяете рак, когда удаляете опухоль? Ты просто живешь своей жизнью. Возможно, ты начинаешь увлекаться поэзией, и находишь другие важные способы провести счастливую жизнь и найти смысл своего существования» (The Cārvāka Podcast, 2021).

Философ Питер Богоссян считает, что «религия теряет позиции на Западе, но ее место не занимает универсальная мораль, как думали атеисты, она заменяется религией вокистов» (Orbán, 2022). В своей книге «Как вести невозможные беседы» («How to Have Impossible Conversations», на русском языке книга издается под названием «Искусство продуктивного холивара») Богоссян утверждает, что многие заменители религии квалифицируются как «псевдорелигии» или «псевдоидеологии». Эти системы верований демонстрируют «догматизм, трайбализм и эпистемологические пороки вместо интеллектуального смирения¹ и критического мышления» (Basu, 2023). Он считает, что новый атеизм частично ответствен за то, что «сработала» гипотеза замещения и «Америка пробудилась» (Sala, 2023), породив вокизм. Новые атеисты, по его словам, «надеялись похоронить Бога и жить в каком-то рационалистическом раю, но этого не произошло» (Sala, 2023). Атеистический активист, биолог Колин Райт считает, что «новый атеизм допустил ошибку, из-за которой ребенок был выплеснут с водой. Мы нуждаемся в общих представлениях, чтобы поддерживать друг друга. В последнее десятилетие вокизм

1. Метакогнитивный процесс, характеризующийся признанием пределов своих знаний и своей ошибочности.

заполнил пространство, которое возникло в результате атак атеизма на религию» (The Cārvāka Podcast, 2021).

Дэвид Сильверман, ранее занимавший пост президента «Американских атеистов» — организации, выступающей за права атеистов и сокращение влияния религии в обществе, пострадал от пробудившегося атеизма и был уволен с поста президента в 2018 году. Он признает, что, будучи крупным атеистическим активистом, также способствовал утверждению позиций вокизма в атеистическом движении: «Итак, что же произошло с тех пор, как мы “убили Бога”? Не атеистическая утопия. Мы выиграли главный приз — религия вокизма полностью захватила левую сторону политики, расколов как семьи, так и саму нацию. На волне пустых эмоций и юношеского отказа применять скептицизм пробудившиеся левые — в основном атеисты — приняли эту систему убеждений, как если бы это была величайшая новая религия всех времен» (Silverman, 2023). Он с горечью признает, что, возможно, атеистическим активистам удалось уменьшить влияние христианства, но они не смогли искоренить религию. И сейчас, по его словам, набирает популярность точка зрения, что атеисты должны активно продвигать христианство, возможно, даже присоединяясь к церквям, в попытке укрепить его, чтобы оно могло победить вокизм. Он ссылается на Питера Богоссяна, который поддерживает эту идею: «Лучше поверить, что человек ходит по воде, чем в то, что все люди могут рожать детей» (Silverman, 2023). В другом месте философ отмечает, что «скорее поддержит христианского проповедника, чем пробужденного атеиста» (Boghossian, 2023). Сам Дэвид Сильверман не против сотрудничества с религиями, если это поможет в борьбе с пробудившимся атеизмом.

Богоссян считает проблематичным понятие «атеист». Основное отличие атеиста от верующего, по мнению Богоссяна, заключается в том, что атеист готов пересмотреть свои убеждения на основании доказательств, в то время как верующий обычно не готов на подобную «ревизию». Еще одно определение «атеиста», согласно Богоссяну, таково: «Человек, который не притворяется, будто знает о создании Вселенной то, чего он не знает» (Богоссян, 2015: 34). По сути, атеист — это «человек, способный критически мыслить» (Там же). Богоссян считает, что многие пытаются превратить атеизм в то, чем он не является. Критикуя пробудившийся атеизм, он утверждает, что «атеизм не связан ни с расизмом, ни с гомофобией, ни с практикой тайцзи; он просто означает, что нет достаточных доказательств для веры в Бога» (Там же: 35). Атеистическое мировоззрение, пишет Богоссян, привержено эпистемологическим принципам, основанным на фактах, а также честных доводах. Поскольку философ рассматривает атеизм не как неизменную характеристику человека, подобную цвету глаз, он не видит его как часть индивидуальности. Богоссян критикует теистов, которые рассматривают веру как часть своей личности: они часто заявляют, что не желают менять своих убеждений. Он также считает, что не стоит путать атеизм со светским гуманизмом. Светский гуманизм — это философия и набор идеалов; атеизм же просто означает отсутствие веры в Бога или богов.

Позиция Богоссяна по вопросам веры сходна с тезисами «четырех всадников», которые представляют религию как вирус. Несмотря на научное значение концепции мемов, стигматизация религии в этом контексте не кажется обоснованной. Однако важно отметить, что Богоссян проводит различие между верой и религией, указывая на важную роль религии в социальной интеграции, что отмечал еще Эмиль Дюркгейм. Распространенными примерами структур, дающими чувство объединения и причастности, являются и клубы по интересам, такие как футбольные болельщики.

Богоссян утверждает, что вера основана на ложной эпистемологии, а секулярное мировоззрение — на верной. Однако этот подход не выдерживает критики. Большинство атеистов также формируют свое мировоззрение на основе доверия к определенным авторитетам — например, научным. Часто новых атеистов обвиняют в том, что их мировоззрение основано на слепой вере в науку и является недостаточно критическим в отношении сциентизма. Также политические идеологии ранее рассматривались как квазирелигиозные, поэтому выделение вокизма как квазирелигии — не ново. Атеизм в чистом виде, действительно, не представляет собой цельного мировоззрения. Однако в XX веке было создано множество разработок светских мировоззрений, светской морали и этики. Позитивно, что Богоссян упоминает здесь светский гуманизм как пример такого мировоззрения.

«Уличная эпистемология»

Питер Богоссян — автор концепции «уличной эпистемологии» (Street epistemology). «Уличная эпистемология» — это метод, который ставит своей целью показать преимущества рационального мышления и поставить под сомнение убеждения, основанные на ненадежных основаниях. Это глубокие, вежливые и неконфронтационные разговоры о том, во что люди верят и, что самое важное, почему они верят. Это метод ведения диалога, в котором вы помогаете собеседнику проанализировать надежность его эпистемологии — способ, с помощью которого он пришел к своим убеждениям. Если выясняется, что убеждение основано на ненадежных основаниях, его становится гораздо проще пересмотреть. Книга Богоссяна, где изложен данный метод — «Евангелие от атеиста», — по мнению автора, помогает «вырастить поколение уличных эпистемологов» (Богоссян, 2015: 8): людей, вооруженных диалектическим инструментарием, которые призваны ходить по улицам, церквям, школам, барам и тюрьмам — везде, где есть верующие, помогая тем отказаться от веры и выбрать путь рационального мышления. Предшественниками уличных эпистемологов, по мнению автора концепции, были «четыре всадника», каждый из которых так или иначе способствовал определению части проблем, связанных с верой и религией. Богоссян убежден, что новые атеисты совершили переворот в нашем понимании религии, повысив значимость рационального мышления, однако они не дали никаких ориентиров, не предложили конкретных решений практических проблем религии и веры. Книга позицио-

нируется Богоссяном как следующий этап после книг Харриса, Докинза, Хитченса и Деннета. Она предлагает практические решения проблем веры и религии за счет «уличных эпистемологов», которые рассматривают взаимодействия с верующими как «клинические вмешательства» (Богоссян, 2015: 12), призванные освободить их от веры. Богоссян подчеркивает, что не стоит пытаться оторвать людей от религии, поскольку, лишая человека религии, мы лишаем его социальной поддержки, друзей, ритуалов и т.д. Вместо этого «уличные эпистемологи» должны сосредоточиться на том, чтобы опровергать веру. Опровергая веру, они помогают людям избавиться от ошибочной эпистемологии. В книге «Искусство продуктивного холивара», вышедшей в 2019 году, на шесть лет позже «Евангелия от атеиста», Богоссян в соавторстве с Джеймсом Линдси описывает применение «уличной эпистемологии» для изучения более широкого спектра убеждений, включая нерелигиозные.

Доксастическое замыкание и доксастическая открытость

Слово «доксастический» происходит от древнегреческого δόξα², что означает «вера». Богоссян использует выражение «доксастическое замыкание» в более широком смысле, чем в философской литературе. Для него оно означает либо конкретное убеждение человека, либо систему его убеждений, которые он не готов пересматривать. Доксастическое замыкание имеет несколько уровней выражения. Самый крайний — это фиксированное, окончательное убеждение (или система убеждений), которое сложно пересмотреть. Чем менее доксастически замкнут человек, тем больше он готов изменить свои убеждения. Доксастическое замыкание может быть на любом убеждении, независимо от его содержания. «Для кого-то это может быть нравственное убеждение (“Мы не должны мучить маленьких детей ради удовольствия”), для кого-то экономическое (“Рынки не нуждаются в регулировании”), для кого-то метафизическое (“Я — не мозг в колбе”), для кого-то относительное (“Мой бойфренд любит меня”), для кого-то научное (“Глобальное изменение климата вызвано деятельностью человека”), для кого-то основанное на вере (“Женщина без мужа подобна мертвецу”, Бхагавата-пурана) и т.д.» (Богоссян, 2015: 51).

В своей роли «уличного эпистемолога» человек может столкнуться с людьми, которые кажутся неподдающимися разумным аргументам. По мнению Богоссяна, существуют два основных объяснения подобной неудачи: «1) либо у вашего собеседника есть неврологические повреждения мозга; 2) либо вы на самом деле преуспеваете» (Богоссян, 2015: 53). В последнем случае речевое поведение собеседника может показывать, что ваше «вмешательство» было неудачным. Например, он начинает злиться, повышает тон голоса или кажется, что еще больше укрепляется

2. Вероятно, Богоссян использует платоновское понимание слова δόξα. Платон понимает δόξα как веру, не связанную с разумом, которая находится в неразумных, низших частях души. Распространенный же перевод слова δόξα — «мнение», «взгляд».

в собственной правоте. В действительности, полагает Богоссян, такие проявления могут быть признаком успешного «вмешательства».

Доксастическая патология, по словам Богоссяна, ярко проявляется в религиозных убеждениях. Такие убеждения — особая категория, которая крайне сложно поддается пересмотру. Когда вы пытаетесь помочь людям изменить их религиозные убеждения или полностью отказаться от веры, отмечает философ, вы сталкиваетесь со множеством трудностей, которые не свойственны другим областям убеждений. Объясняется это тем, что ряд факторов укрепляет доксастическое замыкание в религиозной системе: общество признает веру как добродетель, религиозные организации активно распространяют веру, сформировались механизмы, защищающие веру от анализа, существуют общественные запреты на критику веры других людей, а религиозные общины активно поддерживают верования своих членов. Другая форма доксастического замыкания связана с эго и нарциссизмом. Например, пишет философ, иногда мы, как нарциссы, чрезмерно увлечены нашими собственными выводами, мы открыто выражаем свое мнение, которое долго держали при себе, или не желаем слушать возражения, потому что любим выигрывать споры.

По мнению Богоссяна, доксастическая открытость означает готовность и способность пересматривать свои убеждения. Она наступает, когда человек осознает свое невежество и понимает, что его убеждения могут оказаться недостоверными. Доксастическая открытость является началом истинной беспристрастности. По определению, понимание своего невежества есть проявление доксастической открытости. «Уличному эпистемологу» приходится убеждать людей пересматривать свои убеждения. Случаи, когда люди мгновенно отказываются от своих убеждений, крайне редки. Чаще всего, помогая людям признать свое невежество, «уличный эпистемолог» поселяет в них сомнения, которые со временем приведут к увеличению периодов доксастической открытости.

«Вмешательства» и стратегии уличной эпистемологии

«Уличные эпистемологи» рассматривают каждую беседу с верующими как форму «вмешательства». В этом контексте «вмешательство» — это попытка помочь людям изменить свои убеждения, стратегия изменения чужих когнитивных процессов и призыв пересмотреть свои убеждения (Богоссян, Линдси, 2021: 146). В начале разговора «пациенты» часто имеют убеждения, или эпистемологии, основанные на вере. В результате «диалектического лечения» «уличные эпистемологи» стремятся помочь утратить столь сильную уверенность в своей вере (или даже отказаться от веры).

Эти методы и стратегии взяты из различных литературных источников, посвященных борьбе с сектами, эффективным методам лечения алкоголизма и наркомании, а также передовым педагогическим методам. «Уличные эпистемологи» помогают людям преодолеть эту зависимость, аналогично тому, как помогают ал-

коголикам и наркоманам. Богоссян пишет, что рассматривая свои взаимодействия с другими людьми как «вмешательства», а не как споры или дебаты, вы получаете следующие преимущества: это поможет отстраниться и быть более объективным при проведении «вмешательства»; это будет полезно, поскольку эмоции не будут влиять на процесс «лечения», и вам с большей вероятностью удастся продемонстрировать образец поведения (надежную эпистемологию). Если будете рассматривать то, что делаете, как «вмешательство» и считать верующего человеком нуждающимся в вашей помощи, а не в осуждении, то это позитивное и принимающее отношение повысит вероятность того, что «лечение» будет эффективным (Богоссян, 2015: 74). «Вмешательство» не является мероприятием, направленным на победу. Его цель в том, чтобы помочь людям увидеть истину сквозь пелену иллюзии и восстановить их способность удивляться миру. Основной задачей «вмешательства» является изменение способа формирования убеждений, а не самих убеждений, именно поэтому используется термин «эпистемология».

Богоссян сравнивает систему убеждений с большим зданием. Вера, на его взгляд, является фундаментом, на котором держится вся структура убеждений. Если уничтожить веру, то и само сооружение рухнет. Он предлагает нацеливаться на веру, а не на религию. Его позиция расходится с «классическими» новыми атеистами, которые направляют основной удар своей критики на религию. Философ считает, что следует в первую очередь сосредоточиться на атаке на веру. Ослабляя веру, можно разрушить всякую религию. К тому же, на его взгляд, «гораздо проще помочь человеку избавиться от веры, чем отделить его от религиозной общины» (Богоссян, 2015: 84). Нападки на религию зачастую воспринимаются как нападки на друзей, семью, поэтому, предупреждает он, они могут «ожесточить людей и затруднить их отказ от веры» (Там же: 85).

Убежденность в том, что вера — это добродетель и что человек должен верить, является одним из основных препятствий на пути освобождения человека от его веры. Вера тесно связана с моральным аспектом. Многие люди, даже неверующие, придерживаются ошибочного мнения, что вера — это добродетель. Богоссян считает, что «вмешательства», нацеленные на веру, должны разрывать связь между верой и моралью. Целью «уличного эпистемолога» является изменение восприятия веры, которая рассматривается как нравственная добродетель (и убеждение, что вера делает человека хорошим), на восприятие веры как ненадежного процесса мышления, то есть необходимо поменять отношение к вере с позиции нравственной ценности на отношение к ней как к ложной эпистемологии. Богоссян предлагает несколько способов разрыва связи между верой и добродетелью: во-первых, он переопределяет веру как «притворство в том, будто знаешь вещи, которых на самом деле не знаешь» (Там же: 87), во-вторых, открыто утверждает, что наличие веры не делает человека нравственным, а ее отсутствие не делает его безнравственным.

Для проведения «вмешательства» Богоссян использует метод, получивший название «мотивационное интервьюирование» (Motivational Interviewing (MI)).

Техника, разработанная психологами У.Р. Миллером и С. Роллником для людей с проблемным употреблением психоактивных веществ, широко применяется для изменения поведения в любых сферах жизни. Богоссян использует несколько основных принципов этого метода: «создавайте отношения без элемента состязания; помогайте клиентам изменить образ мышления и понять, чего можно достичь в результате изменений; разговаривайте с людьми на их языке и не формируйте изменения; выражайте эмпатию; будьте стойкими; прислушивайтесь к внутренним изменениям поведения» (Там же: 93). Также Богоссян предлагает использовать для управления «вмешательствами» Транстеоретическую модель изменения поведения. Эта модель, созданная Джеймсом Прохаской и Карло ДиКлемементе, описывающая процесс изменения поведения у людей, представляет собой структуру для понимания того, как люди меняют свое поведение, и включает в себя шесть стадий: «предварительное размышление (человек не готов меняться); размышление (человек подготавливается к тому, чтобы начать меняться); подготовка (человек готов меняться); действие (изменение); поддержание (сохранение изменения); окончание (изменение завершено)» (Там же: 94). Многие люди, полагающие, что они верят «умеренно», находятся на первой стадии — стадии предварительного размышления. Стадия размышления означает, что люди видят необходимость изменений, но не считают, что они возможны. Остальные стадии менее важны для «уличного эпистемолога», поскольку его основное усилие направлено на помощь в переходе от стадии предварительного размышления к стадии размышления или от размышления к подготовке. Затем можно начать говорить с собеседником на его языке. Цель каждого «вмешательства», пишет Богоссян, перевести субъекта на следующую ступень Транстеоретической модели поведения: например, от стадии предварительного размышления к стадии размышления. Богоссян подчеркивает, что в диалоге необходима честность и прямота: «Будьте честными. Будьте прямолинейными. Будьте резкими. Не оправдывайтесь. Не жалуйтесь, не извиняйтесь, не мямлите, защищая разумное. Не сбавляйте тон и не говорите с ними как с детьми» (Там же: 245). Кажется, здесь философ немного противоречит сам себе. С одной стороны, он утверждает, что нужно вести неконфронтационные разговоры, а с другой — быть прямолинейным и резким.

Сократический метод

В работе в качестве «уличного эпистемолога» Богоссян рекомендует также сократический метод. Современный сократический метод «часто используется не столько как способ обнаружить истину, сколько как метод обучения критическому мышлению» (Boghossian, 2006: 4), которое, по мнению Богоссяна, «не просто важно, но и незаменимо в силу своего освободительного потенциала. Мы можем использовать разум, чтобы принимать лучшие решения, формировать лучшие сообщества и вести лучшую жизнь» (Boghossian, 2012: 7).

В основе каждого сократического дискурса лежат следующие предположения: мир существует независимо от того, кто его познает; есть истина, которую можно обнаружить; существуют справедливые и беспристрастные методы; некоторые утверждения ложны, и существует такая вещь, как «окончательное понимание» (Boghossian, 2006: 7). Сократический метод состоит из пяти этапов: задавания вопроса; гипотезы; эленхоса; принятия или пересмотра гипотезы; соответствующих действий. «На первой стадии удивления Сократ задает философский/моральный вопрос... На втором этапе выдвигаются гипотезы, ответы на вопрос предлагаются одним или несколькими участниками... Третья стадия, эленхос, лежит в основе практики Сократа. Посредством беседы (иногда называемой “перекрестным допросом”) Сократ предлагал контрпримеры гипотезам своих собеседников... На этом (четвертом. — Прим. Е. К.) этапе разговора контрпример либо принимается, либо отвергается... После того как этот процесс рассмотрения претензий был исчерпан, можно было действовать соответствующим образом» (Boghossian, 2007: 43–45). Этап пятый «Действуй соответствующим образом» — единственная невербальная часть сократического метода. Пересмотр убеждений и изменение своих действий являются предполагаемыми побочными продуктами или последствиями метода и не могут происходить во время дискурса (Boghossian, Lindsay, 2018: 8). Вопросы и ответы — это основа сократического метода. Суть его заключается в логическом опровержении, при котором Сократ использует контрпримеры для оспаривания предположения. Цель контрпримеров — вызвать сомнения в гипотезе и в конце концов показать ее ложность. При правильном использовании сократического метода может возникать ситуация доксистической открытости, то есть ситуации, когда люди осознают, что их мышление ошибочно. В таких случаях люди становятся более открытыми для альтернативных гипотез и объяснений.

При проведении «вмешательства» с применением сократического метода, пишет Богоссян, необходимо иметь в виду следующее: следовать последовательности этапов этого метода; использовать, если уместно, другие стратегии; избегать установления противостояния, негативного тона; выдерживать диалог; разделять убеждения и мораль; уделять внимание эпистемологии, а не метафизике; нацеливаться на веру, а не на религию; моделировать поведение, которое необходимо вызвать у субъекта, постараться создать безопасное пространство для обсуждения.

До Богоссяна сократический метод, по-видимому, не использовался активно для переубеждения верующих. Однако и до начала противостояния с вокизмом Богоссян не ограничивал применение сократического метода лишь «атеистической борьбой». Ряд исследований, проведенных философом, описывали применение сократического метода, чтобы помочь отбывающим наказание преступникам воздержаться от дальнейшей преступной деятельности (Boghossian, 2000; Boghossian, 2004; Boghossian, 2007), и в ходе работ дополнительно проясняли механизм метода (Boghossian, 2002).

Рекомендации для противостояния иррациональным идеологиям

Богоссян призывает продолжать оказывать поддержку после проведенной «терапии». Он предлагает переубежденным людям вступать в новые сообщества и заводить новых друзей, использующих надежные эпистемологии. Это необходимо для того, чтобы снизить риск «рецидива», что особенно важно, по мнению Богоссяна, на раннем этапе (предварительного размышления, размышления, подготовки), когда индивид начинает сомневаться в своей вере.

Он считает, что мы нуждаемся в целенаправленной широкомасштабной кампании в системе школьного образования, в летних лагерях, в библиотеках, в дискуссиях с верующими на радио и телевидении в присутствии их детей — словом, везде, где есть дети. Основное содержание послания должно быть направлено на понимание, что существует множество вещей, которые мы не знаем, и что не знать — это нормально. Необходимы новые книги, обсуждающие, как воспитать детей, способных чувствовать себя уверенно, несмотря на свое «частичное незнание», и как развить надежные эпистемологии. Эти книги должны быть доступны широкой аудитории. По мнению Богоссяна, колледжи и университеты могли бы активнее участвовать в борьбе с верой, способствовать распространению разума, логического мышления, а также укреплению рациональности и скептицизма. Он предлагает готовить преподавателей, которые будут не только обучать студентов критическому мышлению, но и направлять их к более скептическому отношению к вере. Ключевое условие сдерживания веры, согласно Богоссяну, — причинение финансового ущерба любому учреждению, распространяющему ложную эпистемологию, начиная с самых активных пропагандистов — религиозных организаций. В конечном итоге освобождение религиозных организаций от налогового бремени должно быть отменено, в будущем по закону они должны платить налоги.

Самым важным фактором для сдерживания и, вполне вероятно, даже излечения веры, по мнению Богоссяна, является восстановление в DSM религиозного бреда. В настоящее время религиозный бред исключен из DSM и не считается психическим расстройством. Восстановление пункта, который классифицирует феномен как официально признанное психическое расстройство, сделает возможным проведение официальных исследований по лечению этой болезни. Кроме того, такие классификации позволят исследователям оценить эффективность тактик лечения и продолжить их усовершенствование. В долгосрочной перспективе, когда будут разработаны тактики лечения, результаты можно будет использовать для информирования служб общественного здравоохранения в целях сдерживания веры.

Богоссян предлагает методику «Стол для взрослых», которая представляет собой стратегию сдерживания религии и веры. Смысл методики заключается в том, чтобы взять на себя эпистемологическую ответственность и добиться того, чтобы эту ответственность взяли на себя и другие. Он считает, что верующие не заслуживают того, чтобы к ним относились как к способным нести ответственность

«взрослых» и применять к ним те же стандарты обоснования, что и к рационалистам. Вербальная техника «Стол для взрослых» предполагает, что заявитель в доказательство своей позиции должен предоставлять эмпирические заявления, которые можно подтвердить или опровергнуть средствами науки. В отсутствие таковых, по мнению философа, он вынужден сесть за «детский стол». Например, человек считает, что гомосексуалистам следует запретить усыновлять детей, поскольку они предположительно более склонны к физическому насилию (Богоссян, 2015: 243). Это эмпирическое заявление, которое можно подтвердить или опровергнуть при помощи научного подхода. Путем формулирования эмпирически обоснованных утверждений, даже если выводы неприятны, человек заслуживает право участвовать в диалоге и стать частью «взрослых бесед».

Вступая в позицию «вмешательства», замалчивая критику и разрешая верующим публично высказывать свои убеждения на основе религиозного мышления, пишет Богоссян, мы создаем опасную ситуацию и укрепляем у верующих убеждение в допустимости их заблуждений, которые серьезно рассматриваются другими «взрослыми». Более эффективно использовать метафору «Стол для взрослых» он предлагает с лидерами религиозных общин. Если удастся вовлечь их в разговор, то следует настойчиво требовать от них доказательств их утверждений. Если они не смогут этого сделать, сказать: «Вы притворяетесь, будто знаете вещи, которых не знаете. Идите за “стол для детей”, это разговор для взрослых» (Там же). Богоссян поддерживает идею рассмотрения проблемы веры с позиции здравоохранения и разработку «вмешательств» на основании этой модели.

Вопрос о том, удастся ли помочь людям осознать ценность надежной эпистемологии, является эмпирическим. По мнению Богоссяна, это можно достичь, используя поп-культуру, например, комиксы и детские телевизионные программы с новыми персонажами, такими как «эпистемические рыцари», и новыми злодеями, такими как «религиозные монстры».

Дополнительные финансовые ресурсы и льготы могут быть использованы для реформирования педагогических учебных заведений, которые будут поощрять преподавателей, популяризирующих науку, предоставляя им постоянную работу и продвижение по службе. Кроме того, можно институционализировать критическое мышление в образовательной программе, а также спонсировать фильмы и телевизионные программы, которые выставляют мыслительные процессы и следствия веры в негативном свете и т.д.

Концепция «уличной эпистемологии» представляет практический интерес, хотя вызывает сомнение, что подобный подход антирелигиозной пропаганды является полностью уникальным и новаторским. В будущих исследованиях следует провести сравнительный анализ концепции и методов Богоссяна, например, с советской антирелигиозной пропагандой. Неудивительно, если архивы антирелигиозной пропаганды времен раннего СССР содержат методы, используемые Богоссяном, которые могут быть изучены в рамках исследования. Подход, описывающий веру как болезнь, представляет собой ограничение области предлагаемого метода,

и не дает увидеть полную картину. Методика «Стол для взрослых» и включение религиозного бреда в DSM являются, на наш взгляд, крайними мерами, не способствующими конструктивному диалогу и ущемляющими права верующих.

Вокизм и противостояние с ним

При этом, как считает сам философ, реальное состояние науки и образования в США весьма далеко от описываемого идеала учреждения, культивирующего рациональное мировоззрение. И, что неожиданно, негативное влияние здесь исходит не от христианства, исторически имеющего огромное влияние в США, и не от ислама, в котором видят основную мировую угрозу новые атеисты вроде Докинза. Наибольшей угрозой распространению рационального мировоззрения Питер Богоссян сейчас видит идеологию вокизма, набравшую колоссальное влияние за последние годы.

Вокизм и его предпосылки

Богоссян критикует современное академическое сообщество за нарастающую социальную, моральную и эпистемологическую катастрофу. Левая направленность сообщества способствовала, на его взгляд, разрушению ценностей рационального мышления и создала условия для процветания в США веры, религии и ошибочных эпистемологий всех видов. Математик Джеймс Линдси и социолог Хелен Плакроуз, коллеги Питера Богоссяна, называют эту волну академического активизма (activism-scholarship) «прикладным постмодернизмом» (Плакроуз, Линдси, 2022: 52). Следующие паттерны играют важную роль в «прикладном постмодернизме» и активизме социальной справедливости: размывание границ, власть языка, культурный релятивизм и утрата универсального и индивидуального в пользу групповой идентичности. Отсюда происходят, например, пренебрежительное отношение к науке и рациональному мышлению как «локальным» западным способам познания и скептицизм в отношении всех категорий, описывающих гендер и сексуальность.

«Прикладной постмодернизм», по мнению Плакроуз и Линдси, возник в контексте постколониализма, «черного феминизма» (который основывается на работах афроамериканских ученых и фокусируется на расе наряду с гендерными вопросами), интерсекционального феминизма, критической расовой (правовой) теории и квир-теории, которые стремятся критически оценивать мир с целью его изменения. Эти убеждения, по мнению исследователей, глубоко проникли в социальные науки, особенно философию, социологию, антропологию и психологию (Плакроуз, Линдси, 2022: 55). Теперь ученые должны в большей степени ссылаться в своих работах на женщин и представителей меньшинств, и в меньшей степени — на белых мужчин из западных стран, «поскольку эмпирические исследования, производящие знание на основе доказательств и рациональных аргументов, культурно

сконструированы ими и поддерживают их привилегии» (Плакроуз, Линдси, 2022: 66). Описанные изменения, по словам Плакроуз и Линдси, «неуклонно размывали барьер между академией (академической наукой. — *Прим. Е.К.*) и активизмом» (Там же: 66). Если раньше от преподавателя ждали объективности, а отстаивание определенной идеологической позиции считалось чем-то нежелательным, то сейчас преподавание должно быть политическим актом, и приемлем только один вид политики — политика идентичности.

«Прикладной модернизм» проник в широкие слои общества. Там, особенно среди левых, он стал «символом веры или практической мифологией» (Там же: 68), отказ поддерживать его — означает «бросить вызов господствующей ортодоксии» (Там же). Предполагается, что в дискурсах обязательно имеют место быть расизм, гомофобия, сексизм, трансфобия или другие скрытые общественные предрассудки. Их необходимо выявлять и изобличать, независимо от того, где они были обнаружены, в речи президента или в подростковом твите. Широко распространенный на Западе сленговый термин «воук» (woke — прошедшее время от глагола «проснуться») описывает состояние, «при котором человек узнаёт об этих проблемах и начинает чаще их замечать» (Там же: 94). В каком-то смысле человек, принявший вокизм, наконец-то «проснулся» от повсеместного угнетения меньшинств (Bristol University Press, 2021). Словарь Уэбстера отмечает его широкое распространение после гибели чернокожего Майкла Брауна в 2014 году, застреленного полицейским Дарреном Уилсоном. Инцидент вызвал острую реакцию на национальном уровне, включая мирные демонстрации, протесты, акты вандализма и другие проявления социальных беспорядков, а также требования провести публичное расследование. После расстрела Майкла Брауна активисты движения Black Lives Matter (BLM) использовали фразу «stay woke», чтобы привлечь внимание к злоупотреблениям полиции. В 2017 году Оксфордский словарь расширил определение слова «woke», добавив его как прилагательное, означающее «бдительный в отношении несправедливости в обществе, особенно расизма» (Mirzaei, 2019).

25 мая 2020 года при задержании был убит Джордж Флойд (полицейский применил удушающий прием), что стало новым витком развития идеологии вокизма. Макс Фанк считает, что «это событие стало переломным моментом для идеологии, которая развивалась десятилетиями» (Funk, 2020). Реакцией на убийство стали многочисленные протесты, которые по состоянию на 3 июля 2020 года прошли в 40% округов США и собрали от 15 до 26 миллионов человек (Buchanan, Bui, 2020), что сделало Black Lives Matter крупнейшим движением в истории страны. Во второй половине июня началась волна сноса памятников, увековечивающих память лидеров Конфедерации, а также других людей, связанных, по мнению протестующих, с расизмом и работорговлей.

Характерное взаимодействие с вокизмом произошло и у нового атеизма, который начался заметно раньше, в конце 2000-х, с работ «четырёх всадников» — Докинза, Деннета, Харриса, Хитченса — и превратился в весьма медийно активное полуорганизованное движение, сосредоточенное на критике веры и религии,

и на продвижении рационалистического взгляда на мир. Однако и это сообщество оказалось расколото под влиянием идей вокизма, породив т.н. Атеизм Плюс (Atheism Plus). Это новое движение, предложенное в 2012 году блогером Джем МакКрайтом, побуждало атеистов выйти за рамки вопросов веры и неверия и заняться дополнительными проблемами, включая социальную справедливость, феминизм, антирасизм и борьбу с гомофобией и трансфобией. Богоссян называет его «вокистским атеизмом» или «пробужденным атеизмом» (woke atheism) и считает вырождением движения новых атеистов. Деятели Атеизма Плюс активно критикуют «классических» новых атеистов, включая четырех основателей, за неправильное отношение к вопросам гендера, расы и «социальной справедливости» в целом. При этом Атеизм Плюс быстро набрал огромную популярность среди атеистов, вытеснив во многих сообществах изначальный вариант. Колин Райт отмечает, что «Атеизм Плюс превратился в политическое движение, и те, кто не разделял эту точку зрения, были исключены из него. После этого атеистическое движение не смогло восстановиться, так как было поглощено вокизмом» (The Cārvāka Podcast, 2021).

Вокизм как квазирелигия

Действия протестующих наводят некоторых исследователей на мысль, что вокизм — это буквально новая религия (Плакроуз, Линдси, 2022; Braunstein, 2022; Heinich, 2023; McWhorter, 2021). Жан-Франсуа Браунштейн пишет, что «это не просто новая идеология, а новая вера, новая религия» (Braunstein, 2022: 15). Питер Богоссян называет вокизм «религией угнетенных» (The Rubin Report, 2015). Колин Райт определяет вокизм как «религию, лишенную возможности прощения» (The Cārvāka Podcast, 2021). Макс Фанк отмечает, что «хотя она (идеология вокизма. — Прим. Е.К.) не организована в какую-либо официальную религиозную структуру, она выполняет все функции религиозной доктрины» (Funk, 2020): у нее уникальная эпистемология, концепция искупления и пр. Молодые белые активисты движения Black Lives Matter публично исповедуют свои грехи и просят прощения у чернокожих за их угнетение. «Привилегии белых» выглядят как эквивалент первородного греха: белый человек виновен в том, что его предки угнетали и продолжают угнетать чернокожих и всех цветных людей, даже и особенно если он сам этого не осознает. Он ответственен практически за все зло, существующее на земле (Braunstein, 2022: 36). То, что расизм понимается в терминах греха, отмечают в том числе Плакроуз и Линдси (Плакроуз, Линдси, 2022: 121). Однако, по замечанию Браунштейна, «привилегия белых» в некотором смысле «более серьезна, чем первородный грех», поскольку нет Христа, готового взять на себя эту вину. Кроме того, эта «привилегия» — это биологический факт, от которого невозможно избавиться, от него невозможно спастись. Колин Райт говорит, что «самым пагубным аспектом вокизма является то, что нет никакого пути к прощению. Ты навсегда запятнан» (The Cārvāka Podcast, 2021). «Их первородный грех напоминает форму

тотального манихейства, поскольку им страдают только белые люди», — пишет Браунштейн (Braunstein, 2022: 36). В конечном итоге «белизну» в этом контексте стоит понимать как эквивалент греха без возможности прощения.

Коленопреклонения в память о погибшем от рук полиции Джордже Флойде носят явно религиозный характер (например, профсоюз United Auto Workers призвал протестующих преклонить колено на протестах на протяжении 8 минут 46 секунд — времени, которое Дерек Шовин стоял на шее у Флойда) (Wayland, 2020).

Это коленопреклонение распространилось по всему Западному миру под влиянием глобального спорта: во время футбольных матчей команды иногда преклоняли колени в память о Джордже Флойде. Помимо коленопреклонений, пробудившиеся совершают и другие ритуалы раскаяния, например, омовение ног чернокожим активистам. На церемонии в Кэри, штат Северная Каролина, после исповедания своих грехов белые участники, в том числе полицейские, преклонили колени, чтобы омыть ноги чернокожим активистам (Braunstein, 2022: 35).

Другие церемонии, по мнению Браунштейна, воспроизводят этапы Страстей Христовых, в данном случае — агонию символической жертвы, которой стал Джордж Флойд: «Мы лежим на земле и повторяем: “Я больше не могу дышать”». При задержании Флойд повторял фразу: «Я не могу дышать». Люди на самом деле совершают паломничества и крестятся на углу Миннеаполиса, где умер Джордж Флойд, а некоторые даже рассказывают, что становятся свидетелями чудес во время молитвенных сеансов (Orbán, 2021). Это уже сложно назвать лишь политическим движением. Флойда считают мучеником. Его изображают на многочисленных граффити в виде призрака, ангела, с кровавыми слезами на глазах, в образе ребенка с наручниками на шее. Следует предположить, что у Джорджа Флойда было несколько пунктов в биографии, которые позволили woke-активистам превратить его в икону: он был черным, родился в бедной семье и, главное, его убил белый полицейский.

Вокисты имеют в своем распоряжении целый ряд «священных текстов», написанных учеными (Braunstein, 2022: 32). В отношении вопросов расы и деколонизации нужно упомянуть антирасистского активиста и историка расовой и дискриминационной политики в Америке Ибрама Х. Кенди, писателя Та-Нехиси Коутса, который посвятил свои работы вопросам «превосходства белых», а также автора концепции «хрупкость белых» Робин ДиАнджело и других. В отношении интерсекциональности следует выделить Кимберли Креншоу, Элеонору Лепинар, исследователя постколониализма Хоми Баба, Гаятри Спивак, Рамона Гроссфогеля и пр.

Культура отмены (Cancel Culture) — современная форма остракизма — имеет явное сходство с религиозным отлучением, поскольку она стремится изолировать и наказать тех, кто не соответствует господствующей идеологии (Fomenko, 2023). Причем от «виновных» не ждут извинений. Энн Эпплбаум пишет, например, что бывшие коллеги ее знакомого, которого «отменили», «не хотят одобрить процесс ошибки/извинения/понимания/прощения — они не хотят прощать. Вместо это-

го... они хотят наказать и очистить» (Applebaum, 2021). Она очень точно называет woke-активистов «новыми пуританами». Макс Функ считает, что вокизм, будучи «новой религией Запада», несовместим с христианским мировоззрением, отличающимся несколькими ключевыми моментами. В первую очередь он приписывает человеку вину или невиновность на основе его групповой идентичности, независимо от индивидуальных действий (Funk, 2020).

Питер Богоссян, бывший доцентом кафедры философии Портлендского университета и один из наиболее энергичных критиков вокизма, был вынужден подать в отставку из-за многочисленных угроз в свой адрес. Похожий случай произошел с Кэтлин Сток, профессором философии Сассекского университета, которая подала в отставку из-за травли после ее заявления о меньшей значимости гендерной идентичности по сравнению с биологическим полом.

Можно согласиться с Энн Эпплбаум, которая проводит параллели между культурой отмены и поведением пуритан-фанатиков из романа американского писателя Натаниэля Готорна «Алая буква».

Вокизм нередко сравнивается с религиозным фундаментализмом (Fomenko, 2023). Вокизм утверждает, что определенные убеждения и ценности, связанные с социальной справедливостью и политикой идентичности, неоспоримы и должны приниматься безоговорочно. Точно так же, как религиозные фундаменталисты следуют священным текстам и доктринам, вокисты придерживаются определенного набора принципов, изложенных в манифестах или документах об основах теории социальной справедливости. Фундаменталистские религиозные сообщества часто подчеркивают важность групповой идентичности и верности своей вере. Аналогичным образом вокизм способствует развитию сильного чувства групповой идентичности, сосредоточенного вокруг общих ценностей, связанных с социальной справедливостью и инклюзивностью. Как религиозный фундаментализм, так и вокизм поощряют трайбализм.

Макс Фанк пытается разобраться, почему вокизм воспринимается как новая религия. Он убежден, что рост светского гуманизма за последние 70 лет создал «религиозную брешь» в американской культуре. Секуляризм не смог предложить надежной альтернативы религии, и не предоставил никаких моральных рамок для того, как действовать в мире, кроме как «быть хорошим человеком, потому что альтернативное поведение нежелательно для всех». Религия пробуждения, на его взгляд, предлагает все, чего не смог дать секуляризм, и быстро «заполнила дыру в форме Бога в нашей культуре». У нее своя концепция истины, справедливости, непорочности, греха и суда. Она дает своим приверженцам ощущение осмысленности благодаря своему метанарративу об общественном конфликте, борьбе за власть и за искупительную свободу. Разрушение обозначенных репрессивных структур власти помогает придать цель личности и коллективу. Эти ценности укрепляются в публичных ритуалах, таких как противостояние «хрупкости белых». Здесь заложен сильный общинный аспект, и люди ощущают себя частью чего-то большего, чем они сами. Также в этом «социальном прогрессе» просматри-

вается гипотетическое утопическое общество будущего, освобожденное от пороков нынешней несправедливой системы.

Критика вокизма

Богоссян, как и многие новые атеисты начала 2000-х годов, обратился против идеологии пробуждения, которой сегодня придерживается движение Атеизм Плюс. Он уволился, опубликовав резкое открытое письмо, в котором раскритиковал Портлендский университет за то, что он превратился в «фабрику социальной справедливости» (Boghossian, 2021). В нем он говорит, что студентов «не учат думать», а только соглашаться с woke-идеологией. Преподаватели и администрация, на его взгляд, «отказались от цели университета в поиске истины, заменив ее на проявление нетерпимости к разнообразию убеждений и мнений» (Boghossian, 2021). Незадолго до этого он принимал участие в эксперименте, разоблачающем ангажированность академических журналов, поднимающих проблемы социальной справедливости. Богоссян считает, что вокисты «используют многие из механизмов и практик религии. У них есть вещи, которые являются священными. В данном случае речь идет о культуре виктимности. Некоторые идеи нельзя подвергать сомнению. У них есть сейфспейсы³ в виде кампусов университетов, так же как церкви являются территорией безопасности в христианстве» (The Rubin Report, 2015). Богоссян в целом выступает против релятивистского подхода к истине и морали. Его книги являются хорошо выполненным введением в сократический метод, который улучшает критическое мышление и помогает выявить основные иррациональные убеждений, включая вокизм.

Богоссян один из первых исследователей, который, разработав концепцию «гипотезы замещения», заметил, во что может выродиться новый атеизм. Он утверждает, что правильное образование в области философии, логики и критического мышления может предотвратить срабатывание этого механизма. Он выступает за изменение образовательных приоритетов, чтобы научить молодых людей «думать посредством систем мышления, анализировать их на предмет связности, последовательности, эмпирической точности и жить в глубокой неопределенности» (Basu, 2023). При наличии этих навыков, по словам Богоссяна, «замещение» не будет таким неизбежным.

Довольно характерно, как меняется тон описания «традиционных» верующих в более поздней книге Богоссяна о «невозможных беседах», по сравнению с более ранним «Евангелием от атеиста». Если в ранней работе Богоссян агитирует быть решительными и резкими в критике иррациональности верующих, предлагает отказываться им в месте за «столом для взрослых», то в более позднем труде Богоссян

3. Безопасное пространство (safe space) — это место, где представители ущемленных групп (члены ЛГБТ-сообщества (признано экстремистской организацией и запрещено в России), подростки и студенты, сталкивающиеся с домогательством, женщины, пережившие насилие) могут чувствовать себя в безопасности.

уходит от столь агрессивного подхода и стигматизации верующих, поскольку сторонники вокизма используют тот же подход против своих оппонентов, и философ определенно выступает против этого.

Коллеги философа Джеймс Линдси и Хелен Плакроуз, так же как и он, считают, что справиться с иррациональными идеологиями, такими как вокизм, можно с помощью секуляризма. В основе этого принципа, по мнению ученых, лежит глубокая философская идея: независимо от степени уверенности в обладании истиной, у человека нет права навязывать свои убеждения всему обществу. В широком смысле это означает, что у вас есть право придерживаться любых моральных убеждений и призывать (соответствующими законными методами) других людей принять их в рамках добровольного объединения, в котором члены рассматривают эти убеждения как вопросы личной совести. Исследователи убеждены, что в светском обществе каждый имеет право отвергать моральные или идеологические предписания без чувства вины. Это означает, что никому нельзя навязывать чувство вины за отказ принимать догматы любой веры, в том числе религии большинства.

Вокизм рассматривает личную веру как политическое обязательство, он остановился в своем поиске знания, поскольку поверил, что уже нашел истину. Иными словами, он превратился «в систему верований, а его академическая составляющая стала формой теологии» (Плакроуз, Линдси, 2022: 222). Однако одно дело — верить, что знание является культурным конструктом, используемым для навязывания власти, подчас несправедливой, совсем другое — считать его несомненной истиной и утверждать, что несогласие с ним является актом доминирования и угнетения. Еще хуже утверждать, полагают исследователи, что любая позиция, кроме полного духовного подчинения своим убеждениям и приверженности пуританской социальной революции, представляет собой соучастие в моральном зле. Секуляризм оставляет эти вопросы на усмотрение личной совести и освобождает человека от обязанности принимать веру, которую он не разделяет, чтобы избежать осуждения со стороны общества. Линдси, Плакроуз и Богоссян считают, что необходимо выступать против требования исповедовать ортодоксальные догматы теории социальной справедливости, касающиеся разнообразия, равенства результатов и инклюзивности, а также против принудительного обучения им. Во-вторых, они предлагают бороться с ними «при помощи свободного рынка идей» (Там же: 223), если вооружиться более убедительными аргументами и открыто бросить им вызов. По их мнению, необходимо потребовать от теории социальной справедливости соответствия более высоким научным стандартам, что поможет сохранить положительные аспекты данного подхода. Также, на их взгляд, требуется преобразовать академические дисциплины этой теории в соответствии с принципами научной строгости и этики.

Мистификация П. Богоссяна

В 2020 году Питер Богоссян, Джеймс Линдси и Хелен Плакроуз провели масштабное экспериментальное исследование (проект «Sokal Squared»), направив

псевдонаучные статьи в некоторые из самых авторитетных академических журналов, посвященных «гендерным исследованиям» (Lindsay, Pluckrose, Boghossian, 2021). Исследования содержали фальшивые данные, однако они были написаны научным языком и ярко подтверждали идеологические установки теории социальной справедливости. В момент разоблачения четыре из этих статей были опубликованы в академических журналах, еще десять были приняты к рассмотрению с хорошими отзывами и рекомендацией к небольшому редактированию. Шесть статей были отклонены. Например, журнал *Gender, Place & Culture* опубликовал статью о «Человеческих реакциях на культуру изнасилования и квир-проявления на городских собачьих площадках в Портленде, штат Орегон». Поведение собак было проинтерпретировано как пример культуры изнасилования и квир-проявления. Статья не только была опубликована, но и награждена и вошла в выпуск, посвященный 25-летию журнала. Журнал *Fat Studies* опубликовал статью, проводившую параллель между ожирением и бодибилдингом, утверждая, что ожирение представляет собой форму бодибилдинга. Кто-то развивает мышцы, писали авторы, а кто-то набирает вес, но жировая ткань также является частью формирования своего тела. Журнал *Affilia* опубликовал статью под названием «Наше Страдание — Мое Страдание», которая представляла собой отредактированную версию *Mein Kampf* Гитлера, где слово «евреи» было заменено на «белые мужчины».

Эта серия экспериментов выявила проблему идеологической предвзятости в данных дисциплинах и необходимость более строгого научного подхода. Авторы эксперимента называют себя «либералами левого толка». Их беспокоит, что «культура жалоб» вторглась в науку. «Мне кажется, многие стороны научной работы в США пошатнулись, — отмечает Богоссян. — Всякого, кто сомневается в достоверности исследований на тему идентичности, привилегий и притеснений, запросто обвинят в нетерпимости и шовинизме» (Мельхиор, 2020). По словам Богоссяна, «регрессивные левые захватили власть в академических кругах» (The Rubin Report, 2015).

За экспериментом последовала публикация книги Хелен Плакроуз и Джеймса Линдси «Циничные теории», в которой последовательно излагается, как идеология движения за социальную справедливость стала преобладающей идеологией современного западного мира.

Можно скорее согласиться с исследователями, которые утверждают, что вокизм можно рассматривать как квазирелигию. В нем есть множество сходств, и он является не первым, а также не единственным примером секулярной квазирелигии, которые мы знаем. Как и многие другие квазирелигии, вокизм пытается представить себя как справедливое и последовательное мировоззрение, хотя это не так. Идея применения наработок антирелигиозной пропаганды для борьбы с иррациональным вокизмом представляется интересной, новаторской и заслуживающей внимания.

Выводы

Питер Богоссян — достаточно интересный представитель волны нового атеизма. Совпадая с классиками течения по воззрениям на веру и религию, он развивает их теоретические построения в практическую концепцию. На наш взгляд, практическая ориентация работы Богоссяна позволила ему творчески переработать некоторые из спорных и радикальных моментов нового атеизма.

Питер Богоссян считает, что вера является ненадежным способом получения знания, и если люди примут более надежные методы, они откажутся от нее. Он предлагает несколько собственных определений веры. Прежде всего, философ обозначает «веру как притворство в знании того, чего вы на самом деле не знаете» (Богоссян, 2015: 90). Также, по Богоссяну, вера — это убеждение без достаточных доказательств, потому что, если бы у вас было достаточное количество доказательств, вам бы не понадобилась вера. Наконец, вера — это «нелогичный прыжок за пределы вероятности» (Богоссян, 2015: 16).

Взгляды Богоссяна на веру вызывают вопросы, особенно в отношении утверждения о вере как притворстве в знании. Это предположение подразумевает, что верующие люди специфически неискренни, но это не всегда соответствует действительности. На наш взгляд, Богоссян, трактуя веру как заразную патологию, следует грубой риторике новых атеистов, что умаляет его подход в отстаивании критического мышления. Некоторые его предложения в отношении веры звучат безосновательно оскорбительно — скажем, стигматизировать религиозные утверждения аналогично расистским, или техника «Стол для взрослых». По словам Богоссяна, мы можем рассматривать проявления веры как своего рода психическое заболевание, «религиозный бред», которое должно быть признано медицинской. Соответствующая позиция не нова в истории философской мысли, достаточно вспомнить нигилиста Макса Штирнера и его работу «Единственный и его собственность», а также Зигмунда Фрейда. По нашему мнению, эти предложения Богоссяна способны усилить конфронтацию между собеседниками. Возможно, осознав это, Богоссян значительно смягчил свою позицию в последующей книге, которую он написал в соавторстве с математиком Джеймсом Линдси.

Важным новшеством, на наш взгляд, является «разворот» Питера Богоссяна от антирелигиозной деятельности на борьбу с современным американским вокизмом. Хотя многие классические деятели нового атеизма оказались в конфронтации с этим широким движением, Богоссян один из немногих, кто сформулировал последовательную цель и способы борьбы с ним.

Проведенный метаанализ исследований вокизма позволяет с большой уверенностью говорить, что вокизм является квазирелигией и, будучи иррациональной идеологией с религиозным рвением и черно-белым восприятием мира, представляет угрозу как академической науке, так и обществу. В статье показано, что вокизм действительно обладает многими чертами религии, включая неопровержимые догмы (повсеместный расизм), аналог первородного греха (принадлежность

к «белой расе»), моральное высокомерие приверженцев (несогласие считается моральным пороком), магическое мышление (гендерная идентичность), пуританизм, обряды, собственных мучеников и их культ.

Характерно, что вокизм проник даже в атеистическое движение, породив Атеизм Плюс. При этом американское атеистическое движение так и не смогло восстановиться, и оказалось расколотым на сторонников нового атеизма и Атеизма Плюс. «Гипотеза замещения» предполагает, что новый атеизм способствовал появлению вокизма, «зачистив» поле, которое раньше занимали религиозные мировоззрения. Мы полагаем, что влияние действительно было, но в реальности возникновение вокизма — комплексный процесс, имеющий заметную политическую подоплеку.

Питер Богоссян предлагает действенный механизм борьбы с вокизмом — «уличную эпистемологию», которая включает сократический метод и другие действенные практики. Вокизм, подобно вере, по мнению Богоссяна, является «вирусом разума», и его «лечение» может быть достигнуто путем использования методов «уличной эпистемологии».

Богоссян обрисовал метод и его применение, помогая верующим задуматься о надежности веры как эпистемологии. Однако метод также оказался эффективным во многих других контекстах, и Богоссян вместе с Джеймсом Линдси описали применение уличной эпистемологии для изучения более широкого спектра убеждений, включая нерелигиозные. Богоссян и Линдси в том числе делятся ценными советами о том, как обсуждать спорные вопросы в современной политической обстановке. Кроме того, содержание их книги становится особенно актуальным, когда разнообразие мнений и свобода слова подвергаются нападкам в американском обществе, особенно в университетах. Надеемся, что методика, предложенная Богоссяном, станет эффективным средством противостояния вокизму.

Литература

Богоссян П. (2015). Евангелие от атеиста. СПб.: Питер.

Богоссян П., Линдси Д. (2021). Искусство продуктивного холивара. Как склонять оппонента на свою сторону даже в самом безнадежном споре. М.: Эксмо.

Мельхиор Д. К. (2020). The Wall Street Journal (США): липовые новости дошли до научных кругов [Электронный ресурс]. URL: <https://inosmi.ru/20200307/246995465.html> (дата обращения: 28.03.2024).

Плакроуз Х., Линдси Д. (2022). Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого. М.: Individuum.

Applebaum A. (2021). The new Puritans [Электронный ресурс]. URL: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/10/new-puritans-mob-justice-canceled/619818/> (дата обращения: 28.03.2024).

Basu S. (2023). From Faith to Reason: Exploring the Substitution Hypothesis [Электронный ресурс]. URL: <https://medium.com/physics-philosophy-more/from-faith->

- to-reason-exploring-the-substitution-hypothesis-9bdoaz02b5c9 (дата обращения: 28.03.2024).
- Boghossian P.* (2002). Socratic Pedagogy, Race and Power // EPAA. Vol. 10. P. 1–9.
- Boghossian P.* (2004). Socratic pedagogy, critical thinking, moral reasoning and inmate education: An Exploratory. Dissertations and Theses. Portland State University. Portland.
- Boghossian P.* (2006). Behaviorism, Constructivism, and Socratic Pedagogy // Educational Philosophy and Theory. Vol. 38. № 6. P. 713–722.
- Boghossian P.* (2007). Socratic Pedagogy, Critical Thinking, and Inmate Education // Journal of Correctional Education. Vol. 57. № 1. P. 42–63.
- Boghossian P.* (2012). Critical Thinking and Constructivism: Mambo Dog Fish to the Banana Patch: Critical Thinking and Constructivism // J. Philos. Educ. Vol. 46. № 1. P. 73–84.
- Boghossian P.* (2021). My University Sacrificed Ideas for Ideology. So Today I Quit [Электронный ресурс]. URL: <https://www.thefp.com/p/my-university-sacrificed-ideas-for> (дата обращения: 28.03.2024).
- Boghossian P.* (2023). Unholy Union: Atheists & Christians | Peter Boghossian & David Silverman [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=PSPdLArogcU> (дата обращения: 28.03.2024).
- Boghossian P.* (2024). The Poetry of Reality | Peter Boghossian & Richard Dawkins [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=3MfBLPuwwdo> (дата обращения: 28.03.2024).
- Boghossian P., Lindsay J.* (2018). The Socratic method, defeasibility, and doxastic responsibility // Educational Philosophy and Theory. Vol. 50. № 3. P. 244–253.
- Braunstein J.-F.* (2022). La religion woke. Paris: Bernard Grasset.
- Bristol University Press.* (2021). Woke Capitalism: How Corporate Morality is Sabotaging Democracy. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=varintHN1OE> (дата обращения: 28.03.2024).
- Buchanan L., Bui Q.* (2020). Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History // The New York Times [Электронный ресурс]. URL: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html> (дата обращения: 28.03.2024).
- Dennett D. C.* (2007). Breaking the spell: religion as a natural phenomenon. NY: Penguin Books.
- Dennett D. C., LaScola L.* (2010). Preachers who are Not Believers // Evol. Psychol. Vol. 8. № 1. P. 122–150.
- Fomenko M.* (2023). Wokism and Fundamentalist Religion: A Comparative Analysis [Электронный ресурс]. URL: https://www.oneholysource.org/wokism_and_fundamentalism.html (дата обращения: 27.03.2024).
- Funk M.* (2020). Wokeism — The new Religion of the West [Электронный ресурс]. URL: <https://www.convergemedia.org/wokeism-the-new-religion-of-the-west/> (дата обращения: 28.03.2024).

- Gilson T.* (2013). *Peter Boghossian, Atheist Tactician: A Preliminary Response to A Manual for Creating Atheists: Tom Gilson.*
- Heinich N.* (2023). *Le wokisme serait-il un totalitarisme?* Paris: Albin Michel.
- Lindsay J., Pluckrose H., Boghossian P.* (2021). *Academic Grievance Studies and the Corruption of Scholarship* [Электронный ресурс]. URL: <https://areomagazine.com/2018/10/02/academic-grievance-studies-and-the-corruption-of-scholarship/> (дата обращения: 28.03.2024).
- McWhorter J. H.* (2021). *Woke racism: how a new religion has betrayed Black America.* NY: Portfolio/Penguin.
- Mirzaei A.* (2019). Where 'woke' came from and why marketers should think twice before jumping on the social activism bandwagon [Электронный ресурс]. URL: <https://theconversation.com/where-woke-came-from-and-why-marketers-should-think-twice-before-jumping-on-the-social-activism-bandwagon-122713> (дата обращения: 28.03.2024).
- Orbán T.* (2021). In God We Trust: Declining Religiosity and What's Taking Its Place [Электронный ресурс]. URL: https://www.hungarianconservative.com/articles/culture_society/in-god-we-trust-declining-religiosity-and-whats-taking-its-place/ (дата обращения: 28.03.2024).
- Orbán T.* (2022). Socrates versus the Woke [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hungarianconservative.com/articles/current/socrates-versus-the-woke/> (дата обращения: 28.03.2024).
- Sala N.* (2023). Wise Disciple [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=4qccjYv9ATY> (дата обращения: 28.03.2024).
- Silverman D.* (2023). Reflections of a Firebrand [Электронный ресурс]. URL: <https://www.realityslaststand.com/p/reflections-of-a-firebrand> (дата обращения: 28.03.2024).
- Smith J.* (2021). Institutions are under siege from maniacs [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-9972935/Now-woke-factory-idiots-Outpouring-support-Portland-State-professor.html> (дата обращения: 28.03.2024).
- The Cārvāka Podcast.* (2021). Atheism and Wokeism [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Y6iPmUEfmo> (дата обращения: 28.03.2024).
- The Rubin Report.* (2015). Critical Thinking, Atheism, and Faith | Peter Boghossian | Spirituality | Rubin Report [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=AnDZ4ERVSGo> (дата обращения: 28.03.2024).
- Wayland M.* (2020). United Auto Workers organizing 'peaceful and orderly stand downs' on Juneteenth for George Floyd and racial protests [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cnbc.com/2020/06/17/uaw-organizing-peaceful-and-orderly-stand-downs-on-juneteenth.html> (дата обращения: 28.03.2024).

Wokism and Peter Boghossian's Method of «Street Epistemology»

Ekaterina Korostichenko

Candidate of Philosophical Sciences, Research Fellow, Department of Modern Western Philosophy, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

Address: Goncharnaya str., 12/1, Moscow, 109240 Russian Federation

E-mail: ek.korostichenko@gmail.ru

The article explores the ideology of wokism and analyzes the contribution of the American philosopher Peter Boghossian to countering it. The concept of Boghossian's "street epistemology" is considered in detail — a tool for conducting a conflict-free dialogue, which is designed to encourage a person to think about the reliability of the methods they use to form beliefs, especially religious ones. Boghossian advocates the use of the Socratic method to dissuade believers, and recommends focusing on criticizing faith as a way of knowing (he calls it "unreliable epistemology") instead of highlighting the external aspects of religion. He characterizes faith and wokism as "mind viruses" and suggests a common method to combat them. The article highlights the similarities between wokism and religious fundamentalism identified by Boghossian and other scientists, and also describes in detail the conflict of some new atheists, including Boghossian, with the woke movement. The article shows that wokism has features of religion, including irrefutable dogmas (widespread racism), an analogue of original sin (whiteness), moral arrogance of adherents (disagreement is considered a vice), magical thinking (gender identity), Puritanism, rituals, martyrs. The concept of the "substitution hypothesis" and the role of new atheism in the formation of wokist atheism, called Atheism Plus, are considered. It is concluded that secularism practices can be applied to counter non-religious irrational ideologies such as wokism.

Keywords: wokism, cancel culture, new atheism, atheism, Atheism Plus, quasi-religion, street epistemology, Socratic method, substitution hypothesis, Peter Boghossian

References

- Boghossian P. (2015) *Evangelie ot ateista* [Gospel from an Atheist], Saint Petersburg: Piter.
- Boghossian P., Linds D. (2021) *Iskusstvo produktivnogo holivara. Kak sklonyat' opponenta na svoyu storonu dazhe v samom beznadezhnom spore* [The art of productive holivar. How to win your opponent over to your side even in the most hopeless argument], Moscow: Eksmo.
- Mel'hior D. K. (2020) *The Wall Street Journal (SSHA): lipovye novosti doshli do nauchnykh krugov* [The Wall Street Journal (SSHA): fake news reached scientific circles]. Available at: <https://inosmi.ru/20200307/246995465.html> (accessed 3 March 2024).
- Plakrouz H., Linds D. (2022) *Cinichnye teorii. Kak vse stali sportit' o rase, genere i identichnosti i chto v etom plohogo* [Cynical theories. How everyone started arguing about race, gender and identity and what's wrong with it], Moscow: Individuum.
- Applebaum A. (2021) The new Puritans. Available at: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/10/new-puritans-mob-justice-canceled/619818/> (accessed 28 March 2024).
- Basu S. (2023) From Faith to Reason: Exploring the Substitution Hypothesis. Available at: <https://medium.com/physics-philosophy-more/from-faith-to-reason-exploring-the-substitution-hypothesis-9bdo302b5c9> (accessed 28 March 2024).
- Boghossian P. (2002) Socratic Pedagogy, Race and Power. *EPAA*, vol. 10, pp. 1–9.
- Boghossian P. (2004) *Socratic pedagogy, critical thinking, moral reasoning and inmate education: An Exploratory*. Dissertations and Theses, Portland: Portland State University.
- Boghossian P. (2006) Behaviorism, Constructivism, and Socratic Pedagogy. *Educational Philosophy and Theory*, vol. 38, no 6, pp. 713–722.

- Boghossian P. (2007). Socratic Pedagogy, Critical Thinking, and Inmate Education. *Journal of Correctional Education*. vol. 57, no 1, pp. 42–63.
- Boghossian P. (2012) Critical Thinking and Constructivism: Mambo Dog Fish to the Banana Patch: Critical Thinking and Constructivism. *J. Philos. Educ.*, vol. 46, no 1, pp. 73–84.
- Boghossian P. (2021) My University Sacrificed Ideas for Ideology. So Today I Quit. Available at: <https://www.thefp.com/p/my-university-sacrificed-ideas-for> (accessed 28 March 2024).
- Boghossian P. (2023) Unholy Union: Atheists & Christians | Peter Boghossian & David Silverman. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=PSPdLARogcU> (accessed 28 March 2024).
- Boghossian P. (2024) The Poetry of Reality | Peter Boghossian & Richard Dawkins. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=3MfBLPuwwdo> (accessed 28 March 2024).
- Boghossian P., Lindsay J. (2018) The Socratic method, defeasibility, and doxastic responsibility. *Educational Philosophy and Theory*. vol. 50, no 3, pp. 244–253.
- Braunstein J.-F. (2022) *La religion woke*, Paris: Bernard Grasset.
- Bristol University Press (2021) Woke Capitalism: How Corporate Morality is Sabotaging Democracy. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=var1ntHN1OE> (accessed 28 March 2024).
- Buchanan L., Bui Q. (2020). Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History. Available at: <https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html> (accessed 28 March 2024).
- Dennett D. C. (2007) *Breaking the spell: religion as a natural phenomenon*, NY: Penguin Books.
- Dennett D. C., LaScola L. (2010) Preachers who are Not Believers. *Evol Psychol*, vol. 8, no 1, pp. 122–150.
- Fomenko M. (2023) Wokism and Fundamentalist Religion: A Comparative Analysis. Available at: https://www.oneholysource.org/wokism_and_fundamentalism.html (accessed 28 March 2024).
- Funk M. (2020) Wokeism — The new Religion of the West. Available at: <https://www.convergemedia.org/wokeism-the-new-religion-of-the-west/> (accessed 28 March 2024).
- Gilson T. (2013) *Peter Boghossian, Atheist Tactician: A Preliminary Response to A Manual for Creating Atheists*: Tom Gilson.
- Heinich N. (2023) *Le wokisme serait-il un totalitarisme?* Paris: Albin Michel.
- Lindsay J., Pluckrose H., Boghossian P. (2021) Academic Grievance Studies and the Corruption of Scholarship. Available at: <https://areomagazine.com/2018/10/02/academic-grievance-studies-and-the-corruption-of-scholarship/> (accessed 28 March 2024).
- McWhorter J. H. (2021) *Woke racism: how a new religion has betrayed Black America*, NY: Portfolio/ Penguin.
- Mirzaei A. (2019) Where ‘woke’ came from and why marketers should think twice before jumping on the social activism bandwagon. Available at: <https://theconversation.com/where-woke-came-from-and-why-marketers-should-think-twice-before-jumping-on-the-social-activism-bandwagon-122713> (accessed 28 March 2024).
- Orbán T. (2021) In God We Trust: Declining Religiosity and What’s Taking Its Place. Available at: https://www.hungarianconservative.com/articles/culture_society/in-god-we-trust-declining-religiosity-and-whats-taking-its-place/ (accessed 28 March 2024).
- Orbán T. (2022) Socrates versus the Woke. Available at: <https://www.hungarianconservative.com/articles/current/socrates-versus-the-woke/> (accessed 28 March 2024).
- Sala N. (2023) Wise Disciple. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=4qccjYv9ATY> (accessed 28 March 2024).
- Silverman D. (2023) Reflections of a Firebrand. Available at: <https://www.realitysstand.com/p/reflections-of-a-firebrand> (accessed 28 March 2024).
- Smith J. (2021) Institutions are under siege from maniacs. Available at: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-9972935/Now-woke-factory-idiots-Outpouring-support-Portland-State-professor.html> (accessed 28 March 2024).
- The Cārvāka Podcast (2021) Atheism and Wokeism. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=Y61IPmUEfmo> (accessed 28 March 2024).

The Rubin Report. (2015) Critical Thinking, Atheism, and Faith | Peter Boghossian | Spirituality | Rubin Report. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=AnDZ4ERVSGo> (accessed 28 March 2024).

Wayland M. (2020) United Auto Workers organizing 'peaceful and orderly stand downs' on Juneteenth for George Floyd and racial protests. Available at: <https://www.cnn.com/2020/06/17/uaw-organizing-peaceful-and-orderly-stand-downs-on-juneteenth.html> (accessed 28 March 2024).

Место христианства в проекте «реконструкции консерватизма» Герда-Клауса Кальтенбруннера

Филипп Фомичев

Аспирант Школы философии и культурологии Факультета гуманитарных наук,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Адрес: ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1, Москва, 105066 Российская Федерация
E-mail: philip.fomichev@gmail.com; ffomichev@hse.ru

В статье предпринимается попытка комплексной реконструкции взгляда Герда-Клауса Кальтенбруннера — одного из наиболее влиятельных консервативных публицистов и теоретиков в ФРГ — на политическое значение христианства для проекта «реконструкции консерватизма», предпринятого им в 1970-е годы и оказывающего определяющее влияние на немецкие правоконсервативные круги и по сей день. Автор показывает амбивалентность отношения Кальтенбруннера к христианству как к опоре консервативной политической теории после Второй мировой войны — события первой половины XX века, социальные и политические изменения общества, новые веяния в философии и теологии вынуждают католика-консерватора искать более рациональные и эмпирически представленные способы обоснования консервативной политической позиции. Одновременно с этим Кальтенбруннер выступает против масштабной политизации и инструментализации христианства слева. Роль, отводямая Кальтенбруннером антропологической аргументации, сближает его рассуждения с классической консервативной мыслью XIX столетия, однако невозможность апелляции к трансцендентному обоснованию консервативной позиции в современном мире приводит его к секулярному проекту философской антропологии, доводы которой Кальтенбруннер активно заимствует в полемических целях. Такая понятийная рамка приобрела впоследствии ключевое значение для многих немецких правоконсервативных интеллектуалов, тогда как религиозная аргументация окончательно потеряла свою силу.

Данное исследование является частью цикла публикаций об истории и философско-политических основах послевоенного консерватизма в ФРГ и немецких «новых правых».

Ключевые слова: Герд-Клаус Кальтенбруннер, «реконструкция консерватизма», консерватизм и христианство, консерватизм в ФРГ, немецкие «новые правые», политическая теология христианства

Консерватизм в ФРГ до кризиса 1960-х годов

История немецкого консерватизма после 1945 года — особенно его ориентированной на непосредственную политику части — не имеет комплексного и глубокого представления в российском академическом пространстве. Научные публикации и диссертации, как правило, посвящены отдельным аспектам мысли великих умов эпохи — социологов, философов, юристов и историков, — и за этим теряется на первый взгляд не столь значимая для общей теории, но от этого не становящаяся менее определяющей для своей эпохи политико-публицистическая полемика, продолжавшаяся, перетекая от одной проблемы к другой, несколько десятилетий.

В то же время даже в самой Германии до недавней поры эта тема как нечто целое оставалась нераскрытой. К. Вайссман — историк и один из ведущих исследователей немецкой консервативной и правой мысли XX века — в предисловии к своей небольшой обзорной работе 2011 года, напоминающей скорее энциклопедический сборник по истории немецких консервативных интеллектуалов после Второй мировой войны, отмечал отсутствие на тот момент комплексных исследований по теме (Weißmann, 2011b: 8). В последние годы все же появляются труды, охватывающие дискуссии и описывающие тенденции шире, однако избранный угол исследования все равно неизбежно ограничивает авторов либо хронологически (Finkbeiner, 2009; 2017), либо тематически (Steber, 2017).

При этом фиксация на дискуссиях 1960–1970-х годов едва ли случайна. В истории ФРГ за три четверти столетия ее существования можно выделить несколько непродолжительных периодов, представляющих собой переломные эпохи. Таковыми мы бы назвали и последние годы, характеризующиеся нарастанием и даже конвергенцией разнообразных кризисов; определяющими для послевоенной Германии были, разумеется, и события 1989–1990 годов, в результате которых политико-правовое пространство ФРГ приобрело новые географические рамки, усложнилась социальная и экономическая структура общества; однако эпохой фундаментальных и комплексных перемен для современной Германии стали 1960-е годы — именно тогда, с рядом оговорок, и родилась современная ФРГ. Это десятилетие — можно взять даже чуть более широкий промежуток времени с конца 1950-х до середины 1970-х годов — являлось переломным временем, когда кризис легитимации политических и социальных структур и активный поиск новых форм организации был вызван т.н. «системным кризисом» всего «западного мира» — комплексные изменения происходили в экономическом и техническом состоянии общества, а социально-демографические сдвиги усиливали политико-идеологические потрясения. В 1960–1970-е годы вовлеченность консервативных интеллектуалов разных поколений в политические дискуссии достигла такой интенсивности, что определение современным исследователем вопроса Ф. Финкбайнером этой эпохи как «судьбоносных лет» (Finkbeiner, 2017) немецкого консерватизма вовсе не кажется преувеличением.

Предшествующие кризису 1960-х годов консервативные проекты заслуживают отдельных комплексных исследований, однако кратко не упомянуть о них в рамках нашего текста нельзя, так как без учета «недавнего прошлого» немецкого консерватизма некоторые аргументы и тезисы последующих дискуссий останутся не до конца понятными.

Одной из двух магистральных линий, которые развивали в 1950-е годы немецкие консервативные интеллектуалы, был рейнско-католический консерватизм, вышедший после ликвидации Пруссии на первый план в том числе по причине его наибольшей идейно-ценностной дистанции по отношению к национал-социализму. Этот проект, выдержанный в антипруссских, федералистских и окциденталистских тонах и опиравшийся на «идею Европы» вместо более привычных для немецкого консерватизма категорий «рейха», «народа» и «нации», опирался

на репутацию Католической церкви и пафос «рехристианизации Запада». Какое-то время он предлагал единственно возможный выход из кризиса легитимации (Finkbeiner, 2017: 76-80; Großmann, 2017: 55-58). Несмотря на то что подобные перспективы привлекали не только вовлеченных в политику философов, историков, юристов и публицистов, но и государственных служащих вплоть до членов федерального правительства, уже к концу 1950-х этот консервативный проект растерял ценностный импульс «христианского Абендланда», казавшийся на фоне внешних вызовов все более несвоевременным.

Как пишет К. Вайссман, в 1950-е годы в среде немецких консервативных интеллектуалов господствовало ощущение эпохального слома — *Epochenscheide*, — начавшегося в широком смысле еще с Первой мировой войны. Именно это и определяло умонастроения и дискуссии, оставившие непосредственные политические вопросы в стороне, — в качестве примера Вайссман перечисляет работы Романо Гвардини, Карла Шмитта, Ханса Фрайера, Эрнста Юнгера, Мартина Хайдеггера, Арнольда Гелена, Фридриха Гогартена, Франца Альтхайма, Ханса Зедльмайера (Weißmann, 2011b: 25-27).

На этом этапе необходимо сделать поясняющее уточнение. Люди, чьи имена называются выше в контексте осмысления переломного состояния своего времени, относятся к первой когорте немецких интеллектуалов — философов и социологов, чья мысль расчерчивала интеллектуальное поле, окаймляя его границы, в том числе и для политических дискуссий, которые не имели фундировано-теоретического значения, однако со всеми основаниями претендовали на то, чтобы изменять облик своего времени и корректировать направление политических движений. Уже с середины 1950-х годов классический культур-критический консерватизм не только на уровне практической политики, но и в рамках теоретико-консервативного дискурса уступал место вопросам постижения и освоения технико-индустриального развития и выстраивания наиболее приемлемой с консервативной точки зрения системы (Finkbeiner, 2017: 80-81). Перенос акцента на техническую цивилизацию поставил проблему принципов организации общества и обеспечения его стабильности в новых условиях. «Объективная необходимость» — *Sachzwang* (термин Х. Шельски) технико-индустриального мира и его институтов становится в этой интерпретации той естественной институциональной силой, которая ограничивает деструктивную автономию человека, обуславливая иерархию и выстраивая этику служения и долга. Эта линия консервативной социальной теории была представлена в первую очередь такими социальными теоретиками, как Х. Фрайер, А. Гелен, Х. Шельски, Э. Форстхофф (см., напр.: Greiffenhagen, 1977: 316-346; Laak, 2003: 147-160).

Консерватизм примирился с техническим прогрессом и его влиянием на социальную и политическую структуру и полностью принял его, пытаясь использовать технократические тенденции для создания устойчивого порядка — при этом опора на технократические принципы структурирования общества с самого начала рассматривалась многими в качестве временной конструкции, которая, однако,

должна была обеспечить необходимую политическую стабильность (Finkbeiner, 2009: 104). Так, фиксируя общее настроение ведущих консервативных интеллектуалов своего времени, Герман Люббе в рецензии на работу Фрайера «Теория современной эпохи» (1955) говорил о «консервативной революции, примилившейся с судьбой» (Weißmann, 2011b: 27).

Не ставя перед собой задачу подробного описания т.н. «технократического консерватизма», мы лишь подчеркнем, что вместе с таким технократически-институциональным подходом консерватизм терял свой профиль в содержательном плане, что неизбежно вызывало неудовлетворение у некоторых представителей консервативного спектра, особенно — у его более молодого поколения. Рефлексия и дискуссии на тему консерватизма в публичном пространстве отсутствовали, превращая его в бессодержательный термин с размытыми границами (Schale, 2017: 15). Ввиду этого уже в начале 1960-х годов — т.е. фактически за десятилетие до системного кризиса — начинается интенсивная, однако не выходящая за пределы достаточно узкого круга, полемика о понятии «консерватизма» и о его содержании. Первым подобным дискуссионным раундом можно считать серию публикаций в антикоммунистическом, но вовсе не консервативном журнале *Der Monat* в 1962 году¹. Эта серия статей, став, по сути, первой публичной дискуссией о консерватизме в политико-публицистическом пространстве ФРГ, продемонстрировала явно растущую потребность в переосмыслении консервативной позиции по ту сторону как христианско-окциденталистского пафоса, так и технократического подхода. Полемика была спровоцирована недавно вернувшимся из Парижа швейцарским публицистом и одним из наиболее ярких представителей консервативной и «новой правой» публицистики 1960–1980-х годов Армином Молером. Он находился под впечатлением от политической модели голлистской Франции и стремился встряхнуть многоликую, но, по его мнению, достаточно аморфную немецкую консервативную *milieu*, все еще пребывающую в тени «1945 года» (Weißmann, 2011a: 120–121).

Можно утверждать, что дискуссия на страницах журнала *Der Monat* стала отправной точкой перехода к публичному осмыслению проблематики и перспектив консерватизма в политико-публицистическом поле. Изменение же формы консерватизма от католическо-окциденталистской, через «технократическую», к допускающей более широкий спектр тем полемическо-публицистической имело важную катализирующую функцию и позволило создать необходимое интеллектуальное пространство и предпосылки для процесса переосмысления консерватизма, который развернется в 1970-е годы под лозунгом *Tendenzwende* — «смены тенденции».

1. *Der Monat*: Was ist heute eigentlich konservativ? Mit Beiträgen von Golo Mann, Hans-Joachim von Merkatz, Caspar von Schrenck-Notzing, Klaus Harpprecht, in: *Der Monat* Jg. 14 (1962) H. 165, S. 48–63; *Der Monat*: Was heißt heute konservativ? Mit Beiträgen von Eugen Gerstenmaier, Hans Zehrer, Peter Dürrenmatt, in: *Der Monat* Jg. 14 (1962) H. 166, S. 27–36; Armin Mohler: *Konservativ* 1962, in: *Der Monat*, 14 (1962), S. 23–29

«Смена тенденции» и проект «реконструкции консерватизма» Г.-К. Кальтенбруннера

В определенном смысле зонтичный термин *Tendenzwende*, вышедший из-под пера одного из наиболее влиятельных консервативных публицистов своего времени Герда-Клауса Кальтенбруннера, задал тон всем последующим дискуссиям, став емким обозначением совокупности полемик, которые велись на эту тему. Само выражение появилось примерно в одно время на страницах сразу нескольких периодических изданий — на фоне нефтяного шока в конце 1973 года в газете *Frankfurter Allgemeine* заговорили о *Kulturwende*, а в начале 1974 года на страницах *Die Zeit* термин *Tendenzwende* использовался в отношении успеха ХДС/ХСС после только что прошедших земельных и муниципальных выборов, но также и ввиду «успеха социологии Х. Шельски» (Hoeres, 2013: 95-96).

Первоначально термин *Tendenzwende* был обозначением интеллектуального противодействия культурной революции и использовался в консервативных кругах в качестве обозначения собственного же устремления. Обеспеченное представлением о «смене тенденции» единство в основаниях представителей максимально широкого консервативного спектра сформировало фундамент для — согласимся здесь еще раз с тезисом Ф. Финкбайнера о «судьбоносных годах консерватизма» — наиболее интенсивной консервативной дискуссии в истории ФРГ. Вместе с тем выражение быстро превратилось в яркую политическую метафору, с помощью которой представители и других политических течений пытались объяснить и задать точное направление консервативному повороту. Информационный прорыв термину *Tendenzwende*, но вместе с тем и размытие его границ за счет включения в дискуссию либеральных и консервативно-либеральных интеллектуалов, был обеспечен конгрессом в Баварской академии изящных искусств в Мюнхене в ноябре 1974 года, где в центре обсуждений находились вопросы реформы образования. Мероприятие, организованное министром культуры Баден-Вюртемберга и сторонником реформ в традиционно-элитарном духе Вильгельмом Ханом, проводилось с целью «собрать все интеллектуальные силы справа от марксизма» (Hoeres, 2013: 95-97). Однако характерно, что там едва ли был представлен кто-то, кроме нео- и либерал-неоконсерваторов, — на конгрессе собрались среди прочих такие интеллектуалы, как Ральф Дарендорф, Герман Люббе, Голо Манн, Роберт Шпеман, Рихард Лёвенталь, Карл Фридрих фон Вайцеккер, присутствовал даже президент ФРГ Вальтер Шеель (Finkbeiner, 2017: 101-102). Находившийся там же Арнольд Гелен крайне скептически оценивал и само мероприятие, и то направление, в котором разворачивается «смена тенденции» (Weißmann, 2011b: 53-54). Повторная конференция состоялась в 1978 году, еще сильнее укоренив это понятие в политической культуре ФРГ, однако на этом, как отмечают исследователи, разговор о «смене тенденции» достиг своего пика, так и не дав серьезного результата на политическом уровне (Hoeres, 2013: 99). Зато в объективе критики со стороны левых интеллектуалов, выступающих за дальнейшие шаги в сторону демократи-

зации и эмансипации, мираж *Tendenzwende* приобрел черты ужасающей «реставрации» и «фашизма». В это же время Гелен и особенно все более склонявшийся в консервативную сторону Шельски предложили свою знаменитую критику интеллектуалов как социальной группы, претендующей на «жреческое господство» (термин Шельски) (Hoeres, 2013: 98-100)².

Параллельно с этим шли дебаты о консерватизме и «смене тенденции» в интеллектуально-публицистическом пространстве, которое на этой волне в 1970-е годы сформировало целую сеть дискуссионных площадок, журналов, форумов, медиаресурсов и неформальных кружков. В первую очередь это касалось традиционалистско-консервативного, правоконсервативного и националистического сегментов частично реабилитированного духом времени правого дискурса, который сперва стремился повлиять на направление политических решений, а с конца 1970-х все сильнее дистанцировался от курса ХДС.

Одной из центральных фигур этих дискуссий был Герд-Клаус Кальтенбруннер — публицист, которого современники называли «суперзвездой консерваторов» (Weißmann, 2011c), но который даже у немецких исследователей нередко остается на втором плане при освещении вопросов развития теории послевоенного консерватизма в ФРГ. Те же немногие, кто удостоивает Кальтенбруннера должным вниманием, говорят о нем как об альтернативном «христианско-католическом теоретическом центре», радикальном защитнике традиций христианской Европы, утонченном политическом элитисте (Greß, Jaschke, Schönekäs, 1990: 261-262), — а авторы консервативной направленности отводят ему роль главного представителя соответствующего направления мысли своей эпохи (Бёр, 2016: 11). Значение Кальтенбруннера отмечают и претендующие на продолжение консервативной традиции в наши дни немецкие интеллектуалы. Г. Кубичек — основатель и руководитель немецкого правоконсервативного интеллектуально-аналитического центра Institut für Staatspolitik, один из наиболее влиятельных правых интеллектуалов в современной ФРГ — называет Кальтенбруннера самым значимым интеллектуалом 1970–1980-х годов (Kubitschek, 2011).

Герд-Клаус Кальтенбруннер родился в Вене в 1939 году, там же изучал философию, право и политические науки. Возглавив на непродолжительное время редакцию издательства *Rombach*, Кальтенбруннер основал серию *Rombach-Hochschul-Paperback*, в которой вскоре были опубликованы тексты Г. Люббе, А. Молера, Г. Рормозера, Р. Хеппа, Х. Зедльмайера и других представителей широко понимаемого консервативного спектра (Weißmann, 2011b: 52-53). Однако уже в 1972 году между ним и руководством издательства *Rombach* произошел разрыв из-за угрозы бойкота со стороны леволиберальной профессуры, после чего Кальтенбруннер перешел в издательство *Herder-Verlag*, в котором и запустил свою знаменитую серию *Initiative*, вскоре ставшую наиболее резонансным консервативным изданием и полемической площадкой в рамках «смены тенденции» (первый выпуск носил назва-

2. Подробнее о критике левых интеллектуалов со стороны Гелена и Шельски см.: Филиппов, 2009.

ние «Защитная речь в пользу разума. Сигналы смены тенденции» (Kaltenbrunner, 1974)). Как отмечает К. Вайсман, Кальтенбруннеру удалось создать из этой серии карманных книг первоклассное издание, ставшее главной консервативной полемической площадкой эпохи (Weißmann, 2011b: 53-54). Выпуски *Initiative* (всего до окончания их выхода в 1988 году было издано 75 томов) суммарно читало до полумиллиона человек, а критики называли серию «островом рефлексии», «уникальным для Германии ковчегом размышлений» и «приватным университетом» (Ким, 2010: 38-41). В это же время — в первой половине 1970-х годов — Кальтенбруннер издал два сборника статей, куда написали свои статьи ведущие правые интеллектуалы Германии, и сборник собственных теоретико-публицистических эссе — свой фундаментальный вклад в дискуссию о «смене тенденции»³.

В российском академическом пространстве, однако, должного внимания Кальтенбруннеру ни как консервативному мыслителю, ни как политическому публицисту не уделено, хотя еще в некоторых работах позднесоветского периода признавалась его ведущая роль в дискуссиях эпохи. В своем исследовании современного европейского и американского консерватизма А. А. Галкин и П. Ю. Рахшмир называют Кальтенбруннера — при довольно неглубоком анализе его текстов (отметим это отдельно) — наиболее значимым «теоретиком» нового поколения, внесшим «главную струю в оживление западногерманского консерватизма», и «наиболее последовательным» выразителем внешнеполитического курса немецкого консерватизма 1970–1980-х годов (Галкин, Рахшмир, 1987: 127-130, 141, 160). В диссертации В. В. Ищенко — чуть ли не единственной работе, где достаточно точно, пускай и в общих чертах, воссоздается интеллектуально-публицистическое пространство немецкого консерватизма 1950–1980-х годов — теоретические разработки проблематики немецкого консерватизма в трудах Кальтенбруннера признаются наиболее основательными с научно-историографической точки зрения, а его «реконструкция консерватизма» называется главным проектом «активных наступательных действий» немецких консерваторов в рамках «смены тенденции» (Ищенко, 1990: 3, 7-9). Проблематика христианства в современном обществе и его места в консервативной теории, эксплицитно формулируемая Кальтенбруннером и занимающая важное место в его рассуждениях, остается в этих исследованиях, однако, без должного внимания.

Претендующая на теоретичность публицистика Кальтенбруннера попадает в исследовательский объектив диссертации В. А. Милиева о немецком романтизме и консервативной идее (Милиев, 2006). В этом достаточно широком исследовании австро-немецкому консерватору отводится центральное место в процессе поисков «новых оснований консервативной философии» и «консервативном наступлении» 1970–1980-х годов. Справедливо отмечая, что большая часть текстов Кальтенбруннера сильно укоренена в контексте и лишена теоретической глубины, Милиев тем не менее считает его ключевой фигурой в пересборке и интеграции консерватив-

3. «Rekonstruktion des Konservatismus» (1972), «Konservatismus International» (1973), «Der schwierige Konservatismus» (1975).

ного движения в ФРГ (Милюев, 2006: 220). Следующий далее разбор основных рассуждений и аргументов Кальтенбруннера не отличается особой оригинальностью, ограничивается общим пересказом и не лишен сомнительных с точки зрения верности понимания выводов. Это же касается и краткого «обзора» статьи о взаимоотношении консерватизма и христианства, которая представляется Милюевым как исключительно идеологический текст, наполненный антиклерикальным, антиидеологическим и чуть ли не антихристианским пафосом якобы «экс-либерала» Кальтенбруннера (Милюев, 2006: 221–230).

Отсутствие широкой контекстуальной связи одного текста с другими — каждая из статей писалась как ответ на что-то, как хотя бы небольшой вклад в какую-то крупную дискуссию, как реплика на нее — не отличает диссертацию Милюева от диссертации-монографии Ф. С. Ким — единственного на данный момент русскоязычного исследования, целиком посвященного наследию Г.-К. Кальтенбруннера (Ким, 2011). Эта небольшая интеллектуальная биография, также представляющая Кальтенбруннера в качестве центральной фигуры консервативной среды 1970–1980-х годов, не лишена сильных сторон и оригинальных мыслей (например, выделение двух уровней его консервативной теории — «просвещенного» и «просвещающего консерватизма» (Ким, 2011: 72, 82)), но все-таки преимущественно ограничена лишь подробным пересказом центральных текстов. Это характерно и для анализа статьи о консерватизме и христианстве, внеконтекстуальный пересказ которой уместается буквально на двух страницах — тем самым Ким, пускай и не эксплицитно, но отодвигает избранную нами к анализу линию рассуждений Кальтенбруннера на задний план (Ким, 2011: 64–65).

При подобной степени исследованности теоретического и политико-публицистического наследия Кальтенбруннера приходится констатировать наличие белых пятен в общей картине его рассуждений, без которой невозможно составить полное представление об интеллектуальном противостоянии в лагере «правее центра» в ФРГ 1970–1980-х годов. При этом вопрос о месте христианства в теории консерватизма Кальтенбруннера пускай и не первостепенен с точки зрения ее конструкции, но принципиально важен как узловый компонент прочих рассуждений. Это становится ясно, если учесть параллельно идущие дискуссии и полемики, на пересечении которых — зачастую не ссылаясь открыто — и располагает свои статьи и сборники австро-немецкий мыслитель. В отношении размышлений Кальтенбруннера о христианстве и его роли в современном консерватизме мы можем выделить некоторые магистральные темы, которые так или иначе нужно учитывать в этом контексте. К ним относятся: фактическое выхолащивание консервативного компонента из базового нарратива тех политических сил, в чьем названии фигурировало слово «христианский» (Кальтенбруннер, 2020е: 147–148) и вновь возникшие во второй половине 1960-х годов реминисценции из католического консерватизма времен ранней ФРГ⁴; историографическая полемика об основном

4. Последние попытки политической реализации внешнеполитических проектов католического консерватизма пришлось на вторую половину 1960-х гг. и были связаны с перспективой германо-

мотиве консерватизма⁵; продолжающиеся рассуждения о технической цивилизации и ее характере; «дискуссии о гностицизме»⁶; инструментализация христианской этики в левом ключе; реакция на трансформацию католицизма после Второго Ватиканского собора⁷.

Христианство и консерватизм в проекте Г.-К. Кальтенбруннера

Из общих рассуждений Кальтенбруннера можно сделать вывод, что, по его мнению, современная ему христианская (в первую очередь — католическая) теология «переживает всемирный кризис», и никакая консервативная политическая или социальная теория более не может опираться на религию в поисках собственной легитимности (Кальтенбруннер, 2020а: 96-97). Поэтому в рамках обновления консервативной теории и поиска альтернативных ее основ Кальтенбруннер предпринял попытку, в полемике с правой критикой и левой политизацией христианства, определить степень соотношения последнего как с историческим, так и с современным ему консерватизмом.

По мнению австро-немецкого теоретика консерватизма, поднимаемый им вопрос является особенно проблематичным для современности, так как формула «консервативное равно христианское» никогда не соответствовала действительности в полной мере, а сегодня и вовсе стала в высшей степени сомнительной. В качестве иллюстрации Кальтенбруннер указывает на тенденции развития политического христианства (или, по крайней мере, политического обращения к христианству) в Западной Европе и Латинской Америке, которое все больше склоняется в сторону «религиозного марксизма» и утопически-хилиастической риторики (Кальтенбруннер, 2020а: 95; 2020г: 123). Говоря о метаморфозах политических учений, в результате которых либеральные и социалистические доктрины все чаще прибегают к иррациональным и умозрительным аргументативным конструкциям, Кальтенбруннер противопоставляет «утопическому принципу надежды» антропологически укорененный консервативный «принцип реальности» (Кальтен-

французского сближения. Подобную линию, реактуализирующую идею «католического Абендланда», в «немецком голлизме» представляли барон Элимар фон Фюрстенберг и барон Карл Теодор цу Гуттенберг (Weißmann, 2011a: 132-137).

5. На период «смены тенденций» выпадает также начало серьезного историографического и историко-философского анализа немецкого консерватизма, который, однако, своим лейтмотивом имел ярко выраженную позицию защиты или критики современных социальных и политических тенденций. Центральной фигурой этой полемики помимо Г.-К. Кальтенбруннера был историк М. Грайффенхаген (Schale, 2017: 16-18).

6. Кальтенбруннер хорошо знаком с полемикой вокруг политической теологии христианства и неоднократно ссылается на работы Я. Таубеса, К. Лёвита, Э. Фёгелина, Х. Ионаса, К. Шмитта и др. Вместе с тем располагать Кальтенбруннера в одном ряду с последними было бы преувеличением — он едва ли продолжает развитие этой полемики. Скорее он предстает политическим теоретиком и публицистом, который обращается к христианству, опираясь на наиболее актуальные в то время дискуссии, и обозначает в связи с этим рамку дальнейшего развития консерватизма.

7. Кальтенбруннер крайне негативно оценивал большинство происходящих внутри Католической церкви процессов и солидаризировался с католиками-седевакантистами.

бруннер, 2020е: 172-173). Консервативное мировоззрение вынуждено все больше опираться на данные антропологии⁸, социологии или этологии, утверждает он, нередко выступая апологетом «критического рационализма» и проблематизируя изменения в доминирующей политической теологии христианства, когда теологи, «которые раньше выступали в защиту трона и алтаря, берут в одну руку распятие, а в другую автомат» (Кальтенбруннер, 2020е: 158-162).

Как эти, так и дальнейшие рассуждения Кальтенбруннера о христианстве требуют еще одного уточнения — штриха к портрету нашего автора, наглядно иллюстрирующего глубину кризиса легитимационной взаимосвязи христианства и консерватизма, которая для австро-немецкого интеллектуала на персональном уровне всегда оставалась естественной. Кальтенбруннер с конца 1960-х годов принадлежал к седевакантистам и до конца своих дней оставался убежденным католиком. С середины 1980-х годов он все сильнее дистанцировался от публичных полемик, уходя, по выражению историка и философа П. Майера, в «эзотерический католицизм», но сохраняя при этом дистанцию по отношению к «религиозному фанатизму» и «сектантству» (Meier). С 1990 года Кальтенбруннер уединился в хижине на опушке леса недалеко от маленького городка Лёррах на самом юго-западе Германии, где жил без каких-либо современных средств связи, изучал историю Церкви и биографии святых, христианскую мистику и богословие, идеи универсальной христианской монархии и портреты выдающихся представителей европейской цивилизации, написав в стремлении охватить «раскинувшийся от Португалии до России» (Gmehling, 2019: 15) «дух Европы» тысячи страниц и задумав, но не написав, еще столько же (подробнее см.: Gmehling, 2019; Grannenfeld, 2015; Sommerfeld, 2021).

Итак, наиболее широкий горизонт рассмотрения вопроса соотношения консерватизма и христианства, к которому Кальтенбруннер обращается регулярно и в других публикациях, предлагается в его статье «Консервативно ли христианство?»⁹. Это эссе входит в сборник «Трудный консерватизм. Дефиниции — Теории — Портреты», изданный Кальтенбруннером в 1975 году — в самый разгар дискуссий о «смене тенденции» — и состоящий из нескольких текстов по центральным проблемам современного консерватизма (ретроспективный анализ сущностного содержания консерватизма в рамках полемики с М. Грайффенхаге-

8. Значение философской антропологии (в первую очередь в интерпретации Гелена) для проекта «реконструкции» консервативной политической теории Кальтенбруннера, как и для всего немецкого консерватизма после Второй мировой войны, сложно переоценить. Связь консервативного мировоззрения и определенных антропологических тезисов представляется наиболее значимой и определяющей многие другие аспекты политической теории. Эта практически неисследованная в отечественном академическом пространстве тема требует отдельного разбора и не может быть рассмотрена в рамках настоящей статьи.

9. Перевод сборника статей Г.-К. Кальтенбруннера, осуществленный российским издательством «Тотенбург» (Кальтенбруннер, 2020б), является первым и на сегодняшний день единственным. Местами качество перевода может быть серьезно поставлено под сомнение, а ряд формулировок содержит очевидные неточности. Ввиду этого мы опираемся в первую очередь на немецкий текст статьи (Kaltenbrunner, 1975).

ном; вопрос наличия консервативной теории как таковой; консерватизм в современной «постлиберальной» эпохе; «смена тенденции» как феномен), своеобразного консервативного манифеста «Десять заповедей консерватора» и девяти кратких биографий-портретов¹⁰, призванных продемонстрировать все многообразие консервативной мысли.

Характерно, что статья о христианстве и консерватизме следует сразу после вступительного текста — несколько раз издававшейся в разных сборниках статьи «Трудный консерватизм», изначально написанной Кальтенбруннером в конце 1971 года для журнала *Aus Politik und Zeitgeschichte* — приложения к одной из наиболее значимых политологических газет-форумов *Das Parlament*, издаваемого Федеральным бюро по политическому образованию (Kaltenbrunner, 1971). На момент публикации сборника в 1975 году Кальтенбруннер уже обладал немалой популярностью в консервативных кругах и имел все основания рассчитывать не только на весомый вклад в консервативные дискуссии, но и на прямое воздействие своих текстов на практическую политику — этот аспект также необходимо учесть.

Статью «Консервативно ли христианство?» Кальтенбруннер открывает указанием на необходимость выделения по меньшей мере трех плоскостей рассмотрения поставленного вопроса и, соответственно, трех различных подходов к интерпретации эманации христианства в область политического. Во-первых, под христианством Кальтенбруннер понимает весь комплекс теологических рассуждений в рамках Церкви, опорой которому является как философская аргументация, так и ссылка на Откровение, нуждающееся в толковании. Во-вторых, христианство может быть понято как корпус текстов Священного Писания, являющихся основным источником христианской теологии. В-третьих, Кальтенбруннер указывает на христианство как на Церковь, т.е. форму автономной социальной организации — институт, члены которого, согласно ап. Павлу, образуют тело Христово (Kaltenbrunner, 1975: 51). Продолжая эти рассуждения, Кальтенбруннер формулирует три вопроса: может ли определенное понимание Бога соответствовать консервативной позиции, укреплять и легитимировать ее; насколько корректно консервативное прочтение Нового Завета в сравнении с другими; и является ли Церковь консервативной организацией как по своей сути, так и по исторически обусловленной случайности? (Kaltenbrunner, 1975: 52)

Уже здесь можно обратить внимание на отчасти эклектичный — если не противоречивый — и, видимо, осознанно не формулируемый эксплицитно подход Кальтенбруннера, в соответствии с которым он расщепляет не только плоскости рассмотрения христианства, но и присущие каждой из этих плоскостей этики. На этом и основывается его критика «левой» интерпретации христианства на политико-социальном уровне, проходящая красной нитью через всю статью. Очевидно, что Кальтенбруннер в какой-то степени опирается в этих рассуждениях на социально-антропологический анализ этики (или, если точнее, — этик) Гелена, представленный

10. С. Кьеркегор, Х. Доносо Кортес, И. Я. Бахофен, Новалис, Франц фон Баадер, Адам Мюллер, А. де Токвиль, В. Парето и Л. Клагес.

в крайне популярной в консервативных кругах тех лет работе «Мораль и гипермораль» (Gehlen, 1969)¹¹. Отсутствие ссылок на Гелена, которые Кальтенбруннер охотно и обильно делает в иных своих работах, при этом хорошо понятно — употребление аргументационных моделей далекого от христианства Гелена может уже с первой страницы поставить под сомнение весь пафос статьи католика-седевакантиста. Тем не менее именно рассуждения о «плюрализме этик» Гелена, их смешение и смещение в исторической ретроспективе, представленные в работе «Мораль и гипермораль», были одной из центральных опор в полемике с эмансипаторными импульсами 1970–1980-х годов¹². В основании такой эклектичной аргументации лежит, по нашему мнению, общее совпадение консервативных умонастроений представителей максимально широко понятого правого спектра и распространенной среди консервативных интеллектуалов моды на учение Гелена о человеке, институтах и этиках, мимо которой не смог пройти и Кальтенбруннер. Тем не менее, как мы увидим дальше, основу своего антропологического пессимизма австро-немецкий интеллектуал все-таки находит в основах христианского вероучения.

Влияние философской антропологии Гелена ощущается и тогда, отталкиваясь от определения «правого» у А. Молера, сформулированного им в одном из центральных для понимания характера изменений в немецком консерватизме текстов («Немецкий консерватизм после 1945 года», вышел в серии *Initiative*)¹³, Кальтенбруннер делает акцент на антропологическом аспекте и пишет, что правая (она же «классическая») антропология укоренена в умеренно пессимистическом взгляде на человека, который согласуется с библейским нарративом, а левая («романтическая») — в оптимистическом. Присущий здесь Кальтенбруннеру антропологиче-

11. В 1970 году Армин Молер написал к первому номеру консервативного журнала *Criticón* вступительную статью «Возвращение к рацио», в которой высоко оценил работу Гелена «Мораль и гипермораль», назвав ее центральной для консерватизма современной эпохи (Mohler, 1970).

12. Под этикой Гелен понимал «многие функционально друг от друга независимые инстинктоподобные импульсы — пружины социального поведения, которые составляют предмет этического зрения о социальных регуляциях», и выделял четыре этические диспозиции: «чувство взаимности», «чувство психологических регулятивов», «чувство семьи/рода» и «чувство институтов». В основе «чувства взаимности» лежит признание другого равным себе, из чего проистекали большинство норм естественного права и бытовой справедливости — именно на взаимности покоится социальная регуляция в обществах свободных людей. В отличие от этого, «чувство семьи/рода» порождает иную этику — «гуманитаристскую», направленную на всеобщее благо, как основную и безусловную цель и формирующую «мировую этику» (Weltethik). В основе «этики гуманитаризма» лежит «принятие человека таким, какой он есть», а также представление о «субстанциальном посюстороннем равенстве людей». Еще со времен киников и стоиков эта мораль постепенно освобождается от естественной привязки к семье и переносится на высший уровень, а в эпоху Просвещения становится лозунгом всеобщего равенства и выступает тараном для всех институциональных структур. Современные интеллектуалы, по оценке Гелена, продолжали эту традицию морализирующей критики институтов — т.е. основ культуры. Этой деструктивной тенденции Гелен противопоставляет «чувство институтов», благодаря которому осуществляется обусловленная иерархией и структурой социальная регуляция и формируются «отношения ответственности» (подробнее см.: Логинов, 2001: 115–120).

13. «Правым нужны скрепление и прочность, левым — освобождение и воля; для левых человек и мир в принципе совершенны, в их реальном несовершенстве повинны обстоятельства, поэтому их надо изменить; правые не верят в это совершенство — для них через мир и человека проходит трагический разлом, который невозможно устранить, который должен остаться» (Mohler, 1972: 273–289).

ский пессимизм опирается главным образом на антиутопическую консервативную традицию XIX столетия и эксплицитно выражает один из взглядов на возможности человека, его пределы и задачи (Kaltenbrunner, 1975: 55-56).

О пессимизме как одном из центральных принципов консервативного мировоззрения Кальтенбруннер пишет и в другой своей статье, вновь отмечая центральную роль христианства для европейской традиции мысли. Вместе с тем пессимизм (в том числе и как антропологическое воззрение) «столь же стар, как и само мышление человека» (Кальтенбруннер, 2020г: 140-145). Ф.С. Ким делает в своих исследованиях особый акцент на роли пессимизма в мировоззрении Кальтенбруннера, чьими центральными ориентирами были Ф. де Шатобриан, Д. Леопарди, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, О. Шпенглер и Л. Клагес. Пессимизм Кальтенбруннера выражен в абсолютном скепсисе в отношении прогресса, рассматривающего консерватизм как «саботаж на пути в идеальное будущее — песок в своем двигателе», и тщеславных человеческих планов переустроить мир и создать земной рай (Ким, 2010: 45-50; 2011: 43-52). В немецкой историографии встречаются позиции, определяющие этот отход от умеренного консерватизма как радикализацию в сторону «мистико-религиозного пессимизма» (Finkbeiner, 2020: 248).

В этом же фрагменте работы о христианстве и консерватизме Кальтенбруннер делает отсылку к испанскому консерватору середины XIX века Доносо Кортесу и его знаменитой «Речи о диктатуре». Особую значимость в контексте поставленного нами вопроса приобретает подчеркиваемая автором мысль Доносо Кортеса о состоянии и перспективах христианской веры в современном мире, о социальном и политическом потенциале христианства: «Я видел и знал <...> многих людей, оставивших веру, а затем вернувшихся к ней. К несчастью, я никогда не видел ни одного народа, вернувшегося к вере после того, как он утратил ее» (Доносо Кортес, 2023: 52). В опубликованном в этом же сборнике эссе-портрете испанского консерватора Кальтенбруннер соглашается с тем, что отныне «путь в Дамаск открыт только для одиночки» (Кальтенбруннер, 2020в: 183-185), подчеркивая тем самым, что в современном ему обществе трансцендентные категории не могут служить основой легитимации и организации политико-социального порядка.

Далее Кальтенбруннер переходит к анализу теологических и исторических «частей» христианства. Христианское понимание Бога, по мнению Кальтенбруннера, воплощено в консервативно нагруженных категориях порядка (Kaltenbrunner, 1975: 58). Бог как гарант порядка, допускает австро-немецкий теоретик, является более древним представлением, нежели идея Бога-Творца или Спасителя, однако именно в христианском оформлении оно обрело значение для мировой истории. Исходя из этого представления о порядке, в соответствии с которым выстроены как природа, так и общество, должна быть организована и форма человеческого общежития — в качестве иллюстрации этой консервативной установки Кальтенбруннер ссылается на размышления Э. Бёрка (Kaltenbrunner, 1975: 58-60), хотя попадает здесь в более широкую канву традиционного консерватизма XIX столетия.

Первоначальное принятие мира во всем его несовершенстве, а человеческой судьбы — во всем ее трагизме, и есть, по мнению Кальтенбруннера, «архиконсервативная предпосылка христианской теологии», или, иными словами, «криптотеологическое условие возможности консерватизма» вообще (нем.: «*erzkonservative Voraussetzung christlicher Theologie*», «*kryptotheologische Bedingung der Möglichkeit des Konservatismus*». Kaltenbrunner, 1975: 60). Именно из этого импульса и развивается трагически-героический пессимизм по отношению к миру, истории и человеку. Насколько в этом отношении справедливо знаменитое изречение Тертуллиана о том, что «душа человека по природе своей христианка», настолько же правдив для Кальтенбруннера и тезис А. Молера, согласно которому «душа человека по природе своей консервативна» (Mohler, 1974: 52). Вместе с тем подразумевается, что именно тот консервативный рефлекс — героически-пессимистическое мироощущение — может на индивидуальном уровне обеспечить необходимую дистанцию по отношению к цивилизационному оптимизму и прогрессивизму усиливающимся за счет перманентно ускоряющегося технического развития.

Далее — следуя намеченному плану — Кальтенбруннер переходит к рассмотрению современных ему политизирующих интерпретаций проповеди Христа и Нового Завета. В данном случае речь идет в первую очередь о проекте «новой политической теологии», а также о широко распространенных попытках соединения христианства и социалистических идей вплоть до марксизма, что было особенно ярко выражено т.н. католической «теологией освобождения» в странах Латинской Америки. Кальтенбруннер пишет, что «теология прогрессивизма» — как католического, так и протестантского — направлена на инструментализацию содержания Евангелия в русле лозунгов борьбы за по сути своей эрзац-религиозное освобождение и уравнивание. Кальтенбруннер фиксирует феномен активного приписывания неполитическому посланию Христа однозначно левого, эмансипаторного и революционного содержания, что, в свою очередь, ведет к попыткам библейско-теологического обоснования по большей части нехристианских политических тенденций. Представители этой «новой политической теологии», по его мнению, не являются просто людьми или политиками с левыми взглядами, но именно что выводят весьма радикальные политические указания и нормы из христианского Откровения и представляют их как богоугодные. Основными адресатами этой критики Кальтенбруннера становятся его современники-теологи — он обращается к размышлениям о «Боге в революции» Ю. Мольтмана, «экофеминистской теологии освобождения» Д. Зёлле, проповедям датского пастора и «пророка красной Церкви» Х. Сёбю, а также к набравшей огромную популярность в странах Латинской Америки «теологии освобождения» и некоторым из ее представителей — американскому теологу М. Шоллу, колумбийскому священнику и члену леворадикальной партизанской организации «Армия национального освобождения» К. Торресу, бразильскому архиепископу-социалисту Э. Камаре (Kaltenbrunner, 1975: 61-62).

Подобные формы интерпретации вынуждают консервативных интеллектуалов, по словам Кальтенбруннера, вновь проблематизировать вопрос политическо-

го и социального содержания послания Христа. Подчеркнем здесь это «вновь» — Кальтенбруннер не проговаривает, но хорошо знает, что христианская тематика была исключена из большинства неκληрикальных консервативных рассуждений еще со времен «консервативной революции». Сейчас же необходимость этого возвращения проистекает из внешнего вызова, выраженного левой попыткой инструментализации христианского учения. Сам австро-немецкий мыслитель считает искажением любую политизацию Нового Завета — по его мнению, Иисус не был «ни политиком, ни агитатором, ни социальным революционером. Он не стремился к земной власти. <...> Его послание не было непосредственно политическим, но исключительно религиозным». С опорой на труды Э. Трёльча, Кальтенбруннер настаивает на том, что Иисус противился любому политическому истолкованию своей проповеди (Kaltenbrunner, 1975: 62-63). Здесь можно сделать промежуточный вывод, фиксирующий важную для всего политического проекта Кальтенбруннера установку. Одна из основных, если даже не основная задача рассматриваемого нами текста — сохранение христианства в поле неполитического, так как при текущих внешних обстоятельствах и внутренних тенденциях в самом христианстве его политическая актуализация может быть направлена только в одну сторону — вовсе не консервативную.

На первый взгляд парадоксальным образом, стремясь деполитизировать послание Христа, Кальтенбруннер далее вступает, по меньшей мере одной ногой, в пространство политической теологии, не останавливаясь на «негативной» аргументации и критике самого инструментально-политизирующего подхода. Он не претендует на серьезный теоретический вклад в эти дискуссии, специально подчеркивая в конце своей статьи, что отдельного внимания заслуживают вопросы мистики (отметим, близкой самому Кальтенбруннеру), гностицизма в целом (которому, по словам Кальтенбруннера, ссылающегося при этом на работы Я. Таубеса, Ж. Киспеля, Э. Фёгелина и Х. Йонаса, скорее присущи левые революционные черты) и христианского гностицизма в частности (Kaltenbrunner, 1975: 73-74). Кальтенбруннер не принимает эксплицитно позицию той или иной стороны во вновь разворачивающихся в конце 1960-х — начале 1970-х годов (Соловьев, 2023: 248) «дискуссиях о гностицизме», лишь по касательной затрагивая несколько изначальных тезисов. Он обращается к схожим вопросам, пытаясь найти какой-то соответствующий внешним обстоятельствам *modus vivendi* обновленной консервативной теории и христианства. Подчеркнем еще раз, чтобы «вырвать» христианство из этих политизирующих полемик.

Ключом к пониманию контекста, определяющего специфику проповеди Христа, а также к объяснению политико-хилиастического радикализма эгалитарных движений последующих эпох, является, по мнению Кальтенбруннера, глубокая эсхатологическая убежденность Христа и той среды, в которой находились его ученики и апостольские мужи (Kaltenbrunner, 1975: 64). Здесь, как и во многих других местах, Кальтенбруннер отталкивается от Якоба Таубеса и его «Западной эсхатологии», стоявшей у истоков этой полемики. Однако причину именно такого пред-

почтения он не объясняет. Можно предположить, что все дело в последовательном характере рассуждений Таубеса, с чьей внутренней логикой Кальтенбруннер соглашается, но не принимает их ввиду, по его мнению, неверности первичной интерпретации. С другой стороны, помня о характере текста Кальтенбруннера и целях его публикации, не стоит удивляться подобной вольности, недопустимой в строгих академических дискуссиях.

Политическая и социальная проблематика, которой уделяется большое внимание в «неапокалиптическое время», в подобном контексте становится, как утверждает Кальтенбруннер, второстепенной и даже бессодержательной — к ней проявляется «пламенное безразличие» (нем.: *glühende Indifferenz*). Существующее есть теперь не предмет изменения или разрушения, но полной индифферентности. Подобное апокалиптическое сознание обладает сильнейшим революционным пафосом и при переносе на социально-политическую сферу находит свое выражение, как правило, в левых политических и социальных проектах — зачастую крайне утопических (Kaltenbrunner, 1975: 67-68). Также и Таубес заявлял, что апокалиптически-гностическое восприятие мира является основой возмущения и радикального революционного пафоса современных левых (Таубес, 2023: 80-81).

С другой стороны, подчеркивает Кальтенбруннер, одним лишь словом христианской проповеди лишались силы и авторитета столетиями существующие традиции и институты — и изначально вовсе не политический пафос свободы, равенства и братства закономерно был главным источником вдохновения уравнительных и/или эмансипаторных движений на протяжении уже двух тысячелетий. Вместе с тем, пускаясь в чуть ли не «богословскую публицистику», австро-немецкий теоретик консерватизма настаивает, что эта революционная триада имеет в контексте Евангелия иное значение и неизбежно искажается в процессе политизации. Свобода, по его мнению, понимается как свобода от греха, свобода в возможности спасения для всех людей вне зависимости от происхождения или пола. В этом проявляется и принцип равенства, согласно которому никто не может быть лишен возможности обретения Царства Божьего. При этом, пишет Кальтенбруннер, трактовать это как нивелирование различия душ в потустороннем мире в пику неравенству мира посюстороннего было бы также неверно — как на Земле, так и на Небе есть иерархия (и в этом отношении не все оказываются равными), и Царство Божие предстает в таком случае не столько как равенство душ, сколько как радикальное изменение их соотношения, перемена всех отношений, своеобразная «переоценка ценностей». Тем не менее из этих образов практически неизбежно проистекает политический и социальный импульс эсхатологии равенства. Принцип братства исходит из общей, равной и высшей любви к Богу Отцу. Таким образом, Кальтенбруннер признает, пускай и не соглашаясь с ее политизирующими интерпретациями, наличие «левых идей свободы, равенства и братства» в проповеди Христа (Kaltenbrunner, 1975: 65-67).

Однако эсхатологизм первых веков христианства должен был неизбежно уступить место размеренности, рутинизироваться и институционализироваться: «вся

история христианства определяется тем неопровержимым фактом, что пророчество Иисуса о скором конце света не сбылось», и христианство как Церковь основано именно на этой отсрочке — неисполнении пророчества о преобразующем мир Царстве Божьем (Kaltenbrunner, 1975: 68-69; Таубес, 2023: 111, 132). Институт Церкви в своей исторической динамике не был однообразен — ранняя отдавала предпочтение скорее левым социальным мотивам, однако лишь как форме мирского аскетизма, «ухода от мира, чьи дни уже и так сочтены». Лишь со временем — вместе с более широким распространением христианства в разных слоях римского общества и его институционализацией — коммунистически-эгалитарные черты все больше уступали место социально-консервативным. В качестве примера подобного «коммунистическо-эгалитарного» эсхатологизма приводится Откровение Иоанна Богослова, а также дошедшие до нас фрагменты трудов одного из апостольских мужей — Папия Иерапольского, которого Кальтенбруннер называет «первым теоретиком хилиазма». Описывая представления Папия о грядущем Пришествии и воцарении Века мира и изобилия на земле, Кальтенбруннер проводит параллели с учениями утопических социалистов XIX века и «мессианскими освободительными движениями т.н. третьего мира», а Герберта Маркузе и вовсе именует «эпигоном Папия, если отбросить гегельянские и фрейдистские мотивы» философа-неомарксиста (Kaltenbrunner, 1975: 70-72).

Раннехристианская форма общежития, по мнению Кальтенбруннера, не предполагала никакой политической и социальной борьбы или даже политизации такого своеобразного хозяйственного уклада. В качестве примера приводится отношение христианства к рабству. Здесь же делается оговорка, что Церковь как институт по сути своей всегда социально-консервативный никогда не выступала против рабства, а признанию человеческого достоинства способствовали скорее либо одиночки (например, Б. де лас Касас), либо — и даже в первую очередь — протестантские секты по типу квакеров или методистов¹⁴. Лишь в сектах — в той мере, в какой они оставались под никогда до конца не подавленным влиянием апокалиптически-хилиастических идей — из заботы о душе и ее свободы произросли забота о теле и свобода гражданина. Только подобные секты, пишет Кальтенбруннер, были носителями бескомпромиссной эмансипаторной социальной этики. Христос Церкви суть спаситель, заложивший саму возможность и основу спасения своей жертвой, в то время как Христос сект — вождь и пророк, имеющий в описании Кальтенбруннера больше общих черт с пророками Ветхого Завета. Если Церковь рассматривает себя как уже существующее Царство Божие в ожидании Второго Пришествия и Страшного суда, то секты в большинстве своем имеют в этом отношении футуристически-прогрессивную ориентацию на построение этого Царства своими же руками в будущем, т.е. в истории (Kaltenbrunner, 1975: 73-74). Из дихотомии Церкви и секты Кальтенбруннер отдельно выводит не рассма-

14. Здесь и далее в анализе сект Кальтенбруннер опирается преимущественно на исследования Трёльча.

триваемые детально в рамках анализируемой нами статьи феномены христианской мистики и гностицизма, о чем уже говорилось ранее.

Подытоживая свои выводы, Кальтенбруннер приходит к определению христианства как находящегося по ту сторону «левого» и «правого» начал, одновременно превосходящего и являющегося истоком для большинства социальных и политических проектов любой направленности — политическая теология христианства может служить как опорой, так и центральным объектом критики и для левых, и для правых интеллектуалов. Особое внимание Кальтенбруннер уделяет неожиданной смычке левой (например: Э. Блох, Ю. Мольтман, Д. Зёлле и др.) и правой (например: Ф. Ницше, Ш. Моррас, Ю. Эвола, А. Молер) критики христианства, каждая из которых признается австро-немецким теоретиком односторонней и ошибочной (Kaltenbrunner, 1975: 69).

Бог как упорядочивающее начало и гарант установленного порядка — равно как и Церковь — являются в своей сути консервативными категориями (при этом «левый уклон» характерен для сект с ветхозаветными элементами и социально-апокалиптическими представлениями). Также и присущий христианству антропологический скепсис является отправной точкой для сдержанного отношения к любому виду антропологического или социального оптимизма. С другой стороны, принципиально неполитическое послание Христа в случае политизации может быть определенно истолковано в левом ключе — Кальтенбруннер считает, что если ценности равенства и братства и могут быть обоснованы, то лишь через политическую интерпретацию Евангелия. Это же касается и принципа двойственности царств — осознание отчужденности этого мира создает почву для интенции к его преодолению, «прыжку» в сторону мира другого. Об уверенности в необходимости подобного «прыжка» много писал и Таубес, говоря о том, что вообще весь эсхатологизм рождается из остро ощущаемого противоречия между «действительностью безбожного мира и представлением о царствовании Божьем в этом мире». Этот «разлом», эта «трещина» между Богом и миром может быть преодолена лишь «чудом прыжка» — неотъемлемой мировоззренческой установкой как всех религиозных апокалиптиков и эсхатологических движений, так и некоторых нововременных философов (например, К. Маркса или С. Кьеркегора) (Таубес, 2023: 18-19, 41-42, 79-80).

Для Кальтенбруннера этот же разрыв является «метафизической предпосылкой левого мышления вообще» (Kaltenbrunner, 1975: 75). Основа консервативного мироощущения, предложенная немецкими консервативными интеллектуалами в 1960–1970-е годы — в дискуссии которых Кальтенбруннер внес огромный вклад, — покоится на признании и одновременном принятии этого элемента мироздания — «трагического разлома, который невозможно устранить». Если мы постараемся соотнести эту черту консервативного мировоззрения по Кальтенбруннеру с позициями, представленными в дискуссиях о модерном гностицизме, то наибольшие сходства (по крайней мере на этом этапе, так как в 1980-е позиция Кальтенбруннера изменится) обнаружатся с активно писавшим на эту тему в те же

1970–1980-е годы Одо Марквардом (Соловьев, 2023: 253–270) — укорененное в скептическом отношении к разного рода утопическим проектам принятие этого мира, нейтрализующее гностические метанарративы модерна.

В двух последних «Заповедях консерватизма», суммирующих сборник статей «Трудный консерватизм», Кальтенбруннер буквально от противного — со всей очевидностью отталкиваясь от предмета этих дискуссий — формулирует «правильное» отношение к эсхатологизму в его антропологическом, социальном или политическом преломлении (Кальтенбруннер, 2010: 191–195), не впадая при этом — выражаясь словами того же Таубеса, сказанными им в адрес Карла Шмитта — в «апокалиптику контрреволюции» (Таубес, 2021: 86, 95, 110).

Немецкий исследователь К. Шёнекес подобрал весьма удачное, по нашему мнению, описание мировоззрения Кальтенбруннера как «консервативно-революционного» человека с «трагическим взглядом на мир» (Greß, Jaschke, Schönekäs, 1990: 283). Вместе с тем подобное упорство в отстаивании «трагического разлома» пусть и в секулярно-антропологическом ключе — хотя Кальтенбруннер и находит истоки такого взгляда в христианстве — однозначно отсылает и сближает его рассуждения с многовековой традицией католического богословия, на чьих аргументах преимущественно и держится весь пафос классического европейского консерватизма, начиная с Бональда, де Местра и Доносо Кортеса.

Подведем итог.

Без учета теоретического и политико-публицистического наследия Герда-Клауса Кальтенбруннера невозможно составить полное представление об интеллектуальном противостоянии в лагере «правее центра» в ФРГ 1960–1980-х годов — ключевой эпохи для послевоенного немецкого консерватизма, в которую осуществлялись политико-публицистические попытки осмысления кризиса легитимации немецкого консерватизма и поиски путей выхода из этого состояния. В начале 1970-х годов Кальтенбруннер активно включился в дискуссии о сути и форме консерватизма, быстро став одной из ключевых фигур этих полемики.

В корпусе политико-публицистических текстов Кальтенбруннера 1970-х годов в рамках его проекта «реконструкции консерватизма» одним из узловых моментов является вопрос соотношения христианства и политики в современном обществе, наиболее полно раскрытый в статье «Консервативно ли христианство?».

Две задающие тон дальнейшим рассуждениям Кальтенбруннера установки могут быть сведены к следующему: с одной стороны — невозможность дальнейшей легитимации консервативной политической позиции через христианство, с другой — недопустимость политизации христианства и его инструментализации слева. Развитие этих тезисов имплицитно или эксплицитно связывает тексты Кальтенбруннера с другими актуальными проблемами и дискуссиями той эпохи. Мы можем выделить три центральные темы и соответствующие им линии аргументации:

Во-первых, Кальтенбруннер, как и во всех остальных своих работах, уравнивает консервативную позицию с антропологическим пессимизмом (антрополо-

гически укорененным «принципом реальности»), который лежит в основе библейского взгляда на человека, — но и не только его. Подобная антропологическая аргументационная рамка выходит за пределы христианской мысли, и Кальтенбруннер опирается (хотя не ссылается прямо) в этом отношении на авторитетные в правых кругах того времени теории А. Гелена — его социально-антропологический анализ институтов и в особенности этик. Примечательно, что в основе всех рассуждений Кальтенбруннера лежит разделение не только плоскостей рассмотрения христианства (Св. Писание, богословско-философская традиция, Церковь как социально-исторический институт), но и разделение присущих каждой из этих плоскостей этик. В этом мы склонны видеть использование (отчасти эклектичное) геленовской аналитической оптики, что, однако, может быть объяснено не только внутренней логикой, но и политико-практической стороной замысла всего текста.

Во-вторых, Кальтенбруннер вступает в полемику с попытками левой инструментализации христианства, которая осуществляется за счет активного приписывания посланию Христа посястороннего эмансипаторного и революционного содержания. Эта логика приводит к попыткам библейско-теологического обоснования нехристианских политических тенденций, которые не просто выводят радикальные политические указания и нормы из христианского Откровения, но представляют их как богоугодные (в этой связи упоминаются Ю. Мольтман, Д. Зёлле, датский пастор Х. Сёбю, представители «теологии освобождения» М. Шолл, К. Торрес, Э. Камара). В полемике с этими тенденциями Кальтенбруннер настаивает на том, что любое политическое истолкование проповеди Христа неверно, стремясь тем самым удержать христианство в пространстве неполитического и спасти его от единственно возможной в текущих условиях политической актуализации — левореволюционной.

В-третьих, Герд-Клаус Кальтенбруннер реагирует на идущие уже много лет политико-теологические дебаты («дискуссии о гностицизме»). Он не претендует на существенный теоретический вклад в них, а стремится и здесь через историзацию и деполитизацию защитить христианство от активной инструментализации слева. Подробно разбирая аргументацию Я. Таубеса, Кальтенбруннер критикует гностически-апокалиптическое сознание и присущее ему стремление к «прыжку» для преодоления этого несовершенного мира. Замыкается аргументационный круг Кальтенбруннера указанием на то, что основа консервативного антропологически-пессимистичного мироощущения покоится на признании и одновременном принятии «трагического разлома, который невозможно устранить».

В нынешний век, по мнению Кальтенбруннера, христианство как форма соотношения себя с трансцендентным и как основа организации консервативного общественного порядка сохраняет свою убедительность лишь на индивидуальном уровне, а потому не может служить аргументом на уровне политическом и социальном. Эта позиция, как и обосновывающая ее аргументация, обнаруживается у многих крупнейших консервативных интеллектуалов современной Германии,

для которых широкое наследие австро-немецкого мыслителя представляет собой большую теоретическую ценность.

Размышления же о самом переходе к новому типу аргументации и легитимации консервативной позиции содержатся в других текстах Герда-Клауса Кальтенбруннера, описание и анализ которых требует отдельных исследований.

Литература

- Бёр К. (2016). Консерватизм: многогранное понятие. Попытка описания и ограничения — поиски следов // Исторические исследования. Журнал Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. № 5. С. 10-28.
- Галкин А. А., Рахмиров П. Ю. (1987). Консерватизм в прошлом и настоящем. Л.: Наука.
- Доносо Кортес Х. (2023). Речь, произнесенная в Конгрессе депутатов 4 января 1849 года // Доносо Кортес Х. Речь о диктатуре / Пер. с исп. А. В. Мареев. СПб.: Владимир Даль. С. 10-59.
- Ищенко В. В. (1990). Проблемы германского консерватизма в идейной борьбе в ФРГ. Автореферат дисс. канд. ист. наук (07.00.03). Пермь: Перм. гос. ун-т им. А. М. Горького.
- Казаков С. О. (2014). Консервативный транзит Эрнста Юнгера. Дисс. канд. ист. наук (07.00.03). Екатеринбург: Ур. федер. ун-т имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.
- Казаков С. О. (2015). Метаморфозы консерватизма на исходе XX века // СибСкрипт. № 3-2 (63). С. 32-36.
- Кальтенбруннер Г.-К. (2010). 10 заповедей консерватора // Ким Ф. С. «Просвещенный консерватизм» Г.-К. Кальтенбруннера. М.: Международный изд. центр «Этносоциум». С. 191-195.
- Кальтенбруннер Г.-К. (2020а). Есть ли консервативная теория? // Кальтенбруннер Г.-К. Трудный консерватизм. Определения — теории — портреты. М.: Тотенбург. С. 90-99.
- Кальтенбруннер Г.-К. (2020б). Консервативно ли христианство? // Кальтенбруннер Г.-К. Трудный консерватизм. Определения — теории — портреты. М.: Тотенбург. С. 56-89.
- Кальтенбруннер Г.-К. (2020в). Консервативные пророки: Кьеркегор — Доносо Кортес — Баховен // Кальтенбруннер Г.-К. Трудный консерватизм. Определения — теории — портреты. М.: Тотенбург. С. 180-188.
- Кальтенбруннер Г.-К. (2020г). Консерваторы в постлиберальную эпоху // Кальтенбруннер Г.-К. Трудный консерватизм. Определения — теории — портреты. М.: Тотенбург. С. 122-144.
- Кальтенбруннер Г.-К. (2020д). Перспективный консерватизм // Кальтенбруннер Г.-К. Трудный консерватизм. Определения — теории — портреты. М.: Тотенбург. С. 100-121.

- Кальтенбруннер Г.-К. (2020е). Происходит ли консервативный поворот тенденций? // Кальтенбруннер Г.-К. Трудный консерватизм. Определения — теории — портреты. М.: Тотенбург. С. 145-174.
- Ким Ф. С. (2010). «Просвещенный консерватизм» Г.-К. Кальтенбруннера. М.: Международный изд. центр «Этносоциум».
- Ким Ф. С. (2011). Героический пессимизм просвещенного консерватора: Герд-Кlaus Кальтенбруннер // Гуманитарные и социальные науки. № 4. С. 43-52.
- Логинов А. В. (2001). Философская антропология А. Гелена. Дисс. канд. филос. наук (09.00.03). Москва.
- Милюев В. А. (2006). Немецкий романтизм и формирование консервативной идеи. Дисс. канд. филос. наук (09.00.03). Мурманск: Мурманский государственный технический университет.
- Соловьев А. П. (2023). Дискуссии о современном гностицизме в послевоенной Германии и перформативный аспект концепции «гностического рецидива» Одо Маркварда // Stasis: ЕУСПБ. Т. 11. № 1-2. С. 246-281.
- Таубес Я. (2021). Ad Carl Schmitt: Сопряжение противостремительного / Пер. с нем. Д. Кузицына. СПб.: Владимир Даль.
- Таубес Я. (2023). Западная эсхатология / Пер. с нем. А. Шурбелёва. СПб.: Владимир Даль.
- Филиппов А. Ф. (2009). Арнольд Гелен и Хельмут Шельски // Мыслящая Россия: история и теория интеллигенции и интеллектуалов. С. 274-313.
- Штебер М. (2016). 1968 как год консерваторов, или Разделение мнений. Либеральный консерватизм и «новые правые» // Исторические исследования. Журнал Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. № 5. С. 194-207.
- Finkbeiner F. (2009). Nationale Hoffnung und konservative Enttäuschung. Göttingen: Georg-August-Universität Göttingen.
- Finkbeiner F. (2017). Schicksalsjahre des Konservatismus. Konservative Intellektuelle und die Tendenzwende in den 1970er Jahren. ibidem-Verlag, Stuttgart.
- Gehlen A. (1969). Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik. Frankfurt am Main.
- Gmehling M. (2019). Wer war Gerd-Klaus Kaltenbrunner? Vorwort // Kaltenbrunner G.-K. Vom Geist Europas — Ursprünge und Porträts, Band I. Ares Verlag.
- Grannenfeld M. J. (2015). Gerd-Klaus Kaltenbrunner's Work and Thought: An Interview with Martin J. Grannenfeld by Lucian Tudor // The Traditional Britain Group. URL: <https://traditionalbritain.org/journal/gerd-klaus-kaltenbrunners-work-and-thought-an-interview-with-martin-j-grannenfeld/> (дата доступа: 11.09.2024).
- Greiffenhagen M. (1977). Das Dilemma des Konservatismus im Deutschland. München: R. Piper & Co. Verlag.
- Greß F., Jaschke H.-G., Schönekeß K. (1990). Neue Rechte und Rechtsextremismus in Europa. Bundesrepublik, Frankreich, Großbritannien // Opladen: Westdeutscher Verlag.

- Großmann J.* (2017). Flucht nach Europa. Die abendländische Bewegung und die Transnationalisierung des Konservatismus nach dem Zweiten Weltkrieg // *Liebold S., Schale F.* Neugründung auf alten Werten? S. 53-76.
- Hoeres P.* (2013). Von der „Tendenzwende“ zur „geistig-moralischen Wende“. Konstruktion und Kritik konservativer Signaturen in den 1970er und 1980er Jahren // Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. № 61. S. 93-119.
- Kaltenbrunner G.-K.* (1971). Der schwierige Konservatismus // APuZ 49/1971.
- Kaltenbrunner G.-K.* (1972). Der schwierige Konservatismus // Konservatismus in Europa/ Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner. Freiburg. S. 19-54.
- Kaltenbrunner G.-K.* (1974). Plädoyer für die Vernunft. Signale einer Tendenzwende. INITIATIVE №1/ Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Kaltenbrunner G.-K.* (1975). Christlich=konservativ? // *Kaltenbrunner G.-K.* Der schwierige Konservatismus. Definition, Theorien, Porträts. Herford, Berlin: Nicolai. S. 51-80.
- Kaltenbrunner G.-K.* (1977). Das Elend der Christdemokraten. Ortsbestimmung der politischen Mitte Europas. INITIATIVE №21/ Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Kaltenbrunner G.-K.* (1988). Volksparteien ohne Zukunft? Die Krise des Parteienstaates. INITIATIVE №73/ Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Kubitschek G.* (2011). Gerd-Klaus Kaltenbrunner ist verstorben. URL: <https://sezession.de/24216/gerd-klaus-kaltenbrunner-ist-verstorben> (дата доступа: 11.12.2023).
- Laak D. van.* (2003). From the Conservative Revolution to Technocratic Conservatism // Müller J.-W. German Ideologies since 1945: Studies in the Political Thought and Culture of the Bonn Republic. S. 147-160.
- Meier P.* Gerd-Klaus Kaltenbrunner // Portal zur katholischen Geisteswelt. URL: <http://kath-info.de/kaltenbrunner.html> (дата доступа: 11.09.2024).
- Mohler A.* (1970). Gehlens „Moral und Hypermoral“ — eine Wegmarke // Criticón № 1.
- Mohler A.* (1972). Im Schatten des Jakobinismus. Die «Konservative» und die «Rechte» in Frankreich // Konservatismus in Europa/ Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner. Freiburg. S. 273-289.
- Mohler A.* (1974). Deutscher Konservatismus nach 1945 // Die Herausforderung der Konservativen. Absage an Illusionen. INITIATIVE №3/ Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag. S. 34-53.
- Schale F.* (2017). Konservative Intellektuelle und Politik in der BRD // *Liebold S., Schale F.* Neugründung auf alten Werten? S. 9-32.
- Sommerfeld C.* (2021). Abschiedlichkeit: Gerd-Klaus Kaltenbrunner zum 10. Todestag/ Sezession 101.
- Steber M.* (2017). Die Hüter der Begriffe. Politische Sprachen des Konservativen in Großbritannien und der Bundesrepublik Deutschland, 1945-1980. De Gruyter Oldenbourg, Berlin.
- Weißmann K.* (2011a). Armin Mohler. Eine politische Biographie, Edition Antaios, Schnellroda.

- Weißmann K. (2011b). *Kurze Geschichte der konservativen Intelligenz nach 1945*. Berliner Schriften zur Ideologienkunde, Band 1. Schnellroda: Institut für Staatspolitik.
- Weißmann K. (2011c). Vorbehalt gegenüber dem Politischen. Tendenzwende einer konservativen Elite: Zum Tod des Publizisten Gerd-Klaus Kaltenbrunner // JUNGE FREIHEIT 17/11.

“Reconstructing Conservatism”: The Place of Christianity in the Work of Gerd-Klaus Kaltenbrunner

Filipp M. Fomichev

PhD Student, School of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Humanities. HSE University

Address: 21/4 Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066 Russian Federation

E-mail: philip.fomichev@gmail.com; ffomichev@hse.ru

The article explores the complex reconstruction of the views of Gerd-Klaus Kaltenbrunner — one of the most influential conservative essaywriters and theorists in post-war West Germany — on the political significance of Christianity for his project of ‘reconstructing conservatism’. This project, initiated in the 1970s, continues to influence German right-wing and conservative circles today. The author highlights the ambivalence in Kaltenbrunner’s attitude toward Christianity as a foundation for conservative political theory after the Second World War. The social, political and intellectual shifts of the first half of the XX century, including new trends in philosophy and theology, compelled the Catholic conservative to seek more rational and empirically grounded justifications for a conservative political stance. At the same time, Kaltenbrunner opposed the politicization and instrumentalization of Christianity by the left, which had become widespread in various forms. His reliance on anthropological argumentation aligns his ideas with classical XIX century conservative thought. However, the impossibility of invoking otherworldly justifications of the conservative position in the modern world led him to turn to secular philosophical anthropology, whose arguments Kaltenbrunner actively employed for polemical purposes. This anthropological framework later became pivotal for many German right-wing and conservative intellectuals, while religious argumentation completely lost its relevance.

The present research is part of a series of publications examining the history as well as philosophical and political foundations of German post-war conservatism and the German New Right

Keywords: Gerd-Klaus Kaltenbrunner, “Reconstruction of Conservatism”, Conservatism and Christianity, Conservatism in post-war Germany, German “New Right”, Political Theology of Christianity.

References

- Böhr C. (2016) Konservatism: mnogogrannoe ponjatie. Popytka opisaniya i ogranicheniya — poiski sledov [Conservatism: a multifaceted concept. An Attempt to Describe and Limitations — searching for Traces]. *Historical Studies. Journal of the Faculty of History of Lomonosov Moscow State University*, no 5, pp. 10-28.
- Donoso Cortés J. (2023) Rech', proiznesennaja v Kongresse deputatov 4 janvarja 1849 goda [Speech to the Spanish Parliament on January 4, 1849]. Donoso Cortés J. *Rech' o diktature* [Speech on Dictatorship], Saint-Petersburg: Vladimir Dal', pp. 10-59.
- Filippov A.F. (2009) Arnol'd Gelen i Hel'mut Shel'ski [Arnold Gehlen and Helmut Schelsky]. *Mysl'jashaja Rossiya: istorija i teorija intelligencii i intellektualov*, pp. 274-313.

- Finkbeiner F. (2009) *Nationale Hoffnung und konservative Enttäuschung*, Göttingen: Georg-August-Universität Göttingen.
- Finkbeiner F. (2017) *Schicksalsjahre des Konservatismus. Konservative Intellektuelle und die Tendenzwende in den 1970er Jahren*, ibidem-Verlag, Stuttgart.
- Galkin A. A., Rahshmir P. J. (1987) *Konservatism v proshlom i nastojashhem* [Conservatism in the past and present], Leningrad: Nauka.
- Gehlen A. (1969) *Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik*, Frankfurt am Main.
- Gmehling M. (2019) Wer war Gerd-Klaus Kaltenbrunner? Vorwort. Kaltenbrunner G.-K. *Vom Geist Europas — Ursprünge und Porträts*, Band I, Ares Verlag.
- Grannenfeld M. J. (2015) Gerd-Klaus Kaltenbrunner's Work and Thought: An Interview with Martin J. Grannenfeld by Lucian Tudor. *The Traditional Britain Group*. URL: <https://traditionalbritain.org/journal/gerd-klaus-kaltenbrunners-work-and-thought-an-interview-with-martin-j-grannenfeld/> (дата доступа: 11.09.2024).
- Greiffenhagen M. (1977) *Das Dilemma des Konservatismus im Deutschland*, München: R. Piper & Co. Verlag.
- Greß F., Jaschke H.-G., Schönekeß K. (1990) *Neue Rechte und Rechtsextremismus in Europa. Bundesrepublik, Frankreich, Großbritannien*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Großmann J. (2017) Flucht nach Europa. Die abendländische Bewegung und die Transnationalisierung des Konservatismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Liebold S., Schale F. *Neugründung auf alten Werten?*, pp. 53-76.
- Hoeres P. (2013) Von der „Tendenzwende“ zur „geistig-moralischen Wende“. Konstruktion und Kritik konservativer Signaturen in den 1970er und 1980er Jahren. *Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte*, no 61, pp. 93-119.
- Ishchenko V. V. (1990) *Problemy germanskogo konservatizma v idejnoy bor'be v FRG* [Problems of German conservatism in the ideological struggles in the FRG] (PhD Thesis). Perm': Perm. gos. un-t im. A. M. Gor'kogo.
- Kaltenbrunner G.-K. (1971) Der schwierige Konservatismus. *APuZ* 49/1971.
- Kaltenbrunner G.-K. (1972) Der schwierige Konservatismus. *Konservatismus in Europa* (Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner), Freiburg, pp. 19-54.
- Kaltenbrunner G.-K. (1974) *Plädoyer für die Vernunft. Signale einer Tendenzwende. INITIATIVE №1* (Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner), Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Kaltenbrunner G.-K. (1975) Christlich=konservativ? *Der schwierige Konservatismus. Definition, Theorien, Porträts*, Herford, Berlin: Nicolai, pp. 51-80.
- Kaltenbrunner G.-K. (1977) *Das Elend der Christdemokraten. Ortsbestimmung der politischen Mitte Europas. INITIATIVE №21* (Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner), Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Kaltenbrunner G.-K. (1988) *Volksparteien ohne Zukunft? Die Krise des Parteienstaates. INITIATIVE №73* (Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner), Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.
- Kaltenbrunner G.-K. (2010) 10 zapovedej konservatora [10 Commandments of a Conservative]. Kim F. S. «*Prosveshennyj konservatizm*» G.-K. Kaltenbrunnera. «*Prosveshennyj konservatizm*» G.-K. Kaltenbrunnera [«Enlightened conservatism» of G.-K. Kaltenbrunner], Moscow: Mezhdunarodnyj izd. centr «Ethnosocium», pp. 191-195.
- Kaltenbrunner G.-K. (2020) Konservativno li hristianstvo? [Is Christianity Conservative?]. Kaltenbrunner G.-K. *Trudnyj konservatizm. Opredelenija — teorii — portrety* [Difficult Conservatism. Definitions — theories — portraits], Moscow: Totenburg, pp. 56-89.
- Kaltenbrunner G.-K. (2020) Est' li konservativnaja teorija? *Trudnyj konservatizm. Opredelenija — teorii — portrety* [Difficult Conservatism. Definitions — theories — portraits], Moscow: Totenburg, pp. 90-99.
- Kaltenbrunner G.-K. (2020) Konservativnye proroki: K'ergegor — Donoso Cortés — Bahoven [Conservative prophets: Kierkegaard — Donoso Cortés — Bachofen]. Kaltenbrunner G.-K. *Trudnyj konservatizm. Opredelenija — teorii — portrety* [Difficult Conservatism. Definitions — theories — portraits], Moscow: Totenburg, pp. 180-188.
- Kaltenbrunner G.-K. (2020) Konservatory v postliberal'nuju jepohu [Conservatives in the post-liberal era]. Kaltenbrunner G.-K. *Trudnyj konservatizm. Opredelenija — teorii — portrety* [Difficult Conservatism. Definitions — theories — portraits], Moscow: Totenburg, pp. 122-144.

- Kaltenbrunner G.-K. (2020) Perspektivnyj konservatizm [Prospective Conservatism]. Kaltenbrunner G.-K. *Trudnyj konservatizm. Opredelenija — teorii — portrety* [Difficult Conservatism. Definitions — theories — portraits], Moscow: Totenburg, pp. 100-121.
- Kaltenbrunner G.-K. (2020) Proishodit li konservativnyj povорот tendencij? [Is there a conservative turn of trends?]. Kaltenbrunner G.-K. *Trudnyj konservatizm. Opredelenija — teorii — portrety* [Difficult Conservatism. Definitions — theories — portraits], Moscow: Totenburg, pp. 145-174.
- Kazakov S. O. (2014) *Konservativnyj tranzit Ernsta Jüngera* [Ernst Jünger's Conservative Transit] (PhD Thesis), Ekaterinburg: Ur. feder. un-t imeni pervogo Prezidenta Rossii B. N. El'cina.
- Kazakov S. O. (2015) Metamorfozy konservatizma na ishode XX veka [Metamorphoses of conservatism at the end of the XX century]. *SibSkript*, no 3-2 (63), pp. 32-36.
- Kim F. S. (2010) «Prosveshhennyj konservatizm» G.-K. Kaltenbrunnera [«Enlightened conservatism» of G.-K. Kaltenbrunner], Moscow: Mezhdunarodnyj izd. centr «Etnosocium».
- Kim F. S. (2011) Geroicheskiy pessimizm prosveshhennogo konservatora: Gerd-Klaus Kaltenbrunner [Heroic pessimism of the enlightened conservative: Gerd-Klaus Kaltenbrunner]. *Humanities and Social Sciences*, no 4, pp. 43-52.
- Kubitschek G. (2011) *Gerd-Klaus Kaltenbrunner ist verstorben*. URL: <https://sezession.de/24216/gerd-klaus-kaltenbrunner-ist-verstorben> (дата доступа: 11.12.2023).
- Laak D. van. (2003) From the Conservative Revolution to Technocratic Conservatism. Müller J.-W. *German Ideologies since 1945: Studies in the Political Thought and Culture of the Bonn Republic*, pp. 147-160.
- Loginov A. V. (2001) *Filosofskaja antropologija A. Gelena* [Philosophical anthropology of A. Gehlen] (PhD Thesis), Moscow.
- Meier P. Gerd-Klaus Kaltenbrunner. *Portal zur katholischen Geisteswelt*. URL: <http://kath-info.de/kaltenbrunner.html> (дата доступа: 11.09.2024).
- Miliev V. A. (2006) *Nemeckij romantizm i formirovanie konservativnoj idei* [German Romanticism and the formation of conservative idea] (PhD Thesis), Murmansk: Murmanskij gosudarstvennyj tehničeskij universitet.
- Mohler A. (1970) Gehlens „Moral und Hypermoral“ — eine Wegmarke. *Criticón*, no 1.
- Mohler A. (1972) Im Schatten des Jakobinismus. Die «Konservative» und die «Rechte» in Frankreich. *Konservatismus in Europa* (Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner), Freiburg, pp. 273-289.
- Mohler A. (1974) Deutscher Konservatismus nach 1945. *Die Herausforderung der Konservativen. Absage an Illusionen. INITIATIVE №3* (Hrsg. G.-K. Kaltenbrunner), Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, pp. 34-53.
- Schale F. (2017) Konservative Intellektuelle und Politik in der BRD. Liebold S., Schale F. *Neugründung auf alten Werten?*, pp. 9-32.
- Solov'ev A. P. (2023) Diskussii o modernom gnosticizme v poslevoennoj Germanii i performativnyj aspekt koncepcii «gnosticheskogo recidiva» Odo Markvarda [Discussions on modern Gnosticism in post-war Germany and the performative aspect of Odo Marquard's concept of 'gnostic relapse']. *Stasis: EUSPb*, vol. 11, no 1-2, pp. 246-281.
- Sommerfeld C. (2021) *Abschiedlichkeit: Gerd-Klaus Kaltenbrunner zum 10. Todestag / Sezession* 101.
- Steber M. (2016) 1968 kak god konservatorov, ili razdelenie mnenij. Liberal'nyj konservatizm i «novye pravye» [1968 as the year of conservatives, or the division of opinions. Liberal Conservatism and the "New Right"]. *Historical Studies. Journal of the Faculty of History of Lomonosov Moscow State University*, no 5, pp. 194-207.
- Steber M. (2017) *Die Hüter der Begriffe. Politische Sprachen des Konservativen in Großbritannien und der Bundesrepublik Deutschland, 1945-1980*, Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Taubes J. (2021) *Ad Carl Schmitt: Soprazhenie protivostremitel'nogo* [To Carl Schmitt, Letters and Reflections], Saint-Petersburg: Vladimir Dal'.
- Taubes J. (2023) *Zapadnaja eshatologija* [Occidental Eschatology], Saint-Petersburg: Vladimir Dal'.
- Weißmann K. (2011a) *Armin Mohler. Eine politische Biographie*, Edition Antaios, Schnellroda.
- Weißmann K. (2011b) Kurze Geschichte der konservativen Intelligenz nach 1945. *Berliner Schriften zur Ideologienkunde*, Band 1. Schnellroda: Institut für Staatspolitik.
- Weißmann K. (2011c) Vorbehalt gegenüber dem Politischen. Tendenzwende einer konservativen Elite: Zum Tod des Publizisten Gerd-Klaus Kaltenbrunner. *JUNGE FREIHEIT* 17/11.

От историографии империи к исторической империологии*

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: Коллманн Н. Ш. (2023). Россия и ее империя. 1450–1801 / ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО В. ПЕТРОВА. СПб.: ACADEMIC STUDIES PRESS / БИБЛИОРОССИКА. — 783 с. ISBN: 978-5-907532-45-8

Олег Кильдюшов

Старший научный сотрудник, Центр фундаментальной социологии,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, 20, Москва, 101100, Россия
E-mail: kildyushov@mail.ru

Распад еще недавно глобалистски интегрированного мира на новые-старые культурные макрорегионы ставит вопрос о фактических, а не декларируемых формах структурирования больших пространств с собственными силовыми полями (традиции, интересы, смыслы). Симптоматика возвращения в различных регионах мира больших пространств с собственным номосом требует проверки гипотезы о мерцающем имперском специфическими средствами не только адекватного исторического описания, но и операционального социологического анализа. Особый интерес с точки зрения современного социального знания здесь приобретает опыт имперского строительства в эпоху раннего модерна¹. Для исторической социологии эвристически продуктивным оказывается обращение не столько к классическим империям древности вроде державы Александра Македонского или Древнего Рима, сколько к исторически более близким попыткам соединить типично современные политические формы с организацией больших пространств². Ведь, цитируя известную империологическую работу А. Ф. Филиппова, «политически организованное большое пространство, соопределяющее смысл действий и коммуникаций, есть империя»³.

Это переоткрытие топики империи сопровождается в последние десятилетия на Западе настоящим исследовательским бумом в области работ по истории и теории империи⁴, пытающихся за очевидным силовым измерением господ-

* В данной публикации использованы результаты проекта «Национальная философия и культура: традиционные духовно-нравственные ценности», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2025 году.

1. Шумпетер Й. А. (2025). Социология империализмов // Шумпетер Й. А. Кризис налогового государства. Социология империализмов. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. С. 83–206.

2. В релевантной литературе проблематизируется специфика домодерных империй, существенно отличавшихся от имперских образований Нового времени: Allsen T. (2011). Pre-modern empires // The Oxford Handbook of World History / Ed. by Jerry H. Bentley. Oxford; New York: Oxford University Press. P. 361–378.

3. См.: Филиппов А. Ф. (1992). Наблюдатель империи // Вопросы социологии. № 1. С. 110.

4. Münkler H. (2005). Imperien. Die Logik der Weltherrschaft vom alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten. Berlin: Rowohlt. [Русский перевод: Мюнклер Г. (2015). Империи. Логика мирового господства. От Древнего Рима до США. М.: Кучково поле]; Leonhard J., Hirschhausen U. von. (2009). Empires

ства исторических сверхдержав обнаружить более сложные фактические модусы их функционирования как коммуникативных и ценностных сообществ. Говоря словами крупного знатока вопроса Доминика Ливена: «Империя — это в первую очередь мощь. Если государство не является (или хотя бы не являлось в прошлом) значительной силой, великой державой, оно не может считаться настоящей империей. Но империи — это великие державы со своими особенностями. К ним относится управление территориями и многими народами и т.п.»⁵.

Огромный исторический опыт империй, в течение веков осуществлявших эффективный контроль над громадными гетерогенными территориями, представляет значительный социально-научный эвристический интерес прежде всего с точки зрения политико-коммуникативных технологий поддержания стабильного социального порядка⁶. Сочетание жесткого силового контроля со значительной институциональной гибкостью, использование целого набора средств (принуждение, выгода, легитимация) в отношении подданных и покоренных, поддержание баланса интересов между бесконечным числом релевантных групп — и все это в условиях критического дефицита ресурсов — превращает империи раннего модерна в легитимный предмет исследования на пересечении исторической социологии, истории идей и политической теологии. В отличие от монофакторных подходов в духе классических теорий империализма, основанных на примате позднекапиталистической экономики и надстроенном над нею политическом господстве, новая история и социология империи учитывает такие культурно-идентитарные аспекты социального, как, например, этническая принадлежность и, прежде всего, религия, не теряя при этом общего фокуса на устройстве упорядоченной жизни внутри больших пространств⁷.

При этом здесь речь не идет о разработке некой окончательно завершенной и замкнутой теории империи, что в принципе невозможно уже в силу гетерогенности самого исторического материала⁸. Скорее сегодня можно говорить о возникновении и развитии группы подходов, использующих различные строительные блоки для разработки плюралистической модели объяснения макросоциальных изменений, выходящей за рамки монокаузальных теорий. В этом смысле можно

und Nationalstaaten im 19. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; Empires in World History (2010): Power and the Politics of Difference / Ed. by Jane Burbank and Frederick Cooper. Princeton: Princeton University Press; *Кеннеди П.* (2018). Взлеты и падения великих держав. Экономические изменения и военные конфликты в формировании мировых центров власти с 1500 по 2000 г. Екатеринбург: Гонзо.

5. *Ливен Д.* (2017). Навстречу огню. Империя, война и конец царской России. М.: Политическая энциклопедия. С. 19.

6. *Иннис Г.* (2024). Империя и коммуникация и другие работы / Пер. с англ. Н. Эдельмана. Ереван: Fortis Press.

7. *Манн М.* (2020). Источники социальной власти: в 4 т. Т. 1: История власти от истоков до 1760 г. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.

8. См. замечание Карла Шмитта о том, что помимо такого общего признака любых империй, как само контролируемое ими большое пространство, «содержание, структура и консистенция большого пространства в различные эпохи различны»: *Шмитт К.* (2001). Порядок больших пространств в праве народов, с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил // *Шмитт К.* Номос Земли в праве народов *ius publicum europaeum*. СПб.: Владимир Даль. С. 553.

даже сказать, что новая глобальная история вынуждена признавать историю империй и историческую социологию империй как условие возможности осмысленной операционализации событий прошлого в масштабах больших пространств⁹. При желании здесь даже можно увидеть своеобразную иронию истории: то, что более века в рамках социалистической, либеральной и прочей прогрессистской критики империализма рассматривалось как угроза миру и национальному самоопределению свободлюбивых народов, теперь вновь — вполне в духе классической работы «Великие державы» (1832) Леопольда фон Ранке¹⁰ — оказывается основополагающим элементом социально-научного понимания современности¹¹...

В качестве релевантных кейсов здесь могут рассматриваться не только такие идеально-типические имперские проекты Нового времени, как персоналистские диктатуры обоих Бонапартов (Первая и Вторая империя) или бисмарковский Второй Германский рейх. Не меньший интерес представляет и самая первая империя модерна — Российская, правители которой также формулировали цели новой европейской державы на привычном для Запада языке римской политической традиции, естественного права и идеи общего блага («всемирной пользы»)¹². Тем более что наряду с общим увеличением числа работ об имперских образованиях прошлого также заметен количественный и качественный рост публикаций именно о Российской империи¹³. В рамках этого всплеска интереса к исторической империологии переводятся на русский и некоторые сочинения западных авторов, ставшие уже каноническими. В качестве яркого примера можно привести недавний перевод хрестоматийной работы Уильяма Мак-Нила, вышедшей на языке оригинала в 1964 году¹⁴.

Обсуждаемая в данной рецензии книга является идеально-типической для новейшей историографии имперской России, методически соединяя в себе блестящее знание фактического материала с глубокой социально-теоретической про-

9. Коллинз Р. (2015). Макросоциология: Очерки социологии большой длительности. М.: УРСС; ЛЕНАНД.

10. Ранке Л. фон (2024). Великие державы. М.: Праксис (Библиотека журнала «Россия в глобальной политике»).

11. Münkler H. (2023). Die Welt in Aufruhr. Die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert. Berlin: Rowohlt.

12. Madariaga I. de. (1998). Tsar into emperor: the title of Peter the Great // Madariaga I. de. Politics and Culture in Eighteenth-Century Russia by Isabel de Madariaga. London and New York: Routledge; Азеева О. Г. (1999). Имперский статус России: к истории политического менталитета русского общества начала XVIII века // Царь и царство в русском общественном сознании / Под ред. А. А. Горского. Вып. 2. Москва. С. 112–140; Шарф К. (2008). Монархия, основанная на законе, вместо деспотии. Трансфер и адаптация европейских идей и эволюция воззрений на государство в России в эпоху Просвещения // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе: К проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи». М.: РОССПЭН. С. 31–34.

13. Ливен Д. (2007). Российская империя и ее враги с XVI века и до наших дней / Пер. с англ. А. Козлика, А. Платонова. М.: Европа; Imperium inter pares (2010): Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917): сб. ст. под ред. М. Ауста, Р. Вульпиус, А. Миллер. М.: НЛЮ; Миронов Б. Н. (2014–2015). Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. СПб.: Дмитрий Буланов.

14. Мак-Нил У. (2023). Степной рубеж Европы: 1500–1800. Ереван: Букинист. Вульпиус Р. (2023). Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке. / Перевод с немецкого М. Богданович. М.: Новое литературное обозрение

работкой используемого концептуального аппарата вроде понятий «деспотизм» или собственно «империя»¹⁵. В этом смысле современная западная русистика уже преодолела этап своей теоретической наивности, когда гетерогенный понятийный аппарат, доставшийся в наследство от других дисциплин (*государство, революция, идентичность и т.п.*), используется историками без какой-либо рефлексии. Представим кратко автора рецензируемой здесь работы.

Профессор Стэнфордского университета Нэнси Шилдс Коллманн уже известна заинтересованному отечественному читателю как специалист по русской истории раннего Нового времени благодаря переводам ряда ее работ. Так, ранее по-русски вышли ее труды о политической и правовой культуре в России XV–XVIII веков¹⁶, среди которых есть и отмеченный наградой одной из профессиональных ассоциаций американских историков¹⁷. Новейшие сочинения исследовательницы посвящены визуальному измерению политического, в частности в них речь идет о производстве и использовании в России икон, фресок и миниатюр в качестве средств политической коммуникации. По ее мнению, такого рода иллюстративный материал дает более тонкое представление об исторической России, нежели традиционное изображение русского деспотизма в трудах западных ученых. Другой ее исследовательский проект в области визуальной истории посвящен изображениям России в ранних иностранных печатных изданиях и на картах¹⁸.

В аспирантуре в Гарварде Коллманн училась у таких известных славистов, как О. Прицак и Э. Кинан. Последнему и посвящена книга «Россия и ее империя». Оригинальная версия вышла в 2017 году и называлась просто «Российская империя» (*The Russian Empire*). Почему-то переводчик В. Петров и/или издатели решили усложнить русский вариант названия сочинения — возможно, это следствие стратегического выбора в рамках известной концептуальной дихотомии «иметь империю» и «быть империей»? При этом Введение к книге носит подзаголовок «Русская империя, 1450–1801» (с. 7)!

15. Поэтому наиболее функциональными для империи можно считать определения, интегрирующие пространственное, политическое и силовое измерения с универалистским уровнем притязаний на господство. В качестве типичного примера такого рода подхода можно привести дефиницию Рикарды Вульпиус, согласно которой под империей понимается «сложносоставной союз господства, чья метрополия контролирует множество периферийных территорий и их культурно инородное население с помощью угрозы насилия, административного управления и местного коллаборационизма и высказывает претензии на универсализм» (с. 28). В случае Российской империи универсализм выражался в притязании на роль единственной православной мировой державы — защитнице истинной веры.

16. Коллманн Н. Ш. (2001). Соединенные честью. Государство и общество в России раннего Нового времени. М.: Древлехранилище; Коллманн Н. Ш. (2001). Боярские роды и отношения при дворе: Образование политической системы Московского государства // Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Период Киевской и Московской Руси: Антология. Сост. Дж. Маджеска. Самара. С. 172–202.

17. Kollmann N. Sh. (2012). Crime and Punishment in Early Modern Russia, 1500–1725. New Studies in European History. Cambridge University Press. См. русский перевод: Коллманн Н. Ш. (2016). Преступление и наказание в России раннего Нового времени. М.: Новое литературное обозрение.

18. Kollmann N. Sh. (2024). Visualizing Russia in Early Modern Europe. Cambridge University Press.

Для всех работ Н. Ш. Коллманн программным является вопрос о том, как фактически функционировали политические системы самодержавного типа. Теоретически ее прежде всего интересует, как империи раннего Нового времени пытались устанавливать социальный порядок, долговременно поддерживать стабильность господства, используя при этом крайне гетерогенный арсенал инструментов — от религиозных ритуалов и идеологии до правового регулирования и применения собственно насилия. Также для ее исследований характерна топика, связанная со структурами власти, с влиянием отношений родства и брака на кремлевскую политику, а также с общественными ценностями и ролью женщин в идеологии и практике Московского государства. Еще одной типичной чертой методологии исследовательницы выступает стремление поместить Россию в широкий сравнительный контекст, разрушая тем самым стереотипы о принципиальном отличии русской истории от прошлого ее соседей или тем более о ее мнимой необъяснимости. Как пишет сама Нэнси Коллманн в предисловии к русскому изданию, этот эвристический подход она унаследовала от своих гарвардских учителей, стремившихся к более широкому географическому охвату, поверх границ государств, и учету всего многообразия взаимодействий людей — от торговых и культурных контактов, религиозных связей, до завоеваний и переселений (с. 5).

Стремление преодолеть европоцентризм в виде привычных сравнений России с Европой потребовало учета фактора восточных и южных соседей (Османской империи, Персии) и дальневосточных торговых контактов. В целом в работе постоянно меняется перспектива и предмет изучения — с имперского центра на периферию, с русского ядра на многочисленные народы и территории, оказавшиеся в орбите Российской империи¹⁹. Здесь в фокусе внимания находится то, как в живой исторической реальности Россия функционировала в качестве евразийской «империи различий» (с. 9). Данную объяснительную модель Коллманн заимствует у ряда исследователей²⁰, занимавшихся изучением как России, так и ее географических соседей/исторических конкурентов — Турции, Китая и др. Принцип евразийской политики различий заключается для нее в сочетании управления из единого центра с системной толерантностью к дискурсивным и институциональным различиям на периферии. Иными словами, имперская практика господства в континентальных, этнически, конфессионально и лингвистически гетерогенных империях — русской, турецкой, персидской, китайской и у Великих моголов — предполагала структурную гибкость при выборе средств поддержания стабильности. Центр был вынужден постоянно поддерживать баланс выгод и угроз для покорен-

19. При этом контринтуитивным образом большое пространственное расширение или полиэтничность российского государства стали важными маркерами имперского самопонимания только при Екатерине II (с. 752)!

20. *Burbank J.* (2006). *An Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire*// *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. № 7. P. 397-431; *Barkey K.* (2008). *Empire of Difference: the Ottomans in Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press; *Burbank J.* (2006). *An Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire*// *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. №7. P. 397-431;

ных народов, часто отказываясь от непосредственного контроля над окраинами ради сохранения статус-кво.

Исследовательница предлагает следующую формулу успешного имперского строительства в Евразии с XV века: «Для создания империи необходим жесткий контроль со стороны центра, для поддержания ее единства — гибкость в управлении» (с. 11). Конкретно это означало прагматическое применение целого набора средств (силовое принуждение, взаимовыгодное сотрудничество, идеологическая легитимация). Например, московские, а затем петербургские правители без колебаний использовали насилие для подчинения территорий, но также они кооптировали представителей местных элит в имперское дворянство, формируя из них местные администрации. При этом Нэнси Коллманн ссылается на другую известную формулу устойчивого господства, предложенную Чарльзом Тилли, — «принуждение, капитал, обязательства»²¹, выстраивая содержание своего тома согласно данной базовой структуре. Соответственно, в ее работе чистое *насилие* (завоевание, подавление, угроза и применение телесных наказаний вплоть до казней) рассматривается как главное, но недостаточное средство имперской политики. В условиях дефицита ресурсов центр был вынужден дополнять силовое измерение господства дискурсивными способами, например, посредством идеологической *легитимации* своей мощи как катехонического образования, служащего миру и благополучию всех подданных. Наконец, третий важнейший элемент поддержания хрупкого баланса имперской стабильности заключался в перманентном *торге* центральной власти с элитами и населением окраин, получавшими собственный уникальный набор прав и привилегий в обмен на определенные обязательства. В русском случае предметом этих сделок были размер налогов или дани, формы несения военной службы, религиозная терпимость, объемы местного самоуправления и т.д. Столь же разнообразными были группы населения, с каждой из которых власть была вынуждена постоянно договариваться ввиду меняющихся обстоятельств: дворяне, казаки, коренные народы Сибири, степные кочевники, остзейские бароны и др. (с. 14).

Уже эти обстоятельства системной динамики и структурной гибкости имперской России делают в глазах Нэнси Коллманн анахроничными утверждения о принципиальном деспотизме русской власти, ничем не ограниченной²². Ученая делает ряд сильных утверждений, имеющих значительные социально-теоретические импликации в духе социологии господства Макса Вебера:

— «сильный центр не мог эффективно осуществлять контроль без значительных уступок элите, а длительный силовой контроль с помощью силовых методов вообще невозможен»;

21. Тилли Ч. (2009). Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. М.: Территория будущего.

22. См. наш отклик на известную работу историка Сергея Сергеева, в которой отстаивается данный тезис: Кильдюшов О. В. (2023). Историческая социология несвободы? Рецензия на книгу: Сергеев С. М. (2023). Русское самовластие. Власть и ее границы: 1462–1917. М.: Яуза-каталог // Социологическое обозрение. Т. 22. № 3. С. 368–375.

— «могущество и стабильность России как империи были следствием синергии между сильной центральной властью и властью местной, которой во многих случаях предоставляли существенную свободу»;

— «чтобы сохранять равновесие внутри этой идеологической и административной структуры, империя разрешала местным сообществам самостоятельно решать многие повседневные проблемы и зависела в этом от них»;

— Россия была великой державой «именно благодаря сильному центру, допускавшему локальные различия и контролировавшего их» (с. 16–17).

Стоит ли говорить, что данные программные положения, сформулированные во Введении и детально реализуемые в трех содержательных разделах книги²³, сильно расходятся с привычными описаниями исторической России. Тем значимее оказывается вклад исследования в расширение наших — все еще поверхностных — представлений о фактических формах осуществления имперского господства в эпоху раннего модерна.

From the Historiography of Empire to Historical Imperiology

Review of the book: Kollmann N. S. (2023) *The Russian Empire: 1450-1801* / Translated from English by V. Petrov., St. Petersburg: Academic Studies Press / Bibliorossica. — 783 pp. ISBN: 978-5-907532-45-8.

Oleg Kildyushov

Senior Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, HSE University

Address: Myasnitskaya Str., 20, Moscow, 101000 Russian Federation

E-mail: kildyushov@mail.ru

23. В части I «Создание империи» дается описание территориям и народам, попавшим в силовое поле русского государства с XV по XVIII века. В части II «Московская империя в XVII столетии» анализируется формирование имперского центра и структур управления в области государственного и военного администрирования, идеологии и религии, хозяйства и торговли. И, наконец, часть III «Век империи: Россия в XVIII столетии» посвящена петербургскому периоду отечественной истории, во время которого сложился эксплицитный имперский дискурс, а практики господства корреспондировали с раннемодерными идеями и нарративами.

Между фрагментарностью рецепции и эпистемологическим театром

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ИГНАТЬЕВА О. А. (2025). РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ВЛАСТИ МАКСА ВЕБЕРА. М.: Издательство АСПЕКТ ПРЕСС. — 158 С. ISBN: 978-5-7567-1335-0

Валерия Калинина

Магистрант факультета социальных наук, МП «Комплексный социальный анализ»,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 11, Москва, 101000, Российская Федерация
E-mail: vaolkalinina@edu.hse.ru

Начиная с работ Р. Бендикса¹, представители вебероведения и веберианства озадачены фрагментарностью и сложностью прочтения интеллектуального наследия Макса Вебера. На сегодняшний день арсенал теоретической социологии располагает множеством подходов к интерпретации классика. Монография О. А. Игнатьевой продолжает эту традицию. Новый взгляд на концепцию власти предполагает «пересборку» и систематизацию отдельных положений веберовского анализа общества конца XIX — начала XX века с учетом современных политических реалий. В своем амбициозном проекте автор стремится преодолеть фрагментарность творчества Вебера, найти способ его практического применения для совершенствования политической структуры, а также внести свой вклад в институционализацию отечественной социологии. Методологическая основа решения поставленных задач включает в себя комплексный подход к работе с теоретическими источниками, который объединяет актуализацию, систематизацию и реконструкцию политических воззрений Вебера.

Поскольку два режима взаимодействия с текстами в монографии представлены имплицитно, значительная часть книги посвящена знакомству читателей с процедурой реконструкции теоретических концептов. Руководствуясь центральной для монографии темой, автор предлагает проследить эволюцию идей в работах Вебера² по трем принципиальным позициям: типология господства, принципы реализации и этическая сторона политической власти. Сочетание этих элементов автор монографии в последующем назовет «трехуровневой концепцией власти», результатом произведенной реконструкции.

Прежде чем перейти к содержанию книги, необходимо осветить несколько вводных замечаний автора. Первое из них адресовано трудностям в применении веберовской методологии последующими исследователями. Причина этого,

1. Bendix R. (1966). Max Weber: An Intellectual Portrait. London: Methuen.

2. Среди проанализированных источников автор указывает «Хозяйство и общество», «Политика как призвание и профессия», «Национальное государство и народно-хозяйственная политика», «Парламент и правительство в новой Германии», «Рейхспрезидент», «О буржуазной демократии в России», «Протестантская этика и дух капитализма».

отмечает российский ученый, кроется в противоречиях³, сложности и нелогичности⁴ стиля изложения классика. Второе же наблюдение касается понятийного соотношения «власть — господство — легитимность». Если в первом случае, отмечает автор, мы имеем дело с любым шансом реализации собственной воли, то второй вариант является более адекватным для социологического анализа, поскольку предполагает повиновение приказу в рамках асимметричных отношений. В случае же легитимности автор говорит о существовании более «подходящего для российской ментальности» эквивалента — категории «политической власти» (по аналогии с «авторитетом» у Т. Парсонса, с. 15).

Итак, первая глава посвящена обсуждению произведенной реконструкции. Поскольку автор начинает с обзора «легитимных типов господства», которые, по ее мнению, являются «фундаментальными структурами власти», мы предполагаем, что это первый уровень «пересобранной» концепции. Наряду с «подтипами традиционного господства» (геронтократия, патриархализм, патримониализм, феодализм, сословное государство, конституционная монархия) она освещает «харизматического лидера», а также систему бюрократического аппарата при легально-рациональном типе господства. Далее (вероятно, второй уровень) автор пишет: «Для успешного функционирования власть должна включать в себя сочетание различных типов господства. Следовательно, по мысли Вебера, сбалансированная форма политической власти в Германии того времени должна основываться на развитой партийной системе, эффективно функционирующем парламенте и благоприятных условиях для реализации политиков по призванию» (с. 25). Кроме того, для успешной реализации власти, отмечает автор, состав политической элиты должен отражать восходящий социально-экономический класс, а развитие политической культуры населения и политическая социализация граждан способствовать борьбе с процветанием пассивного большинства. На этом этапе реконструкции Игнатьева считает необходимым подробнее остановиться на признаках государства, среди которых обсуждаются требования проведения внутренней национально-этнической и внешней территориально-экспансионистской политики (с. 29–31).

3. «Вебер пытается обосновать возможность использования индивидуализирующего принципа образования понятий в социологии, хотя, по мнению Г. Риккерта, для нее как естественнонаучной дисциплины («социальная физика») применяется генерализирующий принцип образования понятий» (с. 13).

4. «Например, возьмем предложение, в котором ученый пытается обосновать необходимость установления плебисцитарной демократии в работе «Будущая государственная форма Германии»: «Если же такой роспуск произойдет и тем самым отпадет возможность настоящего имперского парламентаризма — поскольку за контролируемое отдельными парламентами голосование в Бундесрате имперские министерства не несут парламентской ответственности перед имперской народной палатой (Рейхстагом), — то очень многое как раз говорит в пользу установления плебисцитарного рейхспрезидентства» (Вебер, 2003: 387). Итак, здесь присутствуют две посылки (причины), которые «слеплены» в одно целое: 1) «голосование в Бундесрате контролируется парламентами земель», 2) «имперские министерства не несут парламентской ответственности перед имперской народной палатой (Рейхстагом)». Вывод Вебера из них о том, что плебисцитарная демократия — лучшая форма правления, не очевиден; он говорит лишь о личной позиции классика» (с. 13–14).

Интерес вызывает пристальное внимание автора к этическому аспекту власти⁵. Опираясь на исследования Ч. Тёрнера⁶, Вебер придает «политическому» особый статус, выходящий за пределы неокантианской системы ценностей. Примечательно, что данный тезис, подкрепленный цитатой классика о «насильственном противостоянии злу»⁷, становится ключевым (и единственным) аргументом в пользу отнесения Вебера к числу мыслителей⁸, признающих приоритет эффективного достижения политических целей над моральными соображениями. Следуя этой логике, автор обращается к этосу политика по призванию, наделенного правом выбора между онтологическим добром и злом. В определении этики ответственности Игнатьева говорит о подмене понятий, поскольку вместо ожидаемой ответственности за благополучие граждан мы видим лишь ответственность перед самой политической деятельностью. Иначе говоря, по ее мысли, политик по призванию не обременен нравственным долгом перед другими, а выдвигаемые к нему требования ограничиваются лишь самоотдачей при «служении делу». Второе замечание связано с сопоставлением категорий ответственности и вины⁹. Позиция выстроена таким образом, чтобы убедить читателя в стремлении Вебера освободить политика от избыточных этических обязательств. Однако доказательная база тезисов ограничивается «подбором» понятий для соотнесения. Пик эмоционального напряжения приходится на размышления Игнатьевой о «понятной бессмысленной жестокости и безнравственности немцев в годы обеих мировых войн» (с. 39).

Следующим этапом развития авторской идеи становится обсуждение проблем, связанных с восприятием политических работ Вебера. Вероятно, с целью подчеркнуть всю серьезность барьеров, препятствующих однозначному прочтению идей классика, Игнатьева обращается к многообразию интерпретаций концепции власти «после Вебера». Несистематизированный и фрагментарный характер обзора подходов в этом случае соответствует авторской задумке. Наряду с идеями представителей гейдельбергской школы (В. Шлюхтер, М. Лепсиус и Т. Фальпаль) автор уделяет внимание работам Р. Сведберга, Т. Доу, Л. Скаффа, Р.П. Шпаковой, Ю.Н. Давыдова и П.П. Гайдено. Любопытной оказалась задумка сравнить политические взгляды Вебера с теориями власти М. Фуко, П. Бурдьё и Н. Лумана.

5. «Завершая анализ, необходимо кратко обозначить нравственные проблемы политической власти, выдвинутые М. Вебером в самостоятельную теоретическую категорию. Они заключаются в дилемме выбора между целью и средствами политики, а также в особых требованиях, предъявляемых субъекту власти. Однако пути решения данных проблем, предложенные великим немецким ученым, по крайней мере с позиций сегодняшнего дня, являются неэффективными и даже вредными для существования и развития общества» (с. 40).

6. Turner Ch. (1995). *Modernity and Politics in the Work of Max Weber*. L.: Routledge.

7. «Ибо если вывод акосмической этики любви гласит: "Не противостоять злу насилием", — то для политика имеет силу прямо противоположное: ты должен насильственно противостоять злу, иначе за то, что зло возьмет верх, ответствен ты» [Вебер, 2006, с. 521] (с. 33)

8. Среди которых автор отмечает Н. Макиавелли, Т. Гоббса, С.Г. Нечаева.

9. «Поэтому я теперь могу сказать: это копанье в чувствах вины, которое я часто встречаю, — болезнь. Совершенно такая же, как в области религии самобичевание, в сексуальной — мазохизм» [Марианна Вебер, 2007: 508 (с. 38).

В этом контексте автор выделяет ряд схожих положений, среди которых — рациональность, дисциплина и понимание власти как системы эксплуатации у М. Фуко, определение сущности власти, ее характер и роль бюрократии у П. Бурдьё, а также потенциальная репрессивность у Н. Лумана.

Завершая теоретический экскурс, автор возвращается к результатам реконструкции — трехуровневой концепции. На этом, заключительном, этапе Игнатьева ставит задачу выявить и проанализировать современные феномены организации политической власти, которые могут быть соотнесены с каждым из выделенных уровней. Иными словами, сформированная концепция требует апробации на конкретном историческом материале. Анализируя фундаментальные структуры власти на примере Великобритании, Германии и России, автор приходит к выводу, что практическая значимость веберовской типологии ограничивается рамками легально-рационального господства. Принципы реализации политической власти в тех же странах соответствуют ранее изложенному перечню. Здесь автор подчеркивает «познавательную эффективность» комбинации типов господства и активного развития политической культуры граждан. Обновление политической элиты в современных государствах осуществляется в соответствии с процессами, отражающими динамику социально-экономически восходящего класса. Сегодня эти позиции занимают преимущественно интеллектуалы. Принцип реализации экспансионно-территориальной политики, по мнению автора, сегодня также подвергся существенной трансформации. Военные действия (частично сохранившие свою актуальность) все чаще сменяются активным участием государств в международных организациях и центрах принятия решений. Альтернативный способ укрепления «престижа» и зоны влияния отдельных государств позволяет использовать дипломатические, экономические и политические механизмы, выходя за рамки прямых военных столкновений. Этическая сторона реализации власти в веберовском определении, как было показано ранее, полностью не устраивает автора. Вместо «страстного» политического субъекта Игнатьева предлагает расширить категорию политической ответственности до реализации принципов социального государства. К тому же, отмечает автор, стремительное приобщение обсуждаемых стран к регламентации поведения чиновников на основании нормативно-правовых актов (соответствующих законов и этических кодексов в сфере государственной службы) определяет тенденции к глобализации представлений об этической стороне реализации политической власти.

Поскольку заключение монографии представлено резюмирующими тезисами, хотелось бы сосредоточиться на нескольких рефлексивных наблюдениях. Одна из загадок монографии касается природы предложенной автором трехуровневой концепции, то есть результата реконструкции политических идей Вебера. Поскольку выбор теоретических ресурсов осуществляется автором по принципу изложения идей о политической власти, мы говорим скорее о выделении «новых» комбинаций и «пересборке» классических представлений, нежели об объединении отдельных идей в единую категорию. При этом автор знакомит читателей с резуль-

татами проделанной работы во введении, а при обращении к содержанию каждого из «уровней» реконструированной концепции автором опускаются критерии систематизации и формирования «тематических блоков». В результате «интрига реконструкции» и ее эвристический исход сохраняется лишь в вопросе подобранных отношений взаимосвязи между указанными уровнями. Но и здесь мы сталкиваемся с замкнутым кругом, поскольку «каждый из элементов связан между собой “идеей реализации политической власти”» (с. 40–41).

Другая особенность монографии связана с понятийной путаницей. Остается загадкой, что представляет из себя «российская ментальность» и почему для нее понятие «легитимности» заведомо отождествляется с понятием «политическая власть» (с. 15). До конца неясным остается соотношение понятий «власть — господство». Автор не вдается в архитектонику понятий, что удивительно при заявленном погружении в реконструкцию. Обращаясь к текстам классика, мы видим несколько значений и контекстов употребления терминов — от власти как аморфного понятия и социологического понятия господства в основных социологических понятиях до господства как особого и пограничного типа власти, характеристики и разновидности власти с точки зрения универсального феномена всего социального¹⁰. Однако автор ограничивается лишь определением социально аморфного свойства власти, из чего в дальнейшем следует внимание к типологии господства. При этом, переходя к анализу влияния идей классика, автор говорит об «образцовом определении власти» классика (с. 41). К тому же по каким-то причинам политический вождь-харизматик на протяжении всей книги отождествляется автором с «лидером».

Здесь же можно сказать о еще одной неточности. В начале рецензии приведен тезис автора о нелогичности текстов Вебера, подкрепленный цитатой из работы «Будущая государственная форма Германии». Безусловно, об определенной сложности прочтения трудов классика заявляли многие¹¹. Однако довольно странным кажется наблюдать эту же цитату (иллюстрирующую нелогичность и исключительно личную позицию Вебера) при аргументации в параграфе о харизматичном типе господства¹².

10. Weber M. (1980). *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr, 1980. S. 28, 541–544.

11. См., например: Давыдов Ю. Н. (1998). Макс Вебер и современная теоретическая социология: актуальные проблемы веберовского социологического учения. М.: Мартис. С. 3–9.

12. «Революция 1918 г. в Германии заставила Вебера отказаться от планов по переустройству ее политической системы по типу Великобритании. В ноябре 1918 г. он пишет новую работу «Будущая государственная форма Германии», в которой пытается доказать, что Германия должна стать плебисцитарной демократической республикой, в которой верховная власть принадлежит рейхспрезиденту, избираемому всенародным голосованием. «Поскольку за контролируемое отдельными парламентами голосование в Бундесрате имперские министерства не несут парламентской ответственности перед имперской народной палатой (Рейхстагом), то очень многое как раз говорит в пользу установления плебисцитарного рейхспрезидентства» (Вебер, 2003: 387). Эту же мысль он подтверждает и в работе «Рейхспрезидент» (декабрь 1918). Рейхспрезидент наделяется широкими полномочиями. Он является главой исполнительной власти, обладает правом вето и правом проведения референдума в случаях разногласия с Рейхстагом. Эти идеи вошли в конституцию Веймарской республики, фактически за-

Еще одно наблюдение касается селективности отобранных авторов в обзорной части книги. Конечно, вряд ли формат монографии может позволить внести полноценные ремарки о прошлом и настоящем научном дискурсе. Тем не менее по каким-то причинам мы не видим работы, во многом идентичные с постановкой проблемы самой О. А. Игнатъевой. Здесь можно отметить часть не вошедших в монографию трудов В. Моммзена¹³, реконструкцию и систематизацию веберовского наследия в работах В. Шлюхтера¹⁴, а также проблематику господства вкупе с современными импликациями в работах Ш. Бройера¹⁵. Особняком среди прочих стоит работа «Полное собрание сочинений Макса Вебера» в 47 томах (1984–2017) под редакторством Й. Винкельмана, В. Моммзена, Х. Байера, М. Р. Лепсиуса, Г. Рота и В. Шлюхтера, общественно-политическое и научное значение которого для немецкой и мировой социологии трудно переоценить¹⁶.

Наконец, заключительное наблюдение касается той части аргументации автора, которая выстроена вокруг приписанных Веберу и его идеям (в особенности в рамках харизматического господства) последствий — приходу к власти в Германии Гитлера и жестокости немцев в период военных действий. Подобные комментарии сопровождают значительную часть текста, что, однако, кажется не совсем уместным в контексте обсуждаемой реконструкции понятий. К тому же, как мы уже отметили, автор нередко говорит о несоответствии этических аспектов реализации власти сегодняшней реальности. Здесь возникает подозрение в оценочном суждении о «правильном» государственном управлении, которое зачастую не соответствует реальным политическим сюжетам современности. С этой точки зрения кажется противоречивым говорить о «неактуальности» отдельных положений социологии Вебера.

Несомненно, среди достоинств книги читатель может отметить новые перспективы для научных дискуссий, прежде всего в направлении этической оценки политической власти. Тем не менее знакомство с монографией оставляет ощущение не столько разрешенных проблем, сколько новых вопросов, требующих дальнейшего осмысления и изучения. Предложенная попытка реконструкции и актуализации концепции власти может быть интерпретирована как методологический подход к осмыслению теоретического наследия Макса Вебера, однако она сопро-

крепив диктатуру одного лица за демократическим фасадом (парламентом), и облегчили захват государственной власти лидером НСДАП» (с. 21).

13. См., например: *Mommsen W.* (2001). *Max Webers Herrschaftssoziologie*. Tübingen: Mohr Siebeck.

14. *Schluchter W.* (1988). *Studien zu M. Webers Religions- und Herrschaftssoziologie* Frankfurt am Main: Suhrkamp.

15. См., например: *Breuer S.* (1991). *M. Webers Herrschaftssoziologie*. Frankfurt am Main: Campus; *Breuer S.* (1982). *Entstehungsbedingungen des modernen Anstaltsstaates. Überlegungen im Anschluß an Max Weber // Entstehung und Strukturwandel des Staates*. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 75–153; *Breuer S.* (1992). *Soviet Communism and Weberian Sociology // Journal of Historical Sociology*. Vol. 5. № 3. P. 267–291; *Breuer S.* (2006). *Typen und Tendenzen der Demokratie // Max Webers «Grundbegriffe» e Kategorien der kultur- und sozialwissenschaftlichen Forschung / K. Lichtbau (Hrsg.)*. Wiesbaden: VS Verlag. S. 217–241.

16. *Катаев Д. В.* (2017). Социология Макса Вебера: поздняя, незавершенная и своевременная // Социологическое обозрение. Т. 16. № 3. С. 428.

вождается рядом ограничений, связанных с недостаточной проработанностью аргументации, неоднозначностью изложения авторской позиции, а также избирательностью в привлечении теоретических источников.

Between the Fragmentation of Prescription and Epistemological Theater

Book review: Ignatieva O. (2025) *Reconstruction of Max Weber's concept of power*, Moscow: Aspect Press. — 158 P. ISBN: 978-5-7567-1335-0 (In Russian)

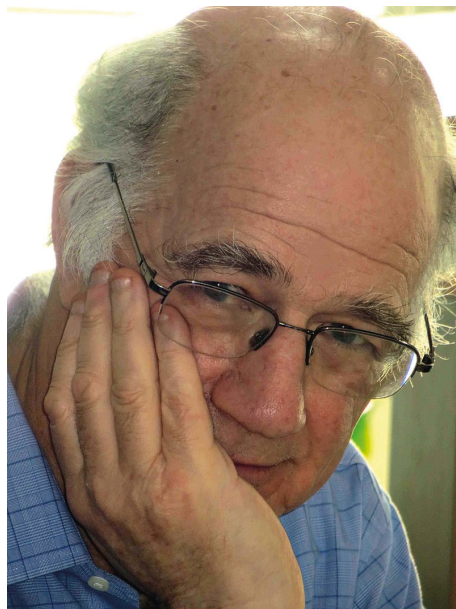
Valeria Kalinina

Master's student National Research University "Higher School of Economics"

Address: 20 Myasnitskaya St., Moscow, 101000 Russian Federation

E-mail: vaolkalinina@edu.hse.ru

Социология как профессия, призвание и активизм Памяти Майкла Буравого



1947–2025

Майкл Буравой, трагически погибший 3 февраля этого года, был одним из самых известных и широко обсуждаемых социальных ученых в мире. Научный авторитет им был достигнут не только благодаря фундаментальным работам, написанным еще на заре карьеры (среди них — знаменитая книга «Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism»), но также и благодаря новому пониманию социологического активизма — идеям, которые сильно повлияли на социологов всего мира и стали предметом широкого обсуждения.

В наши дни имя Майкла Буравого прочно ассоциировано прежде всего с проектом публичной социологии. «Разделение социологического труда» было предложено им в программной статье «За публичную социологию». В ней одиннадцать тезисов, и автор не только демонстрирует тем самым преемственность с «Тезисами о Фейербахе» Карла Маркса, но и заявляет о своей революционности. Необходимость серьезных общественно-политических преобразований в начале XXI века все так же актуальна, как и в веке XIX. Вопрос в том, какую роль в них предназначено сыграть социологу.

«Социологический труд» был условно поделен Буравым на четыре типа: профессиональную, критическую, прикладную и, наконец, публичную социологию. Эта классификация стала, без преувеличения, всемирно известной. Конечно, вопрос о преобразующей роли интеллектуалов, особенно ученых в жизни общества, поднимался и до него. В некотором роде эту идею можно проследить до самых истоков социологии у О. Конта, найти ее в работах К. Мангейма и Ч. Р. Миллса, но именно реактуализация этой традиции в новых условиях, а также популяризация идеи об устойчивой связи социологии и гражданского общества (в современном его понимании) — прямая заслуга Буравого.

Благодаря его деятельности роль *органической* публичной социологии (понятие органического он берет, конечно, у А. Грамши), то есть социологии, существующей в тесной связи с активизмом, социальными движениями, профсоюзами и критически настроенной публикой, стала более популярной. Конечно, и традиционная публичная социология, то есть по крайней мере публичная коммуникация с не-учеными по общественно важным вопросам, получила больше внимания именно благодаря такому подходу. Это сегодня хорошо видно и в России, где серьезный инфоповод в СМИ часто принято сопровождать комментарием эксперта-ученого, так или иначе легитимизирующего актуальность и точность подачи материала, или даже предоставляющего эксклюзивный анализ ситуации. Но тут важны детали понимания и реализации замысла. Буравой считал, что публичная социология — это своего рода тавтология, поскольку социология публична по своей сути, хотя есть и другая социология, академическая, без которой у социологии публичной не было бы необходимых ресурсов. Программа публичной социологии была объявлена в президентском обращении к Американской социологической ассоциации. Буравой справедливо полагал, что жанр, близкий по своему существу к манифесту, обращает на себя больше внимания, чем традиционная статья, а сам подход вполне укладывался в логику его представления о социологии как публичном предприятии. По этой причине не только подобные обращения, но и многочисленные поездки в разные страны с лекциями, участие в разнообразных социологических конференциях и форумах, а также личное общение с социологами по всему миру занимали серьезное место в его работе. Он вообще не боялся вызовов и постоянно экспериментировал, как во время его работы и обучения в Замбии — совсем нетипичный путь для выпускника Кембриджа и будущего аспиранта Чикагского университета.

К президентским обращениям-манифестам он вновь прибегнет для того, чтобы донести до академического сообщества другую свою известную идею — программу *глобальной социологии*, которая будет реализовываться в период его руководства Международной социологической ассоциацией (2010–2014). Социологи так долго изучали неравенство, что сами не заметили его присутствия у себя в дисциплине: то, из каких источников мы черпаем информацию, определяет то, что мы знаем о мире. Но что если основанные на этих источниках (чаще всего из европейского и североамериканского мира) выводы необязательно универ-

сально приложимы ко всем локальным проблемам на планете? На возникновение такого вопроса повлияли самые разные факторы, но для Буравой было очевидно, что производство знания о социальном мире — западноцентрично по своей сути. Следуя этим своим выводам, он попытался сформировать программу «отпора неравному миру», то есть более эгалитарное производство знания. *Facing an unequal world* не только тема конгресса МСА 2014 года в Йокогаме (Япония) и основной посыл его президентского обращения, но и содержание сборника работ с анализом препятствий для глобальной социологии.

Отдельный эпизод дискуссии о трансформационной роли социолога, универсальности знания для всего мира, а также о перспективах «туземных» социологий (*indigenous sociologies*) — это его дебаты с П. Штомпкой, которые уже могут считаться классическими. В них сошлись критика «еще одной социологической утопии» с претензией на лучший мир и развенчание фигуры «последнего позитивиста» как попытка показать важность вариативности взглядов, особенно когда речь идет обо всем мире. И пусть программа более равного производства знания, продвигаемая им через МСА, была заведомо утопичной, такая дискуссия в очередной раз привлекла внимание к вопросу о том, что национально-локальные социологические традиции находятся в неравном положении по отношению друг к другу и это не только предмет для анализа, но и возможность увидеть то, что обычно незаметно из «западной башни из слоновой кости».

Майкл Буравой критиковал элитизм в науке, отказываясь фокусироваться исключительно на «выдающихся умах». Он справедливо полагал, что наука — это коллективное предприятие и осуществляется большим количеством людей также и за пределами элитных университетов. Он считал, что знание, чтобы быть доступным широкому кругу людей по всему миру, должно транслироваться на разных языках, а не только на английском. Ученый активно поддерживал конструирование глобальной науки *снизу* и ратовал за многообразие. Это вызывало симпатии социологов в разных частях планеты. Одновременно Буравой был также критиком маркетизации знания, которое он считал «фиктивным товаром» — вслед за К. Поланьи, который за семьдесят лет до него относил к таковым землю, деньги и труд. Такой подход, с одной стороны, укладывается в логику идеи об обязательной и безусловной доступности знания, а с другой — маркетизация видится как препятствие для более тонкого и фундированного теоретизирования.

В последние годы Буравой опубликовал ряд статей, посвященных критике социологического канона, анализу роли марксизма в теоретических построениях У.Э.Б. Дюбуа (считая его одним из первых публичных социологов), а также успел поднять вопрос о положении Палестины и не терял интерес к протестным общественным движениям в политической жизни и в социальном устройстве общества по всему миру.

Поскольку Буравой занимался исследованием перехода от социализма к капитализму в 1990-х годах, у него установились тесные связи в странах Центральной и Восточной Европы: его работы активно читали, а сам он выступал в поддержку

различных инициатив, выражая солидарность с теми, кто сталкивался с различного рода проблемами в области академической свободы и свободы слова. Огромное количество его интервью на самых разных языках опубликовано во множестве журналов.

Буравой интересовался также и Россией, процессами постсоциалистической трансформации, происходившими в ней, не раз бывал в нашей стране на конференциях, выступал с лекциями. Он вдохновлял многих российских ученых на “disobedient thinking”, задавался вопросом, приживется ли здесь публичная социология. Вслед за Бурдье он считал, что социология — это «боевое искусство», призванное давать отпор неравенству и другим социальным проблемам, видел ее общественную роль именно в таком ключе.

Подобный подход действительно вдохновлял многих российских исследователей. Так, в Санкт-Петербурге была основана Лаборатория публичной социологии¹⁷, в которой исследовался широкий спектр проблем российского общества. Буравой имел опыт и поддержки студенческого сопротивления, например, во время конфликта студентов социологического факультета МГУ и его администрации в начале 2000-х гг. Некоторые из тогдашних студентов стали затем заметными фигурами в развитии социологических исследований.

Смерть Буравого вызвала шок у многих коллег. Он был, несмотря на возраст, активным и энергичным человеком. Количество опубликованных в разных частях света некрологов говорит о том, что он действительно может считаться *публичным глобальным социологом с мировым именем*. Он многих вдохновил на работу и в академии, и за ее пределами. Идея Буравого о том, что социолог это не только ученый и исследователь, но еще и в каком-то смысле социальный активист, борец против неравенства, была поддержана достаточно широким кругом его коллег.

Конечно, подход Буравого в наши дни прошел пик своего влияния, отношение ему стало куда более критическим. И все-таки хочется еще раз повторить вслед за ним: «... Отправная точка социологии — это гражданское общество и защита общественного. Во времена рыночной тирании и государственного деспотизма социология — и в особенности ее публичный аспект — защищают интересы человечества»¹⁸ — таков *его* одиннадцатый тезис. Перефразируя классика, скажем: социологи лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменять его — словом, идеей, делом, пусть и хотя бы немного.

Rest in peace, Michael Burawoy.

Иван Кисленко

17. Признана Минюстом иноагентом.

18. Буравой М. (2008). За публичную социологию // Общественная роль социологии. С. 45.